



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были отданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как минимум о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

### **Правила использования**

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.  
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.  
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.  
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.  
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

### **О программе Поиск книг Google**

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### **Usage guidelines**

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



HN Z85H J



SLaw 5010.5



Harvard College Library

BOUGHT WITH INCOME

FROM THE BEQUEST OF

HENRY LILLIE PIERCE,

OF BOSTON.

Under a vote of the President and Fellows  
October 24, 1868.











# БУКЪ.



*Wladimir Mayakowski*



Vik  
**Викъ.**

(1798—1898).

Томъ третій. 3.

Украинська проза въ 80-хъ рокивъ XIX в. до останнихъ часивъ.

К Ы И В Ъ,  
Друкарня Петра Барського, Крещатикъ, власный д. № 40.  
1902.

Slav. 5010.5

JUL 25 903

Pierce fund.

Дозволено цензурою, С.-Петербургъ, 25 Юля 1901 г.

Печатано на бумагъ Т-ВА РЖЕВСКИХЪ писчебумажныхъ фабрикъ.  
Складъ, КІЕВЪ, Б. Владимірская № 49.

Возвельчу

Малыхъ отыхъ рабивъ нимыхъ:

Я на сторожи коло ихъ

Поставлю *слово*...

Т Шевченко.





## Борысь Гринченко.

Гринченко Борысь Дмитровычъ (псевдонимы — Василь Чайченко, Ив. Перекотыполе та инши) народывсь р. 1863 въ Харьковському повіти, вчывсь у харьківській реальній гимназій; довгий часъ бувъ учителемъ та служывъ у земстви. Литературну роботу почавъ р. 1881, надрукувавшы въ часопысу „Свить“ де-кілька поезій. Напысавъ Гринченко бильшь,

якъ трыдцять оповидань и чотыри повисти: „Соняшний промьнь“, „На роспутти“, „Середь темной ночи“ (Кыивъ, 1901) та „Пидь тыхымы вербамы“ (1902), такожъ п'ять драмъ та комедій: „Ясни зори“, „Нахмарыло“, „Степовый гисть“, „Середь бури“ й „Арсень Яворенко“ (друковани р. 1902 въ Чернигови). Повисти й оповидання Гринченкови друкувалыся переважно въ „Зори“, а потимъ окремымы выданнямы: „Творы Василя Чайченка“, тры томы (у Львови, 1891—1892), „Хатка въ балци“ (Черныгивъ, 1897), „Оповидання“ (1899); частыну поезій Гринченковыхъ зибрано въ збиркахъ: „Пидь хмарнымъ небомъ“ (Львифъ, 1894), „Писни та думы“ (Черныгивъ, 1895), „Кныга казокъ виршомъ“ (Одесса, 1895), „Байкы“ (Черн., 1895) та ин. Опроче самостійныхъ творивъ, Гринченко переклавъ зъ нїмецького виршомъ Шиллерови драмы: „Вильгельмъ Телль“ та „Марія Стюартъ“; перекладавъ такожъ поезіи Шиллера, Гейне, Гете та иншыхъ. Для народной й дїтячої литературы давъ чымало оригинальныхъ праць та переробокъ: жытєпысы Гуттенберга, Гарфильда, Ив. Котляревського, Гр. Квиткы, Е. Гребинкы; „Середь крыжаного моря“, „Велька пустыня Сахара“, „Финляндія“, „Робинзонъ“, „Про гримъ та блискавку“, то-що. Зъ р. 1694 выдае въ Черныгови дешевы кныжки до народнього чытання (доси вышло 47 кныжокъ популярно-наукового та беллетристичного змисту); р. 1895—99 выдавъ тры томы „Этнографическихъ матеріаловъ“ (у Черныгови), р. 1900—„Каталогъ музея украинскихъ древностей В. В. Тарновскаго“, т. II, этнографичну збирку „Изъ усть народа“; р. 1901 библиографичный показчыкъ—„Литература украинскаго фольклора“ та жытєпысы Кулиша, Ганны Барвинокъ то-що. Гринченкови розвидкы педагогични, публицистични, крытычни, исторично-литературни та ин. друкувалыся по всякыхъ журналахъ, а переклады його творивъ йєсть мовою російською та чеською.

Така численна й рижностороння діяльність Гринченка дає йому право на місце в першому ряду серед діячів українських.

Литература: 1) Огоновський—Исторія литературы руской (украинской), ч. III. 2) Южакъ—Дневникъ журналиста (Русское Богатство, р. 1895 кн. X).— 3) Большая Энциклопедія, томъ VII, стр. 607.— 4) Revue des traditions populaires, 1897, № 2.— 5) Этнографическое Обозрѣніе, 1898, № 1.



## Безъ хліба.



### I.

Край села стояла хата поганенька, а вь ій живь селянынъ изъ жинкою та зь дытною—хлопчыкъ бувь невеличкый, недавнечко народывся. Вже третій рикъ бувь, якъ воны побралыся,—зъ чужого села винъ іи взявъ,—а все ніякъ не могли збытыся на хазяйство. У ихъ тилькы й було худобы, що тельчка,—купылы іи торишню весну,—та й та недавно здохла. А хочъ бы й не здохла, то все жь годуваты ничымъ було бь. Якъ усе недороды, то й самымъ йисты ничего—не те, що тельчци. Поплакала Горпына за тельчкою, такъ хиба зь того поможеться?

На весну зовсимь у селянына не стало хліба. Тыжнивь зо тры позычкамы жылы, а теперь уже хто його знае, якъ и жыты—нихто й позычаты не ставь, усякый каже:

— Що я тоби позычатуму? У мене вь самого, може, диты голонни сыдятъ, а тоби давай, давай, а назадъ и не сподивайся. Ты вже онъ у всього села напозычавсь. Тутъ самъ за мишокъ хліба, може, хто-й-зна шобъ видавъ бы!

Раяла жинка Петрови до пана питы, нанятыся. Пишовь на сусидній хутирь—не взяли: и такъ багато, кажуть, наймытивь. До другого пана пишовь, такъ той глянувь, що вь Петра одежа—лата на лати, подумавь, що гольтипака, пройдысвить якыйсь,—не схотивь и говорыты.



— Геть!—каже,—багато васъ тутъ ходыть такихъ!.. Женить його!

И выгналы. Зовсимъ не знавъ Петро, що й робыты. У кого коняка була, такъ хочъ возыты панськи дрова зъ лису наймалыся, а йому й того не можна.

Одного ранку встала Горпына вдосвита. Дытына ще спала. Молодыця почала тыхесенько бия печи поратыся, а Петра послала дровъ урубаты. Пораецься, а сама думае:

— Якъ бы цей тыждень такъ-сякъ перебутыся, а тамъ, може, помигъ бы Господь, то пойихала бь до батька въ Сыроватку,— може бь воны хочъ зъ мишечокъ дали. Лыхо безъ коня: то сила бь, пойихала, та й годи; а теперь, поky то выпрохаешъ у кума того коня!..

Видчынылыся двери. Петро внисъ дрова, додолу кыдае.

— Та не грюкай бо такъ, дытыну збудышь!—каже Горпына.

Ростопыла молодыця въ печи, постановыла горщыкы. Тоди пидйшла до дижки зъ борошномъ, глянула:

— Петре, а Петре!

— Га?

— А що мы оце робытымемъ?

— Якъ?

— Борошна тилькы на разъ, та й то хлибыны на дви.

Помовчавъ Петро, дали каже:

— Що жъ його зробышь? я вже й самъ не знаю...

— Хиба ще питы попрохаты?..

— Та до кого жъ иты, колы у всихъ напозычалыся такъ, що ниxто вже не дае?

Горпына й сама се добре знала. Замовкыли обое. Прокынулася дытына въ колыски, молодыця взяла ии на руки, почала годуваты. Вона вхопылася голодна, та й кынула: молока нема. Тилькы ще дужче заплакала. Каже Горпына:

— Хочъ бы вже самы, та оцїи дытыны не було, а то тилькы дывышыся, якъ воно мучыться: сама голодна й воно голодне шо дня, бо молока нема й тришкы.

Петрови самому дытячий плачь мовъ ножемъ серце кравъ. Такъ хиба жалемъ пособышь?

— Знаешъ шо, Петре? Пиды попрохай старосту—може винъ зъ гамазеивъ дастъ?..

Мовчыть Петро, а дытына все плаче, усе мовъ ножемъ серце крае. Уставъ Петро, каже:

— А пиду! Не здыхаты жъ изъ голоду!

Узявъ шапку, ще постоявъ, подумавъ, а дали й пишовъ мовчкы. Винъ знавъ, що староста не може самъ дати, а все жъ пишовъ, щобъ хочъ не чуты, якъ дытына плакатыме.

— А може й дасть?—думае,—хто його знае?... Треба попрохаты добре. Шкода, що на чвертку ратушнымъ нема.

Прийшовъ Петро въ ратушу, увійшовъ, перехрестывся: „Здорови! зъ середою!“—сказавъ и ставъ билия порогу. Староста въ кутку за столомъ сыдивъ, а пысаръ зъ шахвы паперы выймавъ, по столу роскладавъ. Бильше никого въ ратуши нема, тилькы Петро та ихъ двое. И збирається все Петро сказаты, та ниякъ не зможе, думае: „А якъ скаже—ни, не дамъ?“ И якъ подума про се, подума що тоди въ його дома и жинка, й дытына голодни сыдитымутъ, такъ и духъ йому перехобпыть, и не вымовыть винъ ничего, тилькы стоить билия порогу, шапку драну въ рукахъ круте. Бачывшы староста, що йому чогось треба, а ничего не каже винъ,—ставъ самъ пытаться:

— А чого тоби, Петре?

Пидійшовъ Петро бльжче, вклонывся.

— До вашои мылосты,—каже.

— Ну?

— Не положить гниву, прийшовъ оце до васъ... Отъ уже третій день мало що й йившы сыдымо... Сьогодни й крыхты въ роти не було и борошна нема...

— Ну, то що?

— Не положить гниву!... Я вже всюды прохавъ, такъ хто жъ його позычыть, якъ у самого, може, нема?.. Такъ я оце... чы не дозволили бъ зъ гамазеивъ хочъ мишечокъ даты?..

Глянувъ на його староста, засміявся.

— Ге, хлопче! цього мы не можемо своею волею зробыты, на це дозвиль одъ началства треба.

— Одъ управы земськой, розуміешъ?—каже пысаръ.

— Та воно такъ,—каже Петро,—Та чы не можна бъ якъ небудь тамъ, хочъ трошкы...

— Та й чудный же ты якый, чоловиче! Ты жъ чуешъ, що ни, ниякъ не можна.

Постоявъ Петро, помовчавъ, дали каже:

— Та може воно такъ, и безъ управы?... Хочь не багато...

— Та тоби жъ кажуть, чы ни? Позакладало тоби?—вызвирывсь пьсарь.

А Петро все стоить, не йде. Винъ и самъ не розумивъ, чого ще винъ ждавъ. Тилькы якъ же його йты безъ ничего? Дома жъ и картоплю вже затого всю пойдидать!.. Хйба ще разъ спытаться?...

— Та я виддавъ бы скоро, ось тилькы бъ заробывъ, такъ и виддавъ бы...

Зовсимъ розсердывся пьсарь:

— Та кажуть же тоби, що ни! Що тоби, сто разивъ казаты? Хочь ты йому коляку на голови тешы, а винъ усе—дай та дай! Ну, люде!..

Пишовъ зъ ратуши Петро.

## II.

Забавыла Горпына дытыну, положила,—сама зъ останнього борошна спекла дви перепычки, картопли зварыла та борщу. Порається, а сама думае:

— Сьогодни такъ-сякъ перебудемося, та й завтра... якъ дадутъ Петрови, то може й до батька не треба буде йихаты. Ни, хочь и дадутъ, а все жъ на сивбу немае,—йихаты не мынеться.

Повыймала молодыця перепычки, хату вымела й сила прясты. У самой прядыва не було сього року—сяты не було де, такъ чуже брала прясты одъ повисма. Усе за тыждень якыхъ дви сорокивки заробыть, а то й копу.

— Копу заробышь за тыждень, а на карбованця зйисы,—думае Горпына, нытку выкручучы.

Колы чуе, рыпнули синешни двери, думае молодыця:

— Мабуть Петро... Чи несе жъ хочь що небудь?...

Справди Петро. Увійшовъ мовчки, сивъ на лави, ничего не каже. Позырнула Горпына на його и видразу вгадала, що дурно винъ ходывъ.

— Петре,—каже,—ничого не далы?

— Кажуть, що безъ панивъ земськихъ не можна...—понуро видказавъ Петро.

Мовчать обое. Петро, похнюпывши голову, сыдыть сумный-сумный. А Горпына схылылась на прядку и не пряде вже. Гля-

нувъ на неи Петро,— така вона змучена, зовсимъ змарнила. И жалко йому стало ии. Пидійшовъ до неи, обнявъ, каже:

— Годи, голубко моя, годи! не журыся...

Пидняла очи Горпына, а въ очахъ сльозы.

— Мы то перетерпымо,— каже,— а дытына якъ? Яково ий терпиты?

Та й заплакала Горпына тыхо, дали каже:

— Та вже жъ така, мабуть, наша доля. Якъ Богъ поможе, то и перетерпымо.

То розважыты жинку хотивъ Петро, а теперъ чуе, якъ у самого на серци все важче та важче стае. А якъ сказала вона, що терпиты треба, не вдержавсь винъ:

— Та докы жъ його терпиты?— ажъ скрыкнувъ.— Уже жъ и такъ, здається, дня не мынае, щобъ не терпили!

— Та вже жъ, мабуть, такъ Богъ давъ!— знову каже Горпына. Насупывся Петро.

— Та хиба жъ мы вже таки гришни, хиба жъ немає вже и гришнійшыхъ одъ насъ, що таке лыхо мы терпымо?

Ничого не сказала Горпына, замовкъ и Петро похмурений. Мовчыть, а думы снуються въ голови:

— Хиба жъ то правда? За вищо жъ мусымо зъ голоду вмираты? Староста не давъ, а якъ самъ, то хиба не бере видтиля жъ? Торикъ же вкравъ четверть ячменю... Воны крастымутъ наше добро, а ты зъ голоду вмирай и дытына вмирае нехай!

И злисть обняла Петра, така злисть у його въ серци заворушылася видразу на старосту, що и не сказаты.

— Винъ у достаткахъ,— думаетъ Петро,— та ще и краде, а я голодный, то що мени робыты?

И хто и зна що зробывъ бы винъ старости, такъ запалылося. Схопывся похмурый зъ мисця, пишовъ зъ хаты. По двору блукае, а думка не кыда:

— Не вмираты жъ изъ голоду! Мое жъ добро, не чые тамъ, бо и я жъ туды ссыпавъ, а теперъ, якъ мени йсты ничего, такъ даты не можна! Ну, такъ я жъ у васъ не прохатыму! Я и самъ безъ васъ визьму!

И скильки винъ не думавъ, то все одно въ голови стоить: „визьму“!

— Не чуже жъ я визьму, а свое. Колы не дають самы, треба крыткама браты.

И такъ винъ потроху до тіей думкы звыкъ, що зовсимъ не лякавсь іи. Спершу йому здавалось ажъ страшно, якъ винъ про се думавъ, а теперъ ничего, звыкъ. И якъ звыкъ и не ставъ іи зовсимъ боятись, тоди наважывся зробыты такъ, якъ надумавъ.

— Пиду, дирку въ гамазеи продовбаю и наточу!—думае Петро.

Тилькы осьь... Якъ про се Горпыни сказаты? Винъ знавъ добре, що вона зроду того не схоче. Винъ знавъ, що хочъ якъ іи вмовляй, а на се не пидмовышъ. А що жъ його бильше робыты? Винъ бачывъ округы себе лыхо й не мигъ тому лыхови запобигты. Винъ бачывъ, що й люде не хотили йому помочи даты. Онъ староста краде, а йому такъ не давъ! Усюды неправда. И теперъ йому не здавалось грихомъ украсты. А все такы боявся казаты про се Горпыни, бо почувався, що й винъ не по правди робыты.

А Горпына стала помичаты, що зъ Петромъ робытись не добре щось. Все похмурый та смутный ходыты. Почне вона пытатыся, ничего не каже, або: „Та такъ... Щось голова болыты“.

Иноди жъ гляне понуро такъ на неи та й одмовыты: „А зъ чого жъ його веселому буты?“

Бачыла молодыця, що не такый ставъ Петро, а запобигты лыхови не знала чымъ, тилькы журылася ще дужче.

А тымъ часомъ хлиба вже не було, картоплю всю пойилы, затого вже зовсимъ ничего йисты буде. До батька не довелось Горпыни пойихаты—коня ниhto не давъ, а пишкы хиба жъ лехко сорокъ верстовъ до Сыроваткы пройты, та ще зъ дытыною. А покынуты іи не можна: и такъ ледви жыва тією краплею молока, а якъ покынуты, тоди й зовсимъ хто й зна що буде.

Бачыты усе те Петро и знову самъ соби каже: „Визьму! Не здыхаты жъ, якъ собаци! Хай Горпына що хоче каже“.

Одного разу лежыты винъ у ночи зъ жинкою на полу, не спытаться йому, бо думкы не дають. И думае винъ: „А що, якъ Горпыни заразы скажу?“

Але не сказавъ, тилькы ще дужче почавъ зъ одного боку на другый перевертатыся.

— Чого ты, Петре?

— Ничого,—каже.

Стала вже дриматы Горпына, чуе, клыче Петро:

— Горпыно!

— Га?

— Знаешъ, що...

— Ну?

Ставъ Петро, знову боиться казаты.

— Та я ничего... Я хотивъ спытаться, чы йе у насъ вода въ хати? пыты хочу.

— Та въ дижци жъ...

Уставъ Петро, наче воду пишовъ пыты, а въ самого думка: Сказаты? Та вже жъ одъ неи не сховаешся—чы теперь, чы тоди, а казаты доведеться.

Прийшовъ, знову лигъ била жинки, вкрывся.

— Горпыно, що жъ дали робытымемъ?

Ничого не каже молодыця: вона вже вси думы передумала, та ничего не выгадала. Каже Петро:

— А я... я... Знаешъ, що я думаю?...

— Що?

И знову Петро зупынивсь, дали видразу заговорывъ швыдко, неначе поспишається:

— Не здыхаты жъ изъ голоду!... Имъ ничего—онъ и староста: самъ гроши громадськи краде, а намъ хлиба шматка не дае. Хиба жъ нема й нашего тамъ? Хай! Панькатысь зъ ими, чы що? Хиба вони розуміють? Узаты та наточыты зъ гамазеи!...

— Богъ зъ тобою, Петре! Що ты кажешъ?

Ажъ розсердивсь неначе Петро:

— А що жъ, зъ голоду,—каже,—вмираты?

— Грихъ, Петре! На те Божа воля!... Богъ такъ давъ... А чужого не рушъ, не рушъ! Грихъ, Петре!

— Грихъ! А зъ голоду вмираты—якъ? Хиба я своею волею йду?

— Дакъ шо, Петре,—перетерпиты треба... Не ходы!...

Страшно видразу стало Горпыни за Петра. Прыгорнула вона його:—Петре, годи! Богъ поможе... Пидешъ самъ до батька, вони дадутъ... А те покынь, зовсимъ покынь! Грихъ!

То вагавсь хочъ трохи Петро, а теперь, якъ стала Горпына вмовляты, знову пиднялась у його на людей злисть, такъ и клекоче у грудяхъ.

— Пиду,—говорыть,—не кажы мени ничего,—пиду!

### III.

День помынувъ, ничь настала. Диждався Петро пивночи, одягся, узявъ зь собою тры мишки й свердель и пишовъ до гамазеивъ.

Ничь була темна. Петро перейшовъ свій городъ, выйшовъ на выгинъ. На души въ його якось спокійно було. Винъ уже разъ наважывся зробыты се дило и бильше не думавъ про те, яке воно. „Пиду и вкраду“, — думавъ винъ, и ёйому не здавалося, що винъ погано робыть, бо винъ просто забудъ про се, не наче бъ то про се й думаты ничого було. Винъ спокійно й смилыво йшовъ, ничого не лякаючысь.

Ось выгинъ кинчається, щось зачорнило здалека. „Гамазеи“, — подумавъ Петро. — „У сторожа гамазынныка вже не свитыться, — будуть повни тры мишки“.

Лехкою ходою пишовъ винъ дали. Уже недалеко. Тилькы, що се? Голосно, 'дзвинко видгукнувся у повитри крыкъ. Мабуть сычь. Знову крычыть, „нявка“ — ни, се сова. И видразу страшно Петрови стало. Щось перехолыло духъ, сердце застукало въ грудяхъ. Винъ зупынывся, ставъ прислухатысь. За спыною ажъ хо лодъ пробигъ.

— Піймають, піймають! Злодій!...

И зновъ одразу наче снігомъ обсыпало. То смилывый бувъ и спокійный, а теперь все те зныкло. Винъ увесь тремтивъ.

— Йты, чы не йты? — думавъ винъ. А якъ піймають?

Винъ знову почавъ прислухатыся. Але навкругы всюды було такъ тыхо, що винъ мигъ чуты, якъ у його въ грудяхъ колотылося сердце.

— Може вернутыся?... А завтра знову будемо безъ хлеба!... Ни вже — пиду!

И винъ тыхо, тыхо почавъ прокрадатыся до гамазеивъ, пидйшовъ до ихъ, ще разъ озырнувся округы. Въ темряви ничого не выдко. Тоди винъ полизъ пидъ будивлю. Винъ що-року ссыпавъ зерно у засики знавъ, зь якого воны бску. Обережно пидлизъ винъ до того мисця, лигъ на спыну. Тоди наставывъ свердло, почавъ вертыгы. Сухе дездез трохы затрицало. Петро зупынывся, прислухаючысь. Дали зновъ почавъ робыты. Свердло

глыбше та глыбше влазыло въ дерево—незабаромъ и дирка буде. Петро зъ усіей сылы налігъ на свердло, лежачы на спыни.

— Аговъ! Семене! Э, стонадцять кипь!...

Петро здригнувъ. Кто се? Сторожъ? Серце колыхнулось у грудяхъ, а дали немовъ застыгло—Петро слухавъ. Холодный пить выступывъ у його на лоби. Винъ такъ и закам'янивъ, пиднявшы руки вгору до свердла. Знову чуты:

— Семене! Семене!... А щобъ тоби! Ну, я й самъ, хйба мени що? Не вмію заспываты?... Стонадцять!.. Гей!..

Ой тамъ за байракомъ

Танцювала рыба зъ ракомъ...

П'яну писню чуты було бйля самой гамазеи. И якъ хтось иде, чуты.

Та гей! танцювала рыба зъ ракомъ.

А цыбуля...

— Тю на твого батька!.. Чого сюды? Ни, я сюды не хочу, я до дому пиду!

Гей, а цыбуля зъ часныкомъ,

А дивчына зъ козакомъ!

П'яный пишовъ. Голосъ и хода затыхлы. Петро не вору шывсь. Винъ затрймавъ духа й ждавъ. Ось уже никого не чуты. Винъ ще прыслулавсь. Ни, нема ничего. Тоди останнимъ натыскомъ винъ докинчывъ дирку. Налапавъ мишокъ, пидставывъ, вытягъ свердло. Зерно сыпнуло. Трусячысь, якъ у пропасныци, Петро понасыпавъ уси тры мишки. Гамазеи булы нызько пры земли, такъ мишки не можна було повни понасыпаты. Одначе, що теперъ робыты? Покинуты дирку незатулену—зерно вытече на землю, завтра побачуть, знайдуть. Треба заткнуты. И чого се винъ не взявъ затычки? Петро затульывъ дирку однією рукою, а другою почавъ шукаты травы на затычку. Трава не росла пидъ гамазеями. Тутъ винъ згадавъ що въ його йе хустка. Винъ знайшовъ и, такъ-сякъ заткнувъ дирку. Тоди вытягъ одынъ клунокъ зидъ гамазеи, ставъ и думае:

— До-дому несты? Ни, то дуже довго буде. Попереношу на могылу, нехай тамъ перележуть, погы шо.

Могыла була за селомъ, на сьому жъ выгони, тамъ, де колысь гряница йшла, а теперъ тилькы валъ зостався высокий. Поспишаючысь, однисъ Петро одынъ клунокъ. Ти два клункы булы менши, винъ забравъ ихъ одразу. Уси тры винъ заховавъ



на могыли въ бур'яни. Хотивъ бувъ до-дому йты, та знову про дирку згадавъ. Треба взяты кращу затычку, а то хустка колы бь не выпала. Винь тыхо пройшовъ до чыйгось тыну, выламавъ цу-рупалокъ и пишовъ знову до гамазеивъ. Пидлизъ уп'ять, обережно вытягъ хустку й заткнувъ дирку дерев'яною затычкою. Цу-рупалокъ саме прыйшовсь и мицно стремивъ у дирци. Петро спробувавъ—добре. Мабуть до-долу трохы зерна розсыпалося. Винь помацькы позагортавъ його землю.

Вернувся до-дому, увійшовъ у хату.

— Горпыно!

Ничого не чуты. Мабуть, спыть. Лигъ винъ на пиль, не роз-зуваючысь, тилькы свыту скинувъ.

— Горпыно, ты спышь?

— Ну?

— Я заховавъ на могыли...

— Про мене, де хочъ ховай, а я тоби у пособи не буду!  
Замовкъ Петро.

#### IV.

Никому й на думку не впало, щобъ можна було вкрасты хлибъ изъ замкнуеной гамазеи. Та й крадижка була невеличка, то не дуже й помитна. Бачучы Петро, що нигде ничего про крадижку не чуты, перенись жыто до-дому. Та його стало не на довго. Уп'ять хочъ знову красты йды. Та тилькы тутъ трошкы пособыла доля. У сусиднього пана видійшовъ наймытъ, то Петро впрохавсь у наймы. Ставъ винь жыты въ пана, тилькы ночуваты до-дому ходывъ. Дома злыдни зосталыся злыднямы, але й за те слава Богу, що хочъ голодни не сыдили. А про крадижку й доси не чуть було ничего. Петро заспокоився.

Ни, не заспокоився... Винъ давно вже згубывъ свій спокій, давно його не стало, ажъ изъ тией темной ночи, якъ винъ пидъ гамазеямы бувъ. И не крадижка стала його мучыты, ни. Про неи винь спершу й не думавъ. Тилькы жъ Горпына мовъ не та до його стала. Зныклы ти розмовы щыри та ласкави,—теперь вона зъ чоловикомъ иноди й слова не промовыть за день—сумна-сумна ходыть. Дали й у наймы пишовъ Петро, ставъ тилькы ввечери жинку бачыты—не пособылося. Все мовчыть. То що-ночи Петро

ходывъ, а то вже тилькы двичи, трычи на тыждень, бо знае, що дома не привитають, не загомонять, що дома ще тяжче на серци буде. Винъ не докорявъ жинци: його самого вже почынала грызты згадка про те дило. У день, середъ невгавной роботы, ще не такъ було тяжко—забувалося; а въ ти noci, що винъ то въ пана, то дома ночувавъ, у ти похмури noci не було йому спокую. Бо загынуло його щастя, може на вики загынуло. А воно жъ було колысь, те щастя, було навить и тоди, якъ голодъ ихъ мучывъ. А теперъ усе зныкло. Тилькы груди пече, такъ пече... „Хочъ бы кара, та не така. Хочъ бы налаяла мене, хочъ бы докоряла, а то мовчыть, ничего не каже, а якъ былына сохне“.

Се було въ недилу ввечери. Петро сывдывъ дома билия столу, а Горпына на полу дытynu колыхала. Каганецъ потроху бльмавъ, и пры його свитли жинка здавалася ще бильше змученою, нижъ у день. Облыччя змарнило, очи позападали, и якась мука свитылася у ихъ у той часъ, якъ вона ихъ пиднимала видъ колыскы. Жаль стыснувъ серце Петрови. Уставъ винъ, пидйшовъ, сивъ билия неи.

— Горпыно!

Вона мовчки пидняла на його смутни очи.

— Горпыно! докы мы будемо такъ мучытыся?...

У його порвався голосъ: щось стыснуло, мовъ клищамы, горло. А вона все мовчала. Ледви перемигъ себе Петро, знову почавъ:

— Обое мы гынемо... Уся душа перемучылася... Скажи мени, що ты маешъ на думци, скажи, бо докы жъ такъ жыты?...

Вона зновъ глянула на його своимы позападалымы очыма и тыхо спустыла ихъ до-долу. И Петрови здалося, що той поглядъ досягъ йому ажъ у серце и якъ ножемъ ризонувъ його.

— А що я тоби скажу? — почала вона тыхо.—Адже ты самъ знаешъ... Я казала—не робы... Колы жъ несыла моя... Я любыла тебе, а ты злодйемъ зробывсь...

— Нехай и такъ,—говорыть Петро,—але жъ ты знаешъ, я не тымъ це зробывъ, що... ты знаешъ, що не можна було цого не зробыты...

— Я знаю,—тыхо одмовыла Горпына.—Усе те я знаю... Але що жъ я зъ собою зроблю, колы я не могу, колы мени несыла

до того звыкнуты. Краще бъ я зъ голоду вмерла, нижъ се сталося!

Вона все ныжче й ныжче нахылялася до колыскы.

— Яке теперь жыття буде?... Не жыття, а мука... Чы ждала жъ я того, чы сподивалася!

И вона тяжко зарыдала, прыпавшы до колыскы и бьючыся головою объ ии быльця. Злякана дытына прокынулася и соби заплакала. А Горпына мовъ не чула ии. Довго вона ховала свою муку, и ось теперь та мука сльозамы выбухнула. Тилькы жъ не пособылы ти сльозы, не вынеслы лыха зъ души...

## V.

Ще бильшый сумъ обнявъ Петра. За останній тыждень винъ перемучывся такъ, що й пизнаты його не можна було. Дума по думи мыналы въ Петровій голови, все чорни, непрывитни думы. Разъ, середъ ночи, у його промайнуло въ голови: прызнатися? Въ острогъ замкнутъ... Тамъ зъ злодіямы, зъ розбійныкамы... А хйба винъ самъ не злодій? Ну й нехай у пута закують, поведутъ... А сынъ? А Горпына? Що тоди зъ сыномъ буде?

— Що! А теперь хйба краще? Теперь мени жинка—не жинка, неначе й дытына не моя дытына... Гирше не буде, та хочъ Горпыни може полекшае, якъ мене не бачытыме.

И що бильше винъ думавъ про се, то все дужче хотилося йому все розказаты, крыкнуты:—Се я!...

И въ його обертомъ ишла голова. Винъ ходывъ зовсимъ якъ несамовытый, и його позападали очи иноди такъ страшно блыщалы, що Горпына часомъ лякалася його.

И ось наставъ часъ, наважывся винъ. Се було въ недилю. Строкъ у пана винъ уже выбувъ и живъ дома. Винъ уставъ рано и мовчкы почавъ справлятыся бия хазайства.

— Хйба все сказаты й?—думавъ винъ.—Ни, якось страшно. Нехай довидаецьса сама, якъ уже зроблене буде.

И винъ вештався на двори, не ввиходывъ у хату, бо йому тяжко було бачыты жинку. Такъ сякъ перебувся до обидъ. По обиди одягсь, глянувъ на Горпыну и знову подумавъ: „Сказаты?“ Вона мовчкы поралася бия печи и не дывылася на його. Винъ одвернувся, перехрыстывся и пишовъ зъ хаты.

Горпыну здывувавъ Петро тымъ, що йдучы помолывсь. Але вона не зупынула його: їй тяжко було зъ имъ розмовляты. Вона й теперь любила його и тымъ то ще тяжче їй на серци було тоди, якъ вона прыгадувала, що їи чоловикъ—злодій.

Петро тыхо йшовъ до волосты. Його перестривалы люде, а винъ и не бачывъ ихъ,—такъ опанувалы його думкы. А протевинъ бувъ якось надзвычайно спокойный. Саме такъ, якъ тоди, колы винъ ишовъ красты, саме такъ и теперь якыйсь дывный спокой обнявъ його.

Але жъ якъ побачывъ винъ зибрану коло волосты громаду, то серце заколотылося въ грудяхъ. Якъ винъ скаже передъ громадою? Хиба подождаты, покы розійдутся, та сказаты самому старости?

Тымъ часомъ винъ наблыжывся до громады. Винъ и самъ не пам'ятавъ, якъ протовпывся промижъ людей до самого рундука. На рундуци стоявъ пысарь, щось чытавъ. Петро ставъ ждаты. Пысаривъ голось видбывавсь у вухахъ, але жъ сливъ зрозумиты винъ не мигъ. Та винъ и не сылкувався прыслухатысь до ихъ. Голова йому палала.

Що се? Громада загвалтувала—се пысарь дочытавъ. Уже часъ.

Винъ знявъ шапку й почавъ:

— Люде добри!..

Громада трохы вщухла.

— Петро щось каже, слухайте!

— Та чого тамъ йому треба?

— Та слухайте вже, що чоловикъ каже!

Петрови перехопыло духъ, винъ ледви дыхавъ. Охъ! Якъ груди сперло...

— Люде добри! Простить мене, бо я злодій! Я вкравъ зъ гамазеи...

И те промовывшы, винъ упавъ до нигъ громади...

Громада ледви зрозумила, за вищо Петро зве себе злодіемъ, бо никому й на думку не впало, що зъ гамазеи вкрадено. Пысарь звеливъ бувъ заразы арештуваты Петра, але громада не

дала:—Се наше добро, нашъ и судъ!—гукалы люде. Але громада ничего не зробыла Петрови. Винъ самъ зибравъ уси гроши, шо мигъ заробыты, купывъ тры повныхъ мишкы хлиба й одвизъ у гамазеи. И немовъ у-друге на свить народывся тоди. Громада не розумомъ, а якось серцемъ почула, якъ Петро мигъ дійты до такого дила, и ништо бильше не згадувавъ про його. Самъ Петро потроху заспокоився. И Горпына, зновъ стала його Горпыною, такою, якъ и перше була... И стали вони знову жыты, якъ жылы...

1884.



# ХАТА.

## I.



— Ты оглухъ, чы який тебе бисъ знае? Кажуть то-би—суддивъ клычъ!

— Та'дже клыкавъ... що жъ имъ зробишь, колы не йдуть? Могорычъ запывають!

— Могорычъ, кажешъ? який могорычъ? зъ кого?—  
Те кажучы, панъ волосный пысарь ажъ пидскочывъ.

Поки старый, прыглухуватый дидъ Опанась, волосный сторожъ, збереться видмовыты сьому панови пысареви, дозвольте мени сказаты про його трошки. Панъ пысарь бувъ на зристь высокый, навить занадто высокый, тымъ жинка його мусила щоразу набираты сирого черкасыну йому на чынарку ажъ на аршынь бильше, нижъ набирано усимъ иншымъ людямъ, и се за-всигды чыныло ий превелькый жаль. На шырокихъ плечахъ у пана пысаря була довжелезна шыя, а на ий чымаленька голова. Найвыднйший на сій голови бувъ нисъ: винъ стремивъ мало не на все облыччя. Нисъ бувъ вельмы червоный, навить подекуды сынй,—мабуть се зъ превелькои прыхыльности пысаревои до тыхъ могорычивъ, що про ихъ винъ такъ палко заразы пытавсь у сторожа. Усымъ иншымъ його облыччя було зовсимъ звычайне, таке, якъ и въ усякихъ людей, и „особлывыхъ прымитъ“ не було нйякихъ, хиба що перо стырчало з - за пысаревого вуха. Звалы пысаря Хома Грыгоровычъ, и бувъ винъ вельмы розумный и знаючий пысарь и се винъ и доводывъ, що-дня „музыкамъ“, беручы зъ ихъ „грывеныкы“, копышныкы, мишечкы зерна и всьо-

го иншого, що мусило даватися йому за його пысарськи премудрощи, назвыще видъ роковой платы.

— Могорычъ? Зъ кого могорычъ? За що могорычъ?—знову гримнувъ панъ пысарь на сторожа.

— Та хйба жъ я знаю, за що? Тамъ и Васыль Трохымовычъ зъ имы.

— Васыль Трохымовычъ? Ты кажешъ, Васыль Трохымовычъ? Ахъ же воны таки сяки! Бачъ, я йому все зробывъ, чысто все зробывъ, и прыговоръ напысавъ, а винъ суддивъ поклыкавъ, а мене й забудь! Ни, стрывай! Я пиду...

И розгниваный панъ пысарь ухопывъ шапку и хотывъ бувъ уже бигты, колы се його зупынывъ чоловикъ невельчкый, товстенькый, выголений, зъ пидстрыженымы вусамы, зъ маснымы, але пронозуватымы очыма, у сукняній чыстенькый чынарци. Се бувъ Семень Олексійовычъ Цупченко, сильськый крамарь и шынкарь. Винъ ухопывъ пысаря за рукавъ и промовывъ:

— Хомо Грыгоровычу! Та хай йому, тому могорычеви! Та я вамъ, абы тилькы справу выграты, я вамъ утрое бильше могорычу поставлю! А суддивъ ще рано клыкаты, бо я ще не все вамъ про дило розказавъ.

— Та ни, та якъ же це? Мене не поклыкаты!—лютувавъ пысарь, порываючысь иты.

— Ни вже, Хомо Грыгоровычу, вы вже не йдите, дослухайте мого дила,—прохавъ Цупченко, не выпускаючы пысаревого рукава.

— Ни вже, Семене Олексійовычу,—вы мене пустить! А то якъ же це: безъ мене могорычъ!—не вгававъ пысарь.

— Та, Хомо Грыгоровычу! та вы послухайте: заразъ пилься суду я васъ до себе, а въ мене, знаете,—очыщенна и нальвочка, и все таке!...—спокушавъ Семень Олексійовычъ.

Одъ згадки про „нальвку, очыщенну и все таке“ трохы пом'якшало сердце въ Хома Грыгоровыча, и винъ сивъ, але не мигъ одразу заспокоиться.

— Та це спасыби вамъ за вашу ласку,—казавъ винъ,—спасыби! Тилькы жъ и Васыль Трохымовычъ!... и судди!... Ну, добре!... Я змовчу, тилькы я имъ колысь це згадаю!

— Такъ ось, доложу вамъ,—знову почавъ перепынену розмову Цупченко,—я й позычывъ гроши, трыдцять и п'ять рубливъ, Шоломиеви, а винъ мени рѣспыску выдавъ, що „по первому востребованію“, а колы ни, то його хата—моя буде. Теперъ же винъ

умеръ, дитей нема, удова сама зосталася. То чы можна мени зъ удовы гроши выправыты?

— Чому не можна? Абы роспыска. Йесть у вась?—пытався пысарь.

Цупченко розстебнувъ чынарку, вытягъ и давъ пысареву заялозену й пом'яту чвертку паперу. Пысарь уткнувъ у неи носа и забубонивъ: „18... даю сю росписку... по первому востребованію обяываюсь уплатить... Въ случаѣ неуплаты принадлежащее мнѣ недвижимое имущество... остается въ пользу его, Цупченка“...

— Гм... гм... Це ще якъ Лойко пысаремъ бувъ, то цю роспыску пысано?—спытавъ пысарь, прочытавшы.

— Эге жъ.

— Гм... гм... Тутъ, бачыте, не указано—хату, а „принадлежащее мнѣ имущество“—ось що.

— Та хиба жъ хата не имущество?

— Звисно,—имущество. Тилькы тутъ, бачыте, „принадлежащее мнѣ“. А всьому селу звисно, що Шоломій у прыймы до Новакивъ прыставъ, то хата не його, а жинчына выходыть.

— Та воно... адже вона йому жинка була, то хиба не одвича вона за його?

— Ни. Та й хиба вы не знаете нашихъ? Заразъ закрычатъ: прыймакъ, прыймакъ,—не його хата!

— Гм... Знаете що, Хомо Грыгоровычу? Моя вже дяка буде...

— Такъ, дяка... Що тамъ дяка!... Тутъ, бачыте, дило такее... уголовнее, колы що... Та й хиба я не знаю? Трыдцять п'ять рубливъ! Горилочки матинокы все наборъ, а тоди й трыдцять п'ять рубливъ...

— Тошно, було й такъ... А все жъ и своихъ грошей хочъ трохы давъ! Ну, та що тамъ казаты,—сыненька вже вамъ, а вже про могорычъ, то що й казаты: чого схочете—все буде!

— Сыненька... гм... То це вамъ хата за трыдцять и п'ять рубливъ буде (а хата така, що двисти рубливъ стоить), а мени...

— А проценты жъ, Хомо Грыгоровычу, а проценты? Ну, та вже хай дви троячки! такъ?—И Цупченко вытягъ зъ кышени калытку.

— Гм... Звисно—проценты... Тилькы жъ и дило таке, що...

— Та ось и дви троячки...—промовывъ Цупченко, кладучы на стиль шить рубливъ.

— Такъ...—одмовывъ пысарь, якосъ надзвычайно швидко прысуваючы до себе гроши та ховаючы ихъ у кышеню.—Тилькы жъ



подумайте, Семене Олексійовичу, якъ же його у прыговори напысаты незаконне рiшення...

— Та хiба не можна напысаты такъ, щобъ воно по закону було? А въ мене ячминь цього року не поганый—я бъ мишечокъ...

— Гм... Воно якъ два, такъ и краще бъ... Та ще въ мене кабанъ...—рахувавъ пысарь.

— Та буде й кабанови, и два мишечкы буде!

— Судди йдуты!—гукнувъ дидъ Опанась, вернувшыся.—И Шоломійку ведуть.

\* \*  
\*

Трое суддивъ уже сыдило на лави, а били ихъ за столомъ, зъ паперамы и навить зъ „Сводомъ законовъ“, и самъ пысарь, якъ уведено у волость Шоломійку. То була ще не стара, рокивъ може трыдцять п'ять жинка, але вже зистарена горемъ, недостаткамы та працею. Облычча змучене, немовъ злякане, руки тремтять. Вона тыхо й несмильво ввійшла въ хату, перехрестылася на образы, вклонылась и промовыла, зупынывшыся били порогу:

— Здорови булы, зъ вивторкомъ!

— Здорова, бабо, здорова!—гукнувъ одынь, уже трохы пидпылый, суддя.—Тутъ дило до тебе йе!

— Що жъ тамъ?

— А ось, позовъ на тебе йе. Позывають тебе.

— Кто жъ мене позывае?—тыхо спыталася жинка.

— А ось,—промовывъ пысарь,—Семень Олексійовычъ!

Семень Олексійовычъ уставъ изъ лавы.

— Такъ... Ну, Семене Олексійовичу, роскажить намъ, до чого ваше дило,—попрохавъ його одынь суддя.

Семень Олексійовычъ кахыкнувъ, выпростався трохы й почавъ:

— Та ось, дило таке, що не слидъ бы й турбуваты васъ, господа судди, та що жъ, якъ люде не правдою, а кривдою жывуть. Якъ ще жывыи бувъ чоловикъ оции жинкы, Мыкола Шоломій, то позычывъ винь у мене грошей трыдцять и п'ять рубливъ. И рѣспыска ось йесть... А теперь дило таке выходыть, що й самъ не виддавъ—такъ и вмерь—и ось жинка його не виддае.

— Ось рѣспыска,—промовывъ пысарь, даучы суддымъ паперъ,—рѣспыска справедлыва й законна.

Суддя взявъ роспыску, покрутывъ ии въ рукахъ и положывъ знову на стиль.

— Якъ же, титко? Позычала ты—чы хочъ твѣй чоловикъ—у Семена Олексійовыча гроши?—спытавъ одинъ суддя.

— И помылуйте, и пожалуйте, люде добри!—почала Шоломійка, вклоняючыся суддямъ.—Не знаю я, чы pozyчавъ винъ гроши, чы ни, бо я того не бачыла... А вы самы знаете, яке мое жыття було: тилькы й знала, що зъ шынку выглядала. И въ його жъ, у Семена Олексійовыча, тоди й шынкъ бувъ, то може винъ тамъ п'яный и pozyчывъ та й пропывъ десять разивъ.

— А рѣспыска?—запытавъ суддя.

— То що, шо рѣспыска? Я ии не пысала и не знаю й не бачыла.

— Якъ не знаешъ? Адже твѣй чоловикъ ии давъ, а ты не знаешъ?—гримнувъ пысарь.

— Не знаю, Хомо Грыгоровычу, не знаю!—знову уклоняється жинка.

Судди й соби не знали, що казаты. Цупченко, знову какык-нувшы, промовывъ:

— Господа судди! Дозвольте сказаты! Ось вона, жинка ця, каже, що не знае, що може чоловикъ пропывъ ти гроши. Господа судди! Адже вона мужняя жона, то якъ же жъ вона не знае й не одвичае за свого чоловика, мужа свого? И знову каже—пропывъ. Ну, то хйба що, що пропывъ?

— Та бачыте, якъ пьешъ наборъ, то воно потимъ усе якось удвое доводиться платыты...—почавъ бувъ одинъ суддя, чухаючысь у потылицы; але жъ Цупченко не взявъ того до ввагы и казавъ дали:

— Ну, то що хйба, що пропывъ? Це до мене всякый п'яныця зайде, гроши визме, пропье та й нема на його суду? Я не якъ небудь, у мене рѣспыска йе. Ось дозвольте, господа судди, рѣспыску прочытаты.

— Чытайте, Хомо Грыгоровычу!—промовылы судди.

Пысарь вытягъ зъ кышени хустку, голосно высякавсь, потимъ выкашлявсь, знову высякавсь й почавъ чытаты. Уси слухалы мовчкы и выдко було, що оприче пысаря та Цупченка, ништо ничего не розуміе.

— Бачышъ?—промовывъ до Шоломійкы пысарь, дочытавшы роспыску,—ось сказано: усымъ имуществомъ одвичаю. Розуміешъ?

Трыдцять и п'ять рубливъ мусышъ заплааты, або имущество яке есть—сыричъ хату—виддаты.

— Хату?—промовыла зъ ђстрахомъ жинка.—Та'дже жъ це моя хата, не чоловікова. Адже жъ винъ у прыймы прыставъ, и це мого батька зъ дида й прадида хата була,—то й теперъ моя, а не його. И оце я свое добро виддаватому за те, що винъ пічывъ?

— Эчъ! яка велеречыва та премудра!—промовывъ пысарь, перекрывлючы жинку.—Сказано тоби: жинка ты йому, то й одвицаешъ за його.

— Та воно справди,—обизвавсь одынъ суддя,—воно справди всякому звисно, що хата зъ дида й прадида Новакивъ була, а не Шоломивъ. То се щось не выходить...

— Якъ, не выходить? Що не выходить?—вызвирывся пысарь.—Новакивъ хата!... Новакивъ хата!... Ну, то що зъ того для дила выходить, що Новакивъ хата?

— Та, бачыте, щось воно не тее...—почавъ бувъ суддя.

— Не тее? що не тее?—роspалювався пысарь, пидскакуючы на своему стильци.—Що не тее?

— Та бачыте жъ: Шоломій позычывъ—зъ Шоломія було й правыты, а чого жъ теперъ на бидну жинку нападатыся?—боронывъ Шоломійку суддя.

— Именно такъ, якъ оце вы кажете: хйба я знала, хйба я видала, де и якъ винъ позычавъ? а хата моя, зъ батька, зъ дида й прадида моя.

— Ты вже мовчы, колы тебе не пытають!—гримнувъ на неи пысарь.—Якове Йвановычу! Петре Васильовычу! Грыгорію Семеновычу!—вдався винъ до суддивъ—ось слухайте, що я казатому. Вона каже: Новакивъ хата. Добре! Адже вона пишла замижъ за Шоломія, Шоломіевою жинкою стала?

— Такъ.

— А въ закони изображено,—ось у закони,—казавъ пысарь, стукаючы рукою по „Своду“,—изображено, що жона йеть, то-есть сказаты, рабыня мужа,—и що усе, що їи було, те його стало, йедына бо плоть и духъ едынны, а потому и добро все йедыне, для обохъ йедыне повинно буты. И понеже мужъ йеть хазяинъ и голова дому и йедынны властытель, то теперъ уже выходить, що колы ця жинка за Шоломія пишла замижъ, то не їи вже хата, а Шоломіева, чоловікова стала...

— Та чоловіка жъ мого нема...—почала була жинка, але пысарь гризно на неї глянувь и казавъ дали:

— Хата чоловіка стала. И якъ чоловікъ умеръ, то жинка, стало бутъ, тилькы володіє чоловіковымъ добромъ и того рады уси, яки йєсть, довгы й позычкы и прытензіи всяки—зъ цього добра повинни зыскуватися й правытися. Отъ якый законъ!—додавъ пысарь, втыраючы хусткою спитнилого видъ довгой промовы лоба.

Судди мовчали. Бачучы те Цупченко, промовывъ:

— Розсудить уже, будьте ласкави, господа судди, мене з нею: нехай або гроши вертає, або имуществомъ одвича. Розсудить по правди,—моя вже дяка й могорычъ буде...

— Та це звисно... промовывъ одинъ суддя.—А тилькы якось я не второпаю, якъ оце такъ, що хата іи була, а це видразу не іи зробылася?

— Якъ не второпаєте? якъ не второпаєте?—пидскочывъ пысарь.—Я жъ вамъ кажу: понеже и въ пысаніи, и въ закони стотить: мужъ и жона йєдына плоть йєсть и жона своему мужови у всьому корытися повинна, а мужъ йєдыный голова и властитель усьому дому, то того рады це вже не іи хата, а Шоломієва, чоловікова стала, и жинка, володіючы чоловіковымъ добромъ, мусыть його довгы сплачуваты.

— Розсудить, господа судди,—зновъ почавъ Цупченко,—моя вже дяка буде...

— И помылуйте, и пожалуйте, люде добри! Ничымъ я тутъ не вынна,—прохала жинка.

— Та глядять лышь, Хомо Грыгоровычу, чы такъ?—спытався одинъ суддя у пысаря.

— Такъ, такъ! Именно такъ и законъ изображаеть. и пысаніє глаголеть,—одмовывъ той.

Судди ще помовчали.

— Що жъ ты? Згожуєшся заплатыты?—запытався нарешти одинъ зъ ихъ у Шоломійки.

— Не могу я и ни зъ чого мени платыты,—видмовыла вона.

— Такъ ось же чуєшь—хату, кажуть, тоди въ тебе видберуть, бо въ роспысци, бачъ, якъ тамъ казано... усымъ, каже, мучествомъ чы що, одвигаю...

— „Въ случаѣ неуплаты, принадлежащее мнѣ имущество остается въ пользу его, Цупченка“,—вычытавъ зъ роспыскы пысарь.

— Чуешъ, титко, що напысано?—спытавсь одынь суддя.

— Та хйба жъ я знаю, що тамъ напысано, що воно й до чого? Мы люде темни. А хата наша, Новакова, спокон-вику.

— Якове Йвановичу! Петре Васыльовичу! Грыгоріе Семеновичу!—загомонивъ пысарь.—Ну що тутъ зъ якою небудь бабою дурною базикаты? Тутъ чоловикъ статечный, Семень Олексійовичъ, ось каже—не те, що баба ця,—та й роспыска йесть.

— Та треба жъ и ии роспытаты... одказавъ Грыгорій Семеновичъ по пысаревому, а по простому—дядько Грыцько.

— Та що тутъ роспытуваты!—сварывся пысарь.—Що тутъ роспытуваты! Адже йесть вамъ роспыска,—ну й треба пысаты прыговоръ.

— Пидождить, Хомо Грыгоровичу! А що, якъ мы не по правди зробымо? а що, якъ, може, треба такого прыговора напысаты, щобъ цыхъ грошей вона Семенови Олексійовичу не виддавала?—не покудавъ свого дядько Грыцько.

— Якъ не виддавала? Якъ оце такой прыговоръ?—роспынався пысарь.—Та вы знаете, що це вы кажете? Та вы знаете, що зъ цього буде? Колы вы такого прыговора постановыте, щобъ грошей не виддавать, то разъ те, що „прысутствіе“ його одминыть—оце разъ! (пысарь загнувъ палець); а друге те, що тоди Семень Олексійовичъ може на суддивъ пожалитыся за лыцепрїятство, сыричъ—неправедне, за-для своеи выгоды, рїшення... А вы знаете, що за таке лыцепрїятство по закону слидуе, знаете?

— Та де жъ намъ знаты? Мы люде невчени, законивъ не знаемо...

— То жъ то, що не знаете! За це васъ самыхъ пидъ судъ, у рештанськи роты виддадутъ—онъ якъ! Та я й пысаты такого вашого прыговору не хочу! А то ще й самъ за напысаніе одвичатыму.—И пысарь уставъ и пишовъ геть, а за имъ Цупченко.

— Що його тутъ роботы?—чухаючы потылицю, пытавсь Якивъ Ивановичъ.

— Та чуєте жъ, каже, що колы такой прыговоръ, щобъ не платыты, такъ и пысаты не хоче, бо й за пысання, бачъ, кара,—видмовывъ Петро Васыльовичъ.

— Це рахуба!... И жинкы шкода... Та може бъ ты, Параско, заплатыла гришмы; а то жъ чуешъ, хату видсудыть,—казавъ Якивъ Ивановичъ Шоломійци.

— Боже мій! Та зъ чого жъ я буду платити и дея тыхъ грошей визьму? У мене жъ и йисти иноди ничего!—жалилася жинка.

— И хто його зна, що й казати?...—бидкався зновъ Якивъ Ивановычъ.

— А на мою думку, такъ усе це не по правди! Усе це Хома крутитъ. Хата не Шоломѣва и плати зъ нею нема ніякои,—промовивъ дядько Грыцько.

— И якъ тамъ не по правди! Каже тобі пысаръ—не можна ніякъ бильше, ну й треба такъ пысати, щобъ Цупченкови хату,—озвався Петро Васыльовычъ.

— А правду жъ де ты сховавъ?—спытався дядько Грыцько.

— И жинки жъ жалко... Такъ чуешъ же—й кара, каже, за лицемирство, чы якъ винъ тамъ говорыть, велька. У рещтанськи роты, чуешъ...—лякався Якивъ Ивановычъ.

— Ну, а вже що пысаръ цей, то не збреше; уже колы скаже, що не одминять прыговору, то й зроду не одминять—отъ скилькы вже разивъ такъ було. Ну, а вже якъ сказавъ, що зламають прысудъ у „прысутствіи“, то вже того й сподивайсь, такъ и буде. Хиба то давно було, якъ Онъська Шапуваленка за такой прыговоръ „прысутствіи“ зъ суддивъ скинуло та ще й самого за малымъ пидъ судъ не виддало? Онъ якъ!—казавъ Петро Васыльовычъ.

— А теперь, бачъ, каже, що не те що видминять, а за лицедырство ще й рещтанськи роты, чуешъ, будуть!—обизвався Якивъ Ивановычъ.—И жинки шкода, и хто його знае, що й робыть?—миркувавъ винъ.

— Та вже мабутъ треба такъ, якъ пысаръ казавъ, пысати,—радывъ знову Петро Васыльовычъ.

— Ни, не такъ... ни...—казавъ дядько Грыцько.—Не по правди буде!

Шоломійка, що увесь той часъ стояла мовчки, упала теперь судьямъ у ноги.

— Ой помылуйте жъ и пожалуйте жъ! Куды жъ я подинуся, якъ изъ хаты мене выженуть? Чы мени пидъ тыномъ, якъ собаки голодній, здыхаты? Мое жъ добро, батькившына моя!—рыдала бидолашна жинка.

— Оце такъ!...—наспылыся судди.—Ну вжъ й здырця сей Цупченко—хату послидню виднима. Ну вже й чоловікъ!

Тилькы Петро Васыльовычъ мовчавъ.

- Та чы не можна бѣ якъ небудь іі вызвольты?  
 — Чуешъ же—лыцемирство...  
 — Якове Йвановичу! Петре Васыльовичу! Грыгоріе Семеновичу!—гукнувь пысарь зѣ другои хаты.  
 — А що?—спыталыся судди.  
 — Та ось идить сюды, щось казаты маю.  
 Судди пишлы.

\* \*  
 \*

Згодомъ трохы и судди, и пысарь, и Цупченко сыдили въ шынку, въ кимнати за столомъ. Тилькы Параска Шоломіева зосталась у волости дожыдаты суддивъ. Цупченко, зѣ пляшкою въ рукахъ, частувавъ по ряду кожного, прыпрохуючы й прыказуючы. На столи була закуска—чехоня й хлибъ. Уси пылы й йилы. Спорожнылы одну пивкварту, прынись Цупченко другу. Писля другои судди булы вже зовсимъ п'яни. Тоди Цупченко почавъ розмову про дило.

— Такъ якъ же, господа судди,—загомонивъ винъ.—Якъ буде дило?

Судди не заразы одмовылы. Першый озався дядько Грыцько:

— А що жѣ, Семене Олексійовичу, дило таке: помыриться вы зѣ нею, поладнайте. Не по правди бо й ваше дило.

Дядько Грыцько пидпывшы ставъ смилывійшый.

— Якъ же жѣ, господа судди, не по правди?—бидкався Цупченко.—За вищо жѣ мои гроши пропадатымуть?

— Що тамъ казаты: не по правди!—гукнувь Петро Васыльовичъ.—Якъ тамъ не по правди? Адже роспыска йесть!... А чоловікъ намъ могорычъ поставывъ!..

— Що могорычъ? Могорычъ—дурныця! Я могорычъ такъ: чому не выпыты зѣ чоловікомъ, колы трапляється? Колы звыкъ пыты—пый! Я самъ не пывъ спершу, а теперь уже ось четвертый рикъ суддею—навчывся пыты. И пью... Могорычъ шо!..—казавъ зовсимъ уже сп'янилыи дядько Грыцько.

— Ну, а що жѣ—дурно могорычъ пытымешъ?—сикався Петро Васыльовичъ.

— Не те!... А я не хочу, щобъ не по правди.

— Та що тамъ багато балакаты,—выкушайте ще чарочку на добре здоров'я!—прыпрохувавъ Цупченко, частуючы дядька Грыцька горилкою.

— Чарку? я чарку выпью... А тильки не по правди...

— Семене Олексійовичу,—стыха сипнувь трохи згодомъ пысарь Цупченка,—годи вже частуваты, а то вони й до волосты не дійдуть,—теперъ вони саме на пори...

И справди дядько Грыцько та Якивь Ивановычъ булы на пори,—вони вже наваду чы розумилы, де вони и що роблять. Тильки Петро Васыльовычъ ще не вгававъ и роспынався за Цупченка.

— Ну, треба у волость—дило кинчаты!—уоставъ пысарь.

Але винъ мусивъ сказаты се ще двичи, погы судди зроумилы його. Такъ-сякъ выбралися зъ шынку, прыйшлы у волость. Тамъ пысарь выславъ на який часъ Шоломіюку геть, а самъ скоренько надряпавъ „присудъ“,—звисно такой, якого треба було Цупченкови.

— Ну, Петре Васыльовичу, Якове Ивановичу, Грыгоріе Семеновичу, печати треба прыкладаты, давайте!

— Я заразы!—гукнувь Петро Васыльовычъ.

Якивь Ивановычъ мовчки вытягъ зъ кышени печать.

Вытягъ печать и дядько Грыцько, сылкуючысь вымовыты:

— И я дамъ, тильки не по правди... Вы такъ робить, щобъ по правди було...

— Та по правди, по правди зробымо,—казавъ пысарь, беручы печати, напалуочы ихъ на свичци и прытыскаючы до прысуду.

Якъ изроблено все, поклыкано Шоломіюку и прочытано й прысудъ. Бидна жинка тильки плакала, слухаючы його, и ничего не могла вже казаты. А судди вже не розумилы ни того, що пысарь чытавъ, ни слизъ ии...

## II.

Параска Шоломіева живе теперъ сама-одынока. Дитей Богъ не давъ выкохаты: одынъ хлопчыкъ бувъ, та й той умеръ, якъ помынувь йому дев'ятыи рикъ. Чоловикъ тежъ недавнечко вмеръ, навить роду ніякого блызького не зосталося—уси повмиралы. Сумне й одыноке жыття...

А колысь же не такъ воно жылося.

Сим'я ии заможна була: колысь старый батько по чотыри паровыци у Крымъ по силь водывъ, хазяйство чымале було, хата гарна, велька. У батька тильки двое дитей було: вона, Парас-



ка, та сынъ, одъ неи ажъ на п'ять рокивъ старшый. Любылы ихъ обохъ стари дуже й ничего имъ не жалилы. Братови було вже висимнадцять рокивъ, якъ винъ умеръ, зъ Крыму йдучы. И зъ того часу батько покынувъ чумацтво—не мигъ бильше й згадуваты про його—разъ тилькы сказавъ:

— З'йило воно въ мене сына.

Та бильше вже й не помынавъ.

Зосталася Параска у сим'и йедыначкою. И теперь уся любовъ батькова та матерына на неи повернулася—жыла якъ у рай дивчына: тилькы того не мала, чого бажаты на думку не спадало. Маты тилькы й жыла нею, а батько хочъ и журывся, що сынивъ нема и никому буде батькового добра доглянуты, а все жъ тилькы й утихы було въ його, що вона. Ще тилькы косу почала заплитаты, а вже маты пидйде було до неи й дывыться довго, замыслена, та й скаже потимъ:

— Ой доню моя любя! красно ты цвितешъ, та доведеться намъ розлучытыся, може пробыйголови якому виддаты тебе!

А батько, якъ що нагодытыся на той часъ у хати, то такъ, прыкро неначе, промовыты:

— Загадала про те, що колысь тамъ ще буде! Що то жинота!

А въ самого въ очахъ слъза замружие...

А потимъ и замижъ Параска пишла.

Сусида въ ихъ бувъ, удовынъ сынъ, двиръ изъ дворомъ жылы. Не въ свой жылы хати, у чужий, бо ахтѡви булы и свои не малы. Парубокъ гарный, чепурный, та на лыхо хазяйства въ його зовсимъ не було: батько п'яныця бувъ, то ничего сынови не покынувъ. То Мыкола (такъ звалы його) все бильше по наймахъ у мисти живъ и зароблявъ потроху—тымъ себе й матеръ, покы жыва була, на свити державъ. Ну, а то трапылось одного разу такъ, що не було де найнытыся и живъ винъ дома. Двиръ зъ дворомъ, садокъ зъ садкомъ жыла зъ имъ Параска, часто доводылося стрыватыся, то й спизналыся вони. И любыла жъ його Параска дуже,—за лычко вродлыве, за чорни бровы та за речи ласкави. Одно тилькы лякало ии—пывъ иноди Мыкола. Стала вона йому казаты:

— Мыколо, покынь пыты—не буде зъ того добра

— Що жъ мени—за свои гроши та й не выпыты? На чорта жъ и заробляты!

А трохи згодомъ роздумався, каже:

— Правду ты, Параско, мени райла: не буду пыты, а то й батько твій не виддасть тебе за мене.

И справди, поky бувъ у сели, то не пывъ. А якъ бувавъ у мисти, то тамъ не розмынався зъ чаркою, та про те ниxто не знавъ—ни Параска, ни батько ии.

Рикъ вони кохались. Мыкола на той часъ и въ мисти не живъ, а въ свого жъ такы селянына найнявся. Помынувъ рикъ, каже винъ Парасци:

— Доky будемо такъ по садкахъ ховаться? Треба мени хазяиномъ буты. Прышлю я старостивъ до тебе.

И прыславъ незабаромъ.

Вагались Парасчыни батько й маты, та й не троxy. Вагались тымъ, що не хотилося имъ, статечнымъ господарямъ, свою йедыначку-дытыну за безхазяйка даваты; вагались й тымъ, що ранійше троxy негарна слава про Мыколу була, хочъ теперъ винъ и бувъ доладнимъ парубкомъ. Та якъ роспыталася маты въ дочкы и якъ прызналася вона йй, що любить Мыколу—не схотили стари на перешкоди ридній дытыни статы,—подавала Параска рушныкы старостамъ.

Тилькы все боявся батько.

— Гляды,—каже було Мыколи,—виддаю я тоби Параску—не понехтуй моеи дытыны. И худоба вся, яку я надбавъ,—ваша жъ вона буде, якъ умру,—можна хазяиномъ буты, гляды!

А Мыкола на те:

— Богъ зъ вами, тату! Та я не знаю, якъ за васъ Господа молыты!

Прынялы зятя до себе въ прымы. И поky батько й маты живи булы, то гарно було Парасци жыты. Хочъ и здавалося йй иноди, що Мыкола немовъ щось не такый до неи зробывся, що менше вже винъ до неи душею прыхыляється, та мовчала.

— То мени тилькы здається такъ,—думала.

А ничого соби хазяинъ Мыкола вдався, а найбильше до батька вмі пидлестытыся. Такъ винъ коло його впадае, такъ йому догожае, що вже дали й никуды...

Умеръ батько, умерла маты, стали самы жыты на батьковому добри. И видколы почалы самы жыты, почала Параска горя зазнаваты—спершу потроху, а дали й повну выпыла того лыха...

Якъ умерь батько, заразь почавъ Мыкола пыты, покынувъ коло хазяйства впадаты. Казала йому про се Параска—спершу винъ мовчавъ усе, неначе соромъ було йому. Та такъ недовго було. Одного разу все вырнуло на поверхъ. Прийшовъ винъ п'яный. Параска щось и скажы йому про се. Якъ вызвирыться винъ:

— Хиба я не хазяинъ у своему добри? Все мое, усьому я одынъ хазяинъ—схочу пропыты, то й пропью. Досыть я гнувся та плазувавъ передъ твоимъ батькомъ—теперь моя воля! На чорта жъ я й бравъ тебе!

Зрозумила теперъ усе бидолашна жинка, та пизно тилькы...

И пишло п'яцтво, ледарство,—батькивщына якъ за водою йшла. Часомъ неначе бъ то й схаменеться Мыкола, мовъ бы коло хазяйства заходьтись—звисно, соромъ мужыкови, та ще й заможньому, купований хлибъ йисты, а свое поле не оране кыдаты,—ну й посіе винъ такъ, абы на харчъ, а тамъ знову... И тоди ни слъозы Парасчыни, ни благання ии, ни докоры—не пособляло ничего. Спершу тилькы лайку вона видъ його чула, а потимъ и быты почавъ. И почалося се зъ того саме часу, якъ зъ удовою салдаткою винъ спизнався. Тоди вже всього натерпилась Параска, всього зазнала...

И тяглыся такъ дни за днямы, тыжни за тыжнямы. Промынавъ такъ одынъ рикъ и другий, и третій. Одъ хазяйства зосталася сама хата, а зъ Параскы—выкоханой чепурной батьковои дочки—недочасно зистарена лайкою, бійкою, тяжкою працею та недостаткамы жинка...

\* \*  
\* \*  
\*

Параска Шоломіева вернулася зъ волосты до-дому, мовъ не пры соби маючысь. Лыхо, що несподивано впало їй на голову, зламало, прыдавило бидну жинку, взяло въ неи всю силу. Вона тилькы й могла розумиты одно, що ии выганяють зъ власной хаты, виднимають останній прытулокъ, останне добро. И ся думка такъ опанувала ии, що вона ничего не могла робыты, никуды не могла питы и все думала, думала про се. Забигала була до неи сусидка Мотря, хотила роспытатись, розважыты, та ничего не почула видъ неи, тилькы одно:

— Пропала я!

Але помынуло килька день—зъ волосты не приходять, ии не займають. Перша щочасня думка про те, що ось-ось ии выженуть зъ хаты, видминылася на иншу:

— А може вони зглянулыся на мои гирки слёзы, на мое вбозство—може не займатымуть мене.

Такъ думала вона, и надія потроху оживала въ ии побытому, наболилому серци. Ий хотилося впевнытыся въ сьому, и вона килька разивъ замирялася питы до Цупченка або до пысаря, щобъ роспытатыся. Але жъ мовъ якась невидома сыла не пускала ии, мовъ вищувало ий щось, що якъ пиде вона, то не добро видъ ихъ почуе.

— Нехай, - казала вона соби.—Жытыму мовчкы—може якось обійдеться.

Ии вона не йшла и ни зъ кымъ не хотила говорыты про хату, а жыла тилькы надією, що все буде, якъ треба.

Мынувъ третій тыждень, мынае четвѣртый. Параска трохы чы не певна вже, що зостанеться въ свой хати.

— То вони, мабуть, тилькы полякалы мене, а дали бачуть, що я не хылюся, то й кынулы.

Такъ вона думае и заспокоюеться тією думкою, почынае навить хату лагодыты на зиму—викна обмазуе, щобъ не такъ холодно було, то-що.

Бидна! Вона не знае, що ии ворогъ Цупченко тилькы жде, щобъ прысудови волосного суду выйшовъ законный терминъ—одынъ мисяць!

Але вона незабаромъ довиладала про се...

Одного дни вона тилькы пообидала й почала вымитаты хату, колы чуе—у двори загавкала собака. Параска вызырнула у винокно: у двирь увійшовъ пысарь, а за имъ Цупченко й староста. Виныкъ выпавъ ий зъ рукъ и вся тремтючи й зблиднувшы, стояла вона посередъ хаты.

Брязнула клямка, увійшлы гости въ сины. Параска чуе пысаривъ голосъ, винъ каже:

— Ну, Семене Олексійовичу, ось вы и въ свой хати!

Одчыняються двѣри, ось уже въ хати гости—вси трое; староста „пры знакови “

— Здорови булы,—каже староста,—зъ вивторкомъ!

Але Параска не може видмовыты й тилькы мовчкы дывытыся на гостей та трусытыся.

— Прыймай, бабо, гостей у хату, а хочь не гостей, а хазяина, —гукнувъ пысарь и додавъ потимъ, повертаючыся до Цупченка:

— А непогана хатка, Семене Олексійовичу!—Йй-бо!

— А за свои гроши—не дурно прыпала,—видмовывъ той, обглядаючы хату навкругы.

— Ну, бабо,—знову почавъ пысарь,—часъ-пора тоби, кажу я, хазяина въ його хату пускаты. Чуешъ?

— Якого хазяина?—ледви змогла промовыты Параска.

— Якъ то—якого? Эге, та чы ты, дурна, й доси не знаешъ? Адже строкъ ришенню вийшовъ—мисяць. Ты у „присутствіе“ не подавала—значыть хата теперь уже не твоя, а Семена Олексійовича. Такъ законъ каже.

— Именно, якъ законъ каже, по закону!—додавъ звычайненько Цупченко.

Такъ онъ воно що! Онъ чому и сей мисяць не займано! А теперь, бачъ, строкъ вийшовъ...

— Чуешъ же, бабо,—загомонивъ уже Цупченко,—до завтрыго щобъ выбралася видсила зъ своимы манаткамы, бо мени на завтра хату треба И щобъ безпреминно!

— Эге жъ, безпреминно!—додавъ пысарь.—А не схочешъ сама, то й за ноги выволочемъ. Чуешъ? Ось тоби й староста—и винъ тоби велыть. Старосто! скажите йй! Чого жъ вы мовчыте, наче васъ тутъ и нема?

Староста не знавъ, на яку ступыты, бо почувався зовсимъ погано, устрявшы въ таке дило, и ледви мигъ промовыты:

— Та що жъ... И я... звисно, такъ...

Йому було ніяково й тяжко гляднты на зблidlу, змертвилу жинку.

— Ото жъ щобъ знала, и хата завтра щобъ порожня була, та безпреминно!—знсву промовывъ Цупченко.

— Ну, ходитъ уже—теперь йй уже об'явлено,—сказавъ пысарь, повертаючыся до дверей.

— Ходитъ!

Пысарь и Цупченко ще въ хати понадивалы шапки й вийшлы, а за имы позаду староста, похнюпывшы голову.

Параска хотила була скрыкнуты, щось сказаты, але въ неи не стало сылы. Вона мовчкы, якъ пидтятя, схылылася на лаву.

Такъ онъ що!

Онъ чого и доси не выгонено: строкъ не выходывъ! А теперъ выйшовъ уже той строкъ, и ии выганяють якъ собаку, выганяють зъ власной хаты, зъ тїи хаты, де вырись увесь ридь ихъ, вырись ии батько, выросла й вона. Кожна дощечка, кожна брусныка, коженъ килочокъ у сїй хати такый ридный ий бувъ, бо зъ кожнымъ йєдналась якась згадка про минули часы. Дывлячыся вона на пичъ, згадувала, якъ самъ старый батько ии робывъ, и вона в'являла соби батькове облыччя, його голось, його розмову... А онъ божныкъ, що вона зъ матир'ю колысь прыбывала, якъ батько на ярмарку нови образы покупывъ. Яка рада була тоди вона, ще невеличка дивчынка, сымъ новымъ блыскучымъ „богамъ.“ Зъ якимъ побожнымъ бстрахомъ дывлялась, якъ батько, загорнувшы образы у вельку хустку, понисъ ихъ у церкву посвятыты, якъ потимъ прынисъ ихъ и побожно на ихъ помолывшыся, постановывъ на божныкъ... А онъ покутне викно поламане, гвиздкамы збыте. Охъ, якъ давно се було! Се тоди, якъ вона ще дивчыною була. Дома никого не було—вона та подруга Мар'яна. И завелься вони ганятысь одна за одною. И доты ганялыся, покы Мар'яна, скочывшы на лаву, спиткнулась и падаючы вдарылася плечемъ просто въ ряму. Ряма въ одному мисци поламалася... Полякалысь вони... Параска на себе сказала, и батько ничого, не лаявъ, а полагадывъ мовчкы, и онъ и доси мицно держыться дебело зроблена ряма. И одъ сього wypadку Парасчына думка перейшла до всихъ минулыхъ, давнихъ часивъ, и передъ нею замыгтылы, забыщалы мовъ чудове малювання—давни весели дытячи лита. Малювання те померхло було, затерлося въ души на якый часъ, але теперъ знову немовъ поновылося й виджыло новымъ жыттямъ, и блыщать на йому хварбы, и слиплють вони очи бидолашній одынокій жинци, повытїй мрїямы... И радости, и муки тыхъ святыхъ часивъ, и слъозы, и смихъ, и сонце, и хмары—усе вставало передъ нею и сповняло змучену душу немовъ якоюсь новою сылою, немовъ зновъ ии до жыття тягло... Тилькы ось середъ сыхъ блыскучыхъ и любыхъ малюваннивъ почынають уставаты инши, похмури й смутни, де сами хмары, и нема сонця, де сами слъозы, и нема смиху. Що се? Се вони, ти прокляти дни, що ий довелось прожыты писля батьковои смерты...

Вона не хоче про ихъ думаты, бо невымовна туга обнима іі, але не може... Малювання за малюваннямъ, образъ за образомъ зновъ устають и плывуть... И выразнійше видъ усихъ одно,—те, що ніколи не зникне у неї зъ пам'яті.

Параска бачить його п'яного, розхристаного, у драній сорочці, зъ скуйовдженимъ волоссямъ, зъ побытымъ обличчямъ після бійки въ шинку за ту салдатку, зъ безглуздыми й лютыми, по звирячому выраченими очыма, зъ стысненими кулаками. Винъ стоить проты неї...

— Я тебе вбью, тильки ты мени слово про це скажешъ, тильки нагадаешъ про неї!...

И винъ почавъ быти іі кулаками по голові, по обличчю, въ груди... Вона впала до-долу, а винъ усе бувъ іі, бувъ рукамы й ногами и крычавъ-ревивъ: убью!

Здригнулася Параска й прочнулася. Невже смеркається? Скільки жъ вона згаяла часу за своїми думками! Вона встала и тутъ тильки помитыла, що цупкый холодъ панувавъ у хаті. Вона глянула й побачыла, що гости не прычынылы дверей. Параска пишла зачыняты. Глянула—у дверяхъ дирка, такъ и дме витерь. Треба заткнуты чымсь,—думає Параска. Але на що жъ його затыкаты?—заразъ же встає инша думка.—Адже теперъ ся хата не іі,—хиба жъ ій не однаково, чы буде тутъ холодно, чы тепло?

Не іі хата!.. Ой проклятый сей Цупченко, проклятый! Винъ іі грабувавъ и теперъ грабує. Скільки винъ выдурывъ ще въ Мыколы, якъ той жывый бувъ, а теперъ и въ неї останне видимає. Звиръ лютый!

И невымовна злисть, лютість зайнялася въ грудяхъ у Параски. Ій схотилося чымъ небудь оддячыты йому, сьому Цупченкови, що зробывъ ій стильки горя, схотилося помстытыся надъ имъ, хочъ шобъ йому зробыты—вона все зробыты, абы тильки вразыты, дошкулыты його, проклятого! И вона вся стрепенулася, але знову зупынылася, не знаючы, що ій зробыты. Та потимъ згадала:

— А, ты хочешъ цю хату взяты, хочешъ у мене іі видняты? Такъ не виднимешъ же ты іі, ні, не виднимешъ: я тоби спалю іі, порубаю!

И вона вхопыла соқыру з-пидъ лавы и сама не тямлючы, що й якъ вона робыты, почала рубаты й ламаты все, що трапля-

лося пидъ руку: и пичъ, и лаву, й стину, не зважаючи ни на що, опанована однією думкою: помстытыся надъ имъ, надъ проклятымъ!

— Нехай знае, нехай знае, що я йому не попущу цього! не моя ката, такъ и не його жъ! А я не попущу своєї батькивщины!..

И вона знову рубала й рубала. Але де дали, то малосыли руки все дужче втомлялыся, вона ледви махала сокирою, бьючы вже обухомъ, а не гостріемъ, и не помичаючи того; дали вся іи истота, стомлена й змучена тяжкымы турботамы, не выдержала, и Параска нарешти видразу впала до-долу, якъ мертва, безъ слова, безъ стогнанья. И вона лежала середъ порубаныхъ лавъ, печи, столу, середъ недорубкивъ и клаптивъ зъ одежи, лежала въ тій самій хати, якои ій такъ не хотилося выдаваты. Лежала нерухомо, не почуваючы й не розуміючи ничего. А на двори вже лягала ничъ, загортаючи все въ чорне запынало, и бурхливый, холодный осинній витеръ завывъ и заскиглывъ, немовъ одправляючи темный похоронъ надъ сымъ розбытымъ, роздавленнымъ жытямъ...

\* \*  
\*

Другого дни Параска выбралася зъ своєї хаты. Ии прийняла до себе одна вбога сим'я.

Мынуло килька рокивъ.

Тамъ, де жылы цили поколиння чесныхъ хлиборобивъ, теперъ стоить гучный галасъ, чуты п'яни выгуку, лайку—се теперъ тамъ Цупченкивъ шынкъ.

А на сильському кладовыщу йесть одна могылка зъ невеличкымъ хрестомъ. Вона прытулылась одыноко въ куточку. В-осены гуляе по ій витеръ, мочыть іи дощъ, зимою замита завирюха—скоро зривняесться могылка зъ землею. И тоди нихто не буде знаты, де знайшло соби видпочынокъ бидне перемучене сердце. Та й теперъ уже мало хто знае, и старчыха Параска й на кладовыщу така жъ одынока, якъ була и въ жытти.

1886.





## Сестрыця Галя.

Оповидання.



Старый Иванъ Лаврусь скынувъ обрыдлыву сльозу, що пробигла по всьому выдови й повысла йому на довгому сывому вусови. Винъ скынувъ сльозу сердячсь,—бо хиба жъ подоба плакаты старому дидови, що вже йому на п'ятый десятокъ звернуло? Ни, се брыдня! Де люлька?

И винъ знову почавъ распалюваты свою люльку, що трычи вже їи распалювавъ, и трычи вона гасла. Але жъ и сього разу не довго вона стремилла въ зубахъ у Йвана. Зновъ обляглы чорни думы сыву йому голову, и похылылася голова надъ столомъ. А люлька, зновъ забута, лежала доси вже пидъ ногами, и Йванъ їи не бачывъ: винъ теперь ничего не бачывъ у сїй хати, бо не наче якыйсь туманъ застылавъ йому очи, не дававъ глядиты. Ось винъ усе бильшае та бильшае, сей туманъ, ось уже винъ зовсимъ заслонывъ йому очи, и щось гаряче пробигло по щоци и зновъ повысло на сывому вусови. Эге, п'ятый десятокъ доживае,—не мало рокивъ проживъ, та не плакавъ никола Йванъ, хиба що якъ хлопцемъ малымъ бувъ, а теперь довелося заплакаты.

Та й не дурно жъ старый плаче: його дружыны, що зъ нею винъ мало не трыдцять рокивъ проживъ, якъ рыба зъ водою проживъ, теперь їи нема: вона лежыть мертва у холоднїй ями. Що винъ, старый, теперь дїятыме на свити самъ, одынокый, та ще й зъ трьома дитьмы малымы? Не давъ же Господь йому щастя: вси вельки повмиралы, зосталыся дома тилькы мали,—дванадцятий рочокъ найстаршїй дивчыни Гали. Ось де вони вси трое сплять тыхо, впокійно; тилькы у Гали знаты ще сльозы на лычку: мабутъ плакала такъ, якъ отсе теперь винъ, старый, плаче.

И зновъ щось гаряче по щоци—кить-кить. Але винъ того вже не чує. „Двадцять и шість рокивъ зъ тобою, Насте, прожылы, а теперь довелось розлучатися“...

И почало йому, старому, згадуватися все, що тоди ще давно було. Якъ то воно молоди лита згадуются такъ легко! Ось теперь: сьгодні що зробишь—завтра вже й забудь. А ти, далеки лита не забуваються...

Отъ же не забудь, якъ вони пидъ вербами удвохъ сидылы, якъ на вулицы стривалыся.

— Выйдешъ сьгодні, сердце?

— Биля крыныцы жды!

И винъ ждавъ... Гарно тоди було... А тамъ весилля... Бучне було,—тоди ще горилка дешева була. Такъ, весилля... Тоди ще кумъ Семень почавъ пыты варену зъ мыскы и край у мысци выкусывъ. И такъ и згадалось йому Семенове облыччя,—червоне, очи вырячени, самъ винъ до мыскы прыпавъ... На що воно згадується такъ?

А якъ диты пишлы!... Господы! яки вони ради имъ булы. Такъ ни жъ: тройко малымы вмерло, дочка замижня була—въ землю полягла...

И ось зненацька ще дужче у Йвана сердце защемило: се щось нове згадалось. Господы! й на вищо винъ такъ зробиывъ тоди! Винъ николы ии не бывъ, ни... Тилькы разъ се було: винъ зъ шынку прыйшовъ — уся громада була тоди въ шынку, и винъ бувъ... И за вищо винъ ии вдарывъ? Не згада вже теперь, тилькы зна, що вдарывъ просто на одмашъ кулакомъ. Хотивъ по голови, та п'яный бувъ—похытнувсь, у груди влучывъ. А вона й не заплакала... Вона зроду вперше видъ його быта була: якъ стояла, такъ и впала на пиль, мовчыть, тилькы за груди вхопылася, на його такъ дывыться... Якъ вона тоди дывылася!... Винъ и теперь неначе той поглядъ бачыть. Охъ на вищо жъ винъ се зробиывъ!...

— Мамо!—скрыкнувъ з-просоння невеличкый хлопчыкъ, що спавъ на полу.—Мамо!

И винъ росплющывъ очи, подывывсь навкругы и ще сонный, пидвивсь и сивъ на полу.

— Мамо! Де мама?—пытався винъ.

Дали хлоп'я замовкло на хвылыну, а потимъ мабуть одразу йому згадавсь учорашній похоронъ, и винъ скрыкнувъ изнову:

— Мамо! Я хочу мамы!—и облився слизьми.

Дви дивчыны: бильша—Галя и менша—Одарка—тежъ попрыкыдалысь одъ голосиння братового и повставалы. Одарка заразь же почала вдвохъ изъ братомъ клыкаты маму й плакаты.

Сей выпадокъ розигнавъ Иванови мріи. Винъ пидійшовъ до плачущыхъ дитей.

— Не плачте, диткы, годи!—промовлявъ винъ, голублячы ихъ.

— Я маму хочу!—не вгававъ малый Васылько.

— Маму!—хлыпала, тручы рукамы очи, Одарка.

— Мамы нема, диткы...—тыхо, ледви промовывъ батько.—Мамы нема: вона пишла... до титкы Маруси. Ось пидождить, скоро вернеться...

— Ни, ни!—голосывъ хлопецъ.—Тато не такъ кажуть: мама не пишлы, мамусю въ яму закопано вчора. О! На вищо въ яму! Я не хочу такъ,—тамъ холодно мами!

И диты зновъ облылыся дрибными слизьми. Тилькы Галя, сыдючи въ кутку, хочъ и плакала, але тыхо, сылкуючыся вдержуваты слъозы, що такъ и сыпалыся зъ карыхъ оченяты и теклы по билому скудлому выдохку. А дали, мовъ перемигшы себе, вона втерла слъозы и сыдила не ворущучыся, тилькы ии маленьке тильце здригалося раз-по-разъ то зъ жалю тяжкого, то зъ холоду, що панувавъ у нетопленій хати. А Васылько зъ Одаркою все плакалы, та й плакалы, голосно клычучы маму. Иванъ не знавъ, що й робыты. Колы се Галя встала, ще разъ утерла останни слиды видъ слизь и пересила до дитей. Вона обвыла имъ шыйкы своими тоненькымы рученятамы, прыгорнула ихъ обохъ до себе й почала розважаты. Иванъ не чувъ усього, що вона имъ тыхенько шепотила на вуха, винъ почувъ тилькы деяки урывкы:

— Не плачь... Я кашкы зварю... Ну, ну—годи... Я тоби ляльокъ нароблю и „котка“ заспиваю...

И бидна маленька дивчынка, сама ледви вдержуючы слъозы, почала спиваты „котка“, ту саме писню, що такъ недавнечко спивала надъ нею мама, люба мама, що лежить теперъ у холодній, снигомъ заметеній ями... И якъ ии колысь бавыла мама сією писенькою, такъ и вона розважае теперъ нею своихъ маленькыхъ „братика й сестрычку“, що такъ, якъ и вона, зосталыся безъ мамы.

Спершу диты мало їи слухалы, але потимъ почалы плакаты тыхше, а дали й зовсимъ замовкы и тилькы хлыпалы раз-по-разъ. И вже тоди, якъ хлыпання стыхло, и Галя втерла обомъ слъозы, Васылько промовывъ:

— Я вставаты хочу!

Галя почала його вдягаты, обуваты чоботы. Гараздъ напрацювавшыся зъ Васылькомъ, Галя заходылася бия Одаркы. Тутъ дило було лекше, и незабаромъ вона вже вмывала обохъ дитей. Васылько спершу почавъ бувъ змагатыся, кажучы, що винъ не хоче вмыватся, бо холодно, и треба було довго вмовляты його, покы винъ згодывся на вмывання та на чесання, бо й його винъ не любывъ за те, що „тоди скубеться“. Але потроху Галя поборола вси ти труднаци.

— Тату! я йисты хочу!—тыхенько промовыла Одарка, хапаючы батька за рукавъ.

— И я хочу, снитаты хочу!—завивъ и соби Васылько.

Бидолашний батько полизъ на польцю по хлибъ.

— Я не хочу хлиба, я хочу кулешыку!—не згожувався хлопець.

— Сынку, нема кулешыку; ось пидожды—я зварю.

— Я не хочу пидожды, я заразъ хочу!

И знову слъозы. Старый не знавъ, що й робыты. Тутъ знову довелося Гали розважаты дитей. Чы про кулешыкъ вона имъ шепотила, чы про що инше,—тилькы воны й сього разу почалы потроху затыхаты. Зридка тилькы чуты було Васылькови выгуку:

— А я такъ не хочу! Я хочу отакъ!

Та скоро й винъ замовкъ. Диты почалы грызты хлибъ. Васылько, насупывшысь, ухопывъ обома рукамы окраецъ и зъ усїи сылы кусавъ його своїмы бильмы зубамы. Винъ ще не покынувъ дуты губы й очевыдькы захожувався щось выгукнуты. Надто въ хати було такъ холодно, що въ дитей посынили руки.

— Я змерзъ!—зарепетувавъ хлопець.

Галя мыттю кынулася, знайшла юпчыну, вдягла брата й сестру.

— И солы нема!...—додавъ винъ дали, показуючы Гали свїй хлибъ.

— И мени солы!—попрохала Одарка.

Галя густо насолыла дитямъ хлибъ цупкою сирсю силлю.

Теперь уже помы не було чого голосыты, и диты на якый часъ зовсимъ заспокоилысь и мовчали.

А Иванъ тымъ часомъ думавъ про те, якъ то винъ буде поратыся. Диты голодни, имъ треба чогось изварыты.

И винъ пишовъ зъ хаты, нарубавъ и внисть дровъ, дали почавъ ростопляты въ печи. Що жъ його варыты? Кынувся шу-каты чого небудь—знайшовъ пшона.

— Зварю хочъ кулишу,—думае.

И винъ почавъ змываты пшоно. Змывъ, у горщыкъ усыпавъ.

— Э, дурный! На що жъ я всыпавъ? Треба спершу окрипъ нагриты.

И винъ высыпавъ пшоно зъ горщыка. Дали...

Дви маленьки рученькы зненацька обхопылы йому шыю, добри кары оченята, трохы заплакани, глянулы йому въ вичи.

— Тату, кыньте,—я зроблю... Я знаю...

Иванъ дывуючыся глянувъ на Галю.

— Годи-бо, тату, не займайте, я сама впораюсь,—казала вона.

— Куды тоби, дочко, ты ще мала!—видмагався батько.

— Я хочъ мала, а я знаю... Я навчуся ще, а теперъ якъ небудь—мамы нема...

Дви слъозыны знову заблыщали у дивчыны на очахъ.

Иванъ мовчки видйшовъ одъ печи и сивъ била столу. Одарка та Васыль сыдили въ кутку на полу й мовчки дывылыся то на батька, то на Галю.

А вона тымъ часомъ не гаялася. Вона поперемывала горщыкы, поналывала, яки треба, й почала становыты въ пичъ. Одынъ горщыкъ бувъ й важкый—вона поклыкала батька:

— Тату, пособить!

Иванъ схопывсь и поставывъ горщыкъ у пичъ.

Дали маненька господыня знайшла десь капусты, сала й увесь хазяйчынъ надобокъ и почала поратыся, якъ справжня господыня. И тутъ маненьки рученята не зовсимъ спершу слухалыся, та дали звыклы. Иванъ довго мовчки дывывся на неи.

— Хазяйкою буде!...—гирко всмихаючыся, промовывъ и пишовъ зъ хаты.

А диты й соби, дывуючыся, глядили на свою маненьку сестру. Ще недавно вона зъ ими въ ляльки гулялася, а теперъ онъ уже пораеться. И вдягае ихъ, и годуе, и варыты—зовсимъ, якъ мама.

— Галю, кожухъ изсунувсь,—озывается братъ.

Галя кынула пичъ и побигла вдягаты його. Винъ учепывся йй за шыю.

— Галю, ты мени кулешыку зварышь?—пытався хлопецъ, за-  
звараючи йй у вичи.

— Зварю, зварю,—казала вона, гладючи його по голови.

— Ты мене отакъ, якъ мама, погладь!—казавъ Васылько, на-  
правляючи йй руку.

И вона гладыла його, якъ мама, а въ самой слъозы на  
очахъ бренилы.

Маненька Одарка й соби сипала ии за руку й жалилася:

— Хлибъ твердый: я губу соби вдрыгнула,—болыть.

И вона пидставляла свою голову пидъ сестрыну руку. И  
сестрына рука гладыла тоди обохъ.

— А скоро кулешыкъ? Я кулешыку пидожду,—казавъ голод-  
ный хлопецъ.

— Пидождить, пидождить—ось я заразы,—одмовляла Галя и  
зновъ кыдалась до печи, але не надовго, бо раз-по-разъ то  
братъ, то сестра скиглилы, що имъ або „носа треба втерты“,  
або „почухаты, бо щось куса“, або ще чого иншого. И Галя вты-  
рала носа, чухала тамъ, де свербыть, або ще чымъ иншымъ удо-  
вольняла дитей...

\* \*  
\*

Сумно тягнеться день.

Батько то ввійде въ хату, то зновъ пиде,—выдко, що винъ  
не знайде соби дила. Винъ и не говорыть ничего, бо все, про  
вищо ни забалака, нагадуе и йому, й дитямъ велыку втрату.  
Тилькы иноди скаже имъ яке слово, якъ вони про вищо въ  
його спытаються, або пожалуе ихъ мовчкы.

Диты—тежъ смутни-невесели—не граються навить. Одарка  
вытягла була черепокъ изъ своимы лялькамы и почала ихъ садо-  
выты на лави. Вона хотила гулятысь такъ, якъ и ранійше: маты  
пустыла дитей у лись по ягоды, тамъ ихъ напавъ вовкъ—ледви  
втеклы. Вона вже почала була казаты за дитей:

— Мамо, пустить насъ...

Але те слово „мамо“ зновъ нагадало йй забуте на хвылыну  
власне горе, и вона голосно заплакала, кынула ляльки й зализла  
на пиль у кутокъ.

Галя поралась, нагодувала дитей сніданнямъ, потимъ обидомъ,—батько не йивъничого.

По обиди Васылько пидійшовъ до батька, що сьдивъ на лави й мовчки думавъ свои невесели думкы.

— Тату!—почавъ винъ, учепывшыся йому за руку.—Тату!

Його лычко зробылось одразу якесь поважне, зовсимъ не такъ, якъ у дытыны.

— Що, сынку?

— Тату, Галя намъ теперь мамою буде,—промовывъ хлопець, показуючы на сестру.

— Буде, буде!—шепотивъ батько, ледви вдержуючыся, щобъ знову не заплакаты.

— Вона—якъ мама,—зновъ розказувавъ хлопець,—вона кулешыку наварыла, вона вдягла мене...

— Такъ, сынку, такъ,—вона тобі все зробыть, а ты не плачь, грайся—все буде...

\* \*  
\*

Уже повечерялы. Сумно повечерялы—перша вечеря безъ матери. Старый батько лигъ на печи, диты й соби почалы лягаты.

— Галю, роззуй мене!—прохавъ Васылько, сьдуючы на полу и простягаючы до сестры вбуту ногу.

— Заразъ, Васыльку, заразъ!

— Галю, а мени спидныцю скынь, а то зотяглась вузломъ, такъ не розвяжешъ!—озывалась Одарка.

И Галя, не можучы подужаты рукамы, зубамы почынала розвязуваты зотягнений вузоль.

Та такы послалыся й пороздягались; Галя повклала й повкрывала диты.

— А мы, Галюсю, не хочемо спаты,—роскажы намъ казочки!—прохалы воны.

— Про трюхъ сестеръ та про калынову сопилочку,—додавала Одарка.

И Галя, прымостывшысь биля ихъ на полу, почала казку:

— Бувъ соби, жывъ соби дидъ та баба и було въ ихъ тры дочкы и що-найменшу Галею звалы...

— Галею? Якъ тебе?—перехоплюе хлопець.

— Эге, якъ мене... Отъ и пишылы воны одного разу в-литку по ягоды. То ти сестры рвуть та йидять, а Галя рве та въ глечыкъ кладе, каже:—понесу до-дому татови й мамуси...

— Такъ, якъ ты,—зновъ каже хлопець.—И ты такъ: нарвешъ ягидъ и намъ прыносышъ. А ягоды таки солодки!

— Ну, цыть же, не перепыняй!... То ти сестры й кажуть:—Якъ мы до-дому вернемось? у неи скилькы ягидъ, а въ насъ нема. Давай уьемомъ ии, а ягоды заберемо...—росказувала Галя, а диты все слухалы. Маненька Одарка пидвелася трохы й зипершысь щичкою на руку, дывылася замысленымы очыма на сестру, а Васылько й соби прытыхъ и тилькы, не видрываючы очей одъ сестры, пыльно, жадибно слухавъ, бо се така гарна казка!

Онъ Галею вже вбыто—бидна вона!—и въ землю закопано. А на могыли калына выросла. А вивчаръ сопилку зъ калыны выризавъ, грае:

Ой, помалу-малу, вивчарыку, грай,  
Та не вразы мого серденька въ край:  
Мене сестры зарубалы,  
Пидъ кушыкомъ поховалы,  
Ще й ногамы прытопталы...

Слухають диты, якъ Галя спивае, а дали зновъ тыхи слова зъ казкы немовъ ллються одно за однимъ у чудовій дытячій вымови. Довго тягнеться казка, а тамъ и друга. И потроху очи заплющуються, тыхый сонъ оповыва диты, и схыляється Одарчына голова на подушку поручъ изъ братомъ, що заснувъ уже пидъ Галыне оповидання.

Поснули диты, навить старый батько заснувъ. Тилькы Галя не спыть—се маненьке худеньке дивчатко зъ карымы оченятамы, ся нова мама симъ дитямъ. Вона тыхо встае и йде насередъ хаты. Вона ще не молылася на ничъ и заразы молытыся буде. И стае дивчына навколишкы й тыхо шепоче молытвы, не розумючы ихъ, каличучы слова, але жъ безъ краю вирючы каже ихъ. Ось вона проказала Отче-наша, Богородыцю. Бильше вона не знае ни одній молытвы. Вона теперь такъ помолытыся, сама видъ себе.

Билылицый мисяць тыхо пльвъ высокымъ небомъ, розываючы свое срибне проминня. Пльвъ и оглядавъ свить шырокий,



а оглядаючи зазырнувъ у маленьку хатыну, де маленьке дивчатко тыхо шепотило молитвы, стоячы навколишкахъ.

— Господы! визьмы мою маму до себе зъ холодной ямы—нехай йй у тебе гарно буде. И мени дай, Господы, щобъ роботы навчылася, щобъ замисть мамы стала братикови й сестрыци...

Глянувъ мисяць на дивчатко и, зачудованый у святому здывуванню, немовъ зупынився на неби, облываючи маленьку дивчынку, що молилася середъ хаты, моремъ свого сриблястого проминня. Чы бачывъ винъ, вичный безъ краю, колы небудь таку дивчынку, чы чувъ таку молитву? Колы бачывъ и чувъ, то чы однисъ же Богови ту молитву, щобъ Винъ обитеръ слъозы на схудлому облыччю? Хай же винъ и теперъ виднесе ии, сю молитву, туды, передъ престиль Довичньому й положить Йому до нигъ, яко найчыстйше й найсвятйше почування маленького дытячого серденька!...

А вона все молилася, у мисяшному свити стоячы, мовъ ясный неземный духъ чыстои любовы. А потимъ, положывшы тры поклоны, устала, пидйшла до брата й до сестры, вгорнула имъ ноги кожухомъ и сама лягла билиа ихъ, накынувшы на плечи свытыну.

И довго стоявъ мисяць зачудованый, довго дывывсь у викно, ллючы небесный свить у хату, ажъ погы якась хмарка набигла й сховала його...

1885.



## Непокирний.



еперь уже выразно було видко, що новий учитель—чоловикъ непевный. Тому було багато доводивъ.

Найсампередъ—учитель ни до кого николи не ходивъ (розумилося: до людей статечныхъ) и сыдивъ у свой школи то зъ дитьмы, то зъ якымысь кныжкамы. Що тому була правда, мигъ посвидчыты шкильний сторожъ, що бувъ за сторожа й у волости. Друге—винъ не мавъ ніякого „благородного выду“ и тилькы одежою видризнявсь одъ мужыкивъ, бо розмовлявъ „по мужыцькому“. Трете—винъ, якъ выпускавъ школяривъ погратысь, дуривъ якъ маленький, гуляючы зъ имы у м'яча, ганяючы наввыпередкы або ще яки гранья выгадуючы; таку „кумедю“ шо-дня мигъ бачыты и старшына, и пысарь, и всякый, хто бувавъ у волости, бо школа була въ одному двори и навить въ одному будынкови зъ волостю. Четверте—винъ самъ соби варывъ йижу та ще й у гурти зъ тымы школярамы, що ночувалы въ школи. Нарешти—винъ ходывъ по лисахъ та по лукахъ, збиривъ якись квиткы, каминци и всяку таку дурныцю, и все те обережно ховавъ. Про сей останній пунктъ старшыныха погадала навить, що чы не ворожбытъ винъ якый, але жъ сю думку не взявъ соби до ввагы освиченый пысарь, и старшына просто сказавъ жинци, щобъ вона не встрявала, куды йй не треба.

Але жъ сього мало. Винъ бувъ навить неслухняный и невчыльвый до началства. Замисць щобъ удовольнятыся зъ двоухъ поламаныхъ лавокъ, що дала волость школи, и залиплюваты

побыти шыбки паперомъ, винъ намагався, щобъ йому пороблено нови столы, засклено викна, и навить щобъ покрашено стару класову таблицю, наче бъ то черезъ те, що на їй уже крейда не пыше. И якъ волость, звисно, не зважыла на таки його кумедни домагання, то винъ насмилывся напысаты про се до земської управы, додавшы, що гроши, видъ громады прызначени на школу, лежать по кышеняхъ у волосныхъ и не вжываються на що треба. Управа жъ поняла тому виры и прыслала суворый наказъ, щобъ старшына, не гаючы часу, поладнавъ шкільну мебель и зробывъ усе, що школи треба. Хоча мебели, звисно, не лагодылы и ничего не робылы, а просто тилькы напысали въ управу, що все зроблено,—але жъ такой учынокъ учытеливъ выразно доводывъ, що винъ—чоловикъ баламутный.

Нарешти волосный пысарь, що вже двадцять и одынь рикъ пысарюе, пройшовъ кризь сыто й решето, и знае добре, де чымъ пахне, догадувавсь, що сей учытель... тее... Про се винъ казавъ навить урядныкови, що жывъ у другій волости, й урядныкъ цилкомъ зъ имъ згодывся, сказавшы:

— Между ными дуже багато мошенныкывъ... воны, сыцылисты, тилькы такъ, знаете, выдають себе за вчытеливъ.

И обцявся незабаромъ усе „розслидуваты“, прыйхавшы.

Таки булы провыны вчытеливи и такъ ихъ выяснялы у-вечери дня... студня 188... року волосный старшына Пастушенко, полицейський урядныкъ Швыдковъ, волосный пысарь Льовшынь, сильський староста Губанъ и сильський крамарь, шынкаръ и волосный поштарь Семень Олексійовычъ Цупченко, що до його старшына, урядныкъ, пысарь и староста зибралыся на чарочку.

Розмова почалася писля восьмой, здається, чаркы зъ того, що Цупченко розповидавъ своимъ гостямъ, якъ винъ „для штуки“ посылавъ прохаты вчытеля до себе въ гостыну и якъ той одмовывъ, що йому николы.

— А хлопецъ мій, що въ школу ходыть, каже мени,—оповидавъ Семень Олексійовычъ дали,—що винъ такы швендяе часомъ у гости... тилькы жъ—якъ бы вы думалы, до кого?... До Семена Попенка!

— До Семена Попенка!—здыувалыся гости.—Та у Семена жъ и въ самого а ни йисты, а ни пыты, а ни въ чому походыты... чымъ же винъ буде гостей гостыты?

— А отъ же бачыте, ходыть до його! И хлопця Семенова такъ, кажуть, улюбывъ, такъ улюбывъ!...

Дали потроху почалы выясняты выще пысани провыны и всихъ, хто тамъ бувъ, оповывъ правдывый гнивъ на таки несвитськи вчынкы нового вчытеля. Але жъ справжне обуриння повстало тоди, якъ волосный пысарь Льовшынь озвався зъ своею славетною промовою. Винъ сказавъ:

— Усе, що оце почувъ я теперъ, не здається мени дуже вдывательнымъ. Усякому звисно, що оци молоди панычыкы, котрыхъ земська управа намъ понасылала, ничего не знають, для того тилькы и вміють ганяты зъ мальчыкамы у м'яча...

— Эге, що правда, то правда,—перехопывъ старшына.—Що теперъ за наука? То якъ старый дякъ Панасовычъ бувъ, дакъ идешъ поузь школу—ажъ гуде. ажъ реве,—такъ уси тіи склады складають. А теперъ що? И мій хлопецъ у школу ходывъ,—та потимъ я його взявъ... Бо прыходыть до-дому, пытаюся:—„Ну, що жъ ты у школи ввчывъ?“—Ничого, каже, не ввчывъ.—„А що жъ вы робылы?“—Та, каже, вчытель ставъ проты насъ та й велыты: тягнить, каже, за мною: о-о-о! А мы й соби якъ загудемо: о-о-о! А винъ знову:—кажить: гrr! Мы й соби якъ загарчимо: гарр! гарр! гарр!... Онъ яка сторія: гарчаты теперъ учать!—додавъ старшына.

Уси зареготалыся, почувшы про таку смиховыну. Пысарь же, перечасувавшы, помы регить ушухнувъ, почавъ знову:

— Такъ ось, кажу, усе це не дуже мени вдывательно. И те не вдывательно, што винъ у клявзы пустывся: нада жъ, ежели ничего мальчыкы не знають, хочъ тымъ себе выгородыты, що лавокъ нѣту. Мени вдывательно и страшно друге...

Тутъ пысарь зупынывся на хвылыну, немовъ бы щобъ даты змогу всимъ слухачамъ прыготовуватыся до сього другого „страшного“. И справди ти нашорошылы вуха, а врьдныкъ додавъ на щось:

— Дѣйствительно!

Бачучы те пысарь, почавъ изнову:

— Отъ Семень Олексійовычъ кажуть: до ныхъ не схотивъ пыты, а до голодранця Семена ходыть и хлопця-мальчыка його полюбывъ. Выдыте: до статечного чоловика не пишовъ, а пишовъ до голодранця и голодранцевого хлопця полюбывъ. Що зъ цього

выходить, слѣствуе? Слѣствуе, що винъ прыхыляється до голо-  
ты всякой и кунпанію зъ нею имѣеть, а зъ голотою—звисно, яки  
розговори?—Про багатыхъ та про начальство! Чуете, яки розго-  
воры?

Пысарь изнову зупынивсь и глянувъ навкругы. На всихъ об-  
лыччяхъ ще бильше запанувала ввага. Урядникъ же насупывся  
ще дужче й сылкувався дывытыся такъ, якъ дывытыся самъ  
справникъ. Винъ хотивъ бы всимъ довесты, що въ такому дили  
тильки винъ, урядникъ, держыть у рукахъ уси перуны, але на  
превелькый жалъ, нагай, якимъ винъ частенько спысувавъ се-  
лянамъ спыны, слухався його краще, ніжъ языкъ, и винъ тиль-  
кы набравъ справныцького выгляду и промовывъ знову:

— Дѣйствытельно!—а описля додавъ,—возмутытель! Прокла-  
мацію пуцаеть...

Пысарь почавъ дали:

— Теперь другое,—отчого винъ, якъ старшына, або госпо-  
дынь урядникъ, або я, або ще хто зъ начальства, отъ хочъ бы  
поштосодержатель Семень Олексійовычъ, иде, никогда первый шап-  
кы не зниметь? Отчого, кажу, и што зъ цього выходить, слѣ-  
ствуе?

— Эге, що правда, то правда,—озвались старшына й хазяинъ,  
—це мы вже добре помытылы. Николы самъ не поздоровкається,  
мабуть же, щобъ йому впередъ шапку зняли...

— Потомъ онъ што,—казавъ дали пысарь,—прихожу я разъ  
до його—думаю такъ—зайты одвидать чоловика, поговорыты якъ  
зъ образованымъ. Захожу, а винъ кныжку чытаеть.—„Здрастуй-  
те,—говору,—Васылій Дмытріевычъ!“—Здрастуйте,—каже, а самъ  
установъ, кныжку згорнувъ, сховавъ у свою шаховку и на ключъ  
замкнувъ. Спрашую я васъ: на што йому ту кныжку прятать, еже-  
ли вона такая, какъ нада, кныжка? А ежели прячетъ и по но-  
чахъ кныжки чытаеть, то що тутъ выходить? Выходить и слѣ-  
ствуе, що то такіи кныжки, которіи только безъ людей чытать  
можно...

— Дѣйствытельно!—скрыкнувъ урядникъ—И я ще осенью по-  
лучывъ бумагу сикретную отъ господына станового прыстава:  
кто учитель? званіе? И потомъ: способенъ-ли къ отправленію  
своихъ обязанностей? Конечно, я отвѣчавъ: не способенъ, потому  
—возмутытель! И кныжка запрещонна—всьо одно прокламація!

— Эге! такъ онъ воно який птахъ!—скрыкнувъ Цупченко.

— Именно!—доводывъ свого пысарь. - Выдили, яке въ його волосся довге?

— А хйба то що, якъ довге волосся?—запытався старшына.

— Якъ що? А то жъ у ныхъ, сыцылиствивъ, прыкмета така, знакъ, значыть, штобъ свй свого узнававъ.

— Дѣйствытельно!

Писля сйей пысаревой промовы счынылося, якъ я вже казавъ, вельке обуриння. Чарка не переставала гуляты зъ рукъ до рукъ и пособляла тому, штобъ правдывывй гнивъ проты вчытеля выявывсь у выразнйшыхъ формахъ. Балакано довго й багато, и нарешти вражено й постановлено зробыты такъ:

а) штобъ скараты вчытеля за його зневажлывыств и неушанування до свого начальства, то не даваты йому бильше дровъ;

б) штобъ не псувавъ винъ дитей, настренчуваты батькывъ забираты ихъ зо школы;

в) розпытатыся по селу, про що розмвляе вчытель зъ людмы, а найбильше зъ Семеномъ Попенкомъ, а такожъ, якъ що буде змога, зазырнуты потыхеньку и въ його шаховку зъ кныжкамы (розпытуватыся мавъ урядныкъ, прыручавъ се й пысареву, а до выслидивъ у шаховци сподивалысь помочи видъ сторожа).

— А тамъ, когда дознаемось, тогда можна буде йому пидпустыты! Уже я знаю эти дѣла!—казавъ пысарь.

— Окончательно!—дадавъ урядныкъ.—Тогда мы доношеніе сикретное, и його голубчыка тогда—фить!... А вы, Хома Грыгоровычъ,—удався винъ до пысаря,—неукоснытельно сообщыть мнѣ, бо знаете—я тутъ не живу и мнѣ за всимъ не вспыть, потому сикретныхъ дѣлъ множество.

Урадывышы такъ, выпылы ще по одній передъ дорогою, по другій на дорогу й по третій на добре прощання и, хытаючысь та колыхаючысь, гости розйшлыся по своихъ хатахъ, хоча треба додаты, що старшына до своеи не дйшовъ, а заночувавъ у пысаря.

## II.

Якъ урадылы, такъ и вчынылы. Другого жъ такы дня вчытелеви не дали дровъ и сторожемъ переказалы:

— Оце, штобъ шанувався!

Опроче сього сторожеви звелено було не слухаты, якъ що вчытель казатыме робыты.

Диты мерзлы, вчытель прыходывъ у волость, грызся, але жъ похытнуты незломнисть духа сильськыхъ орударивъ не мигъ. Тоди винъ здумавъ бувъ зновъ напысаты про се до земства, та волосный пысарь, догадавшыся, щд мистыть у соби присланный одъ учителя на пересылку пакетъ, вернувъ його назадъ, додавшы, що по закону волость повинна видсылаты тилькы таки пакеты, яки запечатано скарбовою печаттю.

Такъ мынувъ тыждень.

Одначе, хочъ и мерзъ учитель добре, та його непокирлывисть не поменшала, а досягла навить до того, що винъ самъ хотивъ бувъ йихаты у повитове мисто въ земську управу, але жъ Цупченко, звисно, не давъ йому коней.

— Ну, а найняты йому, два рубли даты—ни зъ чого,—казавъ старшыни пысарь,—винъ уже третій мисяць не получае жалування, и теперь у його въ кармани витры гудуть!

— Хиба зборщыкъ не бравъ у його довиренности на жалування, щобъ зъ управы получыты, якъ йиздывъ у городъ?—спытався старшына.

— А вже жъ я звеливъ, щобъ не бравъ. Побачымо теперь, якъ винъ свои гроши получыты!—одмовывъ пысарь.

Се була правда и вчытель някъ не мигъ рушыты зъ села. А надто, що писля одлыгы вдарывъ морозъ и зробылось таке, що йихаты зовсимъ було не можна навить пидкованымы киньмы. Такимъ побытомъ правдыва кара сильського начальства досягла своей меты. Колы додаты сюды, що сторожъ, слухаючы наказу, не носывъ у школу воды й не робывъ тамъ ничего, то запевне можна сказаты, що й учитель зрозумивъ, якъ начальство сердыться.

Не такъ легко було выконаты другый пунктъ прысуду. Хочъ староста зъ старшыною навить у волость клыкалы де-якихъ батькивъ и намовлялы ихъ забраты своихъ дитей зо школы (додаючы до того, що за такимъ чы инымъ дядькомъ було стилькы чы стилькы недоплатку — се-бъ то до „холодной“ недалеко), хочъ у школи було холодно,—диты все жъ ходылы вчытыся, и де-яки батькы на пересторогы та наказы видъ своего начальства казалы:

— А щò я йому зроблю? Я йому кжжу: покынь у школу ходыты, старшына сварыться! А винь каже: мени треба вчытеля слухаты, а не старшыны.

— Замичаете, замичаете, Михайло Степановичь?—пытався пысарь у старшыны,—замичаете? Проты начальства возстановляе!

— Та якъ же воны тамъ учаться въ нетопленй хати? Тамъ же такъ холодно, що хочъ вовкивъ ганяй!—пытався старшына у сторожа.

— А такъ: ихъ тамъ багато збереться школяривъ, а хата маленька, то покы у школи сыдятъ, то воно й ничего,—видъ духу нагриваеться, та ще й уси въ кожухахъ та въ святкахъ.

— А самъ мерзне?

— Колы мерзне, а колы хлопци йому носять зъ дому дрова, такъ топыть у себе.

— Що жъ це? звеливъ винь имъ, чы що, дрова носыты?

— Де вамъ! Прокляти хлопци такъ улюбылы його! И воду воны носять.

— А ты имъ видерь не давай!—звеливъ пысарь.

— Та я й не даю. Зъ дому хтось прынись,—тымы й носять.

— А ты пыльнуй! Тилькы который воду, чы дрова прынесе—по потылыци женй.

Нарешти zostавався ще третй пунктъ прысуду. Але жъ тутъ ни старшына, ни хытромовный пысарь ничего не могли зробыты. Помигъ имъ урядникъ, забигшы на той часъ у волость.

— Што жъ, какъ слѣдство?—спытавъ винь.

Ти росказалы, що було.

— Нехорошо!—покрутивъ головою врядникъ.—Довжно вамъ прыймаць меры. Одъ вышой власти прыказъ—прыпаганду ловыть и всячески преслѣдувать. Неукоснытельно старайтесь! А то будете выновати.

И винь давъ имъ инструкци.

Старшына зъ пысаремъ трошкы злякалысь и заходылысь щырйше „ловыть прыпаганду“.

Але жъ скилькы не допытувалысь, яки розмовы бувають у вчытеля зъ селянамы, ништо ничего не казавъ: чы то не хотилы, чы то справди ничего було казаты. Одынь тилькы рудый Гарасымъ поминывся де-що росказаты, якъ що йому дадутъ на чвертку, и справди з'ясувавъ, що вчытель наче бъ то казавъ йому, що не погано бъ старшыну скынуты геть.



— А про багатыхъ ничего не казавъ?—спытався пысарь.

— Про багатыхъ?—не розумивъ Гарасымъ,—ни, про багатыхъ казавъ... казавъ, що добре, якъ бы вси були багати...

— А книжокъ нїякыкъ не дававъ?

— Книжокъ? Ни, дававъ и книжки всяки...

— Кому жъ винъ дававъ? Яки жъ винъ книжки дававъ?

— Кому дававъ? Дававъ... Я вже того не знаю, кому саме винъ дававъ, тилькы дававъ усяки...

— Ну, а ту... якъ ии?... пре... пра... та якъ бо, Хомо Грыгоро-  
вычу?—спытався старшына въ пысаря.

— Прыкломація!—одмовывъ той.

— Эге, прыломація! Такъ прыломаціи тїеи не говорывъ? не делаваъ?

— Якъ?—спытався Гарасымъ,— що воно таке?

Але того не знавъ и самъ старшына зъ пысаремъ. Тымъ вони кынули дали пытаться, зрозумившы, що видъ Гарасыма велького не довидаешся. Та й усякому було видно, що Гарасымъ за чвертку й ридного батька продаваъ бы, и що його вже ловлено въ брехни на волосному суди, де винъ часто стававъ за свидка, а одного разу навить и быто за си брехни. Але жъ не маючы кращого, можна було, якъ що потреба, и зъ Гарасыма скорытуваться, щобъ скараты вынного. И пысарь звеливъ Гарасымови:

— Гляды жъ, не забувай того, що казавъ!

— И! Боже мїй! Зъ чого бъ я забуду? Ни зроду-звiku не забуду, тилькы на чвертку дайте!

Взявшы на ввагу, що Гарасымъ може ще здатыся, старшына давъ йому зъ громадськихъ грошей на чвертку.

Зоставалося ще одно: довидатыся, яки книжки вчытель чытае. Але се була зовсимъ неможлива ричъ, бо выходячы зъ школы, учитель що-разу замыкавъ ии. Пысарь уже й такъ и сякъ захожувавсь, але ничего не мигъ удїаты.

— А може бъ такъ: пры йому трусь изробыты?—казавъ нетерпячый старшына.—Такъ просто: а давай, такой-сякый, яки въ тебе проты начальства книжки йесть!...

— Ни, Михайло Степановычъ, такъ не можна. Треба це дило потыхенку весты,—видмовлявъ бильше политычный пысарь.

Але жъ, щобъ учитель не забувавъ, що начальство усякымы способамы може скараты непокирлывого, пысарь де-що такы вымудрувавъ.

Такъ звана „холодна“ видгорожувалася видъ школы тилькы тонкою стиною (школа, якъ уже казано, була въ одному будынкowi зъ волостю). Зъ сього й скорыстувався пысарь, хоча самъ винъ ничего не робывъ, а все дило звернувъ на старшыну. А старшына того жъ такы дня поклыкавъ рудого Гарасыма, знову вийнявъ йому зъ громадської скрынкы на чвертку, давъ належни инструкции та й посадывъ його въ „холодну“ саме въ той часъ, якъ у школи було вчыття.

Гарасымъ не хотивъ дурно браты гроши й заразы же почавъ галасуваты, а потимъ и быты кулакамы въ ту стину, що була до школы. Стина була стара, складена зъ поганенького кривого дерева, и Гарасымъ скоро продовбавъ у йй дирку и выстроившы въ школу голову и вдаючы зъ себе п'яного, почавъ на вси боки лаяты и вчытеля, и школяривъ, и налякавъ дитей такъ, що де-яки трохи не повтикалы.

Другого дня пысарь, лукаво поглядаючы на старшыну, сказавъ:

— А знаете, Михайло Степановычъ, громада лае васъ за вчытеля.

— Якъ?

— Та такъ!—Каже: дитей зморозылы и все...

— Громада!—скрыкнувъ старшына,—начхать мени на громаду! Я начальныкъ! Хиба громада начальныкъ? Я! Усе я могу! А що громада старшыну выбира, такъ я на те начхавъ! То колысь може було такъ, а теперь хиба громада настановляла й настановлятыме мене? Кого справныкъ звеливъ, того й настановылы. Я йесть старшына, а старшына—начальныкъ видъ справныка, а не видъ громады. Бо не громада мени зубы побье за несправнысть, а винъ...

— А отъ же громада каже, що будутъ жалитъся,—ще лукавийше додавъ пысарь.

— Нехай! Мени те й не свербыть. А ось я имъ покажу! Я имъ школу розваляю и вчытеля выкыну геть къ чортамъ!—крячавъ уже зовсимъ розсердившысь громадський репрезентантъ, начальныкъ одъ справныка, панъ старшына.

И сього жъ такы вечора, выпившы добре у свого кума, винъ зайшовъ по дорози до волосты и почувъ, що у школи хтось гомонить, навить спивае. Розлютованый за таки „непорядкы“, кы-

нувсь у школу. Тамъ бувъ учитель и трое хлопцивъ-ночувальныкивъ,—воны й спивалы.

— Смырно!—grimнувъ старшына, видчыняючы двери и вступяючы въ хату.—Смырно, я вамъ кажу, мат-тери вашій!.. Що вы мени тутъ крычите, дило робыты въ волости не даете!

Але жъ учитель и тутъ не змовчавъ передь начальствомъ и насмилывся сказаты йому, старшыни:

— Выйдите заразь геть!

— А, такъ ты, такой-сякый, начальство выгонышь! Цыты! Р-роздеру!

Здається, писля такого категорычного начальныкового слова коженъ мусивъ бы скорытыся. Тилькы жъ ледачого ничымъ не дошкулышь. И хочъ и дуже дивно буде се всимъ, а мушу сказаты, що вчитель выгнавъ старшыну,—такъ такы протисинько узявъ та й выгнавъ, бо бувъ соби чоловикъ пры здоровлю та й палыця якась у рукахъ у його була,—не диво жъ, що старшына, хочъ и дуже п'яный бувъ, але жъ не схотивъ змагатыся зъ такимъ бунтивныкомъ и, вылаявшыся ще разъ чы двичи, выйшовъ геть.

Другого жъ дня писля сього въ волости довидалысь, що вчення въ школи нема, а вчитель пойхавъ у повитове мисто.

— Кто жъ його повизъ?—допытувазсь у сторожа старшына, сердытый вельмы, бо йому своя голова здавалася завбільшыкы зъ вынныцькый казанъ писля вчорашнього вечора.

— Та Грыцько Дараганъ. Та ще й наборъ: сказавъ—потимъ оддасте, якъ свои видберете.

— Гмъ... Ну, Грыцька треба буде провчыты...

— А що,—пытався старшына на-самоти въ пысаря,—чы не скоиться чого зъ того, що винъ пойхавъ?

— Дурныця! Ничогисинько не буде! Самы побачыте,—заспокоювавъ пысарь.

Учитель повернувся, а за имъ наспивъ и наказъ одъ земської управы. Управа, переличывшы вси вчынкы волосного старшыны, прыкро наказувала, щобъ надали сього не було, щобъ волюсть уволяла справедлыву волю вчителеву, а такожъ щобъ „до-несла“, на пидстави якого права старшына робывъ усе „выще пысане“.

Пысарь тилькы всмихнувся, прочытавшы те, и сказавъ:

— Ну, мы напышемо такой одвить, що довго винъ насъ пам'ятатьме!...

Винъ—се-бъ то вчитель.

### III.

Тутъ начальству пощастыло. Проходячы одного разу дворомъ, старшына побачывъ школяра, що нисъ до школы якусь кныжку.

— А ну лышь, що воно таке?—подумавъ старшына и зупынивъ хлопця.

— А хто тоби цю кныжку давъ, хлопче?

Хлопець зъ бстрахомъ одмовывъ:

— Учитель.

— А дай ии сюды!

Хлопець тремчачымы рукамы виддавъ кныжку.

— Ну, йды до-дому!—звеливъ йому старшына, а самъ заразъ же пишовъ у волость до пысаря.

— А гляньте, Хомо Грыгоровычу, що це за кныжка?

Пысаръ розгорнувъ кныжку.

— Гмъ... що воно таке? А де вы ии взяли, Михайло Степановычъ?

— А у школяра! Вчитель йому давъ.

— Вчитель? а ну, подывымось!

И пысаръ почавъ пыльно зъ усихъ бокивъ розглядаты кныжку.

— „Географія“—чытавъ винъ заголовокъ.—Гмъ... хто його зна, що воно таке...

Потимъ винъ розгорнувъ кныжку посередыни й почавъ чытаты:

— „Дождь происходитъ отъ паровъ, которые поднимаются отъ водяныхъ вмѣстилищъ вверхъ и собираются тамъ въ видѣ облаковъ“... А! ось де воно! Ось! Чуєте, Михайло Степановычъ, у цій кныжци що? Не одъ Бога дощъ, а одъ „паровъ“. Онъ що!

— Го це, значыть, кныжка така... проты Бога?

— Конешно!

— Такъ ии й тее... и представыты до начальства можна?

— А всенепремѣнно!.. Ну, теперъ, голубчыку, побачымо! Теперъ я вшкварю!—гукнувъ пысарь.

Але винъ пойхавъ ще порадытыся до врьдныка. И вони вшкварылы! Пысарь спысавъ цилого аркуша паперу, та якъ спысавъ! Я могу переказаты його чудове пысання тилькы тѣю мовою, яко винъ самъ його напысавъ.

•Въ Н—скую Земскую Управу Н—скаго Волостнаго Правленія  
Доношеніе.

Оное Волостное Правленіе имѣеть честь донести, что топливо для школы г-ну учителю всегда давалось въ достаточности и ежили на какихъ два дня случилась пріостановка, то единственно отъ недостачи общественныхъ сумъ, которыхъ недоставало. И на щотъ оскорбленій, то никакихъ таковыхъ оскорбленій волостной старшина учителю не чинилъ, а наоборотъ всегда споспѣшествовалъ просвѣщенія юношества и зайдя въ школу какъ начальникъ, отечески пекущійся о благосостояніи, чтобъ узнать необходимое для школы, но г-нъ учитель безъ всякаго на то вниманія, поносными и дерзкими словами старшину изругалъ и выгналъ прочь съ утрашеніемъ палкою, каковую для совершенно неизвѣстныхъ, но весьма вредоносныхъ намѣреній, постоянно при себѣ имѣя, какъ бы угрожая спокойствію.

И всякія другія г-на учителя жалобы единственно отъ того, что онъ на волостного старшину и писаря злобу имѣеть и постоянно имѣеть между волостью истязаніе въ разсужденіе разныхъ будто-бы чинимыхъ ему причепокъ, каковыхъ причепокъ онъ есть причиною, а онныхъ не существуетъ. Самъ-же г-нъ учитель нимало въ школѣ не учитъ, а лишь занимается припагандою и книжки мыслей безбожныхъ розширяетъ и разныя рѣчи относительно противъ властей, чему примѣромъ крестьянинъ Герасимъ Рудый и свидѣтелемъ“... и таке ише.

До сього додавъ ще й кныжку, що старшына виднявъ,—нехай начальство бачыть.

Урядныкъ же напысавъ своему начальству ще краще. Винъ просто казавъ, що вчитель хотивъ счыныты на сели бунтъ розмовамы та кныжкамы, а доводомъ выставлявъ те, що мужыкы почалы выявляты ще бильшу непокирльвисть, бо зовсимъ нехотя знимають передъ урядныкомъ шапки.

Се все полынуло, куды треба...

\* \*  
\*

Трохы згодомъ начальство шкильне завитало въ школу. Воно сказало вчителев:

— Що вы тутъ такъ погано поводытесь? Книжки якись тамъ, розмовы...

Бидолашний учитель хотивъ бувъ выправлятыся й доводывъ, що книжку ту, яку старшына виднявъ, дозволыла не то цензура, а й „ученый комитетъ“ у школы, але начальство не дало йому й договорыты!

— Се все добре, але вы чоловикъ неспокойный... Шукайте соби мисця де-инде,—намъ васъ не треба,

Учитель мусивъ шукаты.

Волосный старшына Пастушенко, полицейський урядныкъ Швыдковъ, волосный пысарь Льовшынь, сильський староста Губань и поштарь Цупченко могли теперь пересвидчытыся, що ще истнують способы скараты вынного...

1886.



## Б а й д а.



Степанъ Петровычъ Корніенко йшовъ до-дому зъ уряду, зъ канцеляріи въ губернському мисти Н. Хочъ мисто Н. було и въ півночно-схидній Велькоросіи, але вже и въ його давно зазырнула весна, давно прогнала сныгы, повысушувала калюжи та багна и наробыла замисць ихъ багато пылу по вульцяхъ. Се останне дуже не подобалося Степанови Петровычеви: поky перейшовъ винъ до-дому, його ротъ, нисъ, уха булы повни того поганого сирого пылу. Степанъ Петровычъ и такъ натомывся за своимы офіціяльнымы паперамы, а тутъ ище сей пылъ! Хочъ бы швыдче въ хату та вмытыся!

Ось нарешти той провулокъ, де винъ жыве, ось и будынокъ майора Путылова, що въ його Степанъ Петровычъ наймае кватырю. Звисно, краще було бъ не найматы ии, а маты свій власный будынокъ; але жъ Степанъ Петровычъ чоловикъ ще молодой (37-й рикъ йому), та й рангъ його невеликый: тилькы „столоначальныкъ“ канцеляріи, та й годи. Ну, а якъ же його въ такихъ литахъ и за такимъ рангомъ прыдбаешъ будынка? Треба ще послужыты!

Але кватыря въ його не погана: кабинетъ (у йому винъ и спытъ), йидальня та витальня, опричь хатынны про слугу. Степанъ Петровычъ думае, що чоловикъ мае потребу робыты, йисты, видпочываты, — ну, й чужу людыну иноди въ себе прывитаты. Симъ усимъ вѣмогамъ и вдовольняе його кватыря.

Винъ пидійшовъ до велького будынку, де винъ мае свои „парадни“ двери зъ блискучою мидяною таблычкою, и подзвонывъ.

Высокий рудый слуга видчынавъ йому. Степанъ Петровычъ бувъ чоловікъ одынокий, тымъ и не мавъ потреби найматы иншыхъ слуговныкивъ. Иванъ скинувъ зъ його пальто, и Степанъ Петровычъ пройшовъ у свій кабинетъ, коротко звеливши:

— Вмыватысь!

Холодна вода одволожила облыччя Степанови Петровычеви и мовъ трохы зняла зъ його втомы. Винъ почувавъ себе вже зовсимъ гарно, стоячы передъ свичадомъ та росчисуючы свое коротке темне волосся та чорну невелику бороду, що такъ гарно облямувала його повне облыччя. Облыччя було чепурне й поважне—таке саме, якъ повинно быты облыччя въ людны, що мае статы чымсь більшымы въ урядовій ієрархіи, нижъ теперь ѐе.

Росчесавшысь Степанъ Петровычъ, надивъ на себе легеньку литню одѣжу и выйшовъ у йидальню. Степанъ Петровычъ не люблявъ быты мижъ людмы, тымъ завсигды обидавъ дома самъ. Стилъ уже бувъ застеляный билимы обрусомъ, и на йому парувала гаряча смашна юшка. Харчується Степанъ Петровычъ у господаря домового и—можна сказаты—мае харчъ дуже добрый.

У смакъ выйивъ Степанъ Петровычъ першу тарилку юшки и вже насыпавъ другу, якъ зненацька вдоволено всмихнувся. Йому згадалося те, що сьогодни трапылось у канцеляріи. Чудни, йѐбо, люде ѐе на свити! А ще „правытель канцеляріи“! Схотивъ самъ напысаты важлывыи паперъ офіціальный и забудь пидвесты стати закону.

— Нѐте, — каже,—Степане Петровычу,—звельть перепысаты! Глянувъ—ажъ тамъ таке!..

— Насмилююсь зауважыты,—каже Степанъ Петровычъ,—туть промынуто...

— Що?—пытае.

-- А отъ,—статіи закону тутъ не пидведено...

— Яки?

— Та ось,—и росказавъ йому все. Збентеживсь, ажъ засоромывсь, бидолашний...

— Ахъ, ваша правда!—каже!

А ще „правытель канцеляріи“!

И Степанъ Петровычъ, згадуючы все те, зновъ засміявся тыхымъ удоволеннымъ смихомъ. Винъ бы краще мигъ упорядкуваты канцелярію. Та одно його лихо: не дають йому поступа-



тыся напередъ такъ швидко, якъ йому хочеться и якъ винъ заробляє. А все тому, що винъ колысь бувъ „штрахований“.

Эге, Степанъ Петровычъ справди бувъ „штрахований.“ Шиснадцять рокивъ уже помынуло, якъ винъ по неволи при-йхавъ сюды. Йому не було тоди ще й двадцятьохъ рокивъ,— не дали й универсытету скинчыты. А за що? Звисно, винъ бувъ такой нерозумный, що мигъ уганяты за тією мрією, але жъ можна було його й помылуваты — винъ ще такой молодой то-ди бувъ, та й що винъ зробывъ?... Симъ рокивъ живъ Богъ зна якъ, ажъ покы нарешти дозволено йому взяты урядъ. Зъ того часу вже полекшало, хоча винъ тоди ще порывався йихаты видсиль до-дому. Але сього ще тоди не дозволено було. Ну, потимъ и сю заборону скасовано, та тоди вже самъ винъ не схотивъ. Не варто було, бо тутъ краще було зостатыся: вси ти мрії распорошылыся, якъ одъ витру полова, а урядъ, „служба“ зостатыся,—се жъ не дурнычка, бо сього не швидко знайдешъ по иныхъ мисцяхъ—поткныся лышь! Та хйба не одынаково де „служыты“—чы тутъ, чы дома, въ Харькови? Ну, але все жъ, здаеться йому, та исторія, його мынуле, й доси не дае йому вильно поступатыся напередъ.

Усмихъ давно вже зныкъ у Степана Петровыча зъ облычя: винъ не любывъ згадуваты про се, бо писля сіей згадки завсигды було йому... оповывало його щось таке—чы то пересердя на себе самого, чы нудьга, сумъ якыйсь... И чого й на що той сумъ? Сього Степанъ Петровычъ зрозумиты не мигъ, та навить не хотивъ про се й думаты, бо завсигды... А, цуръ йому!...

— Иване! забирай!

Степанъ Петровычъ уставъ з-за столу и пишовъ до кабинету. Тамъ любыты винъ одпочыты по обиди на м'якій канапци,— ии винъ на те саме й купывъ. Такъ гарно: все тило обнима тепло, впокій. Гарно куняты!

Але сього разу Степанъ Петровычъ щось не кунявъ. Якийсь надзвычайный невпокій обнимавъ його. Видкиля се винъ? Се все ти прокляты згадки! Вони не дають йому спокою. А на що вони? Винъ ихъ давно не бажае, не хоче. Винъ уже давно помурувавъ муръ промиждо тымъ, що було, и тымъ що йесть. Здавалося, що муръ сей досыть высокій. Але жъ мабутъ—ни, бо те, що було, не хоче забуватыся. Все гирке не швидко забуваеться, а воно—

правды нигде сховаты—таки гирке було, тяжке! Але жъ мусыть же воно колысь забутыся!

Запевне, мусыть! Якъ бы все пам'ятаты, чога за жыття за-  
знаешъ, то...

Ни, зовсимъ розійшовся сонъ.

Винъ знайшовъ книгу, розгорнувъ и почавъ чытаты лежачы. Се бувъ якийсь юридычный трактать—Степанъ Петровычъ цикавыться юридычными питаннямы (винъ бувъ бы юристомъ, якъ бы скинчывъ универсытета). Але жъ книгу пысано такою важкою мовою, а по обиди голова такъ погано робыть... Степанъ Петровычъ перегорнувъ одну картку, другу, а потимъ и не помитывъ, якъ книга тыхо впала зъ рукъ на канапу, а самъ винъ заснувъ спокійно, солодко...

Якъ прокынувся Степанъ Петровычъ, то вже смерклося.

— Ото заспавсь!—подумавъ винъ и скбчывъ зъ канапы. Винъ згадавъ, що взявъ зъ канцеляриі до-дому роботу—треба самому расплутаты дуже поплутану справу. А проспавъ ажъ онъ помы!

— Иване! Вмыватысь! Чаю!

На швыдку вмывшысь, винъ залюбки выпывъ тры склянки чаю зъ цытрыною й сивъ до своего стдлу въ кабинети.

На двори було вже завсимъ темно, и выдко було якъ зирки мыгтыли кризь викна. Але Степанъ Петровычъ не мавъ часу на ихъ дывытыся. Винъ пидсунувъ лампу бльжче до себе, розгорнувъ паперы й почавъ чытаты. Иноди де-що запысувавъ олывцемъ, иноди мурмотавъ соби пидъ нисъ:

— Хытра шельма! Вачъ, якъ пидводыты!

И зновъ починавъ чытаты, потимъ де-що пысаты. Такъ збигавъ часъ, и Степанъ Петровычъ и не помитывъ, якъ промынуло годыны зо-двѣ. Ажъ тоди помитывъ, якъ у його трохы заболѣла спына. Винъ выпроставсь, потягсь. Засыдивсь якъ! Уставъ и пидійшовъ до викна.

Справди те було, чы то тилькы такъ здалося Степанови Петровычеви,—але одъ викна мовъ дыхнуло на його щось. Винъ штовхнувъ викно рукою,—воно видчынылося. Запашне весняне повитря обняло всього Степана Петровыча, проійняло йому груды; тыхе зоряне небо глянуло на його зъ высокои высокости. У сій далекій одъ миського осередку вулыци не чутъ ни гомону, ни гуркоту видъ пѣвозивъ. Тыхо, гарно...

Степанъ Петровычъ забувъ про свою роботу. Винъ стоявъ и выпывався дыханнямъ ласкавои веснянои ночи. И въ грудяхъ у його зробылося такъ гарно... Зовсимъ було бъ гарно, якъ бы щось не защемило тамъ, у грудяхъ такы жъ...

Тыхіи зори... По-пидъ викнамы квитныкъ, и въ йому дватры дерева—яблуня та вышня. Вони цвилы билимъ цвитомъ, и той цвить здавався такимъ гарнымъ пры свити видъ тыхыхъ зирь. И чога се винъ здається такимъ гарнымъ? Биле та й годи, а гарне!...

Середь тыхои ночи озвався спивъ. Степанъ Петровычъ признавъ спивця. Се сынъ сусидынъ—десъ у Петербурзи спиваты вчыться, а теперь до-дому прыйихавъ. Винъ часто спива й спива гарно. Мабуть и въ його въ хати видчынене викно, бо голосъ долынае зовсимъ чысто й выразно. Сливъ Степанъ Петровычъ не розбира, але голосъ у писни гарный. Осъ уже й змовкъ. Якъ бы ще! Степанови Петровычеви такъ чомусь схотилося спиву—винъ самъ заспивавъ бы, якъ бы не одвыкъ уже давно. Теперь уже нема хити самому спиваты. А послухаты хочеться. Знову почына. Се—видомый романсъ. Степанъ Петровычъ не любыть такыхъ ричей. Сами выхылясы та выкрутасы—бильше ничего. Ну, дяка Богови—кынувъ не доспивавшы.

Степанъ Петровычъ уже хотивъ бувъ одійты одъ викна, але зоставсъ. Высоко-высоко знявся чыстый голосъ. Одна нота, друга, третя... Що се? Знайоме щось, дуже знайоме и дуже гарне...

Ой пье Байда медъ-горилочку

Та не день, не ничку, та не годыночку...

Ой, що се? Мовъ искра вогньова пронызала йому все тило. Байда! Винъ знае сю писню... Такъ часто спивавъ... Такъ багато думавъ... Образъ сього Байды такъ выразно колысь малювався йому въ думкахъ. Се бувъ героя образъ, зъ тыхъ героивъ, що свитять яснымъ свитомъ зъ далекого темного мынулого на сьогочаснисть и пидносять духъ у-гору.

Прышовъ до його царь турецький:

„Ой що жъ ты робышь, Байдо молодецький?“

—„Ой пью, царю“...

Якый правдыый образъ Козаччыны! Винъ пье-гуляе—чому не пыты й не гуляты? Але жъ надходыть ворогъ, и зъ гультяя робыться герой!...

„Сватай мою дочку та йды царюваты!...“

Се вже спокуса!... Ще давно... Бувъ тыхый вечеръ, такой, якъ теперь... тилькы не тутъ. Бувъ у садку гуртъ товаришивъ, и вси спивалы. Спивалы й „Байду“... И потимъ зговорылись саме про се, про таку спокусу. И винъ сказавъ, що ни одна дивчына-чужоземка не могла бѣ йому буты дружною. И йому тоди згадувались одни кари вкраинськи очы... Де вони теперь?...

„Сватай мою дочку та йды царюваты!...“

Не пиде винъ царюваты, бо не може проминяты свою Украину ни на що. Але жъ винъ зна, що йому за те буде! Запевне, зна! Але муки за ридный край йому кращи, нижъ уся та пышна шана й повага видъ чужого народу въ чужій земли.

Ой якъ крыкне царь турецький

Та на свои слугы, слугы молодецьки...

Ось вона, кара! Але жъ солодко терпitys и: 'знаешъ за що...

Взялы Ба́ду, извязалы

Та й за ребро гакомъ, гакомъ зачипалы...

Винъ уже не слухавъ, не мигъ слухаты. Винъ обхопывъ голову рукамы и стыснувъ ии такъ, мовъ бы хотивъ роздаваты. Але ту жъ муть у його все зныкло, згнуло з-передъ очей. Винъ забувъ усе: одна могутня хвыля пидхопыла його й понесла-полынула безъ упыну...

Якъ винъ мигъ такъ думаты? И такъ довго думаты се? Якъ винъ мигъ хочъ на одну хвылыну забыты те, що для його винъ—и тилькы для його—повыненъ бувъ жыты? А винъ забувавъ се не хвылыну, не дви, а рокры, рокры!...

Але жъ не видразу винъ забувъ. Винъ мучывся, винъ сподивався. За вищось—винъ и доси на зна, за вищо саме—запродажено його сюды, одирвано видъ ридного краю, видъ сим'и, видъ усього дорогого. Але винъ тоди не занепавъ духомъ. Винъ ждавъ. Чого? А чы винъ самъ знавъ—чого? Тилькы воно повинно було буты таке, що видразу могло бѣ одминыты все. Винъ ждавъ, и тяжко було ждаты...

Лыстивъ винъ мало мавъ. Иноди пысавъ батько,—але не въ його лыстахъ мигъ шукаты винъ одповиди на свои пекучи пытанья. Та батько незабаромъ и вмеръ (матери вже давно не було), дви сестри пишлы замижъ и тежъ якось не стали пысаты. Та зновъ такы не въ лыстахъ одъ ихъ винъ мигъ знайти соби розвагы. Булы ще товаришы, друзи—люде, щб малы зъ имъ однакови думкы, однакови надїи. Та видъ ихъ мало що було: де-кому не можна

було, а де-хто... Усяке було! Але жъ Корніенкови зъ того не лекшало, и ждаты було тяжко, ой тяжко!

Глухи, невыразни звисткы долынули й до його. Винъ почувъ про кинецъ седыдесятыхъ рокивъ, почувъ про загальну мовчанку. Булы важки часы... Усимъ ледве можна було дыхаты. Здавалося, що все вмирало, нищо вже не могло жыты. Такъ йому тоди здавалося...

Оттоди вперше ся ганебна думка ввійшла до його въ голову. У насъ нема сылы, щобъ досягты свого—насъ роздавлять. Ось воно! Винъ клавъ на терезы на одну шалю нашъ убогый духъ, наши линощи, зрадныцтво та нѣладъ, а на другу—могутно взброену систему. Винъ важывъ се, и друга шаля важно й глыбоко спускалася до долу. И йому въ грудяхъ кыпила тоди злисть, лютисть на себе самого, на весь ридный край та народъ за те, що прожывшы стилькы викивъ, сей край и сей народъ не мигъ выробыты въ себе ничѣго—ничого, опричь безладного, безглузлого отарного духу. О, яки се страшни хвылыны булы и до якого страшного выводу вони довели: надіи нема! Ни, бильше ще видъ того! Не тилькы надіи нема, а навить и не варто. Не варто, бо все никчемне, бо ся никчемнисть, байдужистъ, безладнисть повила увесь народъ згоры ажъ до-споду, и не може буты ратунку. Не варто!

А тамъ уже пишло швыдко. Тамъ уже не було ніякого впыну...

И йому згадалося, якъ винъ самъ соби зрикса свого Есга якъ винъ самъ соби пообицявся служыты мамони и якъ винъ служывъ... И винъ застогнавъ тяжкымъ, страшнымъ стогнаннямъ

Той, що про його писню спивають,—мукъ не злякався, а винъ? Винъ проминявъ усе за якусь тысячу рубливъ щоричной платы, продавъ за...

За шмать гнылой ковбасы

У васъ хочъ матиръ попросы,

То виддасте!...

Винъ отдавъ! Що жъ теперь—винъ? Якъ звуть тыхъ людей, що такъ роблять?

Теперь ніякъ не звуть, теперь кажуть, що въ його просто погляды видминылыся, та й годи; а колысь—щѣ тоди, якъ звалы? Хто такъ саме зробывъ—продавъ матиръ? — Брюховецькый! Якъ звалы Брюховецького?—Зрадныкъ!

Винь скрыкнувъ несамовыто, страшно и, простягшы руки напередъ, трохы не впавъ до долу. Але винь удержавсь. Хытаючысь, пидійшовъ до столу, сивъ...

Винь просыдивъ деякый часъ не рушаючысь. Йому було холодно, винь трусывсь. Се було не одъ викна, бо на двори було тепло...

Такъ... Зрадныкъ! И стогнання выхопылося кризь сциплени зубы. Що йому теперь? Зрадныка ридный край не прыйме. Винь не може належаты до чужого краю, а свій не може його прыняты. Що жъ винь таке? де винь истніе? Винь нигдѣ не истніе, винь уже вмеръ. Ось чого було йому холодно! Се бувъ смертельный холодъ.

Але жъ винь ще дума, рахуе. Що жъ йому робыты?

— Що робыты?—промовывъ винь голосно и самъ злякався своего голосу. А що зробывъ Брюховецькый? Брюховецькый ничего не зробывъ, бо Брюховецькому зроблено. А йому ништо ничего не зробыты: теперь такого не робляты. Але чому жъ не робляты? Хиба зрада вже не зрада? О, нехай бы краще каралы зрадныкивъ найлютішшымы мукамы, нехай бы! А теперь винь самъ повиненъ себе скараты...

И винь зна, що зробыты. Треба тилькы докинчыты те, щб почалося. Винь уже вмеръ, але тило ще живе. Ну, винь повиненъ зовсимъ його покынуты...

Винь уставъ холодный, звáжлывый. Винь увесь мовъ застыгъ. Винь выпроставсь и вже простягъ бувъ руку, щобъ одсунуы стиль—тамъ у його лежыть...

Щось сяйнуло йому передъ очыма. Ясни зори свитылыся на высокому неби. Тыхи зори!...

Винь упавъ назадъ на свое мисце. Умерты, покынуты все, покынуты ридный край—любый, коханный ридный край! Такъ хочеться дыхаты його повитрямъ, гуляты поглядомъ по шырокоыхъ степахъ, такъ хочеться—о! якъ хочеться! виддаты себе на роботу ридному краеви, ридному народови! Темный, зопсованный сей народъ; прыбытый, здеморализованный сей край, але що до того? Теперь винь вирыть въ идею, въ ии сылу. Хиба може идея не подужаты? Хиба може идею що подужаты—централизація тамъ, чы багнетъ, чы кайданы, чы инквизиція? Все зныкае, тилькы идея зостається, тилькы вона подужуе и тилькы ий треба служыты. И винь хоче ий служыты, хоче служыты ридному краеви!...

Ридному?... Чы винъ же йому ридный? Адже винъ уже про-  
давъ його за шматъ гнылой ковбасы, и нема йому прощення.  
Невже нема? О, якъ бы було!...

Винъ скочывъ и кынувсь до викна. Тамъ сялы зиркы—

На тихи воды,

На ясни зори—

згадалась йому писня неவில்ныцька. И видразу зашумили въ його  
надъ головою вербы, повіяло на його степовымъ витромъ, бли-  
снула йому въ вичи Днипрова хвля... Якъ пидризаний, упавъ  
винъ на викно и зарыдавъ...

Промынувъ місяць. Швыдкый пойиздъ курсько-харьково-азов-  
ськой залізныци бигъ на пивдень. Була ничъ. На платформи ва-  
гоновій стоявъ якийсь чоловикъ. Винъ стоявъ нерухомо и ды-  
вывся туды, куды лынувъ пойиздъ—на пивдень. Винъ мало не  
всю ничъ не сходыть видсила. Винъ жде...

Винъ порвавъ зъ усимъ, покынувъ усе и теперь йиде вид-  
даты свое жыття, їиде заробыты прощення...

И винъ жде...

А тымъ часомъ ничъ уже мынала. Засирилы туманы. Золо-  
тый проминь пронизавъ ихъ и обльвъ землю яснымъ свитомъ.  
Передъ самотнымъ подорожнымъ розислався степъ, а середъ  
його здалека маячило, вызираючы з-за вербъ зеленыхъ та сад-  
кивъ, якесь село. Тоди, оповытый мсгутнимъ радиснымъ почу-  
ваннямъ—винъ простягъ упередъ руки; очи йому засялы,  
а уста палко шепотили:

— Краю мій! Любый мій! Україно моя!...

1890.





### *Степанъ Коваливъ.*

Коваливъ Степанъ, сынъ селянына, на свить народывся въ сели Броници Дрогобыцького повиту, въ Галыччини, 25 грудня р. 1848; освіту побиравъ у народній школи въ Дрогобычи, потимъ—у реалній школи та вчительській семинаріи. Выйшовшы на учителя, Коваливъ працювавъ спершу въ ридному сели, а зъ р. 1879 учителюе въ Борыслави—„Галыцькій Калифорніи,“ що уславылася своими копальнямы нафты та земного воску (озокерыта). На ныву пысьменства выступывъ Коваливъ р. 1881, спершу дытячымы оповиданнямы та педагогичнымы статямы, що друкувалыся здебильшого безъ пидпысу, або пидъ прыбранымъ именнямъ Степана П'ятки по рижныхъ часопысяхъ; згодомъ з'являються його оповидання зъ жыття робочого люду въ Борыслави. Р. 1899 у Львови вышло два томы оповиданъ сього пысьменныка пидъ заголовкамы: „Дезертырь“ та „Громадські промысловци.“ Оповидання Ковальова подають реалны образкы зъ жыття робочого люду въ Галыччини й добре малюють страшенне вбожество й темноту простого народу та експлоатацію його вышчымы верствамы громадскымы.

Литература: 1) Маковой—Степанъ Коваливъ (Л.-Н. Вистныкъ, р. 1900, кн. VIII).





## Безконешный швиндель \*).



Тяжко двыгавъ Борухъ мишокъ соли, що ѿ выварывъ самъ пидъ бокомъ шандаривъ и ревизоривъ,—зъ великымъ страхомъ и трепетомъ выварывъ. Прыкро жыдови перекрадатся манивцями, але жъ годи инакше: ничъ погідна, мисяць на-повни свитыть, якъ у день, такъ що й його предовжезна пейсата тинь йому поглумлюється.

Борухъ справди видважный и хытрый. Винъ не боится ревизоривъ, бо знае, де вони сеи ночи за нымъ патрулюють. Винъ не боится опрышкивъ \*\*), бо знае, що вони не такъ по лисахъ та нетряхъ крыються, якъ по великыхъ мистахъ веселяться, гуляють... Не боится Борухъ зрады мужыцькой а ни напасты начальства громадського, бо то винъ для ныхъ черпавъ крадькома по ямахъ сыровыцю й выварювавъ зъ неи силу, щобъ передовсимъ вйтъ та радныкы малы чымъ посолыты непидбыту капу-сту. Перша вйтыха визьме зъ десять литривъ, а за ѿ прыкладомъ и други росхапають, що манну Божу зъ неба. Та й чому не мають купуваты, колы така дешева? Чому не корыстаты зъ дурнычкы? Горнець—пивторы шисткы \*\*\*)! Тры разы дешевша видъ жупной \*\*\*\*), а выдатнійша, солонійша!...

\*) Шахрайство.

\*\* ) Розбышака.

\*\*\*) Шистка—монета, мае 20 сотыкивъ, шось нбы шисть копійокъ.

\*\*\*\*) Жупа—плата за аренду соляной шахты; жупна силь—оплачена, державна.

Але чого винъ, той Борухъ, наразъ такъ боязко оглядається на свою тинь, що згорблена показує йому то на деревахъ, то на корчахъ и пейсы його. й мишокъ зъ солею та ще й пляшку въ кышени? Ой, мае винъ кримъ ревизоривъ ще иныхъ тяжкыхъ та хытрихъ ворогивъ! Винъ якъ разъ мае теперь переходыты по-пидъ викна Мыкыты Сыренького, що робыть въ арендаря Сруля, а Сруль на Боруха мае храпъ не видъ ныни. Якъ Мыкыта побачыть його въ таку пизню пору на своимъ перелази, побижыть сказаты Срулеви,—такъ пропала й силь, и горилка, и весь пачкарський \*) крамъ! Та мало ще того: будутъ въ роботы й пейсы, и облизла струглювата голова, та ще й до криминалу за-пхають. Сруль въ торговыхъ справахъ безошадный и немыло-сердный для тыхъ, що йому стають на дорози...

Йде Борухъ, пидкрадається до Мыкытыной „липанкы,“ пры-слухається. Куры пють, а той чорный дячышынъ пивень тонень-кымъ голосомъ выводыть надъ усихъ, цилій громады оповищає справедлыву пивничъ. Борухъ знає того чорного пивня, уже не разъ хотивъ його за силь выминяты; але дячыха не хоче, бо пивень спиває на циле село и завсигды въ справедлыву пивничъ.

Голосыть дячышынъ пивень пивничъ, помагають йому й други пивни, а Борухъ слухає, чыслыть ихъ по голоси, ажъ забувъ и страхъ свій. Прышовъ пидъ перелазъ Мыкыты Сы-ренького й видразу прысивъ на мишокъ, зигнувся у-трое за плотомъ, задубивъ. Дывыться жыдъ, а Мыкыта выкопавъ за хатою яму, вытягнувъ зъ хаты щось нибы домовыну зъ трупомъ, вса-дывъ до ямы, закопує... Тыхенько коло дила захожується, навить не застогне, навить не видсапне.

-- Який страшный розбійныкъ той Мыкыта Сыренький!—ду-має Борухъ и сыдыть за плотомъ, трясється, мовъ у пропасны-ци.—Що винъ таке загрибавъ? Ни полицаивъ, ни шандаривъ нема! Кого винъ заризавъ? Никого иншого, тилькы подорожнього яко-гось, бо тилькы въ його подорожни переночовують, а бильше ни въ кого. Выдно, що й на сели душоубы ще не перевелься... А якъ то винъ мудренно ото закопує!... Землю прытоптавъ, смит-тямъ з-пидъ стрихы прытрясь, ще й зверху накыдавъ; а самъ все оглядається въ той бикъ, де Борухъ, и сокыры зъ рукъ не выпускає.

---

\*) Пачкаръ — контрабандысть; пачкарський — контрабандный.

Стрепенувся Борухъ, побачывшы сокрыу въ рукахъ Мыкыты Сыренького; стало нымъ пидкыдаты на тимъ мишку зъ силлю... Якъ тилькы замитыть душогубъ Боруха за плотомъ, поты й носывъ дешеvu силь пачкарську! Разъ обухомъ въ голову пальне— и по всьому...

Запхався Борухъ носомъ у плитъ, дрыготыть на тимъ мишку, пары зъ себе жахається пустыты; а тутъ якась мара лоскоче въ горлянци, дыхнуты не дае,—хочеться кашляты на смерть... Душыться Борухъ, душыться; не выдержавъ, закашлявъ спочатку носомъ, а дали ротомъ...

— Ого!—вымовывъ Мыкыта Сыренький, наче його що пидъ сердцемъ кольнуло; прыскачывъ зъ сокрыю до плота, глянувъ за плитъ и вызвирывся здывованый на жыда.

— Ой вай мирь!... кгевалть!—закрычавъ Борухъ въ одчаю й сховався за мишокъ.

— Тыхо, заплывыстыый Юдо, не крычы! Якъ дитыща мени побудышь у хати, то покаяннѣя зъ тобою зроблю!—остерегавъ Мыкыта жыда.—Що тобі таке сталося? Повидай, але потыху...

— Берить силь, берить горилку, лышь жыття даруйте!...

Борухъ ставъ потроху прыходыты до пам'яты. Спочатку дававъ Мыкыти й силь, и горилку контрабандову, а напослидокъ циле ничего, колы переконався, що його жыттю не грозыть ніяка небезпечность.

— Я соби такъ тилькы жартувавъ!—говорывъ Борухъ до Мыкыты,—я знаю, який вы добрый чоловікъ, и за те дамъ вамъ литру солы задармо.

— Не хочу,—каже Мыкыта,—загырся зъ твоею солею и зъ такимъ зарибкомъ!...

— Я васъ не намовляю, лышь не говорить про те Срулеви. Не згадуйте ничего, прошу васъ; вы знаете, який винъ на мене...

— Я у ваши жыдивськи штуки не мишаюся! Але якъ ты пынешъ однимъ словомъ про те, що тутъ бачывъ, то тямъ соби...

— Що я бачывъ, що?... Я закашлявъ пидъ плотомъ, а вы выбиглы зъ хаты... бигме, що я ничего не бачывъ!...

Заклявся Борухъ, що не повисть никому про Мыкытynu тайну, а Мыкыта обиявъ не згадуваты передъ Срулемъ про пачкарську силь та горилку. И такъ обидва розійшылся.

Довго ще Мыкыта затыравъ слиды недавно заметаного гровыща; ще разъ оглядивъ довкала хаты; потимъ пишовъ ажъ

надъ потикъ, бо здавалося йому, що хтось пидъ берегомъ ворувся; але не змитивъ ничего, перехрестився,—видно, такы йому щось прычулося.

Ни, йому не прычулося: ледви Сыренькый прычинивъ за собою синешни двери, з-пидъ берега вылизлы обидва нични сторожи, вични каликы—глухый Кырыло и здрачый Спырыдко, и стали обидва затыраты руки зъ радости. Треба знаты, що обидва служители громадськи видъ килькохъ мисяцивъ не могли знайти такого мисця, щобъ выгидно проспатыся въ ночи. Шандаръ насився на обохъ, не дававъ имъ дыхаты на свити: разъ заставъ обохъ на печи въ Кырыла, другой разъ у загати Спырыдка и грозивъ имъ, що вйть прожене ихъ зъ службы. Вони по правди велькои корысты не малы зъ тои службы, але все такы стали лучше пыльнуватися. Тои ночи надіялися зновъ шандара; отже пишли соби ажъ пидъ потикъ, за хату Мыкыты Сыренького, тутъ соби полягали й мывовильно сталися свидкамы зустричи Сыренького зъ Борухомъ.

Ишли теперь та радылыся Кырыло й Спырыдко. До кого йты перше—до вйта, чы до Боруха? Пачкарська горилка й силь примусылы ихъ иты слидомъ за Борухомъ. На синешнимъ порози заскочылы жыда, влизлы за нымъ до хаты й выпылы по дви бляшанкы якоись горычи,—такои пекучои горилкы ще въ жытти своимъ не пылы; закускы не було, за те дисталы обидва сторожи нични по литри дешевой солы и прырекли мовчаты, якъ въ гроби. Хабаръ сховалы пидъ дзвиницею, а самы пишли до вйта похвалытыся, якъ то вони громады пыльнують. Замытылы одначе жъ, що шандаръ спыть на току; то вже не будылы никого, а полягали соби на соломи пидъ стодолюю и тамъ хропы разомъ зъ шандаромъ.

\* \*  
\*

Зладывся Мыкыта Сыренькый ще до-свита на роботу. Утикае въ свить, хоче лышыты свою челядку, якъ ще спала. Уже все мае на соби и хрестомъ святымъ оградывся на дорогу. Пидйшовъ до порога, слухае—на двори гоминъ нибы колядныкывъ риздвяныхъ и въ синяхъ такожъ. До хаты стали входыты одынъ по одному благовистытели въ поважнимъ настрою: начальныкъ, асесори, „огльондачъ быдла,“ ревизори усопшыхъ, радныкы, пры-

сяжни, нични сторожи, а на чоли того всего Сруль арендарь зъ шандаромъ. Нихто не сказавъ: „добрый день.“ Все жаряче взялыся до дила: здійняли зъ Мыкыты торбу, перетряслы—знайшлы въ ній каминь до косы, кусень пыльныка, кусень брытвы зъ косы й щитку протерту. Росперезалы Мыкыту—выпала люлька зъ короткымъ цыбукомъ и кусень шматыны, а въ тій шматыни було ище трохи тютюну, завернутого въ папиръ зъ „пачкы.“

Сыренького жинка схопылася перша зъ постели, распочала свою звычайну ранишню роботу: стала спиваты сухымъ кашлемъ, ажъ зайшлася.

— Теплои воды... хочъ трохи теплои воды... бо згynu,—стогнала молодыця, але на те попечытели не вважалы.

Диты такожъ посхоплювалысь и дывылысь здывовани на громадську старшыну й на шандара зъ „багнетомъ“ и ланцюгамы. Найстарша дивка Сыренького утикла зъ постели за коминь, соромылася свитыты наготою, бо въ сорочци рубъ руба не держався.

Прысяжний першый помитывъ оте й показавъ другимъ; а „огльондачъ быдла“ штурхнувъ палычкою—такъ зъ ласкою—дивку за коминемъ и сказавъ недбалю:

— Не встыдайся, не встыдай!... Злазь сюды до насъ, ты намъ такожъ потрибна...

Перешукалы хату, комору, загату, перешукалы вси куткы; не знайшлы бильшь ничего. Ни, неправду кажу: „огльондачъ быдла“ знайшовъ пидъ запичкомъ коробку, а въ коробци грудку смолы, шыло й трохи свынячої щетыны.

— Прызнайся!—каже начальныкъ до Мыкыты,—говору намъ усимъ, що закопавъ сеи noci за хатою?

Мыкыта Сыренькый одразу пополотнивъ. Винъ глянувъ на жинку, на диты переляканымъ поглядомъ. Постановывъ соби ничего не оповидаты, але бренькитъ ланцюгивъ шандарськыхъ наказувавъ инакше. Винъ нахылывся до Срулька и щось йому шепнувъ до вуха. Срулько зновъ нахылывся до начальныка, ставъ щось шептаты. Настала важна хвыля; кожний росцикавывся, кожний бувъ переконаний, що дило мае зъ страшнымъ очайдушныкомъ.

— Ни, то неправда!—сказавъ вйтъ посередъ загальнои тыши,—то не може бути! Винъ бреше!...

Сыренькый на ти слова зложывъ зъ пальцивъ хреста, поцилувавъ и щиро заприсягнувъ.

— Щобъ мене,—каже,—той покаравъ, колы вамъ правды не говорю; я въ моимъ жытти ще николы не збрехавъ.

— Заразъ покажется,—толкувавъ вѣтъ,—треба видкопаты.

— Не робить того, пане начальнику!... не губить мене, панове радни! Я вже не могу по божимъ свити ходыты. Якъ вамъ кажу, що те, то те; повірьте моимъ словамъ, мой присязи!

Ставъ Сруль такожъ трохи обставаты за Сыренькымъ, за своимъ робитныкомъ; але бильшисть перемогла, ухвалыла, щобъ наочно переконатися. Все подалыся на мисто злочыну. Видкы-дали смиття, забралыся ажъ у-трохъ зъ рыскалямы \*), копають землю що-разъ глыбше. Добулы паку, вытягнулы зъ ямы, розбылы верхни дошки... Правда Мыкыты Сыренького, не збрехавъ! Йесть пивтора корчыка бульбы, що Сыренький закопавъ у ночи, щобъ диты не зналы й не вытяглы по одній такъ, якъ тамтого року, що тилькы пустый копець лышывся. Думалы радныкы до-конче щось бильше знайты, та не вдалося. Высыпалы бульбу зъ паку коло гною та далы дитямъ нагоду до велькой втихы.

— Бульба! бульба!—скрыкнулы мали жеребци Сыренького. Сталы хапаты кожне соби то за пазуку, то въ подолокъ,—що сарана голодна присила до того дробу.

Мыкыта Сыренький, знаты, не мигъ зъ горя вдержаться на ногахъ, бо присивъ на купяку гною. Не зважавъ на гуртъ свитлон комисіи, лышь глядивъ, мовъ страдальный Іовъ, на свою жинку й молывъ ии поглядомъ, щобъ йому такъ не вычитувала хочъ пры дитяхъ.

— Ты бездушныку!—говорила йому зъ плачемъ розжálена молодыця,—де въ тебе совисть?... Не лучче було мене закопаты, щобъ я вже не мучылася, не дывылася на ихъ муку!...

Мыкыта тыхомырывъ жинку, що такъ эле не думавъ; попечытели слухалы, часомъ прытакувалы.

— Жинко, опам'ятайся!—благавъ винъ.—Що ты говоришь?... Не поры, не рижъ мене безъ ножа!... Я имъ такожъ отець и тоби чоловикъ... Я для васъ закопавъ... Прыгадай соби, скилькы днивъ тои весны видробывъ Срулеви за корець дробу, скилькы ты видробыла?...

---

\*) Заступъ.

— Мамуню, мамуню, дывиться!... Вдавываясь, вдаываясь!—крычали диты, показуючы на найменьшого дволитнього громадянина, шо вхопывъ сыру бульбу й нею задаываясь.

Молодыця вхопыла дытynu на руки, вытягнула на сылу кусныкъ бульбы малому зъ рученяты, наставыла йому суху грудь, щобъ утыхомырыты. Дитвакъ очевидно знавъ, шо тамъ, въ тій груди, не знайде для себе ніякои поживы, та напирався на землю до сырой бульбы.

— Тыхо, малый крыкльвыый правыборче \*), тыхо!—остеригавъ прысяжный.—Не рушь бульбы, бо тоби въ голоднимъ черевци багнетомъ дирочку выверчу и ще въ ланцюгы закую!...

Шандаръ усмихнувся, запалывъ папироску, вынисся першый зъ начальныкомъ, а за ными посунулы повагомъ радныкы, проклянаючы въ души невдалу комисію. Лышываясь тилькы пры Мыкыты арендаръ Сруль та дывываясь, якъ мали диты Сыренького таскалы бараболю до хаты.

Мыкыта сыдивъ все ще на гною, мовъ безъ жыття, Сруля арендаря передъ собою не бачывъ.

— Слушайте, Мыкыто!—заговорывъ жыдь.—Чому вы не хотилы панамъ законтракуваты своеи нывки пидъ верчення, чому? Я вамъ добре радывъ, а вы не хотилы. Нужда сього року така велыка! Бидни мужыкы зрикаються своеи рилли; продають за шо небудь, абы тилькы хто хотивъ купуваты...

Мыкыта мовчавъ. Винъ дывываясь, якъ послидню бульбу диты неслы до хаты; дывываясь на незаметане гробовыще.

— Який вы отецъ своимъ дитямъ?... Бульбу закопалы, челядь ваша зъ голоду гыне,—говорывъ Сруль и положывъ свою руку на голову Сыренького.

Диты въ тій хвыли закрычали весело въ хаты; трое выбигло на двиръ.

— Татуню, татуню! Васыльцо вже третю бульбу зхрупавъ...

Мыкыта потрясь головою, скинувъ зъ неи Срулькову руку и сказавъ:

— Знаешъ, Срульку, нехай буде вже такъ, якъ ты радышь: я законтракутую...

---

\*) Въ Австрій двостепенна система выборивъ до парламенту: людность—*правыборци* выбираютъ выборцивъ, а ти вже дають голосъ за того, чы иншого посла.

— Але кому?—пытавъ жьдъ.—Теперь вашъ кусень уже за малый до контракування. Паны нафтяри знайшли соби дешевыхъ контрактивныкывъ,—ажъ просяться, щобъ купуваты.

— Та я тоби, Срульку, продамъ, а ты вже соби якось порадышь.

— Я такожь не мудрый до такого гешефту. Я на тимъ не розуміюся добре, а грошей стильки не маю, щобъ самому до верчення забиратыся.

— А що жь бы ты давъ за мою нывку, пидъ чотыри корци висиву?

— Чотыри корци висиву, то правда... На добрый рикъ якъ справыте, то зберете те, що посіете; але сього року зъ неи не маєте ничего... Я вамъ обияю за кожну вежу, що займе стильки мисця, якъ ваше обійстя, п'ятьдесять ренськихъ \*); пры пидписанню контраку дамъ ще п'ятьдесятку и висимъ проценти доходу зъ кыпячки \*\*).

Роспочався торгъ на-правду. Сыренкый не мигъ зрозумиты, якъ той „процентъ“ выглядае; Сруль зновъ не мигъ вытолкуваты, и стало на тимъ, що замистъ висимъ проценти обиявъ жьдъ Сыренкому пры пидписанню контраку круглу сотку, а видъ кожної вежи п'ятьдесятку.

Дывна прыгода зъ закопаною бульбою дала инший оборотъ жыттю Сыренкого. Ще того самого дня, замистъ иты на роботу, пойихавъ Мыкыта зъ Срулькомъ до нотаря контракуваты свою нывку, свою батькившину, що нею такъ дорожывъ и майже килька литъ опирався спокуси, тій грошевій мамони.

— Сотка кругла заразъ, п'ятьдесятка пизнійше видъ кожної вежи, на двадцять п'ять литъ; а потимъ усе Сыренкого Мыкыты: и грунтъ, и вси машины, будынки, колы Сруль въ мисяць всього не забере.—Такъ було напысано въ тимъ контраку нотаревимъ и такъ перечыталы Сыренкому пры свидкахъ.

Мыкыта згодывся радо на ти умовы, взявъ за перо,—значыло—пидпысався, й диставъ за те круглу сотку.

Зъ такую сумою грошей ще Мыкыта николы не носывся; треба було щось зробыты. Не выдавъ винъ грошей справди на горилку, бо до неи зроду не мавъ потягу, лышь купывъ килька корцивъ бульбы, купывъ капусты для челядки, и коровыця й

---

\*) Ренскый чы гульденъ на наши гроши коло 80 копійокъ.

\*\*) Кыпячка—недистыльована нафта.



поросятко видозвалося коло хаты,—а все зъ тои соткы. Розстався на одѣжу для дитей, на выбыванку для видданыци найстаршон,—сотка пишла не на дурныцю. Въ хати Сыренького воцарывся рай земный; не такъ эле зъ контракуваннямъ сталося, якъ Сыренькый соби выображавъ.

— Щобъ тилькы стали вертиты, то буде зновъ по п'ятьдесятци видъ кожної вежи,—думавъ Мыкыта.—А якъ буде десять вежъ на мой нывци, то буду маты десять п'ятьдесятокъ. То буде страхъ багато грошей; навить не знаты, скільки було бъ то на ренськи?... То мабуть сума неперечыслена!

Мынувъ рикъ; на нывци Сыренького не вертили. Мынувъ другый рикъ—такъ само. Нихто не допытувався, а Срулько тежъ не любывъ про те згадуваты. Выдно, що й йому не пощастыло тымъ разомъ. Сыренькому байдуже: Богъ давъ, якось запомигся соткою; видно, взявъ ии въ щаслыву году. И вивсыкъ, що посявъ, зародывъ, и бульба своя, и робота пры хати кожному ведеться.—Щобъ уже й не вертили, щобъ можна Срулькови виддаты сотку, то було бъ найлипше,—розважавъ часто Сыренькый и ставъ зъ арендаремъ на-правду заходыты въ торгъ, щобъ видступывъ видъ контраку, якъ свои гроши дистане.

\* \*  
\*

Помырився Борухъ зъ своимъ заклятымъ ворогомъ, на-правду помырився; обцявъ доставляты арендареви дешевой солы и въ спилци зъ нымъ спродуваты.

Тишыться Сруль барышемъ несогиршымъ, а все думаетъ надъ тымъ—чого Борухъ видъ його хоче? що зневолыло його до такого помырення? яки його задни думкы?

Борухъ все тихый, боязкый, носыть ночамы мишкы зъ дешевой силлю, перекрадаеться, якъ давнійше, манивцямы; лышь черезъ перелазъ Мыкыты Сыренького лизе теперъ смило и зъ стороживъ ничныхъ сміеться. Часомъ стане на нывци Сыренького, знайде въ борозни калюжку й бере зверху на палыцю оти масни смугы, прыглядаеться до ихъ уважно. Винъ знае, що ти смугы значать; знае лучче видъ Срулька. Двадцять литъ черпае сыровыцю по закопахъ нафтяныхъ, то мае досвидъ велькый.

Зрадывся разъ Борухъ зъ задними гадкамы. Ставъ купуваты ныбы жартомъ видъ Срулька право контракуве на ныву Сыренького, дае йому дви соткы и щось тамъ дешевой солы.

— Дай тысячку и висимъ проценты чистого доходу,—каже Сруль по довгимъ торзи.

— Добре,—признае Борухъ.

— И до трьохъ мисяцивъ вертиты...

— Добре!...

Зробылы новый контрактъ у нотаря.

Борухъ купывъ право контрактове видъ Срулька, давъ йому тысячу ренськихъ, висимъ проценты чистого доходу и до трьохъ мисяцивъ вертиты на нывци Сыренького.

Мынуло тры мисяци. Въ послиднимъ дни выславъ Борухъ на нывку Сыренького кильканадцять робитныкивъ зъ довгыми свердлыками; каже имъ вертиты. Вывертили хлопы въ однимъ, другимъ, въ третимъ мисти вельку диру й сміються, хоча й не знаютъ, зъ чого... Выбигъ Срулько, нагнавъ мужыкивъ, а до Бо-руха зъ пястуками: лютый—страхъ!... Обкладае товариша египет-ськымы язвами, лае, ажъ йому пина зъ рота прыскае.

Борухъ выслухавъ спокійно ту лайку, заложывъ руки за поясъ та поvidaе:

— Ша-а-а, капцанъ цыгайнеръ Сруль, ша-а-а!... Ты заробывъ на гою за сотку десять, ще й мене хочешъ одуриты?... То не на сели въ корчми гою одуриты... я вже двадцять п'ять литъ и въ день и въ ночи мучуся, а винъ хоче видъ мене десять сотокъ украсты контрактвно. Пожды, якъ мени схочеться, тоди буду вертиты.

Погандрычылыся жыды помижъ собою, розійшылся въ гниви. Мынуло тры лита. На нывци Сыренького панувавъ спокій; никто не ставывъ вежи, хочай на иншыхъ грунтахъ стоялы вже машины и всюды несло кыпячкою, всюды по потичкахъ плыла ропа \*), занечышувала воду и труила въ ній всяку животыну. Не одынъ зъ мужыкивъ чухався въ потылицю та бидкався—на що йому було контрактуваты на двадцять п'ять литъ? А такъ за-пропастывся на вики: поставлять одну вежу и черезъ оту вежу з'йиздять циле поле, цилу синожать, и йды до Бога правуватыся!

Мыкыта вдоволений, що вивсыкъ та бульбу зъ своей нывки збирае; тилькы одно його не тишыть: вже Сруль не хоче браты соткы, шось крутыть; навить и за проценты слухаты не хоче.

---

\*) Ропа—кыпячка.

Сруль дійсно вже теперъ и не думавъ про Сыренького. Йому ходивъ по голови Борухъ, що його такъ порядно одуривъ; той злодій окаянный обицявъ до трьохъ мисяцивъ вертиты й такъ ладно йому завертивъ!

\* \*  
\*

Купивъ Борухъ право контрактове видъ Срулька, ходивъ дальше, розщибався, але не зъ дешевою силлю помижъ мужыкивъ, лышь изъ хытрою головою помижъ адвокативъ. Винъ знавъ, щб купивъ; винъ знавъ добре, чого коштувала нывка Мыкыты Сыренького! Колы обмиркувавъ дило на вси боки, колы розвидався по адвокатахъ, на якихъ умовахъ може найлучче спродаты свое право законтрактування, пишовъ теперъ до свого колышнього товарыша, а нынишнього миліонера Мошка Уншульда.

Мошко Уншульдъ варывъ колысь силь зъ Борухомъ, пизнише займавъ становыще капытана „кучыниривъ“ \*) въ галыцькыхъ калифорніяхъ; а теперъ бувъ властытелемъ килькохъ фабрыкъ, дидычемъ кильканадцятьохъ силъ, арендаторомъ пропинаціи въ трьохъ повитахъ,—особа для тысячивъ голодныхъ ротивъ по Бози на земли перша. У старостви, въ суди, у „выдзяли“—жемчугъ знаменытости, а пры выборахъ усякыхъ майстеръ на все. Винъ все умивъ зробыты, щобъ вышло на добре пану старости безъ багнетивъ и крыкивъ; солевары помагали йому, а найбильше Борухъ. Сей умивъ, або лучче сказаты, вынайшовъ способъ, якъ можна красты карткы пры выборахъ на посла, и за те йшовъ теперъ смило до свого одновирця-покровытеля.

Борухъ зажадавъ одъ Уншульда Мошка за свое право контрактування п'ять тысячъ пры пидписи контракту, шість сотокъ видъ кожной вежи й двадцять процентъ, а верчення за нафтою мае распочатыся въ протягу одного мисяця.

— Я вже теперъ не верчу,—сказавъ Мошко Уншульдъ Борухови.—Мени урядъ гирнычый заказавъ займаться такымы диламы. Удайся зъ тымъ до дыректора банку або й до самого князя: вони видъ тебе куплять.

— Мошку, не дуры мене!—каже на те Борухъ повитовій повази,—я знаю, хто тутъ головою въ гешефти. Ты, якъ схочешъ,

---

\*) Кучынирамы звать жыдивъ-голодранцивъ, розбышакъ...

всімъ головы поскручуешъ; ты добрый капитанъ и помижъ голямы и страшный... Прыгадай соби нашу дружбу давню; я тоби такожъ пры выборахъ помигъ... Купы, не ошукаешся!

— Куплю... А щѣ ты хотивъ бы, колы бѣ спилка князя схотила видъ тебе пизнійше видкупыты ти двадцять процентъ?

— Я не спродаю!

— Але жъ дурный Борухъ! Щѣ тоби шкодыть податы цину твого проценту?

— То нехай буде двадцять тысячъ!

— Згода!...

Зробывъ Борухъ зъ Мошкомъ Уншульдомъ контрактъ. Диставъ Борухъ пры пидпыси контракту п'ять тысячъ и запевнени на пизнійше шисть сотокъ видъ кожнои вежи й двадцать процентъ, або за той процентъ двадцять тысячъ готивкою. До такой цины пидскочыла нывка Сыренького Мыкыты,—нывка на чотыри корци высиву!

\* \*

Ажъ теперъ зароилося на нывци Мыкыты: стали звозыты казаны, штабы зализа, машыны, руры; кожного дня людей бильше прыбувало. Сыренький Мыкыта стуманивъ, колы замитывъ, що такъ въ короткимъ часи його нывку скраялы, з'йиздылы возамы, позакладады рижнымъ зализомъ, тымчасовымы садыбамы й кантынамы \*) для робитныкывъ.

Выставылы одну вежу—диставъ Мыкыта п'ятьдесятку; выставылы другу вежу, диставъ и другу п'ятьдесятку, и на тимъ скинчылыся доходы первистного властытеля, бо бильше вже не треба було новыхъ вежъ ставыты. Бухнула кыпячка зъ одной и зъ другои ямы, бухнули тысячи, миллионы! Радистъ велька помижъ нафтярськымы спильныкамы. Заплатылы пидпрыемци Борухови за його двадцять процентъ видразу двадцять тысячъ готивкою й повилы йому:

— Будь здоровъ, Боруху! Шкода намъ даваты двадцять процентъ зъ нашихъ обохъ ямъ; волымо заплатыты тоби, якъ ты соби самъ въ контракты застеригъ. Буде зъ тебе й того гараздъ. Заробывъ на одной тысячи двадцять п'ять тысячъ,—шуруй \*\*)!

\*) Садыба—лыхенька хатка; кантына—шынокъ.

\*\*\*) Забирайся геть.

Мыкыта Сыренький диставъ ще за обыдвѣ вежи вертнычи двѣ п'ятьдесяткы, отъ же разомъ зъ першою соткою двѣ соткы за свою батькивщину й попрощався зъ нею на вику. Того року вже не було на чимъ вивсыка посіяты, а ни бараболи посадыты; мусивъ жыты зъ тои гѣтивкы, купуваты такъ само хлѣбъ, якъ други. Вертачи \*) дорожнечу зробылы въ цилій околыци; для такыхъ Мыкытивъ Сыренькихъ стало жыття неможлывымъ.

Промынувъ Мыкыта ти двѣ п'ятьдесяткы, найнявся на свой батькивщени за робитныка,—на батькивщени, що другимъ давала щоденно кыпячки на тысячи. Помпувавъ воду до машыны й мавъ нагоду прыглядатися, якъ паны князи прыйизджалы любоватыся здобутымы скарбама.

Помпувавъ Мыкыта Сыренький воду и въ день и въ ночи, а все поглядавъ на нывку, чы не поставлять ще одну вежу та кынуть за Бога рады ще одну п'ятьдесятку. Але вже не диждався, знайшлы його одного дня нежывого пры помпи; пересельвся праведный, безгришный, „идѣже нѣсть болѣзни, ни печали.“

— Егда мыръ прыобрящемъ, тогда въ гробъ вселымся!—спивавъ одынь зъ тыхъ, що неслы Мыкыту Сыренького до трупарни, а други глумылыся:—„За-пизно... за-пизно!“.

Лышывъ Мыкыта Сыренький жинку й диты, лышывъ свою родыну голодну, голу добрымъ, мылосерднымъ людяма на послугу. Ходять дитыська оброплени по свой колышній батькивщени, та хто не хоче, поштуркуе ихъ и прозывае быдломъ. Одна тилькы найстарша видданиця Сыренького запопала щастя, бо дисталася до молодого инженера на службу. Але вже довго у його не буде, вже прызначена до Борухового зятя за мамку; чотыри ренськи дистане на мисяць и пыва, скилькы схоче, щобъ багато корму прыбувало...



---

\*) Вертачъ—робитныкъ коло свердла, що пымъ докопуються до нафты.

## Ройтивъ шыбъ \*).



### I.

ловывъ Мыкыта Рыло славного „лыбака“ \*\*) Ройта пры свой „дучци“, \*\*\*) якъ кравъ кыпячку. Вхопывъ у жыласти крипки руки худу людуну за горлянку, держыть мовъ клищами.

— Прецинь разъ попавсь, жыдуню солоденькый!—каже Мыкыта,—викъ потямышъ мою десныцю!... Чымало накрався моеи пращи?... га?... Годочокъ цилый, бигме, годочокъ чыгаю на тебе, помы не зустрився...

Говорыть Мыкыта свое, а жыдъ вертыться въ рукахъ, вайкотыть, жыбонуть—страхъ!

— А теперь а-а-а... спіймавъ, якъ Богъ святыи на неби, що спіймавъ багрія-кучынира!—говорывъ Мыкыта Рыло й душывъ що-разъ прыкрійше.—Маешъ за мои безсонни ночи!... Маешъ за мою грызоту!... Маешъ за кыпячку!... Маешъ, маешъ, но... за все маешъ!

За кожнымъ словомъ „маешъ“ Мыкыта душывъ Ройта такъ довго, ажъ сей переставъ вайкотиты, завмеръ на-правду.

— Зле,—подумавъ Рыло,—отъ готова напасть, криминаль такъ заразы. Дрибку пучкамы пошолопавъ на жарть, навить не можна назваты се шолопаннямъ... иги!.. Ну дывиться, люде добри, ну дывиться!... Чы жъ мала бъ огыда таку прудку смерть маты? Та хиба вже не було бы... Господы, будь пры мени!.. Встань,

\*) Шыбъ—рудокопна яма, шахта.

\*\*) Лыбакъ—бидный жыдъ, що збирае кинськымъ хвостомъ нафту по ровахъ та калюжахъ.

\*\*\*) Глумлыве назвыще рудокопной ямы.

Мордку, встань!—почавъ уже просыты Рыло,—я бильше й пальцемъ тебе не рушу, будешъ бачыты—не рушу!

Мардохей Ройтъ лежавъ у борозни, не рушався.

— Встань, Скаріото, встань! Дистанешъ видъ мене нынишню кыпячку зъ моихъ дучокъ!... Будешъ маты найменше сорокъ кыблिवъ, \*) тилькы встань, не будь дытною!

Мардохей Ройтъ незамитно здрыгнувся.

— Ады! ады! Антыпкивъ сынъ ще не въ ади... може дастся упросыты й виджые кучынирський начальныкъ!—прыговорювавъ Рыло,—спробую по доброму, може зъ баюрыща вылизу... Якъ встанешъ, Мордку, дамъ тобі заразы закипъ \*\*) на „Новимъ Свити“... будешъ копаты самъ яму. Бида не вчепытыся до тебе,—чы хочу повисты—твій братъ позавыдуе тобі, яку дистанешъ „матку“ зъ воскомъ \*\*\*)!...

Вставъ Мардохей Ройтъ, пообтыравъ пасоку зъ рота,—якъ не той самъ: звеселивъ, зрадывъ.

— Але не скасуете свого слова? Вы мени дасте закипъ на „Новимъ Свити“, не правда?

— А якъ бы я не схотивъ даты, що мени зробышъ?

— Я заразы кладуся, якъ забытый, а якъ прыйдуть лыбаки, повимъ, що то вы мене справылы...

Мыкыта зъ погордою глядивъ на злодія, бачывъ, що тутъ нема чого зачынаты зъ проводыремъ кучынирськымъ: або пхнуты въ яму, щобъ за нымъ тилькы заклеотило, або даты видчипного, полу втынаты и втикаты видъ нього. Махнувъ Мыкыта байдуже рукою й сказавъ:

— Мара беры!... Дистанешъ и закипъ, тилькы не робы збыткивъ и не засыпай землею мою кошару \*\*\*\*).

— Можете буты певни, що жаденъ не понесе пидъ вашу кошару въ ночи земли; а якъ буде потреба, зъ вашихъ ямъ заберу насыпъ до-чыста, ништо не буде знаты, де дився.

— Не потребую. Я беру землю зъ своеи кошары на свій ґрунтъ, збыткивъ не хочу никому робыты.

---

\*) Бляшане видро.

\*\*) Шматокъ ґрунту пидъ рудокопну яму.

\*\*\*) Матка воскова—яма, що въ ій вискъ земный (озокерытъ) самъ иде з-пидсподу вгору й наповняе яму до верху.

\*\*\*\*) Кошара—шопа, повитка.

Того самого дня пысавъ Фокъ, славна и преучена голова въ тій околицы, „dobrowolną ugodę“ мижъ Мыкытою Рыломъ зъ одной стороны, а Мардохеемъ Ройтомъ „геретыкомъ“ зъ друго-быцькыхъ Ланивъ, зъ другой стороны. Двадцять свидкивъ знакомъ хреста святого пидзначылы свсе им'я на тимъ документи, а громадську печать вытыснувъ вйть симъ разомъ за-дурно, бо зъ Ройтомъ жартивъ не було. Впрочемъ рука руку мыла: знавъ Ройтови грихы вйть Ныколай,—знавъ вйтови грихы Мардохей Ройтъ...

## II.

Покынувъ Ройтъ свою ватагу „Гевре Грандъ“ пидъ проводомъ молодшого брата Люзера Ройта, а самъ почавъ копаты яму на свою руку. Кучынирська ватага доставляла щоденно свижою двоногою сылы робучою; кого спймала, хотивъ, чы не хотивъ—иты мусивъ, колы хотивъ дальше истнуваты въ свой пытомй Калифорни. Въ ночи выкопану землю десь невыдымо кучыниры розносылы по чужыхъ кошарахъ и рано було знсвъ чысто, копалы дальше.

— Скільки ты, Ройте, давъ Рылови за закипъ?—пыталы сусиды, въ котрыхъ не разъ кравъ кыпячку.

— Скільки я давъ... скільки я давъ?—повторявъ глумльво Ройтъ,—вси гроши, колы хочешъ знаты!

Дйсно у Ройта не було нйкихъ грошей. Робывъ бляшкы то по десять, то по двадцять крейцагивъ и тымы значкамы выплачувавъ робитныкамъ, а робитныкы йшлы зъ такымы „гришмы“ на „кантыну“ до нового ватажника „Гевры Грандъ“ и тамъ диставалы „колена (колочену) фасолька, хлибъ парове и маслянка дешева“. Та й якый то хлибъ бувъ—записниый або згиркый; яка та квасоля зипсована й маслянка, що ажъ въ нй шыпотило!.. Найголоднйшый псыще не доторкнувся бъ до такыхъ марципанивъ...

Але якъ сказано, хто разъ попався въ руки ватази „Гевре Грандъ“, той мусивъ якъ за повыннисть видробыты Ройтови одынъ—два дни и дистававъ за се—хотивъ чы не хотивъ—заплату бляшанымы значкамы, котри можна було проминяты у грубои Енты, за „колена фасолька и за дешева маслянка“.

— Беры, хаме, дванадцять шистокъ бляшкамы!—говорывъ Ройтъ робитныкови.—Груба Ента прыйме борше, нижъ правдыви... Въ неи всего дистанешъ, чого твоя душа забажает!..



Такимъ способомъ докопався Ройтъ ажъ до глыбыны тридцаты п'яты сажнивъ, натрапивъ на каминь—а ни рушъ дальше!—а тутъ и заморока бѣе, найтврдша голова не въ сыли выдержаты бильше, якъ дви годыны, а млынокъ хочъ фурделеть раз-у-разъ, та ничего не помагае.

— Сотку заразъ дамъ тому, хто розсадыть динамитомъ каминь на споди!—каже разъ Ройтъ.

Нащувльв Гулай Федько вуха, выслухавъ и повидае:

— Дайте намъ на руку сотку заразъ, але не бляшками,—такъ полиземо зъ кумомъ Иваномъ Заразою розстрилюваты.

— На, маешъ сотку, якъ лидъ гладку!—мовывъ Ройтъ и давъ обомъ выказъ на стогульденовый льосъ\*).

Оглянувъ Гулай нибы ученымъ окомъ, пизнавъ нумеръ 100 й каже до кума Заразы:

— Добра сотка, правдыва... Я нумеръ „сто“ пизнаю и смеркомъ.

Злакомылься бидни темни хлиборобы на таку суму, сховалы папиръ, пишлы до ямы, стали довбаты въ камени диру, щобъ можна вложыты динамитовой патронъ и розсадыты на кусни. Довбають, сверлять каминну опоку\*\*) по свому, а тутъ якъ гукне обомъ въ очи: бухъ!—и безъ динамитового патрона скала розсадылася пидземною сылю. „Матка“ воскова воскресла: надуло воску повнисиньку яму на тридцять п'яты сажнивъ,—обыва хлоппы осталыся на споди разомъ зъ льосовымъ выказомъ на сто гульденивъ.

П'ять мисяцивъ бралы та й бралы вискъ зъ ямы раз-у-разъ у день и въ ночи, закымъ добрались до покійныкивъ Гулая й Заразы, котри полышылы кильканадцятеро дитей голыхъ, голодныхъ, жинкы безъ сорочокъ и чотырьохъ беззубыхъ и немичныхъ дидивъ, але за те зробылы Ройта Мардохея въ одній хвыли миллионеромъ.

Выбравъ Ройтъ скарбы зъ святой землици, купывъ въ стрыйщыни красный маетокъ, ставъ паномъ-дидычемъ та й въ додатокъ польськымъ патриотомъ, а людямъ „на незабудъ“ лышывъ ненакрытый и необставленный шыбъ. Не одынъ, повертаючы

---

\*) Цинный папиръ, якъ акція то-шо; льосовой выказъ—роспыска на на цинни паперы.

\*\*) М'якый каминь, каминна скеля.

въ ночи по тяжкимъ труди зъ кошары, знаходывъ у ній вичный спочынокъ, пропадавъ у незмиреній глыбны безъ висты.

### III.

Упала безрога\*) Даныла Пачкы въ Ройтивъ шыбъ та й тилькы мавъ пожытку; а сытна була штука: шистьдесятъ уже купци давалы, а винъ хотивъ висимдесятъ и п'ять. Пропала безрога въ Ройтовій ями,—ничого й не казавъ Пачка никому, щобъ ризныкы-купци не сміялись.

Ото въ тимъ своимъ клопоти пишовъ Даныло Пачка—винъ бувъ народнымъ учителемъ—до „комуны“, жалуеться, що пидъ його викнамы, чотыри крокы видъ школы—Ройтивъ шыбъ ненакрытый, необставлений, до ямы падають въ ночи люде, а въ день худоба и звидты вже не вылазять.

Нихто не слухае Даныла Пачкы: сміються, кепкують.

— Мы вамъ позволяемо засыпаты,—каже „панъ презесь“,—нихто вамъ слова за се не скаже—моя голова въ тимъ, на мене спуститься!

— Така рада може чоловика гниваты,—видповидае Пачка.—Для засыпання такой безодни треба тысячи рукъ кучынирськихъ зъ михамы, килька сотокъ, а у мене того нема, а диты бигають зъ школы там-туды,—не тяжко о клопите...

— Самы кажете, що треба рукъ и грошей, а въ насъ такожъ нема на се капыталивъ—засыпуваты чысь ямы. А втимъ вы можете позваты Ройта до староства, до суду, а власти прыневолять його до того, що засыпле.

— Якъ то? вы мени кажете выступаты проты того, котрый на одно слово мае кильканадцять тысячъ голодныхъ ротивъ на свои послугы и може мене де-небудь до закопу кынуты? Вы, добродію, чей знаете, що у мене жинка, диты дрибни, родына чысленна, а капиталивъ ніякыхъ!...

Зареготався „панъ презесь комунальный“, а секретарь и други пысари йому завтуровалы.

— А вы намъ кажете зъ Ройтомъ зачипатыся?—спытавъ презесь Пачкы.—Адже жъ и мы не меньшъ залежни видъ його прымых, нижъ вы. Моя рада для васъ: сыдять тихо, не рыпайтеся, не выкликайте вовка зъ лиса! Може колысь въ тую яму упаде такый, що буде бильшъ коштуваты, а нижъ ваша безрога й корова Малыцького,—

\*) Безрога—свыня.

то й засыплеться. А такъ, що зроблю? Обставлю въ день паты-камы, а въ ночи повытягають на топльво...

Здывувався Даныло Пачка на таку сповидь презесивську: навить оти, що таку велику сылу малы въ Галыцькій Калифорнії, тремтили передъ Ройтомъ, признавались явно до своей безсылности супроты могучосты й воли Мардохея Ройта. Отъ же постановывъ, яко 'мога, самъ сторожыты коло ямы, остерегаты людей передъ немывнучою смертю—а вже бильшь никола не йты жалуватысь на самого Ройта.

#### IV.

Вернувся разъ учитель Пачка по полудни до-дому, хоче помогты жинци шури выгнаты зъ кимнаты и воду по зльвнимъ дощи вычерпаты зъ неи, якъ несподиванно цилый димъ затрясся, а пидъ землею заклекотило, наче сто патронивъ динамитовыхъ наразъ выстрилыло. Дывыться Пачка кризь викно на Ройтову яму,—зле! Замитывъ, що земля довола ямы на самій стежци пидъ викнамы, кудю люде переходылы, закроилася, а отвирь, оче-выдячкы, побильшався.

— Ныни мабутъ не будемо спаты въ хати,—говорыть Даныло жинци,—Ройтова яма дистала прымхы, готова ще й цилый димъ проковтнуты.

— Закымъ ты прыйшовъ, то щось тры разы такъ пидъ землею загудило,—мовыть жинка.

И зновъ потрясло цилымъ домомъ, жинка й диты заверещалы, страшный пидземный гукъ, хочъ тревавъ недовго, страшно наполошывъ сымъ разомъ бидну родыну Пачкы.

Занисъ Пачка свои диты до сусиднього шынку, а вертаючысь побачывъ, що на мисци, де була стежка, зробылася безодня зъ Ройтовой ямы. Завидомывъ власть комунальну й гирнычу, щобъ дали на ничъ сторожу, котра бъ остерегала проходячыхъ людей передъ небезпечнистю смерты.

Обицялы послаты сторожу.

Яма тымъ часомъ розсувалася що-разъ бильше. У-вечери замитывъ Даныло, що половина його дому стоить надъ безоднею, перехидъ людямъ по-пидъ викна бувъ перетяты: не могли дистатыся ни тїи туды, ни тамти сюды.

Вже й смерклося, дощъ хляпае, а сторожа все ще не прыходыла.

Даныло Пачка стоить на дощи—сторожить, остерегае прохожихъ. Тилькы почуе здалека людськи крокы, крычыть:

— Не йдять туды! вернись! тутъ яма запалася, безодня пидъ викнамы!

Ямари, шо знали сердечнисть Даныла Пачкы, дякували йому й верталыся.

Ажъ надійшы два ямари п'яни. Идуть найбильшою яругою, бовтають ногамы, спивають якоись жовнярською, а шо-хвыля стають, цилуютьса, матиркують соби зъ велькой любовы й щыросты.

— Брате,—говорывъ одынъ,—нехай не называюся Мыкытою Рыломъ, якъ ныни Ройтового барышивныка не обилле кава червона!... Слухай, я теперь на своимъ стою, знаешъ, на своимъ!.. Тутъ десь яма, котру я злодіеви Ройтови давъ за-дурно...

— Тыхо, тыхо, бо намъ не выплатыть за шыхту! \*)—остерегае на потемкахъ другый.

— Що-о-о?... я боюся може Ройта, шо за мою працю пануе, а мене на биду прызвивъ зъ тымъ другимъ злодіемъ Фоктомъ?! Прыдушывъ я бувъ уже разъ Ройта, але винъ не мыне моихъ рукъ!...

— Тыхо! хтось стоить, пидслухуе!..

— Стрымайтеся, люде!—кльче Даныло,—тутъ яма засунулася, не йдять дали!

— А дывы! то Фокта голосъ, того драба, шо пысавъ контрактъ Ройтови, того Фокта, шо збавывъ мене всього,—закрычавъ п'яный Мыкыта Рыло до своего товариша.—Бый злодія Фокта! бый, шо ся влизе! за мою працю!...

И на сердегу Даныла Пачку посыпалыся кулакы за покутного пысаря Фокта,—винъ упавъ безъ пам'яты, закровавлений, на землю.

Выйшла жинка, заволикла Даныла напив-мертвого до дитей, а ворохобныкы, спиваючы, полетилы въ безодню... тилькы за нымы зашумило!...

До першой годины по пивночи йшлы люде, якъ звычайно, стежкою по-пидъ школу, але вже не було другого Даныла Пачкы, щобъ ихъ остерегавъ передъ безоднею... Скилькы ихъ той ночи за Мыкытою Рыломъ и його товаришемъ за п'ять годынъ попадало въ яму—Богу йедыному видно!

---

\*) Шыхта—8—12-годынний часъ роботы пидъ землею.

О другій годины по пивночи з'явилася инспекційна поліція и знайшла все— въ порядку.

Скоро свить, зачорнилися кучыниры. Мовъ гайвороння стали зносыты лупокъ, \*) каминня зъ сусиднихъ кошаръ, стали засыпаты зъ велькою поквапнистю Ройтову яму.

Въ тры недили пизнійше стоявъ на тимъ мисци шынокъ— „кантына“ грубои Енты. Музыка грала, народъ гулявъ, весельвся, не знаючы про те, що скаче на могыли своихъ бративъ и сестеръ, котри несподиванно знайшлы свою смерть и вызволылыся видъ суеты жытейської,—не знаючы й про те, що й той Мыкыта Рыло, котрого росшукувалы по цилій Галыцькій Калифорніи, спочывавъ на сто килькадесять метривъ пидъ ихъ ногами...

Отъ и Ройтивъ шыбъ!...



---

\*) Лупокъ—шось нибы скеля.



## *Дмытро Марковичъ.*

Марковичъ Дмытро Васильовичъ на свить народывся 26 жовтня р. 1848 у Полтави; дятячий викъ свій прожывъ на сели въ Черныгивщину; освіту здобувъ у Новгородъ-Сиверській та Вологодській гимназіяхъ, а потимъ въ Одеському университетѣ. Судова служба, що выпала на долю Марковичеви, дала йому ба-

гато матеріялу для спостережень. Писаты почавъ винъ р. 1877, спершу російською мовою („Дуракъ“, оповидання въ „Еженедѣльномъ Новомъ Времени“ 1877 р., „Маленькое недоразумѣніе“ въ „Пчолкѣ“ 1880 р., „Иванъ изъ Буджака“ въ „Словѣ“ 1881 р.); на ныву жъ украиньского письменства выступае Марковичъ р. 1883 оповиданнямъ „Невдалыця“, надрукованымъ вперше въ „Зори“ за р. 1890. Року 1886, пробуваючы въ Херсонѣ, Марковичъ зложывъ и разомъ зъ жинкою своею выдавъ литературный збирникъ „Степь“, де мижъ иншьмъ по-украиньскы булы надрукованы отси його оповидання: „Два платочки“, „Шматокъ“ и „Омелько каторжний“; р. 1891 выйшло оповидання „У наймы“, р. 1894 въ „Зори“ надруковано комедію „Не зрозумили“ (псевдонимъ—Оленынь). По-російскы Марковичъ писавъ у „Кіевской Старинѣ“, „Русскомъ Богатствѣ“ („Бразиліане“ за р. 1896) та иншьхъ виданняхъ. Частыну украиньскыхъ творивъ Марковича выдано р. 1899 у Москви збирникомъ—„По степамъ та хуторамъ“, що мистыть п'ять „оповиданъ слидова-тел.“ („Иванъ зъ Буджака“, „На Вовчому хуторѣ“, „У наймы“, „Винъ прысягавъ“ и „Невдалыця“) та комедію „Не зрозумили“. Нечысленни писання Марковича выявляють справжній талантъ литературный; темы свои берутъ вони переважно зъ жыття степовой Украины.



## У наймы.

Образокъ зъ жыття Днипровського повиту 1887—88 року.



Нема краю широкому, вильному степу! Простягся винь ривный-ривный видь кучугуривь Днипровыхъ ажъ до самого Сывашу, уперся въ його, ставъ неначе на годьну, а дали перекинувся черезъ Сывашъ, задавивъ його своею величезною ривнотою й простягся вже вильно дали и дали, зачепивъ ричечкы Молочну, Динь и пропавъ десь... Коло самого моря лежать винь—неначе залыцається зъ нымъ, широкымъ и takimъ же вильнымъ,—якъ два браты, одынъ тихый, до осели прыхильный, а другый—ворогъ хаты... Видь Днипра степъ хороший, коло Сываша—понурий, билиастый, зъ лысынамы. Та й не дыво йому засумуваты коло такого сусиды. „Никчемне море“ и коло його, и надъ нымъ:

И небо невмыте, и заспани хвыли,  
И по-надъ берегомъ геть-геть,  
Неначе п'яный, очереть  
Безъ витру гнеться...

А трохы дали одъ того нудного берега, де тилькы верблужка\*) червоненька—неначе кровь—розлыта, або м'ясыста—неначе сльозамы вскрыта, дали

. . . . . не говорить,  
Мовчуть и гнеться, мовъ жива,  
Въ степу пожовкля трава...

\*) Трава, портулакъ

Оттакый то шматочокъ степу, про котрый иде ричь.

Сей рикъ велькый Богъ не хотивъ глянуты на степъ шырокий своимъ мылостывымъ окомъ; прогнивылы Його мылосердного, одвернувъ лице свое и въ той ментъ мертвымъ витромъ повіяло... Все, що зъ весны потяглось зъ земли багатой, все зразу стало умирать. Витеръ зо схидь-сонця вівявъ, дувъ немылосердно, лютувавъ, якъ хотивъ, всяку былыну, стеблыну звяльвъ, изсушывъ. Зеленый хлибъ выйшовъ зъ земли травыцею роскишною, неначе кылымомъ укравъ степъ; повівявъ сердытый витеръ—и травыця звернулася въ дудочку, зав'яла, головонькы схылыла додолу, пожовкла—и вмерла на вику... Курай колючый та жывучый, перекотыполе чудовне та летуче—видь того витру повмиралы, и на Иллю святого степъ почорнивъ, неначе ярына в-осены, сирюю землею, якъ попеломъ, вкрывся. А чоловикъ, хлиборобъ слъзою гиркою вмывся... Дрохвы повтикалы, стрепеты знялыся и не верталысь, степъ захоловъ, замеръ.

Тилькы Сывашъ своею важкою, сывою, якъ мертве око, хвелею лыже жовтый и попелястый берегъ.

По жовтій земли роскынулось село,—якъ въ писни кажутъ, стоить невесело. Хаткы маленькы, зъ глыны складени; покривли, якъ у татаръ, нызькы, глыною вкрыты; повиткы и сараи глыняни. Хата видь хаты на пивъ версты, а вулиця—якъ колышни шляхы. И все те жовте-прежовте: й хаткы, й земля, й небо—все жовте. По всьому селу ни одного деревця немає; будякы, що иноди ростуть рясно та густо, и ти жовти, обскублени. Тилькы середь самого села велька била церква сѣе золотою банею й радуе втомлєне око зеленымъ цвитомъ. По селу розбрелась худоба,—кисткы та шкура одвысла на ій; кони зовсимъ запаршывили. Нигде коло хатъ и на гарманахъ ничогисинько немає: ни соломы, ни си-на, ни половы... А по-за селомъ стоить будка, соломою вкрыта, и коло неи велька жердына, а на ій вихоть соломы та пучокъ ризокъ. Вартови стоять и денно й ночью,—то въ сели чума, а вихоть та ризкы говорятъ: не йидь, чоловиче, бо бытумуть!

Чудно на свити робытсья! Якъ по-за хатою стижки весело красуютсья на сонечку божому, якъ на гармани повни кони, сыта худоба,—то коло хаты стоять стижечки палыва—кырпычу (кизяку), по двору птыця вештаеться та щєботыть, свыня хрюка; у хати весело, видкиля тыхъ квитокъ навезуть; дивчата писни спивають, весилля грають на сели, на вулицы люде ходять, парубкы



спивають, а коло шынку, якъ коло вуля у теплый ясный день,— такого тамъ людей... А якъ по-за хатою голо та пусто, та нигде немає ничего,— сумъ, тыша и въ хати, й на вулицы, а жидъ у шынку цилый день спыть, або зачыныть шынокъ и повіється зовсимъ зъ села. Пройдешъ черезъ таке село— сумъ, нудьга нападае; якъ бы не грихъ, такъ бы на тій жердыни й зависывся.

Голодь у сели. Страшне слово! Члены земськи трычи прыиздылы, прывозылы гроши; прыйихалы ажъ тры валкы зъ хлибомъ, —але той хлибъ на новый посивъ,—а йисты... йисты—Богъ дасть. И Богъ давъ. Люде коней запрягалы, самы посидалы й потяглыся въ Херсонщину, де Богъ хлиба давъ; одни повіялыся ажъ за Мыколаивъ, други пойихалы ажъ у Кыивщину... На сели тилькы жинкы зъ дитымы zostалыся та слаби...

Зосталась удова Ганна й коло неи п'ятеро дитей: Степанъ чотырнадцяты годъ, Марыся дванадцяты й трое зовсимъ малыхъ, такыхъ, що меньшому рикъ мынувъ.

Степанъ уже другый рикъ у наймахъ: винъ за кухаря коло котыгы; бувъ пидпасычемъ коло шматка шпанкы, а дали у кухари перейшовъ. Другый рикъ, якъ винъ у багатого нимця по трыдцять карбованцивъ на рикъ ставъ и гроши прыносявъ Ганни. Вельку помичъ дававъ. Прыйде було—уси радють: маты не знае, де посадыть, Марыся клопочеться коло його, роспытуе, якъ и що у панивъ, чы вельке село Чапли, чы велька отара, яки квиткы ростуть у горóдахъ панивъ; малеча лизе... А маты подывыться й нышкомъ заплаче. Коженъ разъ, що прыходывъ Степанъ, мужа його зайдала; сорочки немає—шматочки закаляни замистъ неи. Обмыють його, одягнуть у чысте шмаття, одпочыне дома день або й два и пиде знову на степъ. Жылося Ганни не дуже погано; хлиба було доволи торикъ, хватыло ажъ до нового, — а нового Бигъ-ма,—та ничего, миркуе удова: прыйде на Покрову Степанъ и прынесе гроши.

Цилый день на Покрову ждалы Степана—не прыйшовъ. Другый день Марыся ажъ на толоку выходыла назустричь — немає Степана. На п'ятыи день тилькы прыйшовъ Степанъ и прынисъ клунокъ: въ йому було дви сорочки, постолы, батигъ,—усе його збижжя. Дуже зрадили йому.

— Що жъ се ты, сыну, такъ запизнывся?... Мы тебе чекалы ще на Покрову, якъ торикъ...

— Такъ, запизнывся, бо...

- Що жъ се ты й клунокъ свій забравъ?
- Я, мамо, зовсимъ прыйшовъ...
- Якъ зовсимъ?—перелякано спытала Ганна, и сердце ии захо-  
лоло.
- А такъ.
- Хиба жъ тебе выгналы?
- Выгналы.
- Ой, лышенько! За що жъ, сыну, выгналы? може ты самъ  
не схотивъ?
- Ни, я хотивъ, а шахмейстеръ прыйихавъ и звеливъ иты до-  
дому, я й пишовъ.
- Якъ же се такъ? Робывъ, робывъ, а проты зимы взяли та й  
прогналы? Сыну мій коханий! ты видъ матери не таисъ: може ты  
що вкравъ, або що?
- Ни, мамо, не кравъ.
- Може, яке ягня заризалы та зилы?
- Ни, не ризалы... У Хвейна не можна: вивци личени и колы  
яка пропаде, одибьется—заразъ штрапъ, а якъ здохне — маханъ  
собаци виддай, а шкурку шахмейстроуи. Ни, тамъ не вкрадешъ,  
не зисы.
- За що жъ, за що жъ вони таке роблять? А други зоста-  
лысь, чы й другихъ порозгонено?
- Ни, зосталыся... Отсе атаманы й стари чабаны зосталыся, а  
усихъ пидпасычивъ зъ нашыхъ сель прогналы. Казалы, що у Ка-  
ховци на ярмарку полтавци поставалы дешевше на зиму, а кот-  
ри булы до Покровы у насъ такы да у якономіяхъ—ти за харчъ  
сталы.
- Головонько жъ моя бидная! И грошей не далы?
- Не далы. Казалы, що уси забравъ, а упередъ не дають,—та-  
кий прыказъ. Казалы, що хлиба й сина немае, такъ усимъ да-  
ють меньше.
- Лышенько жъ мое! чымъ же я годуватому васъ, диткы мои  
кохани?—заголосыла Ганна, а за нею й меньши диты.
- Довго вона плакала, бо бачыла, що зима прыйде, заробыть  
нигде, бо и въ Перекопи—и тамъ людей повно, за хлибъ роблять,  
—просто такы лягай, та й умирай.
- Мамо, а мамо! Та вы тое... чого вы плачете? А може й пе-  
резимуемъ...—говорывъ Степанъ.

— Сыну мій, сыну, дурна ты дытыно! Якъ же мы перезимуемъ? Безъ тебе було важко, а тутъ ще й тобі треба шматокъ хлиба,—де жъ я його визьму?

— Та воно може... якъ небудь... Може й перезимуемо.

— Ахъ,—промовила Ганна,—дурне, дурне...

Хлиба жъ, хвалыть Мылосердного, було трохи,—на місяць стане, або й на два.

Заходьлысь варыты йисты. Марыся принесла кырпычу, запалало у печи. Закыпила вода, вкынула шматочки зо тры бурякивъ та кислото каменю, що въ Перекопи купують, та солы—отъ и борщъ. Хлибъ черствый и того по шматочку дае Ганна. Картопли немає—бо ии й заводу нема, картопля не родыть, а буряки иноди ростуть; не родыть ніякои огородыны.

Одпочывшы днівъ зо тры, Степанъ пишовъ роспытувать людей, де бъ йому статы хочъ за харчъ. Одни зъ його сміялысь, други казалы:—Ты, Степане, хочъ и малый, а вже великий дурень. Хиба не бачышь, що тутъ робытсья? Самимъ йисты ничого, а ще й наймытивъ держаты!...

На Мыхайла пишовъ винъ до молоканивъ, чы не приймутъ до отары. Не прийняли, бо позганялы вивци на други степы, у други повиты—тутъ ничымъ годуваты шпанку. Уже й морозы взялыся. Зима рано прыйшла. Отсе у-ранци встане Степанъ, визьме дви вирьовкы, та у-двохъ зъ Марысею йдутъ на степъ збираты палыво—курай. Цилый день проходятъ, сонечко сяде, а вони по стеблыни збирають и прынесуть в'язку, або й дви. На одну ничъ не стане.

Хлиба все менше и менше въ комори.

— Лышенько мое! хочъ бы ты, Степане, де ставъ а то йисы багато,—бачъ, хлиба вже мало зосталось...

Посыдивъ ще Степанъ день, походывъ, назбиравъ кураю, а у-вечери й каже:

— Мамо!

— Чого, мій голубе?

— Я пиду... бо мали диты у васъ... Зоставайтесь самы.

— Куды жъ ты пидешъ? Де жъ тебе приймутъ?... Ты жъ ще хлоп'я мале...

— Пиду...

У-ранци Степанъ узывъ шматокъ хлиба, у клунокъ сорочки й батигъ и пишовъ зъ села. Однимъ ротомъ менше стало. Тыж-

ня черезъ два писля св. Мыколая настала зима, да така, якои десять годъ уже не було. За кураемъ уже ходыть не можна, бо ввесь vybrалы, а надто ще й снигомъ замело. У хати—якъ на двори: стины уси льодовою корою вкрылыся, по куткахъ снигъ лажавъ. Одсунулы лавкы одъ стинъ, уси сыдятъ на печи, але й пичъ холодна, бо немае палыва. Зранку до вечора ходять Марыся зъ Ганною по селу й по-за селомъ, збирають кизякъ... Та де тамъ збирать! Скотячий ликарь зъ уряднымъ палять гній, бо чума на худоби, не можна, кажуть, його держаты, — прыказъ такый.

Мынуло й Риздвяне свято. Завше весело було у се вельке свято — а теперь тыхо: не чутно ни писень, ни гомону на вулыци. Де-не-де хтось заспива, та й зныкне — фуга не дае й сымъ двомъ-трёмъ веселымъ молодымъ душу одвесты.

Настала й голодна кутя. Для Ганны й справди голодна: ни пирогиавъ не пеклы, ни кути не варылы. Передъ вечеромъ сумно було въ хати, диты щось щebetалы та й замовкы; менши заснулы, а старшенькый хлопчыкъ на печи сивъ коло Марыси, обнявъ ии й тыхенько щось пытавъ.

— Марысю, а Марысю! Чы у всихъ кутя бува?

— У всихъ, любенькый.

— А у жыдивъ? У жыдивъ, мабуть, не бува. Не бува, Марысю?

— Ни, не бува у жыдивъ, тилькы у тыхъ, що до церкви ходять.

— А солодка кутя у панивъ? Га? Солодка? И узваръ мабуть йе? Йе Марысю? Мени Степанъ казавъ, що въ управляющого ой солодкый, ой соло-одкый...

Ганна засвityла шагову свичечку воскову передъ иконою, стала на-вколишки и тутъ усю душу вылыла... Наболило у сыроти. Згадалось ий дивоцтво, якъ той сонъ, якъ блискавка засвityлася, а дали ии весилля, трудове жыття зъ любымъ чоловікомъ, а дали, дали... тилькы слезы закапалы зъ очей. Вона проказувала уси молитвы, яки знала, а потимъ прыпала до земли й застыла...

Диты замовкы; Ивашко й Марыся злякалысь, якъ стогне та плаче маты.

Ажъ ось двери скрикнулы й на порози стала стара бабуся, сусидка Ганнына.

— Будьте здорови зъ святымъ вечеромъ!—промовила вона суворымъ, товстымъ голосомъ.

Ганна схопылась, диты боязно виглядали з-за комина—вони їи страхъ якъ боялись.

— Отъ якъ у васъ... Звычаивъ старыхъ не держите. Я—хрещена маты, а хрещеныця Марыся мени кути не прынесла ни на свято, ни сьогодни. Я ждала-ждала и розсердылась, дуже розсердылась...

— Бабусю голубонько... нема у насъ кути, тому й не носыла Марыся...

— Эге! Такъ що жъ, що нема? Такъ може у мене йе?... Треба було й такъ прыты.

— Выбачайте на сей разъ: соромъ, такой соромъ ходыты по чужыхъ хатахъ... Мы ще до сього не звыклы...

— Эге, не звыклы... Тилькы сердыте мене... Злазь зъ печи! Чуешъ, Марысю,—злазь и тягны дитей!—сердыто говорыла баба.

Марыся й диты позлазылы. Баба выйшла у сины, внесла й поставыла на столи горщыкъ кути, паляныцю и зъ п'ять пырогивъ.

— Якъ ты мени не прынесла, такъ я тоби прынесла. Сидайте, ййжете; а спершу треба хрестытыся.

Диты хутко силы за стилъ и узялысь йисты.

— Спасыби вамъ, бабусю,—заговoryла Ганна.

— Що таке?

— Спасыби, кажу, що прынеслы...

— Я не тоби, не твое дило мене вчыть... То не твое и не мое—Боже, отъ чые... Сидай коло мене... Стъ що, знаешъ Мыколаивку?

— Знаю, бабусю.

— И дорогу знаешъ?

— Знаю добре й дорогу, се видъ насъ 25 верстовъ шляхомъ.

— Добре, колы знаешъ. Сьогодни вернувся мій Денысь, винъ привизъ зъ Херсонщыны Петра Будька до-дому; коло Мыколаивкы на хутори Будько продавъ коней и заробывъ сылу грошей. Такъ йому Богъ давъ. А дома у його жинка слаба. Винъ казавъ, щобъ Денысь прыславъ до нього на хутирь дивчыну—за няньку до дитей... отъ що. Марыси уже дванадцять мынуло... Помиркуй, може виддасы...

Ганна зомлила: жаль ухопывъ за сердце; вона подывылась на Марысю й сльозы закапалы зъ очей.

— Марысю,—говорила баба,—хочешъ у наймы. Хочешъ за няньку стать?

— Хочу, бабусю, колы грошей мамци дадутъ на хлибъ.

— Дурна! Звисно дадутъ... Дурна! Иды сюды.

Марыся наблыжылась до бабы. Баба перехрестыла ии й поцилувала.

— Дакъ якъ тое, якъ хочешъ—треба хутко! треба завтра йты... Прощавайте...

И пишла соби стара.

\* \*  
\*

Цилу ничъ Ганна збиралась, не спала та ныщечкомъ плакала. Воно може й чудно, але якъ не плакаты баби, дытыну видаючы у наймы, та ще спершу зъ дому выражаючы? Передъ свитомъ збудыла вона Марысю, дала ий шматокъ хлиба за пазуху, одягла ии у дзи сытцези спидныци, тепли панчохи, стареньки свои черевыкы, кохту на вати и зверху стару, рвану кожушанку; на голову два платкы надила, а сама одяглася въ свыту, бо кожука не було—Степанъ забравъ, якъ пишовъ.

— Що се вы, мамо, плакалы?

— А плакала, Марысю...

— Не треба, мамо, я служытому добре, догожу хазяйци, а вы гроши визьмете, та борошна купыте.

Зибралысь. Ганна повела Ивашка й двоухъ малыхъ до сидкы бабы. Ивашко ставъ на порози.

— Марысю! А Марысю! не йды... замелзнешъ... не тлеба...—и заплакавъ.

— Да йды вже! Дурне, бачъ, крыка, якъ той воронъ,—промовыла Ганна, а серцеви шось говорило: „не йды!“

— Може й справди не йты?... А йсты шо? А чымъ дитей годуваты? Попухнуть зъ голоду.

На двори падавъ маленький снижокъ. Сонця не було ще: тилькы на свить благословлялось. Витрець пивничный потроху дмухавъ.

Выйшлы. Коло церкви помолылись Богу и пишлы за село.

Куды не глянешь—рівно, рівно. Небо заволокло хмарою білою, и не розберешь, де те небо почынається и де безбрежне снігове море кинчається.

Пройшли уже й могылу на третій верстви—степь дали ще рівнійший й краю йому немає.

Литомь степь чудовый, хороший, а все жь якыйсь таємничый, а снігомь вскрытый—суровый, страшный.

Вже й потомылись добре, а ще, — якъ думалось Ганни,—й половины дороги не пройшли. За могылою витрець, що подыхавъ неривно, потрошку, теперъ крипчавъ. Зирветься винь звирюкою лютою видкилася зверху, вдарытьсѣ обь землю й выхватить велыку купу снігу, пидійме його трохи одь земли й несе, несе... А зверху, зь того доброго неба пада й пада снігъ. Несеться витерь хуртовыною, забира зь собою легенькый сніжокъ зь земли, забира по дорози й той, що пада зь неба, и несе його назустричь подорожнимь.

Ганна трохи втомылася, Марыся ледве йде... Отъ хуртовына налетила на ихъ—змело зь дороги чысто весь снігъ, вдарыло у облыччя, забыло духъ—и вони стали... Дали йты лекше. Сніжку нема... вони йдуть хутко. Другый стовпъ навижений летыть, забыва духъ, слипыть очи, ножемъ гострымъ риже облыччя. Вони йдуть, розигнались трошки по рівній земли и зразу—шубовсть у снігову кучугуру. Марыся зав'язла по плечи, Ганна упала. Перевели духъ. Ганна стала вытягать дытыну, бере ии за руку, тягне. Ледве-ледве вытягла; выйшли на рівне мисце, тутъ тилькы снігу по колина... Давно вже за панчохи набылося снігу, давно вже Марыся плаче... стала, плаче...

— Мамо, мамо! Руки болять...

— А ноги якъ, чы чуешъ ноги?

— Ни, мамо, не чую, болилы, а теперъ не чую.

— Ну, одпочынемъ... Здіймай черевыкы.

Не змогла Марыся зняты ихъ. Стягла Ганна, стала терты ноги: били-били, а пальци, якъ паличкы. Тре снігомь, красніють.

— Тры, Марысю, руки снігомь... сядь за витромь.

Плаче й не ворушыть рукамы.

Одтерла Ганна ий руки.

— Пойижъ, доню, хлибця.

— Не могу, мамо... хлибъ якъ кистка, не вкусю, замерзъ.

Одпочылы... А часъ не гаіться, часъ иде, а могылы на половыни дороги не выдно.

А хуртовына вьеться, гуде, вые, якъ люта звирюка. Ажъ темно стало...

Тягне Ганна за руку дытыну. Тутъ и самій йты важко по глыбокому снігови проты витру, а ще тягты іи за собою!... Снігъ иде, фуга вые. Отъ уже й могыла.. Бильшь половыны одійшлы, верстовъ 8 зосталось... незабаромъ и Мыколаивка. Ще трошкы силы... Витеръ неначе затыхъ, не такъ забыва очы снігъ.

— Мамо, чы далеко ще? — говорыть Марыся, ледве-ледве йдучы.

— Ось, ось, заразь. Бачышь могылу? отъ якъ перейдемо іи, то й Мыколаивку литомъ выдно... Заразь буде...

Пройшлы могылу... Що жъ се? Витеръ повернувъ: то бувъ прямисинько у обличчя, а теперъ зъ боку. Що жъ—се витеръ повернувся, чы мы зблудылы?—думалось Ганни и велькый острахъ ухопывъ іи душу...—Ни, то витеръ.

Идутъ добре... Ганна тягне Марысю... Пройшлы зъ годыну, а Мыколаивкы не выдно... Сталы, слухають, чы не прынесе витеръ собачого голосу зъ села... слухають, а винъ несе у-у-у—такъ жалибно, такъ гризно.

— Мамуню, мамуню! Я боюсь! Хтось плаче...

— Ни, любко, ништо; то тоби здається, то... Марысю, витеръ.

Марыся дрижыть видъ холоду й переляку.

— Може бъ вернуться до-дому?—не разъ западала така думка Ганни.— А йисты?... а диты? А борошно? Де жъ його взяты? Хиба жъ Бога немає? Треба йты.

И теперъ стала вона й дума:—Повернуть хиба назадъ? Далеко одійшлы, ближче йты... А якъ заблудылысь?... Господы Милосердный! Дай сылы!—И вона пишла.

На часыночку витеръ затыхъ було—неначе дратувавъ, и знову понись снігъ, бье въ очы, руже, пече лыце й руки, збыва Ганну й Марысю то въ одынъ бикъ, то у другый.

— Я дійду... А Марыся? Куды жъ іи веду! Дочку на смерть веду... Хиба жъ на смерть? у наймы йдемо. И чого се мени тая смерть прыйшла у голову?...

— Мамо! Я не могу йты... не могу.

Марыся упала.



— Чого ты? Иды... що ты, дурна, замерзнуть хочешъ, чы що? отъ недалеко. Уставай, ходимъ.

— Не можу,—я спаты хочу.

— Иды, я тебе буду тягты за обыдвы руки.

Поставыла ии Ганна позадъ себе, узяла за обыдвы руки и пишла и ии потягла.

Снигъ по колина.. Марыся пада, уже й не плаче, не говорить.

Подывылась Ганна навколо, якъ тилькы на хвылыну витрець стыхъ, и побачыла, шо билійше мисце на неби нызенько.—Господы! То се жъ сонце сида!? Се вже й до вечера недовго... И куды жъ се мы зайшлы... Сонцеви треба буты по ливоручъ, а воно за спыною сида... Куды жъ се я зайшла? Кудысь у праву сторону? Заблудыла...

Страшне слово у степу—нема страшнійшого! Марыся упала и не встаеть...

— Уставай, ледащо! Уставай, а то бытуму, якъ ще никола не была!

Марыся не озывается.

— Чуешъ!?... Уставай заразъ... Уставай. Убью!—закрычала не своимъ голосомъ Ганна й кынулась до Марыси.

— Не можу, мамо,—ледве озвалась.

— Голубонько, дытыночко моя кохана! Доню любя! Устань, моя рыбка, от-отъ вже й село... послухай! Чы чуешъ, собаки брешуть?...

— Чую, чую... Дайте руку, пидвести мене... я пиду.

Чутно, витерь донисъ гавкання собаче. Марыся пиднялась, пройшла зо-два ступни й упала.

— Не далеко... донесу,—думала Ганна. Взяла дочку на руки й понесла.

— Держысь за шыю крипче, прытулысь до мене, та не спы.

— Ни, не буду... держусь.

Темніе. Морозъ прытыснувъ дужче. А витерь свое робыть —не боиться й морозу.

Несе Ганна доню, иде й хытається. Разъ упала... упала й у-друге. Нема сылы, не може йты...

А витерь зъ снігомъ гоминъ несе... отъ и дымку трошки прынисъ. Село уже зъ верству, не бильше. Ганна схопылась, схватыла Марысю й побигла... Отъ ще трошки...

— Господы, Господы! Дай силы!.. Немае... немае...  
Упала Ганна... не може несты...  
— Марысю! Спышъ?  
— Ни, не сплю... а хочеться дуже... Мамо! покладить мене...  
я дуже спаты...

— Що жъ мени робыть? Покладу ии и хутко добижу до села,  
тамъ люде дадутъ помочи. Невже жъ не донесу? Такъ близько?...  
Ни, не донесу, немае силы...

Ганна зняла зъ себе спидныцю, зняла одынь платокъ; спид-  
ныцю розислала, одкынувши снигъ, поклала Марысю, а платкомъ  
накрыла ии..

— Заразъ добижу до села... Марысю! не спы, одпочынь, а я за-  
разъ,—и побигла по снигу.

Марыся щось говорыть: „тепле... сонечко... квиткы!...“ й за-  
мовкла.

Ганна по колина й выще йде, пада, встае и знову йде...

— Се тому, що я Богу не моылась.. Буду моыться... Гос-  
поды... Господы... Мылосердныи...

А снигъ мете, витерь лютуе.

— Господы... Що жъ се я все—Господы?... Яка жъ вона, тая  
моытва?... Отъ забула жъ я ии... забула... уже недалечко... отъ  
брешуть собаки... Господы! Якъ же жъ — тая моытва? якъ ии  
звуть?... Чы добижу жъ я?..—Знову упала.—Немае силы, немае..  
„Отче нашъ“... а! згадала! А Марыся жъ що? Чы не заснула?  
Якъ засне—вмре... Що жъ... Воля Божа... якъ винъ Мылосерд-  
ныи хоче... Отъ вже й загата... Слава Богу! Слава Богу!... Ни,  
не загата, се гній... Дали, дали!... У наймы... у наймы... Знову ста-  
ло на думци одно слово... у наймы... Я жъ хотила моытысь?...  
Господы-Боже, поможы!—ажъ закрычала Ганна й кынулась биг-  
ты; вона йшла коло млынивъ, отъ вона вже стала коло викна  
якоисъ хаты.

— Люде добри! Кто въ Бога вируе—рятуйте!...

\* \*  
\*

Черезъ годыну, або дви чоловикъ зъ п'ять ишлы по-за се-  
ломъ и промижъ нымы Ганна ледве-ледве ноги волочыла.

— Сюды, сюды,—каже вона.

— Куды жъ сюды? Се у балку... ни, не сюды.

Витерь затыхъ; мисяць билолыцый засвितывъ, и люде знай-  
шли Ганнынъ слидъ.

— Онъ де, онъ де...—крычыть вона и бижыть. Оддали выдно  
горбокъ снигу.

— Онъ тамъ вона...

Идутъ скорійше, прыбиглы.

— Вона, вона!—закрычала Ганна, кынулась до Марыси и за-  
мерла.

Марыся лежала, якъ и лягла: рученята заховани у рукава,  
ниженькы пидогнула пидъ себе, очыци закрыти,—а выдъ тыхий,  
покійный-покійный; усмихъ на йому сяе...

— Замерзла... царство небесне, вичный покій,—хтось сказавъ.

— У наймы... у наймы оддала!!!—заголосыла Ганна.

1888 р.



## На Вовчому хутори.



Степъ широкий, привильный, безмирный, кинця-краю йому нема; тилькы тамъ десь далеко-далеко, мовъ море хвylieючысь, зльвається винъ зъ такимъ же, якъ и самъ, безкраймъ небомъ. Видь чудовыхъ степовыхъ голосивъ, видь якогось незрозумилого шепотиння, що вчувається чоловікови въ степу безкрайому, спочатку чоловікъ торопіе, йому робчуться страшно, бо винъ очевидячки саче, який винъ безъ миру малый проты сього простору, баче свое безсылля; а дали отой широкий безъ краю степъ, отой просторъ безмирный наvertsае чоловіка до думкы про свитову безкраисть, про волю; око його мыхитъ зупыняється на глыбокому блакитти неба, и винъ починое думаты вже про небо, про його неомирнисть, починое мыслыты про Бога, и спокійна, але глыбока вира пануе въ його серци... Степъ чаривный, таемный!...

Тыха, темна ничъ обгорнула широкий степъ; не видно було навить маленькои смужечкы, котра бъ видризняла небо видь земли: усе чысто потонуло у темряви ночи и все мовчало. Ажъ ось подыхнувъ легесенькый витрець и розигнавъ хмары; на неби замыготила одна, друга зирка, або, якъ кажуть диты, „зиронькы очыцями заморгалы“,—и незабаромъ усе небо засіялось зорями. А безмирный суворый степъ стоить соби нерухомо, мовчать, обгорнувшысь легенькою таемною млою. Тилькы колы-не-колы зворушыть степову тышу якийсь жалибный, незрозумилый крыкъ, немовъ бы заплаче мала дытына, або зненацька пронесеться глухий, задавленный стогинъ,—пронесеться винъ далеко, далеко хвylieю й замовкне... Про такой стогинъ люде кажуть: „то козакъ стогне и плаче у тисній домовыни“...

Невелькый табунъ коней збывся до-купы: воны по воли паслыся, щипаючы зелену траву, и колы-не-колы своимъ пырханнямъ зворушала степену тышу. Табунщыкы, закутавшыся зъ голсвою свиткамы, лежалы бсторонь. Ще трохы дали, у бур'яни,—такъ що видразу й не запырмитышъ,—сыдыть, зигнувшыся у-двое, табунщыкъ-вартовый.

На схидь-сонця, на небозводи коло самой земли, з'явилася сира смуга свиту; зиркы почалы прымеркаты, и все покрылось чудовою, чаривною пивмлою...

— Пыльнуй! — залунавъ по степену гучный, несамовытый крыкъ вартового...

Кони шарахнулись у бикъ и стали... Табунщыкы разомъ посхоплювались и побиглы на голось вартового... Почувся стогинь, благанья помылуваты, простыты...

Тымъ часомъ сира смуга на небозводи росла, бильшала и освитыла купку табунщыкивъ; воны вель конокрада. Высокий, худый, кров'ю заюшенный, ишовъ винъ хытаючыся, ледве волочывъ ноги; руки йому булы скручени за спыну й мицно звязани недоуздомъ. Въ одной сорочци,—та й ту табунщыкы геть пошматувалы, покы винъ пручався, сылкуючыся вырваться,—въ короткыхъ, мокрыхъ видъ росы штаняхъ и босый—винъ дуже видризнявся своею постаттю середъ купки табунщыкивъ. Ишовъ винъ мовчки, не просывся, бо добре знавъ, що не помылуоть, що въ степахъ такой уже звычай: колы пймають конокрада, то живого зъ рукъ не выпускають—убьють и скажутъ: „Собаца собака й смерть“. И винъ блидый, мовъ мертвый, зъ блукаючымы выразомъ очей, корывся безъ суперечкы, безъ змаганья...

Незабаромъ била табуна зосталось тилькы двое вартовыхъ, а останни трое посидалы на коней и поскакалы на Вовчий хуторъ. Середъ ныхъ, изъ скрученымы за спыною рукамы, зъ перевязанымы пидъ черевомъ у коня ногамы, хытаючыся на вси боки, скакавъ на кони й конокрадь. Винъ добре знае, що надъ нимъ будутъ згнуцаться, що йому судылыся люти муки, немылосердна бйка, а може й смерть, и все жъ такы зъ усией сылы стыске коня ногамы, мымохить держыться, сылкуеться сыдидь ривно, боиться упасты й видразу скинчыты рахункы зъ тяжкымъ, нуднымъ, безталаннымъ жыттямъ...

Ще не розвяднылось гараздъ, якъ купка верховцивъ була вже у двори старого Тараса Вовка, що першый осельвся на

симъ хутори. Черезъ скільки хвылынъ уси стари зибрались до Тарасового двору. Вони мовчки, поважно слухали, доки ихъ сыны розказували про те, якъ вони піймали злодія, а дали старый Вовкъ звеливъ молоднечи йихаты назадъ у степъ.

— Водить його въ мою хату. У ночи судытουμεмъ; теперъ нѣколы,—промовивъ Вовкъ, и конокрада одвели у хату.

Уси розійшлись, зостались тильки Петро та Мыкыта Утикачи, Иванъ Вильный та Кузьма Перекотыполе—давни господари Вовчого хутора.

Коло хуторськихъ хатокъ заворушылись люде: запрягали коней, выносили и складали на повозкы клункы зъ харчамы й усяку хлиборобську справу—збирались йихать у поле, и черезъ повгодыны на хутори никого вже не було: вси поихали на далекий гарманъ.

У Вовка въ хати мовчки сѣдили въ той часъ п'ятеро дидивъ, а въ кутку коло дверей лежавъ звязаный конокрадъ.

— Ну, хлопче,—суворо, але спокійно почавъ Вовкъ,—послухай насъ, а дали й мы тебе де-що роспытаемо... Двадцять п'ять литъ минуло вже, якъ осивъ я тутъ на хутори; багато въ мене покрадено коней—и по пари по четверо. Було й таке, що всихъ коней покрадено,—все тоди попрѣдали й знову купылы... Оттаке намъ робылы вы, злодіи! Кажу тоби, щобъ ты знавъ, що не помылуемъ: прыймешъ смерть таку, якъ заробывъ, а щобъ мѣкы тоби не було—прызнавайся: зъ кымъ бувъ, де твои товариши, до кѣго коней водывъ на продажъ? Прызнаешся—не буде мѣкы...

Конокрадъ пидвися на ноги, хотивъ стоячы щось сказать, але захытався й сивъ.

— Самъ одынъ хотивъ украсты... Жыдъ у Новомиргороди навчывъ... Я тильки що утикъ одъ злыднивъ та неволи... нѣкѣлы я не кравъ,—промовивъ конокрадъ захрыплымъ, надирванымъ голосомъ.

— Прызнавайся!—несамовыто крыкнувъ Петро Утикачъ и ударывъ конокрада по выду; сердешный упавъ до-долу, облываучься кров'ю... Все раптомъ повставалы...

Тепле соняшне проминня освитыло уси закуткы безлюдного хутора; навкругы увесь степъ любо та весело вылыскувався на сонци; видъ усього Божого створиння вѣло спокоемъ, тыхымы радощамы, любов'ю, а зъ Тарасовои хаты, де булы люде, выры-

вався жалибный стогинь, мишаючысь зъ дыкымъ, несамовытымъ людськымъ крыкомъ...

Незабаромъ выйшли зъ хаты Вовкъ и його прятатели. Хату вони замкнулы, оставившы тамъ замордованого, заюшеного кров'ю, непрытомного, але зъ звязанымы рукамы й ногамы конокрада, а самы пойихалы на гармань.

Вовкъ, похмуро насупывшысь, дывывся кудысь далеко попередь себе. Якыйсь нерухомый выразъ мало його добродушне, зашмалене, мовъ зъ бронзы вылите лице... Вси вони йихалы мовчки и немовъ ухыляясы глянуть одинъ одному у вичи; очи ихъ блукалы, ни на чому не зупыняючысь; вони дывылысь и ничего попередь себе не бачылы—ни могылъ, котри далеко маячили, ни гармана, що биливъ середь степу... Нарешти, неначе одказуючы на чысь пытання, Вовкъ промовывъ:

— А може й справди не злодй, уतिकъ зъ Кывишыны...—и замовкъ.

Швыдко перенился винъ думкою до давнихъ часивъ своего крипацтва и ось уже бачыть себе молодымъ утикачемъ... Се було литъ 25 назадъ. Здоровый, молодой парубокъ—не вытерпивъ винъ пидъ тяжкою вагою крипацького ярма. Бйка, прыкажчыцьки батогы, черезъ сылу тяжка работа на сахарни—все се прынево-лыло Тараса покынуты ридне село й утикты въ херсонськи степы. Мало не 25 рокивъ мынуло вже, якъ выкравъ винъ свою Оксану,—тежъ крипачку,—прывизъ ии сюды и збудувавъ у степу, далеко видъ людської осели, хатку-мазанку,—отсе була перша хата на Вовчому хутори. Незабаромъ и други втикачи почалы селыться коло його, и теперь на Вовчому хутори вже одынацять хатъ, у котрыхъ жывуть вильни, чесни, роботящи люде; жывуть вони пры достаткахъ, за землю платяты справно й засидателя, котрый колы-не-колы забига до ныхъ, зъ голымы рукамы не выпроважаютъ видъ себе, абы тилькы не зачипавъ ихъ. Вси вони переминылы свои прызвища, и Тарасъ Спивака, а по степовому—Вовкъ, обжывся въ степу й почавъ забувать крипацтво зъ його батагамы... А отсей злодй, душогубъ, гиршъ душогуба—отсей конокрадъ зновъ живъ нагадавъ йому мынули мукы, давни прыгоды й радости,—и все отсе сердыло Тараса. Винъ проты своеи воли почувавъ, що й його доля похожа на долю отсього злодйя, и хотилось йому выкынуть отси думкы зъ головы, не

згадувать того, що давно вже минулося; та не можна було видче-  
пытися видъ тыхъ думокъ, бо вони самы одна за другою лизлы  
йому въ голову. Неначе жаль заворушывся у його серци—и Та-  
расъ ще гирше розсердывся, навить вылаявся у голосъ поганымъ  
словомъ... Прыйихалы вони на гарманъ. Робота на гармани йшла  
жваво, и вони й соби шыро прысталы до роботы—одгорталы зер-  
но й кыдалы снопы. Вовкъ, не вважаючы на свои лита, зъ усїей  
сылы, немовъ зъ пересердя, кыдавъ солому; винъ хотивъ шырою  
роботою выгнать отси спомынки зъ своей головы, але й робота не  
помагала. Часто винъ стававъ и спершысь на выла, безсылно  
дывывся въ далыну; поглядъ його блукавъ, ни на чому не зупы-  
няючысь; выдко було, що винъ дывыться и ничего не бачыть,

— Эге! выдно, що дидови Тарасови не до Велькодня йде, а до  
Риздва; выдно, що дидъ нашъ старіе,—говорила мижъ собою мо-  
лоднеча, запрымитывшы, що Тарасъ частенько стае одпочываты.  
Та Тарасъ сього не чувъ,—винъ наче живъ новымъ жыттямъ.  
Се для його була новына. Николы йому першъ не доводилось жы-  
ты чымсь иншымъ, окримъ коней, пшеныци, оранкы, сїянкы, окримъ  
думкы про дощъ та засуху, не доводилось жыты незвычайнымъ  
жыттямъ, про щось невидоме клопотаться, пеклываться й думаты  
про те, що вже 25 рокывъ назадъ минулося; до сього винъ, ка-  
жу, не прывыкъ, и важко йому було пережываты отсе все.

Си незвычайни для Тараса думкы такъ його турбувалы, що  
ажъ пить йому зъ лоба котывся. Вытершы рукавомъ лоба, винъ  
перехрестывся. Певно винъ и самъ сього не помитывъ, винъ зро-  
бывъ отсе ненарокомъ. Адже винъ раз-у-разъ хрестывся, якъ  
йому було чого важко: хрестывся, пидіймаючы першого снопа,  
хрестывся, прыймаючысь вытягаты повозку зъ рова, або сани зъ  
замету. Йому й теперъ було важко, и винъ перехрестывся... Ажъ  
ось залунавъ по степу дзвинкый голосъ його небогы; за нею пид-  
хопывъ другый, третій голосъ; голоса ти злылыся до-купы й за-  
лунала по степу жалибна, вильна украинська писня... Розлывся  
їи чаривный голосъ хвылею далеко-далеко по ровному степу, та-  
кый же шырокый, вильный, якъ и степъ, спокон-вику ровный,  
багатый, спокон-вику таемный...

Писня ллеться и робота кыпять. Тарасъ мовъ прокынувся  
видъ сна й гаряче заходывся працювать надъ соломою та пше-  
ницею.

\* \*  
\*



А на хутори у той часъ було тыхо. Сонечко прыгрило й ос-  
вительо одынацять биленькихъ, чепурненькихъ хатокъ, що роз-  
сыпалась по балци. На подвир'яхъ кудкудакалы куры та пивень  
выкрыкувавъ, клюючи носомъ якусь погань и зъ поважнымъ вы-  
домъ склыкаючи своихъ подругъ, котри завжде ймовирно збига-  
лыся до його, не вважаючи на те, що винъ трохи не раз-у-разъ  
пиддурювавъ ихъ. У крайньому подвир'и метушылася купка дитей,  
роблячы зъ пылу та зъ кизяку хатки, загороды то-що. Вони зби-  
ралыся сюды зъ усього хутора, крычалы й бигалы; де-котри зъ  
такою турботою клопоталыся коло колесъ, неначе вони й справ-  
ди дило робылы, а менши хлопчыкы тишылыся своимы будынкамы.  
Билоголови, боси, въ одныхъ сорочкахъ вони виддалека нагаду-  
валы собою метушиння розворушенои команни.

У замкненій хати старого Вовка тежъ було тыхо. Степанъ—  
такъ звалы конокрада—прочумався бувъ, але зновъ стратывъ  
пам'ять и важко дыхавъ. Нищо не ворушыло тыши, тилькы цвир-  
кунъ сюрчавъ у кутку та на печи инколы щось зворухнется й  
зашелестытъ. На печи, мижъ коминонь та стиною блыщалы чысь  
оченята. Прыдывывшысь гарненько, можна було побачыты дивчын-  
ку рокивъ 7—8. Скоцюрбывшысь, вона зализла у самисинький ку-  
токъ и прытаившы духъ, полохлыво, але зъ цикавистю дывылася  
до-долу на звязаного Степана. Каштанове ии волосся нависло  
на опуклый, гарнисинький лобыкъ и выразно видтиняло вельки  
кари очи. Очи ти булы не дытячи. Чы то страхъ мавъ на неи  
таке вражиння, чы може жаль безмирный, тилькы вони дывылысь  
кудысь далеко, глыбоко. Свята, надзвычайна невыннисть, чысто-  
та, щыристь, велька сыла жалю выдни булы въ тій скоцюрбленій  
дытнячій постати... Степанъ прочумався. Винъ щось прошепотивъ  
такъ нескладно, що ничоґо не можна було розибраты; выразно  
винъ промовывъ тилькы слова: „воды... пыть!“...

Дивчына здригнула й хутко злизла зъ печи. Вона подала  
Степанови кухолъ зъ водою, и винъ зъ жадобою прыпавъ до йо-  
го пересмаглымы устами.

Першый страхъ пройшовъ, и Оленка прысила недалеко видъ  
звязаного Степана. Винъ бувъ у забутти. Багато разивъ винъ  
мовъ бы прокыдався и прохавъ пыть, и дивчыннка зъ охотою по-  
давала йому воды. Нарешти винъ зовсимъ прыйшовъ до пам'яты,  
тыхо пидвився... Оленка полохлыво одбигла...

— Не бійся мене,—промовивъ Степанъ.—И у мене йе диты... Дома у мене така жъ дивчынка... якъ и ты... теперь... теперь вона сыротою буде...—и замовкъ.

Що винъ ще говоривъ, про що йшла розмова у злодія зъ ненарокомъ зоставленою у хати дивчынкою—мы не знаемо; але у вечери, якъ повернувся Вовкъ зъ товаришами зъ степу,—Степанъ сидивъ розвязаний у кутку на лави, а з-за печи блищали очи, ти жъ добри, повни жалю оченята.

Вовкъ сивъ край столу, на покути, а навколо посидали обыд-ва браты Утикачи, Вильный и Перекотыполе. Мовчки, поважно сидили диды. Каганецъ по-малу блымавъ, и його червоновате свитло освичувало сувори лыця дидивъ; але очей ихъ з-пидъ на-выслыхъ бривъ не выдко було, бо вони не дывылысь одынъ на одного, не дывылысь вони й на Степана. Якъ бы хочъ одынъ зъ ныхъ глянувъ на нього, то може й одійшло бъ у ихъ запекле сердце: Степанъ бувъ блидый, якъ смерть, очи його полохлыво, оторопило, зъ благаннямъ у погляди перебигалы зъ одного лыця на друге... Та дарма: лыця ти булы мертви.

Вовкъ доставъ зъ кышени коротеньку люльку, не хапаючысь набывъ ии тютюномъ и запалывъ. Доставъ и Утикачъ свій гаманецъ, набывъ люльку й замыслывшысь довго-довго кресавъ огонь. Губка давно вже горила, а винъ, не вважаючы на те, уперто цокавъ кресаломъ объ кремий.

— Ну, годи!—промовивъ Вовкъ збентеженнымъ голосомъ. Середъ тыши, яка тоди панувала въ хати, голосъ його здавався дуже жорсткымъ. Уси здригнулы, а Степанъ увесь затремтивъ и щильно-щильно прытысся до стины.

— Умивъ красты—умій и вмираты... Пора... Якъ же буде, панове громадо?—запытавъ Вовкъ.

— А такъ и буде: собаци собака й смерть.

— Вывезты та кыйкамы забыты,—промовылы судди и вси замовкы.

Вовкъ вынявъ зъ рота люльку, повагомъ постукавъ неку объ какаблука, вытрушуючы золу, и по воли, не хапаючысь уставъ, обернувся до образивъ и перехрестывся... Все його товариши вчынылы те жъ саме...

— Ну, молись и ты, пойдемъ у степъ,—забалакавъ Вовкъ до Степана й почавъ вылазыты з-за столу. Мовчки пиднялысь и його товариши...

Але въ сей ментъ раптомъ, несподиванно щось зашеле-стило й гупнуло зъ печи... Все здригнулись и обернулись: коло печи блида, мовъ нежыва, стояла Оленка; очыци ии вогнемъ палалы й пыльно дывылыся на Вовка.

— Диду! простить його!... у його диткы йе... Маленьки диткы... простить!...—несмыливо, зупыняючысь, промовыла Оленка.

Вовкъ здригнувъ, ухопывся рукою за стилъ, сердыто насупывъ бровы й мовчкы, мовъ стратывшы сылу, присивъ на лаву...

Уси силы.

Тыхо-тыхо стало въ хати...

Усимъ стало ніяково, и вси довго мовчали. Першый перервавъ се мовчання Утикачъ. Винъ полизъ у кышеню за люлькою, довго-довго шукавъ тамъ ии, але не знайшовъ и вылаявся:

— Чортъ... його батька знае...

— Ось де, у мене люлька,—сказавъ Вильный и хутко подавъ свою.

Перекотыполеви чомусь знадобылася шапка: винъ довго шукавъ ии навколо себе, заглянувъ навить пидъ лавку и промурмотавъ якусь лайку, а Мыкыта Утикачъ, котрый и завжде балакавъ якосъ не до-ладу, не знать зъ якои речи промовывъ:

— А пшениця... сей рикъ... добра.

И зновъ уси замовкы.

— Що жъ, панове?...—стыха, черезъ сылу промовывъ Вовкъ...—Хиба?...

— Эге жъ...

— А то якъ же?

— Усе одъ Бога! Винъ про те знае...—загомонила судди...

— Такъ пустыть?—запытавъ Вовкъ якосъ несмыливо.

— А тожъ! пустыть, пустыть!... Нехай його Богъ простыть!... Молись Богу!...—весело заговорила судди.

Щось важке бебехнулось объ землю, и вси замовкы: доли лежавъ зомлилый Степанъ...

\* \*  
\*

Пройшовъ рикъ, и Вовчый хутиръ живъ усе тымъ же тыхымъ, мырнымъ жыттямъ степовыкивъ-хлиборобивъ,—тыльки замисть одынаццаты хать, ихъ було вже дванадцать. Дванадцята—нова прытулылася край балочки, надъ самою кручею.

Треба ще додати, що, наперекир звычай, самую дорогю гостю у тій хати була завжди Тарасова онука—Оленка. Тарасъ Вовкъ и доси такый, якъ и бувъ: любе винъ, якъ и перше, послухать и писню, що спивае молодижъ, и оповидання своихъ сывоусыхъ товаришивъ,—тильки частійшъ почавъ винъ хытро та мудро усмихаться, а зустринувшысь зъ хазяиномъ новои, дванадцатои хаты, Степаномъ, безпреминно скаже, усмихаючысь:

— А щобъ тебе Богъ любывъ!.. Здорово я тоди упривъ...



## Шматокъ.



Оге! Шматокъ—се ричь не мала!

Шматокъ се сыла грошей! У шматку, колы знаете, 2000 ягныць. Та не простыхъ, мужычыхъ, не ба-сарабська погань, а „шпанка“! Голова въ голову, одна до одной, одна одъ другой, краще! Ухопышь такую ягныцю—зверху вовна трошки сиренька, а дали до тила усе свитлій та свитлій, а дали ажъ рожевенька и неначе хто їи намастьвъ—така повна, жирна. Чыста шпанка, доглядена добре, годована гарно... Та що й казать! Такой шматокъ вартъ 12000 карбованцивъ. Господы мылосердный! Якъ згадаешъ, що то за сыла грошей, такъ ажъ страшно стане. Переличыть ихъ простому чоловикови треба добрый тыждень, а скільки жъ то робылы люде, щобъ збыть ти гроши до-купы, скільки жъ то поту людського, а може й слизь польвало ихъ?! На те жъ вони й гроши, щобъ усе купувать: и працю людську, й сылу, й волю, й... та що базикать! Шматокъ, кажемо, добрый!

И доглядають же його! Самъ хазяинъ йиздыть що-тыжня разъ подывытысь. Винъ бы й частійше йиздывъ, та не мае часу: за тыждень на добрыхъ коняхъ тилькы що об'їдешъ уси „саран“, та поглядомъ, здалека окынешъ окомъ усю свою землю.

И правду въ тыхъ писняхъ спивають: то „степь шырокий—край веселый“...

Йидешъ по йому, йидешъ день и два й п'ять—и нема кинця тому шырокому степу. Села та хутори десь по ярахъ поховалысь, а середъ степу тилькы де-не-де „сарай“ стоить... А дали знову ривно й вильно: тилькы тырса шумыть, та часомъ

перекотыполе зирветься и понесе його витерь якимсь чаривнымъ клубкомъ...

Коло „шматка“ людей чымало. Отсе найперше „атагасъ“, два чабаны; чымало було й пидпасычивъ, та повтикалы до-дому, зостався тилькы одынъ. А собакъ? Цила череда. Здорови, волохати—воны добри сторожи, кращыхъ, мабутъ, и на свити нема: вовкъ и блызько не пидйде, а злодія за мылю чують!

Та й не можна безъ людей та собакъ, бо сыла грошей! „Шматокъ“—великый капыталь!...

\* \*  
\*

Людымъ багато работы. Цилу ничъ хмарылось: не выдко було й свого носа, якъ то кажутъ. „Шматокъ“ збывся въ купу. Чабаны й собаки навкругы полягали,—атагасъ не пустывъ и пидъ гарбу лягты спаты, бо винъ добре знавъ, що означае та тыша въ прыроди; и справди—ще на свить не благословылось, а вже потягнувъ витрець одъ схидъ-сонця... холодный, ризкый—винъ дошкулявъ и собакъ... Собаки забигалы, або лягали одна коло другои.

Ажъ ось затыхло на хвылыну й посіявъ дрибный-дрибни-синькый дощыкъ... Стало свитать; на самимъ краю стѣпа, де винъ зъ небомъ злывається, показалась сиренька смужка, а дощыкъ свое робыть: лле та лле... Атагасъ уже ходыть—змерзъ, чабаны плечыма водять—дощыкъ и за шыю вже нальва... „Шматокъ“ пишовъ на друге мисце—цапы здорови повелы, й люде потяглы за нымы...

Дощъ лле. Небо сире, свиту мало—вже й день, а за дощемъ темненько. Ось пада винъ прямисинькымы смужкамы густо-густо. Пронисся витрець—и його повернуло: смужкы вже ридки, вся ситка ихъ похылылась и бьють смужкы зъ боку... Витерь все крипчавъ та крипчавъ...

— Збывай „шматокъ“!—крычыть атагасъ, и чабаны хутко за-кыдали кгырлыкгамы, побяглы и стали збывать „шматокъ“ до-купы. Собаки, глядючи на чабанивъ, и соби кынулысь збывать вивцю до гурту.

— Чого тремтышь, паршывый? Не бачышь, витерь набига? Не знаешь, що винъ розибье увесь шматокъ?! А ты сыдышь?

Бижы мерщій по ливоручъ, збывай *и!*—крычавъ голосно атагасъ на пидпасыча.

Чымале хлоп'я скопылося зъ земли й пошкандыбало у ливоручъ шматка.

— Эчъ, погань! Мерщій, кажу!—гримавъ атагасъ, и „погань“ надала ходу.—Отъ ще здохне. Й наймають же таке ледащо: у полотняныхъ штанахъ та въ латаній свытыни дума за пидпасыча буты?!—бурчавъ соби пидъ нись атагасъ.

А тымъ часомъ витерь лютуе. Дощъ замовкне, десь заховається, а витерь гуде, реве. То нызомъ по земли несеться винъ, набижыть на шматокъ, и шматокъ подасться у край и одибьється килька ягныць; чабаны кыдаються за нымы, збывають до гурту. То знызу пидхопыть чымало кушивъ перекотыполя, закрутыть закрутыть ихъ, зибье й завье у стовпъ и пидійме геть у-гору високо... Завье витерь, розибьється стовпъ и кущи великы—неначе птыци чудови—полетять далеко по степу.

Витерь лютуе, витерь реве...

\* \*  
\*

Здалека выдко якусь сиру кучку. Вона хутко наблыжається... То витерь килька валахивъ одъ чужои отары одбывъ и жене ихъ по степу.

Чабаны загналы й ихъ до гурту.

Знову дощъ холодный, осинній полывъ и бье винъ по щокахъ, якъ ризкою, лле за шыю, пробыва й сирякъ и кожухъ атагаса; давно пробывъ рвану свытку пидпасыча, пробывъ сорочку його, й холоднымъ, болячымъ жартомъ лоскоче по слабому тили. У хлопця губы сыни, лице жовте, зубы ляскотять... А одійты не можна. Ну, бороны Боже, витрова хвыля набижыть, розибье „шматокъ“, або й увесь пожене: вивця дурна, якъ рушыть, то *и* вже не вдержышь! Тоди роботы увесь викъ и не одробышь. Атагасъ се добре знавъ и самъ не одходывъ, не спочывъ и хвылыны, и чабанивъ та пидпасыча не пускавъ.

Вогню той день не раскладалы—нема часу; у обидъ чабаны з'йлы по шматку хлиба, а пидпасычъ и не йивъ: такъ його трусыло.

Небо стемнило, ничъ наступыла, а витерь крипчавъ и лютувавъ. Треба тикать, а то пропаде „шматокъ“.

— Гей, ты!—закрычавъ атагасъ на пидпасыча.—Запрягай волю въ гарбу, та йидь мерщій до „двору“, скажи, що мы женемо за-разъ „шматокъ“—щобъ кошару зготовылы!

— Я, дядьку, дороги не знаю: одынъ разъ тилькы бувъ у дво-ри, а по-ночи—де жъ я блукатыму?—дрыжучы одказавъ пид-пасычъ,

— Эхъ! горе мени зъ сымы полтавцямы: голе, босе, дороги не знае!.. а щобъ васъ побыла лыхая годына!... Петро!—гукнувъ винъ до чабана.—Рушай мерщій до двору, а мы поженемо „шматокъ“. Що Богъ дастъ! Може, мылосердный змылується й доженемо благополушно! Гей! Даныло! Гей!—закрычавъ винъ до другого ча-бана, але витерь односывъ,—не чуть голосу.

Атагасъ побигъ до Даныла, постановывъ його зъ боку, зъ пид-витрянной стороны, самъ ставъ напередъ, пидпасыча ззаду поста-вывъ и перехрестывшысь повивъ „шматокъ“ до двору...

А дощъ лле, а витерь лютуе...

\* \* \*

Чабанъ Петро прыйихавъ до двору саме тоди, якъ хазяинъ „одкушалы“ чай и разивъ десять выбигалы на рундукъ поды-выться, що робыться на свити Божому, але ничего не побачылы, бо хутирь стоявъ у яру, витерь бувъ, та не дуже велькы й тилькы його зразу повернуло, и зимою, пивничнымъ витромъ по-тягло. Хазяинъ звивъ плечыма й хутко ускочывъ у теплу хату. Почувшы, що Петро прыйихавъ, винъ дуже перелякався, заразы загадавъ парубкамъ позганять зъ кошаръ други шматкы, збыть у одну, а другу наготовувать для шпанкы.

Перелякався хазяинъ,—та й було чого! Позаторикъ витерь та холодъ наробывъ клопоту: п'ять тысячь карбованцивъ у одынъ день пропало. А тутъ—„шпанка“!

У одынадцятій годыни тилькы дійшовъ „шматокъ“—бо 8 верстъ ишли—и загналы його въ кошару. Атагасъ перехрестывся: теперъ уже не прыйдеться одроблять увесь викъ за одбыты ягныци.

Темно, дуже темно було. Уся челядь, уси парубкы збиглысь и загналы шматокъ у кошару.



Уси пишли въ хату. Мокри, холодни й голодни чабаны по-веселійшале; вси радилы, що „шматокъ“ не загнано витромъ, що пивничный витерь заставъ ихъ у теплій хати.

Подалы борщу. Хазяинъ приславъ атагасови горилкы. Уси посидалы вечерять.

— А де жъ вашъ пидпасычъ?—спытала куховарка.

— Отсе такъ! А де жъ винъ?—спытавъ и атагасъ.

— Я жъ ишовъ попереду й не бачывъ його.

— И справди—де жъ винъ? мени не выдко його було, я здержувавъ шматокъ зъ пидвитряной стороны,—одмовывъ чабанъ Даныло.

— Може замерзъ?

— Оттаке! замерзъ! Хиба теперь снигъ, чы що? Тилькы витерь холодный, та дощъ иде.

— Може втомывся та лигъ де пидъ скыртою сина...

— Ни, хлопци!—сказавъ, хытаючы сывою головою, атагасъ.— Я тридцять годъ на степу й знаю, що не знайде воно скырты... Таке дило. Треба йты шукать...

Вси засмутылысь; хто нись ложку до рота, той не донисъ и: усимъ зразу выдно стало, що пропасты легко на степу.

— Гм...—неначе прокынувся й заговорывъ атагасъ,—хто жъ його зна, де винъ... Але я чувъ—щось закрычало разивъ зо два, та я думавъ, що то наша слаба коза; де жъ дочуть? Витерь великый! Мени далеби здалось, ще неначе крычало „дядьку, дядьку!“—колы жъ проклята коза збыла зъ пантелыку...

— Та той хлопчыкъ бувъ погано одягнений... Чомъ вы його, дядьку, не доглядили?—докирлыво сказала куховарка.

— Тю! дурна! Чы ты зъ неба звалылась, чы що? Хиба не бачышь, що у степу робыться? Що жъ я шматокъ шпанкы кыну, та за хлопцемъ дывытымусь?—гримнувъ атагасъ.

— Чудни вы, титко, якъ подывлюсь на васъ. Що жъ вы маленьки, чы що? Шматокъ вартъ зъ 12 тысячъ карбованцивъ,—а вы онъ що! Та тутъ вси бъ мы викъ робылы та й вику не хватыло одробыть!—сказавъ чабанъ Даныло.

Але якъ не грималы на куховарку, а смутокъ не пройшовъ. Уси мовчкы сыдили...

— Петре, йды лышень;—выйды зъ яру зъ собакамы, може знайдешъ його,—заказавъ атагасъ и Петро пишовъ.

Витеръ ревивъ, дощъ розигнавъ; темно було. Петро гукавъ-гукавъ собакъ—тильки дви й пишло. Поблукавъ винъ по степу й вернувся до двору: пидпасыча не було.

\* \*  
\*

Передъ свитомъ стыхло, „шматокъ“ пишовъ зновъ у степь... Сонечко стало сходять. Сумно йшовъ атагасъ, за нимъ пышно выступалы здорови цапы, вивци йшлы покирлыво; тильки собаки весело розбиглысь по степу шукать зайця, або видкопаты ховраха...

Одійшлы версты за тры. Атагасъ зъ могылы побачывъ, що трохи дали щось биліе; собаки збылысь на тому місци и прыхыльно махають хвостами. Винъ побигъ туды и зъ переляку закам'янивъ: на земли лежавъ пидпасычъ, очи раскрыти, велики таки и докирлыво дывляться на свить Божый, пальци у роти, зубы ихъ стыснулы, и кровь на губахъ... Собаки прыхыльно мажють хвостами и лыжуть йому руки й лице.

\* \*  
\*

На другый день прыбигъ становый, поняти, ликарь зъ фершаломъ. Сталы пытать людей, якъ и що. Ничого не дозналысь,—бо ничого й не було: йшовъ шматокъ, ничъ глупа, витеръ холодный, пидпасычъ, козакъ Полтавськой губернии Иванъ Вильный, йшовъ позаду й „одбывся“ одъ „шматка.“ Ричъ проста, випадокъ звычайный.

Ликарь поризавъ Вильного и тутъ же, на степу, завивъ у бумагу все, що знайшовъ, и видъ чогу умеръ пидпасычъ. Винъ пысавъ такъ: „Смерть послѣдовала отъ сильного продолжительнаго охлажденія тѣла. Способствовавшими моментами должно признать: 1) плохую, способную промокать одежду; 2) пустыя тонкія кишки и желудокъ и 3) отсутствіе жира въ подкожной клѣтчаткѣ. Раненіе пальцевъ и кровь отъ того, произведены зубами самого умершаго во время замерзанія.“ Становой звеливъ покласты трупъ пидпасыча на гарбу, щобъ везты на кладовыще у село, а самъ сивъ пысаты бумагу до батюшки.

Тильки що звалылы пидпасыча на гарбу, пид'йихавъ и хазяинъ.

Сонечко высоченько стояло. Тепло було —неначе литомъ; витру, дъщу й холоду неначе й не було. Одъ красного проминня все стало свитлйше, веселйше: степъ не жовтый, а золотый, золотый здавався. Трошки дали „шматокъ“ безпечно, вильно роскынувся й гулявъ на простори...

Пидйшовъ атагасъ.

— Ну, що? якъ? Що наробывъ намъ холодъ та витерь?—тыхо запытавъ хазяинъ атагаса, одвившы його трошки у бикъ.

— Хвалыты Бога, добродію, ничего соби; тилькы п'ять ягнычокъ одбыло витромъ, не знайшлы ще. Ничого, благополушно!

— Ну, слава Богу, що пройшовъ той день благополушно!—весело сказавъ хазяинъ...

Гарба йихала тыхо и благополушно, тилькы пидпасычъ мертвый зсунувся трохи на бикъ та рука высила и чипала и черкалась объ колесо.





### *Наталя Кобрынська.*

Кобрынська Наталя, зъ роду Озаркевичивъ, на свить народылась 8 червня р. 1855 въ сели Белелуи Снятынського повиту, въ Галычынѣ, де батько їѣ, Иванъ Озаркевичъ бувъ священикомъ; освіту прыдбала пидъ впливомъ батька та брививъ, шо познайомыли їѣ зъ творами крашыхъ европейскыхъ пысьменникивъ — художникивъ и ученыхъ. Р. 1871 Наталя Озаркевичева одружылася зъ видомымъ у Галычынѣ композиторомъ Кобрынськымъ; р. 1882 повдовила. На поле пысьменства п. Кобрынська выступыла на початку 80-хъ рокивъ; першымъ було надруковано їѣ оповидання „За-для кусныка хлиба“ (въ „Зори“ за р. 1884). Зъ того часу п. Кобрынська напысала чымало оповиданъ; зъ нихъ липши ти, шо подають малюнки реального жыття народа та интеллигенци въ Галычынѣ — „Выборець“, „Шуминська“ („Духъ часу“), „Ядзя и Катруся“, „Судія“ та ин. Опривъ того, п. Кобрынська видома своими публицыстычнымы працями и стоить на чолѣ жиначого руху въ Галычынѣ. Жиначому пытанню прысвячени їѣ стати въ выданыхъ нею збирныкахъ: „Першый винокъ“ (1887) та „Наша доля“ (тры выпуски р. 1893—6). Частыну оповиданъ п. Кобрынської выдано р. 1899 у Львовѣ окремымъ выданнямъ пидъ заголовкомъ: „Духъ часу“.

Литература 1) Огоновскый—Исторія..., ч. III. 2) Грушевскый — Наталя Кобрынська (Л.-Н. Вистныкъ, р. 1900, кн. I.)



## Выборець.



Якымъ Мачукъ оравъ у поли на ярну. Ажъ трись!—зломывся йому истыкъ. Якымъ лютывся и клявъ усима чортамы. До вечора бувъ бы skinчывъ ныву, та черезъ таку дурныцю годи буде докинчты. Ніякъ було й сердытыся—шкода часу; треба буде йты до-дому и вышука-ты щось на истыкъ. Винъ лышывъ погоныча зъ воламы и плугомъ у поли, а самъ пустывся суткамы до села. Жинкы десь не було дома, хата була заперта, але йому до хаты не треба було. Пишовъ до колешни, вышукавъ добру кривульку, обтесавъ и заправывъ истыкъ. Вже мавъ видходыты, якъ чуе—хтось клыче:

— Куме Якыме, куме Якыме!

Якымъ оглянывся,—то бувъ його сусида Васыль.

— А вы вже дома?—спытавъ Якымъ, знаючы, що Васыль ще ранисинько пишовъ бувъ у мисто.—Вже свое зорудувалы?

— Ой, зорудувавъ,—каже Васыль.—Не дай Боже никому процесуватыся! Вже четвертый термынь, а кинця якъ нема, такъ нема. А вы не въ поли?—запытавъ и зъ свого боку сусида.

— Чортъ мени истыкъ зломывъ, та я мусивъ ажъ до-дому йты; за той часъ мигъ-бымъ бувъ зъ килька разывъ плугомъ обернуты. Не знаю, де моя подилася; у васъ ии нема?

— Ни, нема. Ага! бувъ-бымъ забувъ. Тутъ у насъ бувъ прысяжный; в ашо и та й васъ не було, то винъ мени казавъ, абы вамъ сказаты, абы-сте у сей вивторокъ, що прыйде, пишлы до громадської канцелярии на выборы.

— Що за выборы?—спытавъ Якимъ.

— А хто ихъ знае!—каже сусида.—Мае прыйихаты комисарь и мають буты якісь выборы.

— Тьфу! Пекъ тоби лыхо!—сплунувъ Якимъ. Теперь робота, що чоловикъ не знае, чога хапатыся; имъ якісь дурныци въ голви, а ты йды та трать часъ!

— А що панамъ за беда!—каже кумъ Василь,—роботы не мають та й Богъ знае щдъ выгадують, а хрыстыянынь сьогонди,—добре кажете, куме,—не знае, що впередъ у руки браты.

— Ой радять-радять, та й ксбы хочъ яка корысть изъ того була,—муркнувъ Якимъ.

— Та панамъ може й корысть,—завважавъ сусидь,—але намъ хиба лышь така корысть, що бильши податкы накладають.

— А якъ не податкы, то шарваркы,—додавъ Якимъ.

— Ой шарваркы, шарваркы! — пидхопывъ кумъ Василь. — Зъ тымы шарваркамы тежъ не вытрымання: мій парубокъ таки два дни стратывъ, що золотомъ не заплаत्यъ бы!

— А мое не таке?—каже Якимъ,—не мусивъ я колысь та йты на цилый день зъ худобою возыты каминня!

Не було якъ довше говорыты: день не стоить,—сусиды розійшылся. Якимъ зновъ суткамы скоро вертавъ у поле, де лышывъ погоньча зъ воламы. Хлопецъ уже здалека його заздривъ, запригъ волы й наладывъ плуга. Якимъ, не кажучы ни слова, взявся до работы. Земля була мокра, лемишь треба було пускаты глыбоко, волы туго ступалы.

— Ча! гойса! ча! на мисце!—крычавъ тоненькымъ голосомъ погоньчъ, пидганяючы то одного, то другого вола короткымъ батижкомъ на вышневимъ пужални, а Якимъ и соби договорювавъ: —Дали, волыкы! дали вразъ! гей, сыый, право! у-разъ диты! гей, волыкы, гей! — Ихъ голоса розлягалыся далеко и пропадады въ шырокимъ простори неба и земли.

Плугъ ишовъ тяжко, волы вытягалы шыи, поволи ступаючы. Все воны разомъ булы якъ бы одною сылою, одною моцею, що йшла проты другои сылы й моци, спочываючои въ земли, котру поборювалы лышь маленькымы частынамы, краючы скибу за скибою.

Помучылыся. Треба було даты видпочывокъ и соби й худоби. Выпряглы волы, пидкынули дрибненького лабузу, задержаного до орання. Якимъ розвязавъ торбыну, уломывъ соби кусень

хлиба, вытягнувъ силу и часныкъ, а решту давъ погоничеву. Волю перекусилы; треба було напоиты; вода була далеко геть-геть у поли, бо хоть на млакахъ ажъ хвильовала вода чыста, якъ слюза, та худибка не хотила ии пыты.

— Иды та напій волю,—сказавъ Якимъ до хлопця, а самъ сивъ на межи й зачавъ йисты.

\* \*  
\*

Сонечко сяло,—зелена озымына и свижо поорани нывы гей-бы втягали въ себе його тепленьке проминня. Велька млака блыщала шырокымы плесамы середъ зеленои травы й високого твердого шувару.

Стоячу воду до половины прикрывала легка рыська\*) розпущенымы лыткамы, гей-бы боялася, абы сонце не выпыло усеи воды, зъ котрой вона брала жыття. Жвави мухоловки литали по-надъ воду, разъ выще, то зновъ цилкомъ нызенько, бокомъ и просто вганяючы за здобыччу. Якимъ глянувъ передъ себе. Що-року оране поле покрывалося лыше скупо одноцилоу травоу, а бильше стырчало бур'янамы. Лышь шыроки корчи костеревы\*\*) и пырју дружылыся зъ собою, абы въ тій дружби якъ найбильше загорнуты земли.

— Паскудна трава!—буркнувъ Якимъ,—паскудна трава! Треба буде пры волочинню уважаты, абы й кориньчыка не лышылося.

Одынъ корчъ костеревы гей-бы пиднисся, пидійшовъ у-гору.—Що се? чы не кертыця\*\*\*)?

Се дійсно була кертыця. Земля пухка розсыпáлася въ не-вельчкы м'якы купочки.

— Пся...—заклявъ Якимъ и схопывся за истыкомъ, абы выкнуты шкидныка; але кертыця прытаилася, пирнула въ землю и пропала, гей-бы ии й не було.

Якимъ сивъ на свое мисце и пыльно слидывъ за кертыцею, чы зновъ не покажется. Коло його нигъ выповзъ изъ земли червакъ, посувався зъ трудомъ, корчывся й тягнувъ за собою напывъ перегныле стебельце. Дали мордувалася мурашка зъ крышкою хлиба, маленькою частынкою Якимовою поживы, крутыла

---

\*) Пористъ на стоячыхъ водахъ.

\*\*) Ридъ травы.

\*\*\*) Креть.

головкою то въ одинъ, то въ другой бикъ: все, що опустыть, то зновъ пиднесе,—и такъ безъ кинця. Пчилка тоненько забренила, нибы завела тыху, жалибну писеньку...

На межи, зарослій всилякою травою, выглядавъ дрибненький рясть, чепурылась червона медуныця и роскладався нызенько кучерявый лещыкъ \*). Його солодкий запахъ прытягнувъ до себе пчилку; вона обмацувала лапки його кучеряву головку и глыбоко запускала язычокъ въ його тоненьки рурки.

Кертыця зновъ пидкынула землю. Але Якимъ вже теперь не встававъ, не хапавъ за истыкъ, що лежавъ коло нього на межи. Його голову мовъ роемъ обсилы думкы; усе, що винъ сьогодни чувъ и бачывъ, перемишалося разомъ и йшло одно за другимъ, гей-бы хто тягнувъ шнуромъ.

— Отъ та кертыця, що рые його поле,—вона робыть, працуюе. И той червакъ, що корчыться пидъ його ногою, и пташка, и та мурашка—усе те стараецься на жыття. Уже, выдко, таке Боже право, що хто хоче жыты, мусыть на себе робыты! Чому жъ такъ не йде межи людьмы? Одинъ робыть, працуюе, а другой лышь забавляецься на симъ свити!... Мужыкъ мусыть усихъ годуваты: не робывъ бы винъ на хлибъ, то люде не малы бы що йисты. О, тяжка то работа! Чоловикъ у земли порпаецься, якъ той червакъ. З'оры, заволочы, посій, та ще просыты бы ласкы Божои, абы то зерно зйшло, прыстыгло; а потому—нимъ ще зберешъ, змолотышъ! Панамъ легко жыецься на свити, а ты, хлопе, на ныхъ роботы! Воны тебе дурять та нибы до якоисъ рады клычуть, а за твою гирку працю кажуть тоби ще платыты, податкамы здырають...

Свижа, чорна земля розсыпалася новымы купкамы. Кертыця не перестала робыты свое, але Якимъ про неи забудувъ; винъ дывывся десь далеко по-надъ поля и млакы. Велькый, зъ шырокомы, розложенымы крыламы бузько, зъ довгою ломакою въ грубимъ дзюби, зашумивъ нызько надъ його головою и пропадавъ по-воли въ мрачнимъ простори, а з-за горба выходыла що-разъ выднійше маленька стать погоныча по-пры вельки, рогати сири волы.

\* \*  
\*

У недилю чувъ Якимъ, що пан-отець клыкавъ до себе цилу старшыну громадську та й наговорывъ имъ про выборы таке, що

---

\*) Дрибна била пахуча конюшына.



було що слухаты. Ажъ пидскакувавъ старенькый, такъ багато говорывъ, та й людямъ наказувавъ про ти якись вы́оры. Люде не могли наросказуватыся, що старенькый говорывъ,—ажъ уха трищали.

— Вы сяки та таки,—казавъ пан-отець,—самы не дбаете про свои права, а потóму кажете, що эле мужыкови на свити, кається та чушаете въ потылицю! На панивъ видказуете, а якъ прыйдуть выборы, то на свого заступныка выбираете пана, поляка. Забулы вже панщину, колы то мужыкъ мусивъ на пана робыты, якъ виль, колы ничего не мавъ свого, бо все було панське, дававъ десятину, бравъ буки та гиршъ послиднього пса валявся пидъ панськымы порогамы!

Бувъ тамъ и сынъ пан-отцивъ, Ныкольцьо, що вчывся десь у высокыхъ школахъ, та саме теперь чогось прыйихавъ до-дому. Той ще переходывъ батька.

— Вы тутъ коренный нариды! Полякы зайшли, а проте воны надъ вами панують, усе на свое навертають. Нигде нема руськои правды, руського слова: у школи по-польськы, у суди по-польськы, нигде русынивъ не допускають, а въ краю говорятъ лышь про польськи справы, якъ бы тутъ русынивъ не було... Русыны жъ до того ще самы имъ помагають своею байдужнистю та тымъ, що не знаютъ своихъ правъ! Якъ бы русыны вси разомъ трымалыся, то полякы бъ тоди пизнали—„чья хата, того правда, и сыла, и воля.“

Се рознеслося по цилимъ сели. Звычайно той скаже одному, той другому, и циле село гуде одною бесидою. Якимъ може бы бувъ забувъ про выборы, але колы наслухався про ти рижни ричи, що газды \*) росповидалы, то скортило й його питы, якъ надійшовъ вивторокъ, на котрый склыкалы выборцивъ.

Коло громадськои канцелярии була вже купка людей: одни стоялы на двори, други то выходылы то входылы у хату. Балакано то про одне, то про друге, найбильше про господарство та про жыда-арендаря, що вельку биду зводыть у сели.

Старши газды, що не разъ уже булы на выборахъ, побоювалыся, що имъ прыйдеться довго почекаты на комисаря зъ миста. Разъ було таке, що отакъ посходылыся, то чекалы до темной ночи и не дочекавшыся мусилы росходытыся до-дому. Тому жъ

---

\*) Газда— хазяинъ, господарь.

то може свидоми сього люде сходьлыся помалу. Навить ще й пан-отця не було. И на нього то не разъ прыйшлося людамъ добре почекаты, але сеи ричи винъ уже пыльнувавъ.

— Ось уже й пипъ иде,—казавъ хтось зъ газдивъ.

Се дійсно бувъ пан-отець, скорченый и старый, у невеличкимъ чорнимъ капелюси, а люде вже звыкли його здалека пизнаваты.

— Слава Иисусу Хрысту,—сказавъ винъ гримкымъ, якъ на свои старечи лита, голосомъ, пидходячы до громадянъ.

Газды поклоньлыся и пустьлыся по черзи цилуваты пан-отця въ руку.

— А шоб, ще нема комисаря?—запытався старенький, моргнувшы штудерно однимъ окомъ, якъ нибы свій межы своїмы, що чекають на когось для ныхъ чужого.

— Не знаты, чы и ще не треба буде почекаты,—видповили ти, що стоялы бльжче.

Пан-отець пишовъ до канцеляри, а за нимъ посунулыся старши й поважнйши газды; молодши лышылыся на двори.

— Но, що-сьте, панове-гадзы, урадылы?—поспытався пан-отець, сидаючы за стиль.

Газды насупьлыся. Стало такъ тыхо, нибы макъ сiявъ...

Правду сказавшы, нарады мижъ нымы нiякои не було, ни зъ чымъ було выходьты передъ пан-отцемъ; тожъ усихъ очи звернулыся на старшого брата, що видъ давна водывъ пèредъ у цилимъ сели.

То бувъ старый чоловикъ, до 90 рокивъ, а вже зъ якыхъ сорокъ рикъ бувъ старшымъ братомъ; колысь бувъ винъ „пле-нипотентомъ“ и не одну справу заладывъ у сели, якъ нихто не знавъ, що робьты.

Теперь, колы уси звернулы на нього очи, винъ пизнавъ, що йому треба выйты зъ своимъ словомъ.

Але винъ не спишывся, нибы ждавъ, чы не найшовся бъ хто иншый, абы його тутъ заступывъ. Винъ любывъ вымовлятыся старымы литамы та тымъ, що йому бъ уже думаты про инше жыття, куды його Богъ незадовго поклыче, а не про сю землю.

Святе Письмо винъ знавъ на пальцяхъ и любывъ його наводьты пры своихъ бесидахъ. И теперь, пождавшы, винъ видкашельнувъ и зачавъ словами Святого Письма:

— Азь есмь пастырь добрый и душу мою полагаю за овцы моя,—тожь и мы чекалы на свого пастыря.

Газдамъ роз'яснились лыця: слова старшого брата выда-  
лыся имъ, нибы ихъ власнымы словами.

— Та се правда,—потакнувъ одынь, такожь старый чоловикъ,—  
се правда, що вивцянь безъ пастыря ніяково,—переводячы слова  
евангелія на свою мову, бо такимъ складомъ, якъ старшый  
братъ, ништо въ сели не вмивъ говорыты.

Пан-отцеви очи заблыслы вдоволеннямъ и радистю, але  
ривночасно поглядъ його упавъ на чоловика, що сьидивъ у  
кутку; його хмарне лыце не сходилося зъ яснымъ поглядомъ  
присутнихъ. Пан-отець перебигъ очыма цилу компанію, його по-  
глядъ спочывъ майже на кожнимъ лыци окремо, нибы шукавъ  
бильше хмарныхъ лыць, котри вже своимъ выдомъ супере-  
чылы бъ словамъ старшого брата.

— Вы, панове-газды, знаете,—зачавъ винъ нарешти,—що маєте  
выбираты выборчивъ, се-бъ то, такихъ людей, абы выбрали видтакъ  
посла. Выбирайте, кого хочете, я пиду за вами: лишъ выбирайте  
людей певныхъ, що знаютъ, що вони русыны, и дадутъ голось  
на руського посла. Отже выбирайте людей незалежныхъ, котри  
бъ не боялися ни пана, ни старосты и не продавалы своеи со-  
висты за якыхъ килька крейцаривъ!...

Мымохить усихъ очи звернулись на чоловика въ кутку.

Що се було проты вїята, мигъ кожный догадаться, бо пры  
остатнихъ выборахъ вїйтъ мавъ иты за старостою, и видъ того  
часу все щось не ладно велось межы вїитомъ и пан-отцемъ.  
Люде заворушылыся, вони знали, що пан-отець не хотивъ, абы  
выбираты вїита на выборця, та зъ того выходыла вся беда та  
закрутыня. Пан-отець пан-отцемъ, але вїйтъ вїитомъ; треба и  
пан-отця, але треба й вїита. Вїйтъ бувъ чоловикъ гордый и  
гострый. Учувшы отси звернени до себе слова, винъ цилый по-  
червонивъ зи злости.

— Побачымо, якъ то буде!—сказавъ голосно, а ривный його  
звычайно голось легко дрижавъ.

Пан-отець удавъ, що не чуе, и вышовъ зъ хаты.

Теперь громадяне стали ризко по двохъ бокахъ: одни  
стоялы за вїитомъ, а други за пан-отцемъ. Булы й таки, що хо-  
тили выбираты и пан-отця й вїита, якъ то кажуть—абы бувъ и  
вовкъ сытый, и коза цила.

Тымъ часомъ на двори велась инша справа. Село було велике, давало ажъ чотырьохъ выборцивъ; тожь, окримъ пан-отця й вйта, треба було ще двоухъ. Тутъ дававъ провидъ Иванъ Рыбакъ. То бувъ чоловикъ ще не старый, але по досвиду й розуми хто знае, чы не ривнявся старшому братови; винъ не знавъ такъ Святе Письмо, якъ старший братъ, але за те знавъ бильше, що въ свити діється. Бувъ пысьменный, купувавъ кныжечкы и трымавъ руськы газеты. Знавъ всияку „поведенцію“: шобъ, якъ и зъ кымъ говорыты. Бувъ зъ килька разивъ выборцемъ, тожь и теперь никто не думавъ про те, абы його не выбираты, хочъ вйтъ його не любывъ и называвъ „попивськымъ поплечныкомъ,“ бо пры выборахъ винъ усе державъ зъ пан-отцемъ.

Закымъ громада змогла розибраты допевне, шобъ робыты, над'йихавъ комисарь, то вже не було часу на балакання. Комисарь спишывся, якъ бы його гнало сто чортивъ, и майже полетивъ до канцеляри. За нымъ пишовъ пан-отець и вся старшына, окримъ Ивана и старшого брата, котри лышылыся на двори межы молодшымы.

Прысяжный, червоный та наляканы, килька разивъ выбигавъ и склыкувавъ до хаты. Але тутъ ишло инше дило. Ходыло о ще одного выборця; люде не могли зважытыся, зачалы говорыты то сей, то той, але якось не йшло, якось не можна було такъ въ очи говорыты: сей липшый, а сей плохшый.

Иванъ бачывъ, що се не борзо скинчытыся; тожь, ничего не кажучы, вытягнувъ из-за череса пачку сирныкывъ и зачавъ обтыраты червони головки. Уси догадалыся до чого то йде, и вси мовчкы на те прыстали, дывлячысь въ руки Иванови. Зъ усеи пачкы винъ лышывъ лышь одынъ сирныкъ зъ головкою и видтакъ пишовъ зъ нымы межы люде. Хоть никто ничего не говорывъ, але кожный знавъ, що якъ вытягне безъ головкы, то безъ головкы; але якъ зъ головкою, то буде выборцемъ. Иванъ ходывъ видъ одного до другого, и вси вытягали по одному патычкови.

Нарешти потягнувъ и Якымъ—и його сирныкъ бувъ зъ головкою.

Винъ здывованыи глянувъ навкругъ себе и йому здавалося, що на всихъ лыцяхъ бачыты те здывування, яке нымъ заволодыло. Де-якы газды справды стали соби марыкуваты, що липше було згодытыся на вильный выбиръ, якъ тягнуты сирныкы. Се Якыма вражало немыло, и винъ ставъ выпрошуватыся, що винъ

ще молодой, що не буде знаты, що робыты, що липше було бь, якъ бы выбрали когось иншого.

Присяжный зновъ выбигъ зъ хаты переляканый, що комисарь спишыться. Якимъ усе ще видтягався, але справди не було часу, и старшый братъ майже наказавъ йому лышыться пры тимъ, що вытягнувъ.

— Таке вже твое щастя, чоловіче,—сказавъ винь,—таке вже твое мае буты, то й не можешъ того зрикаться!

— Колы вже такъ, то такъ,—потакнули и други,—колы вже такъ выпало, то най вже такъ и буде!

По симъ слови газды посунулись до хаты. Комисарь кыдався й лютывся, що такъ зволикають.

Нарешти распочалося голосування. Насам-передъ зачали видъ пан-отця. Винь давъ свій голосъ на старшого брата, на Ивана Рыбака, та на двохъ першыхъ липшыхъ газдивъ, котри йому попалися. Потому заклыкалы старшого брата. Винь звывявся, що се вже не для нього, що йому вже про що инше думаты бь. Комисаря выводуло се все зъ терплячкы.

— Але тутъ теперь не мисце на таке балакання! Скажить липше—на кого даете голосъ и край!

Якъ бы то хто такъ изъ громады бувъ видизався до нього, бувъ бы за свое добре видобравъ; але зъ панамы инша справа. Тожъ винь, уженичого не кажучы, давъ свій голосъ на пан-отця, Ивана, на одного зъ тыхъ газдивъ, що на ныхъ голосувавъ пан-отець, и на Якыма.

Колы выклыкалы вйта, винь ставъ понурывшыся, а по хвыли сказавъ, що винь дае голосъ на Ивана, Якыма, на одного сусида и на себе. Люде переглянулись межы собою. Самому на себе вже казаты не лычыло, але выдно, що винь доконче хотивъ, абы його выбираты. Тожъ, колы по нимъ выклыкалы другого газду, винь зам'явся и давъ голосъ на пан-отця, Ивана, Якыма и вйта.

Потому йшло вже якъ по нытци: вси вже на одныхъ каза-лы, хиба десь-не-десь трапывся хтось, що кынувъ голосъ на кого иншого. Якимови заперло духъ у грудяхъ; спершу винь вымовлявся, а теперь дывывся зъ трепетомъ кожному на губы и марыкувавъ на тыхъ, що його помыналы.

Колы скинчылося голосування, и комисарь прочытавъ тыхъ выбраныхъ, а мижъ нымы й його имя, то стало йому такъ ве-

село, що винъ никола й не думавъ бы бувъ, що така ричъ може йому вчыныты таку радисть.

Комисаръ заразъ по тимъ забрався, бо мавъ переводыты выборы ще въ другимъ сели. Люде стали розходытыся.

— А що теперь буде, Якыме?—сказавъ пан-отець видходячы.— Громада трымалася твердо, тожъ и намъ треба буде твердо трыматися и не кинуты свій голосъ у болото.

Видъ тыхъ сливъ Якымови стало ще веселійше; винъ бувъ зъ молодшыхъ и пан-отець зъ нымъ никола не ставалы на ніяку бесиду.

\* \*

Гордый и веселый, винъ не стямився, колы опынввся на своимъ обійстю. Жинка склыкала куры на вечерь, стояла передъ хатою й кыдала зъ подолка по жменци послиду, а їи голосне на-клыкування чувъ Якымъ здалека.

— Але ты высыдився! — сказала вона, побачывшы чоловіка у воротяхъ,—я гадала, що тебе вже десь пирвало, або холера напала...

— Або що?!—муркнувъ Якимъ, усмихаючыся.

— Та якъ—що? тратыты дныну, то ничего не значыть?—видповила зъ гнивомъ жинка.

Сказавшы се, вона борзенько забралася до хаты, бо знала, що такъ зъ Якымомъ не завжде можна було жартуваты. Якымъ ступавъ за нею слидомъ, и вона вже побоювалася, чы не надто проговорылася.

Колы винъ скинувъ капелюхъ и сердакъ, жинка глянула на нього з-пидъ ока и здывувалася, побачывшы, що винъ такъ само веселый, якъ и передше.

— Знаешъ що, жинко?—сказавъ чоловікъ, гей-бы й не чувъ того, що вона йому недавно цвиркотила,—знешъ що? мене vybraly выборцемъ!

— Выборцемъ? — повторыла Якымыха, ще бильше здывована.— Що се таке—выборцемъ?

— Такимъ, якъ передъ трьома рокамы бувъ выбранный вйтъ и Иванъ. Знаешъ?

— Не знаю,—видповила жинка.—Що се—вйтъ, чы присяжный?

— О-о! вона вже вйтыхою хотила бы буты!—реготався на все горло чоловікъ.

— Та хто тебе тамъ выбравъ?

— Но, говори зъ нею,—дурне дурнымъ!... та хто бы—громада!

Вона здвигнула плечыма; чымъ выбрала ии чоловика — вона не знала, але змиркувала, що все якымсь старшымъ. Цила громада выбирала и выбрала ии чоловика; то вона вже й забула, що сердылася за страчену дныну.

— Може й справди ще його колысь и вйтомъ выберуть, а се такъ гарно буты вйтыхою въ сели!—думала вона.

\* \*  
\*

Другои дныны веселисть Якыма стала потахаты, а натомистъ проколювались журлыви пытанья.

— А що теперъ буде? що теперъ робыты? — запытувавъ винъ себе мымохить, и неспокійни думкы порушувалы його умъ. И винъ теперъ справди почавъ жалуваты, що прыставъ на той выбиръ. Не знаты на що й за кымъ треба даваты голось, а може й пидпысуватися; то чы не липше, може, було бъ сыдиты въ хати, робыты свою роботу, якъ иты на якисъ выборы?

Чымъ бильше про се думавъ, тымъ журлывийше ставалы його думкы. Винъ уже миркувавъ, чы не можна бъ якось того зректыся и цилои биды видпекатыся.

Але колы ставъ про ти свои сумнивы говорыты жинци, то вона розвела його голову.

— Громада тебе выбрала, то нема що и зрикатыся. Що будуть други робыты, те будешъ и ты—, куды голка, туды й нытка”.

— Добре кажешъ, жинко. Треба буде питы порадытыся до попа, або вйта; що будутъ други робыты, те зроблю й я.

\* \*  
\*

Але покы Якымъ спромигся розибраты у свойй голови, де и до кого передше йты, прыйшовъ до нього Иванъ.

— Отъ я дурно й журывся,—подумавъ Якымъ,— а дило само собою складається.

Стало на пан-отци, бо Иванъ прыйшовъ, абы Якымъ ишовъ зъ нымъ до пан-отця, а тымъ разомъ уже порадытыся. Якымъ власне скинчывъ робыты грабли до грядокъ для жинкы, на котри чекала вже скопана грядка.

Колы Иванъ прыйшовъ и взявъ зъ собою Якыма, жинци стало маркотно: се вже и вѣйтыхою не варто буты, якъ работа мае стояты, а газдивство упадаты!...

— Чоловикъ може розволочытыся,—се и такъ бувае. Колысь то стратывъ дныну, а теперь зновъ пишовъ и грабель не докинчывъ! Абы-мъ мала хочъ чымъ грядку заволочыты! Хиба пиду до сусиды грабливъ позычыты? До попа далеко, та й ще тамъ забавляться и грядки позасыхають. Може бы було липше, якъ бы бувъ того скинувся, а вона, дурна, сама його порадыла! Кобы хочъ знаты, чымъ його выбрали, та й на яке?

Ненадѣино щаслыва думка прыйшла їй до головы. Їй прыйшло на гадку питы до Иваныхы, про все роспытаты та й розвидатыся. Кажуть, що їи чоловикъ уже разъ бувъ тамъ якымось выборцемъ,—тымъ, чымъ теперь выбрали Якыма, то й Иваныха буде знаты, що то таке, та чы се добре, що ихъ чоловикивъ по-выбиралы?

Якъ погадала, такъ и зробыла. Взяла новый кожухъ, зав'язала вельку шалинову хустку, замкнула хату й пишла.

Иваныха—була то жинка гонорна, велького роду. Якымыха ще була дитвакомъ, якъ вона виддавлася, то й рада була нагоди, що може зъ нею бльжче зѣйтыся.

— О! десь медвидъ у лиси згыбъ! Треба бы попелу взяты та слиды посыпаты,—прывидала Иваныха, побачывшы Якымыху.

Якымыха подилувала Иваныху въ руку, а та їи въ голову.

— Просымо сидаты! — сказала Иваныха, прыбираючы лавыцю. Росповидайте, де що нового чуваты?

— Нема ничего нового, усе старе.

— То кажить, що доброго робыте?

— А що жъ роблю? що лекше!—видповила Якымыха жартуючы.

— Та що найлекше? хиба спаты!—каже й соби жартомъ Иваныха.

Жинкы засміялыся.

— Дай, Боже, жартуваты, кобы не хоруваты,—завважала Иваныха. Охъ! бороны Боже видъ слабосты, якъ Максемыха Иванынышна: пивъ року хорувала, та й учора вмерла. Буде колысь якась збыткуватыся надъ їи дитьмы, та й вымовляты, що наробылася на чужи диты. Не дай, Господы, лышь диты сыротама лышаты!...

— А в ашого нема дома?—запытала нарешти, ныбы не хочачы, Якымыха.



— Та де йе—нема! Десь пишовъ до попа; та й вашъ, бачу, мавъ зъ нымъ питы?

— Таже мавъ мы сьогодни грабли докинчыты, бо не маю чымъ заволочыты грядкы, а винъ взявся та й пишовъ.

Иваныха покрутыла головою.

— А мое не таке? гадавъ сьогодни бульбу садыты, колы прышовъ пиддячый—ходить та й ходитъ до попа.

Якымыха рада була, що звела бесиду, на що хотила, та помаленьку стала роспытуваты Иваныху, чымъ то выбрали ихъ чоловикивъ та на що?

— Вы вже, Иваныхо, въ тимъ булы, то знаете; а я лышь те знаю, що мого чоловика видъ роботы видрывають.

— Та правда. Видкы жъ вы те можете знаты, Якымышко? Н я бъ не знала, якъ бы мого чоловика раз-у-разъ до усього не выбиралы.

— Та то я й кажу: пиду до Иваныхы поспытатыся; вони вже въ тимъ булы и знаютъ.

— Спершу я соби гадала, Якымышко,—казала Иваныха,—що то выбрали мого чоловика на те, абы стягавъ податкы, та й такы сварылам-ся зъ нымъ, бо боялам-ся людськихъ проклонивъ; але потому довидалам-ся, що то цисаръ склыкае на якусь вельку раду. Иванъ казавъ, що ни на однимъ ярмарку, ни на видпусти не выдивъ тилькы панивъ та попивъ, що тоди въ мисти, якъ на ту раду збиралыся. А жывивъ то вже тьма тьменна!

— И цисаръ тамъ бувъ?—запытала Якымыха.

— Не знаю, але видай не бувъ; мавъ десь буты у иншимъ мисти. Иванъ лышь росповидавъ, що паны зъ мужыкамы такъ водылыся, гей-бы своя ривня. Нашъ пипъ зъ Иваномъ водывся попидъ боки, та инакше його не называвъ, лышь—куме Иване. Тилькы вйтъ бувъ щось змыкытывъ, а видтакъ пипъ и казавъ Иванови:—Кобы такы вси, Иване, якъ вы, то мы не такы бы булы бидни, якъ теперь.

Иваныха ще довго росповидала, що паны й жыды ходылы за Иваномъ гурмою, та все просылы, абы на ныхъ дававъ голось, що ажъ пальцею мусивъ обганятыся, а одного жыда такы добре потягнувъ.

Якымыси ажъ у голови шумило видъ усього, що й наговорила Иваныха, та хочъ видъ сього не стало й яснйше, та все такы й здавалося, що багато довидалася.

\* \*  
\*

Тымъ часомъ Якымъ бувъ зъ Иваномъ у пан-отця на наради. Все, що Якымъ чувъ видъ другыхъ, теперъ переслухувавъ своїмы вухамы.

— Що бъ то за сылу малы русыны, кобы уси разомъ трыма-лыся, кобы не мужыкы, що не знаютъ свого права, не розуміють цисарського закону!

А сынъ гей-бы зъ кныжки чытавъ:—Килькы то русынивъ пидъ нашымъ, а килькы пидъ московськымъ царемъ!... — и ажъ поломинь ишла йому зъ очей, колы ставъ выраховуваты, що на килькадесять тыхъ, що йдуть до тои велькои рады, допыхається ледве килька русынивъ.

— А то все тому, що наридъ не просвиченый и такой темный, що вже видай такого темного на цилимъ свити нема, та черезъ те вся беда межы людьмы; черезъ се русынъ бидный и поныженный!

Якымъ гей-бы зи сну будывся. Винъ знавъ, що мужыкы темни и невчени, але ажъ лячно йому ставало, колы взнавъ, що вони такы зовсимъ дурни, та черезъ те уся беда на свити. Ще дывнійше йому робылося, колы Иванъ и соби ставъ говорыты, що наридъ темный, що не знае, хто його ворогъ, а хто прыятель, хто його на добру, а хто на злу дорогу наvertsае.

Якымъ уже радъ бувъ зробыты все, що вони хотили, абы лышь не браты усього зла на свою темну мужыцьку совисть...

Стало на тимъ, що треба даваты голосъ на якогось пана зи Львова, чоловика вченого, доброго русына, що буде вже знаты, колы и якъ обизватыся за руськымъ народомъ.

Але колы сказаны його им'я й призывще, Якимови якось языкъ не складався, и винъ не мигъ добре вымовыты. Та Иванъ пообичявъ, що його вже вывчыть, бо винъ уже разъ на того пана голосувавъ: треба лышь, абы Якимъ усюды Ивана трымався.

\* \*  
\*

— А що пипъ казавъ? — пытала Якымыха, колы Якимъ вернувся до дому.

— Ты бъ усе хотила знаты! Будемо выбираты свого посла, одного пана зи Львова. Знаешъ, що то посоль?

- Та на що його, того посла?—запитала Якымыха.
- На́ що! абы стававъ за народомъ, абы за свій наридь упомянався. Вже досыть надъ нами напанувалыся чужи та й назбыткувалыся!... Теперь и намъ треба свого чоловіка!
- Та бо ты кажешъ, що то якыйсь панъ!
- Та щó зъ того, що панъ, колы добрый русынъ!
- Або то панъ може буты русыномъ?—спытала цикаво Якымыха.
- Отъ туды! Якъ бы не мигъ буты, то бъ не бувъ.
- Якымыха здвгнула плечыма. Якымъ їй того не пояснявъ, та йому самому ледве що зорило; але де то проты бабської головы!
- Якымъ лышь чекавъ той дныны, колы заклучуть у мисто, абы виддаты свій голось тамъ, де треба, та лышь повторявъ им'я и призывыше того пана, абы не забуты та не статы смихомъ.
- Такъ якъ позавтра мавъ уже йты, ажъ дывыться—їде до нього вїтъ и секвестраторъ. Якымъ здумывся. И податкы заплачывъ, и грошей у никого не зычывъ!... Щó вони видъ нього хочуть? Вїтъ якъ бы вгадавъ Якимови гадкы, та й видразу такъ и каже:
- Щò гадаете, Якыме, чого мы до васъ прыйшлы?
- Та вже буду чуты, якъ скажете,—видповивъ Якымъ.—Прощу, будьте ласкавы, до хаты!
- Якымыха, побачывшы гостей, кынулася по хаты, постырала лавыцю й попросыла сидаты. Гости посидалы, а Якымыха стала тыхенько коло печи й пидпершы бороду рукою, чекала, що зъ того выйде. Секвестраторъ росперся на лавыци й почавъ роботы цыгарку.
- А щó, такы не догадаетесь?—сказавъ вїтъ до Якыма.
- Якымъ може вже й догадувався, але на що йому було те казаты; нехай кажуть самы, колы прыйшлы.
- А щó, булы-сте оногды зъ Иваномъ у попа?
- Якимови стало нїяково, але видпиратыся не було якъ: выдко, що вїтъ про се знавъ.
- А що тамъ багато говорылы-сте доброго?—запытавъ вїтъ политычно.
- Отъ, якъ говорыться, усяке: и добре, и зле...—видповивъ Якымъ, выкручучыся.

— А кого винъ тамъ казавъ выбираты?—спытавъ просто секвестраторъ, не добираючы сливъ.

Якымови стало знову ніяково,—винъ зам'явся; йому не хотилося просто видповисты, хочъ бачывъ, що нема що крутыты, бо колы вони знають, що винъ тамъ бувъ, то й ледве не знають, щбъ говорылося?

— Та якогось пана зи Львова!—сказавъ по хвыли не твердымъ голосомъ.

Секвестраторъ засміявся и махнувъ згирдно рукою.

— А вы його знаете?—запытавъ винъ, споглядаючы на Якыма з-пидъ ока.

— Та видкы знаю?—видповивъ Якымъ уже смилывійше.—Але пипъ казавъ, абы його выбираты, бо винъ буде за народомъ стояты.

Секвестраторъ ще дужче засміявся. Сей смихъ перейнявъ Якыма дрощемъ, и винъ пожалувавъ, що видразу сказавъ правду. Секвестраторъ ув-одно сміявся:

— Пипъ казавъ, пипъ казавъ! Може бъ я ще щось липшого сказавъ, якъ пипъ, кобы-сте хотилы мене слухаты! Але пана Кивковецького не казавъ вамъ выбираты, не правда?

— Та бо винъ, бачу, не нашъ, не русынъ?

— Эге! та бо я бачу, що вашъ пипъ вже васъ добре „пидрехтувавъ“!

— Пидрехтувавъ, не пидрехтувавъ,—видповивъ трохы сердыто Якымъ,—але се вже правда, що липшый свій, якъ чужый!

Війть споглянувъ на Якыма довгымъ, пронькаючымъ поглядомъ. Въ хати стало тыхо... Якыма той поглядъ немовъ бы трохы збентеживъ, хоть винъ и самъ не знавъ, чому.

— Яке йихало, таке здыбало!—сказавъ війть по-воли, не спускаючы очей зъ Якыма.—Яке йихало, таке здыбало... розуміете, Якыме? Панъ зи Львова, чы панъ зъ Кивковецъ,—скажить самы, чы се не все одно? Панъ паномъ, а мужыкъ мужыкомъ! Видъ панської рады мужыкови лекше не буде. Кожный тягне на свое: панський верхъ та й панська правда. Паны та попы знають свое, а мужыкы свое. Не вгадавъ бы той, хто думавъ бы, що я-бымъ дався кому-будъ перевесты, якъ-бымъ выдивъ який пожытокъ для мужыка. О! не зъ такыхъ я, нехай соби пипъ каже, що хоче на мене!

— Вы вирыте попамъ?—зачавъ зновъ секвестраторъ своимъ то-  
ненькымъ шепотливимъ голосомъ. Не досыть ще людей луплять,  
здырають, та ще ихъ баламутять? Отъ колысь то, не казали лю-  
де, що вашъ пипъ взявъ за похоронъ остатню овечку? Здырають  
зъ мужыкивъ послідне, та ще накыдаються имъ за опикунивъ,  
нибы вони такъ за ныхъ дбають!...

— Се мы й самы знаемо,— перебивъ вйть поважно, — про се  
вы й не маєте щó намъ казаты. О, знаемо: не заплаты — не ру-  
шыться зъ хаты, хотъ у церкви говорыть про боже й людське  
мылосердіе! Але знаемо такожъ щó и паны! Ще не обсохло на-  
ше тило видъ крови! Пам'ятаемо ще ихъ буки й гарапныкы; а  
колы мынулыся мандаторы та атаманы, то лышылыся ще оконо-  
мы, польови та побережныкы! Колысь то у двори мало не вбы-  
лы хлопця мого сусиды, що пасъ на заринкахъ, хотъ ти заринкы  
булы колысь наши, громадськи. Але чы то лышь у насъ такъ  
діється? Усюды до панивъ попрылыпалы наши лисы, лугы та па-  
совыська! А ни видъ попивъ, а ни видъ панивъ нема намъ чого на-  
діятися: намъ слухаты бъ воли нашего найяснійшого монарха та  
видъ нього чекаты полекшиння; винъ лышь намъ може полекшин-  
ня даты, а видъ панивъ та видъ попивъ, якъ кажу, нема чого  
сподиватися! Кожна рука соби крыва... Нехай вона буде соби кры-  
ва и въ мужыка!

Пры тыхъ словахъ секвестраторъ помацався по кышеняхъ.  
Вйть урвавъ бесиду й оглянувся по хати. Зъ його сливъ та по-  
гляду можна було змиркуваты, що винъ хоче щось бильше казаты,  
лышь здержується.

— Нехай вона буде и въ мужыка крыва!—повторывъ поважно.  
Тутъ зновъ оглянувся навкругъ себе.

— Сказало-бъ ся щось бильше,—доповивъ винъ кашельнувшы,—  
та за-багато насъ тутъ йе...

— Жинко, йды зъ хаты!—сказавъ Якымъ.

Якымыха выйшла зъ хаты, але стала пидъ двери та й на-  
хылыла вухо. Вйть говорывъ дали:

— Наша така ричь: панъ секвестраторъ дадутъ вамъ гроши,  
вы голосуйте за Кивковецького пана та й кинець. А я вамъ ка-  
жу, Якыме, та й забожуся на усе въ свити, — тутъ вйть уда-  
рився такъ сыльно въ груди, що ажъ у нимъ щось тевкнуло,—  
що бильше корысты мужыкови зъ тыхъ всихъ комедій певно не-  
ма, вирте мени!

Секвестраторъ вынявъ десятку й поклавъ на стиль. Десятка була ще цилкомъ нова: свижа сына фарба ажъ хапала за очи.

— Сховайте, сховайте се для себе!—сказавъ Якимъ, видвертаючыся видъ прынадного папирця.

— Хи, хи, хи!—зашумивъ секвестраторъ, якъ у ночи сова, хапаючы вухомъ не конче твердый голось Якыма.—Що то робыты комедіи, пане выборець? Кажу вамъ—берить гроши та й тыхо сидить, и все буде добрѣ! Не выкыдайте дурно грошей зъ своєї хаты, колы самы лизуть у руки. Кажу вамъ—берить, та й давайце голось на Кивковецького пана, и кинци у воду. Липше тыць, якъ ныць! Добрѣ вѣйтъ кажуть: видъ панської рады мужыкови лекше не буде... Боитесь попа, чы шо?

Якимови, шо знавъ, якъ вѣйтъ усе говорывъ, абы не боятысь попа, та й якъ тымъ самъ вельчався, шо не боиться його, зробылося стыдно, шо секвестраторъ пры вѣйти на се натякнувъ. Винъ заперечывъ голосно, шо попа не боиться, шо пипъ мае свѣй розумъ а винъ свѣй, шо попови до престола, а не до нього. Секвестраторъ узявъ зъ стола десятку и штуркнувъ Якимови въ руки.

— Значыться—берете гроши й голосуете на Кивковецького пана...

Якимъ стоявъ неришучый, але грошей не взявъ.

Быстрый поглядъ вѣита спостеригъ сю неришучисть Якыма; винъ узявъ десятку зъ рукъ секвестратора й поклавъ назадъ на стиль.

— Гроши лышить, не пропадутъ!—сказавъ вѣйтъ.—А вы, Якиме, роздумуйте соби: нагадется, то визьмете, а розгадется, виднесете мени назадъ. А за гроши вже я вамъ ручу,—сказавъ, обертаючыся до секвестратора.

\* \*  
\*

Колы Якимъ видпроважувавъ гости за ворота, Якимыха скоренько вбигла до хаты. Десятка лежала въ тимъ мисци, якъ ии лышылы. Вона вже простерла руку, абы ии взяты та сховаты до скрыни, та побоювалася Якыма.

— Почекаю,—подумала,—але десятку зъ рукъ не пушу. Добрѣ вѣйтъ казавъ: нехай паны раду радять, а мужыкови добре шо-то;

а вїть розумный чоловік; може, розумнїйшый видъ Ивана, бо инакше не бувъ бы вїтомъ у сели, хоть и не трымае зъ попомъ.

Колы Якымъ увїшовъ до хаты, вона видразу накынулася на нього:

— А що, визьмешъ гроши? Хиба-бысь дурный бувъ, абы-сь не бравъ: буде чымъ податокъ заплатыты, або ще п'ятка, то вже й кожухъ буде.

Якымъ мовчавъ задуманый, а жинка все натуркувала:

— Чому не браты, якъ дають? Се не крадена ричь! Нихто розбоємъ не ходывъ! Люде просять, абы браты гроши, а винъ, дурный, ще надумується!

Заохочена своими власными словами Якымыха, вытягнула зъ скрыни платину, абы сховаты гроши, але чоловікъ мовчки видвернувъ їи руку, взявъ гроши та й захавъ у чересь.

\* \* \*

У тры дни потόму выборци рушалы въ мисто на выборы. Иванъ не знавъ про заходы вїта и секвестратора коло Якыма, бо а ни вїть, а ни секвестраторъ до нього не заходылы. Але винъ чувъ десь у сели, що вїть выбирається зъ Якымомъ одною фурую.

— Се вже щось недобре,—подумавъ Иванъ,—треба питы та й допевне довидатыся; йизда зъ вїтомъ не конче добра!

Иванъ, не довго надумуючыся, пишовъ до Якыма, ныбы то такожъ за-для йизды—хотивъ його запросыты, абы зъ нымъ йихавъ; а властыво довидатыся, чы винъ дїсно вже зъ вїтомъ умовывся. Якымъ ничого передъ тымъ зъ вїтомъ про се не говорывъ и не знавъ, якъ мигъ вїть казаты, що винъ зъ нымъ пойиде.

— Но, пойидете зъ намы,—казавъ Иванъ.—Я йиду зъ попомъ, можемо взаты другу фуру, бо й панычъ зъ намы пойиде: винъ, бачыте, до того цикавыи!

Якымъ ставъ не свїй. Йому якось стыдно стало передъ Иваномъ: не знавъ, що казаты и якъ видкрутытыся. Радъ бы бувъ пойихаты зъ нымъ, а тутъ щось гей-бы його задержувало, гей-бы його в'язало, а винъ не мигъ зъ того розвзатыся. Винъ турботно почухався въ голову й поправывъ на соби чересь, котрый йому чогось тяживъ, а новенька, дана секвестраторомъ десятка

заворушылася гей-бы червакъ у спорохнявилымъ зуби. Винъ не знавъ, що робыты. Йому хотилося найперше збутыся Ивана. То винъ вымовывся, що вже пойиде своею фурую, бо жинка мае якусь потребу въ мисто; та й на колесо здалося бѣ обручъ набыты, бо сього вже ніякъ не зробіть цыганъ у сели, а хоть бы зробывъ, то не такъ деликатно, якъ у мисти.

Иванъ щось помиркувавъ. Винъ уже добре догадувався, куды то йде, та й самъ зачавъ бесиду, що Кивковецького пана хочуть выбираты полякы, а русыны—пана зи Львова. Якымъ стоявъ, якъ на вугляхъ.

— А що? пам'ятаете, якъ называється той панъ, що його маемо выбираты?

Якымъ голосно сказавъ його им'я й призывще. Иванъ глянувъ на нього бокомъ.

— Но, то йидете зъ нами?

— Ни, не йиду; дякувать,—пойиду своею фурую.

Иванъ, ничего вже бильше не кажучы, пишовъ.

Якымъ справди загадавъ йихаты своею фурую, та выбратыся такъ раненько, абы вйтъ не захопывъ його дома.

Не хотилося йому йихаты зъ вйтомъ, абы се бачывъ Иванъ; а якъ вйтови буде його треба, то й тамъ його найде. Якымъ выйхавъ лышь зъ наймытомъ, абы въ мисти мавъ на кого фуру лышыты. Жинка не йихала, бо не було чого, хоть и не видъ того була бѣ, та вона знала, що Якымъ лышь такъ на неи передъ Ивановъ здався.

Колы Якымъ выйхавъ изъ села, здыбавъ на дорози багато людей: усе по два, тры й бильше на фурахъ. Се булы выборци зъ сусиднихъ силъ.

— Отъ и выбрався я самъ одинъ, — подумавъ соби Якымъ,— якъ дурень,—нибы такый, що зъ нымъ уже ниhto не хоче прыставаты...—Якымъ пожалувавъ, що вже врешти не почекавъ на вйта. Може, се й справди винъ по нього повертавъ?

Чымъ дали йихавъ Якымъ, тымъ бильше подыбувавъ панськи й попивськи повозы та брычкы, жывивськы визкы, та довгы, господарськы возы. Чымъ блыжче було до миста, тымъ маркотнйше йому ставало! Винъ оглядався по дорози, чы не можна бѣ до кого прылучытыся, але никого такого не надыбувавъ.

\* \*  
\*



У мисти, Боже мылий, кого тамъ не було! Людей тьма тьменна—уси паны, пан-отци та й пысари зъ сусиднихъ силъ. А жывивъ уже—якъ тыхъ тарганивъ! А вси крутылыся та бигалы, якъ посолени. Якимъ прымостывъ безпечно кони та й зачавъ оглядатыся за вйтомъ. Тутъ подыбався винъ зъ чоловикомъ, та-кожъ выборцемъ изъ другого села, та й ставъ роспытуватыся про вйта, чы сей його де не бачывъ?

— Ни,—каже выборецъ,—я не бачывъ, але ходимъ, може найдемо.

Ино-що поступылыся, прычелывся до ныхъ жыдокъ изъ най-бильшого зайизду въ мисти.

— Кланяюся панамъ выборцямъ!—говорывъ жыдъ, потрясаючи шапку у воздуси.

Выборци йшли, не оглядаючыся. Жыдъ не видступався. Винъ захвалювавъ свои ковбасы, студенець та буханци.

— Иды до лыха!—муркнувъ Якимъ.—Якъ схочу йисты, то й безъ тебе попойимъ!

— А на що вамъ, пане выборецъ, иты десь та й купуваты, ко-лы у мене все можна маты за-дурно?!

— Ха, ха, ха!—засміялыся выборци.—За-дурно дасы, але гро-ши визьмешъ? Правда?

— Чому гроши?—каже жыдокъ.—Якъ кажу—ни, то ни...

Жыдъ пидйшовъ бльжче й понызывъ голось.

— Чому гроши? Якъ панъ зъ Кивковецъ буде посломъ, то бу-дутъ гроши, ковбасы и буханци за-дурно, розуміете?

— Счезай, проклята жыдово!—гукнуло щось надъ ихъ головами, гей-бы зъ гармать выстрилыло.—Ты будешъ людей баламутыты? Юда продавъ Хрыста, а ты, його сынъ вирный, ведешъ людей на зраду!

Якимъ побачывъ Маландевыча. Се бувъ миськый чоловикъ, найбагатшый зъ усихъ мищанивъ, мавъ велику славу й поважання на цилый округъ. Жыдивъ не любывъ на перехидъ и всюды, де лышь заводылы тверезистъ, тамъ винъ першый бувъ и йшовъ на переди зъ хрестомъ. Жыдъ змишався.

— Пане Маландевычъ, пане Маландевычъ! — бовкотивъ невы-разно, нызько кланяючыся.

— Мовчы, пся...

Маландевычъ не скинчывъ, бо надбиглы два молоденьки пан-отци, котри взяли його на бикъ и стали щось потыху говорыты. Жыдъ пропавъ, гей-бы кризь землю провалывся.

\* \*  
\*

Передъ радю повитовою, де малы видбуватися выборы, було такъ глитно, що годи було перепхатися, а головы людськи подавалися, нибы хвыли въ ставу, гойдани витромъ. Дали трохы поридше стоялы люде купама й вель всляяки розмовы.

Якымъ зачувъ знакомый голосъ, що доходявъ здалека. Голосъ то пидносился, то зныжався, часомъ гудивъ, нибы хтось говоривъ у порожню бочку, то прытыхавъ—и слова плылы тыхо, спокійно, якъ шепить воды милкого потока. Якымъ оглянувся. Се бувъ пан-отцивъ панычъ. Винъ переходивъ видъ купы до купы людей, просивъ и заклинавъ, абы пошанувалы самы себе, абы показали, що вони люде, газды, русыны, абы не давалыся на пидмову, не зводылыся обицянкамы, не запродувалы своихъ голосивъ.

— Трымайтеся, браття!—говоривъ винъ палко.—Ваша доля у вашихъ рукахъ, видъ васъ залежить доля Руси.

Голосъ його перервався. Винъ палкымы очыма споглядавъ на купы народа й чытавъ зъ ихъ лыць сылу свого слова.

Якымъ не мигъ вынесты того погляду и спустивъ у-нызь очи. Замороченый гукомъ голосивъ и новымы вражиннямы червакъ сыльно завертывся десь пидъ самымъ сердцемъ и выкыкавъ протяжный довгый биль. Поглядъ молодого чоловіка мишавъ його и прыбывавъ до мисця, а колы винъ зновъ пиднисъ очи и споглянувъ навкругъ себе, намистъ паныча, побачывъ гыдке лыце секвестратора. Секвестраторъ бувъ умученый, якъ косарь въ полудне, а питъ горохомъ ллявся йому зъ чола. Винъ перепхався черезъ купы людей, отерся майже объ Якыма и пишовъ дали. Якымъ оглянувся й побачывъ високу пику и чако жандарма. Секвестраторъ щось йому шептавъ на вухо. Жандармъ подывився на вси боки. Нарешти ихъ погляды оперлыся о килькохъ людей, видкы Якымови здавалося, що чуе голосъ паныча Ныкольця.

\* \*  
\*

Иванъ ишовъ зъ двома людмы и голосно говоривъ:

— Тьфу! до чорта,—сказавъ высокий чоловікъ.—Одынъ сюды, другый туды! Лоточать, що ажъ голова трискае! Чоловикъ вже врешти не знае, що робыты!

— Та на те йе розумъ,—каже Иванъ,—абы чоловікъ знавъ, що робыты.

— Розумъ розумомъ, але въ такой крутни и розумъ не поможе. Говорять—свій, свій, а кажуть выбираты пана!

— Та бо вы не розумієте, о що тутъ иде! Тутъ не йде о те, чы винъ пань, чы мужыкъ, але о те, що Кивковецькый пань— полякъ, а зи Львова—русунъ.

— А що намъ зъ того за корысть?

— Яки вы дывни! Подумайте самы: якъ вы процесуетеся та й не можете самы на термынъ статы, то кому вы даете „пленипотенцію“? Тому, зъ кымъ процесуетеся, чы тому, хто васъ боронить? А зъ кымъ мы найбільше напроцесувалыся, якъ не зъ польськымы панами? Де подилыся наши лисы и пасовыська? Право мужыцке усюды пропадае, бо винъ темный, непросвиченый. Лышь одни попы та паны русыны ще за нами вступаються. Скажымъ же теперь,—говорывъ Иванъ дали,—скажы самъ, чоловіче: якъ бы ты мавъ за собою право, чы треба бь тоби свидкивъ пидкуплюваты?

Якымови кровъ ударыла до лыця. Маленькый, звытый четверо папирчыкъ засычавъ, а выразни кругли нумера засвистылы, якъ очи гадюкы...

\* \*  
\*

Роспочалыся выборы. Майже пры самыхъ дверяхъ рады повитовой стоявъ панычъ Ныкольцо и кожному выборцеви, що переходывъ коло нього, додававъ смилосты й видагы. Якыма хтось сыльно потрутывъ. Се бувъ той самый жандармъ, що говорывъ изъ секвестраторомъ.

— Арештую васъ въ им'я права!—сказавъ винъ до паныча, выпростувавшыся якъ свичка.

— Кого? мене? За що?—запытавъ змишанымъ голосомъ панычъ.

Його блиде лыце ще бильше поблидло, а очи блыснулы гнивомъ.—Вы? мене? За що?—крыкнувъ винъ зновъ зъ усеи сылы.—За те, що я говорю людямъ те, що вони самы повинни знаты? Чому не арештуете тыхъ, що ихъ на зле зводять, гришмы пидплачуютъ?!

А якъ його вже бралы, винъ видвернувся и ще разъ сказавъ:—Люде, трымайтеся!

Його голось звучавъ дывно, и пры ободрюючыхъ словахъ чуты було другый звукъ:—Усе, усе пропало!

Межы людьмы зробывся переполохъ. Якымови немовъ бы ножемъ потягнуло по тили. Винъ остовпивъ. Йому здавалося, що кожний дывывся на нього, показувавъ пальцемъ, що се винъ той збаламученый, пидплачений негідныкъ.

— А що, Якыме, за кымъ будете голосуваты?—запытався його ненадійно вйть из-за плечей.

Якымъ оглянувся, але не сказавъ ни слова.

— Ну, ходимъ! Уже часъ!—сказавъ вйть и пишовъ напередъ.

Якымъ пишовъ за нымъ, абы не стояты на мисци. Але въ души його выколювалася инша, певна, незминна думка: збутыся тяжкого ворога, що вертивъ мозокъ, прошыбавъ душу и палывъ груди.

Въ його голови все перемишувалося, у выскахъ стукало, въ ухахъ дзвонило, а гадка крутылася, перлася гей-бы запертый дымъ у комыни. Одно було ясне: збутыся якымъ небудь способомъ клятыхъ грошей, що палылы розжаренымъ вуглемъ, шпыгалы розжаренымъ зализомъ.

Пить выступывъ на його чоло, а сердце товклося каминемъ. Винъ дывывся на прысутныхъ, бачывъ коже лице, коже порушення, але чому то такъ все було, чому не такъ уси захоувалыся—винъ не знавъ; а в-тимъ йому се було байдуже: його займала одна думка и вся здригалася видразою.

— Якымъ Мачукъ!—заклыкавъ той самый голосъ изъ середины, що выкыкувавъ другихъ передъ нымъ.

Якымъ выйшовъ на середину и ставъ передъ столомъ, за котрымъ сыдила комисія.

— На кого даете голосъ?—сказавъ грубый, прысадковатый панокъ.

Якымъ мовчавъ.

— На кого голосуете?—спытавъ панокъ нетерпелыво.

Якымъ мовчавъ, сопивъ, трясса цылымъ тиломъ, ажъ руки у нього тремтылы. Винъ вытягнувъ гроши и поклавъ на стиль.

Паны пры комисіи вжахнулыся.

— Що се?—запытавъ панокъ, пидскочывшы.

Якымови гей-бы каминь спавъ изъ сердца.

Винъ промовывъ чыстымъ, гримкымъ голосомъ:

— Мени далы си гроши, але я ихъ не хочу, кладу тутъ передъ цилою комисією, а голосъ даю на руського посла!—и вымовывъ им'я й призыще пана зи Львова.

- Въ зали наставъ прыглушений, довгый шумъ...  
— Славно! Славно!—видизвалося килька голосивъ.  
Староста почервонивъ, якъ буракъ.  
— Въ зали агитуваты не вильно!—крыкнувъ винъ зи злостю,  
бо иначе скажу выпровадыты!

\* \*  
\*

Голосування тревало вже недовго. Порахували голосы— двадцять голосивъ руськихъ бильше.

Пры комисіи зачалыся гостри переговоры. Видкынено килька голосивъ, де им'я чы призыще було эле вымовлене, але все такы въ корысть Русынивъ выходыла надвыжка. Ніяки выкруты прыятеливъ Кивковецького пана не помагала,—все було въ найбильшимъ порядку.

Вси, що нетерпелыво ждали кинця выборивъ, змишалыся теперь зъ выборцямы. Гамирь и веселисть змагалыся. Кожный радъ бувъ знаты про найменьшу подробыцу, тожъ кожный осибно и вси разомъ голосно росповидали про недавно пережыти хвыли.

На телеграфи не могли соби даты рады, а весела вистъ летила свитамы.

Жыды, гей-бы скажени, зачалы крычаты: *Vivat!* а межы нымы могли выборци бачыты тыхъ, що ще недавно бигалы за Кивковецькымъ паномъ та й запрошала на студенець та ковбасы.

Якымъ чувъ, що його им'я переходыло зъ усть до усть.

— Де винъ? Якъ называється? Видкы?—допытувалыся зъ усихъ бокивъ, а де-яки вытягала папиръ и запысувалаы.

— Се мій парафіянынъ,—сказавъ гордо старенький пан-отець, пидпровадывшы до Якыма килькохъ своихъ товарышивъ и молодыхъ панивъ.

Пан-отци й паны стали Якымови виншуваты, а де-котри й цилувалыся. Одному ажъ слъозы крутылыся въ очахъ, колы винъ стыскавъ Якымову руку и говорывъ:

— Колы вже такыхъ маемо селянъ, то Русь не пропаде, але пропадутъ іи ворогы, бо наридъ прыходыты до пизнання, чымъ винъ йе и чымъ повиненъ буты!

Якымъ не мигъ опам'ятатыся. Його брало дыво, винъ споглядавъ на себе немовъ на яку загадку. Що се мало буты за

пизнання, про котре йому говорылы, винь не розумивъ; чувъ лыше, що въ нимъ видзывалося якась незвисне вищування, якыйсь незнаний доси голосъ...

— Чого вси ти люде такъ побываються, чого борються, плачуть? Чы въ тимъ не ховається щось бильше, якъ винь доси добачавъ? Чы не крыється бильша сыла, що всихъ тыхъ людей переймае одною душею, що и въ нимъ збудыла немовъ нове жыття? Але то ти вси почуття перемагала радисть, несказане глыбоке вдоволення.

Винь вернувъ до-дому якъ п'яный, хочъ горилкы й до рота не бравъ. Жинка вже не могла диждатися.—Що Якимъ зробыть изъ гришмы?—палыло и нетерплячкою видъ килькохъ днивъ. Та колы вчула, що винь гроши видавъ, розсердылася.

— Отъ и розумне зробывъ!—сказала гнивно.—Люде ради бъ, кобы видкы гроши роздобуты, а винь мавъ та кынувъ чортови въ зубы!

— Эй, жинко, дай спокій!—сказавъ Якимъ, стягнувшы бровы.— Ты того не знаешь и не розуміешъ, то и не мишайся! То не добри булы гроши...

Жинка втыхомырылася. Злыхъ грошей вона не хотила. Кажуть, що крадене вдесятеро видпаде, а злый грихъ, не дай Боже, мигъ бы звесты на ни на-що и циле газдивство.

\* \*  
\*

Колы Якимъ другои дныны рано збудывся, то перша думка була—питы до пан-отця и спытатысь за паныча Ныкольця. Але се було ще трохы за-рано; ледве що зорило, а темни сумракы ще не зовсимъ прояснылыся.

Винь выйшовъ на двирь. Витерь, що видъ недили усе зрывався зи сходомъ сонця ы перешкоджавъ сіяты, утыхъ, и можна було надіятыся, що колы вже не буде його зранку, то не буде и черезъ день, або хочъ до полудня.

Вчерашній день пишовъ для газдивства марно,—треба було те надолужыты. Винь заклыкавъ жинку й обое взялыся скоренько до роботы.

Вже сонце пидбигло вгору, колы Якимъ выйиздавъ фурую зъ обійстя. На вози лежавъ мишокъ зъ насиннямъ, а поверхъ драбыны була прыв'язана зализна борона. Дорога вела по-пидъ

попивство. Якимъ кывнувъ на хлопця, абы йихавъ у поле, а самъ вступывъ до пан-отця. Майже на самимъ порози здыбався зъ панычемъ. Винъ трывавъ въ одной руци газету, а въ другой капелюхъ.

— А добре, що вы тутъ,—сказавъ, побачывшы Якыма.— Я що йно хотивъ иты до васъ прочытаты, що пышуть газеты. Слушайте!

Якимъ слухавъ и своимъ ушамъ не вирывъ, яки то тамъ діялыся надужыття; та все те поборолы чесни выборци, що зъ малымы выемкамы стоялы, якъ одынъ мужъ. Де-яки булы названи по имени, а мижъ першымы стояло й им'я Якыма, яко непоборымого борця, що прылюдно завстыдавъ ворогивъ и кынувъ имъ въ лыце пидкупнымъ грошемъ.

Якимъ не знавъ, де очи диты, а свить ишовъ передъ нымъ кругомъ. Ледве прыгадавъ соби, чого прыйшовъ, и змигъ роспытатыся, що се и якъ діялося зъ панычемъ.

Рано, колы чыстывъ збижжя, бувъ уже зовсимъ спокойный, а теперъ зновъ розгорилася въ нимъ кровь. Заняты розбурханымы думкамы винъ и не стямывся, колы ставъ на поли.

Винъ, ще недавно никому незвисный чоловикъ окримъ своего села, сьогонди ставъ голосный на цилый свить! Про нього пышуть, говорятъ, хваляты його за чесный и добрый учынокъ!

Йому ажъ лячно робылося, колы винъ нагадавъ ти непевни та темни хвыли, колы то його думкы хылылыся на вси боки, колы не знавъ, що робыты, и бувъ бы може скорше зробывъ протывно...

\* \*  
\*

Та не лышь його им'я вырынуло зъ тыхого закутка, але въ його души выйшла така сама змина: винъ нибы прочувъ, проывдивъ. Винъ пизнавъ, що та земля, по котрий винъ ходыть, на котрий видъ дида-прадида стоить його хата, ти зелени нывы, горы, долины, та рилля, на котру винъ кыдае зерно, все те—одна велика руська земля! А винъ, ии правый властытель, коренный газда, винъ мае про неи дбаты, упомынатися о ии права!...

\* \*  
\*

Сонце, прыкрыте тоненькою хмаркою, кыдало свое тепле проминня. Могучи весняни сылы рослы, потужнили. Усюды кы-

пило жыттямъ и працею, усюды щось рухалося, бренило по зиллю, трави й водахъ. Земля распарылася. Зъ свижои рилли рсходывся якыйсь дывный запахъ,—запахъ добре звисный Якымови.

Якымъ здригнувся. Се бувъ запахъ мужыцькои кривавыци и поту. Сей запахъ перемагавъ уси инши розворушени думкы и давнимъ правомъ панування запытувавъ, чы той выбраный Якыма голосомъ панъ зи Львова обитре той кривавый пить зъ мужыцького чсла, чы зменьшыть податкы й дачкы, чы верне право до затраченои земли, заринкивъ, лисивъ и пасовыськъ?

Якымъ опустывъ голову й задумався...

Його уста дывно зложылися и винъ вымовывъ стыха:

— Не-зна-ты!...







## *Трохымъ Зинкивський.*

Зинкивський Трохымъ Оврамовычъ (псевдонимы: Певный и Звиздочотъ) народився 23 лыпця р. 1861 въ мисти Бердянському въ Тавріи, въ родини простого робитныка. Вчывся Зинкивський спершу въ церковно-приходській, а дали въ повитовій школи; якийсь часъ бувъ робитныкомъ у друкарни въ Харькови, потимъ видбувавъ військову службу „вольно-

опредѣляючимся“ и нарешти р. 1880 опынввся въ юнкерській школи въ Одеси. Выйшовшы на офицера, Зинкивський не занехаявъ науки: незабаромъ складае винь испытъ „на атгестать зрѣлости“ й р. 1887 вступае до військовой юридичной академіи въ Петербурзи. Разомъ зъ сією боротьбою за освіту невтомна натура Зинкивського выводить його на шляхъ литературной діяльности: почынаючы зъ р. 1885, колы въ „Зори“ надрукованый бувъ його перекладъ казки Щедрина „Заецъ, що себе жертвуе“, винь увесь часъ до самои смерти працюе на литературній ныви,—пыше поэзи, беллетрыстычни творы („Исторычна казка“, „Сыдиръ Макаровычъ Прытыка“, „На вулицы“, „Сонъ“, „Кудю йты?“, „Моншеръ-кэ заче“), драматычни картыны („Сумлиния“), крытычни й публицыстычни стати („Национальне пытання въ Росіи“, „Шевченко въ свитли европейской крытыкы“, „Молода Украина“, „Штунда“), то-що. Передъ Зинкивськымъ було шыроке поле діяльности; його талантови, переважно публицыстычному, всмихалася вже надія выйты зъ важкыхъ обставынъ особыстыхъ и заявыты себе шыршымы працямы, але, скинчыwszy р. 1890 науку въ академіи, Зинкивський занепавъ на здоровля и 8 червня р. 1891 померъ у Бердянському. Украинське пысьменство въ особи Зинкивського втратыло энергичного, талановытого й шыроко освиченого робитныка. Творы його выдано въ Петербурзи (Певный Трохымъ — Малюнкы справжнього жыття, р. 1889) та у Львови („Пысання Трохыма Зинкивського“, два томы; томъ першы (1893) мистытъ беллетрыстычни, а другый (1896) публицыстычни й крытычни творы).


Литература: 1) Огоновський—Исторія..., ч. III, 2) Чайченко В.—Т. Зинкивський (додатокъ до 1-го тому пысанъ Зинкивського).

## Кудю йты?

РИЗДВЯНА ПОВИСТКА.

*Iter hac habui.—Terrentius.*

*Tu ibi tuam viam.—Plautus.*

авно се діялось, колы ще на престоли Рыму сыдивъ пышный Кесарь Августъ, колы гордый Рымъ, увесь свить пидъ свою владу пидгорнувшы, упывшысь славою и кров'ю людською, не дбавъ, що и його дни Паркы поличылы, що и його слави й пануванню прыйде кинець колысь—не дбавъ про се Рымъ, думавъ вичне пануваты й пышаться, выпысавшы на своему прапори гордый девизъ: *Regere imperio populos, Romane, memento!*—утопавъ у роскошахъ и оргіяхъ и, не маючы вже куточка на свити, де бъ можна точыты кровь людську за славу и владу Рыму,—прольывавъ ии на арени Колизея на втиху дыкой черни... Колы й Богомъ улюблена Палестына, втратывшы свою долю й волю, зробывшысь гостынцемъ для преторивъ всевладного Рыму, покирлыво несла ярмо чуже, сподиваючысь лышень, що отъ незабаромъ прыйде ии Мессія гризный та можный, вызволыть ии з-пидъ новои египетської кормыгы поганивъ и... поставыть Ерусалымъ натомистъ Рыму,—въ си часы Господь, справди втомывшысь дывытыся на неправду людську, хотивъ показаты людямъ зразокъ до кращого жыття. Але не новый потоць думавъ винъ на ихъ наслаты — ни, винъ хотивъ послаты людямъ Сына Свого, лышень не такимъ царемъ, якимъ його сподивалыся сыны Израилеви, а царемъ правды й воли за для усякого жывого твориння...

Якъ передь потопомъ стародавнимъ люде переступылы миру всяку беззаконства та неправды, такъ и передь приходомъ Того, хто мавъ обмыты души людськи видъ броду гриховного. Рымъ, осередокъ земли, панъ и володаръ свиту, зибравъ въ одно мисце уси грихы, усю нечысть и погань на свити, одягъ його въ порфыру й багряницу и куревомъ обкурывъ запашнымъ, — такъ саме, якъ винъ зибравъ богивъ усього свиту, збудовавши за-для ихъ пышный, чудовый Пантеонъ—мовъ бы, щобъ насміяться зъ самыхъ богивъ, мовъ бы на те, щобъ вони були свидки усього того, чымъ мусыть гыдуваты усяке Божество... Справди, досыть подывытысь у Колизей, щобъ побачыты, шо си люде збулысь всього людського: на арену выходять гладіаторы-перебійцы:—Ave, Caesar, morituri te salutant!—У-гори, на хорахъ, мовъ диброва в-осены лыстямъ зашумила, заплескалы въ долони: буде пакъ на шо подывытысь! И бьются перебійцы смертельнымъ боемъ... на втиху... прольвають кровъ свою, щобъ Рымляне не забувалы, яка вона йе на колирь. Отъ одынъ пада и простягае руку вгору — просыть мылосердя,—жыття просыть подаруваты. Гнивлывый гоминь у-гори: якъ, мовлявъ, маючы щастя вмерты передь очыма Риму, винъ сього не уважа за щастя, винъ иншого бажае,—бажае жыты! И руки, тысячи рукъ раптомъ махають до-долу — знакъ, шо Рымъ не дае мылосты, и переможець, диждавшысь сього гасла, встромля въ товариша в-останне згубнее зализо... Рясни плескання въ долони й дыки выгуки повиталы послідній стогинь людны!... И жадна душа сыхъ запеклыхъ людей не почувала жалю, не здригнулась, не вжахнулась; никто бъ з-помижъ ихъ не мигъ думаты й сказаты, шо подія, котру вони бачуть,—тяжке, несвицьке злочынство, шо люде не повинны ризаты людей, бувшы самы люде, а не звири—никто сього не мигъ сказаты! уси дывылыся на сю страшну подію, якъ дывлятыся на саму звычайну забавку; усякъ зъ ихъ, маючы передь очыма кривави кружалъця, супокійно брався за шматокъ хлиба—винъ йому не пахъ кров'ю, а хочъ и пахъ—байдуже!

Одна лышень душа почула се, одна вона вжахнулась, одна схаменулась,—се була душа молодого германця-легіонера, шо служывъ кесареви пидъ рымськымъ именнаямъ Люціуса. Германецъ скрыкнувъ тежъ, але не крыкомъ дыкой втихы радисного Колизею, а крыкомъ кривавого болю. Въ гладіаторахъ, шо вбывалы одынъ одного на втиху кесареви й його рабамъ, винъ пизнавъ

сыннйв вильнои Германіи, бративъ своихъ кривныхъ... винъ выразно почувъ, якъ конаючы гладіаторъ, що валявся на писку арены, прошепотивъ въ останне: „Германіе, батькившыно, прощай!“ Винъ выразно побачывъ, якъ рука другого, забыйци, затремтила на сей шепитъ забытого, якъ забыйця видкынувъ меча геть видъ себе и стоявъ остовпилый, несамовытый, забувшы вклонытысь, якъ то лычыло, громади Колизейній, що крычала йому: „bravo!“ Винъ, запеклый гладіаторъ, почувъ, що забывъ брата свого; винъ може вперше почувъ, що и винъ сынъ Германіи; може вперше помыслывъ про те, на вищо винъ жыве и що винъ робыть... Все те побачывъ и почувъ молодой легіонеръ Люціусъ, выбигъ зъ Колизею, мовъ несамовытый, и геть пишовъ темнымы вулицымы Рыму, навманья, не знаючы куды,—подальшъ бы лышень одъ сього крыку й гомону нависного, подальшъ одъ сыхъ людойидивъ... Думкы одна по одній, якъ сполохане гайвороння, тиснылысь йому въ голови, просылыся геть, просылы одповиди, свитла, сплиталыся въ якусь безладню мишаныну и прымушувалы лышень його все йты та йты, чы краще бигты, мовлявъ бы, видъ себе самого.

— Чы жъ я не такой самый гладіаторъ, якъ и си безщасни,— думалось йому,—чы жъ и я доси живъ хйба не на те, щобъ, кылы то треба, вбываты бративъ моихъ?

Раптомъ прыгадалось йому, якъ винъ недавно вернувся зъ походу въ непокирну Германію зъ Брытаникомъ, якъ винъ бывся изъ своимы такы братамы за-для славы несытого Рыму, лышень не на арени Колизею, а на другій арени—на арени бойвыща. И тамъ винъ чувъ, якъ вмираючы германци згадувалы свою мылу Германію, але чому винъ тоди сього не розумивъ, чому теперь лышь въ тямкы йому сталъ, що и винъ,—чы воюючы за славу Рыму, чы то нивечучы батькивськы звычай та мову дидивъ своихъ на корысть панського Рыму, чы займаючы въ полонъ германцивъ для гладіаторськыхъ шкиль та рабства,—що винъ не що, якъ гладіаторъ, що риже брата, що ныщыть батькившыну на втиху и вдоволення деспотычныхъ примхъ рымськой и золотой и брудной черни. Лышень теперь зрозумивъ винъ, що дарма йому дывытысь зневажлывымъ окомъ на сыхъ нещасныхъ рабивъ-бойцивъ, бо винъ и самъ такой, та не знавъ лышь сього, якъ не знавъ сього й тей, що ось допиру вбывъ свого

брата... Довго винъ рись и набрався хысту та сылы въ школи гладіаторській, довго прывчався винъ, якъ треба колоты и встромыты зализо въ людське тило—и байдуже! И отъ тоди лышень, колы почувъ, заризавшы брата, давно забытый, але мылый гоминь: „Германіе“, тоди тилькы правыця йому затремтила; тилькы тоди ставъ безталанный думаты про свои учынкы... „А хиба жъ я не такой?—думавъ Люціусъ,— хиба и мене змалку не взято до школы, якъ и того гладіатора, тилькы не до тіеи, а до иншой, де наповалы мое сердце отруйнымъ зиллямъ рымськымъ, де прывчалы до звычайвъ рымськихъ, де казано мени забуваты и зневажаты батькивську мову и звычайи, де призвычайено мене рымляныномъ себе вважаты й соромытыся своеи крови германської, бажаты навить забуты про те!... Хиба жъ пакъ я не такой йесть самый гладіаторъ? И мене, якъ його, Рымъ готувавъ до арены, до арены—ныщыты, руйноваты несвидомо, навить не догадуючысь, Германію, що мене породыла, що мене выкохала... Хиба не я бывся зъ непокирными Германцямы, якъ зъ бунтивныкамы варварства шо не розуміють благъ рымської культуры та освиты и хочуть власной воли, бажаютъ зистатыся самымы собою?... Мени здавалося, що я, послугуючы Рымови, побачу благо Германіи, колы вона рабомъ такимъ, якъ отси гладіаторы, впаде пидъ п'яту Цезареву... Лыбонъ же я помылявся гирко!?...“

Такъ думавъ, такъ вагався сердцемъ германецъ Люціусъ, прытулывшыся гарячою головою до стовпа на форуми. Пусткою та сумомъ несло видъ сього славетного колысь мисця... А такъ ще недавно вильный народъ обиравъ тутъ вильными голосамы славныхъ консуливъ та трыбунивъ, ще недавно вильный народъ дававъ тутъ мудри законы для вселенной, ще недавно бачывъ форумъ сей скривавлену кырею велького Цезаря, ще недавно луною звидсы голосною неслася вильна, якъ колысь народъ рымський, бурхлыва, якъ море, завзята, якъ сердце Муція Сцеволы, мова останнього рымлянына, шо не вагався встромыты меча у груди своему другуви коханому, колы побачывъ, шо сей другъ куде кайданы воли рымського народу... Теперъ на сей форумъ зганяють лышь никчемни товпыща черни, шо за дынарій та дармове выдыще въ Колизеи продае голосы на шо хочъ своему панови Августу; мыне ище невелычкый часъ — и всевладный Августъ не матыме потребы граты бильшь и сеи комедіи зъ тинню республики.

Таки, слыве таки думкы мусилы промайнуты въ розворушеній души Люціусовій. Нызкою мыналы передь його очыма мынули лита. Невыразно, якъ у сны, прыгадалысь йому ти щаслыви годыны жыття, колы винъ рисъ малымъ хлоп'ямъ десь далеко, далеко звидсы, коло шумнодибровного Гарцу... Згадуе винъ, якъ сны, повыти у туманъ минувшыны, чудови казкы, що йому няня, пестуючы росказувала— про видмы на Гарцу, про богивъ злыхъ и добрыхъ: Одына, Тора, про Валькирій; чудови писни спивала про славу дидивъ, про волю—гордоши германця... Якый винъ бувъ цикавый тоди, якъ пыльно прыслуhavся до всього, якъ бажавъ усе знаты. Погляне на небо, засіяне зорыма— и заразь до ненькы: „А що то, мамо, на неби такъ блыма хороше та ясно?“— „То, сыну, зори, чы пакъ виконечка въ палати у Одына въ Валгали— черезъ ихъ дывлються души славныхъ германцивъ, що поляглы за волю батькившыны, буючысь зъ рымлянамы несытымы: воны дывлються, чы й ихни сыны йдутъ ихньою тропою, и якъ колы побачуть, що хто зрадыть Германію, порымщыться, або побижыть зъ бою, якъ бигають жинкы (тыльки не германськи—си уміють, якъ умерты), то якъ побачуть що такее, заразь же Одынови скажуть, и на-викы такому Валгала заперта... И горе зрадныкови!.. Колы побачышь, що зоря падае,—се зъ пересердя такъ грюкнувъ хто виконечкомъ небеснымъ, побачывшы погани вчынкы зрадецьки, що воно геть одирвалося и впало... Пыльнуу, сыночку, щобъ звидты бачылы твои лышь добри вчынкы“...

Побачыть дытя течійку, потичокъ срибловодый, що каминцямы бижыть, журлыво гомонючы, мовъ нарикаючы на кого...

— А се, мамуню, що? А звидкы се?

— Се потикъ — Журба Германської Матери,— зъ псвагомъ видказуе матуся.— Колысь жыла тамъ далеко маты, и сынъ у неи бувъ, та зрадывъ батькившыну— перевернувся на рымлянына и бывся изъ своимы... И колы безщасна маты дизналася про те, то не хотила бильшь дывытыся на сонце, не хотила соромного жыття и розлылась слизьмы, зробывшысь течією журлывою, струмочкомъ жалибнымъ, що ажъ до-вику плакатыме й нарикатыме на долю, що дала ій породыты зрадлывого сына... И дывно йестъ: вода въ сьому потичку солона, якъ ропа, ажъ гирка, якъ слезы!... Дывыся, сыну, щобъ и твоя ненька не розлылась гиркымъ потокомъ...“

И поцилуе його палко, и прыгорне любо та пестливо до матерыного лоня чыстого... И багацько,-багацько розказувала йому неня, але й вона всього не знала:—про се можна,—було скаже,—дизнатысь хиба въ школахъ у Рыми—тамъ все те знають,—колы не зможе вдовольныты цикавого хлопця.

— То ты мене, нене, виддасы до школы, щобъ и я всезнавъ?

Зитхне матуся гиренько та й скаже:—Охъ мій сыноньку, багацько, багацько вже такихъ, якъ ты, ходыло до шкиль рымськихъ, та чы багато зъ ныхъ вернулося до-дому, чы багато зъ ныхъ зосталося сынамы вирнымы Германіи, чы багато жъ то ихъ, щобъ не хотили проминяты сумни, але роскишни лисы, яры й долины батькившыны на пышно-золотый той Рымъ? Чы багато жъ ихъ не схотили проминяты волю германця на службу золотого раба Кесаревого? Чы багато тыхъ, що не схотили статысь слипымы челядныкамы рымлянамъ и, спомагаючи имъ звоюваты нашъ вильный край,—не плюндрувалы його, не ныщылы наши звычаи стародавни, не осміялы батькившыкои славы и давнихъ учынкывъ, не гордувалы ридною мовою и кров'ю?... Боюся, мій коханий, щобъ и ты не стався оттакымъ перевертнемъ гыдкымъ, якыхъ у насъ не мало; боюся, щобъ и ты не спаношывся, не пороманывся, не занехаявъ ридный край... То краще бъ мени тебе не родыты, краще бъ мени тебе маленькымъ поховаты...

И обиллеться бидная маты дрибнымы сльозамы.

— Ни, мамо, я не зраджу Германію, я не хочу йты до рымлянъ, я бытымусь изъ нымы...—палко скаже хлоп'я.

Потимъ винъ уже не прыгадае соби, якимъ побытомъ опынывся въ Риму: чы його узято до вйська, чы його просто виддано до школы вчытысь мудрощей рымськихъ,—тыльки пам'ятае себе вже въ рымській школи. Тутъ уже дизнався винъ про те, чого не могла йому з'ясуваты матуся; тутъ дизнався, що и все те, про що матуся оповидала—брыдня тыльки; що ни Одына, ни Тора, ни Валгалы нема, а йе лышь Юпитеръ та инши Олимпійци, що и зори зовсимъ не йе виконечка германського раю, а дрибненьки, романогрецьки боженята; найславнійши з-помижъ ихъ—Эось рожевоперста та Фебъ блыскуый. Тутъ винъ дизнався, що його родычи германци—невигласы свитови, дыки дибривни мешканци; що духъ ясный людський мусыть горнутыся до Риму, до його освиты й культуры, и щастя Германіи на тому залежыть, щобъ вона яко мога швыдче сталась слугынею Риму—винъ дасть

ій преторивъ, софистивъ и кайданы; винъ навчыть іи розумити и чытаты Горація Флякка и спиваты зъ нымъ у-купи хвалу Августу, якъ Богови, та тилькы й знаты, що упывшысь, тупаты: nunc est bibendum, nunc pede libero tellus pulsanda, замисць гризного крыку: „Умеремо за волю и Германію!“—бо рымлянамъ тоди тилькы й воли було, що тупаты вильною ногою въ диль... Все отсе рымляне могли дати германцямъ, одибравшы за те вильну й чысту душу—добра, хочъ проклята плата!... Усихъ мудрощей рымськихъ навчывсь Люціусъ, и самъ ставъ рымляныномъ. Якою темною, якою дыкою та простацькою показалаь йому ридна Германія! И чуття зневагы до бидной Германіи, до іи звычайвъ, до дыкои іи доли росло зъ нымъ у-купи. Якъ винъ бажавъ наблызты іи до сього сонця—Рыму, щобъ промине, сяйво видъ його освитыло хочъ трошкы сумни лисы Германіи. Въ души його на дни зберегалься несвидомо чысти порывання до выщои правды на земли. Роскишно-погане й розбещене повитря Рыму не торкнулось своимъ бруднымъ отруйнымъ подыхомъ до іи.—и колы бъ винъ вырись у пуцахъ Германіи—винъ бывся бъ за волю іи й долю; винъ бы не знавъ ни Гомера, ни Гезіода, ниже розумився бъ на рабськихъ виршахъ Гораціевыхъ, за те бъ зневажавъ розбещеныхъ, пещеныхъ роскишныкивъ Рыму й ненавидивъ його золоти кайданы, въ котри винъ куде народы; воля Германіи була бъ йому выщюю правдою на земли,—безперечною правдою и бездоганною. Але, кохаючысь у чудовыхъ гексаметрахъ безсмертныхъ грекивъ, розуміючы красу Пиндара, бачучы культуру Рыму ступинемъ выщого жыття, пизнавшысь на софистычныхъ мудроцахъ, на діялектыци, розуміючы загальну высокисть духового й культурного жыття—винъ уже мусивъ дывытыся на свить божый очыма рымлянына: винъ бачывъ у воли Германіи дыке варварство, въ борни іи за ню—війну зъ культурою. И хочъ духъ його не мигъ удовольнытыся роскошамы культурного жыття, хочъ духъ його шукавъ, жадавъ святой правды на земли, але жъ хто йому про неи мигъ сказаты? Хто мигъ сказаты, де вона, яка вона, що робыты, якъ треба жыты на земли? Все той же Рымъ, роскишный, мудрый и паскудный, а не зневажена, простацька Германія його. И отъ тыняється винъ по стогныщахъ Рыму велелюдного—напевне скажутъ мудри, наймудрійши въ Рыми, славетни стойкы. Пытається винъ стойкивъ, розпытується. Мудри воны речи кажутъ, але байдужисть ихня до всього на свити не любя йсть йому:



въ отсій байдужости до свита, до його справъ, убачається йому бажання, зберигшы мудро спокій та ривновагу души въ симъ неспокійнимъ и неривновагимъ жытти, ще мудрійше вмерты. Але сумырытысь такъ могла лышень душа зневирлывои, втомленои жыттямъ романської громады. Душа германця, що не мирявъ ни сыль своихъ, ни рукъ не потомывъ, ни сердца не захолодывъ ще—байдужисть ся мудра здавалася немудрою. Йому хотилося життя, вчынкивъ, хотилося праці; байдужо-ривновагий стоикъ не мигъ йому вказаты певной пути; винъ мигъ путь показаты до власнаго супокійного, щаслывого жыття, але германцєви хотилося жыты для людей, внести и свою долю въ скарбъ добрыхъ учынкивъ на земли... Спытатысь у рымського народу, чого йому треба для його щастя. „Чого треба для твого щастя, Рыме?“—пытається винъ.

— Для мого щастя й славы,—каже Рымъ,—треба ось чого: колы въ убогой вдовы, твоеи матери, йе остання тельця, намъ треба взять ии на кесаря порфыру и щобъ йому було на шо уряджаты рымській голоти грыща въ Колизею, щобъ йому було за шо дармовымъ хлибомъ нагодуваты чернь рымську, бо вона дала йому за се здоптаты останкы вильной республики; колы у тебе йе братъ, остання утиха твоеи ненькы у старощахъ ии—намъ треба його взяты чы въ гладяторы, чы то до легіонивъ, щобъ було кымъ звоюваты ще тыхъ германцивъ та парфянъ и иныхъ варваривъ, що не бажають лызаты нигъ рымському володарєви.

— А правда жъ ваша де?

— А ось де наша правда—кесарь. Винъ носытель правды на земли, винъ знаменує Бога, йому мы ставимо божныци й вивтари...

— Невже се такъ, неевже се правда, найвыща правда?...—думавъ винъ. И въ мукахъ, у невири та въ розради, въ вийни зъ самымъ собою йшовъ винъ въ Сирю, за Рєнь воюваты германцивъ та иныхъ варваривъ. Теперь, збираючысь ще въ Палєстynu держаты неспокійныхъ гебраивъ пидъ владою й ступою Рыму, винъ завитавъ у циркъ, у безславный Колизей, де й першъ бувавъ, де й перше бачывъ те, шо и теперь. Тилькы ранійшъ йому се не здавалось дыкымъ та нелюдськымъ—душа його и очи звыклы бачыты пролыту кровъ и не важыты жыття людське, ни хто бо його не важывъ, ни хто не бачывъ у Колизею ни чого, окримъ театру, опричь выдовыща—ни чого. Теперь же та подія, якъ два

германци былыся на втиху черни и вмиравъ одынь, вмиравъ зи словомъ любымъ: „Германія“—теперь вона, ся нелюдська подія, вразыла и розворушыла його душу, насунула и проясныла йому гадкы про давню давныну, прокынулася його германська кровь, прыгадалася йому матуся... и речи любви...

Зъ важкымы думама изъ смуткомъ въ серци, зъ лютою нудьгою йихавъ винъ другого дня до Палестыны. Йому лежавъ шляхъ до Ерусалыму, до претора Пылата черезъ невеличке мисто Вифлеемъ юдейський. Наблыжаючысь до Вифлеему, винъ побачывъ блыскучу вельку звизду надъ однимъ будынкомъ убогымъ. Нихто не мигъ йому, колы винъ зачудованый почавъ розпытуваться, нихто не мигъ сказаты, щд се таке мусыть значыты. Винъ спынывся у Вифлееми, щдбъ переночуваты.

Прокынувшыся вранци, чуе янгольни спивы: „Слава во вышнихъ Богу!“ бачыть округы себе дывный, небесный свить, чуе якусь радистъ, полегкисть души; озыраеться и бачыть чудову людыну въ лелійно-бильхъ шатахъ, невымовно хорошой вроды, зъ лагиднымъ, чудовымъ поглядомъ. Такои вроды земля ще не носыла.

— Хто йесы, чоловиче добрый?

— Я янголь, посланецъ Божый. Знай, що мисце се святе, тутъ недалечко, на подвир'ю онъ того будыночку, що надъ нымъ сяе звизда, родывся самъ Хрыстось.

— Хто жъ се такой Хрыстось?

— Се сынъ Божый, самъ Богъ, истынный, йедынный, що прышовъ спасти людей—такъ се прызначено одъ вику.

— Колы се Богъ, то йому бажаю поклонытысь.

— Иды за мною,—сказавъ янголь и воны пишлы.

Перейшовшы прозь зайиздныи двиръ, Люциусъ уступывъ у якыйсь захыстокъ, наче бъ печерю, де й побачывъ на сини въ яслахъ Божественне Дытя; округы сыдило двое вбогыхъ людей: Марія, Маты Божа, та святыи Йосыпъ; надъ ясламы ремыкгавъ товаръ, подыхаючы теплою парою на Дытыну, наче щдбъ Ии захыстыты видъ погожого пораннього повитря. Здавалося, въ очыцяхъ Рожденного видбывався розумъ вышый видъ людського; здавалося, сей рсзумъ жывъ и свитывся вже одъ вику, все знае й знавъ и знатыме, що йому нема початку, ни кинця, и здавалося, въ очыцяхъ сыхъ небесныхъ вся сыла й влада свиту, земли и неба, того, що вже було и буде. Округъ головки Ды-

тять Передвичного сяйво чуде изъ этеру розливало свить на всю печеру.

Люціусъ, поглянувшы на сю Дытыну, почувъ у серци якесь нове, невидомее чуття, якусь надземну радисть, млисть якусь и спустывся на-вколишкы й прыпавъ до-долу. Сяйво надъ голивкою Передвичного слипыло йому очи.

— Я не могу бильше дывытыся на се Дытя,—каже винъ своему повожатому,—выведы мене звидсы.

Колы воны выйшлы, Люціусъ каже:

— Я бачу, що се дійсне Богъ, але мене одно дывуе: чому се Винъ у такой убожи прыйшовъ на землю?

— Я тобі ще не те скажу,—видказуе йому святой повожатый.—Винъ и ввре ще скатований, розипнутый на хрести, самую зневажливою, ганебною смертю, зъ розбійныкамы у-купи...

— На вищо жъ се, для чого се? Хто жъ його за Бога тоди вважатыме?

— На те, щобъ спасти людей. Инакше жъ се зробыты не можна. Я се тобі заразы з'ясую. Щобъ люде зрозумили, якъ имъ жыты, воны мусять маты зразокъ такого жыття, котре воны могли бъ побачыты и по-викъ згадуваты, щобъ образъ сього жыття стоявъ имъ передъ очыма живою наукою, живымъ прыкладомъ. Колы бъ Господь прыйшовъ на землю у корони и порфыри, у золоти и въ едаби, колы бъ явывся Винъ у царськихъ палатахъ чы вельможныхъ,—то люде такъ бы и гадалы, то такъ бы й розумили, що багрянця лышень и корона, що золото лышень и самоцвиты гидни йесть близько буты до Бога; колы бъ родывся Винъ у палати—то бъ думалы, що якъ и Господь мынае вбогу хату, то значыть ий и прызначено буты въ зневази людськый; колы бъ з'явывся Винъ царемъ могутнымъ и всевладнымъ, то бъ ниhto не думавъ, що въ тили вбогого тесли, якимъ буде се Дытя-Богъ, може вмищатыся духъ Божественный, може видъ теперъ блыщаты частка Божественного розуму; колы бъ Винъ прыйшовъ зъ мечемъ кары й влады,—люде бъ думалы, що Божественного ладу ознака—се мечъ сылы й кары. Ни, навпаки,—Господь умысне все зробывъ не такъ: Винъ не хотивъ навить въ найбиднійшій хати родытыся, Винъ родывся у печери и не на лижку едабному, а въ яслахъ на сини; не цари й не вельможи бачылы появу його на свить, а перше за всихъ—волы и ослы. Винъ показавъ сымъ, що колы товаръ годенъ бувъ побачыты

появу Бога на земли, то годенъ винъ хочъ лагоды и ласкы видъ чоловика. Не цари зи сходу перши прынеслы йому дары и поклоньлыся, а найубожійши з-помижъ людей—чабаны,—сымъ Винъ показавъ, що прости, зневажени одъ сыльныхъ и мудрыхъ, си прости—найбільше щыри Його слова слухаты и хвалу Йому виддаты. Въ снасть тлинну людську, въ тило одягъ Винъ Боже-ственный свій Духъ; шляхъ убогого й злыденного жыття зо всима його прыгодамы, злыднямы й стражданнямы Винъ соби прызначывъ; надилывъ свою снасть всими потребами людського тила—чутливу до холоду и голоду; утому чуты и жадаты видпочынку, якъ и людське тило прыдатне чуты боли й муки. И саму душу Винъ свою вподобывъ до людської, що пидлягатыме гниву, и спокусамъ, и ваганнямъ. Якъ справжня людына прожыве Винъ жыття свое святее, поклавшы кожду його мыть на послугу людямъ, усимъ оттымъ убогимъ, безталаннымъ, що у зневази у всихъ славныхъ и вельможныхъ; усимъ, що нужду матымуть у пидмози, ласци й утиси... и врешти—умре за сыхъ людей, на хрести розипнений... Для чого жъ се?—спытаешъ, на вищо сього треба? А на вельку науку людямъ и прыкладъ: щобъ послужыты людямъ—ихъ треба полюбыты такъ, якъ полюбывъ ихъ Богъ,—ажъ до смерты Своеи; а щобъ ихъ полюбыты такъ, то се зразокъ дае Хрыстось: треба йедыного—буты зъ нымы, все те видчуваты, що й ти, котрымъ маешъ служыты; треба жыты ихнимъ жыттямъ, ихними потребами, ихними радошамы и смуткомъ ихнимъ, треба свою душу зилляты зъ ихньою душею и пиднисшысь духомъ въ высокости, зоставатыся ихнимъ братомъ... И колы ты хочешъ Хрыста соби за Бога маты—йды Його слидомъ, Його ступою—на скилькы людський духъ може бути до сього здатный,—иды до тыхъ, до котрыхъ душа твоя найблыжче, иды до тыхъ, де ты родывся, чїи и радости, и горе мусять бути тоби найблыжчи; тилькы тамъ душа твоя найповнїйше видчуе те, що и воны чують, тилькы тамъ ии обїйме найпалкїйше полум'я любви до людей и бажання найревнїйше и жыты, и вмерты за для ихъ, твоихъ коханныхъ и серцю блызъкыхъ... Для того и Господь, щобъ взята Имъ на себе снасть людська понялась найбільшымъ паломъ любви до людей, мусивъ родытысь видъ людей и жыты такъ мижъ тымъ людомъ, де родывся. Не до фарысеивъ, не до можныхъ пиде Винъ—ни, Винъ визьме въ свою оборону людъ темный и убогий, людъ безпрытульный и покрыв-

дженный. Огонь жерущий свого слова гнильвого Винъ вылле на тыхъ фарысеивъ и можныхъ, катюгъ лкъдскихъ; имъ кару прорече небесну: „Горе вамъ, книжныкы и фарысеи!“

И зныкъ божественный вистовець. Люціусъ бувъ якъ у-ви снѣ—все зрозумивъ винъ теперь, все йому стало ясно, стало выдко йому шляхъ правды й воли на земли...

— Поклоняюсь Тоби, Боже вбогихъ и малыхъ, и беру твого жыття будучого прообразъ моимъ малымъ и никчемнымъ сыламъ на прыкладъ и науку! Зрываю зъ себе шаты золотого раба римського владыкы! Выдераю, выкореняю изъ моеи души уси прыкметы рабської души римської, що защепыло ихъ мени жыття изъ нымы спильне, що ихъ надыхавсь я въ повитри римскимъ отруйнимъ. Омью, омью въ Рени риднимъ я римського пиднижка плямы; зъ повитрямъ вильнымъ ридной безшасной вдовыци-ненькы, Германіи моеи, вдыхну я знову, верну я знову любовь и палъ до щастя ии й воли; поновлени згадки про лита дытячи шасни вернуть мени и чысту душу, и видвагу за правду ии статы, поновлять въ мени бажанна для неи жыты, для пытомои краины, що топчуть теперь ии легионы римскыи й псують, мордюють нещаслыву. Сонце твое побачывшы, дибровы твои, горы и долины, сердце въ соби германское почувшы—те сердце, що былося такъ дытямъ ще за-для неи лышь, ненькы моеи, для щастя й воли ридного краю, зирвавшы, скинувшы изъ себе Рымлянына,—я стану тымъ, кымъ мушу буты, й почую въ соби сылу и бажанна йты тымъ шляхомъ правды, що вказуе мени Господь новоявлени... Германіе моя убога, зневажена и темна! Тоби видъ сѣи годыны усе мсе жыття, уся любовь моя, весь палъ души моеи,—зъ тобою, зъ твоими сынамы я рсдилю твою сумну долю й полонъ, и муки, и зневагу, що завдае тоби блыскучый, въ золоти й крови втопаючы, проклятый, на гибель люту слизьмы и стогономъ народивъ обреченный Рымъ... И смерты самои, дай Боже, Хрысте Святыи, мени щобъ не злякатысь прынять изъ рукъ кативъ твоихъ, моя святая, ридна земле, за тебе, за волю твою й долю и за твою правду...

Такъ помолывся щыро билия Вифлеему въ святыи день народження Божого першый хрыстіянынъ Германіи.

1889 р.

— \* —



## **Мыхайло Грушевський.**

Грушевський Мыхайло Сергєвичъ на свить народився у вересни р. 1866; молоди лита свои проживъ на Кавкази, де р. 1884 скинчывъ гимназію въ Тифлиси; выщу освіту здобувъ на исторычно филологичному факультети кыивського университету, — скинчывъ р. 1890. Р. 1894 у львिवському университети засновано украинську кафедру всевітньої исторіи и професоромъ покликано Грушевського. Перевравшысь до Львова, Грушевський стає на чолі науковои роботи въ Галиччини; членъ Наукового Товариства имени Шевченка видъ самои реорганізації Товариства въ наукову інституцію (зъ р. 1892), винъ р. 1895 прыймає на себе редакторство

„Запысокъ Наукового Товариства имени Шевченка“, а р. 1897 ставъ заправляты всими дилами Товариства, якъ Голова його. И якъ редакторъ „Запысокъ“ и якъ Голова Товариства, Грушевський виявывъ надзвычайну енергію и працьовитість; його трудами Товариство стало в-ривень зъ европейськими науковими інституціями, згуртувавши кругомъ себе цілу школу українськихъ ученыхъ и выдаючи що-року багато цинныхъ науковыхъ праць, переважно зъ исторіи, литературы, этнографіи, археологіи, то-що. На ныву псыменства Грушевський выступывъ р. 1885, спершу беллетрыстычными творами, друкуючы ихъ въ „Дили“, „Зори“, останними часами въ „Литературно-Науковому Вистныку“ та иншихъ выданняхъ українськихъ (псевдонимъ — М. Заволока). Зъ науковыхъ праць Грушевського бильше замитни: „Очеркъ исторіи Кіевской земли (Кыивъ, 1891), „Варское старовство“ (Кыивъ. 1894). „Выимки зъ жерель до исторіи Украины-Руси“ (у Львови, 1895), „Исторія Украины-Руси“ (доси вышло тры томы у Львови, 1898—1900). Опричъ того въ „Запыскахъ Наукового Товариства имени Шевченка“ Грушевський мистыть багато розвидокъ, матеріяливъ, замитокъ та рецензій исторычного переважно змисту, а въ „Л. Н. Вистныку“, окримъ беллетрыстычныхъ творивъ, друкує стати литературного и громадсько-культурного змисту.



## Бех-аль-Джугуръ.



Англійське військо прійшло до Бех-аль-Джугура у вивторокъ 26 лютого, въ обидъ. Се були резервы; вони може зъ мисяць тилькы якъ рушылы зъ берегивъ Альбіону, а тыждень якъ пишлы въ похидъ. Вперше були вони на війни; Бех-аль-Джугурци були перши ворогы, котрыхъ вони надыбалы. Капитанъ Годисъ, що бувъ за ватажка у сьому маленькому війську, де разомъ зъ погонычами, зъ крамарямы, зъ кухарямы не було й двисти чоловика, пославъ сурмача зъ билымъ парламентарськымъ прапоромъ сказаты Джугурцямы, абы пиддалысь доброю волею.

Але Джугурци не схотили. Вони навить не пустылы у свое село товстого, червонопыкого сурмача, рудого дядька, на-пивъ Жыда, на-пивъ Араба. Вже задалегидь дійшлы до ныхъ звисткы, що кляти бузувиры—Инглизы—прійшлы руйнуваты осели правовирныхъ. Крамари, що йихалы иноди черезъ село, рѳсповидалы всяки страхы про ныхъ—про попалени села, зруйновани мечети, про побытыхъ, поризаныхъ людей, але ще бильше розказувалы про велького пророка Аллаха—Магди, про його сылу, видвагу, розумъ, богобоязльвисть. Розказувалы, що byly всяки велькы чуда и знамена у Мецци, коло могылы Магомета; що премудри люде знайшлы въ Корани проречення, очевыдячкы про Магди—що винъ зруйнуе царство невірныхъ и заснуе вельке довичне царство пидданцивъ велького Пророка. Вечерамы на порогахъ ажъ за пивничъ сыдили купкамы диды й чоловикы, вернувшыся зъ поля—бо тутъ усе byly хлиборобы—й довго балакалы: виддыхаючы въ холодку, миркувалы про Инглизивъ та велького Пророка, оповидалы всяки чудасіи. Вони не боялыся, що Инглизы йдутъ

на нихъ,—звистки про святого Магди втишали ихъ, пидкреплялы, духъ въ нихъ розпалювалы: вони ради булы усе знесты, усе потерпиты видь Инглизивъ для свого пророка, для свого царства. Чудно було бѣ почуты сыхъ тыхыхъ селянь-хлиборобивъ, що увесь свій викъ, здається, ничего не бажалы, окримъ—щобъ хлибъ добре уродувъ, що никого не ненавидилы, окримъ якихъ небудь польовыхъ шкидныкивъ, а теперь миркувалы про довичне правовирне царство, збиралыся вмираты для якогось Магди, видь якихсь Инглизивъ. Думка про те, щобъ пиддатысь ворогамъ, и на хвылыну не залазыла имъ у голову... Не въ одного дядька заные сердце, якъ гляне винъ на дитей, що гоняють куры по дорози, на ридни низеньки хаткы й повиткы; якъ подумае, що все отсе загыне за-для того пророка,—але дядько перемагае себе й мовчкы слухае, що миркуе сильська рада.

Зъ вечера у вивторскъ, якъ заходило сонце, зибралыся селяне у свою бидну, невелычку мечетку и слухалы тыхъ мольтовъ, що лопотивъ старый, беззубый мулла запаленый рыбалка. И винъ, и вони мало що розумилы въ тыхъ мольтвахъ, але слухалы пыльно, богобоязливо, сподиваючысь завтра погынuty за свого пророка и побачыты уси ти райськii чуда и втихы, про яки имъ розказувано стилькы. Свитло лихтарни блыщало, освичуючы обсмалени лыця хлиборобивъ, зняты до горы зашкарупили руки... Очи свитылысь вирую, страхъ сховався кудысь на самый нызь души. У той часъ усе село вмерло бѣ и не поворухнулось.

Усю ничъ въ сели не лягалы спаты. Щобъ не дисталась ворогамъ худоба, постановылы выгнаты ии у степъ ричкою, бо зъ инныхъ бокивъ скризъ стоялы ворогы. Волы, кони, коровы помалу, зъ нехиттю выходылы, дывуючысь, щд се ихъ такъ рано выганяють. И напытысь не давъ имъ Арабъ, що выганявъ ихъ, а погнавъ ричкою за село, де берегы розлягалысь и можна було выты на степъ. Але худоба не йшла; довго гукавъ на неи Арабъ, довго, не слухаючы його, стояла вона,—нарешти побигла на берегъ. Арабови здалося, що його виль зупынывся надъ ричкою и в-остатне глянувъ на свого хазяина; очи въ нього дывылысь такъ разумно, немовъ то людына була. Арабъ подывывся у слидъ худоби и мовчкы втеръ слъозу на свому зморщеному, сонцемъ печеному лыци. Шкода йому стало хазяйства, паши, де що-року вывертавъ винъ гострымъ раломъ вохкый, чорный, пахучый грунтъ... Винъ поспишаючы вернувъ на село.



Тамъ уси готовылыся до бою. Рушныць на усе село було тилькы дви, зъ креминцямы, зъ пидставкамы и зъ перехрестямы, щобъ ихъ ставыты; два дядькы, що ходылы колысь гайдамачыты въ степь, взяли ти рушныци, а решта—хтѣ що попавъ: той шаблюку, той дрючка, а той—лукъ изъ стриламы.

Та не гиршь сього клопоталысь и Англійци. Се, якъ сказано, мала буты перша бытва для ныхъ, и вси прыбыралысь до неи. Капытанъ Годисъ выдавъ диспозицію дуже стратегичну, немовъ збиралысь браты Парыжъ, або Берлинъ. Розставылы кругомъ вартовыхъ, чыстылы зброю, згадувалы ридныхъ и мылыхъ, не спавъ никто. Капытанъ зъ поручыкамы сьидивъ за пивничъ; оповидання про вйну, про бытвы зъ Индійцямы, Зулусамы, Бурамы йшлы безъ кинця и пидъ ихъ впливомъ оповидачамъ здавалося що вони вже стари воякы—що то вони былысь и зъ Индійцямы, и зъ Сыпаямы, и зъ усякымы страхамы. Поручыкы вже бачылы себе генераламы.

Другого дня ще не свитало, а все давно прыбралось. Джугуръ стоявъ надъ невеличкою ричкою, середъ безкрайого степу. Зелени купы деревъ, жовти поля, ланы, гаи выразно ясувалыся середъ рудого степу, на котрому тилькы де-не-де рослы маленьки кушыкы бур'яну, сухи, сири, густо запорошени. Глыняни берегы ричкы йшлы згорысто, оброслы лататтямъ, густою травою; кущи нахылылы свое гилля, купаучы въ прозорчастыхъ хвляхъ ластя, тутъ дрибне, тамъ шыроке, лапасте. Берегомъ межы зеленымы садкамы, пидъ шырокимъ лыстямъ пальмъ та бананивъ, немовъ пидъ зеленымы наметамы, выглядалы солончани покрывли маленькихъ хатокъ; межы хаткамы городы, а дали—шыроки ланы и паши, то ясно-зелени, то темни, то жовто-золоти. На сели, було, ридко кого побачышь въ день—тамъ пусто й тихо; за те на ричци,—тамъ цилисинький день полощуться було диты, стоить череда, кони, волы, верблюды ховаються видъ афрыканської спеку; у сухому, гарячому, тыхому повитри гулко росходылыся ревиння худобы, дытячий крыкъ, булькання и гоминъ хвиль та щebetання пташокъ, що жывуть та выводяться безъ лику въ густыхъ, похылыхъ гилляхъ.

Але въ той день, 27 лютого, було якось незвычайно; не чуты було дытячого гомону, череда не ревила, йдучы зъ кошаръ и хлививъ, и довго писня хлибороба не розлягалась, не лунала по шырокихъ ланыхъ, тилькы булькала ричка та щebetалы пташкы, якъ звычайно.

Англійське військо стало трома руки. Поручыкъ Слоу зъ дозволу капытана Годиса сказавъ промову до війська. Промова була дуже похожа на славу мову Наполеона въ Египти, тильки замість пирамидъ на воякивъ дывылися теперъ солом'яни покривли хлививъ та хать. Військо гаркнуло въ видповідь на закичення, сурмачъ загравъ и пишы,—по середьни капытанъ Годисъ, на ливоручъ, надъ ричкою поручыкъ Слоу, на праворучъ, пидъ гамъ поручыкъ Суфли.

На сели було тыхо, немовъ повмирало вси. Тильки якъ набызылысь воякы до огорожи, звидтила загувъ дужый крыкъ, полетили каминня, стрилы и, наче батогомъ швыгнуло. стрильнули обидви рушныци. Два воякы упали. Пидкриплени своїмы смилывымы ватажками воякы загукали й соби и побиглы лавою на село. Пишла бійка. Рушныци голосно лунали по степу; дымъ билымы клубочками схоплювався и розходывся мижъ деревами; перелякани незвычайнымъ гукомъ собаки вылы по усьому селу; стебла роскишнои паши хылылысь, ломалысь пидъ важкымы чобитьмы воякивъ; роса блыщала на тыхъ стеблахъ и здавалося, що вони плачуть—не за собою, а за людьмы, що вони, мовъ напоени якою проклятою отрутою, нивечать чужу працю. Чоловикы и стари диды, жинкы и диты—усе зибралося пидъ огорожею села. У кого була яка небудь зброя, бввся; у кого не було—сыдивъ, чекаючы певной смерты. Де-яки крычали, гукалы, шобъ пидкрепыты одынъ другого; инши мовчало, мовъ занимилы, нерухомо дывылысь на батькивъ, на бративъ, на дитей. Одна бабуся, задыхаючысь, гирко рыдала й голосыла зъ жалю за одынокымъ сыномъ—такымъ высокымъ, гарнымъ, хысткымъ, що натягавъ лука своїмы дужымы руками, де пидъ тонкою шкурою перельвалысь груби, мицни жылы. Сей сынъ прымусывъ їи забуты и пророка, и довичне царство, и клятыхъ во-рогивъ—вона голосыла, и никто не розважавъ їи: коженъ думавъ про свою смерть.

Воякы, гукаючы й стріляючы, кинулысь розбиваты огорожу. Найсмилывійшымъ здався поручыкъ Слоу. Винъ тильки-тильки передъ походомъ купивъ соби патентъ на поручыка за спильни гроши батькивъ, дядькивъ, титокъ—усе людей незаможныхъ, и теперъ въ голови його стоялы вси великы воякы видъ Ахылла до Вельнгтона; йому здавалося, що теперъ пидъ сымъ биднымъ селомъ винъ добуде всесвітньої славы. Скынувшы шапку, роз-

патлавышы волосся, винъ махавъ своею шабелькою и галасувавъ такъ, що перелякавъ бы и своихъ воякивъ, и Арабивъ, якъ бы й ти не крычалы. Швыдко воякы розбылы огорожу и влизлы въ село. Одынъ за другимъ падалы люде, польваючы кров'ю суху землю, кроплячы нею били стины хатокъ. Воякы розлютовалысь и не давалы спуску никому; та й селяне самы сього не бажалы. Вира въ пророка, запаль, злисть на бузувиривъ—Инглизивъ въ ту хвылыну забылы имъ паморокы; имъ не було шкода ни жыття, ни ридныхъ пальмъ, ни тыхыхъ хвыль говирлывои ричкы.

Збывшыся до-купкы, довго былыся воны шаблямы, дрючкамы, каминнямъ. Найбільше воякивъ побыто було надъ ричкою, коло якоись повиткы. Сывый, але ще дужый, сухой дидъ, ухопывшы обома рукамы якусь товсту, вельку шаблюку, махавъ нею не зупыняючысь, немовъ машина; очи йому пидъ лобъ зайшлы, що й зиныць не було выдко; за кожнымъ разомъ винъ хыжо, наче звирюка, гарчавъ. Коло його було трое молодшыхъ; двое ще видбывалыся якымысь штабамы, третій впадъ на-вколишкы и, держачыся за прострилени груди, разомъ зъ кров'ю выдыхувавъ душу; очи його, вже невыдющи, звернени булы на другый край села—мовъ бы дывывся винъ на свою хату, на солон'яну повитку, надъ котрою вылыся щебечучы ластивкы. Та й добре, що винъ вже не бачывъ, яке тамъ діялося теперь. Молодыця його, гарна и дужа, напала на якогось вояка, была перше зализякою, а потимъ ухопыла його зубамы за руку та такъ и скаменила. Бидный воякъ, недавно тилькы шевцемъ бувшы, бивъ ии зъ ливои руки похвою, держачы ии такъ, немовъ хотивъ пидошву краяты. Облыта кров'ю, побыта, покаличена жинка все не видставала, повалыла вояка и качалася зъ нымъ по куряви. Воякъ страшенно крычавъ, перелякани диты галасувалы ще гирше; колы се надбиглы воякы й добывшы жинку, на сылу вызволылы товариша.

Тилькы надъ вечиръ скинчылася бійка. Бильшъ, якъ половыну селянъ побыто, постриляно, порубано; хто зистався жывымъ—утикъ, заховався; коло побытыхъ ниhto не порався; воны лежалы, якъ впалы, пидплывлы кров'ю, занесло ихъ курявою, що пиднявъ сухой, горячий витерь.

У-вечери Английци впоралысь. Порубаныхъ товаришивъ зибралы й положиылы у мечети. Старшына, кореспондентъ та капелянъ зибралысь у бильшеньку хатку сильського старшыны, що стояла на краю села, надъ ричкою. Воны розхазяинувалыся, мовъ

у себе дома: постелылы кылымокъ по доливци, поставылы зализни розбирни лижка, на столи наклалы найидкивъ и консервъ, пляшокъ зъ выномъ и пывомъ. Капытанъ Годисъ сыдивъ по середины; його червоне, налыте выномъ лыце, тилькы шо вымыте, видризнялось видъ билого комира, очи прыглядалысь до прозирчастыхъ пляшокъ, шо здавалысь золотымы видъ свичокъ. Поручыкъ Слоу, той самый, шо такъ сыльно воювавъ, у дуже втомлений пози сперся на спынку стильчыка, далеко простягнувъ довги, сухи ноги и видпочывавъ видъ своихъ героичныхъ учынкывъ.

— Ухъ, якъ я втомывся!—сказавъ винъ, влучаючы выделкомъ въ якусь рыбку,—я ледве на ногахъ стоявъ, якъ увійшовъ попереду своихъ воякывъ у село; руки такъ намахалысь, шо ледве розвивъ...

— Э, вы, Слоу, сьогодни шыбалыся бильше всихъ; вы, здається, своєю рукою не одного вбылы?—запытавъ Суфли.

— Гмъ, не дарма жъ я гимнастыци виддався!—немовъ бы невважлыво, але дуже хвастовыто сказавъ Слоу.—Одного я такъ рубнувъ, шо видтявъ голову зъ рукою.

— Одначе васъ самыхъ ледве не вбывъ старый якыйсь дидъ, та вырятувалы воякы його,—сказавъ капытанъ, показуючы на Суфли; йому не сподобалася самохвальба Слоу, и винъ хотивъ уколоты його.

— Гмъ, якъ бо вы кажете, пане капытане: ледве не вбывъ—хиба жъ такъ легко мене вбыты!... Я вже зовсимъ замахнувся бувъ на голову дида и розбывъ бы ии, якъ старый горшыкъ, якъ бы не влизла та черепаха...

— Погана ричъ похидъ!—озвався капелянъ,—не можна чоловикови и вмытысь по-людськы. Сьогодни далы мени таку воду, шо бильшъ похожа була на каву, а нижъ на воду...

— Гмъ, рано вы почалы жалуватысь, отче! Може прыйдеться й безъ воды сыднты; добре, якъ ще йесть шо у ротъ вкынуты!—сказавъ Суфли.—Я й такъ уже, йдучы у похидъ, привчався яко мога меньше йисты й пыты.

— И шо жъ, привчылыся?—пробубонивъ кореспондентъ, запхнувшы ротъ сыромъ.

— Де тамъ привчывся!... Якъ ставъ привчатъся—ще бильше йисты ставъ!—сумно видказавъ Суфли.

— Погано! Військовому треба до всього звикати: який небудь сухарець та води ковтнути, часомъ зъ калюжи,—отъ и уся йида и напытокъ на день,—толкувавъ кореспондентъ, выпускаючи по сливцю зъ повного рота.

— За те жъ маемо ту видрадну думку, що мы тутъ не для себе трудимся, а для усїей людскосты, що мы тутъ выступаемо проводырямы культуры, просвиты, несемо въ си степы, до сыхъ звиривъ свитло науки... И насъ не забудуть! Може колысь отси сами, що теперь такъ насъ ненавядять, або ихъ потомкы прынайми, будуть згадувати насъ, и наши имена будутъ наймыльшыми для ныхъ именами!—розвозывъ капелянь.

Вси згодылыся на се и выпылы за свою сподивану славу й популярнисть. Кореспондентъ додавъ такожъ килька сливъ (винъ ихъ потимъ надрукувавъ у якійсь часопыси по два пенсы за рядокъ): „Наша вїйна --се эра культурна. Мы прыйшли теперь видячыты Арабамъ за ти дриботынкы науки, що колысь дали вони намъ, и мы за ти дриботынкы даемо имъ цили хлибы, що задовольнять ихъ жадобу науки“.

И зновъ уси згодылыся й выпылы. Тилькы капытанъ Годисъ ничего не сказавъ, а пывъ мовчыкы. Винъ не мавъ у голови ніякихъ думокъ про культурну мисїю; винъ пишовъ у похидъ, бо бувъ вїськовимъ, а бувъ вїськовимъ на те, щобъ пыты выно та курыты добри сыгары,—выходыло, що и метою всихъ отсыхъ вїйнъ, боивъ було выно та сыгары, бильшъ ничего. Де воуваты, зъ кымъ воуваты—все одно було йому; його навить не просывъ никто прывезты зъ походу яку небудь пам'ятку, якъ отъ печинкы гипопотама, або нигтя крокодыла... Стриляючы Арабивъ, забираючы добро ихъ, винъ не ненавядивъ ихъ, але й не жалувавъ,—треба було быты, бо се була служба, и за неи винъ дистававъ пенсїю.

Тымъ часомъ увїшовъ капраль и сказавъ, що зловылы якогось Араба, такъ чы не схочуть роспытаты його. Се було якъ разъ у пору. Уся громада одностайно постановыла покыкаты Араба передъ себе. Кореспондентъ заразъ вытягъ зъ кышени кныжку, завбильшкы зъ добрый латынскый словарь, щобъ завесты туды, що буде казаты Арабъ, и почавъ пысаты вступъ:

„У-вечери, 27 лютого, якъ мы, потомлени бытвою й страшенною слекою, виддыхалы середъ побытыхъ, скржавленыхъ во-рогивъ та пидкриплялы себе де-якымы консервами, до насъ пры-

вели“—кореспондентъ зырнувъ на Араба и пысавъ—„прывели Араба. Се бувъ уже старый, але ще дужый, сухой дидъ, справжній король пустыни. На нимъ була била кырея, шыроки штаны, постолы вышити взирцямы дуже не схожымы зъ тымы, яки вы бачыте на жиноцькыхъ сукняхъ та убранняхъ. Чоло у нього було наморщене, глыбоки зморшкы здавалысь чорнымы пружкамы, низдри роздулысь, мовъ у горячого коня, очи сыпалы искрамы зъ пидъ нахмуреныхъ бривъ. Мало хто осмилывся бъ заглянуты йому въ очи, жинка зомлила бъ передь симъ орлынымъ поглядомъ. Се бувъ одынь зъ тыхъ Арабивъ, що проходылы колысь видъ краю до краю велики земли, зоставлячы по соби розруйновани села, пожежи, зныщени краины... Але tempora mutantur и, здається, николы такъ не справдувалысь отси слова великого поета вичного Рыму, якъ теперь...”

Такъ пысавъ панъ кореспондентъ, заразомъ прыблызно обраховуючы стричкы въ голови и мало журачыся тымъ, чы його опысь дуже годылася зъ дійснымы подробыцямы, далеко прозаичнійшымы. Арабови тому, якого винъ такъ пыльно опысувавъ, на поглядъ було рокивъ 55—60, але се бувъ ще дужый дидокъ. Звисно, ни „королемъ степу,” ни „однымъ зъ тыхъ Арабивъ, що“... винъ не бувъ. Се бувъ старый хлиборобъ, що весь свій вкйъ винъ кохався у свой ныви, у свой худоби и лаявся изъ своею жинкою, старою и поганою. Одначе теперь лыце у нього, завсигды просте и добре, було хмурне, зубы винъ сципывъ, чоло наморщывъ; пошматована, де-не-де закапана кров’ю одежа клаптямы звысала зъ нього.

За Арабомъ увйшовъ и товмачъ—рудый и плюгавый жыдъ чы арабъ,—зигнувся передь офицерамы мало не до земли. Въ Александрии винъ бувъ мышурисомъ коло де-якихъ „заведений,” але почувшы нюхомъ липши корысти, проминявъ свою „працю“ на урядъ товмача. Якосъ выщучы, спытавъ винъ капытана:

— Що яснowelьможнисть ваша спытаты його скаже?

— Роспытай, звидкиль винъ, чы багато яюду въ сели було, скильки побыто, ну—все...

Товмачъ повернувся до Араба, й морда въ його зъ лысячою заразъ вовчою стала.

— Ты, старый дурню, хочешъ жывымъ буты? Скильки дасы?— а то таке оповимъ видъ тебе, що й смерты тоби не найдуть. Скильки дасы?

Старый молчавъ.

— Та кажы жъ, на свыни бѣ тоби йиздыты! Дасы десять червоныхъ?

— Десять разъ плюну тоби въ очи, бодай бы сонце впало тоби на голову!

— Ой, не дурій, старый!—завыщавъ товмачъ, — заразы скажу. Такъ тебе катуватымутъ... выкнутъ тебе собакамъ... Отъ скажу...

Голова въ старого ажъ затряслася з-пересердя.

— Кажы!—гаркнувъ винъ,—та щобъ не збрехавъ ты, скажу я: пропадете вы уси, бузувиры! Йде великый пророкъ, винъ розибье, побье, роскыдае васъ по полю й трупы ваши обгрызутъ собаки!

Товмачъ ще гиршъ завыщавъ и сказавъ Годису:

— Ваша ясновельможность! сей дурень не тилькы шо не каже, про шо пытае ваша ясновельможность, але лае вашу мосць и всихъ Инглизивъ и королеву—такъ лае, шо й не можна навить сказаты...

Компанія насупылася и глянула одынъ на другого.

— Та ты скажы йому,—навчавъ Суфли,—шо мы прыйшли не ризаты ихъ та быты, а пиднесты ихъ, шырыты просвиту та культуру.

— Слухаю мосць вашу... Ты, чортивъ диду, даешъ гроши, чы ни? Бачъ, якъ воны вызвирылысь на твою голову паршыву!

Дидъ знову почавъ клясты и лаяты.

— Винъ не перестает, все лае та пророчыть усяки напасти та лыха вйську вельможности вашои,—оповидавъ товмачъ,—каже, шо сей ланецъ Магди, нехай розибье Аллахъ його голову, свзымы ногамы прыйде незабаромъ та й перебье усихъ, навить визьме паню королеву и зробыть зовсимъ неподобне...

— Якъ не хоче кзаты, то видведить його, а завтра повисыте!—сказавъ Годисъ, налываучы соби вына.

Товмачъ пишовъ зъ покою зъ Арабомъ, щось кажучы йому на вухо й хыжо скрывывшыся.

— Отсе то прыкро, якъ за все, шо мы терпымо, працюемо, кровь, питъ ллемо—отси дурни ще насъ ненавядятъ, лають, кленуть... Чысты звири!—розводывъ корреспондентъ.

— На се мусымо буты прыготовлени: найвыщи добродйства стричано ненавистю, або смихомъ,—потышавъ капелянъ.

— Одна тилькы втиха, шо се мынется, и воны потимъ самы будутъ каятыся и намъ ще будуватымутъ монументы,—знову по-

чавъ корреспондентъ, набираючы рядкы для газеты. Грошыкы, по два пенсы за рядокъ, стоялы йому передъ очыма.

Тилькы Годисъ уперто мовчавъ. Винъ на бачывъ ніякого дыва, що Арабы його ненавидять, якъ винъ вишае ихъ. Йому прыйшла на гадку остатня вечера въ касыни,—тамъ винъ частувавъ офицеривъ выномъ, и якый тоди бувъ добрый кляретъ. Таке думаючы, винъ и не счувся, якъ громада затыхла и почала рсходытысь.

Тымъ часомъ, якъ стемнило, зъ потайныхъ куткивъ повылазылы Джугурци, хто живымъ zostався, найбільше стари бабы та диты. Змучени тымъ, що бачылы, що чулы, що діялось за день, жинкы не малы вже сылы духа, воны стали полохлывы и боязкы; по-тыху, абы не полошыты Инглизивъ, немовъ тини, лазылы по селу шукаты ридныхъ та мылыхъ мижъ пострилянымы та порубанымы, що й доси ще лежалы непрыбрани. Багато вже повмирало, але булы де-яки й живы ще. Жинкы заходылись коло нихъ, наповалы, обмывалы, в'язалы имъ раны. Усе село стало „долною плачу,“ якои бъ не занехавъ и Дантъ. Не одна маты, не одна жинка умливала тутъ коло дорогого мерця, що тилькы день, якъ бувъ живый, жвавый, здоровый, а теперъ лежавъ нерухомо, залытый кров'ю. Тыхы, въ грудяхъ задавлени рыдання, хрыпучый плачъ, голосиння чуты було пидъ тыхымы пальмамы. У холодку и де-яки зъ порубаныхъ очунялы и стогналы, хрыпылы... А ясни зори, якъ завсигды, тыхо дывылись зъ безкрайого сынього неба, обсыпаючы блидымъ свитомъ бидне село; шамотило лыстя, ричка булькала пидъ похылымы витямы, и ся звычайна щоденна тыша, спокій, роскишъ, що такъ радуе щаслыве сердце, теперъ разылы й додавалы смутку... Краще було бъ, якъ бы сховалыся си тыхи зиркы, якъ бы ричка навижено бурхала и ревла, якъ бы гримъ торохтивъ що хвылыны надъ самою головою, якъ бы блыскавка слипыла очи, витеръ вывъ, лютувавъ, рвавъ гилля, покривли, засыпаючы усе курявою...

Та бабуса, що плакала тоди пидъ тыномъ, знайшла тежъ свого сына. Зъ побытымъ животомъ винъ лежавъ десь у кутку, устромывшы лице въ якыйсь черепокъ, и бувъ ледве живый,—усього жыття тилькы й ставало на те, щобъ раз-у-разъ тыхо стогнаты. Маты поралась коло нього, повертала то на сей, то на той бикъ, бажаючы полекшыты його муку; обмывала, перев'язувала йому выразкы, але ничого не помагало. Винъ ще гиршъ



стогнавъ та сердився, гнавъ матирь; муки въ нього ставалы все бильши та бильши...—Убьйте, вбьйте, видирвить мени голову, не давайте мени мучытысь!—стогнавъ винъ. Маты зъ сердечного жалю ажъ рыдала и грызла землю. Вона мучылась незгирше видъ сына, не можучы йому помогты; вона глыбоко прокусыла соби руку, щобъ видвесты муку видъ сердца, товкла головою объ пальмови стовбуры... —Тыхо, тыхо, сердце,—шепотила вона боязко, оглядаючысь на свитло у викни близькой хаты,—тыхо, тыхо, тыхо...—безъ перестанку шепотили їи губы.

А въ тій близькій хатыни бувъ Суфли, и свитло те блыма-ло у його. Скынувшы мундиръ и чоботы, поставывшы боси ноги на поперечку стильця, винъ пысавъ лысть до-дому, до своей нареченои. Перо швыдко, не зупыняючысь бигло по папери, зоставляючы ровни рядкы. Раз-по-разъ Суфли перестававъ пысаты и, видхыльывшы голову назадъ, втупывшы очи въ стелю, фантазувавъ про свою мылу. Винъ бачывъ чымалу кимнату въ осели пана Гедысвуда, малого дидыча: старе розбыте пьяино въ кутку, столыкы пидъ стиною вкрыти плетенымы застилками—Салина работа; велькый комынокъ и на йому пучокъ восковыхъ квитокъ—такожъ Салина работа; квиткы, не воскови, а живи на викнахъ—Салиного хову, и багато ще всього Салиного, Салиного... Сама Сали сыдыть коло стола и розглядае карту Судану, втыкаючы прапорцямы мистечка, що забралы Англійци. Ся карта та лысть до Суфли що-дня забирають їй вечерь. Вона завзято чытае таки чудни арабски назвыська мистечокъ та мистъ и правляе правыцею неслухняну пасму золотого волосся, що все спадае на бильеньку шоку, де чорніе невеличка малынка. Якъ добре знае Суфли сю шоку и сю малынку! Скильки разъ влучавъ винъ просто въ неи, обхопывшы Салинъ гнучкый станъ, а та наче былась та выпручалась, пыкы зачервонившысь не вертала назадъ його поцилункивъ!... А отъ и самъ мистеръ Гедысвудъ сыдыть передъ комынкомъ, задершы на комынкowi кргаткы товсти ноги у выступцяхъ зъ рудымы рожами—розуміється, такожъ Салинои работы. Прыжмурывшы очи, мовъ китъ, дывывся винъ на веселе полум'я.

— Папо, винъ певно теперъ коло Хартума? (Хто той винъ, се розумилось само зъ себе). Господы! що то зъ нымъ? Отся клята вйна,—хто тилькы їи выдумавъ?!

— Гмъ, дивно й мени... Чого бь имъ бунтуваты, воюваты? Сы-  
дилы бь тыхо дома... Чого ще имъ? Хиба я пиду воюваты? Га, ты  
скажи, хиба прыйде мени въ голову воюваты? На якого биса я  
буду воюваты? И някый розумный чоловікъ не буде воюваты...  
Га? хиба буде? що жь ты не кажешъ?—мистеръ Гедысвудъ за-  
махавъ рукамы.

— Та звисно не буде, вы й самы добре знаєте, що ни... усе  
отси гыдки Арабы...

— Ну, оть-то-то-жь!—заспокоився мистеръ Гедысвудъ та й  
знову повернувся до комынка, щобъ, прыжмурывшы очи, двы-  
тыся на огонь.

Таке бачывъ у свой уяви Суфли въ невеличкй хатыни въ  
Бех-аль-Джугури. Пофантазувавъ та й знову взявся пысаты.

— Ты пытаешъ мене, мое сердце, чы дуже важко мени тутъ у  
походи. Ни, сердце, не дуже важко, бо якъ згадаю тебе—а згадую  
тебе я шо хвылыны,—то де й динеться усяке лыхо, всякый кло-  
пить... Колы бь тилькы звивъ скорйшъ насъ Бигъ мылосерд-  
ный! Але не журыся, мы бьемо Арабивъ и незабаромъ певно  
зведе насъ Бигъ разомъ. Молюся тилькы, щобъ не пиднялся  
знову си розбышакы Арабы, бо якъ пиде знову вйна, то дай  
Бигъ тоди, щобъ черезъ тры роки побачылысь... Пидтрымуе  
тьилькы мене ще та думка, що мы—такъ казавъ сьогодни одынъ  
мй товаришъ—тутъ проводыри просвиты та культуры, що наша  
праця—праця для всього свиту...

Тутъ стогинъ слабого на двори стало дуже чуты въ хати.  
Суфли не всыдивъ и выйшовъ на двирь. Тамъ було такъ ясно  
видъ зирь, що винъ добре бачывъ, що діялось въ кутку. Сынъ  
очевыдячкы вже доходывъ, але стогинъ його не стыхавъ. Маты  
видъ жалю, видъ злосты, що не може помогты сынови, наче  
збожеволила и, прыпавшы до земли, невымовно тужыла.

Часомъ бажалось й кнутысь до сына и задушты його  
тымы самымы рукамы, якымы колыхала колысь, щобъ тилькы  
быльше не мучывся самъ и ии сердца не надрывавъ... Суфли по-  
стоявъ, подывывся, зитхнувъ, вернувся и въ лысти до мылои пры-  
пысавъ:

— Але тяжко бачыты, якъ ненавидятъ насъ тиі Арабы. Вони  
ради вмерты, вси муки стерпиты, абы намъ не пиддатысь, абы  
не прыйняты того скарбу культурного, що мы несемо имъ. Отъ  
теперь на двори вмирае якыйсь арабысько, стогономъ своимъ не

даючи мени навить пысаты. Уперти отси Арабы, ще довго мусымо зъ нмы вовтузытысь, ще довго стояты будутъ на дорози нашому щастю... Прощай, сердце! Цилую отсей лысть паперу, щобъ винъ донисъ тоби поцилунокъ мій...“

Такъ пысавъ мистеръ Суфли. Напысавшы, винъ выйшовъ подывытысь на мисяць, що тилькы що выкотывся з-за гаю. Суфли побачывъ знову мерця въ кутку и зитхнувъ. Хочъ отси Арабы й не давали йому щаслыво побратыся зъ мылоу, одначе йому все жъ такы було шкода ихъ—нерозумныхъ, упертыхъ... У поручыка Суфли сердце було дуже м'яке...

На сели було тыхо. Тилькы де-небудь заголосыть жинка та завые собака. Роскишна полуднева ничъ показувала всю свою красу. Сыне небо наче обіймало, тыхе тепле повитря наче цилувало сонну, уквитчану пальмамы й банамамы землю; солодкымы пахощамы несло зъ усихъ садкивъ... Нищо не нагадувало смерти, все такъ и дыхало чарама кохання, щастя, якымысь солодкымы линощамы...

У молодого Араба, що затыхъ нарешти въ агоніи, розплюшылысь очи и йому здалося, що по небу летять янголы въ блискучыхъ срибныхъ шатахъ, оповыти сяйвомъ, и ведутъ за собою череду душъ побытыхъ Арабивъ. Ти души вси въ билыхъ одежахъ и видбывають якымсь сяйвомъ. Очи выдця заплющылыся знову й Арабъ заснувъ на-вики.

1885.





### *Вячеславъ Потапенко.*

Потапенко Вячеславъ Опанасовичъ, сынъ дидьча, на свить народывся 21 грудня р. 1863 въ сели Березани (Веселый Куть) въ Херсонщыни; освіту здобувъ у юнкерськй школи въ Петербурзи. Р. 1883 Потапенко ставъ артыстомъ украиньского театру, що саме тоди входить у славу. Почавшы артыстычну діяльність въ драматычному товаристві

Марка Кропавницького, Потапенко служывъ украиньскому театрови по рижныхъ труппахъ до р. 1900, колы покинувъ сцену. На ныву пысьменства украиньского Потапенко выступывъ р. 1885; зъ його творивъ надруковано доси, переважно въ журналахъ „Зоря“ та „Л.-Н. Вистникъ“, отси: „Чабанъ“, „Чубатый“, „Чаривныця“, „Злодій“, „Перша карна справа“. „На нови гнизда“; опричь того Потапенко напысавъ драматычный этюдъ „Гришныця“ та драму „За друга“ (доси не друковани). Въ особи Потапенка украиньске пысьменство мае не дуже плодывтого, але симпатичного, талановытого робитника.



## На нови гнизда.



Село. Пчынаеться весна. Де-не-де лежать ще снигъ. По улыцяхъ болото. Далеко на сели дивчата спивають „веснянки“.

У старого коззка Максима Квача людей мало не повнисинькый двиръ. Хапане весилля, чы що? Ба ни—музыкы не чуты!—Ховають кого? Попа не выдко! Що жъ трапылось?... Переселенци! идутъ козаки на нови гнизда! Сыны Макс-

ма кыдають батька, матирь, кыдають свое кубло та йдуть на Амуръ за шматкомъ хлиба. Ось уже й воза пидмазуе старый, и кони годуються; сыны-переселенци и скрыни' выносять та всякый дрибязокъ. Люде обступылы старого москаля. Москаль зъ „Грыгорьевськымъ“ хрестомъ на грудяхъ; ливый рукавъ шенели телипається, бо у ньому нема руки; у правій руци ципокъ; права нога тилькы по колино, а видь колина дерев'яна—стельмахъ зробывъ ии за пивъ карбованця. Добра нога, терпляча: ии теперь не то кулею бый, а й сокырою рубай—москаля не заболыть: зроблена вона тесакомъ та гыблемъ. На ничъ москаль скыдае ии, на день знову чипляе—слухняна нога! „Грыгорьевськый“ хрестъ не цяцька, не дарма москаля вельчыають „кавалеромъ“. Хочь його покаличено, а про те—„кавалеръ“, а се чоловикови не абы-що. Винъ по вискъ дистае килька карбованцивъ на рикъ. У церкву увйде „кавалеръ“—уси розступаються, дорогу дають йому. „Кавалеръ“ стоить по-переду, поручъ зъ панамы. Що-року на „Грыгорія Побидоносця“ калика-кавалеръ йиде до Петербурга, обидае у дворци вкупи зъ другымы москалямы-кавалерамы. Винъ до труны матыме що йисты, и йому не треба пхатыся до Амуру за шматкомъ хлиба. Правда, що його родына бидуе, бо якый зъ каликы робитныкъ? Ну, що жъ робыты,—усихъ не нагудешъ!...

— Эге,—балакае москаль,—Амуръ сторона далека. Теперь, скажимъ, до зализныци десять верстовъ, видь зализныци до Одесыгорода верстовъ зъ тысяча, а видтиля на корабли моремъ-окіяномъ йихаты треба бильше, нижь два мисяци. Черезъ те й начальство не пускае старыхъ та хорыхъ йихаты, бо не вытрымають—помруть на мори! А начальству непотрибни выдаткы: його старого везы, винъ пойидае казенный харчъ, а тамъ дывысь—померъ! Беры його за ноги та й кыдай у море. Одно, значыть, „сумнытельство“ для себе, а казни выдаткы и неспокой!...

— Такъ, такъ!—потакуе старый чоловикъ, слухачъ.—Якыйсь Васыль здохне, а черезъ нього начальству клопить!—Старый балакае остро, а самъ хочъ бы усмихнувся.

— Ну, дидусь що скажуть, то наче рублемъ прытягнуть.

— А бодай васъ, диду, по вискъ слухаты!—озываються слухачи, сміючысь.

— А хиба й не такъ!—каже знову дидъ, удаючы зъ себе, нибы його розсердылы.—Ще чого забажалось! Хлиба!?... Каменюкы не хочете!? За що васъ годуваты хлибомъ? Може за те, що у насъ

одна на тили шкура? Ачъ, яке вельке свято! Ондечкы паны йидять—та й то не хлибъ, а якись булкъ, що може й собака не хоче ихъ йисты, а воны, бидолахы, йидять—ничого не зробишь; а у панивъ не одна, а скільки шкуръ!... Яку схоче, таку й на тягне на себе.

Вси регочуться.

— „Парнишка“,—каже москаль до парубка, — а полизь-но у мою ливу кышенъ, вытягни рижокъ зъ чымерыцею, нехай я понюхаю, щобъ дома не журылысь.—Парубокъ выймае; москаль запускае пучкы у табаку и набывае свій нись.

— Добра се нагорода—хрестъ!—бубоныть дидъ.—Але якъ бы можна своею рукою выматы зъ кышени рижка, було бы ще краще.

Але москаль не чуе, винъ знову товче свое про Амурь-рику.

— Що й казаты,—перебывае якыйсь господарь,—у Максыма два сына, та дви невесткы, та четверо внучать, та одно у колысци, та своя стара, та самъ—усихъ одынацять ротивъ а земли тры десятины, та городу округъ—не розтанцюешся! Ну й недостача хлиба, и йды шукаты його по Амурахъ, та по Сибиряхъ.

— А на що воны плодяться, якъ свыни?—не вгамовується дидъ.—Ачъ, завелы панськи звычайи: щобъ и жинка у нього була, и диты; може хочешъ, и на подушци спаты? Пам'ятай, що ты худоба! А худоби що? Стійло,—отъ и все! А то доживуться до того, що ни иконы, ни ножа: ни помолытятся, ни заризатыся! Не абы чого и захотивъ—хлиба! А паренои половы не хочешъ?... Не здохнешъ! У Росіи ще никто не вмеръ безъ хлиба, а якъ помирають, то не видъ хлиба, а зъ голоду!...

Слухачи ажъ пырснули видъ дидовои балачкы.

— Воно якъ подумаешъ гарненько,—каже москаль,—то выходыть такъ, що все одно,—чы Росія, чы Сибирь.

— Се такъ!—згожується дидъ.

— А може тамъ краще, нижъ у насъ?

— Мабуть, колы люде йдутъ туды.

— Може, тутъ Сибирь?

— Може!

— И тутъ земля, и тамъ земля; выходыть все одно!—каже москаль.

— Звычайно,—видповидае дидъ,—звычайно однаково; отъ прымиромъ у васъ, „господа служба“, дви ногы: одна нога, що Богъ давъ, а друга, що стельмахъ зробивъ, а воны однакови, бо все одно, що тило, що дубына...

Москаль соромиться. Слухачи видь смиху кусають губы, але не хотять сміятыся, щобъ не образыты москаля. А дидь хочъ бы вусомъ рушывъ.

— Се ваша правда, свате... Не хотивъ бы я сього хреста. А дай мени мою руку та ногу! Я бь у ноги поклонься!

— А до Амуру пишлы бь?

— Побигъ бы! Бо тутъ жыты гирко! Земля скрыз панська. Надилу не прыризують, а люде плодяться. Одно слово: погыбель козакови!...

— Отсе то правда!—озываються вси слухачи.

— Якъ мени,—каже дидь,—то не треба прыризуваты земли, нехай видрижуть тилькы мисце, а я своеи понавожу.

— Теперь скажемо про Максима Квача и його бабу. Отъ бидни! Вже вони николы не побачать своихъ дитей, все одно—якъ ховають! Эхъ, якъ бы мени рука та нога!—Москаль махнувъ безнадійно правою рукою и пошкандыбавъ у хату. Його слухачи росходяться по двори.

Старый дывыться у слидъ покаличеного кавалера. „Нещасный!“—каже винъ, зитхаючы. У двори галасъ: стоять возы, роскыдана солома. У повитци реве корова. Свynи ходять... Ось рушае зь двору визъ; се сусидъ везе збижжя переселенцивъ до зализныци. У двори вси стоять мовчки. Всякъ думае, шо йиде до Амуру, шо се вже и його скрыню повезлы. Якийсь сумъ обгорнувъ усихъ. Чуты зитханья... У кутку двoryща лежать Рябко и грызе костомаху. Сорока умостылась на свynю зверху, йиде на ній по двoryщу и дзюбае ии у спыну, мовъ поганяе... Галка похожае по паркани и зазырае на кистку... Рябко гарчыть...

Двери у хату раз-по-разъ видчыняються. Люде то входять, то выходять... На двори ще холодно, якась мряка; хочъ и сонце свитыть, але мало ще гріе... Изъ стрихы вода капле; у двори тежъ болото. Прысьпа мокра, нема на чимъ и систы... Невеселый малюнокъ!...

У хати тежъ галасъ. Стара маты нышкомъ утырае слъзы та пораеться зь неvistкамы та бабамы билия печи. Два сыны, мовъ орлы, высоки, здорови, чорновуси, кучеряви—пакуються. Батько ихъ, сывенькый чоловикъ, допомагае имъ. Лице його усе въ зморшкахъ, вуса высять, чупрына розвіяна. У запичку диты гріються. У колысци дытына крычыть. Люде хто стоить, хто сыдыть, мовчатъ та инколы важко зитхають. У хати тхне парюу, дьогтемъ та

кожухамы. Пара плыве серпанкомъ до печи, а тамъ у-разъ летыть у комынь... Доли мокра солома. Бабы крутятъ зъ неи вихти та пхаютъ у пичъ. Сонце заглядае у викна и кыдае свій проминь на солому и дерев'яну ногу кавалера. Тутъ тежъ невеселый малюнокъ!...

Въ хати попорядковано. Доливка пидметена, стиль покрытый билюю скатертю. На столи по звычайу лежыть хлибъ, а на ньому дрибокъ солы. Передъ образомъ чадыть воскова свичка. Вси дожидають „батюшку“. Ось винъ прыйихавъ зъ паламаремъ. Вони увійшли въ хату. Батюшка перехрестывся, поблагословывъ людей—вси пидходятъ и цилуютъ йому руку. Винъ одягається у свій одягъ, що вынявъ зъ хусткы паламарь. Паламарь поклавъ зъ печи жару у кадыльницу, роздмухавъ його, кынувъ у нього дрибокъ яливцю. Дымокъ закурився и розлягся по хати. Вси люде стоять богобійно. Батько розиславъ доли рядныну, батюшка ставъ на неи передъ образомъ, а позадь паламарь та москаль, а за нымы родына и люде.

— Мыромъ Господу помолымся!—заспивавъ батюшка тонесенькымъ голосомъ.

— Господы помылуй!—озвалысь спиваки—паламарь басомъ и москаль пидбаскомъ. Вси почалы молытыся. Родына стояла навколишкахъ. Невисткы хлыпалы, але маты не плакала; вона богобійно дывылась на розпятого Хрыста. Лице у неи було спокійне, а зъ очей самы по соби теклы сльозы и ихъ крапли пидъ проминнямъ сонця блыщалы самоцвитнымы каминямы. У хати душно... Два сыны—переселенци шепотили за батюшкою молытвы; ихъ чола поупривалы.

— Ще молымось за вид'йизжыхъ!—спивавъ пипъ. Вси перехрестылысь. Бабы почалы плакаты въ голосъ. Маты жъ очевыдчкы крипылась, не плакала; вона, зложывшы руки на грудяхъ, дывылась на образы все нерухомо. Батько стоязь понуро, але такожъ спокійно и вслухувався у Божи слова. Лице його мовъ захололо, тилькы зморшки на чоли, що по-мижъ бровамы, стали выразнійши... Батюшка скинчывъ молытвы, взявъ кропыло, покропывъ по хати, поблагословывъ людей и сказывъ свое слово до переселенцивъ. Молебень скинчывся. Батюшку посажено на покути за стиль, а паламаря на другимъ кинци стола. Родына та люде стоялы, ниhto не сидавъ. Бабы подавалы страву на стиль. Батько частувавъ батюшку та паламаря. Попойившы, батюшка помолывся, подякувавъ господарямъ за хлибъ, за силь и почавъ збиратысь до-



дому. Старый батько сунувъ йому щось у руку и паламареви такожь. Стара вынесла дви паляныци, шматокъ сала та ковбасу и все те поклала у визъ, куды посидала батюшка зъ паламаремъ. Визокъ рушывъ...

За стилъ силы теперъ родына и люде.

— Вы глядять,—казала тыхесенько маты до невестокъ, а казала такъ, щобъ никто не чувъ,—не плачете, а то старого стрывожыте, а винъ у мене хорый. Пожалйте його!...

— Вы глядять,—казавъ такожь потайно батько до сынивъ,—а ни слезы! Дорогою вже поплачете, а теперъ а ни крапли, бо мою стару стрывожыте, а вона у мене слабенька. Пожалйте свою неню!...

Обидалы вси мовчкы. Никто не балакавъ. Тилькы ложки стукалы объ полумыскы. Старый батько пиднись уже по третей чарци, але й горилка не розвязувала языкивъ.

— Та що се? Въ труну кого кладемо, чы шо, що вси мовчимо?!—сказавъ батько.

— Хай Богъ боронить!—озвався москаль.—Чого жъ сумуваты! Мабуть на Амури краще, колы туды люде переселяються. Тамъ тежь земля хрыстыянська! Эхъ, якъ бы мени рука та нога—я бъ тамъ давно вже бувъ бы!...

— Хиба вамъ тутъ зле?—спытався дидъ.—Вы жъ на хреста дистаете гроши!

— Щд я дистаю!... А у мене диты. Робыты не могу, калика! Спасыби людямъ: не женуть зъ хаты. Де весилля, де похоронъ, де яка оказія—я вже й тамъ. Чы псалтыря прочытаю, чы шо—такъ и годуюсь!.. А дайте мени руку та ногу! — Москаль важко зитхнувъ, махнувъ правыцею и крыкнувъ:—Давайте, свате, ще чарку, щобъ тутъ, тутъ билия сердца, занимило!...

— Вы, тату,—казалы сыны, — вже самы не орить, бо вы вже стари, вамъ важко, а землю видавайте зъ половыны. А инколы мы прышлемо зъ Амуру якого карбованця, то якъ небудь прожывете зъ матир'ю.

— Батькови вашому зъ хвостомъ!—крыкнувъ батько.—Я старый? Я? Ха-ха-ха! Отъ такъ ушкварылы! И ликарь вашъ дурный, та й вы зъ нымъ! Ликарь те жъ саме казавъ, шо мы стари, шо не дойидемо до Амуру, шо дорогою помремо и черезъ те насъ не пустылы зъ вами йихаты! А ну, ликарю, выхоть протывъ мене,

поборьмось! Чы сей старый не кыне тебе объ землю, якъ каминемъ! Я старый!? Чы не думаете вы, що я зъ матир'ю за вамы будемо побыватыся?... А не диждете! Та мени ваша маты приведе ще сынивъ—орливъ!... Приведе такихъ козакивъ, що вы имъ и въ пидметкы будете негодящи! Правда, старенька?!...

— А вже жъ!—видповила маты та й въ голосъ зареготалась, удаючи зъ себе веселу.

— Ага!? А що!?—тежъ удаючи зъ себе веселого, кричавъ батько.—Начхавъ я на вашъ Амурь!... Яке добро, подумаеть!... Тамъ, кажутъ, бабивъ мало, ще якыйсь одноокый Кытаецъ укравъ бы мою стареньку... Ха-ха-ха!

Для вподобы старому зареготалась вси вразъ та й змовкы. Знову сумъ обгорнувъ усихъ. У кожного на серци мовъ коты шкреблы...

Писля обиду прыйихалы сусиды — видвезты переселенцивъ до зализныци. Ось уже все повыносылы на возы. Наставъ часъ прощання... Останнього прощання! Останнього цилування!...

Вразъ у хати зробылось тыхо, якъ у могыли. Нихто не пускавъ а ни пары зъ рота. Батько знявъ икону. Пидйшли переселенци и стали передъ нымъ на вколишкы. Батько ихъ поблагословывъ и сказавъ свое слово:

— Жывить, сыны мои любы, у добрый злагоди! Держитесь вкупи, не миняйте свои виры й не кыдайте звычайвъ батькивъ та дидивъ нашыхъ! Дай Боже, щобъ наша Украина запанувала на Амури!... Зъ сусидамы не свариться, жинокъ своихъ жалуйте, але воли имъ не давайте. Пам'ятайте:—„любы якъ душу, а трусы, якъ грушу!“... Горилку, диты, пайте, та розуму не пропывайте! А вы, жинкы, слухайте своихъ чоловикивъ, доглядайте госпуду, та дитей бильшь нарождайте. Дастъ Богъ диты,—дастъ Богъ и на диты!...

Батько всихъ перецилувавъ.

— А теперь идить до матери, хай вона васъ поблагословытъ. Неньчына молитва до самисенького Бога доходить.

Батько передавъ икону матери, що стояла зъ нымъ поручъ. Почала маты благословыты, але ни слъозынкы, наче вона ихъ выпровожала не на Амуръ на выкы, а въ поле. Все люде плакалы. У сынивъ заблыщалы на вяхъ слъозы; ще хвыля, и вони

розревились бы, але батько зырнув на них очыма, —сердыто старый глянув; сыны зрозумили сей погляд и задушылы у горлы слезы. .

— А теперь по старому звычайу треба всимъ систы, щобъ усе добре сидало! — сказавъ батько и сивъ. Все тежъ посидалы, а черезъ хвылыну разомъ усталы.

Переселенци ще разъ перехрестылысь до иконъ и почалы выходыты на двирь. Останній разъ переступылы поригъ своеи хаты... Чы доведеться колы знову тутъ буваты?..

Ось диты вже посидалы на возы. Батько глянув на нихъ, а у самого мовъ бы сердце видирвалось, похололо и слеза покотылась йому по щоци, але старый такъ стыснувъ зубамы губы, що кровь запылалась. Маты стояла блида, але спокойна, водыла по всихъ очыма, мовъ бы не розуміючы, шд се діеться, куды и диты йидуть и чого такъ багато людей у двори? Все се запымитылы, що зъ старою щось діеться непевне, и лякалысь, щобъ вона розуму не втратыла.

— Хочъ бы заплакала! — думавъ старый. — Лекше бъ ий було, а то чого доброго не вытрымае сердешна сього лыха...

Маты пидійшла до сынивъ. Все видразу стыхло. Бабы, що плакалы, такъ и обмертвилы. Всякий дождавъ чогось злого. Маты якось чудно обвела ихъ очыма и покирлыво, мовъ дытына, усмихнулась...

— Такъ отсе вы вже й йидете? — спыталась вона, — куды?

— Якъ куды? — спытався старший сынъ перелякано. — Адаже жъ вы, мамо, знаете, що мы йидемо на Амурь...

Якъ вовчыця кынулась маты и ухопылась за колесо. — Ай! — крыкнула вона несамовыто, та такъ крыкнула, що, здавалось, не сыла чоловика такъ крыкнуты. Мовъ щось ухопыло кожного за сердце видъ такого крыку. Все люде у двори заплакалы. Батько кынувся до старои и видтягъ ии видъ колеса.

— Не дамъ! Не дамъ! Се кровь моя! Не пущу! — несамовыто голосыла стара на все село та рвала на соби сыве волосся й одежыну.

Возы рушылы, а маты, мовъ горлыця, былась объ землю, пускаючы зъ рота пину, ажъ покы не стеряла сылу и простяглась мовъ мертва. Старый зъ москалемъ та людмы внеслы ии въ хату и поклалы на полу. Довго маты не прыходыла до пам'яты.

Ажъ ось вона пидвелась и попросыла пыты. Напывшысь воды, вона оглянула свою хату.

— Се теперь не хата, се пустка!—казала вона,— се домовына и въ ній два мерци: мій старый и я...

И весь день маты лежала на полу та стогнала. Старый сьдивъ задумано и не выпускавъ люльки зъ рота. Не разъ слезы пидступалы йому до горла, але винъ грызъ цыбуха, що ажъ зубы скреготалы, та все крипывся. Москаль тежъ сьдивъ мовчки надъ пляшкою зъ горилкою и залывавъ свое горе, але й горилка ничего йому не помагала. Думавъ, багато де-чого думавъ калика. Хата мовъ справди домовына. Ось улизъ у хату Рябко, потягъ зъ лавы шматокъ хлиба и знову пишовъ у двери — ниhto його не бачыть, ниhto не чуе. Двери трохи видчынени, у хати вже холодно. Всимъ байдуже! Ихъ у жаръ кыдае видъ думокъ...

Вже стемнило. Цвиркунъ вылизъ з-пидъ печи — цвиркнувъ разъ, у-друге. Полизъ на лаву, а дали на стиль, а зъ столу побигъ по руци батька — старый не чуе, такъ замыслывся. Маты встала, хятаючысь засвityла свичку и почала подаваты вечерю. Ось вона, якъ и колысь, поклала на стиль цилу купу ложекъ. Москаль вставъ, виддилывъ тры ложки и зоставывъ ихъ на столу, а останни понисъ до мысняка. Стари глянули на си тры ложки. Маты заголосыла и кынулася головою у подушки на пиль, а старый, якъ опареный, выбигъ на двиръ. Винъ упавъ на визъ, на котрому сусидъ возывъ до зализныци його сынивъ, и зарыдавъ, якъ маленька дытына, але си козачи слезы бачывъ одынъ темный весняный вечеръ и ниhto бильше!...

— Вгамуйтесь, пани-матко!—заспокоювавъ калика стару. — Се ще не горе, а ось горе, що передъ вами стоить—се я! Я бувъ колысь людыною, а теперь я що?—калика, а все жъ не гнивлю Бога, не нарикаю и не плачу, бо грихъ побыватыся...

Стара трохи заспокоюється...

\* \* \*

Пивничъ... У хати темно... На полу лежыть стара, на печи старый, на лави москаль... Биля нього доли валяється його дерев'яна нога... Тыхо, навить и цвиркунъ заснувъ...

— Старый!... Ты спышь?...—пытае стара.—Спышь?...

Тыхо...

Старый не спыть, але мовчыть, щобъ стара подумала, що винъ не думае, а спыть, и тымъ сама заспокоилася...

Проходять пивъ годыны.

— Стара, ты спышь?—пытае зъ печи старый.—Спышь?...

Тыхо...

Стара мовчыть, хочъ не спыть, и тымъ хоче выявыты старому, шо вона не думае, а спокійно спыть.—Се його заспокоить,—думае хора стара,—и винъ засне...

Москаль все те чуе, але хоче старымъ показаты, шо винъ — не думае, а спыть спокійно. —Се ихъ обохъ заспокоить,—мыслыть калика и почынае хропеты. — Эхъ, якъ бы мени рука та нога!—бурмоче москаль нибы кризь сонъ.

Мисяць пывъ по неби и, доплывшы до хаты осыротилыхъ, зацикавывая, глянувъ у викно и, зрозумившы сю святу ложъ, усмихнувся; але якъ побачывъ доли дерев'яну москалеву ногу, прожогомъ заховався за хмары. Мабуть, винъ перелякався людського звирства!...



## Ч а б а н ь.



Чабань, годованецъ прывильного казачого степу, частенько сырота, безъ роду и плоду. Ще хлоп'ямъ пишовъ винь спершу за пидпасыча, потимъ ставъ помишныкомъ чабана, а дали—чабаномъ. Иноди чабанъ и не зна, у кого винь служыть, хто його хазяинь, хто платыть гроши, хто зодягае—йому се не цикаво!

Вильно гуляють годовани вивци по шырокому безкрайому степу, становлячы увесь свить, усе жыття чабанове. Якъ чабанъ гоныть не меньше сотни овецъ, то така череда зветься „шматокъ“, а декилька шматкивъ творять вже „отару“. Вивци па-суться завжде вкупи по п'ять, шість отарь, чысломъ коло двадцята а бо трыдцята тысячъ штукъ, покрываючы собою степъ, скилькы може сягнуты око. Якъ хвыли моря, колыхаються вони своимъ гуртомъ, осяяни проминемъ сонця Чорноморя, пидъ доглядомъ чабанивъ, котри мижъ собою складають цилу администрацію. Старшый чабанъ—„отаманъ“ чабанського гурту; винь керуе усимы диламы, мае власть диктаторську надъ пидлеглимы йому; управляє загальнымъ рухомъ въ безбережному степу, чыныть судъ и росправу, и якъ та матка въ бжолынимъ вулыку, дае усьому ладъ. Начальныкъ „отары“ зветься „лычманъ“; винь мае помишныкивъ та одного „горбачого“, и слухае прыказу „отамана“. Винь завжде йде по середыни отары, його помишныкы по бокахъ, а позаду йде „гарба“ пидъ доглядомъ „горбачого“, котрый управляє усимъ скарбомъ отары, якъ отъ: одежою, посудую,

харчама,—а навколо сього походу слидкуе цила юрба собакъ. вовкодавивъ — оборона овецъ и товариши чабанивъ. Чабаны живутъ мижъ собою у дуже великій злагоди. Чабанъ завжде одержуе видъ „горбачого“ запасъ, котрый поповняе хазяйський прыкажчыкъ. що навидуеться на рикъ разъ, або два. Плата чабанська не велика: два, тры карбованци за рикъ, шмаття, одежа, якъ отъ — шыроки шкуратяни штаны, така жъ куртка, „куйнара“\*), постолы и „гайтанъ“\*\*), завишаний струменгамы для личення овецъ. Тамъ и ножи, и ножыци, и спущадло, и рижохъ зъ галунэмъ, и „джермара“\*\*\*) для чыщеня ранъ, и шпыгынаръ, и рижни лыкы видъ усихъ овечыхъ хоробъ, котрымы вивця може захвориты у спеку. У чабаны наймаються найбільше такъ: отсе приходить „безталанний“ у степъ до чабанивъ и каже, що хоче до ныхъ прыстаты, и дило кинчається безъ хазяина овецъ, котрому вже описля пры обрахунку прыкажчыкъ доложыть, що ще однимъ чабаномъ прыбуло. Все свое жыття чабанъ проводить у степу пидъ голымъ небомъ. Якъ винъ побува рокивъ зъ десять на сели, то се й багато, а то йе таки, що у степу вырослы и зроду не бачылы ничего, окримъ степу. Своеи степовой воли, шырокои свободы винъ не проминяе ни на що въ свити. Навить и писня склалась про чабана. Дивчына спивае:

Ой, чабане, чабане,  
Покынь вивци пасты!

А винъ йй одмовляе:

Не покыну, покы згыну!...

Чабанъ цилый викъ гуляе по степу. Зимою винъ, зъ вивцями засыпаний хуртовыною, сыдыть у своему „коши“ передъ вогныщемъ и видгривае себе замерзлого, прыслухоучысь, якъ витерь свыстыть та гуде, гуляючы по билому степу. В-осены инколы цилу ничъ винъ стоить, пидпершысь на „кгерлыкгу“, хочъ холодно и мокро. А якъ приходить весна, а за нею лито, чабанъ оживае, неначе той ведмидь по довгому снѣ. Сонце грѣе, йому тепло, винъ задовольненный. Чабанъ лежыть на трави, курыть свою люлечку, бияя нього вирный товаришъ—песъ, навколо вивци; йому бильшь ничего и не треба. Ажъ ось, „отара“ його розбрелась, вивци блудять у ковылы, ледве маячатъ. Собаки

\*) Бараняча шапка.

\*\*) Реминный шырокий чересь.

\*\*\*) Щыпчыкы.

сплять, помишныкы тежъ. Треба зибраты отару и якъ не солодко лежаты чабанови на пахучій трави, гріючысь на сонци, але винъ встае. Окынувшы орлынымъ поглядомъ безбережну далечинь, винъ гукае:—Гей, цо, балабій, цо!—Наче гримъ гуде сей гукъ посередъ шырокого степу. Уся отара насторочуе вуха. Цапъ, вожака овецъ, пидкыдае до-горы рогамы, озырається на зазывъ и рушае зъ мисця; вся отара наче на знакъ чародійной лиски слидкуе за нымы, збираючысь коло чабана навколо.

\* \*  
\*

Винъ не знавъ ни батька, ни ненькы, не знавъ навить свого ймення; пам'ятае тилькы себе хлопцемъ-пидпаскомъ, а якъ опынввся на степу, не прыгадае вже. Стари чабаны казали, що вони найшли його у тырси несповытого, дытненоу ще, дали йому призывще „Цуръ-Пекъ“ (чабаны звать „Цуръ-Пекъ“ ягнятко, що народыться не тоди, колы йому слидъ), перехрестылы його, почепылы на шыю мидный хрестыкъ, пидкынули його пидъ козу и вынянчылы въ степу. И ставъ йому чорноморський степъ замисць ридной ненькы, а буйнесенькый—замисць батенька. Не разъ роилася йому въ голови думка:—Та чый же я сынъ?—Мабуть дивочый, безбатченко!—видповидалы чабаны, але жъ за-для Цуръ-Пека се була не зовсимъ зрозумила видповідь, и винъ мирукувавъ про се на самоти.

Высоченько пидбылося сонечко, прыпикае. Въ степу ажъ млосно. Скризь тыхо, навить тырса не зашуршыть; степъ немовъ дримае, або прыслухуеться до чогось, неначе дождыдае якогось свята... Тилькы инколы де-небудь ящирка зацокотыть, або оса заведе сварку та бійку зъ тарантулоу, чы пролетыть бжолы, прогуде всимъ свое ци-и-и-и-и, и знову все стыхне. Тутъ шыроко, просторо, усе дыше жыттямъ; тутъ воля,—воля безъ краю, воля незнайома зъ пашпортамы, воля бродягы.

Цуръ-Пекъ глянувъ у бикъ,—помышныкы и собаки сплять, його жъ отары и не выдко,—десь знову пирнула у море травъ. Отъ винъ вставъ, окынувъ орлынымъ окомъ степъ и гукнувъ:—Гей, цо, балабій, цо!

Зибравшы свое вйсько, Цуръ-Пекъ сивъ знову, выйнявъ сопилку, и сумна писня журлывою хвылею покотылася по сумному безкрайому степу. И чабанъ усе грае, выпивуе свою тугу, та



дывытыся кудысь далеко, де земля, казавъ бы ты, сходытыся зъ небомъ. Тамъ у мраци нибы розливаються чудови озера зъ чаривными будынкамы, про яки винъ чувъ хлопцемъ въ казкахъ видъ чабанивъ. Выспивуе чабанъ, а слъозы тремтять йому на очахъ.—Чого се такъ?—думае Цуръ-Пекъ.—Чого мени не достаетъ Сонце гріе, мени тепло, биля мене собаки, вивци... Безбатченко!...—роитыся йому въ голови. — Богъ зъ нею!... та тилькы бѣ ии Богъ прывивъ побачыты, и я бѣ ставъ другимъ чоловикомъ!...

Сирко сыдыты биля „безбатченка“, не пускае пары зъ рта и слухае чабанську писню, дывлячысь тежъ кудысь далеко, а навкругы ихъ пасеться отара. Ажъ ось писня умовкла. Сирко прокынувся и глянувъ на свого хазяина.

— А що, товарищу вирный,—пытае ласкаво Цуръ-Пекъ,—лепсько намъ теперьъ?

Песъ замахавъ хвостомъ.

— А в-осены погано, мокро, холодно, що й лягты не можна? Сирко заскавучавъ.

— Эге, звисно, погано! Пам'ятаешъ зиму, якъ мы у коши передъ вогныщемъ грились, якъ витерьъ стогнавъ та насъ хуртовына занесла? Зазналы мы лыха! Ага, гавкаешъ! Ты бѣ мене краще покынувъ, пишовъ у село до людей, котри тебе такъ прывиталы.

Сирко почавъ терты ласкаво свою кудлатую мордою по чабановимъ лыци.

— Ну, вирю, вирю, що ты мене не покынешъ.—И винъ погладывъ його по спыни.—А за вовкамы дуже затужывъ?

Очи у вовкодава розжеврилыся, и винъ загарчавъ.

Чабанъ и Сирко розумилы одынь одного. Та воно иначе и не могло буты. Якъ останнього разу Цуръ-Пекъ бувъ у сели (а се було десять рокивъ назадъ), винъ вытягнувъ зъ рову цуценя, взявъ його въ степъ и вынячывъ за пазухою, выгриваючы своимъ тиломъ. Теперь же Сирко—здоровенный песъ, завбільшкы зъ теля, зубы з'йивъ на вовчимъ м'яси. Чабанъ и Сирко николы не розлучалыся; вкупы спалы та разомъ дилылы радистъ и горе. Заслабне, бувало, чабанъ, то й Сирко слабый; весело чабанови—и Сиркови тежъ... Цуръ-Пекъ выйнявъ зъ кышени люльку, напхавъ въ неи пучкою тютюну, выкресавъ огню и закурывъ. Серпанкою потягнувъ сыненькый дымокъ по-надъ головами щаслывыхъ товаришивъ. Пидійшовъ цапъ, ставъ на задни

ноги и поклавъ передни чабанови на плечи. Сирко, побачывшы таку цапыню незвычайнiсть, пидплыгнувъ и видтягнувъ рогатого за вухо на бикъ. Цапъ почавъ борикатыся зъ псомъ, котрый гарчавъ.

— Годи, годи!—крыкнувъ Цуръ-Пекъ на нихъ, усмихаючысь. Кынувшы бйку, борци пидйшли до чабана и полягали коло його нигъ. Вивци за цапомъ лягли тежъ соби, ремыгаючы.

Чабанъ задумався не тильки надъ тымъ, хтб була його маты. Зачувшы, якъ гуркотыть гримъ, винъ не розумивъ, що се таке; хоча йому й казали чабаны, що се Святий Илько йиздыть у берлыни, що се все видъ Бога, але жъ йому у голови щось таке роилось, що не давало йому супокою. Винъ прыкпавъ очыма въ блискавку, прыслуховався, якъ вiе витерь, якъ шуршыть тырса. Миркувавъ соби, одъ чого то видъ однiей травы вивця робыться товстою, а видъ другой—лепеховатою. Збиравъ рижни зилля и надъ нымы тежъ бейкатывся: варывъ, дававъ ихъ овечатамъ, але жъ зъ сього ничего не выходило. Двадцать рокивъ гнитыла йому голову ся цикавистъ, а винъ усе копався у свому неосвиченому розумови. Кожного дня думавъ Цуръ-Пекъ, думавъ, и ни до чого не додумався. И въ таки хвылыны у йому здймалась боротьба. Винъ схоплюеався, лаявся, выймавъ з-за гайтана ножа, нацилявся нымъ, мовъ хотивъ когось заризаты, неначе передъ нымъ стоявъ хтось и глузувавъ зъ його думокъ, бывъ себе кулакомъ у груди, обймавъ Сирка, цилувавъ його, видпыхавъ видъ себе, знову клыкавъ, гладывъ и просывъ прощення... А потимъ выймавъ сопилку, и чудова степова писня неслася далеко видъ заплаканныхъ очей дыкаря и заспокоювала його збурене сердце. Тоди винъ бажавъ прыгорнуты до себе цилый свить, усихъ, навить кузочки, прыгорнуты до груди, та такъ прыгорнуты щильно, щобъ роздавыты свое сердце, щобъ воно бильше не былось. Багато де-чого передумавъ на одынци чабанъ, але його думкы заховавъ нимый степъ, и ни хто ихъ не знавъ. Може й видчувавъ одынъ хиба Сирко, може тежъ мучывся за свого товариша и багато де-чого переказавъ бы, та Богъ не давъ йому мовы. Ось разъ, въ таку годину Цуръ-Пекъ прожогомъ прыпавъ ухомъ до земли. Сирко насторожывся. За килька хвылынъ задзвонили дзвиночки, пиднялась курява, чымъ разъ бильше наблыжаючысь до отары. Собакы прокынулись, забрехали и кынулись мыттю у-передъ Отара заворушылась.

— Циба!—гукнувъ чабанъ, и псы розбрелысь, кожнѣй на свое мѣсце. Пид'ѣихала тройка добрыхъ коней, а навколо неи п'ять людей селянъ верхамы. На визку сыдивъ урядныкъ. Чабанъ и Сирко оглядалы цикаво незваныхъ гостей. Урядныкъ злизъ и пидѣйшовъ до Цуръ-Пека. Селяне позлазылы зъ коней и пишы за нымъ.

— Чый вивци?—спытавъ по-московськы урядныкъ чабана.

— Панськи.

— А хто панъ?

— Не знаю.

— Якъ-то? Ты не знаешъ, у кого служышъ?

— На вищо мени знаты. Я все дистаю зъ гарбы, а туды вже видъ пана харчъ прывозыть на мѣмыть.

— Де Иванъ Патлатый?

— Хто?

— Патлатый Иванъ?

— Иванъ?

— Ага!

— Такого у насъ нема.

— Не правда!... Ты хто такый?

— Чабанъ.

— Якъ тебе звать?

— Цуръ-Пекъ.

— А им'я?

— Им'я?... Им'я?... Чабанъ!

— Та се твое „занятіе“, а им'я якъ?

— Кажу—чабанъ!

Селяне засміялысь.

— Дуракъ!—крыкнувъ урядныкъ.—Якои ты виры? Богу молышся?

Цуръ-Пекъ знявъ куйнару и перехрестывся.

— Ну, значыть православный?... Якъ же тебе клычуть: Иванъ, Петро, Мыкола?...

— Цуръ-Пекъ.

— Тьфу! Покажи свѣй пашпортъ!

Цуръ-Пекъ вытрищывъ очи, ничего не розуміючы. Сирко споглядавъ то на своего хазяина, то на гостя.

— Твѣй выдъ на жыття?

— Мѣй выдъ?

— Такъ!

— Дивиться, я жъ осьдечкы.

Селяне пырснули зо смиху.

— „Бумага“ така для жыття выдається!—пояснывъ урядныкъ.  
Цурь-Пекъ здвыгнувъ плечыма й покрутывъ головою.

— Безъ пашпорту жыты не можна!

Чабанъ усмихнувся.

— Отсе таке у-перше чую, що безъ якоись „бумагы“ жыты не можна. Якъ се—я живый чоловикъ, а у мене вашои „бумагы“ нема; та на вищо вона мени здалась?

— На вищо, на вищо!—перекрывлювавъ урядныкъ.—А для того, щобъ... щобъ ты, „оболтусъ“, мигъ свобидно жыты.

— Та мени въ степу и такъ свобидно: куды захочу, туды й пиду!

Урядныкъ з-пересердя побилить, якъ крейда.

— Я тебе, поганцю, пытаю послидній разъ: йесть у тебе пашпортъ?

Цурь-Пекъ глянувъ на Сирка, нибы пытаючы його—що, Сирку, чы не знаешъ ты, про вищо насъ пытають?

Песъ заклипавъ очыма.

Чабанъ нибы зрозумивъ и такъ одризавъ:

— Ни, нема у насъ того, и скильки живемо, про се николы не чувалы.

— Брешышь, каналія! Ты йесы Иванъ Патлатый, ты скрываешся: ты волоцюга, утикъ зъ Сыбиру, я тебе по особлывыхъ знакахъ пизнавъ!

Цурь-Пекъ не розумивъ, що таке Сибирь, що воно означае волоцюга, видкиля винъ мигъ утикаты, хто и на вищо за нымъ шукають, чого видъ нього хочуть, що на нього спыхають. Винъ стоявъ заклыкый.

— Ты пидешъ, брате, зъ нами!...

— Куды? За чымъ, колы мени й тутъ добре?... Никуды я видсилъ не пиду!

Урядныкъ ажъ затрясся и вхопывъ Цурь-Пека за плечи, але жъ въ ту саму хвилью кынувся Сирко на груди ворогови, и якъ бы той въ часъ не выпустывъ чабанськихъ плечей, песъ напевно перегрызъ бы йому горло.

— Циба!—крыкнувъ чабанъ. Сирко опустывся на землю. Урядныкъ оперезавъ його нагаемъ, але лице чабана занялось вог-

немъ, въ очахъ пробигла наче блискавка, а въ руци його блиснуть вельчезный ниждъ.

— Себе дозволяю быты, але за собаку я тоби жывить роспорю!

Урядныкъ вытягнувъ шаблюку й гукнувъ до селянь:

— В'яжить того розбийныка!

Ти, побачывшы ниждъ у розлюченого звиря, зробылы не хочы крокъ напередъ и зупынылысь. Сирко, настовбурчывшы шерсть, загарчавъ на ворога. Чабанъ свыснувъ, и за хвылыну вси собаки-вовкодавы оточылы його, вышкирылы зубы и лышь дожыдалысь хазяйського наказу, щобъ розирваты гостей въ шматкы. Прыйизжи замерлы, бо сылы булы не равни. Цуръ-Пекъ, засунувшы ниждъ у гайтанъ, зложывъ руки на груди и сказавъ до селянь:

— Ну чого жъ стали? Берить, колы велено!

Не далеко выдко було, якъ прокынулысь товаришы у помичъ Цуръ-Пекови одъ його свысту и йшли до нього.

Селяне ззырнулыся та чымъ дужчъ на коней и мыттю кынулысь видъ отары.

Такъ и пойихавъ ни зъ чымъ урядныкъ. Въ степу стало знову тыхо. Цапъ уставъ, побривъ у-передъ, и вся отара зъ гарбою рушыла за нимъ. А по середыни йшовъ вельчно Цуръ-Пекъ зъ Сиркомъ, пиднявшы гордовыто голову.

На другый день знову прыбигъ урядныкъ, а зъ нимъ десятеро верховыхъ зъ ломакамы. Одроче имъ прыйшлось знову повернуты голобли видъ Цуръ-Пека, бо назустричъ выйшы чабаны зъ ножами.

Мынувъ тыждень; въ степъ прыйшовъ гречкосій и заяывъ Цуръ-Пекови, шо до села прыпленталась його слаба маты й хоче зъ нимъ хочъ на-останци побачытысь, бо така хвора, шо може й не выдужае. На сю звистку чабанъ замыслывся, потимъ якось ясно усмихнувся, ударывъ „куйнароу“ объ землю й гукнувъ:— Сирку!—Дали закынувъ на плечи „кгерлыкгу“ та й заспывавъ:

Гей, та степы жъ мои,

Гей та шыроки...

И два нерозлучни товаришы подалысь за гречкосіемъ, простуючы у село. Цуръ-Пекъ ишовъ все дали й дали видъ отары... А згодомъ чорнила тилькы його „куйнара“. Винъ оглянудся, кынувъ прощальный поглядъ на отару, зитхнувъ тяженько и счезъ зъ круговыду.

\* \*  
\*

Ранкомъ пидходывъ чабанъ до села. Червоне сонце з-за обрїю небесного выглядало на-половину. Густый сыый туманъ пиднимався до горы шырокомъ майломъ. Витерь подыхавъ; били хаткы пышалысь помижъ зеленымы садкамы, що мылыся въ роси, блыщали и грилысь проты сходячогъ сонця. Село оживлялось: зъ дымаривъ ишовъ дымокъ; видчынялысь ворота, скрипили возы. Селяне выйиздылы у поле. Дидуганъ-чередныкъ збиравъ череду; бабы зганялы худобу, що ревила все глоснїйше та голо-снїйше...

Ажъ ось сонце пиднялося, туманъ розїйшовся й шырокомъ дзеркаловымъ поясомъ вызначылася ричка. На берези сыдила русява дивчына й пасла гусята, робыла зъ очерету „качечкы“ и пускала ихъ по води. Якъ ось вона зыркнула на бикъ, перелякалась и неначе опарена дременула у село, репетуючы:—Чабанъ, чабанъ иде!...—Побачывшы Сирка, собаки ажъ залылысь, гавкаючы. Люде дывылысь на чабана, якъ на яке чудо. Дитвора ховалася за спидныци жинокъ, смокчучы рукава своихъ сорочокъ и боязко поглядаючы з-пидъ лоба. По-пидъ тыномъ дви дивчыны щебеталы помижъ собою:

— А дывысь, який станъ бравый!—казала одна до другои.

— Що станъ—ты подывысь, яки у нього брави очи!

— Матинко, який прудыусь!

— Що й казаты! Одно слово—орель!

— Отъ якъ бы мени такого чоловика!—зирвалось зъ языка у обохъ дивчатъ разомъ.

Чабанъ глянувъ на нихъ. Дивчата засоромылысь и кынулысь зъ реготомъ у хату, видкиля вже вызыралы ихъ лыця, якъ макивъ цвить. Одынъ чоловикъ зупынився, змирывъ очыма чабана-вельта, почухавъ потылицю и сказавъ:

— Отъ парубокъ, такъ парубокъ! Справдешнїй Голяфъ!—Потимъ добре вылаився,—се-бъ то похвалывъ вельта такъ, що дивчата вже не вызыралы з-за хаты.

Чабанъ пыльно, зъ цикавостю розглядавъ незнайэми йому речи. Йому у той часъ було якось нїяково: його чоґось бравъ острахъ, якъ того вовка, що зловылы въ клитку. Провидныкъ прывивъ його до хаты, де на даху выднїлася бляшана дощечка, а на нїй було надруковано зъ малюнкамы: „Волостьная: Правлѣнїя“; чабанъ увїйшовъ у волость.

— Тобѣ чаво треба?—спытавъ старшына, закыдаючы по московскому.

— Та... тутъ... казаны... моя маты... слаба... Такъ отъ я й... прыйшовъ.

— Пожды, любезный, на двори и ождай супокійно чергы.

Цурь-Пекъ зъ сього тилькы й дорозумився, що треба пидждаты і а двори, щѣ винъ и зробывъ—сивъ на прызбу, а Сирко лигъ коло його нигъ.

Юрба цикавого люду всунулася у ворота. Чабанъ никого не бачывъ; винъ пидперъ долонямы голову й дывывся у землю. На подвир'я в'йихавъ знайомый урядныкъ. Чабанъ почувъ щось лыхе. Сирко загарчавъ.

— Звязать поганця!—заверещавъ урядныкъ на есе горло до соцькыхъ, показуючы пальцемъ на чабана. Нихто не рухнувся зъ мисця.

-- Отже матери нема?!—стогономъ вырвалося зъ грудей чабана. Голова його упала на груди, а кгерлыкга на землю. Чабанъ знявъ зъ себе гайтанъ зъ ножами и власноручно видавъ старшныни. Все здывувалось. Тоди пидійшли до його соцьки. Сирко вышкиривъ зубы.

— Не рушъ!—сказавъ чабанъ.—Цурь-Пека звязаны; винъ стоявъ нерухома и не скидався на лютого звіря, годованця вильного степу, а выглядавъ на покирну дытыну. Зъ Сиркомъ тежъ щось зробылось незрозумиле. Пидибравшы хвоста и вытягнувши в'язы, песь наче прохавъ звязаты й його. По наказу урядныка чабанъ увійшовъ знову до хаты, звеливши Сиркови лежаты тыхо на двори. Въ волости зробылы зъ нимъ слидство, пысалы, палылы сыргучъ, былы по папери печаткою. Колы чабанъ знову выйшовъ на подвир'я, то оглянувся зразу навколо.

— Сирку, Сирку!—клыкавъ винъ товарыша.

Жалибне выття почулося зъ зачыненои клуни. Сирка заперлы.

У чабана блыснулы очи, зубы заскреготалы, а лыце побилыло. Винъ рванувся до клуни, але узброени соцьки оточылы його й повелы у губернію. Усю дорогу Цурь-Пекъ ишовъ задуманый.

— Сирко вые... Убьють, убьють його!...—роилося у важкій голови чабана. Въ губерніи у судейського слидчого знову його роспытувалы, пысалы и знову кудьсь повелы. Цурь-Пекъ не розумивъ,

щó се зъ нымъ роблять? Коны й на чимъ се все скинчуться? Ажъ ось прывелы його до в'язныци. Тяжки зализни двери рыпнули, видчынылысь; задзвенивъ замокъ и поклавъ кинець вильному жыттю чабана. Якъ скинчылося слидство, розв'язалы Цурь-Пекови руки и впустилы до арештанського гурту, котрый заворушывся й загудивъ, неначе рйй. Уси дывувалысь вельтовы. Цурь-Пекъ сивъ и водывъ несамовыто очыма. Арештанты обступылы його и сміялыся.

— Ничого, привыкнешъ!—кепкувавъ злодйй-цыганъ.—Не сопы, не дуйся, якъ шкурать на вогни, а то луснешъ!... Начальство слъозы прольватые!...

Валка зареготалась. Цурь-Пекъ пиднявся, кайданныкы шарахнулись на бикъ, и винъ пишовъ до дверей, важко дыхаючы; очи занялыся вогнемъ, губы поблидлы. Уси прытыхлы й чекалы, що буде дали.

— Куды лизешъ? що вдаешъ дурня?—крыкнувъ на нього пидофицеръ и штовхнувъ чабана у груди. У-гори майнувъ вельчезный кулакъ, и надзорець-пидофицеръ гепнувъ на килька крокивъ шкереберть. Писля сього Цурь-Пека засадылы по наказу начальства на другый поверхъ, въ „одыноку“.

Третйй мисяць сыдыть чабанъ в-заперти, не розумючы за вищо.

— Коны выпустять?—якось то винъ спытавъ у волюцюгы.

— А Богъ його святыи знае! Якъ судъ розсудить...

Але слово „судъ“ було такымъ самымъ звукомъ для Цурь-Пека, якъ и слово „пашпортъ“.

\* \*  
\*

Ничъ. Все спыть. Тыхо. Чуты тилькы ровни крокы вартового та оклыкы: „Хто йде!“... Не спытятся чабановы. Слабый стогинъ вылитае зъ його грудей, бьеться объ засмальцьовани стины буцыгарни и знову вертаеться до арештанта. Нихто його не чуе. Чабанъ кыдаеться на вохкйй соломи. Йому млосно. Млявый, винъ спавъ зъ лыця; його обгортае нудьга по свойй батькившыни, по шырокому вильному степену. Чабанъ два дни вже ничого не йистъ.

— Сирко... що зъ нымъ!... Тилькы бъ побачыты його, тилькы бъ разъ, одынъ разъ дыхнуты у степену, а тоди... тоди...

Передъ нымъ малюеться степъ. Ось Цурь-Пекъ бачыть себе, що нибы винъ сыдыть на пахучйй трави, грае на сопилци,



а Сирко и цапъ ластяться до його, а навкругы отара... „Твій паспортъ?“—чується слово урядника.—За вищо мене мучать, за вищо сюды кynuлы мене, якъ звирюку?... На що розлучылы зъ Сиркомъ?... Я живъ у степу и мени добре було, и Сиркови такожъ. Я тоди бувъ дужый, а теперь немичный: руки дрижать, груди запалысь... Тутъ нудно, нема чымъ дыхаты, а у степу вильно... Сирку!... Бидолашний Сирку! Його такожъ заперлы... Винъ вые!...

Чабанъ скочывъ шпарко зъ соломы и глянувъ мутнымъ, слабымъ поглядомъ у викно и немовъ залякъ на мисци. З-за хмары вырнуувъ мисяць и освитывъ ничь... Далеко чорнився степъ.

— Вые, вые!...—шепче Цуръ-Пекъ. Велычезни крапли холодного поту покрылы його шыроке чоло.—Вые... се винъ!... Якъ левъ кынувся чабанъ до викна, ухопывся за кграту зализну и рванувъ їи килька разивъ. Кграта подалась. За хвылыну Цуръ-Пекъ бувъ вже за муромъ в'язныци...

Недалеко й справди розлягалося выття Сирка. Чабанъ бигъ. Кланцнувъ замокъ рушныци, роздався выстриль вартового... В'язныця прокынулась, заворушылась... Схудлый Сирко, що воликъ за собою перегрызены і налыгачъ, кынувся въ обіймы чабанови пидъ выстрилы вартовыхъ.

— Скорійше, скорійше, товаришу, въ степъ!... Стій... духъ сперло... Щось... у груди коле...—ледве промовывъ Цуръ-Пекъ, спотыкаючысь, и якъ снайпъ повалывся на землю... Варта, що кынулася зъ в'язныци на здогинъ за в'язнемъ, знайшла його мертвымъ. Сирко жалибно вывъ, прытулывшы волохату морду до простриленыхъ грудей безпашпортного товариша...



## Днипрова Чайка.

(Псевдонимъ).


Днипрова Чайка на ныву украинського письменства выступыла р. 1885, надрукувавшы килька поезій та оповидання „Знахарка“ въ збирныку „Ныва“ (въ Одесси). Творы Днипровои Чайки виршемъ и прозою друкувались въ „Степу“, „Правди“, „Зори“, „Л.-Н. Вистныку“ та иншыхъ выданняхъ украинськихъ и окремо („Хрестоносъ“ у Кыиви, р. 1895). Р. 1900 въ черныгивському литературному збирныку „Хвыля за хвылю“ надруковано „Морськи малюнкы“ Днипровои Чайки (усихъ дев'ять),—поззи въ прози, шо вызначаються чудовою мовою та оригинальнымъ складомъ и выявляють справжній талантъ поэтычній.



## Зъ морськыхъ малюнкывъ.

I.

### Дивчына-Чайка.

а Чорному мори йе остривъ суворый-нимый: червоная скеля на буйнимъ зеленимъ роздолли одна пиднимається вгору червонымъ шпылемъ. Не купчатся биліи хаты по ній, и лисъ кучерявый іи не вкрывае, одна тилькы стежка зелена збигае по ній: то течійка воды веснянои прорыла червону ю глыну и вся обросла оксамытомъ-травою, а дали все мертво, все глухо... Та ни бо, не все: оттамъ-о на самому рози, надъ моремъ, де вично лютуе сыый бурунь, на самимъ тимъ рози горыть по ночахъ якыйсь вогныкъ; у день

же чайки лышь сиренькіи вьютъся, кыгычуть надъ моремъ Що то за скеля и що то за вогныкъ, и за що такъ люблять чайки ту суворую скелю?

Давно колысь, кажуть, на остривъ той дыкый прыбувъ чоловік зъ невидомыхъ крайвъ. Десь доля лыхая вганяла за нымъ по всимъ свити, що винъ не знайшовъ нигде инде прытулку. Маленьке дытятко та вбогіи вжытки вынись зъ човна, зализъ у печерю и ставъ соби жыты. Якъ жывъ, чымъ жывывсь винъ испершу—про те невидомо никому. Згодомъ дизналься люде, яка була щыра душа у того чоловіка: що-ночи вогныще вельке винъ роскладавъ, щобъ далеко палало—значыло, щобъ ти корабли та суденця, що биглы по хвыляхъ зеленыхъ, мыналы безпечно суворе каминня та банкы \*) лыхи потаемни; колы жъ розбывалося судно, винъ самъ на маленькому човни смилыво кыдавъ у море нещасныхъ пльвцивъ рятуваты. И вдячніи люде охоче давалы йому вельки дары—и гроши, й скарбы, що возылы на тыхъ корабляхъ,—ничого не бравъ чужоземець, лышь трошки харчивъ на прожытокъ та дрова та смолу, щобъ нымы вогныще жывыты. И скоро дизналься вси про дида чудного, прозвалы його „морськымъ бусломъ“; дизналы й про його дытыну, котру, мовъ русалку, хвыли морськи колыхалы-пестылы, котру и каминня ниме, и ревучая буря жалылы, втишалы. И выросла дывно хороша дочка у старого: била, мовъ пина морська; якъ куширь, кучерявіи косы вкрывалы ии по колина, а очи блакытніи свитылысь, якъ море у ранишніи часъ, а зубы блыщалы, мовъ перла з-пидъ вустъ коралевыхъ. Ничого вона не боялась: ни бури, ни грому, ни гризной хвыли, бо море було ий якъ ридне. И смилыво дивчына кыдалась зъ батькомъ у-купи, якъ часомъ траплялось кого рятуваты, и тилькы до кого торкнеться вона—того не займае розлючене море.

Отъ разъ, накупавшысь у-волю, дивчына тыхо заснула на теплимъ писочку (а море тоди щось мовчало-дримало), и спыть вона й чуе—щось то шепоче; а то мижъ каминня зибралося трое: птыця-бабычъ торбоноса, свынка морская та рыбонька золотипера. Рыбонька й каже:—Вынесу я зъ глыбни перливъ, кораливъ, ясныхъ самоцвитивъ за те, що вона врятувала мене: лежала я, бидна, на банци—хвыли сердыти закынули дуже далеко—

---

\*) Банка—милке мисце. миль, баръ.

пекло мене сонце, посмажыло зябра, крутывсь надо мною мартынь билоперый та хыжий и зъ нымъ моя смерть наблыжалась. Ся жъ добра дытына взяла мене въ руки, всмихнулась прывитно и тыхо пустыла у море—я й зновъ ожыла.

— Я ии вывчу такъ плавать, пирнаты, водыты веселыхъ танкивъ, такихъ ий чудовыхъ казокъ роскажу,—промовыла свынка морская,—за те, що вона, моя добра, годуе мене, дилыться шыро зо мною харчамы; не разъ бы вже й здохла, якъ бы не вона.

— А я ий, — озвалась задумана птыця-бабычъ,—я ий скажу новыну, та таку, якои ниhto ще не знае. Була я за моремъ далеко и чула—прыбудуть сюды корабли та галеры; на тыхъ корабляхъ та галерахъ люде чудни: завзяты, чубаты (ихъ звуть козакамы), никого воны не боятся и мореви навить старому дары не даруютъ, якъ инши купци мореплавци, лышь весламы часто сичуть—зневажають. И море сердыте поклато свій гнивь на чубатыхъ, и доля лыха прысудыла усихъ потопыты, побыты и скарбъ ихъ виддаты каминнямъ та банкамъ та всимъ намъ, морськимъ челядынцамъ. Велькои тайны ниhto ще не знае, лышь ий, мылосердний, повинна я все росказаты за те, що вона и мене зрятувала: злочынецъ якийсь перебывъ мени стрилкою крыла, и я помирала на хвыляхъ зеленыхъ; ся жъ дивчына мыла впіймала мене, замовыла кровь и якогось тамъ зилля прыклала та все годувала—глядяла, ажъ покы загоилысь крыла. За те роскажу ий сю тайну вельку...

— Мовчы!—зашумилы, прокынувшысь, хвыли,—мовчы, не твое бо то дило! Не сміе ниhto дизавагысь про волю велького моря, не сміе ниhto сперечатысь зъ гризнымъ!

Кынулысь хвыли до скели-каминня, сердыто бурчатъ помижъ нымы. Злякана рыбка и свынки пирнули на дно, а птыця-бабычъ изнялась-полетила. Та пизно прокынулысь хвыли: дивчына вчула, скочыла раптомъ и клыче:—Верныся, птыце-бабычу, верныся, усе роскажы до-ладу; не треба ни перливъ мени, ни кораливъ, а ни казокъ чаривныхъ, ни таночкивъ,—лучче мени роскажы до-ладу, щобъ я знала, звидкы чубатыхъ отыхъ выглядаты, якъ безталанныхъ зъ биды вызволяты.

А море лютуе, а море реве:—Мовчы, не пытайся, дурненька дытыно! Корысь, не змагайся ты зъ моремъ, тяжко бо море карае!

А дивчына дума:—Байдуже! Ревить соби, хвыли зелени, чорнійте одъ злосты, казгысь! А я не оддамъ на поталу людей тыхъ

видважныхъ, я вырву изъ пелькы у хыжого моря своихъ безталанныхъ бративъ! Лышь батькови й слова не пысну, бо винъ вже старенькый, незмога йому вже боротысь, а буде велика негода, я бачу.

И день догоривъ, и сонце пирнуло у море. Настала великая тыша. Лышь въ темряви чуты, якъ дидъ бубонуть та збираться варту ночну одбуваты. Дочка попрощалася зъ батькомъ, лягла у печери. А тилькы старый заходывся зъ вогныщемъ, вона заразъ въ човныкъ стрыбнула, усе зготувала, назброилась—бури чекае.

Ще море спокійне, а тамъ щось далеко гуде: то спильнычка моря—хмара грозова иде, иде и моргае страшнымы очыма и темнымы крыламы віе на дрибніи зори, и гаснуть ти зори одъ жаху. Ось витерь, іи посланецъ, налетивъ, засвывставъ, хоче вогныще згасыты. Та дидъ догадався, пидкынувъ смолы,—розгорилось вогныще ще дужче. И витерь назадъ, засоромывшысь, плыгнувъ, и стало все тыхо... Знову и бльжче ревнула грозовая хмара, и цилая зграя хыжыхъ витривъ закрутылася, завыла, штовхнула пидъ боки сонніи хвыли. Хвыли безладно метнулысь до скели,—скеля шпурнула на ихъ каминцямы,—хыжо воны проковтнули гостынци и кынулысь знову до скели. А хмара находыть, и гримъ гуркотыть, и блыскавка хыжо моргае, и буря жене-пидганяе нещасни галеры: шоглы ламае, витрыла дере, купае у хвыляхъ солоныхъ. Та боротысь зъ моремъ видважни гребци, не подаются чубати! И ось надигнало ихъ море, ось розгойдало страшенно и кынуло просто до скели—и скеля завыла, якъ хыжа звірюка, побачывшы ласую здобычъ! И око не вспило зморгнуты—вщентъ вси галеры побыти! Дивчына страху не знае, дивчына плава, керуе човномъ, выхоплюе смилыво втопныкывъ зъ моря и жваво на беригъ безпешный выносыть. Вже ихъ чымало на берези стало,—ще бильше ихъ гыне у мори. А дивчына втомы не знае, дивчына й слухать не хоче, що море ій гризно гукае:—Гей, оступысь, не змагайся зо мною! Здобычъ моя—не оддамъ я даремне! Геть, оступысь, необачна! Доля страшна покарае тебе—оступысь бо!

Байдуже—дивка не слуха! Кынулася хвыля страшенна, утлого човныка мицно вхопыла, кынула геть ажъ за банку, розбыла неначе лушпайку. Дивчына плаче; плаче вона не одъ болю, плаче вона не одъ страху, не за човномъ вона плаче: жаль ій великый, що ничымъ вже ій рятуваты безщасныхъ.—Ни! такы спробу ще

разъ!—Мыттю одежу зирвала зъ себе и кынулась просто у море. Не зглянулось гнивнее море: хыжо коханку свою проглынуло. Та зглянулась праведна доля: смерти соби не знайшла жалибныця видважна—чайкою сирюю зъ моря спурхнула и зъ гиркымъ плачемъ полетила надъ моремъ... А дидъ и не знавъ, що дочка поробляе, та ти козаки, що вона зрятувала, сказали йому. Зъ горя, зъ роспуки дидъ, якъ розводывъ вогныще, такъ въ його й кынувся просто. Згыблы и дидъ, и дочка, та згыблы не зовсимъ: що-ночи вогныкъ на скели блукае, а сири чайки безъ лику расплодылысь на скели, литають надъ моремъ та плачуть-кыгычуть лышь тилькы зачуютъ хыжую бурю,—звищаютъ пловцивъ-мореходцивъ та свидчатъ про давню давныну, про славную дивчыну-чайку.



## II.

### Буровиетныкъ.

Втомылося море; объ беригъ не бѣе, не спивае; на мокрому сывому камени птыця якась незнайома дремае; не збудыть ии ни витерь веселый, ни сонце, ни хвыля: все тыхо, все глухо, и сыви и хмары плаксыво вдывляються въ соннее море. Спыть втомлена птыця, сховала голивку пидъ шарпанымъ темнымъ крыломъ, и сняться ий давни минулии дни: и щастя, летуче якъ пухъ, и горе, тяжке якъ каминня, и грихъ вельчезный, безкрайный, якъ море... Давно те було. Розсыпалысь муры высоки, звалылысь тонки мынареты, турецькый погасъ молодыкъ, що пышався надъ Крымомъ; народъ змандрувавъ, поридлы селытбы густии, самы кладовыща зосталыся скрызъ та руины и сумно вишуютъ про давни часы.

Сонъ-чаривныкъ на веселчастыхъ крылахъ пролынувъ—и зразу зминылась картина: изновъ зашумила Алма и Салгиръ, и веселая Кача, изновъ заряснили садкы, зъ тонкыхъ мынаретивъ смилыво й дэвинко гукають изновъ муэдзыны, шумлять-гомонять городы, бѣе джереломъ въ ихъ жыття вийськове и крамарське, пидъ захыстомъ гризной сылы рядкомъ прытулылысь и ластивка-щастя, и горе-гиркая зозуля. Давнее горе-неволя! Грають, хвылюють торгы, а кризъ гоминъ, и регить, и лайку чується стогинъ не-

вольныкы вь бидныхъ, чується брязкить кайданивъ. Онъ тамъ на торзи пидъ гиллястымъ чынаромъ купка дивчатокъ заплаканыхъ туляться наче ягнята, забачывшы вовка, а ось де и вовкъ: татарынъ пузатый багатый ихъ оглядае поглядомъ хыжымъ и сквернымъ. Онъ тамъ трохы дали—дозорщыкъ, пекельна душа, закупуе гуртъ молодыхъ парубкывъ, выбирае, неначе худобу. Ще дужче розлигся брязкить кайданивъ: черезъ мисто сумно идутъ на роботу невольныкы бидни, не прости рабы—козаки-юнаки, лыхи ворогы найяснйшого хана! За те жъ не звычайно й закути: вь тройчасти кайданы, у-трое дозорщыкывъ зъ нымы, вь дозорщыка довши у-трое бычи... Неначе на глумъ та на посмихъ орливъ Украины прыставылы каминь лупаты та строиты муры темныци на себе жъ. Не годъ и не два вже минялы каты имъ роботу, все тяжчу, все важчу давалы—та держаться жыви орлы-козаки, жыва ще надя вь козачй души, и кризь брязкить кайданивъ чується регить, и жарты, и писня про славу Вкраины. Жыви уси п'ятдесять и чотыри, сывый отаманъ не вмеръ, жыве й осавула той заздрый. Горе тому осавули! На риднй краини никола йому не доводылось статы найпершымъ, найстаршымъ: от-отъ вже, здається, вси змовылысь його обраты,—ажъ гулькъ! вже найшовся хтось другый, а винъ остається, якъ бувъ, осавула та й годи! И прыкро, и заздо йому. И тутъ, у неволи, за батька вси мають старого Трохыма, а його, Гордйя, вси мають за свого лышь брата-юнака. Точыть змя невсыпуща Гордйеве сердце. Не разъ и не два винъ пидбурювавъ хлопцывъ не слухаты батька Трохыма, що каже чекаты годныны слушнои. Старый не пускае бо хлопцывъ тикаты зъ неволи степомъ, черезъ горы зовсимъ навманя; все Бога лышь молыть, щобъ блыжче довивъ ихъ до вильного моря. Молытви й наказу старого спрыявъ самъ Господь: вь Козлови тюрма завалылась, и муры нови муруваты зигналы завзятыхъ невильныкывъ сылу, бо зналысь воны на муравському дили.

Ой, нема, нема ни витру, ни хвыли  
Изъ нашої Украины...

Спивають-рыдають невильныкы бидни, спивалы-рыдалы, ажъ голось втерялы, а сердце мовъ вырватись хоче зъ грудей. Мынаються дни и тыжни—уже не спивають, мовчать козаки, лышь каминь сердыто вь роботы вергають, на море жъ шыроке, зитхаючы, дывляться скоса. Даремне отаманъ старый розважае, рае не кыдаты надйи на Бога, весны дожыдаты терпляче—мовчать ко-

закы, лышь каминня сердыто вергають. Стрипнулося серце въ Гордія: ажъ ось колы винъ попануе, ажъ ось колы його послухають вси козаки.

— Браты-товарыство! Не докы жъ терпиты намъ кляту неволю, не докы жъ намъ пасты дурненьку надію, що вызволятъ насъ землякы! Забулы за насъ наши кривни, и доля одъ насъ одступылась; никто не поможе, ажъ помы самы, набравшысь видагаы, соби не поможемъ. Ну жъ, стрепенитъся, орлы-козаки! Невже вашу сылу до крапли выссала ханская праця? Невже вашу душу юнацьку каминня тяжке задавило?!

Здригнулы невилыныкы вразъ, насторочылы вуха якъ кони, выпвають пожадлыво тую розмову, якъ дощыкъ выпвае въ посуху земля. Даремне вмовляе старый зачекаты ще трохы, хочъ выбраты слущну годыну—куды пакъ! Не слушають диты безсылго батька: якъ кони, що низдри роздулы, копытамы крешуть, козырять вушыма—оттакъ козаки проты батька старого. И скынулы його, отаманомъ вси одностайне Гордія обралы. И смилыво винъ погляда навкругы, и тишытьса честю тією, неначе не ломъ и лопату въ рукахъ винъ трымае, а пышни гетьманскыи клейнды; немовъ не кайданы винъ носыть, а красны гетьманскыи шаты. Весна росцвилася. Зачулы зозулю невилыныкы, — разомъ зибралысь темненькой ночи, кайданы розбылы, посиклы своихъ вартовыхъ на шматкы, розкыдалы геть на поталу собакамъ, самы жъ посидалы гарненько въ галеру и весело кынулысь въ море.

Ласкаво-влеслыво витало ихъ море, шовковымы хвылямы м'яко горнулось, плескало спивуче объ бока галеры, всмихаючысь ясно, маныло въ блакытну свою далечинь. Быстро летыть, распустывшы витрыла, галера, зухвало спивае юнацтво, пышно отаманъ новый похожае, одынь лышь старый щось сумуе: трясе головою, зитхае та пыльно вдывляеться въ обрй.

— Чого се ты, диду, сумуешь? Чы ханской шкода неволи? Чы прыкро, що тебе зсадылы?—жартлыво спытався Гордій.

— Ни, сыну, не шкода неволи, проклятои трычи, не жаль, що повагы позбувся, а жаль мени й дуже на васъ молодыхъ, що радіете рано: у насъ попереду буйне та зрадлыве море, позаду—ворожа погоня, а третя беда—що по морю дороги никто зъ васъ не знае.



— Годи, старый, не твоя то печаль, сыды соби тыхо та дышь: на свой мы дорози, погоня за нами не вспіе, а море, якъ лялечка, тыхе.

— Гараздъ, якъ все буде гараздъ...

— Гараздъ усе буде: отаманськымъ словомъ ручуся!

— Дай, Боже!—зитхнувъ сывоусый.

А море палкійше галеру витае, що дали—усе голоснійше спивае; убралося хвильямы рясно, вквитчалось въ перлыстую пину. Летыть лехкоккрылою чайкою въ мори галера, ажъ ось, якъ шулика, и наганяе ще більшая друга и мае червонымъ на щогли значкомъ. Тоди схаменулысь неவில்ныкы бидни—и смерть, и неволя заглянула въ душу, и думка страшная утроила сылы.

— Витрыла крипы и пускайся на Божую волю! — гукнувъ той новитній отаманъ. Лехко звылыся на щогли рухлыви витрыла, галера якъ птыця полынула въ море, сховалась за хвильи високи; ворожа догоня далеко zostалась, не стала вганяты за нею, назадъ повернула. Здыхалысь першого лыха неவில்ныкы бидни, такъ друге настыгло: дорогу втерялы. Клопочеться сывый и рае дорогу по зоряхъ держаты. Де-кто згодывся и ставъ роздывлятысь, такъ лыхо,—Гордій ажъ спалахнувъ:—Самъ, каже, знаю дорогу!—и ставъ пры стерни (за першого й тутъ винъ себе уважае). А море насупыло биліи бровы и пащеку темну роскрыло, реве та клекоче, мовъ пекло. Зрынае мижъ хвильямы утла галера, скрыпытъ вона, стогне, а витерь спива козакамъ панахыду. Стоить такы жъ твердо отаманъ новитній, керуе по морю, а сывый у голось за всихъ уже молытыся Богу. Цилую ничъ зъ бурунамы бо-ролась галера, а ранокъ рожевый на неби загравъ—побачылы берегъ потомлени бидни пловци. А море бушуе, а море клекоче и лизе, неначе скажене, на гостре каминня. Вже й молытыся вдяч-ни пловци, вславляючы Бога, що ось перевивъ ихъ кризь море и беригъ вже имъ показавъ. Озався отаманъ старый до Гордія, щобъ давъ винъ йому керуваты мижъ скель та пидвидныхъ каминнивъ.

Зухвало одмовывъ йому молодой отаманъ и все жъ коло стерна лышывся.

Веселее сонце устало надъ моремъ, всмихнулося все йому любо: и небо, и хмары, и скели, и море,—одни козаки не всмихнулысь: по хвильяхъ зеленыхъ гойдалысь трискы одъ галеры, а ихъ и не выдко: усихъ поковтало несытее море. Одынъ лышь отаманъ

зостався: вчепывся за скелю рукамы и высить надъ моремъ. Прыйшовъ винъ до пам'яты, вылизъ на каминь, поглянувъ на море и грихъ свій великий, безкрайный, якъ море, тоди тилькы зважывъ и ставъ винъ себе прокlynать. Блажавъ винъ у Бога, якъ мылосты, смерты и кынувся зъ скели у море,—скаравъ Богъ нового Іюду, не давъ йому скинчыты муки, и море його не пожерло: пташыніи крыла на спыни з'явылысь, легеньке-маленьке зробылося тило, до темного пир'я й вода не прыстане, и птыцею скинувся отаманъ Гордій. Заклявъ його Богъ такъ конаты весь викъ и смерты не знаты, ажъ поky хто другый, втопаючы въ мори, його не згадае, за його въ свой передсмертній молытви гнивного Бога не вмольты. И ось винъ зъ тіеи поры литае надъ моремъ, якъ птыця нещастя, и люде прозвалы его „буровистныкъ“, не люблять, жахаються гостя такого. Литае безщасный надъ моремъ, де буря заграе смертенной писни, литае та втопныкамъ въ вичи усимъ заглядае и жалибно квылыть даремне...

Здригнувся кризь сонъ буровистныкъ, розшыривъ потерзани крыла й помчався свить-за-очи знову шукаты кинця своимъ мукамъ...



### III.

## М а р а.

Вики за викамы мынають, сплывають, якъ хвыля на мори: якъ хвыля то зносыть писокъ въ глыбыню, то знову наносыть на беригъ,—такъ само и часъ выробляе: то зитре и слиду не кыне того, що колысь истнувало, то знову розкрые безодню свою и выкыне давне мынуле людямы на дыво.

Въ руинахъ, землею покритый, порослый увесь бур'янами лежавъ Херсонесъ стародавній и мовчки мовчавъ про мынули колышніи дни. Наставъ иншый часъ. Въ руинахъ забытыхъ зибралыся люде нови, розкопалы, розкрылы нимую могылу, шукають, пытаються правды про давніи дни. Били руины блыщать соромлыво проты веселого сонця; порожни цистерны суворо чорніють; розбыты богы не пышають въ розваленыхъ дrevныхъ храмахъ: у землю, въ густы бур'яны ховають скаличене тило. И городъ за-

мерлый неначе зитхае, неначе ажъ стогне пидъ ломомъ, пидъ заступомъ гострымъ. Злякана грюкомъ зъ темныхъ печерь та провалливъ сумная мара вылитае и носыться скризь по-надъ мистомъ померлымъ. Въ день ще, пидъ сонцемъ яснымъ, не посміе вона показаты облыччя, въ ночи жъ и побачышъ ѝи, и почувешъ: то хмаркою лыне по неби надъ мистомъ, то вогныкомъ сынимъ блукае въ каминняхъ, зитхае, шуршыть невыдымымъ крыломъ, а въ хвыляхъ спивучыхъ, пиль берегомъ, круто звысаючымъ въ море, щоденно, щочасно рыдае, зитхае, перебира каминцямы та шепче.

Мисяць на неби засяе—изъ билои пины, зъ туману встають якись постати дывни, танкомъ передъ скелею ходять, и скеля тоди оживае: ворущыться сывый бур'янъ на чоли и, весь тремтючы, одхыляється каминь одъ скели, звысае надъ моремъ; той каминь—поглянь—вже не каминь: то дидъ вельмы древній, у темній одежи, а лысына ясно блыщыть у мисячнимъ сяйви, сыва густа борода по колина, въ руци його молотъ, ризецъ та ще циркуль, другою жъ маныть изъ моря до себе своихъ прехорошыхъ гостей. И пидходятъ уси по черзи: то дивчына жвава, то пышная жинка, то хлопецъ стрункій, то велетень гордый зъ облыччямъ царськымъ, то дятятко маленьке; пидходятъ до дида и жаливно молять-благають объ чимсь. Дидъ оглядае ихъ пыльно,—и кожду ту постать скаличено тяжко: въ тїей руки, у тїей ногы, головы або часомъ и тила нема зъ половины. Побачыть се дидъ—застогне хрыпльво и пхне ѝи въ море; вона заголосыть, и, въ море упавшы, розсыплеться в-щентъ каминцямы дрибнымы, а друга тымъ часомъ пидходыть изъ моря. А той, перебравшы усихъ, сходыть зъ высокои скели, до свиту блукае по берези сумно, рые дрибни каминци: то збирае до-купы, то личыть, то зновъ роскыдае, то тяжко зитхае. А тилькы зоря свитовая засяе на сходи, старый поспишае на скелю, оглянешься сумно кругомъ и, тилькы побачыть въ руинахъ свій городъ, застогне и каминемъ тяжке впаде, а душа його тыхо марою полыне по древнихъ убогихъ руинахъ.

Давно колысь, дуже давно, якъ руина отся прозывалася ще Херсонесомъ славетнымъ, колы ще гойдались густо пры берези грецкыи галеры, а берегъ, мовъ та комашня, кыпивъ - гомонивъ одъ народу, гора жъ красувалась храмамы, садкамы, хатамы,—дидъ сей ище не блукавъ по-надъ моремъ журльво; не хвыли морськїи виталы його—виталы, вславлялы його хвыли народу й свого, и чу-

жого. Великий мистець бувъ Менандръ: ще змалку ласкави боги надилылы його хыстомъ вельчнымъ,—пидъ його руки каминня нимае оживало, и мрамуръ неначе ажъ дыхавъ, и мидь ворущылась, слоновою кисть и дерево всяке, и глина — усе воскресало у постатяхъ дывныхъ. Слава Менандра далеко сягала: з'їздылыся гости зъ далекихъ краивъ, и зъ Греції навить старои офиру въ храмахъ херсонеськихъ ласкавымъ богамъ прынести та глянуть на пышни менандрови творы.

— Щасливый Менандръ молодой! — гукають повсюды. А винъ в-половину щасливый: не тишыть гримучая слава, бо клопить мистецький и клопить громадський разомъ на душу його наляглы и потьмарылы промивъ блискучои славы.

Розрисся, росцвивсь Херсонесъ, мешканци його диждали бажаного часу. Диждали, а все жъ бо несыти: въ грудяхъ у кожно-го бьеться эллинське завидыве сердце, жада и себе ще дужче прославить, всю славу старои Эллады соби переняты. Юнакови кожному сныться лавровый винець триумфальный. Сныться винець и мордуе Менандра, муляе, наче терновый, безсоннее чоло. Невпынно працюе Менандръ, що-день прыбыльшається пращи, що-день наростае и клопить,—усе неконгентный Менандръ: „Не те! все не те“!—бубонуть винъ сердыто. Не бачыть ничого Менандръ молодой: ни веселощивъ гучныхъ хлоп'ячыхъ, ни гарныхъ дивчатъ, що, якъ квиты за сонцемъ, кохано пыльнують за нымъ; одне тилькы й бачыть, однимъ тилькы й дыха: такъ ще навчытысь липыты та ризать ризцемъ, якъ въ свити ништо ще не ризавъ, и тымъ Херсонесъ свій прославить въ цилому свити. З'їздывъ Менандръ всю Элладу, коженъ каминчыкъ въ Акрополи знае, кынувсь въ Египетъ довичній, заносыла його завзятая думка и въ схидни таемни краи, и въ Рымъ гордовытый. Втомлений, скудлый, суровый вернувся до-дому Менандръ. Хымерная думка все дрычыть, спійматы ниякъ не дається, бо ще не наставъ його часъ. Втомывся Менандръ и подався мижъ люде — видрады шукаты. Знайшлася видрада ще й хутко: прегарна Феано выгнала зъ сердца ту в'їидыву думку. Щасливо побралысь коханци; рикъ першый пролынувъ и другый; на третій зирнула думка забута, до сердца прыпала и ссе його, наче гадюка, мозокъ морочить и тило в'ялыть. Горе Менандрови, горе! Не разъ и не два одкрывався коханій дружыни, бажаючы шырои рады,—палка лехкодуха красуня не хоче звертаты увагы на дывніи сны, на замиры вельчны,

сміється зъ завзяття Менандра. Що день, що хвылына—все гирше. Ставъ уныкаты Менандръ у робитню: замкнется самъ-насамъ, тыжнямы його не вытягнешъ звидты. Феано жъ палка репетуе: жаліється родычамъ, вирнымъ сусидамъ, а тамъ старшыни почала докучаты, щобъ кару яку на Менандра поклалы, що зъ жинкою жыты не хоче. Сходывся ридъ весь, вмовлялы сусиды, втручалысь свои й не свои — надаремне! Упертый Менандръ одмовляе усимъ:—Повыненъ я те утворыты, до чого велики богы надалы мени викъ, и таланъ, и сердце Эллина. Невже жъ мы на те прысяглыся жыть-працюваты на славу свого Херсонеса, щобъ слово велике зломыты для жинчыныхъ прымхивъ?— Вырикъ—и змовкъ. Зацпыло кривнымъ, сусидамъ, зныклы порадныкы зъ двору Менандра. Самъ винъ видрикся одъ жинкы и дрибныхъ дитокъ, замкнувся въ робитни, пестыть божевильную думку. Довго терпиты Феано не сыла: жыття безъ кохання було їй не мыле, и наглою смертю померла красуня палка. Очумавсь Менандръ одъ думокъ, прочнувся до пекучого горя, вбирае померлу дружыну, го трупы їи прыпадае, и просыть, и плаче, и хоче красою дружыны в-останне й на викъ натишыты очи. И ось затремтивъ, побилывъ, а очи загралы, мовъ зори: то давня хымера з'явылась, то загадку мудру Менандръ розгадавъ!

— Знайшовъ я, знайшовъ!—скрыкнувъ Менандръ божевильно,— ось вона де таемныця жывои красы: склепылысь очи блыскучи, злынялы роскишніи барвы и въ мрамуръ холодный та билый жывая краса обернулась. Стрывай же! Холодному камню дамъ я хварбу, дамъ очи жывіи, дамъ поглядъ тымъ очамъ—и мрамуръ, и мидь оживе, и въ постати дывній и ты оживешъ, моя страдныце бидна! Прославлюся я и на-викы я край свій коханный прославлю—на-викы!

Плынуть роки за рокамы. Втишається батько Менандръ на любыхъ дитей—Фалеса та Зою маленьку. А въ темній робитни, куды не пуска винъ никого, пануе вельчняя постать богыни Деметры—точнисинько жинка покійна, Феано; за нею зъ куточка Эроть выглядает. Багато-багато въ робитни назбирано каминю рижныхъ хварбивъ: мрамуръ рожевый, билый, червоный и жовтый, слоновои кости в'язанкы, въ скрынькахъ каминци-самоцвиты и срибла, и золота купы. Не скарбъ же жъ ховае Менандръ одъ людей: ховае винъ власни замиры вельчны. Мынуло ще килька рокивъ. Зрослы и Менандрови диты, и самъ винъ прыстаривсь:

кучери чорни прыпали морозомъ, думкы пооралы колысь прехороше облыччя,—ничого не бачыть Менандръ, бо винъ увесь клопоту повень: яку бъ то голивку найкраще прыдаты краси-Афродити? Зъ кого бъ злипыть Геліоса? Де бъ зразокъ знайты для Арея?

Клопоту повный выйшовъ Менандръ невсыпущый колысь прогулятысь въ садочокъ. Пышный садокъ розвели Зоя зъ Фалесомъ надъ моремъ кругомъ по гори, посухамъ та витру на злисть квиткамы засіялы рясно, кругомъ обвели кам'яною стиною. Тилькы надъ кручею стинкы немае: грае-спивае тамъ вично хвлястее Чорнее море. Часто Менандръ на тимъ мисти сидавъ и у моря пытався порады. Ото соби йде на знаомый шпыльчокъ, думы його обляглы и никому його розважыты, никому даты видрады. Згадавъ винъ покійну Феоно:—Чого бъ то не жыты въ ладу та коханни? Чого бъ то, кохаючы серцемъ, не вчуты того, що для мене дорогше надъ все?—Згадалось мынуле кохання, згадалысь палки поцилункы и любая, тыха розмова. И справди—въ ту жъ саму хвылыну почувъ винъ палки поцилункы и люблю розмову, й солодке зитхання: въ гушавыни темній пидъ пышнымъ рожевымъ кушемъ, до цилого свиту ними и глухи—сыдили коханци щаслыви.

— Зюечко!—скрыкнувъ здывованый батько.—Сполохана дивчына здригнулась, скочыла прудко и стала на ривній ногы предъ батькомъ: лыця палалы вогнемъ, станъ колывався, неначе тополя пидъ витромъ, а очи, шо доси спускала у-нызь соромлыво, вразъ пидняла и глянула просто на батька,—и чорніи очи засялы, мовъ зори.

— Жыва Афродита!—скрыкнувъ въ запали Менандръ, и батькивьське серце здавыла мовъ клищамы думка: хто жъ то посмивь одбываты у батька таку несказанну красуню? Гляне—стоитъ билия Зои якыйсь чужоземець: стрункий, кучерявый, блакытніи очи сяють, мовъ небо, на билимъ высокимъ чоли залягла и видвага спокійна, и дума высока.

— Скажы мени—хто ты, о, хто ты, чудовый? Чы ты Геліосъ незривняный? Чы людська дытына, до бога самого подибна?

— Патроклomъ мене нареклы, зъ далекого Занте я родомъ. Не гнивайся, батьку ласкавый: такъ мабутъ богы прысудылы, щобъ саме въ той часъ, якъ галера моя прыставала, дочка твоя любя до берегу выйшла, з'явылась, якъ втилена мрія. И зглянулысь

очи зъ очыма, и сердце до сердца озвалсь,—такъ мабуть боги присудылы—и ось теперь бачышь, коханци щаслывы отуть стоимо предъ тобою—зглянься, нашъ батьку ласкавый!

Радисть и щастя пануе въ Менандра въ подвир'и: Зоя зъ Патрокломъ побралысь щаслыво, а самъ винъ въ робитни—кинчае дви постати дывни: рожевого мрамру тило вылыскуе, наче живе, от-отъ лышь не вие тепломъ; чорни агатови очи, якъ чорніи зори гыскрють, темніи косы спадають на биліи плечи з-пидъ золотого винця—то Афродита, богыня красы и коханья. Зъ нею у-поручъ стоить Геліосъ: билого мрамру тило юнацькои повне красы; горде облыччя усе облямоване пышнымъ волоссямъ изъ щырого злота; очи—сафиры блакытни. Третяя постать—Арея, бога вйны,—темна спижова,—ще не дороблена й доси: все головы ще немае, тило жъ струнке та м'язке, скрызъ напружылысь жылы, немовъ мотузками його облелы, сувора постать повна видвагы та гниву.

— Де бъ я побачывъ той выгазь, якый мени марыться въ думци неясно? Соромъ! У нашимъ краю вже зовсимъ перевився той образъ! Мабуть такы доведеться въ Спарту далеку податысь.

Такъ розмовляе Менандръ, клопоту повный, не знае й не чуе, що коиться въ ридному краю. Скоилось те, що й не разъ вже бувало: встрявъ Херсонесъ у завидлыве око сусидамъ, не разъ завертали непрохани гости до його зъ степивъ чорноморськыхъ. Ныныкы воны налетилы, немовъ сарана, несподивано городъ кругомъ обляглы: видъ кинського топоту, скрыпа возивъ та незграбного, дыкого крыку надъ городомъ стогинъ стоить.

Замыкано браму, на мурахъ у-трое поставлено варту, старе й молоде выражається хутко до бою. Байдуже Менандрови: такъ же жъ сыдыть, якъ сыдивъ, у робитни. Хиба се першынка? Хиба въ Херсонеси вже вйська бракуе? Чы муры його не высоки? Чы варвары справди зробылысь розумни та дужчи за грекивъ? Нехай же гвалтують—винъ пращи своеи не кыне. А челядь усе надбигае, звисткы прыносять сумніи-страшніи. Ось и Фалесъ молодой: вбигъ у робитню винъ просто, кынувсь опукою батькови въ ноги.

— Нещастя, нашъ батьку! Гыне нашъ городъ! Сыла ворожа зростае! Пусты мене, батьку, на муры!

Збентеженный батько дывывся на сына, и очи його засялы велычнымъ вогнемъ.

— Сыну, надіе, видрадо моя! Хай праведни боги підкреплять у правому дили правыцю твою! Иды жъ, поспишай, офируй свою сылу ридній краини!

Выхремъ помчався Өалесь, а батько стоявъ нерухомый, и зъ сяючыхъ гордыхъ очей мымоволи сплывалы непрохани сльозы. Глянувъ Менандръ и схопивсь за ризецъ:—Ось колы выкинчу дывную постать! Ось де втилытыся мае Арей!—Въ городи гвалтъ, биганына, распачъ жене непрытомныхъ мешканцивъ, якъ борвіи на мори бурхлывіи хвыли.

— Постати дывни мои! Диты мои найдорогши, мои олимпійци преславни! Де бъ васъ сховаты?

Клопочеться бидный Менандръ, склыкае всю челядь, звеливъ переносыты скарбъ свій въ печеру таемну надъ моремъ, видому для його самого. Ще не скинчылы челядныкы праці,—рынула хвыля народу у браму, на плечахъ несуть воны тило Өалеса, коханого сына. Кынувся батько до його зъ рыданнямъ, а другая хвыля уже напирает и зносыть высокую браму. Глянувъ Менандръ и вжахнувся: люде не люде, и звири не звири—дыки, сувори, брудни, напивголи, въ шкурахъ звирычыхъ; вовчи, ведмежі морды на тим'и стремлять; хвосты телипаються з-заду; въ рукахъ прездорови луку та дубовіи довбни тяжкіи. Боронять подвир'я Патроклъ, сиче ворогивъ на капусту, а Зоя, била мовъ крейда, зброю йому подсе. И не вытрымавъ бравый—упавъ, наче дубъ пидъ грозою, и хыжая зграя въ ту жъ мыть черезъ трупъ поскакала у двиръ. Не хоче вродлывая Зоя датысь у руки живою: якъ дыка коза легконога, вона подалася прозь садъ ажъ до моря; догоня за нею уже настыгае, вона жъ якъ метелькъ звлася на скелю и раптомъ стрыбнула у вильнее море...

Орда обступыла Менандра, дывуються вси на постати дывни. И ось якись двое спустылы пернатіи стрилы. Одскочылы стрилы одъ мрамору просто, зломылысь и впалы пидъ ноги богамъ, а боги нерухоми стоялы, спокойно пышалы своєю красою. Тилькы Менандръ—якъ левыця, зненацька сполохана раптомъ,—кыдавсь, богивъ боронывъ: старый, неназброеный, сывый—винъ страшно дывывся на дыкыхъ. И страхъ невымовный напавъ ихъ: покыдалы довбни и стрилы, побиглы уси, мовъ сполохани гусы, скупчылысь, наче ти вивци, у брами. Остався Менандръ сыротою и дякуе мудрымъ богамъ, що робитню його и творы його захыстылы.



Мынають роки за рокамы. Забувъ Хорсонесь про минулу лыхую годыну, ще дужче почавъ богатить; и зновъ у йому, якъ бувало, усобыци яро кыплять, роздырають громадське жыття Херсонесу.

И такъ поришылы правытели мудри: нижъ бытысь та свары чыныты на глумъ та на втиху варварамъ хыжымъ,—оддаймося краще пидъ дужую руку славетного Рыма. И Рымъ не одмовывъ—дяка йому!—прыславъ свое вйско, урядъ встановывъ, потроху-помалу прыборкалы крыла сваволи, потроху забрали усе, чымъ бувъ дужый, багатый до того часу Херсонесь, забрали мицнымы рукамы, сказали:—Се наше по праву.—И ставъ Херсонесь замираты не въ поли, не въ чеснимъ бою, не въ неволи ворожій, а въ дружнихъ обймахъ рымлянъ, одъ ихнього догляду й ласкы. Ничого не знае Менандръ, зовсимъ божевильный винъ ставъ: оплакавшы любыхъ дитей, зовсимъ винъ людей одцурався, працую невпынно та просыть богивъ, щобъ продовжылы трохы ще вику, щобъ выкинчыть цилый Олимпъ, поставыты його въ найкращому храми на славу и честь Херсонеса, на дыво прочанамъ, що сходылысь зъ цилого свиту.

Прочулы про дида чудного и рымськи гульвисы, зибралысь юрбою, на те не вважають, що жадень зъ його землякивъ не посмивъ бы йому заважаты, колы винъ въ робитни самъ-насамъ; зибралысь и зъ галасомъ сунулы просто въ робитню и вразъ остовпили: предъ нымы одкрывся Олимпъ нерухомый въ краси несказанній. Одынъ лышь Менандръ престарезный впадавъ коло постати Зевса, зитхавъ, бубонивъ самъ зъ собою:—Старый ты и вбогий Менандре! Розтратывъ, никчемо, маеткы: не маешъ, чымъ славного Зевса оздобыты такъ, якъ бы варто було.—Мовчкы одынъ по одному выйшлы рымляне, побиглы до пана свого, розказалы про дывного дида. И другого жъ ранку прыславъ до Менандра вельможа багати дары: прыславъ и слоновой косты, и золота, й срибла, щобъ мавъ чымъ Зевеса скинчыты, якъ гидно. Древній мыстець ажъ воскресъ: и днюе, й ночеу въ робитни, працую, немовъ молодой, забувъ за смагу й за голодъ, забувъ за лита свои древни: одне лышь—працую, працую. И дывная постать выходыть з-пидъ рукъ майстерныхъ! Слоновой косты роскишнее тило, въ рукахъ блыскавыкы золоти, зъ золота жъ кути, изъ срибла роскишній шаты,—каминнямъ оздоблени рясно ти шаты,—и очи горять самоцвитомъ, якому цины вже немае. Скин-

чывъ усе врешти Менандръ, одійшовъ, подывввся, одкынувъ струмента и впавъ передъ поstattю ныць—и плаче, й сміється... Саме въ той часъ изъ пойиздомъ пышнымъ прыбувъ у подвир'я и рымськый вельможа. Лышь глянувъ—и рымляннъ гордый вклонывся у ноги старому:—Старче велькый! Нема тоби ривно-го въ свити! Фидій давнишній воскресъ бы, та й той уклонывся бъ тоби! Я, рымляннъ, честь и краса свого війська, другъ цисаря навить самого, и я тоби, старче, вклоняюсь! Прымы се витання, на завтра жъ готуйся прыняты витання одъ цилого краю. А вы, челядынцы моторни, идить—повистить херсонесцямъ велькее свято: зъ темрявы, зъ тисного кутка пидъ вольнее чыстее небо, предъ очи народу мы вынесемъ рано безсмертній творы Менандра. Ламайте жъ бо лавры и мырты, зрываите квиткы, заплитайте винкы несчысленни, пахощи зносьте, быкы круто-роги та вивци рунысти зганяйте! Божіи слугы—жерци хай вбираються въ пышній шаты! Все мы помолымось вкупи, подякуймо вичнымъ богамъ, и Менандра старого вквитчаемо лавромъ! Та ни, не въ тисному сьому Херсонеси пышаты безсмертній краси: у Рымъ тоби, старче, дорога! Тамъ цисарь и війско, и тьмы несчысленни народу витатымутъ тебе, якъ гидно! Найкраціи рымськы храмы прославляються творама, старче, твоимы! Самъ цисарь тебе нарече своимъ майстромъ. Одъ оплескивъ дружнихъ ввесь Рымъ загремыть, и слава крылата по цилому свити полыне, тебе именуочы, старче!—Ще бъ, може, довго балакавъ велькоричывый вельможа, такъ ветхый Менандръ вже не вытрымавъ дали: зомливъ, захытався и впавъ бы, якъ бы не пиддержалы люде.—Диждався!... диждався!... хвала вамъ, безсмертни!—Менандръ шепотивъ.

— Спочынь же, Менандре, а сонечко тилькы устане—пойиздъ я пышний по тебе прышлю.

Уси розійшлыся, замовкы хвалы, лышь море пидъ кручею грае та мисяць червоный выходыть з-за гиръ; ось винъ пидбывся у-гору, надъ хмарою ставъ и все заыскрило пидъ сяйвомъ його чаривнымъ. Менандрови й доси не спытъя: уставъ винъ, простуе въ робитню ще разъ надывытысь на ридній творы. И мисяць слидкомъ за Менандромъ прокрався у двери и проминемъ срибнымъ обливъ олимпійську красу.—Щасливый я, Боже, щасливый! Чому не диждала Феано, чому не диждалыся диты кохани, сіеи хвыльны? Досягъ я свого! Прославыться ридный мій городъ

и може одвични боги за шыру офиру мою будуть ласкави, прыхыльні до ридного краю... Що жъ я кажу? Пострывай лышь, Менандре! Завтра—велькее свято... пышная жертва богамъ... лавры мени... зъ дозволу, по прыказу рымського пана?!... А тамъ навпоследкы визьмутъ на славу велького Рыму моихъ найриднійшихъ! Рымови слава!... А що жъ Херсонесови зъ того? Нѣ що жъ я жывъ, працювавъ: на те, щобъ си чужоземци соби на корысть однималы оте въ Херсонеса, що йому належыть по праву? Щобъ все одняли, а його занехаялы, и ймення його щобъ забулось, умерло для цилого свита?... Не буде жъ того! Не дамъ я на посмихъ свій городъ! Не дамъ имъ на ихнюю славу зёрна своей души!

Що жъ? Зъ Рымомъ боротысь не сыла! Довго вагався старый. Мисяць спускався надъ море и ставъ прымеркаты, и море вщухнуло—здрималось пидъ ранокъ.—Люби мои! Мои ридни! Дети моеи души! Я утворывъ васъ—я жъ и сховаю до слушного часу: нашъ часъ не наставъ, або зовсимъ мынувся. Згынъте жъ вы краще у-купи зо мною, нижъ маю я даты васъ въ руки ворожи!

Зъ передсвита клопитъ Менандровымъ слугамъ, выносятъ зъ робитни богивъ, становлять на кручи надъ моремъ:—Щобъ Эось рожева не въ темній робитни, а тутъ на роздолли богивъ привитала, щобъ риднее море заграло богамъ на добры-день.—Такъ мовывъ Менандръ и, потомлену челядь пустывшы спочыты, самъ мижъ богамы своимы зостався на скели; ще разъ оглянувъ ихъ пыльно, ще разъ уклякъ передъ нымы, ще разъ помолывся и—вси ихъ одна по одній звалывъ у глыбокое море, нарешти жъ и самъ туды кынувсь... Лышь хвыли загралы, хлюпнули на беригъ, и змовкло усе: ни хто и не вчувъ, и не вглядивъ, якъ риднее море сховало одъ заздрисныхъ рымськихъ очей и пышну красу Херсонесу, й того, хто такъ вирно любывъ свою бидну краину...

Вики за викамы мыналы, якъ хвыли на мори; знеслы, потопылы въ безодни рымлянъ, херсонесцивъ и иншихъ, и мисце мешкання зривнялы землю. А все такы часъ, якъ и хвыля—то втопыть въ безодни, то знову выносыть забутую давню былицю,—и слушають люде нови ту былицю, и въ людському серци вона лунае живою струною. Море пидъ скелею плаче:—Немае-немае

того, що минуло; воно не воскресне въ колышній краси, лишъ слава його не загине, якъ пина на хвляхъ, якъ дрибне каминня на дни...

На голосъ тыхъ спививъ сумныхъ выходить Менандръ престарезный, по берези тяжко ступае, розгортуе дрибне каминня, все личыть, все тулыть до-купы; не звившы лику—зновъ шукае и стогне, и въ моря пытае:—Скажи, чы минула на вики жадана годына? Чы ще не настала?...





### *Осыпъ Маковей.*

Маковей Осыпъ на свитъ народився 10 серпня р. 1867 въ містечку Яворови коло Львова, въ мищанській ремисничій родині; до української ремисничій родині; до української гимназії ходивъ у Львови, тутъ служивъ такожъ рикъ у війську, тутъ скінчивъ и университетъ (философичный факультетъ) р. 1893; видъ осени р. 1899 учителюе въ семинарії учительській въ

Чернівцяхъ. Перши твори Маковей надруковано р. 1885 въ „Зорі“ и зъ того часу мистивъ винъ свои писання въ часописяхъ: „Зоря“, (поззіи, оповидання, сатырични фельетони), „Дило“, „Народна Часопись“, „Буковина“, „Жыття и Слово“, „Народ“, „Зеркало“, „Л.-Н. Вистныкъ“ (крытычно-публицистычни огляды „Зъ жыття и пысьменства“) та иныхъ издавництвахъ. Видъ р. 1891 Маковей працювавъ у редакціяхъ часописивъ: „Дило“, „Народна Часопись“, „Буковина“, „Зоря“ та „Л.-Н. Вистныкъ“, р.р. 1895—97 бувъ редакторомъ „Буковины“. Важнійши твори Маковей: „Поззіи“ (Львувъ, 1894), оповидання—„Клопоты Савчыхы“, „Оферма“, „Вуйко Дорко“ (въ черныгивському збирнику „Хвыля за хвылею“), „Весняни бури“, повість „Залиссия“ и килька литературно-науковыхъ праць, переважно зъ исторії найновішого українського пысьменства (оцинки литературної діяльности Бордуляка, Чайкивського, Ковальова, Кобылянської та иныхъ нашихъ пысьменныкивъ). Р. 1900 у „Л.-Н. Вистныку“ надруковано його вельку литературно-крытычну монографію—„Панько Олельковичъ Кулишъ“. Талантъ сього пысьменныка найбільшъ выразно проступае въ гуморыстычныхъ його оповиданняхъ та сатыричныхъ начеркахъ, закрашенихъ правдывымъ гуморомъ.

Литература: 1) Грушевський—Новыны нашої литературы—про повість „Залиссия“ (Л.-Н. Вистныкъ, р. 1898, кн. VIII и IX).



## Клопоты Савчыхы.

### I.

**В**ы соби що хочете кажить, а ризнычка Катерына Савчыха, а по-панськы Савкова, такы соби не абы-яка,—славна на циле мисто, та й маты дитямъ одна зъ наилуччыхъ. Кажуть люде, що въ неи языкъ трохы за гострый та й обмовыты любыть—ну, не велька то ще хыба, бо отъ Мыляныха—такожъ ризнычка и такы цила пани: дви каменыци мае и поля зъ п'ятдесять моргивъ, а донькы ии то вже навить не признаються до мищанокъ и на Велькдень гагиллокъ разомъ зъ нымы граты не хочуть,—а проте обмовыты любыть, та ще й якъ: такъ, що те заразь циле мисто Яворивъ знае, зъ кинця велького передмистя, ажъ по рогачку малого передмистя. А ризнычка Савчыха соби проста жинка, не пани, на мисти м'ясо продаваты не стыдається, зъ хлопамы, якъ треба, въ голосъ высварыться, и „безрогу“ сама до-дому на шнури приведе, колы чоловикъ купыть,—однымъ словомъ, ий, якъ простий жинци, и не грихъ, и не соромъ когось обмовыты. А хыба ии саму не обмовляють, не прозываютъ? Ну, отъ чоловикъ ии пышется у всехъ пысьмахъ Петро Савка, а чого жъ його такъ нихто не зве, тилькы все Уланъ та й Уланъ? Колысь, правда, служывъ Савка пры уланахъ—ба, але жъ то ще не прычына циле жыття зваты його Уланомъ, а його жинку Уланыхою! Яка жъ вона уланыха, колы пры вийську не служыла та й за Савку выйшла замижъ тоди, колы той вже выслужывъ свои лита пры вийську?

Або отъ кажуть люде, що Савчыха скупа,—така, кажуть, скупа, що ажъ соромъ людымъ сказаты. Нибы то дитямъ не жа-

луе ничего, але такъ де-инде, то страхъ скупа! За тры крейцари горилки соби жалуе, хочъ бы якый морозъ бувъ!

Ба! добре людямъ казаты—скупа, та якъ жé Савчыси й не буты скупю? Одно, що чоловикъ зробывся недбалый, затовстивъ дуже, не йистъ майже ничего, але за те пье! Боже, якъ винъ пье!—десять „гальбъ“ пыва, то йому ничего, а п'ять пляшокъ вына, то такъ мовъ бы шклянка воды. Ну, а не треба вамъ казаты, скильки на те грошей иде. Що заробыть, то половину зъ того пропье; дитямъ привезе мизерного обаринця, а самъ п'ятку лышывъ за пыво. И не самъ тилькы пье, а ще й другихъ наповае, ставыться, а тутъ щобъ хочъ було зъ чого! И мае жъ Савчыси сердце не болиты? мае жъ вона не душыты гроша?

А друге зновъ—колы вже на те пишло, чому вона скупа,—самы знаете, що часы теперь тяжки. Отъ пишла пошеть на „безрогы“, граныцю замкнулы, продаваты „безрогы“ нема кому, отже й купуваты нема потреби—заробитку нема, а такъ дома щó заробышь? Зъ поля жыты? Та якый тамъ прожитокъ зъ тыхъ кильканадцятьохъ моргивъ поля, що Савка мае?! Зъ готовыхъ грошей? Або ихъ такъ багато у скрыни? Савчыха трымае щось певно въ зеленій скрыни, але скильки, то одынъ Господь та й Савчыха знае, бо людямъ тымъ не хвалыться и до щадныци \*) не дае,—небезпечно: ще бъ пропалы, та й на що людямъ знаты? Все жъ такы нема тыхъ грошей такъ багато, щобъ зъ нихъ можна було выжыты,—заробляты треба.

А вже колы такъ, то ще й третю прычыну мае Савчыха рахуватыся зъ крейцаромъ. У неи жъ четверо диточокъ! Найстаршый Мыхась, чотырнадцятылитнй сынъ—Богъ знае, що зъ нього буде? Таке то якась ныкле, слабе,—до ремесла не прыдасться, до латынськихъ шкиль посылаты—дорого коштуе,—отъ клопитъ та й тилькы! Хорувавъ, бидачысько, довги лита, ажъ маты на Кальварію \*\*) на видпустъ ходыла и постановыла соби черезъ циле жыття въ понедилокъ скорому не йисты—та й якось дытыни помогло. Але все ще сылы у нього не багато, хочъ и збытошный соби. А друга дытынка, донечка Геленка—якъ мальована: така гарна вдалася, що люде вже килькы разивъ зурочылы

---

\*) Щадныця—„сберегательная касса“.

\*\*) Храмове видпустове мисце коло Добромыля, а Добромыль коло Перемышля.

та й Савчыха мала клопить. А третя дытына, то зновъ сынъ Стасьо, „файный“ \*) хлопецъ, буцматый, вже до першой клясы ходыть—симъ литъ минуло йому на теплого Олексы. Бутный вдався, якъ тато. Все, колы тато впеться и прыйде до хаты, то Стасьо ховається пидъ лижко и крычыть: „тато пйакъ!“ а Савчыха тилькы регочеться. Любыть хлопчыска и все йому то рижкивъ купыть, то бонбонкивъ, або помаранчу прынесе. А людямъ хвалыться:—Нема,—каже,—якъ мій Стасьо мудрый! Тамъ то вамъ штудерна голова! Що вже кому, а винъ мени каже: „Тато пйакъ!...“ А якъ же, кажу вамъ!—И ѳе ще у Савкивъ трылитній сынъ Яньо, за котрого мама суботу постыть зъ того часу, якъ винъ тяжко хорувавъ цилый мисяць.

Ну, а диточки коштують,—не треба вамъ казаты, щд коштують; чымъ довше ростуть, тымъ бильше выдаткивъ. Ще хлопци, якъ хлопци; що на одного за мале вже, те другый доносыть; а отъ на Геленку и се, и те треба справыты; вже до школы ходыть та й якосъ не выпадае дытыну пускаты въ лахахъ на мисто. А ще до того Геленка—мамына пестійка; таке то и ладне, и слухняне, и въ школи вчыться; сама професорка хвалыла соби ии:—Нема то,—каже,—якъ ваша Геленка!—такъ нибы то до Савчыхи мала казаты, а чы справди такъ казала, знаты певно не знаю: може й казала, а може й ни. Але що правда:—Геленка такы ладна дивчына! А якъ ии маты прыбирае,—якъ бы яку панну! И парасольку ий видъ сонця, и рукавичкы на руки, и золоти сережки на уха, а якъ на свята, то мама зъ своихъ грубыхъ кораливъ наложыть ий одынъ разокъ на шыю,—най люде бачать и знають, най ихъ въ очи коле!

Та вже то люде и безъ того знають, що Савчыха—страхъ якъ вона свои диты любыть! Прышлося, знаете, по святимъ Петри поз'йиздылыся студенты зъ латынськихъ шкиль до-дому, одни зъ Перемышля, а други зи Львова: и Мыкола Сторонський, своякъ Савчыхи, титкы сынъ, тои, що на великимъ передмисто—винъ уже найвыщи школы скинчывъ, на професора вывчывся—и бурмыстрови тры сыны, и сусида Мойкы два сыны, и Крукычивъ одынъ, и Мылянивъ одынъ... але, хто бъ ихъ тамъ зрахувавъ? стилькы ихъ! Ходять соби воны, ти студенты, по мисти, та все

---

\*) Немецьке fein—гарный.



то спивають вечерамы—страхъ, якъ гарно!—то купатыся ходять, збыткують, отъ якъ на вакаціяхъ—що мають робыты?

А Савчыха те бачыць, та ій дуже маркотно,—не того маркотно, що людськи диты вчаться, а того, що ій прыйшло на думку, може бъ и Мыхася даты такожъ до латынськихъ шкіль? Сама думка про те дуже ии зажурыла, бо ій дуже жаль розлучатыся зъ Мыхасемъ. Винъ такой слабенький: нибы то збыткуе и веселый, але що то—муха зъ нього, а не хлопець. Зристь велький, а сылы мало. А хто жъ його на чужыни такъ прыпыльнуе, якъ маты?

И якъ отаке прыйшло Савчыси на думку, то вона не спала довго, ажъ перши пивни заспивалы. А не спала тому, що думкы думала—чы посылаты сына до Львова до шкіль, чы ни. То вона соби мыслыць, якъ бы то гарно було, колы бъ Мыхасъ бувъ „ксъондзомъ“, або „професоромъ“, або „адукатомъ“—вже чымъ бы тамъ йому Богъ позволювъ буты; а то зновъ такъ ій жаль выпустыты Мыхася з-пидъ свого догляду, що сама думка про те лякае ии. Порадылася бы зъ своимъ чоловикомъ, та що „туманъ“ знае! Або винъ що розуміе? Хиба пыво пыты, та цыгара курыты... Треба самій Савчыси ришатыся.

И ришылася вона. Заразъ на другый день, въ недилю по полудни пишла до титкы Сторонської на передмистю,—до той, що ии сынъ на професора вывчывся. Прыйшла:

— Дай, Боже, добрый день!

— Дай, Боже, здоровля!

— Я до васъ, цюцю, въ гости.

— Просымо, просымо. Сидай, Касюню! Чымъ же мени тебе погостыты?

— Ни, дякую, цюцю!... Я отакъ хотила поговорыты зъ вашимъ паномъ... Мыколою.

— Та винъ десь въ садку, я його заразъ заклучу.

Поклыккала титка сына Мыколу, и винъ прыйшовъ. Такъ и такъ,—почынае Савчыха,—хотила бъ Мыхася посылаты до Львова, радьте, що робыты, та не видраджуйте.

— А що жъ,—каже Мыкола,—якъ посылаты, то посылаты. Свидоцтво Мыхася маете?

— Маю! я прынесла зъ собою.

Взявъ панъ Мыкола свидоцтво, дывытыся.

— Ну,—каже,—не дуже воно добре, але видъ биды выстарчыть.

А Савчыха ажъ скопылася!

— Якъ,—каже,—недобре? Адже винъ щось тамъ вчывся; я професорови передъ Петромъ двi шынкы занесла, а винъ ще не давъ доброго свидоцтва! А ну чытайте липше!

А Мыкола на те:—Вже вы, сестро, не гнивайтесь: я добре чытавъ. А колы не впырте, то самы перечытайте.

— Ба, колы я не вмію!—такъ Савчыха йому и сидае помалу на крисло.

— То дайте кому иншому перечытаты и пересвидчытеса. Я не маю прычыны васъ дурыты. Кажу отверто, що зъ такимъ свидоцтвомъ можуть Мыхася й не прыняты до школы. Думаєте, що мало хлопцивъ запысується? Ото жъ з-помижъ ныхъ выбирають що липшыхъ.

Зажурылася Савчыха дуже.

— Отже щбъ вы мени радыте робыты?—пытається по хвыли.

— Я бъ васъ перше спытався таке: чы вы конче хочете Мыхася посылаты дальше до школы?

А Савчыху таке пытанья ажъ вкололо.

— Та колы,—каже,—вашого тата статы було на те, щобъ васъ даваты до шкиль, то й мене стане.

— Не въ тимъ ричъ, сестро Касюню! То правда, що вы багатши видъ мого тата, але жъ бо тутъ не йде про те, тилькы про що инше. Правда, кожый чоловикъ хоче буты щаслывый?

— Таже такъ!

— Ну, а якъ вы мыслыте, чы до того треба кинчыты высоки школы?

— Все панамъ липше, якъ намъ—вже вы мени не кажитъ... Отъ вы соби панъ будете.

Мыкола гирко усмихнувся.

— Такого панства я бъ никому не зычывъ. За-молоду въ не годи й недостатку чоловикъ стратыть здоровля й веселисть, и колы вже доробывся хлиба—йды землю грызты, або ходы по свити, якъ снохода! Подывитесь на мого брата та й на мене. Я ходывъ до школы, та й якый я?—якъ триска! А братъ лышывся на господарстви—хлопъ, якъ дубъ! А у вашого Мыхася й такъ здоровля нема. Думаєте, що школа помагае здоровлю? Якъ бы лышывся дома, набрався бъ ще сылы, вырись бы, бувъ бы добрый господарь, чы ризныкъ, мигъ бы буты далеко щаслывийый, ніжъ потимъ по школахъ та наукахъ.

Така мова а ни трохи не подобалася Савчыси, а ни не переконала иї. Злисть взяла иї, и вона, не балакаючи довго, заразы попрощалася й пишла. Не пишла жъ вона до-дому, а повернула по дорози до своєї сестры Хрыстыны Дутчыхы—той, що за столярюмъ. Тутъ безъ довгихъ заходивъ выляляла весь свій гнивъ на Мыколу.

— Винъ хоче, щобъ тильки самъ бувъ панъ, а мій Мыхася ни! Радить мени, абы я його дома лышыла! Нибы то мене не стане на школу! Людськи диты яки бидакы, а вчатьсѧ, а мій що? Та я його прыберу, якъ паныча, дзыкгарокъ йому справлю, заплачу професоривъ—и такы буде панъ! Чы чувала ты таке, Хрыстыно? Заздрисный!—ничого инше, тильки заздрисный! Та й цюця така сама. Хвалиться своимъ сыномъ:—„а мій сынъ! а мій сынъ!...“—а колы я такого хочу, тово на ничого!—„Най тоби Мыкола порадыть!—такъ вона до мене,—винъ те липше знае...“—Ни, не буде воно такъ, виддамъ Мыхася до школы! Мигъ Мыкола вчытыся, що йому мама не мала часомъ що йисты послаты, то буде и мій вчытыся; я йому не дамъ голодуваты...

А сестра Хрыстына те слухае-слухае и ничого.—Та що,—каже жалисно,—ты пани, посылаты хлопця можешъ. Ты не те, що я. Мій Андрусъ до „лацинськихъ“ шкиль не пиде.—Та й зъ тымъ словомъ обернулася, нибы то думкы сестры иї ничого не обходять.

Посыдила Савчыха въ сестры ще хвылыну, замыслылася. И не думала вона вже про те, чы посылаты Мыхася до Львова, чы ни, бо вже ршылася посылаты, тильки нагадала соби слова Мыколы, що свидоцтво Мыхася кепське, що можуть його не прыняты до школы. А ну жъ то правда? Треба кого иншого спытаты.

Йде Савчыха зъ тою думкою до-дому, ажъ здыбуе дяка зъ передмиськои церкви. Не старый ще той дякъ, ще лышь недавно прышовъ зи Львова, де въ самимъ св. Юри вчывся на дяка. Дуже винъ розумный дякъ, и голосъ у нього красныи, и такы вченый, правду сказавшы: якъ Дутчыси напысавъ до суду скаргу на Воронячку, що иї остатнимы словами на мисти зганьбыла, то Дутчыха въ суди выграла. Отъ же просыть його Савчыха до себе перечытаты свидоцтво.

Прыходзяць обое до хаты; Савка спыць на „банкбетлі“ \*)— выпывъ уже де-що—а слуга диты бавыць. Мыхася десь нема.

— Йды, Ганко, до кухни, я вже сама забавлю дытыну,—прыказуе Савчыха старій слузи.

Слуга выходыць, а Савчыха тоди выймае свидоцтво й подае дякови. Дякъ чытае, чытае...

— А шо?—каже,—свидоцтво добре! до школы прыймутъ. Чому бь не малы прыйняты? Мій братъ не мавъ липшого, та й його прыйнялы.

— А вашъ братъ въ котрій кляси?

— Уже до п'ятои пиде. Знаете, щѡ бь я вамъ порадывъ? Визьмитъ вы мого брата, най трохы Мыхася прывчыць—буде певнійше. Дасте йому рынських-два та й прывчыць хлопця.

Ся думка сподобалася Савчыси такъ, що вона заразь такы замовыла дякового брата, щѡбъ прыходывъ учыты Мыхася. А ще й заспокоила та думка ии такъ, що вона опричь жалю до титчыного сына Мыколы, не чула ничего злого, тилькы саме вдоволення. Щѡ бильше—такый важный намиръ навивъ ии на думку, що годи теперь пестыты Мыхася, а треба до нього добре взятись, щѡбъ не пустувавъ и зъ татомъ по ярмаркахъ не ходывъ, тилькы вчывся. Лышь десь тамъ на дни серця Савчыхы сыдила прыспана сыльною волею туга, котра все будылася видъ думкы про розлуку зъ Мыхасемъ.

Дякъ видійшовъ, а Савчыха нагодувала дитей и стала варыты воду, щѡбъ запарыты сичку для худобы та де-що прыготовыты такожь для симохъ штукъ велькихъ, товстыхъ безрогъ, котри, не знаючы своеи сумнои доли, спокійно вылежувалысь на соломи въ хливци заразь за хатою та тилькы видъ часу до часу тяжко видсапувалы, або рохкалы. Упоравшысь зъ худобою, Савчыха вернулася въ хату й сила на лавку биля дытыны. Страхъ хотилося ий зъ кымъ побалакаты про Мыхася, набрасть пересвидчення, що ии намиръ добрый, але не було зъ кымъ. Савка спавъ твердо на лавци, зовсимъ не перечуваючы, щѡ зъ його сыномъ задумуе жинка зробыты.

---

\*) Нимецьке слово: Bankbettel—така лавка, що зъ неи на ничь роблять лижко.

Сыдила такъ Савчыха зъ добру хвилью, ажъ помы їи лютъ взяла на чоловика. Винъ спыть, а тутъ вона ришае долю дытыны!...

— Стасьо, а ну збуты тата!—попросыла вона сына, бо сама чогось не хотила будыты.

Стасьо, хлопецъ жвавый, прыступывъ до батька, взявъ за плече и ставъ термосыты його зъ усей сылы.—Тату, встаньте! а що будете въ ночи робыты? мыши лапаты?—Але тато не збудывся, тилькы захропивъ сыльнійше. Тоди хлопчына потермосывъ його ще сыльнійше, ще й за вуса потягнувъ. Савка захропивъ ще разъ и росплющывъ очи.

— А то ты, ледащо!—скрыкнувъ винъ, але безъ гниву въ голоси.—Татови слаты не даешъ?—пытався винъ, пидводячыся помалу зъ лавкы.

— Ой, тату, якъ видъ васъ горилку чуты!—скрывывся хлопецъ.

— Не горилку, дурню,—поправывъ батько,—тилькы выно, бо я горилкы не пью.

— Все одно!—видповивъ хлопецъ.

— Не все одно,—видризавъ батько,—бо горилка дешевша и їи хлопы пьютъ, а выно дорожче и тилькы паны його пьютъ. Шукай-но ты, Стасю, въ моимъ „иберцигери“ въ кышени; тамъ щось найдешъ!

Стасьо на выскокы вхопывъ иберцигеръ и зъ кышени вынявъ цукеркы. Савка бувъ у незлимъ гумори и тому жинка видизвалася:

— Може бъ ты, Петре, де-чого з'йивъ? Вепровыну маю добру.

— Не хочу,—видповивъ Савка сухо.

— Адже жъ ты ныни ничего не йивъ!—падъкалася жинка.

— Ну, що тоби за крывда, що я ничего не йимъ?—боронывся панъ Петро.

Савчыха знала зъ досвиду, що до йигы не вміе чоловика намовыты, отъ же, подумавшы хвильку, почала говорыты про студентивъ.

— Студенты прыйихалы зи Львова и зъ Перемышля,—такъ „файно“ спивають...

Савка мовчавъ и позихавъ.

— Ажъ прѣемно слухаты,—говорила Савчыха помалу, выжыдаючы, чы чоловикъ самъ не здогадаецься, до чого вона ричъ веде. А колы той мовчавъ, вона видразу сказала:—Я думаю Мыхася посылаты до Львова до школы.

— Що?—спытавъ Савка, не довирияючы.

— До „лацинськихъ“ шкиль буду посылаты.

— Кого?

-- Ну, адже не тебе, тилькы Мыхася.

— Мыхася?—повторывъ Савка помалу, помахавъ головою й ришуче сказавъ:—Ни, того не буде!

— А чому жъ ни?—плаксывымъ голосомъ спытала Савчыха.

— Його дидъ и тато булы ризныкы, и винъ мусыть буты. Вси мы не вмилы а ни чытаты, а ни пысаты, а якось намъ жылося, а винъ же й якусь школу скинчывъ! До ризныцтва цикавый, вже й порося купыты потрапыть... ни, жинко, я не позволю!

— Колы я такъ хочу!—видповила жинка ришуче.

— Ты соби хочъ, чы не хочъ, а я не позволю! То вже моя въ тимъ голова...

— Побачымо!—закинчыла жинка розмову й выйшла зъ хаты, розсержена.

## II.

Того дня, колы Савчыха ришыла долю дытыны, ии сынъ Мыхась не перечувавъ ничего злого. Побигавшы по мисти, виднайшовъ свого титечного брата Андруся Дутку, и обыдва разомъ пишлы до титкы Сторонської на передмистя, бо у неи булы дуже добри яблука въ городи. Титка прыняла хлопцивъ пырогамы и сметаною й пустыла ихъ въ городъ, тилькы просыла абы гилля не ломылы. И булы бъ соби хлопци добре погулялы по городи, але на биду засталы тамъ пана Мыколу Сторонського, титчыного сына, що чытавъ якусь кныжку. Прышлы до нього обыдва, хотылы його поцилуваты въ руку, але винъ не дався. Погладывъ лышь обохъ хлопцивъ по лыци и видизався до Мыхася:

— Чую, що твоя мама хоче тебе пислаты до Львова до школы?

Мыхась здывувався:—Я ще о тимъ,—каже,—не чувъ.

— Була ныни мама въ мене й пыталася, якъ бы те зробыты.

— Я не пиду до Львова!—сказавъ хлопецъ твердо.

— Чому ни?

— Бо тамъ бьютъ.

— Хто тобі казавъ таке?

— Я вже знаю.

— А ты, Андрусю, до Львова пишовъ бы?—спытався Мыкола другого хлопця.

— Пишовъ бы, вуйцю, та нема за що,—видповивъ Андрусъ та й пры тимъ и почервонивъ, и засумувавъ.

— Ты вже тутъ скинчывъ школу?—спытався ще Сторонський.

— Скинчывъ.

— Идить же соби нарваты яблукъ, тилькы гилля не ломить,—закинчывъ вуйко розмову зъ сестринкамы.

Хлопци видійшли, та вже не таки весели, якъ прыйшли, а Сторонський подався въ хату. Прыходять, а тамъ Хрыстына Дутчыха, й батько, й маты.

— Якъ ся маєте, пане професоръ?—прывиталася Дутчыха,—що вы ще й теперь зъ кнжкамы возытесь? ще вамъ мало?

— Така вже моя доля!.

И обое подады соби руки й поцилувалыся въ уста—не такъ, якъ Савчыха, що не знае до людей слова промовыты, але такъ, якъ мижъ панамы водытсья. Бо Дутчыха, хочъ и бидна, але гоноръ чоловикови вміе виддаты та й такы, нигде правды диты, и чоловика мае розумнійшого. Пры війську бувъ фиреромъ, а теперь до чытальни належыть и газеты чытае.

Пишла розмова довга про все: и чому панъ Мыкола Сторонський не ласкавый зайты въ гости до Дутчыхы,—уже бъ вона його вмила прыйняты!—и чому його въ мисти взагали не выдады? Теперь бы пора йому вже жинкы шукаты, а найлипша була бъ бурмыстровз панна Ольга. Тамъ, правда, у бурмыстра дитей шось зъ дванадцятаро, ба, але яки маетки—и млынъ, и поле, и будынкы яки! На вси диты стане! А стара Сторонська того слушае та й тилькы усмихається—така рада! Ии сынъ може вже таку багацьку доньку браты! А дали зручно зводыть Дутчыха розмову на школяривъ и незамитно, здалека закыдае шось про Мыхася и свого Андруся. Мыкола Сторонський сыдыть и тилькы усмихається: здогадується, до чого сестра ричъ веде.

— Маєте вы, сестро, може свидоцтво Андруся пры соби?—пытається наразъ, абы помогты сестри въ розмови.

— Та десь тутъ маю,—видповидае Хрыстына й шукае свидоцтва такъ, якъ бы не була певна, шо його взяла; але такы находыть його.

Панъ Мыкола Сторонський чытае свидоцтво й каже, шо добре. А Дутчыси те страхъ подобається!

— А я,—каже,—и шынокъ професорамаъ не носыла, и на выно ихъ не просыла, такъ якъ Уланъ, а отъ свидоцтво добре.

— Такъ вже Богъ давъ,—каже стара Сторонська.—Або я за своимъ носыла? И сама не знаю, якъ винъ ти школы скинчывъ.

— Кобы то мени таке Богъ давъ!—зитхае важко Дутчыха.

— Посылайте й вы!—радыть коротко старый Сторонський, шо чытае якусь кныжку видъ сына та й не радъ тому, шо йому перебивають. Тилькы той вильной хвылыны, шо въ недилю, та й то перебивають.

— Та я бъ того страхъ якъ хотила, колы нема за шо!—видповидае маты Андруся.

А „панъ“ Мыкола Сторонський слухае того та й думае.

— Може бъ Андруся до бурсы прыйняли?—каже. — Свидоцтво мае добре.

Лыце Дутчыхы прояснюється, якъ сонце. Вона прысидається бльжче до Мыколы и давай його выпытуваты, якъ то зъ тою бурсою, чы бъ сына цилкомъ даромъ прыйняли, чы треба доплачуваты,—все выпыталася до-чыста, бо розумна була жинка и знала, якъ и шо. Стало на тимъ, шо Мыкола Сторонський мае напысаты просьбу до заряду бурсы, щобъ прыняли Андруся Дутку, колы можна, за-дармо, а якъ ни, то за малою доплатою.

— Вы, у Львови маеете знайомыхъ панивъ, то вже якось зробыте! Правда, пане професоръ?

А „панъ професоръ“ на те: „буду стараться“,—каже. И Дутчыси покы шо бильше ничего не треба; вона така щаслыва, й рада, якъ бы ии хто на сто коней посадывъ. А шо ии найбильше тишыть, то се, шо могтыме сестри Касюни похвалытыся и своимъ Андрусемъ: не лышь ии Мыхась пиде до „лацинськихъ“ шкиль, але й Андрусъ. Андрусеве свидоцтво добре, не таке, якъ Мыхасеве, його прыймутъ до бурсы, а тамъ уже—Боже поможы!—якось то буде.

И колы вона про те думала, вертаючысь до-дому, ий конче хотилося вступыты до сестры Савчыхы и сказаты ий все, все. Але ни! Вона, якъ розумна жинка, не вступыла, бо мала въ тимъ



свій рахунокъ. Ще Савчыха пишла бѣ до Сторонського й казала бѣ податы и свого Мыхася до бурсы, а те могло бѣ выйты їй на эле, бо скорій прыймуць сына, колы хлопцивъ зголосыться до бурсы меньше.

У-вечери ще поговорила про те зъ своимъ чоловікомъ— той сказавъ, що самъ мавъ таку думку—и обыдвѣ сестры, Савчыха и Дутчыха, въ ту ничь, зъ недѣли на понедилокъ, думалы довго про своихъ сынивъ, помы не заснули.

И було бѣ зъ того всього не вышло ніякого лыха, якъ бы була Савчыха не довидалася заразъ на другый день видъ титкы Сторонської на мисти, що й Хрыстына хоче посылаты сына до Львова та що Мыкола обіцявъ навить податы їи Андруся до бурсы. Не знаты, видъ чого, зробылося їй дуже гирко и хочъ якъ їй було ненаручно покыдаты роботу дома, пишла такы в-вечери на хвылыну до своихъ родычивъ, старенькыхъ поважныхъ мищанъ Чупськихъ, що, поженывшы трьохъ сынивъ и повыдававши чотыри донькы замижъ, доживалы вику пры двохъ сынахъ ще нежонатыхъ. Лыхо надало, що тамъ въ ту саму пору булы въ гостяхъ Мыкола Сторонський и Дутчыха... Прыйшла, выдко, за тымъ самымъ, що й Савчыха.

Сила собѣ Савчыха коло печи и слухае, про що мова. Дутчыха замовкла такожъ, розмовляють тилькы стари Чупськы про своихъ внукивъ, Мыхася й Андруся, выпытуються, а имъ видповидае, або поясняе справу Сторонський. За бурсу мовы нема. Слухае-слухае Савчыха и бере їи злысть.

— А зъ бурсою що?—каже наразъ, обертаючысь до Сторонського.—Хѣба я не знаю, що вы Андруся хочете до бурсы за-дармо даты, а мого Мыхася не хочете? А що то, чы мій сынъ гиршый, якъ Хрыстынынъ? Або чы я вамъ гирша сестра, якъ Хрыстына, що вы їи сторону тримаєте?

Сторонський здывувався дуже; вже збирався видповисты та выпередыла його Хрыстына Дутчыха.

— Що жъ ты кажешъ, Касюню? Та чую винъ сторону тримае? Знае, що я бидна, та й хоче помогты мени й Андрусевѣ.

— Або я багачка?—обурылася Савчыха.—Найшлы багачку! бильшой не выдѣлы...

— Але жъ, Касюню!—адже то вси выдять, що мій на тыхъ трискахъ не заробыть, и сама ты знаешъ, що зъ столярства грошей не зложыты.

— А ии сынъ добре свидоцтво мае, а ии сына до бурсы, а ий те, а ий се,—говорила ображена Савчыха,—а я багачка невыдана, а мій Мыхась и эле вчыться, и за-дармо його до бурсы не прыймутъ, тилькы абы я платыла... А въ мене йе инши дрибни диты...

— А хйба въ мене нема?—вже гнивно спытала Хрыстына.— Въ тебе четверо, а въ мене п'ятеро!

— А твій чоловикъ заробыть, а мій пье; не до-дому, а зъ дому выносыть...—падъкалася Савчыха.

— То най не пье!—сказавъ старый Чупський.

— Най по шынкахъ не ходыть!—додала Дутчыха.

Ажъ тутъ Савчыху заболело сердце за чоловика; вона зирвалася и крыкнула:

— А вамъ що до того? Якъ пье, то за свои гроши! А вамъ зась! Що мени выпомынаете?

Тутъ вмишалася до суперечкы маты Савчыхы:—Касюню, що тоби Богъ давъ? Чого ты сердышся? Пиде Андрусь до Львова, то най зъ Богомъ иде. И Мыхась пиде, и Андрусь пиде—Боже имъ поможы...

— Абы-сте знали, що пиде!—потвердыла Савчыха.— Дамъ Мыхася до школы, заплачу, а твого до бурсы хто знае, чы прыймутъ...

А въ Дутчыхы зновъ заболело сердце за сына; сама думка, що можуть ии сына не прыйняты до бурсы, запекла ии, и вона гирко заплакала, прытулывши запаску до очей.

— Та де мени зъ багачкамы мирятыся?!—прыповидала вона кризь слёзы.—Зросла дытына въ недостатку та й мусыть гынуты въ биди. А людськи диты панамы будуть...

Та й таке наговорила, що не знаты, що на те й казаты. Хотивъ ихъ усихъ помырыты Сторонський—не вдалося: ни за що, ни про що сестры посварылыся. Ажъ колы Мыкола сказавъ, що подасть и Мыхася до бурсы, наставъ трохы мырь у хати.

Якъ винъ те сказавъ, старому Чупському прыйшла наразъ до головы дуже розумна думка, яку тилькы досвидна, стара голова могла выдуматы. Сказавъ винъ таке, що у Львови живе його братаныци сестра за кондукторомъ видъ „трамбалю“. Вси ии знаютъ. И жинка добра, и чоловикъ ии добрый. Ото жъ, якъ бы до неи даты Мыхася на станцію и довозыты йому йисты та все,

що потрібно, то хлопець мавъ бы доглядъ липшый, якъ въ бурси. Все то бурса, якъ касарня, а Мыхась хлопець слабовытый, потрибуе догляду дома. Въ бурси дають йисты тры разы, а винъ бы не разъ хотивъ и четвертый разъ вкусыты, а не було бъ чого. Звычайна ричъ, якъ за-дармо.

Си слова старого Чупського переконали Савчыху видразу; їй було жаль сына и така будуччына, яка пisleя сливъ їи батька ждала Мыхася въ бурси, налякала їи. Справди Мыхась потрибуе догляду; пиде зъ дому, де такъ йому добре діялось, и въ бурси готовъ змарниты. Яка жъ користь зъ цилюи школы, якъ бы хлопець, зъ котрымъ такъ тяжко набидувалася, зновъ—не дай Боже—захорувавъ?

— А може бъ и я такъ зробыла?—спыталася Дутчыха, котрій наразъ здалося, що нема чого за бурсою тужыты.—Лучче дытыни де-що посылаты та най бы голоду не знало.

— Почекайте лышь!—вмишався теперь въ бесиду Сторонський, радый, що розмова на таке зійшла.—Ще п'ять недиль часу; маеце часъ надуматыся.

— Я свого до бурсы не дамъ!—ришыла заразь Савчыха.—Шкода дытыны...

— Добре й такъ! говорывъ Сторонський, втыхомыруючы розбурхани умы.—Побачымо, якосъ то буде. Абы тилькы хлопци экзамень поздавалы; отъ най теперь учатыся трохы...

И такъ помалу-помалу настала добра злагода въ хати; але вже Савчыха до сестры Дутчыхы серця не мала и чулася ображеною, хочъ не знала чымъ. Такъ само й Дутчыха скоса дывылась на сестру...

### III.

Отутъ бы я вамъ, люде добри, хотивъ щось сказаты, и не знаю, звидкы початы, бо мени стыдно. А сказаты мушу, хочъ бы не знаты що, бо якъ те и Савчыха, й Савка, и їи сынъ Мыхась дуже шанувалы, дуже коло того ходылы, то й мени не можна його омынуты. Ще якъ бы то була корова, або кинь, або вивця, то ничего бъ мени и встыдатыся, а то вамъ, знаете, бувъ—даруйте за слово—вепрыкъ, якъ корова. Може й не такой завбильшкы, якъ корова, але що зросту такого, якъ добра яливка, то бъ и присягъ. Тилькы що грубшый, якъ яливка; такый уже грубый соби, що ноги його

счезлы зовсимъ въ черевѣ, и винъ, бидолаха, ни въ кутъ, ни въ двери: а ни йому рушытыся, якъ треба, а ни навить до цебрыка пидійты. Тамъ часомъ ступыть, нещасный, килька, крокивъ по хливи, засапається та й прыляже на соломи спочываты.

Де його такого Сэвка прыдбавъ, то не знаты; бувъ соби сразу худый, тилькы ребра выставалы. Прывизъ його здидкысь Савка й каже Мыхасеви:—Ото для тебе, абы-сь його пыльнувавъ. Потимъ соби чы продасы, чы зарижешъ и справышь соби убрання.—А Мыхась,—звычайно, якъ ризныцька дытына,—дуже соби вподобавъ того вепрыка, заразы його назвавъ Зиркатымъ, бо мавъ чорну зирку на чоли, а самъ бувъ билый, та й якъ ставъ його разомъ зъ мамою пыльнуваты, годуваты то мукою, то кгрысомъ, то чымъ малы,—выгодувалы до пивъ року Зиркатого такъ, шо йому не то ребра, а й ноги счезлы пидъ солонною, такъ шо тилькы ратыци було выдко.

Зиркатый знавъ такъ своего добродія Мыхася, шо все радисно рохкавъ, колы той прыходывъ до хлива. Тяжко було йому зводытыся зъ соломы, але винъ, шо сылы мавъ, такъ пиднимавъ голову и протягавъ рыло за лыстямъ капусты, чы за бурякомъ въ рукахъ Мыхася. Выбаглывый зробывся дуже: чога небудь не йивъ, бараболи й не рушывъ. Отожь и подасть йому Мыхась бурякъ, чы шо тамъ, а Зиркатый тилькы рохне разъ и другой, ныбы дякуе. Звычайно, нима тварь, не знае инакше дякуваты. То Мыхась за таке пошкрябае Зиркатого по шетыни, а винъ тилькы сопе, такъ йому любо та мыло. Дывляться на те инши безрогы въ хливи и дуже ихъ заздристь бере, чому то имъ не такъ добре. Прыбижать до Мыхася, хочуть йому вхопыты зъ руки бурякъ, чы капусту, а винъ ихъ чоботомъ, та въ рыло такъ и зайнде, шо ти ажъ не знаютъ, де соби мисця шукаты. Копне, кажу вамъ, дрыхъ въ рыло, а потимъ добуде зъ кышени яблуко и самъ хочъ якый ласый на яблука—звычайно, хлопецъ!—визьме, перекроить, половины соби визьме, а половины Зиркатуму въ самый пысокъ запхае и той соби, сердега, грызе помаленьку та тилькы моргае дрибненькымы оченятамы ласкаво на Мыхася. Воно то ныбы й нима тварь, а своего такы знае.

А бувъ Зиркатый вартъ—такъ соби абы не помылытыся—якъ на доброго купця якыхъ сто рынськихъ \*)—може безъ двоухъ,

---

\*) Рынський—гульденъ, на наши гроши коло 80 копійокъ.

трюхъ, але такы вартъ бувъ. И якъ то погана людська натура у всихъ, такъ и въ Савкы заразъ десь по святимъ Спаси де не взялася погана думка, абы Зиркатоу смерть зробыты й ти гроши за нього взяты. Прийшовъ до хлива, обмацавъ Зиркатаго зъ одного и другого боку, вдарывъ його немилосердно по рыли, колы той шукавъ чогось въ рукахъ и, вернувшысь до хаты, каже до жинкы:

— Зиркатаго треба бъ вже ризаты; вже бильше не потовстіе.

Якъ те почувъ Мыхась, що бувъ у хати й щось чытавъ, бо мама казала,—кынувъ кныжку, прыпавъ до тата й ну його просыты:

— Не рижте ще, тату, Зиркатаго; винъ мій, най ще годується.

— А чого буде дармо йисты?—такъ батько на те.

— Та винъ вже й такъ мало йистъ,—видповидае сынъ,—а мы його в-осены зарижемо, и я соби кожушокъ справлю.

А Савчыха, дуже теперь до сына прыхыльна, обстала за Мыхасемъ и каже:

— Та най тамъ ще въ хливи лежать; тилькы потихы для Мыхася. Винъ теперь бидненькый вчыться... Най но ще...

— Якъ най, то най,—видповивъ Савка и нагострившы довгий ніжъ, выйшовъ въ сины, заклыкавъ парубка, вывивъ иншу товсту безрогу зъ хлива, звалывъ ии зъ нигъ и вправною рукою затопывъ видразу ніжъ у сердце. Николы було безрози й заквычаты, якъ выпадае. А Мыхась выбигъ зъ мыскою въ сины та й пидставывъ ии на кровъ, що бухала зъ безрогои. Инша дытына може бъ и не дывылася на таке, а Мыхасеви байдуже, винъ до того звыкъ. Упоравшысь зъ тымъ, скочывъ до хлива подывытыся на Зиркатаго; а Зиркатый, выдко, и не знавъ, зъ якои биды вырятувавъ його Мыхась,—запхавъ рыло въ солому и дримаваъ соби, якъ быничого. Подывывся на нього Мыхась, пожалувавъ и выйшовъ.

Навкучылася йому кныжка—страхъ, якъ надойила! Мама ничего не розуміе, а все каже:—вчыся та вчыся! Дякивъ братъ спокою йому не дае, що-дня прыходыть. А вуйко Сторонський склыче не разъ Мыхася й Андруся до-купы та й выпытуе ихъ—ба се, ба те, а того ще не знаете, а сього навчыться! И вже за тою наукою ни на торгъ мама Мыхася не пускае, ни на улыцю—нигде. Одна ще тилькы надія—на тата, що не пустыть його до Львова, та й винъ лышытьса дома. А маму то вже й переговорыты годи.

Мусыть,—каже все татови,—йты! Що ты, п'якъ, розуміешъ. Разъ була й сварка за Мыхася: тато бувъ п'яный та й трохи не вбывъ мамы полиномъ. И все каже, що сына на чужи руки не пустыть: у нього дитей не копыця, хлиба не голодни, розганяты ихъ зъ хаты по свити не годыться, най дома роблять. Жинка от-отъ буде маты помичъ зъ Геленкы, а йому никымъ буде колысь выручытыся, за всимъ самъ ходы та й ходы!

Все те Мыхась чувъ не разъ и не два, и добре розумивъ, що батько за нимъ, а мама протывъ нього. И хочъ мама теперь пидъ часъ вакацій дозырала його ще бильше, якъ иншымы часамы, справыла йому навить комирчыкы до сорочки, якыхъ перше никола не носывъ, и червону красну краватку \*), а збиралася справляты нове убрання, черевыкы й нови сорочки, щобъ мавъ у Львови цилу выправу, все жъ винъ чувъ якыйсь жаль до мамы, а тато бувъ йому мылійшый.

Разъ мамы не було, а тато прыйшовъ трохи пидпылый до дому; прыйшовъ та й ставъ соби надъ Мыхасемъ. А Мыхась щось пысавъ. Стоявъ-стоявъ такъ Савка зъ добру хвылю, а потимъ якъ визьме Мыхася въ обіймы и ну його цилуваты, жалибнымъ голосомъ прымовляты, а сльозы йому ажъ на вуса капають. Мыхась те бачыть та й соби въ плачь. А Геленка соби й Стасьо соби й найменьшый сынокъ такожъ—такъ вси розревилисья, що Господы! Здавалось бы—сами свои, то имъ жаль за Мыхасемъ, нема дывоты; але жъ бо й стара слуга Ганка якъ зрозумила, про що йде,—и соби фартухомъ дрибни сльозы втырае. И й жаль зробывся, що панычъ от-отъ вид'йиде. А тутъ прыходыть на те все сама Савчыха въ хату, дывытыся—чоловикъ Мыхася обіймае, зъ кышени цукеркы выйнявъ, дае сынови, а самъ тилькы хлыпае. И диты такожъ. Подывылася Савчыха, зрозумила все, прыскочыла до Мыхася, зняла його зъ колинъ тата, та ще й крыкнула:—Чого мени дытыну розпускаешъ?... Най учиться! заразы професоръ до нього прыйде.—Сивъ Мыхась якъ туманъ за кныжку, а Савка схыльвъ голову на кожухъ, выложывъ ноги на „банкбетель“ та й заразы заснувъ зъ великого горя. Втыхомырыла Савчыха росплакани диты, а сама пишла до стодолы за половою для худобы и тамъ якъ сила на снопы, то сама зъ пивъ годыны

---

\*) Краватка - галстухъ.

плакала такъ жалисно, що Господы! Дуже вона любила того Мыхася, якъ и вси диты свои.

Чымъ бльжче надходывъ день вид'їизду сына до Львова, тымъ Савка робывся що разъ бильше мовчазнымъ; бодай про сына зъ жинкою не говорывъ. Розмовлявъ винъ про нього зъ иншымы людьмы, миркувавъ соби и сякъ, и такъ, и вымиркувавъ, що разъ—жинци не потрапыть видрадыты, а друге—може бъ и не треба видраджуваты даты Мыхася до выщыхъ шкиль. Отъ Грынченкивъ сынъ—„ксьондзомъ“, а Заступы „адіюнкомъ“, ну а хочъ бы титкы Сторонської сынъ буде вже видъ осены професоромъ. Все те й для фамиліи красно, и самій дытны не гирка годына. Не буде потребуваты мучытыся, по ярмаркахъ йиздыты, зъ хлопамы сварытыся,—все що готовый гришъ на декретъ, то не те, що зарибкы: разъ йе, другый разъ нема.

И якъ отаке Савка вымиркувавъ, то вже спокійно дывывся на заходы жинкы коло выправы для Мыхася. А навить самъ знявъ зъ цвяха зипсованый старый „дзыкгарокъ“, занисъ до годынныкаря, давъ направыты, а по направи подарувавъ його Мыхасеви, абы його удобрухаты, щобъ не боявся йихаты до Львова. На що йому, Савци, буде безъ потребы выситы „дзыкгарокъ“ на стини, колы самъ мае новый, а дытны можна втиху зробыты?

Мыхасъ, хочъ и якъ радъ дзыкгаркови, почувся наразъ безпомичнымъ, побачывъ, що йому выкруту нема. Передъ вид'їиздомъ то винъ що выйшовъ на мисто, то заразъ вертався смутный-смутный, ажъ Савчыси жаль було дывытыся на дытynu; що загляне у хливъ до Зиркатого, зновъ выйде невеселый. И не можна йому нїякои радонькы даты, такъ дытына зажурылася. Бачыть те Савчыха й потайкы слъозы втырае, але передъ хлопцемъ та передъ чоловикомъ жалю не показуе, абы й имъ жалю не завдаваты.

На наради у старыхъ Чупськихъ ришылы вси, щобъ самъ Савка видвизъ сына до Львова; все винъ у Львови борше визнається, винъ тамъ уже бувалый, а Мыкола Сторонський що треба, то покаже, якъ и куды. Що чоловикъ, то не баба; баба соби рады у Львови не дастъ: ще загубытыся зъ дытыною, або ии хто обкраде, такъ якъ обикралы разъ Дутчыху. А до того Савка мавъ ще й интересъ до львивськихъ ризныкивъ, то йому и наручно. Дутчыха мала vybrатыся до „колеи“ на другый день разомъ изъ

Сторонськымъ, бо ще Андрусеви сорочокъ не выпрасувала и швецъ черевыкивъ не зробывъ на часъ,—то прыпизнылася трохы.

Сонце що-йно пишло зъ полудня, якъ Савчыха выправляла свого сына до Львова. Оттакъ ще, докы визъ зъ киньмы стоявъ на подвир'ю, то ще маты держалася, не плакала. Та якъ побачыла, що мама, стара Чупська, обтырае сльозы, а парубокъ сидае вже на визъ, такъ гирко заплакала, що вже сльозамъ не було ни впыну, ни розрады. Диты соби въ плачь, Савка тилькы очыма клипае (выпывъ уже де-що), бабуся благословить внука, а винъ усихъ по рукахъ цилуе та й плаче гирко такожъ. Вже парубокъ триснувъ батогомъ, и Савка прымоствься на вози, а маты ще стае на шпыци колеса, та обгортае сына, абы не перестудывся; каже чоловікови пыльнуваты його въ ночи, а бабуся зъ глыбокои кышени вытягае дви шисткы и дае ще Мыхасеви „на горихы“..

— Ну йидь уже разъ!—прыказуе старый Чупський погоничеви нетерпелыво.

И погоничъ рушае. Визъ выкочуеться скоро зъ подвир'я, на котримъ остаються заплакани жинкы й диты, мовчать якыйсь часъ, а потимъ втыхомыруються и входятъ до хаты. Лыше маты дывыться ще зъ дороги довго за вид'йизджаючымъ возомъ.

Савка ззкурывъ соби цыгара и йиде мистомъ гордо.—Куды?—пытаються його знайоми.—До Львова Мыхася везу,—видповидае Савка.—До шкиль?—А якже!—Дай Боже щаслыво!—Дай Боже; дякую за добре слово.

А кони женуть скоро; отъ уже й рогачку мынають. Мыхась сыдыть заплаканный проты батька, не знае, що зъ собою початы. Бере винъ, выймае яблуко зъ кышени, йистъ та й якось и плакаты забувае. Все ще тато йестъ коло нього, то йому здаеться такъ, якъ бы дома бувъ.

— Якъ будете ризаты Зиркатого, то мени дасте знаты: то гроши мои,—каже до тата.

— Добре, добре,—такъ батько,—я твого не хочу. Ино, абы ты вчывся. Кожушокъ тоби справлю.

— Але його бъ ще можна пидгодуваты,—завважае сынъ.

— Кого?—пытається задуманный батько.

— А Зиркатого. Винъ ще йистъ.

— Ну-ну, якось то буде; не журыся ты нымъ...



А на неби сонечко пишло геть зъ полудня и хочъ то вже по першій Пречыстїй, а пекло такы добре. На гостынци пыль клубамы вьеться довокола воза, залитае Савци въ нисъ и въ горло, видъ чого воно йому дуже высыхае. Такъ высохло йому, що винъ въ Новимъ Яжови мусивъ злизты зъ воза и вступыты до коршмы. Пыво було недобре, та все Савка трохи захолодывся, горло промывъ. Выпивъ, заплатывъ, закурывъ згасле цыгаро й дали въ дорогу. Йиде винъ, йиде, а тутъ трохи й витерь зирвався и порохомъ мете Савци просто въ лице. Сплюнувъ Савка разъ и другый и заразы такы въ сели Скли вступывъ зновъ до коршмы. Найшовъ тамъ знайомого й забалакався. Такъ забалакався, що казавъ погоничевы даты конямъ трохи сина, оттакъ лышь жменью, абы дармо не стоялы, а самъ выпывъ зи знайомымъ по гальби та й сынови давъ шклянку.

Выпивъ Мыхась шклянку пыва й выйшовъ зъ коршмы. Дывьтыся у сторону до дому—не выдко ничего, ино гостынецъ и поля. Нагадавъ соби маму и зробылося йому дуже жаль. А якъ нагадавъ соби ще й незнаний Львивъ, то до того и страшно йому стало. Отъ винъ, не багато думаючы, якъ дурный хлопчысько, тыхцемъ, нибы такъ соби, гайда на гостынецъ, оглянувся разъ и другый, чы батько не бачыть або погоничъ, скочывъ у ривъ и давай чымъ скорше втикаты до-дому. Бижыть, бижыть, ажъ задыхався. Тутъ и страшно йому передъ батькомъ, а вертаты нїякъ не хочеться, ни за яки гроши. Тамъ дома певне мама плаче за нымъ, а Мыхасевы жаль и за нею, и за Геленкою, и за Стасьомъ—ни! треба вертатыся до-дому. Може то ще якось мынется; якъ прыйде до-дому, якъ стане просыты, то мамы зробыться жаль, и вона його вже не пустыть до Львова.

Такъ та думка засила хлопцевы въ головы, що винъ бигъ та й бигъ, не прыпочываючы, ажъ добигъ до Нового Яжова. А вже було смерклося, и нихто його не бачывъ, а хочъ и бачывъ, то яке тамъ кому було дило до хлопця? Мыхась, що пидбижыть кусень дороги, все оглядаеться, чы не здоганяе його батько киньмы, але батько не йиде, воза не выдко. Одне страхъ такы бере хлопця, и винъ иде такимъ крокомъ, якъ старый. Мынувъ уже Новый Яживъ и выйшовъ въ поле. На двори що разъ темнїше, Мыхась добачае тутъ и тамъ нибы зайцивъ, нибы якыхсь страхопудивъ—ажъ мурашкы йдутъ йому по-за плечи, але винъ не такый боязкый, щобъ у вечери лякався ходыты.

Таки и подибни думкы снуються йому по голови, мишаються одна зъ другою та пидганяють його въ ходи. Втомывся хлопчесько, ажъ пить йому выступывъ на чоло. Але хочъ уже до-до-му недалеко! Отъ у питьми выдко зъ горба свитло въ мисти: ще зъ пивъ годыны—и Мыхась буде дома.

Мынае пивъ годыны, и втомлений Мыхась стоить передъ викнамы своеи хаты. Дывыться, що мама робыть. Сыдыть пидъ печею, наймолодшый сынъ на колинахъ, та й видъ часу до часу обтырае очи. А Геленка коло неи. Щось говорыть, але на двиръ не чути. Що тутъ робыты? Чы входыты до хаты, чы ни? А ну жъ мама буде быты?..

Думавъ такъ Мыхась хвылю-дви и входить тыхцемъ у сини.

— А хто тамъ?—пытається зъ хаты Савчыха.

А Мыхась и бойться видповисты, и бойться двери видчныты.

— Подывсы но, Ганко!... тамъ щось въ синяхъ рушылося, чы що таке!—каже Савчыха до слугы.

Одчынне Ганка двери, а Мыхась шустъ—и сховався за бочку. А въ Ганкы ажъ душа захолола.

— Святъ-святъ-святъ!—каже,—чы не Мыхась то?!

— Що тоби Богъ давъ!—завважыла Савчыха, але садовыть дытну на лавку и сама йде зъ лямпюу въ сини.

Ажъ тутъ Мыхась вылазыть з-за бочки, скрывывся, та до мамы; береться ии въ руку цилуваты. Савчыха дывыться й очамъ своимъ не вирыть.

— А ты звидкы тутъ взявся?—пытається.

— Та я втикъ!—видповидае сынъ несмильво и на мисци встояты не може.

— А де жъ тато?

— Въ Скли, пиво пьють.

Розсердылася Савчыха такъ, що трохы лямпюу не вдарыла объ землю. И то не такъ на хлопця взяла ии злисть, якъ больше на „старого“. Взяла Мыхася за руку и ввела въ хату. А Мыхась якъ почувся зновъ дома, то й повеселивъ такъ, що йому ажъ очи свитяться.

— Падоньку мій, що тутъ робыты?—журыться Савчыха. Выбыла бъ хлопця — жаль ий: вона, правду сказаты, и сама трохы рада, що його мае дома! Высварылася бъ зъ чоловикомъ, такъ винъ же въ Скли. Ще десь кони затратыть... Свитку жъ мій!...—нари-

кае Савчыха, бо и йе чога: кони можуть пропасти. А хиба Мойкови не пропалы такъ на Янивській Гори? Пропалы на нынишній день....

Зъ велькой досады Савчыха вдарила Мыхася кулакомъ по плечахъ, але въ тій же хвыли й пом'якшало ии серце; вона добула зъ кухни печеню и дала сынови йисты. Йистъ Мыхасъ вечерю, трохы скрыввся, а маты ходыть то сюды, то туды; тутъ кыне ложку, тутъ мыску посуне; отъ закрычыть на стару слугу, помиркуе, шо не було чога, и розсердыть на найменьшого сына, шо поплямывъ сукенку. Така ии нетерплячка взяла, шо страхъ!

Ажъ тутъ чуе—на подвир'я в'йиздыть визъ, чуты голось парубка. Йесть! прыйихавъ Савка! Прыйихавъ и застрашенный прыбигае въ хату.

— Йесть Мыхасъ?—пытається и, помитывшы сына зъ печенею въ руци, прыскакуе до нього, такъ якъ бы його хотивъ быты.

Але Савчыха ловыть його за руки, тручае зъ цилои сылы на лавку й бере Мыхася въ оборону. Савка сидае на лавци...

До пизньої ночи сварылыся обсе, а Мыхасъ соби спавъ цилкомъ спокойно, якъ бы ниякой провыны не мавъ. Правда, шо хлопецъ бувъ здороженный...

#### IV.

Страхъ, яки ти люде обмовни! Нибы шо въ тимъ таке вельке, шо хлопчысько втикъ зъ дороги? Втикъ, бо дурный, а якъ бы розумъ мавъ, то бъ не втикавъ. Отже не таки люде маломиськи. Довидалыся видъ Савкового парубка, якъ и шо, и до полудня вже пивъ миста знало про все. Ну, дизналыся люде про прыгоду—не вельке лыхо! Та бо мало того, шо знали, а ще й сміялыся по-за очи не зъ хлопця, а зъ Савчыхы. И не шо вже чужи, а й сестра Савчыхы, Дутчыха, вельку радистъ чула у своимъ серци, якъ довидалася, шо Мыхасъ утикъ до-дому.

— Правда ты не втечешъ?—пыталася своего Андруся.

— Ни, не втечу,—такъ Андрусъ.—Я самъ хочу до школы йты.

Не стерпила Дутчыха мовчаты и расповила сусиди за Мыхася й за Андруся, якый то Мыхасъ не цикавый до школы, а ии сынъ цикавый.

Савчыха свому и дзыкгаркы справляе, и комирци, якъ бы якому панычеви, а вона, Дутчыха, того всього свому не дае, бо

не може, а проте въ Бози надію мае, що хлопецъ буде вчытыся. А сусида не така: взяла та й росповила те дальше.

Воно то певна ричъ, котре бъ матерынське серце не радувалося доброю дытыною, а проте хочъ бы й якъ—и Савчыхы сынъ не такой уже недотепный, абы до шкиль не мигъ ходыты. Утикъ разъ, а теперь уже не втече, бо Савчыха сама повезе його до Львова. Выдко, годи спустытыся на чоловика, треба самій видвозыты. Дутчыха йиде до-свита зъ своимъ сыномъ до Львова, зъ нею йиде Сторонський, то вона такожъ пойиде. Не возомъ на Янивъ до Львова, а до Судовой Вышни на „колею“. Такъ липше. Дорожче трохы—то правда, та най уже! що робыты?... Колы стало на юшку, то стане й на петрушку.

Якъ то бувае мижъ людьмы: одынъ свита звыдыть, ажъ йому навкучытыся, а другый сыдыть та й сыдыть у своимъ гнизди, ажъ здається йому, що по-за його мистомъ, чы селомъ уже людей нема, а колы й йе, то якись не свійськи. Савка въ свити бувалый; бувъ и въ Кракови, и въ Перемышли, и у Львови, и въ Тернополи, въ Станиславови, ажъ по Галычъ засягнувъ разъ,—звычайно, що купецъ: йиздыты мусыть; а й въ Дрогобычи бувъ такожъ. А Савчыха якъ була на Кальваріи коло Добромыля и въ Янови на торзи, то бильше свита й не бачыла. Дутчыха такъ само: була на Кальваріи на видпусти и въ Кракивци разъ изъ скрынямы. Якъ же такымъ жинкамъ необизнаннымъ и выбиратыся до Львова? А вони такы выбралися зъ сынамы! Савчыха не вирыла своему чоловикови, а Дутка зновъ мавъ якусь пыльну роботу та й мусивъ жинку выслаты. Добре ще, що йихавъ зъ нымы титчынъ сынъ Мыкола; то винъ мижъ бабамы ладъ робывъ.

Прийихалы до Судовой Вышни, ще сонце не сходыло. Чекалы зъ годыну, ажъ имъ навкучылося. Савчыха выняла ковбасы, частуе Сторонського, а Дутчыха—що то розумна жинка!—радыть Сторонському не йисты рано холодно ковбасу, бо пошкодыть, а отъ вона мае добру горилку й тисточка, то можна перекусыты. И послухавъ Мыкола Дутчыху, що Савчыси дуже не сподобалося.

Правду сказаты, Дутчыха й спекты по-панськы вмила. Навчылася видъ чешкы,—той, знаете, що по всихъ весилляхъ варыть и пече. Прыдывылася й навчылася. У неи чы зъ макомъ, чы зъ конфитурамы спекты перижкы, чы що тамъ—то ничего, усе вміе, такъ якъ бы яка пани, а не донька ризныка Чупського.

Така вже цікава була до всього. Богъ такъ їй давъ, таку натуру цікаву.

Йидять вони, частуються, ажъ тутъ дзень-дзелень!—прийхавъ пойїздъ. Треба збираться. И не допыльной же въ ту хвилю всього, абы чога не забути,—ни! забула Савчыха у поспиху ковбасу, у папери завынену, на лавци; забула, сила у визь, зложыла коло себе, що мала, посадила й Мыхася и чекае. Оглядається сюды й туды,—дуже їй чудный выдався той визь, у котримъ мала йихаты. Хата не хата, сами лавки й польци; викна, що правда, їе, але бильше ничего. А вона ще, якъ жые, такымъ возомъ не йїздыла, хочъ и бачыла,—то для того їй такъ чудно. Нибы то, правду сказавшы, Дутчыси такожъ чудно, бо такожъ на зализныци не йїздыла никола, але що розумна жинка була и знала, що выпадае, а що ни, то не оглядалася на вси боки, тилькы покклала, що мала, на польцю, посадовыла Андруся коло себе, поспыталася, якъ выпадае, Сторонського, чы йому выгідно сыднты, й чекала. А Савчыха своихъ тлумакивъ на польцю не клала, тилькы на колинахъ трымала и коло себе на лавци, абы не пропалы—такъ никома не вирыла.

Свыставка на паровози засвыстила такъ голосно, що що хлопци, а й сама Савчыха налякалася. Перехрестылася и почала шепотиты якусь молитву. А Дутчыси видъ того смишно зробылося, що сестра така боязка, и вона про те шепнула Сторонському. Сторонський такожъ усмихнувся. Дуже йому подобалася ота сестра Хрыстына Дутчыха. Вже, що хочте кажиты, вона такы й на выдь була соби ще гарна. П'ятеро дитей мала, а шосте вмерло—то правда, але жинка була ще молода—якыхъ трыдцять литъ мала, бильше ни – и цвила соби, якъ рожа. А очи то таки мала весели, що якъ та дытына. Подывыться—нибы сміється до тебе и—просты Боже гриха!—звесты зъ розуму хоче, або що—дарма, шо у неи свій чоловикъ їе, а вона така вже зъ натуры була до всихъ прывитна.

То „професоръ“ соби коло неи сыдыть и балакае. Балакавъ про те, якъ тамъ жыветься въ бурси,—бо Андруся прыйняли въ бурсу за малу доплату,—каже, шо може навить самъ обохъ хлопцивъ буде вчыты, бо його прыйняли до „руської“ гимназиї на учителя, и винъ готовъ ще маты Андруся й Мыхася пидъ своєю рукою. Абы тилькы вчылися... Балакають соби любенько, жартують, якъ бы яки молодята,—Савчыха кривыться, ажъ наразъ пидъ Городкомъ вона сюды-туды до ковбасы, а ковбасы нема.

Ну нема, то нема; забула, то забула, колы жь бо Савчыси велькый жаль и страта: ковбасы було зь п'ять фунтивъ, а то гроши не мали—якого пивтора рынського! Де лышыла? А де жь бы, якъ не въ Судовій Вышни на лавци пидь викномъ! И якъ вона могла ии забыты? Бувъ бы мавъ хлопець хочъ на тыждень що йисты, а теперь пропало. Такъ Савчыси жаль за ковбасою, що трохи на плачь ий не збирається. Сама ии робыла для сына, а теперь хто ии йистъ? То злый знакъ... А тутъ ще приходить ий на думку, що сестра и Сторонський певно бачылы, якъ вона лышыла ковбасу на лавци, и навмысне ий не сказалы, абы мала страту. Ще потимъ на вид'йизднимъ сміялыся. То певно зь неи!... Туй-туй и вже була бь те вымовыла, але Львивъ бувъ недалеко, и вона зрзумила, що теперь не пора ображаты Сторонського: винъ же потрибный и для неи, й для Мыхася. Сестра зубамы свитыть до Сторонського—стыду не мае, а винъ тому радъ; годи жь теперь и ий почынаты яку суперечку. Пропалы зо тры ликты ковбасы, якъ у воду впалы. На самъ початокъ—и така страта!...

Прыйихалы у Львивъ на дворець. Сторонський радыть йихаты у мисто электрычнымъ трамваемъ; Дутчыха на те радо прыстае—новына ий, а Савчыха не хоче: разъ боиться машыны безъ коня и безъ пары, безъ ничего, а друге—школа, каже, грошей: можна и пышки зайты. Але Сторонський на те не прыстае, платыть за всихъ билеты (Дутчыха йому потимъ звернула, а Савчыха ни) и садовыть у вози. Дывуютья жинкы и хлопци, що за кумедія: визъ йиде, а тои „летрыкы“ нигде не выдно, ни з-педу, ни з-заду, хочъ Сторонський поясняе, що то такы „летрыка“ тягне, така сама сыла, якъ блискавыцы у хмарахъ. Та де то небувалымъ жинкамъ зрозумиты? Але щось такы визъ тягне; фирманъ корбу крутыть, а що воно йе, Богъ те знае, а вони не розгадають: не така ихъ голова.

Прыйихалы у мисто. Ну, хвала-бо! Идутъ, идутъ, дывуютья; хлопцивъ трохи визъ не перейхавъ, а Савчыха трохи тлумака не згубыла—тяжкый такый! Завивъ Сторонський Савчыху до кондукторкы, а Дутчыху зь сыномъ до бурсы. Лышылы тамъ свои тлумаки, а потимъ Сторонський пишсвъ зь хлопцямы до гимназіи, абы здавалы испытъ. Довго те протяглося, трохи не цилый день; мамы чекалы-чекалы нетерпелыво, але якось, Богъ давъ, хлопци поздавалы испытъ. Одынъ лышь Сторонський знавъ, якъ мусивъ за Мыхася просыты знайомахъ професоривъ, що не хотилы його

прыняты до школы, а якъ зновъ бувъ вдоволенный зъ Андруся, що професорамъ сподобався. Але винъ того матерямъ не розпо-видавъ; казавъ, що обидва экзамень здали добре й теперь мусять лышытыся у Львови. Дастъ Богъ, и дали буде добре.

Такъ те сподобалося и Савчыси, и Дутчыси, що воны нѣякъ не могли вид'йихаты зи Львова, не запросывшы Сторонського на пыво. Погостылы його, зайшлы ще до кондукторкы, поплакалы надъ сынамы та й вид'йихалы жыдивськымъ возомъ на Янивъ до-дому, бо то хочъ и мука йихаты цилу ничъ симъ мыль, але за те дешевше й безпечнѣйше!

Пойихалы смутни мамы до-дому; Андрусъ пишовъ у бурсу, а Мыхась сыдыть у кондукторкы й плаче. Такъ уже плаче, ажъ заводыть. „Пани“ його, що ии титкою клыкалы, потишае и такъ, и сякъ—не помагае. Ажъ въ кинци змучывся хлопецъ и заснувъ.

А рано, ще не свитало, збудывся, шось соби помиркувавъ, убрався, выйшовъ на хвыльку зъ хаты—титка й не гадала ничего—выйшовъ зъ каменыци, и якъ бачывъ шляхъ зализныци электрычнои, такъ просто нымъ пишовъ на дворець. Такой бувъ мудрый—добре за дня всьому прыдывывся!... Прыйшовъ на дво-рець и пытаецься, чы видходыть теперь „колея“ до Судовой Вышни. Сказалы йому, що ось заразь видходыть.

— А де бъ тутъ можна билетъ купыты?—пытаецься ще.

Показалы йому, де купыты; винъ купывъ, бо мавъ гроши видъ мамы, и за людмы йдучы, сивъ у вагонъ та й просто по-йихавъ у Судову Вышню. Такой бувъ штудерный! Правда й те, що не такой уже бувъ молоденькый: чотырнадцять литъ мынуло йому на Спаса, то розумъ уже мавъ. Прыйихавъ у Судову Вышню, ще й роспытався, чы не найшовъ хто ковбасы, та не видпытавшы ии, прыдыбавъ якогось селянына, що йихавъ до Вижомли, пры-сивъ соби зъ нымъ, а видъ Вижомли зновъ зъ якимсь другимъ добрый кусень дороги пройихавъ, решта йшовъ и такъ передъ полуднемъ бувъ уже дома. Йде винъ загуменкамы, абы його лю-де не бачылы, прыходыть на подвир'я, а тутъ въ ту саму хвылю маты надходыть зъ миста, шо-йно такожъ прыйихала зи Львова.

Дывытыся Савчыха и не йме виры своимъ очамъ.

— Чы то ты, Мыхасю?—пытаецься його зъ острахомъ.

— Я мамо!—такъ Мыхась.—Мени було дуже жаль и я пры-йихавъ...

— Та якъ же ты прыйхавъ?—дыветься Савчыха, а тутъ зъ дыва ажъ руки опустыла.

— На колеи,—каже Мыхась.—До-свита выбрався.

— А цюця тебе пустыла?

— Вона не знала, що я хочу йихаты.

— Що жъ тоби сталосся?—пытається Савчыха, а голось у неи тремтыть з-пересердя та жалю.

Ажъ тутъ на те надходыть Савка зъ миста.

— А що? певно не здавъ?—пытається.—Колы не здавъ, то ще липше. Винъ мени потрибный. Я ажъ плакавъ учера за нымъ.

— Але жъ винъ здавъ и зновъ утикъ!

— Та якъ же втикъ?—дыветься Савка.

Справа заразь выяснылася, и Савка, погнивавшысь трохи, навить тишыться, що його сынъ такой мудрагель; дывувався йому, якъ бы не знаты кому.

Мыхась побувъ килька годынъ дома, оглянувъ ще разъ своего Зиркатого, але на мисто не выходывъ, бо маты його не пустыла. И такъ уже люде будутъ маты, о чимъ клепаты.

Але пидъ вечиръ Савка казавъ запрягты кони, зайихавъ у Судову Вышню, а звидтамъ зализныцею видвизъ знову Мыхася до Львова, до затревоженои дуже титки. И мусивъ уже теперь Мыхась остатыся у Львови.

## V.

Гей, Боже! якъ бы то у Савчыхи чоловикъ такой, якъ въ иншыхъ жинокъ, була бъ и рукамъ пильга, и голови розрада. Въ иншыхъ жинокъ чоловикъ и господарства догляне, и худобы, и въ поле пиде—всюды окомъ кыне. А Савка ни! Тамъ десь пойдиде часомъ на торгъ, купыть що, або й не купыть, вернеться запытый и дармуе. А ты, Савчыхо, доглядай дитей и худобы, вары, печы, перы, коло молотильныкывъ ходы, бульбу копай, на мисти м'ясо продавай—всюды сама ходы та дозырай, бо Савка—панъ, йому не хочеться. И вже за тою роботою Савчыха ни спыть, ни йисть—така стала, якъ „сотвориння“ \*). Подывыться не разъ ма-ма Чупська на ню и каже:

---

\*) Такъ змарнила.



— Ты бо, Касюню, пыльнуйся трохи. Наймы ще слугу! Та й на свогò покрычы!

А Савчыха бильше слугъ не хоче, каже, що й зъ тыхъ, яки мае, корысты нема, ино дарма хлибъ переводять. Петрови жъ, хочъ крычы або й не крычы, ничого не поможе: зъ того часу, якъ Мыхась вид'йхавъ, ще гирше пье. А тутъ до того всього жу-ряться ще й Мыхасемъ, щò винъ тамъ робить у тимъ Львови; пойхаты бъ треба, а нема колы. Вже тыждень мынувъ, а йому бъ и те, и се завезты треба, бо не мае.

И хочъ якъ Савчыха часу не мала, а пойхала до Мыхася. Прыйихала, привезла, що треба, розвидалася, що Сторонський учить въ иншихъ клясахъ, а не въ тыхъ, де Мыхась и Андрусъ, походила трохи по мисти, и що ий найбильше подобалося, то ти мундыры, що ихъ студенты носять въ гимназиі. Давнйше ихъ не було, а теперъ настали. Ходять соби студенты, якъ бы яки кадеты; подывышся на котрого зъ ныхъ и заразъ пизнаты, зъ якои клясы. У того тры срибни пояскы на комири — выдко, що зъ третьи клясы; а въ сього тры золоти пояскы — заразъ выдко, що зъ сьомои клясы. А шапка зъ якымсь знакомъ, чы орломъ—цилкомъ такъ, якъ у кадетивъ молоденькихъ. Такъ соби Савчы-ха той мундырь уподобала, що взяла та й замовыла для Мыхася такой самый. И такъ на зиму треба буде йому „бурмуса“—най же мае такой, якъ инши студенты. И вже соби миркувала, якъ то буде красно, колы Мыхась прыйиде у такимъ мундыри на Ри-здво до-дому. Перейдеться по мисти сюды-туды, а мами буде втиха.

Зорудувала Савчыха, що мала, и вид'йихала. А на другу не-дилю зновъ прыйихала. Не могла всидиты дома, мусила свою ды-тыну хочъ разъ на тыждень бачыты. А потимъ за два тыжни ще разъ прыйихала. Стривъ ии Сторонський и пытається:

— Чы не за-часто вы, сестро, прыйиздыте? Хлопцеви все тиль-ки димъ прыгадуετε, а йому кныжка не въ голови.

— Хиба винъ не вчыться?—пытається Савчыха.

— Адже не вчыться! Линюхъ такой—на цилу клясу першый. Йому Зиркатый въ голови. Не пысавъ до васъ про Зиркатого?

— Таже пысавъ!

— Ну, бачыте—його те обходыць, а што килька трыюкь\*) одибравъ, то йому байдуже.

Зажурылася Савчыха, пытаецца, шд робыты. Порадывъ Сторонський взяты домашнього учителя до Мыхася. Добре—взялы учителя.

Пойхала Савчыха до-дому и послухала Сторонського: не навидувалася до сына цилый мисяць. Але на Покрову такы послала свою маму Чупську до Львова, нібы то на видпустъ, а влассытво до сына—подывытыся, чы йому чого не бракуе. А зъ Чупською пойхала й Дутчыха до свого Андруся. По Покрови жъ и самъ Савка пры нагоди видвидавъ такожъ Мыхася и расповивъ йому, що Зиркатого якогось тамъ дня, певно, заріже. Стривъ Сторонського и выпывъ зъ нымъ де-що. Сторонський нарикавъ, що зъ Мыхасемъ эле—не вчытыся; за те Андрусъ пыльный хлопецъ. А Савкы те й головы не бралося; колы, каже, не вчытыся, то верне до-дому; винъ и тамъ потрібный. Отъ змарнивъ лыше хлопчысько!

Савка вид'йихавъ.

И якъ бы тамъ то було дальше зложылося—знаты не знаю, але сталося таке, яке Савчыси й не снылося. Якогось тамъ дня прыйшовъ до Савкы лысть зи Львова видъ самого дыратора гимназіи. Не знала Савчыха, шд въ нимъ напысано, дала перечытаты доньци Геленци. Геленка чытае-чытае и Савчыха не розуміе ничого. Пишла вона зъ тымъ до дяка и той вычытавъ, що Мыхасъ не вчытыся зъ латынського, немецкого й руського языка та математыкы й обычаи мае лыхи. Смутку жъ мій!

Порахувала Савчыха все, що доси выдала на сына й жаль ій зробывся велькый. Та бо то вже до соткы доходило, не рахуючы того, що зъ дому выслала. Пишла вона до родычивъ и застала тамъ Дутчыху.

— Чы ты дистала яке пысьмо за свого зи Львова?—пытаецца сестры.

— Ни, не дистала,—каже Дутчыха.—Або що?

— Та ничого. Якъ бы я такъ вмила пидлызуватыся титчыною Мыколи, то винъ бы й за мого Мыхася дбавъ, а такъ то тилькы про твого дбае,—впекла Савчыха сестру ни за що, ни про що.

---

\*) Зли ноты, по нашому—баллы.

— Чого жъ ты мене чипаешся?—пытається сестра зъ жалемъ.

— А бо я ни въ кого ласкы не маю; мій Мыхась и дурный, и не пылнується, а твій и добрый, и вчыться; за нымъ вси, за моимъ ниhto.

— Та що жъ я, тому вынна?!—борониться Дутчыха, а вже гольсь у неи тремтыть.

— И сына до бурсы за пивдармо, а я за свого платы та й платы—и ще не знаты, чы варто.

А Дутчыха розсердылася й каже:

— Платы, колы хочешъ пана маты! Выймы-но зъ твои зеленои скрыни мошонку и потрясы нею трохы. Не пошкодыть тоби; маешъ досыть! А мени не кажы, що я пидлызуюся...

А въ Савчыхы кровь запыла и, мовъ гороху высыпала, таке наговорыла-наплела:—А тоди на колеи донього ты зубы не скирыла? А на Покрову зъ нымъ на пыво не ходыла? Хиба я не знаю?... А до моихъ грошей тоби зась! Зубы соби порахуй, а не мои гроши, дурна столярко, зъ своимъ сыномъ, такимъ дурнымъ, якъ ты сама...

А въ Дутчыхы заболело сердце, не такъ за себе, якъ за Андруся, и вона видгрызлася, що страхъ!...

— Зъ мого,—каже,—Андруся будуть люде; а зъ твого... най не кажу! Бо мій вчыться, хочъ и дзыкгарка не мае и мундыра не носыть, якъ фантерысть\*), а твій...

За-багато то було Савчыси; прыскочыла розлючена до сестры и пидсунула свій костьюстый кулакъ ажъ пидъ ии нись. И не знаты, що бъ зъ того було вышло, але надйшовъ на той крыкъ старый батько Чупський и розборонывъ сварлыви донькы. Тоди обыдвѣ расплакался, а поплакавшы розйшлыся, постановывшы соби твердо въ сердце своимъ никола до себе й слова не промовыты.

Нагадала соби Савчыха, що чоловикъ мавъ Зиркатого ризаты и захмарена вернулася до хаты. Прыходыть, а Зиркатый уже высыть въ синяхъ, прычипленный за задни ноги до дрючка; высыть бидолаха нежывый, а такый довгый, що хочъ якъ його высоко пидтягувалы, а винъ рыломъ трохы земли не досягавъ. Высыть и не рушытья и вже теперъ йому хочъ яблуко, хочъ бурякъ, хочъ не знаты що давай та по щетыни гладь—не рушытья, нещасный,

---

\*) Инфантерысть—пихотынецъ.

бо Савка йсму немилосердно смерть зробывъ, такъ якъ соткамъ иншыхъ товаришивъ Зиркатого. Якъ бы бувъ Зиркатый знавъ, що його така смерть чекае, бувъ бы утикъ въ лисы та дебры, тамъ зъ дыкамы коринци йивъ, а не лакомывся на ласоци у Савкы. Та ба! якъ бы знаты напередъ свою долю...

Згынувъ Зиркатый тыхо, безъ крыку й безъ зойку. Вытяглы його, трохы не вынесли зъ хлива, перевернули; винъ засапався, думавъ, що його хотять шкрябаты по щетыни, ажъ тутъ... Ну, що тутъ багато й говорыты? Згынувъ Зиркатый видъ ножа, бо така доля всього його роду. Не мавъ, бидный и часу, и сылы крыкнути. Та вже, правду сказавшы, и не дуже жаль було йому гынуты, бо й жыття ставало йому немиле. Лежы, та й лежы; з'йивъ бы се—не смакуе, з'йивъ бы те—такожъ ни; що жъ таке жыття варте?

— А ты де була?—пытається Савка въ жинкы, распорючы Зиркатого видъ заднихъ нигъ до переднихъ.

— А тоби що до того?—видворкнула жинка й увійшла въ хату.

— Та мени ничего до тебе,—каже Савка,—але абы я самъ воду наставлявъ для вепрыка та пыльнувавъ всього, то такы ще не бувало. Вечиръ надходить, а вона кудысь волочыться.

Перемовлялыся такъ зъ хвylieю зъ хаты въ сины и зъ синой въ хату, покы Савчыха дверей не замкнула, бо зымно йшло. Порається Савка зъ кухаркою коло Зиркатого, а Савчыха щось коло дитей нышпорыты; няка работа не береться ии. Все ий Мыхась на мысли: и жаль ий хлопця, и лыха на нього—така лыха, що будь винъ тутъ, выбыла бъ його, якъ не свого.

И чы вона въ таку лыху годуны помыслыла, чы що таке, дывыться—ажъ тутъ мама ии, Чупська, веде Мыхась до-дому. Веде його, тягне за руку въ хату; що лышь хотила щось сказаты, а Савчыха якъ не вхопыть патыка, а потимъ Мыхась, выбыла його, выбыла, ажъ люде на улыци прыставалы—такий крыкъ звивъ Мыхась въ хати. Такъ была Савчыха, що не хотячы, ажъ маму й чоловика свого, котри прыбиглы бороныты, по рукахъ ударыла а сына зъ рукъ не выпустыла. И щобъ пры тимъ яке слово сказала, ни—не промовыла ничего, тилькы видтрукыла одурилого хлопця видъ себе, а сама выйшла зъ хаты, пишла въ кухню по другимъ боци синой, сила на лавку й задумалася.

-- А ты звидкы тутъ взявся?—пытається Савка сына.

— Та що такого велького?—боронить уже бабуся Чупська внука, бо їй жаль стало,—прыйхавъ до-дому, а вы його бьете!

— Та бо я й самъ не знаю, за що його жинка была,—завважывъ Савка.

— Та за що? Отъ за що,—каже Чупска,—казавъ мени дякъ: прыйшло письмо, що винъ не вчыться. А въ мене обидви сварылыся черезъ те...

— Хто?

— Та твоя зъ Хрыстыною, що іи вчыться, а твій ни.

— Ну-ну! не вельке нещастя,—обернувся Савка ласкаво до Мыхася,—тылькы мени хлопця збыла... Якъ бы не те, що... давъ бы їй за те! Колы жъ ты, Мыхасю, прыйхавъ?

— Зъ полудня на колеи,—видповивъ Мыхась заплаканымъ голосомъ.

— А зъ Вышни якъ?

— Пишкы прыйшовъ.

— И по що тебе тутъ?

— Вы малы ризаты Зиркатого, а винъ мій... то гроши мои, я коло нього ходывъ.

— А чы я жъ тоби гроши краду, чы що?—боронывся батько.— На, маешъ тамъ Зиркатого въ синяхъ, беры соби його до Львова... Ой, не буде, выдко, зъ тебе ксьондзъ, тылькы козоризъ...

— Прыйшовъ, знаешъ, до мене,—почала бабуся,—такий змученый, бидачысько, а до мамы боявся питы. „И до мамы не пиду, и до школы не пиду,“—каже.

— Та бо я самъ не знаю, по що хлопця мучыты!—закинчывъ Савка розмову и выйшовъ у сины.

А тымъ часомъ зъ кухни надійшла Савчыха и мовчкы поставыла передъ сыномъ кусень ковбасы зъ капустою на тарилци.

Побувъ Мыхась дома два дни, бо никому було його видвезты до Львова: въ Савчыхы була дытына хвора и сама не чулася здорова, а Савка не хотивъ йихаты. Пустыты жъ самого хлопця маты не видажылася, не вирыла, що вернется до школы.

А зъ суботы на недилу сила зъ жыдамы, що йихалы до Львова, и на Янивъ пойихала разомъ зъ сыномъ, хочъ стара Чупська остеригала іи, абы не йихала, бо вона тее... и въ дорози може трапытыся—бороны Боже—яка прыгода...

Не послухала Савчыха, пойихала.

Якъ бы жъ то вона була знала, що їй таке у Львови трапиться, була бъ и не рушалася зъ дому. Але вона соби рахувала, що хочъ бы й якъ, а їй таке трапиться не може, бо ще не часъ... Але чекайте, то треба зачаты зъ кинця.

Прыйхала вона до Львова така змучена, якъ бы цилыхъ тыхъ симъ мыль пишки йшла, а не ййхала. Але що мицна жинка була, то не пиддавалася. Видшукала Сторонського й попросила його на выно. Не хотивъ Сторонський иты, отягався, казавъ, що не мае теперь часу, що прыйде потимъ до титкы кондукторкы та й таке инше. Але Савчыха його спыталася:

— Хйба вы може встыдаетесь, що я въ кожушку?

На таке пытання Сторонський каже:

— Добре, ходимъ!

Пишлы вони до Нафтулы, до тыхъ кимнатъ, що видъ подвир'я, силы соби за стилъ, казалы даты вына й сыдать. Мыхася не було, бо мама казала йому йты до-дому; якусь важну ричъ мала казаты Сторонському, то абы хлопецъ не чувъ; що те його обходять?

Пьютъ вони соби выно, лышь Савчыха дуже по-маленьку, бо не може, та й Сторонський выдыть, що намовляты ии годи...

— То вы зъ Мыхасемъ прыйихалы?—пытається Сторонський.

— Та прыйихала,—каже Савчыха.—Прыйшовъ, знаете, зъ Вышни пишки и не знаты по що? по другу голову та по третій мозокъ! Але я йому дала! Видхочеться вже йому втикаты!

— Мушу вамъ, сестро, сказаты, що не подобається мени вашъ Мыхась,—завважывъ професоръ поважно.—Линюхъ винъ великый, та й голова слаба...

— Я вже й сама не знаю, що зъ нымъ робыты, пане професоръ!—нарикала Савчыха.—Я бы зъ останнього тягнулась, абы тилькы вчывся, колы жъ выдко годи—якъ зъ каминя! Не маю шастя... Людськи диты о голоди, о холоди до школы ходять, вчаться, панамы стають, а мій...

И Савчыха трохы не заплакала зъ жалю.

— Вы дисталы зъ школы пысьмо?—спытався Сторонський.

— Та дистала-мъ, дистала-мъ, бодай я його не выдила...

— И знаете, що тамъ напысано?

— Знаю!

— Що жъ вы думаете робыты? Мыхась учытыся не буде.

— Мусыть учытыся!—видповила Савчыха ришуче.

— Але жъ винъ не може, бо тупый и линывый,—завважывъ професоръ,—натуры не зминыте!

— Зминю я йому такъ, що посыніе видъ сынцывъ и такы буде вчытыся!

— Ни, сестро, моя рада шыра—не тратьтєсь дальше на дармо, визьмитъ соби його до-дому: буде господаремъ ризныкомъ, купцемъ, буде щаслывымъ чоловикомъ,—по що його сылуваты до школы, колы до того не здався? А бачу, що не здався!

Болыть Савчыху така мова, страхъ якъ болыть, ажъ сердце рижє, але вона стрымує свій жаль и зъ заздристю пытаецься:

— А якъ же Дутчышынъ Андрусь?

— Учытыся дуже добре, порядный хлопецъ, такый слухняный...

— Але правда, що вы йому помагаете?—пытаеться Савчыха и дывытыся допытливо въ очи професора.

А професоръ ничего не здогадуецься.

— Ни,—каже,—я мало колы до нього й захожу; зайду лышь отакъ дєсь колысь якъ до нього, такъ и до вашого, а такъ то волю ихъ обохъ заклыкаты де-колы до себе. Часу, знаете, не маю; роботы по сами вуха...

Але Савчыха не вирыла сымъ словамъ; то такъ було выдко ий заразыть зъ очей. Подумала трохы, а потимъ прысунулась, нахылылась и хочъ у кимнати въ таку ранишню пору никого не було, хиба кельнеръ одынъ, стала пивголосомъ говорыты:

— Я бы до васъ мала просьбу...

— Яку?

— Просьбу таку, що вы зъ нею не будете маты клопоту, тилькы абы вы схотили.

— Та чого бъ я не хотивъ для васъ зробыты, абы тилькы все можна,—видповивъ професоръ.

— Те, чого я хочу, можна легко зробыты, бо вы соби зъ Мыхасевымы професорами колегы...

— Ну, то що зъ того, що колегы?—спытався Сторонський.

А Савчыха тым часомъ сягнула въ кышеню и такъ якъ бы прыготовылась, по-пидъ столомъ стала всуваты Сторонському якись паперы.

— Визьмить вы ту п'ятку,—шепотила вона,—и запросить Мыхасевыхъ професоривъ на добре снідання а пры тимъ имъ де-шо шепнить за сына, най бы на нього око малы...

— Але жъ то не можна, сестро Касюню!—говорывъ раздратовано професоръ, оглядаючы банкноты.

— Та колы то за-мало, то я ще п'ятку додамъ,—поспишыла сказаты Савчыха и вже рукою сягала въ кышеню.

— Не давайте, сестро, ничего й ту п'ятку визьмить соби назадъ; мы, професоры, прысягаемо на справядлывисть и никого не крывдымо навмысне. Пидкупство—грить...

— Прысягаете-прысягаете...—повторыла трохы розгнivano Савчыха,—а чога видъ мене професоръ Венгерський дви шынкы прынявъ, а масло, а ковбасы?... Такожъ за Мыхася—та й йому клясу давъ!

— Таки ваши професоры, якъ Венгерський, можуть соби прыиматы, що хотять и за що хотять, але лучче бъ зробылы, якъ бы такыхъ Мыхасивъ пыльнувалы бильше, а шынокъ не бралы! Намъ не вильно прыиматы.

— Вже якъ бы вы хотылы, то взялы бъ и никто о тимъ не потребувавъ бы знаты... Адже *воны* не потребууютъ знаты, що за мои гроши пьютъ,—завважыла Савчыха.

— Колы такъ, то я ихъ за свои гроши погощу, а вашыхъ не прыиму.

— Визьмить хочъ п'ятку!

— Не прыиму, сестро, не намовляйте: шкода заходу...

— Выджу я, що вы мени й мому Мыхасеви не ради,—жалибно закинчыла Савчыха й похылылася.

— Але жъ, сестро, якъ же я маю до васъ говорыты? Кажу вамъ, що такъ не можна и вже. Мы прысягаемо передъ Богомъ...

Дывытсья Сторонський на сестру, а вона такъ посоловила и на лыци минытсья... Прышло йому щось на думку и пытаецься:

— Чы не эле вамъ, сестро?

— Слабо мени. До титкы мушу...

Кынувъ Сторонський кельнерови гроши, здержавъ на улыци фіякра, вывивъ Савчыху зъ шынку, посадовывъ на фіякеръ и казавъ



що сылы гнаты до титки-кондукторки. А Савчыха такъ ослабла, що геть зъ сыль опала. Прыйихалы, Сторонський трохи не занысь сестру до хаты.

А стара титка-кондукторка тилькы подывылась и казала просто зъ моста забиратыся Сторонському и Мыхасеви зъ хаты...

У-вечери того дня довидався професоръ, що Савчиси давъ Богъ доньку... Взявъ винъ Мыхася до своеи хаты, бо въ титкы мисця не було, и самъ зажурывся, щд зъ тымъ клопотомъ робыты. Зателеграфувавъ бы заразы до Савкы—прыйде телеграма въ ночи, Савка налякається, буде соби Богъ знае що думаты, стане будыты когось, щобъ перечытавъ телеграму,—а правду сказаты, потребы такъ його лякаты нема, бо—якъ титка казала— и Савчыха, и донька маються дуже добре.

Ажъ рано Сторонський зателеграфувавъ выразно, обережно, абы непрывычныхъ до телеграмъ людей не наполохаты. Успокоивъ Савку, що все добре.

Проте жъ такы Савку та новына дуже вразыла, и винъ того самого дня пидъ вечиръ прыйихавъ зъ мамою Чупською до Львова. Чы сподивався винъ колы, що Богъ дасть йому доньку у Львови? А воно, бачыте, такъ зложылося, а все тилькы, абы Савчыха клопить мала, абы не мала спокойной годины...

## VII.

Чотыри дни перележала Савчыха у Львови, а на п'ятыи, закутана у кожухы, зализницею и возомъ вернула ся зъ мамою та зъ дытыною до-дому. Давъ Богъ, що та дорога не пошкодыла ни Савчиси, ни дытыни—якось прыйихалы здорови до-дому. Тилькы клопоту було багато, та грызоты и страты, що не мира. Звычайно, у Львови за все платы та й платы и кинця-миры тому нема. А все черезъ того Мыхася, бо якъ бы бувъ не пишовъ до школы, була бь... та що? Чы потрибно вамъ два разы казаты? Самы знаете, що клопить не по лиси ходыть, а по людяхъ.

Та й оттаке то, бачыте, сталося, бодай не казаты. Ну, сталося... що впало, те пропало. Коштувало воно Савчыху зъ трыдцять рынськихъ, а дома було бь обйшлося за п'ятку. Але най тамъ вже коштуе, килькы хоче,—добре, що Савчыха здорова,

та й дытына такожъ. А правду сказаты—абы дытыну не зурочыты!—гарна дивчына буде та наймолодша донька Савчыкы. Очи таки сыни, якъ у мамы, або въ Геленкы. Обыдвѣ въ маму вдалься. Ну, най росте собѣ здорова, мамѣ на потиху та на радисть, дай їй Боже що найлипше, абы не хорувала, абы мама не потребувала зновъ одынъ день въ тыжни постыты, бо якъ оттакъ за кожную дытыну стане постыты по одному дневи, то николи й м'яса не покоштуе, хочъ сама ризнычка.

Мынувся отой клопоть. Савчыка за маленькою дытыною и Мыхася трохи зъ пам'яты выпустыла; пройшло зо два тыжни сякъ-такъ спокійно, ажъ тутъ Савка вступавъ такую штуку, що ганьбы и встыду наробывъ цилій фамилии.

Стрився, знаете, зъ Дуткою и його жинкою въ шынку, а бувъ торговый день. Сыдивъ собѣ Дутка зъ Дутчыкою й пылы пиво, якъ голуб'ята. Лкбылыся обое такъ, ажъ то людямъ не подобалося. Винъ безъ неи не выпье шклянкы пыва, а вона безъ нього. Такъ сыдятъ вони собѣ, кажу, за пывомъ. Прыходыть Савка.

— Дай, Боже!

— Дай, Боже!

Прысивъ Савка коло ныхъ и по п'яному, бо вже выпывъ трохи, ни за що, ни про що вчыпився до Дутчыкы.

— А у васъ,—пытається,—колы хрестыны?

— Ще нема кого хрестыты,—видповидае Дутчыка.

— Ну, але буде!—каже Савка.

— То що зъ того?—пытається Дутчыка.

— Выпьемъ!—каже Савка.

— Выпыты можна й такъ, на що хрестыны? Напыймося, швагре! Хочъ ваша жинка зъ моею гниваеться, але то бабська ричъ гниватыся, а мы не маемо, чого.

— Правду кажете, швагре! Дай, Боже, здоровля!...

Почалося такъ гарно, якъ Богъ приказавъ. И якъ бы бувъ у Дутчыкы розумъ, абы мовчала, не було бъ суперечкы. Ни, не втерпила баба, почала своимъ Андрусемъ хвалытыся, а все такъ, якъ бы на прытыкы Савци, що його сынъ не вчытыся. Та вже той сынъ въ печинкы йому зализъ зъ своею наукою та школою! Лучче бъ й не здогадуваты про нього! Отъ же ни—нагадала Дутчыка Савци Мыхася и тымъ впекла його. А винъ видъ жинкы

чувъ та й не розважывъ, що нибы то Дутчыха мае у Стороньского протекцію, и ни сило, ни впало—визьмы та й выйидь зъ тымъ, якъ зъ чобитьмы на стиль.

— Та що?—каже.—Абы моя стара вмила такъ коло професоривъ ходыты, якъ вы, Хрыстыно, то й Мыхась мавъ бы добру клясу...

— Якъ же я хожу коло професоривъ?—пытаецься Дутчыха, а вже й очи свитяцца.

И тутъ, якъ то у п'яного дурный розумъ, Савка выхопився зъ нерозумныъ словомъ: образывъ швагрову безвынно. А Дутка обставъ за жинкою и сказавъ тамъ якесь слово Савци. Савка на те все визьмы та й гопъ Дутку въ лице, ажъ йому заразы напухло. Крыкъ, галасъ, сварня...

Змовчавъ Дутка, не видавъ Савци полычныка, пишовъ додому и на другый день Савку заскаржывъ до суду. А въ суди за два тыжни засудылы Савку на добу арешту. И такои ганьбы набрався Савка, що а ни на мисто показатыся. Якъ такы! абы такый славетный господарь та въ арешти сыдивъ! Николы ще тамъ не бувъ, хочъ не одному въ лице давъ, а тутъ швагеръ його до арешту засадывъ. Ганьба на цилу губу!

Миркувавъ Савка и сякъ, и такъ; злыи бувъ на себе, що по п'яному сварку почынавъ, а дали одного дня пишовъ и видсыдивъ кару—ниhto й не знавъ, якъ и колы. Та вже його сердце скипило на Дутку и на жинку його и на диты його, винъ ихъ и на очи не мигъ стерпиты. Савчыха жъ довгый часъ и на мисто не показувалася, такъ йъ було стыдно. А що нагрызлася, того ни спысаты, ни оповисты. Хиба жинци не мае сердце болиты, якъ чоловикови оттаке трапытыся? И вже теперь вона до Дутчыхы не тилькы „дай, Боже, добрый день“ не скаже, бо й такъ не видзывалася до неи видъ останньои сварки, але ще й плечыма до неи обертаецься, якъ ии де подыбле. Такъ погнивалысь сестры.

Та най бы вже на тимъ було скинчылося! Посварытыся можна, те мижъ людьмы бувае; а що чоловикъ добу сыдивъ въ арешти, то такы йому й на добро по-трохы выйшло, бо самъ прыйшовъ на думку, чы бъ не заперестаты пыты, чы бъ не прысягнуты на тверезистъ. Але по тимъ клопоти прыйшовъ другый, ще немыйиый для Савчыхы.

Прыславъ бувъ Андрусъ Дутка до тата лысть, и въ тимъ лысти—ниhto його не просывъ, ни за языкъ тягнувъ—взявъ

та й описавъ прыгоду, яку мавъ Мыхась Савка въ школи. Розсердывся бувъ Мыхась на якогось тамъ товариша въ школи. Ну, розсердывся, то не велька ричъ. Але жъ бо мало того, що розсердывся,—визьмы дурный хлопчысько и вдаръ свого товариша по лыци, ажъ той на землю впавъ. Упавъ на землю и поскаржився професорови. А професоръ до дыректора—и замкнулы Мыхася на чотыри годыны арешту въ школи.

Все те описавъ Андрусъ у лысти, якъ пысаръ якый, а Дутчыха заразь сказала те мами Чупській, а Чупська понесла до Савчыхи й загрызла ии тою висткою тяженькою.

— На, маешъ!—каже Савчыха,—теперь и батько, й сынъ криминальныкы!...

Страхъ якъ Савчыха хотила пойихаты до Львова, абы выбыты сына, але одно—годи було дытыну пры грудяхъ покынуты, друге—надходило Риздво, и Мыхась мавъ самъ прыйихаты додому.

— Най винъ лыше прыйиде!—грозыла Савчыха.—Выбью псявиру, абы духа въ соби не чувъ!

Легко було тоди Савчиси грозыты; може, навить, якъ бы бувъ Мыхась пидъ ту хвилью попався. мами пидъ руки, то й диставъ бы трохы патыкомъ; але прыйшло Риздво, Мыхась прыйихавъ якъ якый кадетъ у мундыри, ажъ люде зглядалься, а мама забула весь свій гнивъ: и те, що въ арешти сидивъ, и друге пысьмо за сына, що дистала зъ школы,—все чысто забула и тилькы тишылася Мыхасемъ, що на свята прыйихавъ. Дуже йому було въ тимъ мундыри до лыця; достоту кадетъ молоденький, такый, якъ старостивъ \*) сынъ, що до кадетивъ запысався и пидъ часъ вакацій „спацирувавъ“ \*\*) по мисти. А ще й споважнивъ Мыхась, якъ старый; Геленци показувавъ латынську кныжку, а вона щось чытала-чытала и ничего не розумила, ажъ ий мусивъ Мыхась роз'ясныты, щó те все значыть. Такы, выдко, щось навчывся...

## VIII.

И вже Савчыха тилькы всеи потихы мала зъ сына, що на Риздво. А потимъ прыйшлося ий зновъ грызтыся та журытыся.

---

\*) Староста—начальныкъ повиту, якъ у насъ справныкъ.

\*\*) Spazieren—проходжуватыся.

Сторонський напысавъ, що шкода кожного дня у Львови, плаченого за Мыхася; радше бь його забираты до-дому. Але Савчыха не вирыла; ий все здавалося, що то Сторонський тилькы зь заздрысты таке говорыть та пыше, а Мыхась такы дистане добру клясу. Ще надїи не стратыла, що хлопецъ поправытьсѧ.

Але швыдко прыйшлося ий гирко, дуже гирко розчаруватыся. Скинчывся першый пиврикъ науки, и Мыхась прыйхавъ до-дому на мали вакаціи зь третьою клясою и злою нотою зь обычаивъ. Якъ зрозумила Савчыха, щѧ въ свидоцтви Мыхася напысано, выбыла, выбыла його патыкомъ, здерла зь нього „кадетскый“ мундырь, выйняла якыйсь старый и кынула йому въ очи.

— Колы,—каже,—не хотивъ ты буты ксьондзѧмъ, то будешъ у мене за свынъмы ходыты!

Таке йому мама сказала! А якъ же! Сказала йому и сама, якъ подумала, яка то ганьба для неи, якъ люде будуть зь неи смїятися, килькы грошей стратыла, килькы ночей не доспала, килькы по дорогахъ намытружылася, килькы нажурылася та наплакалася,—штурхнула ще разъ Мыхася кулакомъ въ плечи и зь дытыною пишла въ кухню та тамъ довго-довго плакала.

Не дыво, що плакала! кому бь не бувъ жалъ?

А Савка ничего—абы слово хлопцеви сказавъ! Такъ якъ бы радъ бувъ. Подывытьсѧ на Мыхася, усмихнется въ вуса, поклепае його по плечахъ та и тилькы скаже: „кадетъ“ и бильше ничего. А Мыхась хочъ нибы и плаче, а проте скоро слъозы втырае—такы радый винъ, ще и якый радый, що останеться дома, що не буде мучытыся въ школи.

Навить до хлива зь батькомъ зайшовъ, подывытьсѧ на безрогы. Оглянувъ одну и другу, а пры третій ставъ—подобалася йому—и пытаеться въ батька:

— Що вы за ню далы?

— А ну вгадай!—видповивъ батько.

— Гмь!—задумався Мыхась.—А теперь добрый часть на товаръ? Бо я бувъ у школи и не знаю.

— Не злый,—завважывъ батько, всмихаючыся.

— Ну, то якъ далы-сьте трыдцять п'ять рынскыхъ, то певно бильше ни,—видповивъ Мыхась.

А Савка якъ те почувъ, то ажъ въ долони сплеснувъ.—Бодай тебе,—каже,—хлибъ напавъ! Тажъ ты на ризныка якъ вро

дывся, а зъ тебе хотили ксьондза зробыты! Я давъ трыдцять п'ять и шустку\*) на могорычъ. Видгадавъ! бигме, видгадавъ!

— Та бо вона бильше й не варта,—додавъ ще Мыхась, вдово-  
лений, що розуміється на купецтви.

Тишыться Савка своимъ сыномъ, а що жинка грызеться,  
йому не въ голови.

Було те въ недилю зрана, якъ Мыхась прыйихавъ. У Сав-  
чыхы тилькы й думкы було, що про свою грызоту й страты. Вона  
що хвыли оберталася до Мыхася, абы його штурхнуты, але чымъ  
дали, то стрымувалася—жалъ їй було хлопця. И такъ змарнивъ  
бидачысько у Львови. Муры тамъ тягнуть сылу зъ чоловика и  
годи добре выглядаты.

Пишла вона до церкви. Моылася тамъ, трохы плакала зъ  
жалю, ажъ людей те дывувало.

Выходять вона зъ людмы зъ церкви, а передъ нею йде  
Воронячка, та баба пашекувата, и Козачка зъ Гребли. Савчыхы за  
собою не выдять, и про неи розмовляють.

— Не знаты, чога ныни Уланыха такъ въ церкви плакала?—  
пытається Козачка.

А Воронячка, що то въ неи языкъ, якъ у гадыны пожары-  
стои:—Зъ утихы,—каже,—плакала, що їи кадетъ уже лацинську  
школу скинчывъ!

— А Дутчышынъ,—каже Козачка,—чую, добру клясу диставъ.  
Добре їй такъ, тїй багачци...

Якъ те почула Савчыха, то пидъ землю хотила запастыся,  
якъ бы їй хто въ лыце давъ, такъ їй стыдно зробылося за сына.  
Вона обернулася, ныбы когось шукала, а то лышь на те, абы  
дальшою бесиды Воронячки й Козачкы не чуты. Закусыла губы й  
пишла до-дому.

На вечерню не пишла, не хотила. Просыдила дома коло  
дтей, а мижъ людей выйты боялася. По вечерни прыйшлы до  
хаты тато Чупський, прыйшовъ Савка, надбигъ звидкысь Мыхась,  
силы соби, балакають. А про кого балакають? Про Мыхася. И не  
радъ бы чоловикъ його зачипаты, а мусыть, бо серце болыть.

---

\*) Шистка, чы шустка—10 центивъ.

— Я на нього двисти трыдцять рынських дотеперь выдала!— каже Савчыха зъ жалемъ.— Ныни обрахувала-мъ. .

— Але за те хочъ найиздылася ты до Львова!— каже весело Савка.— За вси часы найиздылася и ты, и вси мы.

— А бодай винъ запався, той Львивъ паскудный!— закляла Савчыха.

— Чого клянешъ, Касюню? адже ты зи Львова ще й доньку привезла,— зажартувавъ соби батько Чупський, выинявъ зъ колыскы дытynu и ставъ гойдаты на рукакъ та примовляты: „львивська панна! львивська панна!“ А та „панна“ такъ до дида усмихається любенько!... Гарна буде дытна!

— Якъ бы титчынъ професоръ бувъ хотивъ, то Мыхась бувъ бы добру клясу диставъ,— говорила все свое Савчыха, чучу жаль до всихъ.

— Не журися, жинко!— каже Савка,— най кобыла журиться, що вельку голову мае. Що Сторонський выненъ? Теперъ меньше клопоту буде. Маешъ же Геленку для себе, а я буду маты Мыхась для себе. Отъ тилькы посварылыся мы зъ швагромъ черезъ кадета, а то безъ того бъ могло було обійтыся...

— Не пый, то не буде сваркы!— завважывъ батько Чупський.

— Та я то й самъ выджу, що беда мени зъ тымъ пыттямъ... Мушу закынуты, абы не знаты що!...

А Мыхась тои розмовы слухае и шось хоче сказаты, а боиться. Але въ кинци набирається видвагы й каже:

— Мама повидаютъ, що на мене двисти трыдцять рынських выдалы. А за мого Зиркатого якыхъ сто рынських хто забравъ?

— Якый винъ твй бувъ, той Зиркатый?— пытається батько.— Чыею жъ то мукою ты його годувавъ? га? Ады! якый мудрагель!

Мыхась замовкъ и не знавъ, що сказаты.

Въ ту хвилью надійшла въ хату стара Чупська. Прийшла така рада, ажъ стари очи свитяться.

— Дутчиси,— каже,— давъ Богъ теперъ сына. Такой внукъ, якъ цванцыгеръ \*)!

А та новына дуже сподобалася старому Чупському; винъ зиррався й каже:

---

\*) Давни срибни гроши австрійськи (зъ першой половыны XIX в.).

— Знаешъ що, старъ? То мы теперь маемо двадцять п'ять внукивъ разомъ. Цисарськый нумерь...

И тишылыся вси, що Дутчыси давъ Богъ сына, тишылыся хто бильше, хто меньше.

Шить сынивъ мае теперь Дутчыха. Колы то выховаты? де на ныхъ гроши взяты? Дай, Боже, абы той наймолодшый и вси вчылыся такъ, якъ той найстаршый, Андрусь, що мама за нымъ души въ соби не чуе, такъ його любыть...

1896 р.







## *Тымофій Бордулякъ.*

Бордулякъ Тимофій (псевдонимы: Ветлына, Бондарышынъ), сынъ селянина, народывся 2 лютого р. 1863 въ сели Бордулякахъ, Бридського повиту, въ Галыччини; дитиною ходывъ до школы спершу въ ридному сели, а дали до украинської гимназіи у Львови; выщу освіту одибравъ на богословському факультети Львівського университету.

Скинчывшы науку въ университети, Бордулякъ высвятывся на священника (теперь живе въ сели Городыщи Тарнопильського повиту), але й середь невидповидныхъ обставынъ не занехаявъ праці на литературному поли. Пысаты почавъ Бордулякъ ще въ гимназіи; одна зъ його першыхъ поэзій (переспивъ зъ Гейне) надрукована въ „Зори“ за р. 1887 Почынаючи видъ р. 1891 Бордулякъ друкуе въ „Дили“ нязку оповиданъ, переважно зъ народного жыття, яки выявляють не абы-який талантъ литературный и дають авторови право на почесне мисце середь молодшой генераціи украинськихъ письменныкывъ. Його невелички оповидання („Дай, Боже, здоровья корови“, „Маты“, „Першый разъ“, „Дидь Макаръ“ то-що) такъ, якъ и бильши повисти („Бидный жыдокъ Ратыця“, „Гаврыло Чорній“, „Иванъ Бразылецъ“, „Мышалкови радости“) вводятъ чытачывъ у саму середыну звычайныхъ, буденныхъ интересивъ селянского жыття й малюють його зъ теплымъ, огрїйливымъ чуттямъ, лагіднымъ симпатичнымъ гуморомъ та спочуттямъ до тїи звычайной сиромы. Разомъ зъ тымъ творы Бордуляка мають цину и якъ зразкы поэтычни: де-яки зъ ихъ („Самитна нывка“, „Бузькы“, „Першый разъ“ то-що)—то нобы справжни поэзии въ прози. Оповидання Бордуляка выдани р. 1899 у Львови окремымъ збирнымъ пидъ заголовкомъ „Блыжни“.

Литература: Маковой О.—Тымотей Бордулякъ (Л.-Н. Вистныкъ, р. 1898, кн. VIII и IX).



## Дай, Боже, здоровля корови!



о, го, го, небоженьку! не мало я напрацювавсь, закъмъ я заробывъ 50 рынськихъ... 50 рынськихъ! То не п'ятдесять разивъ кывнуты пальцемъ, не п'ятдесять калачивъ з'йисты, а товктыся цилу зиму зъ сокырою по лисахъ, по дебрахъ, коло сажнивъ, коло брусивъ... мерзнуты, якъ собаки, та ще й о жыдивську ласку стояты, щобъ песій жыдовынъ не пхавъ чоловикови замистъ грошей горилкы! А прецинь я заробывъ и купывъ тебе, мосьпаненьку, та веду до-дому, дитямъ на потиху!...

Такъ говорывъ халупныкъ Матвій Басъ до коровы, ведучы ии на мотузи зъ ярмарку до-дому. Корова хороша: попелястои шерсты, зъ закрывленымы до-горы рогамы, зъ великымъ вым'ямъ... видно, добре перезимована.

Довкола зеленилы поля, у воздуси залывалысь жайворонкы, а тутъ пры дорози росла зелена мягка травыця, що такъ и маныла до себе корову. Сонце спустилось уже дъ заходови, чоловикъ спишывся до-дому, але корова на се не вважала. Вона що килька крокивъ ставала и жадивно скубла зелену траву.

— Ну, ну! йды бо! Яка жъ ты уперта!—прывадывъ Матвій дальше свою бесиду, сылуучысь зъ коровою.—Ты давай лыше багато молока, то вже моя стара буде тебе доглядаты, та й диты пастымутъ по межахъ, по берегахъ, килькы сама схочешъ... И тамту, що-мъ торикъ продавъ, доглядалы, тилькы прыйшла беда... треба було в-осены довгъ виддаты, податокъ заплаатыты, одужу

на зиму посправляты, та й мусивъ продаты. А добра була корова и молока сыпала багато!...

Корова мовъ розумила бесиду свого провидныка, бо видъ часу до часу обертала до нього рогату голову й миряла його свомы велькымы, чорнымы очыма.

\* \*  
\* \*

На подвир'ю передъ невеличкою хатыною, що стояла край села, бавылося п'ятеро малыхъ дитей въ полатаныхъ сорочкахъ и все бигалы до ворить та выглядали на дорогу, чы не йде батько. Сонце, мовъ вельчезный бальонъ, спускалося за рубецъ лиса и червонымъ проминнямъ обливало хатыну зъ малымы виконцями, обливало подвир'я, обливало били головы дитей, що качалысь по мурави.

Рыпнули двери, и на порози стала халупнычка Матвіха, жинка ще не стара, але вже зъ поморщенымъ и почорненымъ лыцемъ. Послидни промини сонця ще захопылы ии, поцилувалы въ лыце и Матвіха выглядала черезъ хвылю наче мидяна статуя.

— Ще не йдутъ тато! Ще нема тата! — лепеталы диты до матери,—мы хочемо га мы, дайте намъ йисты!

— Ахъ, вы сарана якась! Ничого, тилькы бы-сьте йилы, а до роботы нема васъ! — заклыкала маты зъ ласкавою усмишкою на лыци.

Вона знала, що видъ такыхъ дитей ще не можна сподиватысь велькою помочи.

— То мы будемо пасты корову, якъ тато прыведуть зъ ярмарку!—сказавъ зъ жаромъ найстаршый хлопчыкъ, семылитокъ.

Маты вынесла зъ хаты кусень чорного хлиба и стала обдильаты диты по черзи... а тутъ и Матвій непостережено з'являся пидъ воритьмы зъ коровою.

— Гей! а ну видчиняйте!—далось чуты з-за ворить.

Диты, якъ заздрилы батька, такъ и кынулысь прожомомъ до ворить, лышь одно маленьке зисталось у матери на рукахъ.

— Тато! тато! Корова!—крычало одно, то друге.

Четверо малыхъ людей вчепылось за ворота и въ одну мыть одчынылы на-встяжъ. Одчынылы—и корова зъ тріумфомъ вступыла на подвир'я, а диты обступылы ии и сталы оглядаты зъ цикавистю.

Матвіиха перехрестыла хребетъ корови й поцилувала їи въ лобъ межы рогами.

— Ахъ, моя голубонько! ахъ, моя маленька! ты певно хочешъ йисточки, ты певно хочешъ пытонькы!— лебедила вона, прымылюючысь до коровы и гладячы їи по бокахъ.

Матвій стоявъ зъ боку и гордо дывывся на ту сцену. Його очи такъ и промовлялы:—Дывысь, стара, якый зъ мене господарь! якый зъ мене батько! Шануй же мене, небого!...

— Ну, годи панькатысь зъ коровою! Лучче зробишь, якъ дасы їй хопты, або травы. Корова дїйна, добра—вси люде говорылы. Та й мени дай шо хлепнуты, хочъ борщу, або шо,—сказавъ Матвій до жинкы и пишовъ до хаты.

Матвіиха не спишыла за чоловикомъ, бо знала, шо винъ соби дасть раду безъ неи. Вона назбирала вже напередъ циле рядно хопты то травы по берегахъ ричкы и стала частуваты корову.

Матвій не чекавъ на жинку. Винъ знайшовъ въ печи борщъ, взявъ кусень хлиба и ту плынну страву справди „хлептавъ“, шо ажъ на двиръ було чути. Однакъ, колы писля дороги ложка выдалась йому за мала, то винъ соби иначе порадывъ: винъ взявъ винци горшка межы зубы и пывъ борщъ ласо, перестаючы лыше, щобъ видитхнуты та закусыты хлибомъ. Матвій найився (о скильки можна найистысь голымъ борщемъ) и положывся на постиль, шо стояла въ кутку хаты, поклавшы соби пидъ голову одыноку брудну подушчыну, яка въ цилїй хати була.

А жинка годувала корову.

— Гей, стара! а йистъ корова?—гукнувъ Матвій зъ постели.

— Йистъ моя маленька! та ще й напоиты треба бидненьку!—далась чути видповидъ Матвіихы.

Вдоволенный Матвій лежавъ на постели й ни о чимъ не думавъ. Се булы найщасливїйши хвыли въ його жыттю, колы винъ соби лигъ чы то въ хати, чы въ лиси пидъ сосною и пустывъ самопасъ свои думкы, шо безъ звязи кружылы по його голови, а потимъ десь геть росходылыся соби зъ шумомъ лиса, и його огортавъ твердый сонъ... Однакъ таки хвыли булы для нього ридкымы. Невсыпуща праця и журба про жинку й дитей займала його въ день и въ ночи.

Матвіиха взяла скипець и стала доиты корову. Диты не видступалы ни на крокъ и цикаво та жадибно слухалы, якъ цвиркало молоко. За хвылыну бувъ повень скипець, а Матвіиха не чу-

лася зъ радости. Вона завела корову до хливця, що бувъ прыбудованый до хаты. А диты слидомъ за нею... имъ такъ и пахла молошна каша.

— А що, стара, дала корова молока?—спытавъ Матвій.

— Дала, дала, та ще й повень скипець... добре молоко, густе...

— Вары кашу! — закомандувавъ Матвій, лежачы на постели, мовъ турецькый баша.

Не було те въ звычайу Матвійхы варыты молошну кашу въ будный день. Така страва на недилу, на свято, а будни дни вона збувала чымъ небудь: борщемъ, бараболею, кашею на води, або на сыроватци... Але ныни вона сама чула въ свой души якась свято... Такъ довгый часъ не було въ ныхъ коровы, такъ довгый часъ диты не выдиль ложки молока, а ныни той пожаданий гисть обдарувавъ ихъ на першимъ вступи цилымъ скипцемъ поживного нектару. Чы жъ не можна ныни зробыты выимкы? Такъ! Вона не дала соби два разы говорыты, розиклала въ печи вогонь и стала варыты кашу. Диты стоялы коло прыпичка й пыльно глядиль въ огонь, що жовтымы языками пидлызувавъ челюсты, дывыльсь на горщыкъ, що спокійно стоявъ соби при вогни, а найстаршый хлопецъ прытульвъ крадькома палець до горшка, чы вже черепъ гарячий. Та не пройшло йому се безкарно. Маты спостерегла його цикависть и пацнула його ложкою по руци та закрычала на дитей:

— Чого стоите коло прыпичка, якъ той грихъ пры души? Хочешъ одно зъ другымъ попектысь? Не можешъ вычекаты хвыли?

Диты послухалы, видступылы видъ прыпичка, посидалы рядчкомъ на лавци пидъ печею й чекалы

Огонь трищавъ, каша зачынала кыпеты, а Матвій лежавъ на постели й ни о чимъ не думавъ. Ни о чимъ не думавъ? Дывне дыво! Той щаслывый станъ душевный впрываджувавъ його звычайно въ сонъ, а сонъ об'являвся зновъ голоснымъ хропиннямъ, мовъ бы хто ризавъ пылкою соснову колоду. Ныни жъ Матвій не спавъ. Винъ лежавъ соби тыхо зи зложеномы на-вхрестъ рукамы й водывъ по хати очыма... винъ ждавъ...

Нарешти прыйшовъ кинецъ и жданню. Матвійха видставыла горщыкъ видъ огню, поставыла на столи мыску й налыла до неи каши, а молочна пара розійшлась хмарою по хати. Диты кынульсь до ложечныка й кожне взяло свою ложку, позасидалы за стиль и чекалы батька. Але батько не йшовъ до вечери; винъ на-

вить не ворухнулся на своимъ леговыщи, бо йому конче хотилось, щобъ жинка клыкнула на нього, що вечера вже на столи.

Матвіха вистудыла въ маленькій мысочци кашу для най-молодшой дытны й посадыла ии зъ ложкою въ руци на доливци. Дытына йила...

Ажъ теперъ прыйшла черга на всихъ. Матвіха взяла ложку для себе и для чоловика й сила коло стола.

— А ну, старый, вставай до вечери!—клыкнула вона на чоловика.

— Га? що? вже?—говорывъ Матвій мовъ бы з-просоння, пиднимаючысь повагомъ зъ постели.

Винъ мавъ выдъ зовсимъ байдужный. Його неголене лыце такъ и говорыло:—Этъ, що мени молочна каша? все одно, що борщъ... чы то я дытына?... Тилькы се дывно: чому винъ на першый поклыкъ жинкы заразы вставъ зъ постели? Тажъ звычайно жинка його сипала, щобъ добудытысь до вечери, а диты тягнулы за ногы... Чому винъ передъ тымъ, закымъ сивъ коло стола, зробывъ на соби тры разы великый хрестъ и въ поясъ поклонывся передъ кашею,—колы перше винъ любывъ зъ прывычки лыше махнуты килька разывъ рукою по грудяхъ, або здорово позихнуты й перехрестыты рота?... Диты сього не завважали, але жинка замытыла, осмихнулась пидъ носомъ и подумала:—Дывуйся жъ тутъ дитямъ, колы старый, якъ дытына, ажъ трясеться за молочной кашою...

Сталы йисты кашу. Матвій з'йивъ ложку, другу, третю,—смакуе...

— Добра каша!—каже,—вже-мъ давно таку йивъ!

— Добра каша!—жыбоняты весело диты, йидяты.

Шистъ рукъ озброеныхъ въ ложки бигае то до мыскы, то зъ мыскы и шистъ тиней гойдається на стини.

З'йилы все, що було въ мысци.

Матвій подывывся з-пидъ густыхъ бривъ на жинку.

— А ну, стара! досыпъ ще!... То лыбонь не вся...

— Досыпте, мамо, досыпте!—домагаютыся диты.

Але Матвіха не досыпала. Вона хотила трохи подрочыты сього чоловика.

— Де вже тоби не вся?—каже вона,—и горщыкъ вышкрябала,—колы хочешъ, то заглянь...

Матвій не вирывъ жинци. Винъ не даромъ водывъ по хати очыма, лежачы на постели: винъ выдивъ кожный рухъ жинкы.

— Эть, не жартуй, стара, не дуры, та сыпъ кашу! Колы йисты, то йисты!

А диты й соби:

— Колы йисты, то йисты!

Матвіиха насыпала ще повну мыску каши, а сама сила на доливци коло найменьшой дытыны, вышкрябувала горщыкъ та годувала малого, а батько зъ старшымы дитьмы чыстывъ зъ мыскы.

Колы вже зисталось лышь трохы на дни въ мысци, Матвій положывъ ложку, обтеръ питъ зъ чола и сказавъ:

— Ну, нагодувала жъ ты насъ ныни, стара, колы бъ такъ все! Дай же, Боже, здоровля корови за те, що дала молока!

— Дай, Боже, здоровля корови!—повторылы диты въ одынъ голось за батькомъ и кинчылы вышкрябуваты мыску.

Матвіиха була дуже рада зъ того, що нагодувала всихъ до-сыта, але бильшу часть той заслугы вона прыпысувала не соби, а корови. Тожъ заразъ по вечери выйшла до неи подывытыся, що вона тамъ робыть „бидненька“...

Ничъ була тыха, погидна, на неби свитылы зори, а корова лежала соби въ хливи та ремыгала спокійно ..



## САМИТНА НЫВКА.



оди, колы я першый разъ йихавъ по-пры самитну нывку, бувъ ранокъ, красный весняный ранокъ... Ясне, свиже, мовъ выкупане сонце выкотылось з-за дибровы, що генъ далеко мрила середъ подильської ривныны, и чымъ разъ выще й выще пидносылося вгору... Панувала та глыбока, урочыста тыша, котру можна де-колы замитыты пидъ часть сходу сонця, колы день заповидається красный, погидный. Витрець спавъ ще десь въ глыбокимъ яру; рожеви хмаркы лежалы на неби тыхо, непорушно; жыто, що вже зачынало колосытыся, такожь стояло тыхо, нибы впирнуло въ глыбоку задуму; не колыхалась буйна пшениця, що роскишнымъ темнозеленымъ кылымомъ вкрывала поля; навить жайворонокъ замовкъ на хвылыну, а роса на сочыстимъ лыстю збижжя, на лысткахъ диванны й польню, що рослы пры дорози, тремтила и, мовъ самоцвиты, перелывалась радужнымы барвамы. Подолынкахъ, мовъ кадыльный дымъ, стелылась била имла и здавалось, що се видъ того кадыла долитають до насъ пахощи, котрымы ранній воздухъ бувъ пересяклый. Глыбока, урочыста тыша... Здавалось, мовъ бы цила прырода въ якимсь остовпинню дывувалась вельчности благодатного сонечка и, перенята побожнымъ настроемъ духа, впала ныць передъ всемогущымъ Сотворытелемъ.

Однакъ тая хвыля тревала вельмы коротко... Першый жайворонокъ не втерпивъ и выбывся вгору та завивъ веселу писню, а за нымъ тысячи тсварышивъ, мовъ грудочки земли, выкыдани невыдымымы рукамы з-посередъ збижжя, стриялы въ воздуш-



ный простирь, и наразь заграла вгори могутна музыка. Потягнувъ свижий легить, заколыхалось жыто-пшениця, имла розплылась у воздуси, рожеви хмаркы побилилы, сонце пидіймалось все выще й выще, а въ миру, якъ його тепли проминня стали огриваты воздухъ и землю, несчyslенни рижни комашкы стали видзыватьсь въ збижжю и гратысь въ золотыхъ проминняхъ сонця,—и той рижнородный шелестъ комашокъ, спивъ жайворонкивъ и шепить леготомъ колысаного збижжя зльаваясь въ одну гармонію, въ одну радисну писню... Такъ и видно було, що всяка тварь тишытьсь соняшнымъ сяйвомъ, тишытьсь яснымъ днемъ, радується жыттямъ, а та загальна радисть, неначе якыйсь могутный вырь, пирвала й мене зъ собою и мени зробылось на души прьемно, легко, солодко... Я повными грудьмы вдыхавъ чыстый, здоровый воздухъ, а слушаючы веселыхъ воздушныхъ спивакивъ, и соби ставъ въ пивъ голосу спиваты якусь писеньку.

Навить мои кони булы выдымо ради, бо порскалы и шпарко йшлы напередъ, а мій визныкъ Карпо, статечный и звычайно мовчазный чоловикъ, ставъ видъ часу до часу оглядаться на мене з-пидъ шырокого солом'яного капелюха, мовъ бы хотивъ мени щось сказаты, подилытьсь зо мною якоюсь радисною невыною.

— А що, Карпе,—промовывъ я,—правда, що красный ранокъ?

— А якъ же, красный,—видповивъ Карпо,—и хлибъ росте,—дздавъ пиднесенымъ голосомъ, показуючы батогомъ на збижжя.

„Хлибъ росте!“—ось що винъ хотивъ мени сказаты, мій Карпо мовчазный! Винъ вже подилывся зо мною тою радистю, що йому розпирала шыроки груды; винъ вже щаслывый сыдыть, згорбывшысь, на козли зъ вижкамы въ рукахъ, вже не оглядается на мене з-пидъ шырокого капелюха, бо вже сказавъ те, що хотивъ сказаты.

„Хлибъ росте“—мени Карпови слова дуже прыпалы до вподобы, и я ихъ килька разивъ повторявъ, пидъ часъ колы мои очи зъ любовстю обіймалы подильськы нывы, покрыти грубымъ кылымомъ буйного збижжя, що, здавалось, такъ и росте на очахъ у чоловика.

Втимъ мы зривнялысь зъ самитною нывкою. Вона лежала праворучъ видъ дороги, цилкомъ пуста й необроблена.

— Говъ, станъ Карпе!—заклыкавъ я здывованый.

Карпо спынывъ на хвылыну кони, а я пиднявся зъ сыдженя, стараючысь огорнуты поглядомъ цилу самитну необроблену нывку.

Простора се нывка; що правда, досыть вузька, та за те довга, такъ що й кинця не можна було побачыты. Въ поривнанню до другихъ, працьовытою рукою обробленихъ нывъ мала вона якыйсь сумный, заплаканный выглядъ: пуста, мовъ бы плугъ ии ще никола не краявъ, вкрыта грубою муравою, зарбсла корчамы по-лыню, диванны, чернобылю...

— Гей, а то що?—заклыкавъ я здывованный, вытягаючы руку въ напрями запущеной нывкы.

— Що? пустка!—видповивъ Карпо.

— Та чья вона?

— Чья? Эхъ, про те багато говорыты!...

— Ну, кажы, кажы, Карпе! Що про неи знаешъ?

Карпо почухався въ голову.

— Я знаю те,—ставъ винъ говорыты з-провокола,—що други люде кажуть... А люде кажуть, що за ту нывку правуються два браты зъ того села, що он-тамъ сутеніе. Одынъ братъ каже, що то йому залысавъ батьку тую нывку, а другый перечыть, каже, що батько не робывъ ніякого заповиту, а тилькы такъ роздильвъ дитей маеткомъ, и йому видказавъ нывку... Та й пишовъ процесъ, а що свидкы вже повмиралы, то и процесъ тягнется безъ краю... И якъ одынъ братъ выграе, то другый зачынае разъ правуваться на-ново, и такъ все йде дальше. Кажуть, се булы заможни господари, та тымъ правомъ такъ вже зныщы-лыся, що ледве дышуть. Страхъ, якъ завзявся одынъ на другого! Одынъ другому каже, що и зъ торбама пиду, а не дамъ тоби земли. И якъ выйде весною зъ плугомъ одынъ братъ, то другый летыть заразъ зъ коломъ и зганяе.—Не зачипай, не твое!—каже... Господы! Килька разывъ, кажуть, була на тій нывци буча, килькы потекло братньои кровы, килькы чупрыны рознисъ витерь по полю— и не дорахувавъ-бы-ся!... Отъ, кара Божа, тай годи!

Мій визныкъ махнувъ рукою зъ якымсь згирдлывымъ выразомъ на осмаленимъ лыци та ударывъ кони вижкамы по бокахъ... Муха буде!—додавъ винъ по хвыли та лыбонъ ти слова видносы-лысь вже до коней, щобъ ихъ переконаты, що треба скорійше бигты.

Ахъ, якъ то непременно побачыты, або довидатысь про шось сумне въ хвыли, колы чоловикъ веселый!

Я похылывъ голову... Веселисть, що передь хвылею мене огорнула, десь счезла зъ моеи души, а моя думка не хотила сходыты зъ самитной нывкы.

И чого вони, ти браты, роблять такъ нерозумно? — пытавъ я себе. Замість погодытысь въ добрый спосибъ и працювати на батькивській земли, волять вони сварытыся, процесуватыся, бытыся, ныщытыся до послиднього, волять зъ торбами йты... а нывка лежыть самотою середь обробленихъ чужыхъ нывъ, опущена, мовъ сыритка... И колы дывышся на неи, то здається тоби, мовъ бы вона засылала скаргу до неба за те, що на ній замисть пшеницы росте кропыва, полынь, чернобыль. И—дывне дыво! До не одной, хочъ и протывной ричи, може чоловікъ зъ часомъ прывыкнуты и буты на неи цилкомъ обоятнымъ,—однакъ що до тои самитной нывкы я николы не мигъ буты байдужный... За кожнымъ разомъ, колы мени лучалось перейиздыты по-пры ту нывку, завсигды ворущылысь въ мойй души, якись дывни, невидрадни думкы; за кожнымъ разомъ я скоро видвертавъ видъ неи очи на весели, збижжямъ хвылюючи поля и старався думаты про щось инше...

Видъ того ранку мынувъ вже досыть довгый протягъ часу. Та ось послидньої весны я перейиздывъ зновъ коло самитной нывкы. Зновъ бувъ красный, погидный ранокъ. Жайворонкы залывалысь веселымъ спивомъ, широкополи нывы красувалысь доходячымъ жытомъ-пшеницею, а самитна нывка все ще стоить опущена, необроблена.

Тымъ разомъ я замитывъ на ній слидъ людської руки: хтось ще не дуже давно выоравъ на самій середыни нывкы глыбоку борозну: выдно, хтось хотивъ ии обробляты, та на тимъ и ставъ. Мени заразы вырынула передь очи цила подія, що недавно мусила тутъ буты. Се певно одынъ братъ вышовъ зъ плугомъ ораты нывку, а другый заразы прылетивъ зъ коломъ и зигнавъ орача... Колы я не орю, мовлявъ, не оры й ты! Гиркый свить!... Та ось прыходыть питання: чы довго ще ждаты, покы браты наберуться розуму?... А може вони й не наберуться розуму?— Га, якъ бы такъ мало буты, то прыйде часъ, що нывка перейде въ чыись други, розумнійши руки, котри зуміють ии пошануваты, и тоди вона певно виддячыть своему господареви за його працю. Але шобъ тоди буде зъ братамы?...



## Б у з ь к ы.



Бузькы вертали зъ вырію, зъ далекого полудня... И чымъ бильше зблыжались вони до любои, ридной краины, тымъ веселійшымы ставалы, тымъ бильше спышылись, тымъ бадьорнійше краялы воздухъ своимы крыламы. Ось-ось, ще трохы, и вже розстелыться передъ намы наша ридна, пивнична краина!—здавалось, немовъ говорылы до себе въ тымъ великимъ поспиху...

И та ридна краина вкинци розстелылась передъ нымы, наче красный, у весели цвнты тканый кылымъ... Сонце любо усмихалось зъ сынього неба, посылаючы на землю тепле, благодатне проминня. Пидъ тымъ проминнямъ льоды росталы, а ричкы весело гралы, мовъ мали диты жыбонилы, тулылись до бильшыхъ рикъ иплылы все дальше до моря. Била скатерть снигу уступыла зъ поливъ и лугивъ, а очамъ бузькивъ показалыся шырокополи ланы, що зеленилы густымъ руномъ озымыны, жыта-пшеныцы, ополоскани теплымъ веснянымъ дощыкомъ. А по поляхъ, мовъ ти мурашкы, заходяться коло весняной роботы хлиборобы. Одни орють, выгейкучы на сыви волькы, други сіють, зъ розмахомъ кыдають зерно въ сыру землю, и вси ради, и вси весели, оповыти надією на добрый урожай... Вздовжъ ричокъ и рикъ тягнуться простори лугы-долыны й нибы усмихаються до бузькивъ, нибы запрошуютъ до себе, щобъ на ныхъ видпочылы, погулялы. И лисивъ выдно багато: одни зелени соснови боры, други чорни—стоять, про щось шепочуться стыха межы собою, выгриваються на сонци. А середъ тои рижнородности выдніються порозкыдани села, хаты, на весну свижо повыбилювани, окружени садочкамы... Ось, ще не довго, и

темный листь розивьеться, зазеленіе, загуде могутну писню, и лугы зазеленіють, зацвितуть лотачею; зацвитуть садочки по селлахъ, шыроки поля заколышуться зеленымъ збижжямъ, наче тее море— и тоди буде разъ хороше! тоди буде ще любійше, ще веселійше, мовъ у раю!

О, ты ридна краино! Якъ у тебе красно, якъ у тебе солодко, килькы въ тебе простору! Йе де, дякуваты Богу, жыты, йе де подитысь!

И бузькы ради витають ридный край з-пидъ небесной сынявы, крутяться колесомъ, немовъ танцюють зъ великой радости, весело клекочуть...

— Та, летимъ, летимъ чымъ скорійшь до батькивського гнизда, до ридной стрихы!

И бузькы прылетили до ридной стрихы, заклекоталы весело, закрутылысь колесомъ, зъ розмаху силы на ридне гниздо и стали цикаво розглядатысь по риднимъ обійстю, стали його вататы писля довгой розлуку...

— И ось насъ маете!—здавалось, немовъ говорылы вони,—и ось мы знову до васъ прылетили, мисця родыми, бо злитай свить вздовжъ и впоперекъ, то нигде такы нема такъ добре, якъ у себе, дома, на риднимъ гнизди... А ты, господарю, выйды-но зъ хаты, най мы тебе повитаемо та подывымось, чы ты здоровъ, чы твоя жинка й диты здорови, чы щаслыви, чы весели?...

Та зъ хаты якось ништо не выходыть, на подвир'ю не выдко ни людыны, ни худибкы, ни навить домашньої птыци; глухо и пусто довокола, наче бъ хто виныкомъ замивъ циле обійстя... Плоты пооблиталы, а господарь чомусь то ихъ не городыть, не ладнае; у хати стины такожь пообпадады, а господыня ихъ не липыть, не билыть, на подвир'ю мали диты не граються на сонци, не витають веселымъ крыкомъ бузькивъ, давно сподиваныхъ вищунивъ весны. Пусто, тыхо, мовъ янголь смерты перелетивъ недавно черезъ те обійстя.

Бузькы розглядаються здывовани и чымъ разъ бильший острахъ и якыйсь смутокъ ихъ огортае...

— Гей, господарю! та де ты подився вразъ зи своею родыною? Чы вы часомъ, Боже бороны, не вымерлы черезъ зиму?!...

Прылетивъ маленький горобчыкъ и роз'яснивъ бузькамъ цилу ричь.

— Не вмеръ вашъ господарь, та й не бачыты вамъ його бильше. Гей, було йому, братчыкы ридненьки, тутъ дуже тяжко жыты: хлиба не було ни шматочка, а въ комори ни пучкы муки, ни одной крупочки, ни одной пшоныны, та й не було чымъ жыты, не було йому чымъ диточокъ годуваты, а ще до того не було въ що одягнутыся, ничымъ хаты огриты. Бидувавъ вашъ господарь зи своею родыною, голодувавъ, а вкинци побачывъ сердешный, що йому тисно въ риднимъ краю, що йому прыйдеться тутъ зъ голоду вмерты, та й покынувъ ридне гниздыще, всього видрился... Забравъ жинку, забравъ дитей та й потягнувъ зъ другымы сиромахамы, такымы, якъ винъ, у далеку, непевну чужыну, за высоки горы, за шыроки моря, и вже винъ бильше не вернеться до-дому, а въ тій пустци мешкають теперъ совы зъ ничыдамы. Ось яка новына, братчыкы ридненьки!

Колы бузькы ту новыну почулы, тоди ще бильше посмутили, похылылы головы, опустылы крыла и тужно й жалибно стали клекотаты...



## Для хорого Федя.



Маленький Федь лежавъ хорый въ постели и тяжко стогнавъ, мовъ стара людына. Мама обтулювала його латунцямы, хухала йому на руки й нижкы, бо въ хати було зымно, въ печи нетоплено... Федивъ тато, Марко Бурый, прыгноблений сыдивъ край стола, оперъ голову на руки и думавъ сумну думу...

Вже не разъ винъ переживавъ не одинъ смутокъ, не одинъ жаль, та, здається, ще николы не було йому такъ тяжко на серци, якъ ныни... Для чого? Отъ винъ заощадывъ зъ заробленыхъ грошей на стилькы, щобъ найняты кони до лиса та купыты фуру дровъ, бо на двори люта зима, палыво выйшло, а до того ще й дытына, його любый Федь занедужавъ на якусь слабисть,—Богъ знае, на яку: лежыть на постели, не хоче ничего йсты, ни пыты, лышь стогне, а сердце въ батька-матери роздырається зъ болю.

Винъ вранци вже думавъ, до кого бъ то зъ сусидивъ уда тыся за киньмы, колы втимъ двери рыпнули и до хаты вступывъ прысяжный.

— А ну, Марку!—заклыкавъ той непрошений гисть,—иды-но до громадської канцелярии та заплаты, небоже, податокъ. Здекуцныкъ \*) чекае ще видъ вчера, а колы ныни не заплатышь, то визьмутъ кожухъ, позабирають вереты...

Марко Бурый вдарывся объ полы рукамы...

— Ось тоби дрова!—заклыкавъ винъ переляканий.—Та якъ же я могу теперь платыты податокъ,—звернувся винъ до прысяжного,—колы, бачыте, въ хати не топлено, а тутъ ще й дытына захорила? Конче намъ треба дровъ...

\*) Здекуцныкъ—збиршыкъ.

— Га, що жь вамъ можу порадыты?—видказавъ присяжнй.— Мене до васъ прыслалы, то я прйшовъ и сказавъ вамъ, а вы робить соби, що хочете.

По тыхъ словахъ присяжнй выйшовъ, а Марко одягнувся въ латунецъ, завынувъ гроши въ вузлыкъ и пишовъ до канцеляри. Винъ ще мавъ яку-таку надю... Винъ думавъ, що може ще выпросыться, може йому ще почекають до другого разу та не будуть грабуваты.

Въ канцеляри заставъ Марко велькый тыскъ народу. Декотри бидни господари и халупныкы просылыся, щобъ имъ ще почекалы зъ податкамы, щобъ не грабувалы. Але здекуцныкъ бувъ невмолмый.

Одынъ бидный халупныкъ просывся и плакавъ, що не мае чымъ заплатыты податокъ, бо мусивъ купыты дитямъ хлиба. На те здекуцныкъ вдарывъ въ стиль кулакомъ и закрычавъ:

— Податокъ першый, якъ твоя губа, мудю йиденъ! давай гроши!...

Марка мовъ хто облывъ холодною водою... Колы винъ почувъ ти слова, тоди йому цилкомъ видпала охота просыться. Винъ соби подумавъ: колы податокъ першый видъ губы, то певно, що податокъ першый такожъ видъ дровъ, видъ голыхъ плечей, видъ босыхъ нигъ, видъ хорои дытыны, видъ його Федя...

Такъ винъ роздумувавъ въ свой голови и, колы прйшла до нього черга, винъ выв'язавъ безъ гомону гроши зъ вузлыка, положывъ на стиль и заплатывъ податокъ за свою хатыну, за шопчыну, за маленький городецъ, за клаптыкъ поля и, звысывши голову, пишовъ смутно до-дому...

Ще николы не було йому такъ тяжко на серци, якъ ныни. Цилый день пересыдивъ винъ у хати, слухавъ, якъ заводиыла жинка надъ хорою дытыною, якъ дытына стогнала, а йому самому серце краялось, щемило, видъ журбы та грызоты въ голови кыпило, переверталось...

И чому вони тамъ въ канцеляри взяли видъ нього гроши, колы ти гроши булы въ нього останни, и винъ потребувавъ ихъ на палыво—колы вже не для себе, то бодай для слаби дытыны? И чы вони забагатють тымы його килькома рынськымы? Чы справедливо, чы по-людскы вони роблять? Чому не хотять почекаты до липшого часу?... Таки и тымъ подибни пытанняя ста-



ывъ соби бидный Марко, а вси видповиди, яки насувалысь йому на ти пытанья, дратувалы його, бурылы, доводылы до гриха...

Щобъ отрястысь видъ такыхъ думокъ, винъ звернувся до жинкы й запытавъ:

— А що Федь? Чы буде йому лекше? якъ ты думаешъ?

— Де тамъ лекше!—видказала жинка кризь слезы.—Богъ знае, чы дочекае до ранку... Руки й ноги холодни, якъ лидъ. Колы бь ще хочъ було тепло въ хати, а то лютъ: здається, ще холоднйше, якъ на двори...

Винъ вставъ и пидйшовъ до постели, помацавъ дытыну за руки, за ноги—холодни.

— А, Господы-Боже!—простогнавъ винъ и выбигъ на двиръ.

Винъ знавъ, що на двори не знайде ни патычка, ни трисочки, та мимо того, наче бь сподиваючысь якого чуда, винъ зигнувся удвое и ставъ пыльно шукаты по своимъ невеличкимъ подвир'ю, ставъ рукою розгортаты снигъ и вдвлятыся въ землю, мовъ глядячы за якоюсь згубленою цинною риччу. Та годи, нема ничего... Винъ пишовъ ще пидъ шопчыну и ставъ нышпорыты по всихъ закуткахъ, але й тутъ не було ничего. Зъ тяжкымъ сердцемъ винъ вышовъ на двиръ и пиднявъ заплакани очи й руки до неба... На захиднй сторони, де сонце недавно зайшло, червонило небо и ридки хмаркы; мовъ мидяна бляха, на сходи зйшовъ повный мисяць и пидймався все выще вгору, оповытый въ густый туманъ мракы—знакъ велького морозу. На неби горилы зиркы тыхо, мовъ позапалювани свичечкы, и блымалы до нього своимъ сявомъ якосъ жалисно, якосъ прыязно, неначе мылосердылыся надъ його бидою...—Може тамъ десь и Федька зирочка,—думавъ соби Марко,—блымае-блымае и може буты, що ось-ось покотытыся вона по синимъ неби й погасне, а Федя не стане въ живыхъ... И ще тяжчый смутокъ огортавъ його сердце. Груша на городи, бияя його хаты, такожъ стояла тыхо, непорушно, немовъ затаила въ соби духъ и очикувала чогось велького, незвычайного. На самимъ вершку груши сыдила цила зграя воронъ; вси вороны звернени дзьобамы въ одынъ бикъ—знакъ, що кримвъ морозу треба сподиватыся ще й витру, що морозъ буде втыскатыся до хати стинамы, а витеръ завиватыме комыномъ на прыпичокъ...

У викнахъ хаты блыснуло свитло, жинка засвityла каганецъ и Марко занепокоенымъ звернувъ свои крокы до хаты.

— Чы не зрубаты бѣ для хорого Федя груши? — перейшла йому думка черезъ голову...—Ахъ Господы-Боже мій!—застогнавъ винъ тяжко, переступаючы черезъ поригъ хаты.

Въ хати однаково: жинка заводула, дытына тяжко стогнала. Марко сивъ на свое попередне мисце край стола й оперъ голову на руку.

Якый той вечиръ смутный для нього, а яки то були весели вечоры, колы Федь бувъ здоровый! Прыходять винъ, бувало, зъ роботы, а маленький Федь скучывъ безъ тата цилый день, витае його веселымъ реготомъ, наставляе до нього рученята. И винъ бере на руки свого сынка, сидае зъ нымъ пидъ печею и бавыться зъ нымъ та розмовляе, любується його веселымъ лепетомъ, тишытья, якъ Федь своїмы маленькымы ручкамы тягне його за вусы, за чупрыну... Вкинци весела жинка подае вечерю, а по вечери вони обое зъ Федьомъ кладуться спаты. Федь своимъ маленькымъ тильцемъ тулытья до тата, запыхае свои маленьки нижкы татови за пазуху и такъ вони обыдва сплять соби въ теплій хати весели, щаслыви... Весело тоди було и любо, мовъ у раю, въ ихъ бидній хатыни, а теперь смутно, якъ въ гроби, бо не тилькы, що Федь лежыть хорый, але зайшло такъ, що нема чымъ вытопыты въ хати, и бидный Федь мусыть мерзнуты.

— Эхъ, зрубая грушу!—подумаваъ Марко Бурый,—прынаймни не буду маты на сумлинню, що я заморозывъ дытыну. Не маю, за що спровадыты ликаря, то хочъ распалю въ печи, най йому буде тепло. Однакъ груша вже стара, мусыть буты порошокнава и безъ того недовгый для неи викъ.—Йому здавалось, що груша якъ разъ мусыть буты порошокнава. Однакъ зъ другого боку и груши жаль йому було такожъ... Тая груша була найгрубша й найвыща зъ усихъ грушъ въ сели и була незвычайно родюча. Родыла вона справди не конче вельки, але за те дуже солодки й смачни грушкы, и то не якъ-будь, а по десять, або й по кильканадцять корцивъ на рикъ. Марко Бурый гордывся нею й вельчавъ ии не разъ своимъ маеткомъ, своєю коровою... И цилкомъ справедливо, бо не тилькы, що кожного року можна було продаты по килька корцивъ овочу й зыскомъ не одну диру заткаты, але Маркова жинка ще соби сушыла багато грушокъ на зиму й ти сушени грушкы были пидпорою хлиба...

— Зрубая грушу!—повторывъ Марко. — Що жъ маю робыты? Колы бѣ знаты, що Федь буде жыты, тоди нехай бы и груша бу-

ла; а колы Федь умре, тоди й груши не треба... що мени тоди по груши?...—Винь вставъ и пидійшовъ на пальцяхъ до постели, вытягнувъ руку й обережно помацавъ Федьови руки й ноги. Холодни! А Федь расплющывъ очи й поглянувъ на Марка такъ жалисно, такъ благаюче, що, здавалось, наче бь винь хотивъ промовыты: Ратуй мене, тату!...

На той выдъ закрутылысь Маркови сльозы въ очахъ.

— Треба ратуваты дытynu, треба конче вытопыты въ печи! Ахъ, чому я скорше, ще за дня не впавъ на ту думку! — заклькавъ Марко въ розпуци.

Винь вхопывъ з-пидъ лавкы сокыру, выбигъ безъ шапки на двирь и пустывся просто до груши. На двори морозъ тыснувъ, легенькый витрець потягавъ, небо було ясне, засяне не счысленымы зорямы, а мисяць своимъ срибнымъ проминнямъ сыпавъ прямо на грушу. Груша, нибы то въ глыбокимъ снi, стояла тыхо, ледве похытуючы дрибненькымы галузками. Цила облиплена инеемъ, минылась до мисяця рижнымы барвамы. Вороны на верхку груши спалы такъ само, якъ перше, тыхымъ сномъ... Марко поплювавъ соби долони й цюкнувъ сокырою въ грубий пень дерева. Перша триска видскочыла на бикъ, и Маркови выдалося, що груша нибы здригнулась зь болю и въ нього якось дывно защемило коло сердца... Однакъ винь подумавъ соби заразы, що тамъ въ хати його Федь лежить хорый, що йому дуже зымно и винь перехрестывся и ставъ дальше рубаты...— Га, стара ты вже, небого!—говорывъ винь видсапуючы,—порохнава, и такъ тоби вже недовгый викъ... Послужы жь мени въ моимъ тяженькимъ горю... може, Федь одужае, колы йому буде тепло...—И винь рубавъ все дальше, трискы видскакувалы, а питъ вкрывавъ його чоло. Винь врубувався все глыбше въ дерево, а порохна а ни слиду не було. Ось вже незадовго дорубається винъ до стрыжиня, а груша все здорова, якъ дзвинь,—и Богъ знае, якъ довго могла бь вона ще стояты и грушкы родыты... Марко чуе, що йому до очей тыснуться сльозы, але винъ затыснувъ зубы и рубае все дальше й дальше, мовь бы хотивъ ударамы сокыры заглушыты свий жаль...

Марко втомывся и ставъ видпочываты.

— Мий предокъ, той, що посадывъ ту грушу,—думавъ соби Марко, обыраючы питъ зь чола,—чы погадавъ винь, що його потомокъ зйде на таки злыдни, що стане рубаты та ныщыты сю бать-

кивську пам'ятку? Ни! здається, вінъ не мигъ тоди про се погадати... Та чого мени такі думкы лизуть до головы?...—Десь далеко въ сели залунала весела писня. Мабуть якийсь парубокъ ишовъ кудысь... хто його знае, куды вінъ ишовъ? Може йшовъ до любкы, а може вертався видъ неи и упоеный радистю, видно, мусивъ добути на-верхъ те радисне почування, що роспирало його груди, и затягнувъ веселу писню, а звуку тои писни роскодылыся въ чыстимъ и тихимъ воздуси по цилимъ сели и долетили до ушей Марка Бурого... Його мовъ бы хто ножемъ потягнувъ коло сердца, такъ протывною для нього була тая весела писня... И якъ люде можуть веселытсыя, колы йому такъ тяжко коло сердца, колы йому такъ смутно?...

Винъ зайшовъ зъ другого боку груши и ставъ дальше рубаты дерево. Сокрыра блыскала до мисяця, трискы видскакувалы, а весела писня не переставала лунаты... Вкинци груша затрищала и зъ шумомъ та лоскотомъ повалылась на землю... Перелякани вороны зъ дыкымъ крыкомъ стали литаты по-надъ збуреною чупрыною Марка Бурого, а Марко Бурый выпустывъ зъ рукъ сокрыру на снигъ и похыльывъ голову на груди...



## Жебрачка.



Въ галереи образивъ миждь найсвиждйшымы творама шту-  
кы звертавъ на себе наибильшу и майже выключну  
увагу публикы образъ одного молодого артыста, кот-  
рый вымалювавъ на полотни звичайну миську стару  
жебрачку въ прыроднй вельчыни и зъ такую реальною  
правдою, що выдци чудувалысь и не могли начудуватысь, хва-  
лылы и не могли нахвалытысь молодого артыста...

Одного литнього дня стояло передъ згаданымъ образомъ  
трое людей: досыть ще молодой чоловікъ, молода, дуже хороша и  
писля найновйшой моды вбрана пани, мабуть його жинка, и мо-  
лоденька, такождь вельмы гарна и зо смакомъ убрана панночка,  
мабуть сестра старшой дамы. Все трое стоялы рядомъ передъ  
образомъ, а зъ ихъ очей такъ и пробывався нимый зачудъ и  
те остовпиння, въ яке чоловіка де-колы вправляе правдывый твирь  
штуки.

Въ зали було сымъ разомъ выимково дуже мало людей, бо  
день бувъ надто гарячий, а кримъ того вже зблыжався полудень,  
для того товариство, выйшовшы зъ першого вражиння и ни на  
кого не оглядаючысь, почало зъ собою въ пивъ голосу роз-  
мовляты.

— Ахъ, Боже!—заклыккала хороша пани,—до того справди тре-  
ба вже велькои здибности, щобъ намалюваты такой образъ и  
впрвадыты чоловіка въ таку иллюзію!

— Здається, вона такъ и дывыться на насъ своими старече-  
мы очыма и от-отъ промовыть жалиснымъ голосомъ:—Дайте  
шажокъ Хрыста рады!—додала молода панночка и тяжко зит-  
хнула.

— Въ тимъ власне лежить суть штуки, — сказавъ панъ зъ повагою.—Представты ричъ такъ, якъ вона въ дійсности йесть, влыты въ неи жыття, а кримъ того, осиныты іи певною мирою идеальности—належить до справдишныхъ артыстивъ; тожъ и авторъ тои картыны, якъ зачуваты—молодой ще чоловікъ, справди мае передъ собою велику будучність.

Товариство подалось килька крокивъ назадъ и зновъ потонуло въ огляданню картыны.

— Визьмитъ, прошу васъ, пидъ увагу те лица!—ставъ говорыты панъ до своихъ товаришокъ.—Артысть навмысно выливъ на голову своеи старои цилый снопъ соняшного проминя, щобъ вси рысы іи лица булы тымъ выдатнійшымы, и справди осягнувъ тымъ свою циль, бо передъ нашымъ окомъ не може укритысь ни найменьша подробыця, потрибна до схарактерызования того лица. Дывитыся, зъ якою вирністю виддани вси його рысы, ти старечи, давнього блеску позбавлени очи, тая сить несчисленныхъ зморшкивъ... або ти уста, на пивъ раскрыты беззуби, — здається, вони нибы порушаються...

— Справди чудесно!—заклыканы обидви пани.

— Се ще ничого,—говорывъ панъ дальше,—се ричъ вправы и техники. Найголовнійша ричъ въ тимъ, що артысть умивъ вдыхнуты въ свій малюнокъ справдишне жыття. Погляньте на нього зъ більшою увагою: чы не говорыть зъ того лица беда, нужда, голодь, а може ще й слабистъ, однимъ словомъ—жыття? Здається, та старенька своїмы очыма, своїмы зморшкамы, своїмы посынилымы губама просыть насъ, благае о помичъ, здається—видъ нашого мылосердя залежить іи спасення, іи истновання... Що жъ—чы не такъ?

— Ахъ, правда!—заклыканы обидви пани, а старша дама додала:—Въ сій {хвыли здається мени, що я почуваю мылосердя. Се дійсно штука: за помиччю образу выклекаты въ людны подибне почування...

— А до того яка пропорція, яка симетрія лежить въ цилости картыны! — говорывъ дальше панъ. — Вси барвы видповідно розложени, нищо не замазане, все якъ найстаранніше выкинчене, однимъ словомъ—правдивый твиръ штуки! Але погляньте теперь уважно на середину полотна и скажите мени—що вамъ найбільше впадае въ очи?

Пани стали уважно дывытысь на картину, однакъ не говорылы ничого. Панъ добувъ зъ кышени картку паперу, згорнуувъ ии въ трубку и подавъ свой жинци.

— Подывысь черезъ ту трубку!

Жинка заплющыла одно око, а до другого прыложила звытокъ паперу й уважно прыглядалась карткыни.

Ривночасно панночка звынула въ трубку обыдвѣ долони й собѣ стала въ той спосибъ дывытысь на образъ.

— Ну и що жъ вы выдѣте?

— Я выджу руку,—видповила жинка,—и та рука мовъ то видстае видъ полотна.

— А зъ другой руки видно лышь голый ликоть,—додала панночка, червоніючы.

— На те власне я хотивъ звернуты вашу увагу,—сказавъ панъ зи вдоволеннямъ. Одною рукою, зъ котрси видно лышь голый ликоть, прытрымуе жербачка свои лахы (однакъ ся рука не видграе тутъ важной роли), а другу вытягнула по мылостыню. И власне що до той вытягнуеной руки показавъ молодой артыстъ вельчезный талантъ, майже геній артыстычный. Бо не тилькы, що та рука виддана якъ не можна лучче зо всима зморшкамы й жыламы та що тутъ въ найвыщимъ стелени йе захована перспектыва, черезъ що выдається, мовъ бы та рука видставала видъ полотна, мовъ бы соняшне свитло на ній рушалосѣ, перельвалосѣ,—але найважнѣйше то се, що вона зъ выразомъ лыца творыть гармонію, сказаты бъ, одну цилисть... Обіймыть лыше однимъ поглядомъ и лыце, и вытягнуену руку жербачкы... Чы не замичаете теперь, що той бидолашный выразъ убожества и нужды и голоду, на котрый я выще звертавъ вашу увагу, выступае теперь живѣйше и живѣйше порушае людське серце?

— Ахъ, такъ!—промовыла старша пани,—я навить почуваю въ тѣй хвыли якесь неопысане зворушення въ грудяхъ, а до очей тыснутыся мени слъзсы... на правду!

Вона повела хусточкою по лыци.

— Ахъ, що за дыво!—заклыккала панночка.—Чоловикъ хвылямы забувае, що се полотно, и ось-ось готовъ сягнуты до калыткы, щобъ втыснуты въ ту руку мылостыню... А цикава ричъ,—додала вона,—килькы сей образъ мигъ бы коштуваты?

— На симъ я такъ дуже не розуміюся,—видповивъ панъ,—але завсигды здається мени, що винъ повиненъ що найменше коштувати десять тысячъ коронъ.

— Не знаты, чы його хто купить?...

— Чому ни! Така картына може окрашаты найсвитліиши салыоны.

Вси трое, надывывшысь доволи на цинну картину, выйшли зъ залы, перейшли черезъ велькый корыдоръ и явылысь на площади, що розстелялась передъ галереєю образивъ.

— А теперь, голубчыку,—промовыла мылымъ голосочкомъ молода пани до своего чоловіка,—пидемо до-дому на обидь... я ка-Зала кухарци зготуваты для тебе найбільшъ улюблени потравы... але по дорози вступымо до базару... Я хочу сторгуваты ту шовкову матерію на сукню, про котру я недавно тоби говорыла, а ты обияцьявъ заплататы.

— То вступимъ до базару!—видповивъ недбало панъ.

Вси трое перейшли черезъ площу и малы вже завернуты въ бичну улыцю, на котрій знаходывся славный базаръ, колы въ тимъ якась жебрачка, що стояла на рози улыци оперта о муръ, вытягнула до ныхъ суху руку та стала лебедиты слабымъ голосомъ:

— Ахъ, ласкави панство! я ще ныни ничего не йила... я така голодна, така хора... змылосердиться надъ нещасливою, подайте мылостынню Хрыста рады!...

Але панство не звертало на неи ни найменьшой увагы и йшло все впередъ поважною ходою. И на що имъ звертаты на неи увагу? Килькы то такихъ самыхъ жебрачокъ стричають воны що-дня на улыцяхъ миста?

Тоди жебрачка,—не знаты вже, для чого: чы ій такъ докучывъ голодь, що вона за всяку цину хотила достаты мылостынню, чы вона мала яку иншу гадку (вона дывылась передъ тымъ на браму, що вела до галереи образивъ), — виддильлась видъ муру, заступыла дорогу молодій, хорошій пани й диткнулась своимы холоднымы пальцями ии ручки, щобъ тую красну рученьку поцилуваты.

— Ахъ, Боже мій!—скрыкнула молода пани,—якъ же мене налякала якась огыдна баба! не добре мени робыться, сердце бьеться!—и мицно вчепылася рамена своего чоловіка.



Вси тры прыспишылы ходу.

— Ахъ! и якымы вже зухвалымы стають ти неробы! Вже справди небезпечно показатсь на улыци! — заклыкала зъ обуреннямъ молада панночка.

— Я вже килька разивъ у газетахъ звертавъ увагу магистрату на сей нагнитокъ суспильности, що непокоить спокійныхъ людей, — сказавъ панъ, — але магистратови, а ни полициі навить не снытсья взятсья за яки-будь миры въ тимъ взгляди...

Вси трое пишлы прыскоренымъ крокомъ до базару.

Шкода, що ти люде не прыглянулысь лучче тій напастливій жебрачки... Була то власне та сама стара жебрачка, що послужыла за модель молодому многонадійному артыстови до його славного образу; та сама, що на ии портретъ на выстави вси трое панство такъ дывувалсья, такъ нымъ запалювалсья; та сама у власній особи, тилькы що, правда — на образи була вона „осинена певною мирою идеальности“...



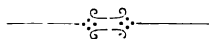


## Агафангелъ Крымскій.

Крымскій Агафангелъ Евфимовичъ, професоръ арабской словесности въ „Лазаревскомъ Институтѣ восточныхъ языковъ“ у Москви, народився 3 сичня р. 1871 у Владимири на Волини; вчывся въ колегіи Павла Галагана въ Киви; вышу освіту здобувъ у „спеціальныхъ классахъ“ Лазаревскаго Института та на филологичному факультети Московскаго университета. На ныву письменства Крым-

скій выступивъ р. 1889 (поэзіями въ „Зори“) и зъ того часу його поэзи, оповидання, переклады зъ европейськихъ та азійськихъ мовъ, стати крытични й наукови мовою украинською друкувались въ часописяхъ: „Зоря“, „Правда“, „Народъ“, „Зеркало“, „Дзвінокъ“, „Буковина“, „Життя и Слово“, „Л.-Н. Вистникъ“, а такожъ по всякихъ литературныхъ збирникахъ та альманахахъ. Окреми видання: „Въ народъ“ (Львिवъ, 1892), „Въ обіймахъ старшого брата“ (Львिवъ, 1892), „Поєистки и эскизы“ (Львивъ, 1895), „Народни казки та выгадки“, перекладъ зъ Клоустона (Львивъ, 1896), „Шаг-Намѣ“, перекладъ поэмы перскаго поэта Фирдовсія (Львивъ, 1896), „Иванъ Франко“ (Львивъ, 1900), „Пальмове гилля“, збирникъ поэзій (Львивъ, 1901), „Изъ повистоковъ та эскизівъ“ (Москва, 1902). Підъ редакцію Крымскаго выйшли у Львови томы 2-й, 3-й и 5-й творивъ Степана Руданскаго, а для народногo чытання—повисти Квитки въ Москви. Російською мовою Крымскаго розвидки зъ исторіи та письменства ислама, зъ этнографіи та филологіи схидной и славянскои друкуються (зъ р. 1892) въ „Энциклопедическомъ Словарѣ“ Брокгауза та Ефрона, въ „Этнографическомъ Обзорніи“, „Трудахъ Этнографическаго Отдѣла Имп. Общества Естествознанія“, „Восточныхъ древностяхъ Московск. Археологическаго Общества“, що выходятъ підъ його жъ и редакцію, въ „Кіевской Старинѣ“, або окремыми книжками, якъ „Мусульманство и его будущность“ (Москва, 1899).

Литература: 1) Франко—Зъ останнихъ десятильть XIX вику (Л.-Н. Вистникъ, р. 1901, кн. IX); 2) Франко—Наша поэзія въ 1901 роци (Л.-Н. Вистникъ, р. 1902, кн. II); 3) Гринченко—Новыны нашои литературы (Л. Н. Вистникъ, р. 1898, кн. II); 4) Статя „Крымскій“ въ „Большой Энциклопедіи“.



# Не порозуміються.

Изъ жыття гистерыкивъ.

I.



Очекався я свого святонька:  
Выряжала въ свить мене матинка...  
—Нехай, сыну мій, мы працюємо,  
Нехай цилый викъ мы горюємо—  
Та не вси жъ, якъ мы, въ земли рыються;  
Може, йе таки, що и мыються.  
Якъ знайдешъ такихъ, мылый сыночку,  
Простелы себе, якъ рядныночку.  
Чоло зъ похылу не поморщиться,  
Спына зъ похылу не покорчиться,  
Спына зъ похылу не покрывиться,  
Зате ступыть панъ и подыввиться,  
Зате ступыть панъ на покирного  
И прыйме тебе, якъ добирного.  
И зъ панамы ты прывитаешся,  
Зъ полемъ батькивськымъ розпрощаешся...

Перечытавшы си вирши, студентъ Андрій Ивановичъ Лавговський осмихнувся, бо щось изгадавъ. Винъ стоявъ коло столу, перегортавъ свои лысты, запыскы и всяки други шпаргалы, та й усе, що непотрибне, винъ одкыдавъ на бикъ, се-бъ то—щобъ зныщыты. Спивомовку Руданського, що отсе винъ взявъ до рукъ, винъ давно-давно колысь перепысавъ бувъ самъ, власною рукою, вже тому годъ висимъ, ще тоди, якъ бувъ гимназистомъ та здобувъ одъ своеи матери одынъ курьозный, сервилистычный лысть.

Того лыста винь тоди прышывъ бувъ до виршивъ и переховувавъ обидва документи вкупѣ.

Перегорнувшы сторинку дали, Лаговський побачывъ и того самого матерыного лыста. Маты була непысьменна—посланіе до сына зложывъ їй якийсь пысака пидъ ии диктантъ. Якъ перечытавъ Лаговський тую пысульку, винь зновъ осмихнувся, та вже якось криво й кисло. Отъ що стояло тамъ:

„Г. Громопиль Кывськ. губ. 18<sup>6</sup>/<sub>п</sub>86.

Дорогий Андрийку!

Посылаю тоби тры карбованци. Не трать ихъ марне, бо мени гроши не легко прыходяться. За твою харчъ и за твою квартиру заплачено вже з-горы, дакъ на що бъ ты мавъ втрачатися ище? Си тры карбованци—то вже тоби самому, на дрибни роскоды. Тилькы жъ, колы що купуватымешъ, то купи такъ, щобъ никто не бачывъ: чужи люде зъ боку дывытымуться—будуть думаты, що ты дуже багатый; та й стипендиї ты не дистанешъ. Найбільше просю: тютюну не купи, бо якъ довидається начальство, що ты зажываешъ, то склочать тебе зъ гимназиї. Шануйся, мій сыну, слухайся старшыхъ. Не заводься зъ товаришамы, та й не прыятелюй зъ нымы, бо пуття одъ ихъ не навчышся. А найбільше—годы вчытелямъ. Будь до ихъ прывитный, ласкавый, покирный; дыректора дуже поважай, не сперечайся зъ нымъ; якъ де зустринешъ, то нызенько вклонься. Спына, якъ поклонься, не зламається, а отже жъ уси вчытели тебе полюблятымуть. Ласкаве телятко двѣ маткы ссе. Цилую тебе и благословляю. Твоя маты А. Лаговська“. Все се було пысане поганою російською мовою, зъ безличчю помылокъ, а вкинци додано: „А по ея покорнѣйшей просьбѣ пысаль отставной унтеръ-офицеръ Л. Стеценко и вамъ одъ себя кланяется“.

— Нещаслива дыкарка!—сумно сказавъ собѣ студентъ.—Тры годы я вже ии не бачывъ. Чы одминылася вона хочъ трохы? А отъ писля завтрыого побачуся зъ нею та побалакаю... Ну, а зъ лыстомъ що робыты? подерты чы дали ховаты?... Атъ! сховаю на не-забудь.

Се кажучы, винь поклавъ лыста и вирша до шкатулкъ, а тамъ дали поглядывъ на годынныкъ. Було якъ разъ висимъ.

— Чась иты каву пыты!...—подумавъ собѣ винь, щырисинько такы радючы, бо цилисиньку ничъ не мигъ заснуты, и въ голови йому теперъ гуло.—Може, якъ кавы выпью, то голова посвижийшае. Панъ и пани вже мабутъ повставалы та вже, десь певне, сыдять

у йидальни... А цикаво бѣ знаты, чы здобулы вони телеграму одъ мого вченика?

Дило діялось у Курщыни, на сели, 17-го августа. Лаговський живѣ тутѣ на кондици, въ помищыкивѣ Бобровыхъ: винѣ бувѣ ставѣ на лито за репетитора ихньому йедынородному сынкови Пьерови, шо въ май не зложывѣ экзамена й мусивѣ переэкзаменовуватыся въ августѣ. Тому два дни, на Пречыстои, Пьерѣ пойихавѣ у Кыивѣ, бо передержку вызначылы йому на 16-е августа, а його вчытель ище зостався на пару днивѣ у Бобровыхъ. Булы на те прычыны: одна—тая, шо не встыгѣ позбираты свое манаття,—адже останними днямы йому й годыны просвитньои не було черезѣ Пьера; а друге—винѣ мавѣ чекаты, докы прыспіе одъ Пьера телеграфична звистка зѣ Кыива про резултатѣ його передержкы.

Зйшовшы изѣ своєї свитлычкы на нызѣ, у йидальню, Андрій побачывѣ тамѣ саму-но панію, вельчну *grande dame*. Винѣ поздоровкався зѣ нею. Вона гордовыто простягла йому рученьку та й закусыла губу.

— Павло Гаврыловычѣ... уже... пишовѣ по господарству,—дуже повильно й тыхесенько, нибы вмираючы, проказала пани Боброва и йехыдкувато вдывлялася въ блиде, выснажене облыччя Лаговського (винѣ бувѣ такы дуже хороблывыи).—Павло Гаврыловычѣ давно вже напывсь кавы,—тягла пани дали вже ораторсько-декляматорсько-навчальнымѣ тономѣ,—бо въ його немає такой звычкы, щобѣ спаты до пивдня.

— Скажена ты баба, отѣ шо!—зовсимѣ не сердыто думавѣ студентѣ, пьючы тымѣ часомѣ каву и дывлячысь у шклянку.—Чы жѣ не ты сама, мегеро, наказала мени, щобѣ я прыходывѣ до йидальни точнисинько обѣ восьмій годыни, не ранійшѣ!—намовлявѣ винѣ себе, та безѣ усякой такы злосты, навить гуморыстычно трохы.

М-те Боброва спершу мовчкы, згорда дывылася, якѣ Андрій сьорбае свою каву, потимѣ узяла зо столу телеграму та якыйсь залиплений конвертѣ.

— Одѣ Пьера йестѣ телеграма,—сказала вона зловищымѣ голосомѣ,—винѣ йи бувѣ пославѣ ще вчора, а „нарочный“ привизѣ допиру сьогодни... Отѣ прочытайте лышень.

Лаговський розгорнувѣ телеграму, де стояло:

„Обѣихѣ переэкзаменовокѣ не выдержалѣ. Пьерѣ“.

Прочытавши бумагу, репетиторъ мовчки вернувъ ии Боброві.

— Яка була наша умова, вы, сподиваюсь, пам'ятаете: здасть Пьеръ экзамена—сто вамъ карбованцивъ, а не здасть—тільки сорокъ. Ось тутъ маєте вси сорокъ карбованцивъ,—сказала пани, простягаючы конвертъ. Студентъ узявъ та й мовчки кивнувъ головою; не розлипляючы конверта и навить не поглянувшы, що воно таке, винъ застромивъ його до боковой кышени та й пивъ каву дали. Зъ його облыччя не выдко було, щò винъ почуває теперь у своему серци. Паниі така байдужисть не сподобалась.

— Якъ правду казать, то й си гроши йдуть за-дурно,—додала вона,—бо колы зъ заняттивъ вашихъ ніякого пуття не було, дакъ чы варто платыты?

Лаговський не видповидаючы допывъ останній ковтокъ кавы та й утеръ губы. Потимъ поволи, спокійненько винъ назадъ выдобувъ зъ кышени конвертыкъ и поклавъ його на столи.

— Якъ не варто, то й не варто,—зовсимъ апатично одказавъ винъ, дали пидвись и пишовъ зъ йидальни. М-те Боброва заметушылась, бо такого скандалу не сподивалась.

— Андрій Ивановычъ! Андріе Йвановычу! вернитесь!—загукала вона.—Вы мене не зрозумили, я зовсимъ не те хтила сказаты... Ось вернитесь-но, я вамъ геть усе поясню...

Але парубокъ уже не слухавъ ии й пишовъ до себе на-гору. Груды йому дуже важко двыжили, бо винъ здавна хорувавъ на ядуху. Тяжко, перерывчато одсапуючы, винъ усадовывсь на крисли, одкынувъ голову назадъ та все одсапувавъ.

— Сьогодни жъ такы пойиду звидсы неодминно!—поклавъ соби винъ.—Ну, отъ, значытсья, працювавъ циле лито коло того дурныка—Пьера, а заробывъ стилькы, що злодіивъ нема чого лякатысь... А втимъ зновъ, начхать мени на все! Tout cela s'est upe нисенитныця!—додавъ винъ не безъ комизму.—Тільки жъ на яки гропи я дойиду до-дому?

Винъ уставъ, вытягъ изъ шкатулкы капшукъ и пыльно переличывъ те, що тамъ мистылось.

— Тры карбованци й десять копійокъ... гмъ! Щобъ до-дом у дойхаты, то треба безъ лышку дев'ять... А втимъ, начхать на все! Вже якомь зъ кондукторомъ погодымось,—знайдемо нелегальни способы, пойидемо й безъ билета...

Винъ заходывсь укладаты свое збижжя въ чемоданчыкъ. Тале жъ незабаромъ винъ спынывся и кынувся на лижка: ядуха, астма тая, не давала йому дыхаты, въ выскахъ застукотило, сердце ростягалось и стыскалось.

— Хочь бы вже швыдче здохнуты!— нетерпляче гадавъ соби Лаговський.— Ну, вы! прокляти нервыща!— нагукнувъ винъ суворо, нибы вдавався до когось чужого,—чы кынете колы-небудь мене мордуваты?—га?—И винъ, здавалося, справди чекавъ устной одповиди.

„Прокляти нервыща“ дійсне мордувалы його здавна, найбільше через те, що йому раз-у-разъ доводилося вчыты нездибныхъ гимназистыкывъ—отакихъ, якъ Пьеръ—та жыты завсигды по чужыхъ людяхъ.

Хтось торгнувъ двери. То було служанка. Вона сказала студентови, що панъ просыть його до своего покою. Хлопецъ уставъ зъ лижка й пишовъ.

Панъ Бобровъ, генераль въ одставци, прывитавъ його дуже ласкаво—не такъ, якъ звычайно. Бо якъ иншымъ разомъ, то винъ було поглядавъ на вчытеля дуже згорда.

— Вы вже выбачте жинци, выбачте,—прохавъ винъ теперечкы,—ій самій дуже шкода, що вона васъ покрывдыла, бо вона й не хотила того. Отъ же, нате... визьмить, визьмить си гроши: вы жъ до ныхъ маете повне право. А якъ не визьмете, тымъ мене обrazyте.

Ласкавистъ панова збыла Лаговського зъ пантельку—ажъ ніяково чогось стало.

— Ни, такы не визьму,—сказавъ винъ дуже слабымъ, стомленнымъ голосомъ.—Дякую вамъ за вашу прыхыльнисть, що хочь на останци выявылась... Тилькы жъ, будь що будь, я на прощанни признаюся такы зовсимъ шыро: сьгодні мене мовъ гримъ побывъ... Зъ вашимъ сыномъ я геть соби здоров'я збавывъ... я жъ цилый день займався зъ нымъ... въ мене нервы теперь такы немощни...—Тутъ винъ бувъ спынывся, бо не знавъ, що казаты дали, а тымъ часомъ бажалосся шось казаты.—А Марія Лаврентьевна... ни, я не сподивався одъ неи такой образы... Не визьму!...

— Ну, а теперь—знаю, що вже заразы рюматы буду!...—подумавъ винъ.—Прокляти нервы! раз-у-разъ зрадыть! Тилькы жъ якъ се такъ?! я вже не панъ самому соби, чы що?! Ба не заплачу! А отже жъ, йій-Богу, заплачу!—лякався винъ.

Але не заплакавъ: перемигъ себе. Здригнулася й скривылася спидня губа, перебигла по облыччю електрична течійка, та й усе.

Бобровъ бачувъ, якъ у Лаговського смыкається облыччя. Йому жалко стало на парубка, а доты винъ попросту хтивъ оддаты йому гроши, щобъ не було ніяково. Винъ пидвисся зъ крисла, пидійшовъ до студента, що бувъ сыдивъ, засунувъ йому въ кышеню конвертъ изъ сорокма карбованцями й жартовливо взявъ за чуба:

— Та ну-бо, ну-бо, не ображайтесь... Ну, не дывитесь, мовъ сычъ на сову, гляньте веселійшь...

Лаговський, якъ стій, пидвисся, бо черезъ тую ласкавистъ спазма йому пидступыла до горла: винъ боявся, що дали-дали розрыдається.

— Выбачте... я пиду... я чогось нездоровый...—глухо промым-рывъ молодыкъ та й швыдкою ходою подався до своеи кимнаты. Скоро винъ зачынувъ двери на защипку, энергія його покынула; його скопывъ нервовый пароксизмъ...

— Двадцять п'ятий годъ мени йде,—зъ ненавистю рыдавъ винъ, кусаючы зубами подушку,—а я реву, наче дытына!... А все нервы!... Та колы зъ мене вже не людына, а клубокъ нервивъ, то на вищо я животію?!

— Лакейська душа!—зновъ зъ ненавистю лаявъ винъ себе, рыдавъ и реготався заразомъ.—Мени выпадало гордо швыргонуты тїи гроши панови въ вичи, а я замисць того роскысь... Зрадивъ що ихне Превосходительство було ласкаве мене за чуба смыкнуты... Лакейська душа!... Та ни жъ бо! Отъ пиду та й верну йому гроши!... Добре... Тилькы жъ описля щбъ буде? адже описля здаватиметься мени, нибы я його марне образывъ, та й пиду я выбачення прохаты?!.. Прокляти нервыща!...

Зъ гистерыкы, зъ довгого плачу винъ зморывся. Голова ажъ важнила на плечахъ, очи мружылысь и сплющувалысь. Не спавшы цилу ничъ, парубокъ теперъ мицно заснувъ.

Якъ прокынувся винъ, то вже владавъ собою трохы бильше, а про панивъ, зновъ, клопотався меньше.

— А чортъ ихъ беры!—сказавъ соби винъ нарешти,—нехай уже си сорокъ карбованцивъ зостаються мени... На сіи гроши могтыму потимъ у Кыиви перебутыся безъ урока хочъ зъ місяць, то може нервы трохы спочынуть...



Того жъ такы дня панськи кони одвезлы його на зализницю... Въ Кыиви йому выпадало буты допиру къ 1-му сентябрю, то винъ бувъ теперь пойхавъ до-дому, до матери. За два дни бувъ уже въ Громополи,

## II.

— Здорови булы, мамо!

— Голубе мій!...

Маты прыпала до свого Андрія, цилувала, голубыла. Сынъ пыльно прыдывлявся до неї, поклавшы руки на її плечи.

Стара Лаговська выглядала зъ себе такъ, що її швидче можна було бъ заличыты до „жинокъ“, нижъ до „дамъ“. Одижъ на ній була, правда, нибы панська, та дуже простенька, полатана, безъ усякихъ претенсій на моду. Облыччя їй—неинтелигентне, вульгарне. Руки червони, порепани.

— Якъ вы зстарылись мамо!... Чого се вамъ спидня губа высыть мовъ нежыва?... Лице блиде... Зморщкы сыльні... Та чы здужаете вы, мамо?

— Трохы нездужаю... Падучка...

— Падучка?! видколы?

— А вже бильше, якъ годъ.

Андрієви трощкы спротивылось.—Падучка—се щось гыдке,—подумавъ винъ. Зъ огыды ротъ йому раптомъ широко раскрывсь, верхня губа напружылась и пидвелась къ носови, нисъ скрывывся, спидня губа широко вывернулась унызъ, зъ залозокъ потекла слына, неначе щось погане въ роти опынылося. Черезъ те винъ потроху вызволявся зъ неньчыныхъ обіймивъ, щобъ вона його бильше не цилувала.

— Гмъ! у неї эпилепсія,—то значця вона й мени передала въ спадщыну якусь нервову, дегенератывну хоробу... Мабуть, зъ мене гистерикъ,—помиркувавъ Андрій.—Гистерикъ?... ухъ, кепська справа! Въ мене, значця, нема ніякисинької постійности, въ мене й характера не може буты ніякого, бо кожнои хвылыны настрій духа мусыть мени самъ собою зминюватась. Однимъ разомъ я—ни сило, ни впало—буду безъ прычыны дуже добрый, а другимъ разомъ такъ само безъ прычыны буду лыхый и поганый... Стихий, а не людына!...

— Пустить мене, мамо, я подывлюсь на госпуду, бо вже жъ давно, якъ бачывъ.

Оселя Лаговської була звичайнісінька українська оселя, пидь солом'янымъ дахомъ. Якъ увійты въ сини, то злива двери вель до кухни, а звидты черезъ грубу бувъ хидъ до ванькира, де спала маты. А други синешни двери, що зъ правои руки, вель зъ синей у парадну свитлицю, що носыла бучне ймення: „гостынная“, се-бъ то витальня. Бильше жъ хатъ не було. „Витальню“ мався теперь зайняты Андрій. Въ ній обстанова була прынаймни чепурненька, хочъ безъ роскошивъ и всякихъ выгадокъ; а вже жъ скрызъ де-инде по осели все було дуже бидне. Лаговська жыла тилькы зъ того, що держала корову и продавала молочни продукты.

Розглядаючы Андрій госпуду, потроху розважывъ себе. Хочъ якъ тутъ усе выглядае бидно, та се не чуже, се—„вдома“; тутъ винъ панъ, а не якась т-те Боброва. Винъ сьогодни ляже спаты въ такій годыни, въ якій йому заманеться; винъ узавтра—схоче—встане о пивдни. Йому взавтра не треба неодминно въ осьмій годыни йты пыты каву. Винъ обидатыме взавтра тилькы въ той часъ, колы схочеться. Винъ узагали вильна, самостійна людына, а не пидвладна. — „Коженъ пивень на своимъ смитныку панъ,“ каже прыслив'я, — подумавъ Лаговченко:—Нехай соби ся прыказк : носыть ироничну закраску, я ии люблю. Краще буты паномъ на своимъ смитныку, нижъ лакеемъ у чужыхъ хоромахъ.

И не чулысь, якъ прыйшовъ вечиръ. Смеркомъ забигла до Лаговської добра прыателька ии—хвершалыха. Андрій сьдивъ коло ныхъ и слухавъ, про що вони балакають. Говорыли про чужи весилля и чужи похороны; говорыли про те, що въ недилю на справнычыси була въ церкви новитня сукня; говорыли, що въ Анны Петровны погана наймычка, а въ Феоктисты Львивны чоловикъ п'яныця, а въ Олимпіяды Андривны на щоци такый велькый выскочывъ пухырь, що аж-аж-ажъ, а въ Перепетуи Власивны злодій у ночи картоплю покравъ; говорыли про цину на картоплю та на кавуны; говорыли, що въ такого а такого сусиды швыдко корова буде зъ телямъ; говорыли, якъ то воно добре, колы корову прызвычайно доитыся безъ теляты; говорыли... та багачько ще говорыли такого самого.

Студентъ пыльно слухавъ.—А ййй-Богу, гарно!—погадавъ винъ,—гарно жыты отакечкы, не знаючы, не видаючы про якисъ тамъ соціальни пытанняя та Weltschmerzer! Гарно людымъ интересуватысь самымы коровыцями та курчатамы та пухырямы Олим-

п'яды Андрівны и бильшъ ничымъ. Ажъ мени самому на серци полекшало, якъ я спустывся на се болотяне дно суспильности. Хвыли розумового жыття плынуть соби десь тамъ високо-высоко по-надъ мною, мене не зачипаючы й не колываючы; мени спокійно, мени й журбы немае въ моимъ затышкови. Йй-Богу, гарно бувае иноди кнуты людський образъ та й зробытыся благонамиреннымъ, невыннымъ бобырцемъ у болоти, або жъ тыхымъ, мырнымъ воломъ, чы коровыцею та й питы соби на зелену пашу!...

Винъ пишовъ до своеи кимнаты й заснувъ такъ любо, якъ мабутъ никола за останнихъ трьохъ рокивъ.

### III.

Андрієви такъ сыльне сподобалось „коров'яче жыття на зеленій паши“, що другого дня винъ зранку не одходывъ одъ матери. Йому любо було дывытысь, якъ вона готуе обидь, якъ бигае по кухни, якъ перемывае посудъ, якъ узагали метушытыся, мовъ муха въ окропи. Помишныци въ неи не було, бо Текля, дивчына-наймычка, погнала корову пастыся на стерню.

Сыдячы въ кухни, сынъ дипломатычно роспытувавъ маму про ии знайомости. Зъ ии одвитивъ винъ бачывъ, що ии суспильне становыще—дуже захытане, и що вона чымъ разъ падае ще ныжче. Ще й тоди, якъ батько бувъ живый, Лаговськи не належалы до вышого Громопильського товариства, а вже жъ якъ померъ батько, то й дрибна интеллигенція стала ихъ цуратыся. Хвершалыха, що була вчора въ гостыни, то й вона вважала себе за аристократычнійшу одъ Лаговської. Але все се не такъ то й сыльне вразыло бъ Андрія, колы бъ не звистка объ тому, що маты частенько любыть захожаты, „съ чернаго хода“, до Громопильськихъ пань, сыдыты у нихъ въ кухни, балакае зъ ными дуже шановльво, пидлещуеться до нихъ — одне слово, грае якусь неблагородну ролю.

— Що за гыдка лакейщына!—подумкы сердывся винъ. — Мамо! а я бъ васъ прохавъ не ходыты до всихъ отыхъ пань... Якъ на мене, то вже краще нашукайте соби знайомости середъ мищанъ та будыте зъ ными ривни, тилькы не обывайте панськихъ порогивъ, мовъ... мовъ ..

Винъ и слова дибраты не мигъ.

— Угу! Абы ты знавъ, якъ уси паны мене люблять! Вони ажъ радіють, якъ я прыходю!

— Що жъ, вони васъ до покоивъ просять?

— На що до покоивъ? Хиба що таке „покои“? Отъ я вчора була въ Клавдіи Петровны Лоначевськой... ты не знаешъ іи—се судіха... То вона мене въ спальни прыймала й кавою наповала.

— А вы й зрадили!... Не ходите, мамо, зробить ласку...

— Этъ, що ты кажешъ!—невдоволена одказала маты.— А вже жъ изъ мищанкамы завдаватись... ходыты до ныхъ угостыну...— якъ разъ! дзуськы!... Вони самы за вельку честь мають, колы я ихъ хочъ до кухни пускаю! Отъ побачышь самъ!

Андрій справди мигъ того самого ранку побачыты, соби на вдывовыжу, що мищанкы (а ихъ прыходыло сьогодни чымало) вважалы Лаговську такы не за ривню. Хочъ вони зовсимъ фамильярно балакалы зъ нею про се, про те, про всяки спильни интересы, тале жъ выдко було, що вони вважають іи за „панію“ такы. Лаговська й сама соби запышалася зъ того поводження, та й ще (звисно, щобъ навичъ сынови) балакала зъ нымы навить трохы протекторально. Темою для розмовы byly зновъ такы, якъ и вчора, тельчкы, п'яныци-чоловикы, новитни хусткы и т. и.

Окримъ тыхъ знайомахъ мищанокъ прыходылы въ кухню до Лаговськой покупци: куховаркы одъ тутешнихъ панивъ. Покры Лаговська одсыпала имъ молоко чы сметану, або одважувала масло та сыръ, вони оповидалы іи усякы найдрибнійши сплиткы про свое панство. Лаговська дуже цикаво слухала ихъ, ще й сама допытувалась; выдко було, що, слушаючы ти сплиткы, вона нобы й саму себе бачыла въ панській кумпаніи.

— Що за лакейшына!—гадавъ Андрій. Йому брыдко ставало.

Пообидалы. Маты пишла въ садокъ, де росли дуже гарни слывы-ренклоды, нарвала повну мыску й зав'язала въ серветку. Дали почала сама выряжатись.

— Куды се вы, мамо?—спытавъ Андрій, дывлячысь, що стара маты зашнурувалася у корсетъ, одягла якусь парадну та старомодню сукню, настромыла на голову соби наколку и напнула якыйсь кумедный капелюшыкъ.

— Пиду до судіхы.

Вона ще выдобула зъ шахвы рум'яно, начервоныла щокы, потимъ почорныла бровы. Сынь, дывлячысь на сю кумедію, тилькы плечыма здвыгавъ.

— А слывы жъ вы на що несете?

— Гостынчыкъ. Такихъ доридныхъ ниде въ гóроди немає, тилькы въ насъ. Позавчора Лоначевська такъ гарно, такъ щыро мене витала, то я хочу оддячытысь...

И вона пишла. Андрій мовчки злувавъ. Згадавъ винъ батька, що садовывъ тую ренклоду. Покійного батька парубокъ дуже любывъ. Такъ отъ, діялось се в-весни саме того року, що в-осены малыся одвезты Андрійка въ Кывъ у гимназію. Посадывывшы татко ренклоду власнымы руками, взявъ Андрійка, того велького хлопця, на руки та й прынисъ до деревыны:—Се хай буде твоя. Може вона ростыме й тоди, якъ я помру,—то згадуй за мене.... Але що я верзу?! Хиба тоби доведеться такъ, якъ мени, стырчаты свій викъ у Громополи на двадцятьохъ п'ятьохъ карбованцяхъ мисячного жалування?... Тебе—певне, що краща доля чекае“...

В-осены Андрія одвезлы до Кыива, а за мисяць несподиванно померъ батько. Писля того Андрій ридко колы й у Громополи бувавъ: не доводилось, не можна було. Але всю оту сцену зъ деревомъ винъ добре пам'ятавъ.

Теперь йому важко було, що овощи зъ тіеи батьковои ренклоды здалысь на пидлызування до судихы.

Вернула Лаговська до-дому рада та весела.

— Щобъ ты знавъ, якъ мене тамъ прыймалы! якъ прыймалы!—хвалылась вона Андрієви, передягаючысь изъ каррикатурнои одежи въ просте

— А вы якъ—на кухню йшлы, чы на парадни двери?—иронично перебувъ сынъ.

— На кухню...—швыденько одмовыла маты й гордо оповидала дали.—То мене Клавдія Петровна поклыккала до спальни...

— И наповала кавою,—докынувъ сливце сынъ.

— Ни, не кавою—чаемъ изъ солодкымы бублычкамы...—не завважаючы ироніи, поясняла Лаговська.—Вона лежала въ лижкови, опочывала писля обидъ, а мени постановылы коло неи круглый стиль и стильчыкъ, то я тамъ-о пыла ча... А якъ дякувалы за слывы!... И панночку я бачыла... тилькы тая щось дуже згорда дывытыся... А вже жъ яка ласкава сама пани!

— Ну, й радійте!—насмешкувато сказавъ Андрій и пидввися, щобъ иты до себе.

— Постій-но, Андріє! Казала Клавдія Петровна, щобъ я взавтра попрысылала їй уси квыткы!... Се, бачъ, вона бере въ мене сметану й масло на квыткы... То треба буде поличыты, скільки тамъ виходыть усього вкупи грошей, та й одислаты. Передше рахувавъ мени одынъ жыдъ, то я йому за те мусила платыты. А теперь порахуй ты.

— Гараздъ,—одказавъ Андрій и пишовъ до себе денеруватысь самотою.

#### IV.

У вечери винъ поробывъ рахункы.

Другого дня, скоро винъ выйшовъ пыты чай, маты йому сказала:

— А знаешъ? Клавдія Петровна вернула рахункы; каже, що тамъ помылка—ты щось накынувъ... Та отъ тутъ ихня служанка. Що пани кажуть?

— Пани казалы,—выясныла дывчына,—що вы ажъ трыдцять копійокъ накынули не знать звидкы... Та й кажуть до чоловика: „що то за погана звычка въ Лаговської! се вже вона вдруге такъ робыть: и прошлого мисяця налычыла бильше, якъ треба, и теперь зновъ“...

— Се всна... такъ и сказала?—спытавъ Андрій. Черезъ раптоый пароксизмъ ядухы винъ не мигъ дыхнуты.

— Скажы, дывчыно, паніи, що того мисяця личывъ жыдъ,—безъ усякои достойности выправдувалася Лаговська, ще наче бъ то й вынна,—а теперь самъ пачычъ. То вже жъ панычъ не крутытымуть навмысне... Ты, Андрію, визьмы квыткы та й зновъ порахуй, щобъ вывырыты.

— Добре, дайте-но квыткы,—нервово сказавъ сынъ и швыдче пишовъ до себе.

Перевирывъ разъ—нема помылкы. Перевирывъ у-друге—тожъ само нема.

— Я, мамо, писля обидъ самъ пиду до Лоначевської,—сказавъ винъ до матери наче бъ то зовсимъ спокійнымъ тономъ.

— Ой, я боюсь, щобъ ты часомъ не наплескавъ їй чого...

На те сынъ одвитывъ ривнымъ голосомъ:

— Ни, я попросту покажу їй, де їи помылка. Бо хто жъ покаже, якъ не я?

— Ну, добре,—заспокоїлась мати.—Та не забудь, що вона на ймення Клавдія Петровна.

— Клавдія Петровна? Гарздь! нехай и Клавдія Петровна!

## V.

О п'ятій години Лаговський вдягъ на себе свій новий студентський китель и пишовъ до господы Лоначевськихъ. Спершу винъ хотивъ бувъ одягнутись за-для визита якъ найгірше, та потимъ передумався. Смыкнувъ винъ за дзвоникъ. Довго ниhto не выходивъ, нарешти одчынула двери якась гарна дама.

— Выбачайте,—защебетала вона по-російськы, цікаво дывлячысь на молодого, доволи вродливого студента,—сама одчыняю, бо вси покойовкы свои порозсылала... Вы, певне, до чоловіка? Його вдома немає.

— Ни, я до самой пани Лоначевської... Я—Лаговський,—похмуро одмовивъ гисть.

— Лоначевська—то я... Просю до витальни... Сюды... Ну отъ... Сидайте, будьте ласкави.

Вона й сама сила та й налагодылась слухаты паныча.

— То вы сынъ... мадамъ Лаговської?... выбачайте—я не знаю, якъ вона буде на ймення и по батьощи.

— Маріи Степанівны Лаговської,—трошки іронично пидказавъ молодикъ.—Бачъ!—обурывся винъ на думци,—вона навить не знае, якъ мама зветься, а мама й по-за очи тытулуе іи на ймення и по батькови! Що за брыдкий сервілізмъ!...—Я вчора поробивъ рахункы мами и можу завирити, що зовсимъ гарздь. Якъ же вы сьогодни сказали, що буцимъ я наплутавъ, то я зновъ двичи перевиривъ... (Голосъ йому задрижавъ)... Я помылокъ не робивъ... (Винъ засапувавсь)... бо я студентъ четвертого курсу математичного факультету... А вже жъ обдурюваты васъ я тожъ само не хотивъ... Вы сказали передъ покойовкою, буцимъ мама хотила въ васъ украсты тридцять копійокъ...

— Якъ прійде покойовка зъ гѣрода, я іи заразъ геть вытурю, бо мени не треба такои языкатои,—спокійненько сказала судіи-ха.—А що до помылокъ, то воно такы може буты, що то я помылылась, а не вы. Правду кажучы, я порахувала абы-абы-якъ, на швыдку ручъ.

— И протє послалы служанку сказаты мами, що въ рахункахъ ѣе помылка?

— Ахъ, Боже мій!—трошки капризно одказала дама,—ну дакъ що жъ тутъ такого? послала!

— Се зветься падлюцтвомъ!—згукнувъ Лаговський, шарпнувшысь на крисли.

Лоначевська, замість спокійної линыво-прымхливої дамочки, одразу зробылась вельичною леди.

— Я думала, що универсытєтська освита зробыла зъ васъ обтєсану, выполіровану людьну,—процидыла вона гордо й зневажливо,—та вже, бачу, нїяка освита не выжєне того хамства, що зроду сыдыть у крови.

— Добродїйко!—скрыкнувъ парубокъ гнивнымъ голосомъ, въ якому чуты було вже болячу нотку.

— Я бачу,—безжалісно тягла судїиха дали,—що мени треба було одразу повєсты зъ вами розмову не якъ изъ студєнтомъ, а якъ изъ сыномъ тїєи перекупкы, що має одъ мене заробитокъ. Тоди бъ я не дочєкалась нїякыхъ прыкростєй одъ васъ... бо вашъ власный меркантильный интересъ не дозволявъ бы вамъ вражаты покупця... а надто такого, якъ я... Я знаю, що ваша мама бере зъ другихъ людєй висимъ копїйокъ за стаканъ сметаны, а зъ мене—десять копїйокъ. То їй не выгода одипхнуты такого гарного покупця, якъ я... А зъ тыхъ грошей, яки вторгєе ваша мама, вже жъ и вамъ де-що перєпадає? эгє?

Лаговський хотивъ бувъ выгукнуты якусь зовсимъ непристойну лайку. Винъ пидвився зо стильця. Губы йому затремтылы, зубы зачеркнулысь одынъ объ одынъ, лице гєть перєкрывылось. Винъ бувъ роззявывъ рота, та замість промовыты слово винъ, начє який оберемокъ, упавъ на стилєць и мовчкы схопывся за голову обома руками. Очи дывылысь вгору безъ усякого выразу, каламутно, нобы олов'яни.

— Ахъ, Господы!—злякалась судїиха,—выпїйте швыдчє воды!... Ось... Що жъ я се наробыла!—заголосыла вона.

И вона мерщїй насыпала парневи въ шклянку воды.

— Не треба!—пробурмотивъ винъ, пидвився и швыдко-швыдко пшовъ до корридору. Лоначевська мыттю побигла наздогинъ йому.

— Та куды бо вы? куды? Постїйте, отъ я вамъ щось скажу... Та постїйте жъ бо! Отже жъ однаково не втєчєте, бо двєри зачынено...—сумовыто-жартовливо засмїялась вона, наздогнавшы



Лаговського коло самихъ дверей. Тутъ вона зупынылась передъ имъ.

— Я хтила вамъ... та не бійтесь-бо, я васъ заразисинько випустю,—зъ лагіднымъ усмихомъ перебыла вона себе, побачывшы, що Лаговський стоить понуро и вдвляється нетерпляче въ дверну клямку.—Я хотила, бачыте, тилькы сказаты, що я дуже вынна проты васъ, але жъ вы ще бильше вынни. Бо якъ такы не було вамъ сорому.—вамъ, студентови—образыты беззахыстну жинку, знаучы до того, що й чоловіка ии нема вдома? А втимъ, здається, що вы самы дуже мучытесь? Вы дуже нещасливый, правда?

Вона промовыла си слова щыро й ласкаво. Андрій ризко порвався до выходу й шарпнувъ клямку.

— Ну, идить, идить!—заквапылась вона,—я бачу, що мій теperiшній тонъ ище гирше вразывъ васъ.

Вона одимкнула двери, що на вулицю.

## VI.

Лаговський, кусаючы зъ усией моци губу, пишовъ прудко-прудко, куды очи, геть одъ господы Лоначевськихъ. Зуздывшы першый-липшый перелазъ, винъ, не довго ворожачы, перелизъ у чужый садокъ, кынувся въ гущавыну и впавъ на траву; не сыла була йты спокійно дали. Нихто його не побачывъ.

Закопавшысь лыцемъ у високу травцю, винъ судорожно почавъ рыдаты, тилькы безъ слизъ: очи булы сухисиньки. Потимъ винъ мовчки перекинувся навзнакъ, несвидомо глыпнувъ бувъ очыма на небо та й мицно заплющывъ ихъ, ажъ стыснувъ повика. Потимъ мовчки й машынально встромывъ великого пальця ливои руки въ ротъ, мижъ кутни зубы. Потимъ куснувъ його разъ-другый зъ усией сылы та й заходывся грызты такъ, якъ собака жвакае кистку. Незабаромъ повень ротъ йому набигло крови, а що винъ бувъ лежавъ, одкынувшы голову, то кровь потекла йому въ горло. Не вважаючы на те, парубокъ ище разъ угрызнувъ свого пальця, та зъ велькымъ бодемъ почувъ, що його зубы вже не шкуру перетырають, а въ живе м'яке м'ясо глыбоко впываються и доходятъ до кисткы. Тоди винъ стямывся, вытягъ пальця зъ рота, пидвився й росплющывъ очи.

Зъ раны кровъ джуряла на траву й на одиждъ. Тупо поды-  
вывшысь на червону течійку, Лаговський якость выдобувъ хустку  
и обкрутивъ пучку. Його дуже болило, та на души було не такъ  
важко. Винъ усадовывся, сперся спыною объ стовбуръ вышни,  
заплющывъ очи и взявъ миркуваты про те, якъ винъ отсе ро-  
бывъ визитъ до судіихы.

Скоро винъ згадувавъ ущипльви слова Лоначевської, мяттю  
йому стыскувальсь кулакы, трусыла пропасныця, хотилось полы-  
нуты до паніи зновъ та й крыкнуты ій въ жыви очи, що зъ неи  
пидла жинка. Але зпосередъ такыхъ лютыхъ думокъ несподиванно  
вырынало гарне іи облыччя зъ ласкавымъ, лагіднымъ осмихомъ,  
який винъ побачывъ на-останци. На ту згадку Андрій якость ин-  
стинктивно скулювався та й схылявъ голову на груди. Винъ  
пидъ таки моменты не мигъ и дыхаты.

— Зъ мене падлюка!—зважлыво казавъ соби парубоць, и сердце  
йому заныло.—Ни, не падлюка зъ мене, а ненормальный выро-  
докъ... И до чого животію я на свити?! Чого я животію?! Про-  
клятущи нервы!...—шепотивъ винъ на тысячный разъ свою звы-  
чайну фразу. Зъ важкого нервового болю винъ несвидомо схо-  
пывся за груди.

— За вищо я іи образывъ? Може за те, що вона займае выще  
соціалне становыще? А вже жъ за те... Отже жъ вона така  
добра... Вона ажъ засмутылася, якъ побачыла, що мене вразыла.

Молодыкови закортило раптомъ побигты до Лоначевської,  
попрохаты выбачення, поцилуваты ій руку та такъ и не одпус-  
каты тую руку одъ губивъ, стоячы на-вколишкахъ.

Плебейська жылка не дала довго розыватись такымъ мрі-  
ямъ. Студентъ якъ стій пидвивъ голову, нетерпляче смыкнувъ  
плечыма, неначе хотивъ струснуты зъ себе тее негарне бажання.

— Вона мене пожалувала тилькы черезъ те, що провинціални  
кавалеры ій геть уси пенабрыдалы, а чорнобрывый студентъ вы-  
глядае ій краще...—насмешкувато выдумувавъ соби винъ,—эге жъ!  
бо чомъ маму вона николы не пожалуе, а завсигды трактуе  
тилькы згорда? Маму вона зве перекупкою...

Андрій зновъ скипивъ и заклекотивъ гнивомъ, дали пид-  
вився, дали зновъ сивъ на землю, дали зновъ лигъ. Якъ винъ  
уп'яты уклався на траву та ще заплющывъ очи, то люты думкы  
геть порозбигалыся. Винъ ставъ куняты. И отъ... чы то сонъ  
винъ такый побачывъ, чы то по-просту дримаючы згадавъ соби

де-що, тилькы жъ отъ яка сцена зъ мынулого жыття перебигла въ його уяви.

Ввыжається або й сныться йому, нибы винъ—ще въ четвертому класи гимназіи та й прыйихавъ до-дому на лито. Вже й тоди його маты инколы плазувала передъ панствомъ, хочъ и не такъ сыльне, якъ теперь.

Одного разу прыйшла вона зъ базару и сказала сынови:—Адже ты знаешъ геть усю писню: „Ахъ ты, воля моя, воля?“

— А що?

— То напышы до неи геть уси слова. Я отсе йшла прозь кныгарню. Кныгарь стоить на рундуци. Пид’йиздыть экипажъ, и зъ экипажа неморожська генеральша Суханова пытається:—Чы нема въ васъ такой кныжки, щобъ тамъ бувъ повный текстъ до „Ахъ ты, воля моя, воля“?—Кныгарь каже:—Нема.—А маленький сынокъ генеральшынъ и соби высунувся зъ коляскы та й гукае и мало-мало не заплаче:—А вы добре пошукайте мижъ своимы кныжками! Може десь и йе? Мени такъ дуже хочеться маты тую спиванку.—Я стояла тутъ, то й кажу до генеральши:—Мій сынъ знае „Ахъ ты, воля“, то винъ вамъ напыше.—Отожъ вона якъ йихатыме зъ миста до-дому на село, то пид’йиде до нашої хаты... Я йй сказала, де мы сыдымо... То я й оддамъ йй те, що ты напышешъ.

— Дывуюсь вамъ, мамо,—обурывся Андрійко,—пидлабузнюетесь до незнайомой людыны черезъ те тилькы, що вона генеральша!... Та ще хочете, щобъ и я годывъ якомусь тамъ генераляткови.

— Ну, ййй-Богу жъ, кажу тобі, що я й забула про іи генеральство. Колы бъ ты самъ побачывъ, яке мыле хлоп’ятко!

— А бодай воно здохло!... Не напышу!

За дви годыни писля того пид’йихавъ экипажъ. Лаговська выбигла въ сины на-зустрічъ. Андрійко сховався за дверыма й чувъ, якъ маты перепросювала генеральшу, кажучы, що іи сынъ забувъ писню, не пам’ятае сливъ. „Генералятко“ тымъ часомъ сыдило въ колясци, Андрій мигъ бачыты його въ викно. То була блида, слабовыта дытына, надзвычайно симпатычна на облыччя. Очи въ того хлопчыка, якъ на його лита, дывылыся занадто журлыво й замыслено, та заразомъ прывитно и лагідно—достоту маленький Хрыстось. Рученятамы своимы винъ тулывъ до себе пару костуричь: отся невелычка дытына вже була кульгава. Якъ сила генеральша на визъ и сказала:—Немае, мій сыночку!—то малый

каличка сумно схыльвъ голову. Вони пойихалы, а въ Андрія та-  
кечкы защемило сердце!...

Серце й теперь-о защемило молодыкови зъ того сна, чы пры-  
выда, чы згадки. Винъ ажъ прочнувся зъ болю. Биль бувъ не ту-  
пый, а плачущый: по горячыхъ сухыхъ шокахъ покотылося де-  
килькы важкыхъ слизъ.

Генералятко нибы й теперычкы стояло передъ нымъ и  
кризь туманъ лагідно дывылося на його, мовъ маленький Хры-  
стось, та сумовыто осмихалось. Разъ, два—воно кынуло зъ ту-  
ману останній поглядъ на Андрія; туманъ ще разъ застельвъ  
очи, дали мыттю розвіявся и вся мара счезла.

— Зъ мене психопать,—подумавъ Лаговський, пидвився, обе-  
режненно выйшовъ изъ садка, щобъ никто не бачывъ, а дали  
швыдко подався до-дому. Йому неодминно заманулось музыкы:  
винъ чувъ душею-серцемъ, що тилькы музыка його заспокоить.

## VII.

Прыпхавшысь до-дому, Лаговський першымъ диломъ ско-  
пывъ свою скрипку, що ии винъ скризь возывъ зъ собою. Винъ  
не вчывся николы въ ніякого вчытеля, вывчывся самотужкы,  
скрыпаль-техникъ бувъ зъ його абы-який: тилькы того' й було,  
що гравъ справди зъ великымъ чуттямъ.

— Сыну!—зазырнула до його въ двери маты.—Ну, що?

— А те, що я добре одчытавъ вашу судиуху,—одказавъ Ан-  
дрій,—другымъ разомъ не буде людей навманя обрихуваты.

— Що?!

— Этъ, мамо! будьте ласкави, теперь покыньте мене: потимъ  
поросказую геть усе,—сказавъ сынъ нетерпляче.—Просю васъ,  
лышити мене на часынку одного, самотою.

Лаговська одійшла, не роспытувала бильше, тилькы дуже  
вжахнулася. Але вона поклала питы взавтра до судиухы та й пе-  
репросыты, якъ що сынъ наплескавъ чогось такого, що не го-  
дыться.

А Андрій на швыдку ручъ направывъ скрыпыцю та й нер-  
вово загравъ свою улюблену пьесу—дуэтъ Фауста зъ Маргары-  
тою. Оксамытни тоны минорной мелодіи голубылы його сердце,  
грилы немовъ тепле соняшне проминня, обвивалы немовъ легке  
весняне повитря, пестылы немовъ пахуча квичочка-фіялочка.

—Dammi ancor,  
Dammi ancor  
Gontemplar il tuo viso,—

жалисно благалы струны.

Dammi ancor contemplare  
Il tuo viso!—

зновъ плакалы воны, хапаючы Андрія за серце.

...Al pallido chiaror  
Che vien dagli astri d'or  
E posa un lieve vel  
Sul volto, sul volto il tuo si bell!...

Молодой музыка спынывся та й схопывся за груды.

— Чого ты ныешъ, мое серце?—лагидно пытався винъ у свого серця, немовъ у живої людны.—Скажи, чого?—прывитно допытувався винъ зновъ, схыляючы вухо до своихъ грудей.—Кохання бажашъ?... Дакъ марне бажашъ!... Покинь и гадку про се: за-для такыхъ бидакивъ кохання на свити немае...

А дали, ныбы безъ його видома, руки його схопылы зновъ скрыпку и смыка. Зновъ поллялась чаривна мелодія—се Маргарыта прыхыльно одповидае:

Notte d'amor!...  
Гей, друже мій,  
Скажи ще разъ:  
„Люблю тебе“.  
Яка жъ я рада, що мене ты любышъ!...  
Notte d'amor!...

— Въ мене йе врода, въ мене йе чеснисть, въ мене йе розумъ, а мени ще нихто доси не казавъ отакон мовы!—роздумувавъ Андрій, скрыпцюючы.—Черезъ що се?...

—До свиту, сходу сонця  
Мы будемъ пыть-гулять.  
Прыходъ, веселый Бакху,  
До насъ бенькетувать!—

якъ стій звернувъ Андрій на Вальпургіеву ничъ, дали взявъ за-гравъ Фаустову бакханалію, дали „Сичильяну“ зъ „Cavalleria Rusticana“. Очи йому запалалы, низдри пороздымалыся, выскы за-стукотилы. Лице його конвульсивно крывылося та шарпалось въ

уси боки, але винъ того не завважає. И спина де-кількы разивъ конвульсивно здригнулася, мовъ зъ електричного протоку, але винъ ничего того не помичає. Винъ жадбно впывався музикою такъ, якъ п'яныця алькоголемъ, якъ курець тютюномъ, а про все опрочее на свити позабувавъ геть зовсимъ. Нарешти очи Андрієви широко пороскрывались, зинкы поробылись вельки й чорни, якъ теренъ. Зъ нервового напруження по тили перебигла цинична спазма.

— Се вже щось сексуальне!—сказавъ собі винъ, дали засміявся й несподиванно вдаривъ по струнахъ якусь банальну польку... Ти звуки повіялы чымсь кафе-шантаннимъ, повіялы продажнимъ коханнямъ.

— Що за брыдота!—сказавъ собі винъ, з'анализувавши вражиння, сплунувъ и поклавъ скрыпыцю на стилъ. До того жъ винъ и пальця свого пораненого дуже розразивъ: зновъ выступыла кровь, накручена на пальци хустка просякла и геть счервонила.

Пидъ таку хвылыну маты росчыныла двери.

— А ну-ну грай, грай дали!—похвально сказала вона, просуваючы тилькы голову.—То все гравъ якусь никчемныцю, а отсе втнувъ такого гарного!

Наче видро холодной воды высыпалы хлопцеви на голову.

— Ать!—сказавъ винъ зъ досадою та й заразы сховавъ скрыпку до скрыни, а самъ уклався на лижкови. Маты пишла.

— Въ мене такъ-таки ничогисинько нема спильного зъ нею,—подумавъ собі Андрій и саркастычно додавъ:—Я—продуктъ сучасной цивилизаціи, я дегенератъ, я декадентъ, я людына зъ *fin de siècle*, я неврастеникъ, а вона—вона така некультурна баба, що навить неврастении не надбала... дарма, що въ неи епилепсія.

По сій подуманій мови студентъ тыхо засміявъ, але потимъ несвидомо зитхнувъ.

— А втимъ—хто зъ насъ щасливійший? хто? чы я зъ своїмы высококультурнымы почуваннямы и такимы самымы высококультурнымы хобабамы—денерваціямъ? чы, може, вона, дыкарка отсяя?...

— Ну, бійся Бога! чого жъ се ты, Теклю, доси до-дому не приходыла?—загукавъ з-надвору гоминкый голосъ Лаговської.—

Корова вже видколы прыйшла, а тебе все немає!... Та чы обидала ты сьгодні де?

— Гы-ы-ы!... ни!...—хлыпала Текля. Андрій прожогомъ пидвивсь и побигъ до викна, щобъ забраты справу, въ чому дило та чого Текля плаче.

— А се, бачъ, отъ що,—сказала йому Лаговська,—корова въ ночи втикла була кудысь. Вранци я послала Теклю шукаты ии. О-пивдни корова сама прыйшла до-дому, а Текли нема та й нема. Обидаты треба було—Текли нема. До вечерни передзвонилы—Текли нема. Ажъ ось колы верта!... И зъ самисинького ранку не йила ничого!...

— Чого жъ ты доси не прыходыла?—спытавъ панычъ.

— Бо... коро-вы... ниде... не знайшла...—плакала Текля,—боялась... що... бытымутъ...

— Бытымутъ? Оттакъ! Чы не я тебе бытыму?—сказала Лаговська,—выгадай чор-зна-що! Чымъ же ты тутъ вынна, щобъ було тебе за що быты? Якъ бы ты була пасла корову та отъ тоди втеряла або впустила ии въ шкоду, ну, тоди, звисно, ты була бъ зосталась пры всій выни. А то жъ корова сама втикла зъ подвир'я!

— А я бо...я...ла...ся...—рыдала Текля.

Лаговська невдоволено порушыла плечыма.

— Йй-Богу, дурна дивка!—сердылась вона.—Боялась, що бытымутъ, колы вона не вынна!... Та ще й не йила ничогисинько цилый день!... Заразъ мени сидай обидаты! адже цилый день не йила...

Текля зъ двору пишла на синешни двери, а Андрій жалисьво дывывся слидкомъ за нею, докы вона не увйшла до хаты.

— Мизерне сотвориння!—гадавъ соби винъ.—Отсе дакъ справжня дыкарка... А мама не зовсимъ така дыка, якъ я бувъ покладавъ... Вдома Теклю, десь певне, попобылы бъ гараздъ навить за те, що корова сама собою кудысь подалася. Очеvyдчкы, Текля товченыкивъ поз'идала чымаленько, бо се вже въ ихъ така педагогична система: бывъ тебе батько, была маты, была може й старша сестра, а вже що часто бывъ братъ, дакъ се напевне!... И колы тоби вывыдныться, Украино?... Колы?

## VIII

Змынувъ вечеръ, змынула ничъ, прыйшовъ ранокъ.

Лаговська такы вывидала одъ сына, щò саме винъ наговорывъ судиси. Перетривожившысь, вона заразъ писля обидъ побигла до неи, сынови ничего не кажучы. На одходи вона загадала Текли, щобъ заразъ пидмыла пидлогу въ панычевимъ покои.

Скоро дивчына почала прятаты, то Андрій, щобъ не перебываты, пишовъ зъ кныжкою въ садочокъ.

За чверть годыны до його прыгналась Текля и гепнула на-вколинкы.

— Що зъ тобою?—скрыкнувъ Андрій, дывлячысь на неи. А на Теклиному облыччи було напысано невымовный, звирячий жахъ и мольбу, неначе хтось на неи замирывся сокырою, щобъ забыты, та такъ замирывшысь и стоявъ. Андрій ажъ помертвивъ.

— Чого ты? що тоби?

А Текля, замисть одповидаты, стулыла долони нобы на мольтву и, все не зводячы очей зъ паныча та стоячы на-вколинкахъ, затрусилася зъ жаху. Дывилася вона на паныча достоту такымы очыма, якымы дывыться собака, колы ии хотять лупцюваты за шкоду. Нарешти облыччя ий перекрывылось.

— Гы-ы-ы!—заскыглыла вона й раболипно порвалася схопыты та поцилуваты Андріеву руку. Винъ высмыкнувъ.

— Та кажы-бо, що зъ тобою!—мовъ несамовытый згукнувъ винъ нарешти. Кровъ йому холонула.

— Я... розбыла...

— Що розбыла?

— Лямпу!...

Се кажучы, Текля вп'ять кынула ще покирнійшый поглядъ на паныча. А той ничего не мигъ уторопаты.

— Л-я-м-п-у? Ну, то що?—пытавъ винъ, не розуміючы, чого саме вона жахається. Серце йому лускотило.

— Лямпу розбыла!—нетямущымъ, вынுவатымъ тономъ сказала Текля вдруге, все стоячы на колинахъ.

Андріеви одразу одлягло одъ сердца, але винъ угнивывся и забувъ свою звычайну ввичливисть.

— А бодай тоби чортъ!—скрыкнувъ винъ, тупнувшы ногою.—Перелякала мене за чор-зна-що!



— Вы не скажете паніі?!

И зновъ покирный собачый поглядъ.

Андріевого гниву могло быты тилькы на хвылыну: винъ мяттю простыгъ. Натомість його сердце пройнявъ жалъ.

— И зъ неи тежъ людына?—подумавъ соби винъ. Дали винъ ласкаво забалакавъ, беручы Теклю за руку.

— Та встань-бо, дурна дивчыно! Ну, чого жъ ты, дурненька, злякалась? Невже ты думала, буцимъ тебе бытымуть, або що?... Ну, кажы: чого жъ ты злякалась?

— Я... думала... що...—тыхесенько сказала Текля та й спынылась.

— Ну?

— Бо воно жъ, десь певне, дуже дороге!

— Ни... А що?

— Боялась... що зъ грошей моихъ одберуть...

— А ты за яку плату служишь?

— Двадцять карбованця за годъ.

— Що за дурна дивчына!—прывитно засміявся парубокъ.— Невже жъ такы зъ отакои мизерной платы мама захтилы бъ вывертаты що-небудь за шкоду?...

— А я... боялась... —вовкувато тягла Текля, росчепирывши губы такъ, якъ дурныкъ.

— Та зъ неи идиотка зроду,—подумавъ Андрій, пыльно прыдвляючысь до неи.—Ба ни—по-просту на цвиту прыбыта. Дыкарка!...

Пишовшы винъ у хату, побачывъ, що зъ його столу вси лысты, паперы та неоправлени кныжки поскыдувано на пидлогу, мовъ яке смиття. Тилькы сами-но ти кныжки, котри булы въ палитуркахъ, Текля не поскыдала на землю. Очеvidячки, вона не розумила, що воно таке— кныжка“. Котра кныжка була оправлена, дакъ то ще була за-для неи „вещь“,—нехай соби невидома ій, дывна, кумедна панська „вещь“ (чы мало жъ іе въ панивъ дывного!), тилькы жъ такы „вещь“, що іи выкыдаты не можна; а неоправлена кныжка здавалась Текли якымсь непотрибнымъ мотлохомъ.

Андрій постоявъ-постоявъ, а потимъ у викно ще разъ подывывся на Теклю, зъ боку. Винъ бувъ сподивався завбачыты въ ній выразни ознаки кретинизму. Але Текля, що мовчки сыдила

на прызби й понуро дывылася въ далечинь, глядила доволи розумными очыма.

— Кретины та идіоты не такой поглядъ мають,—подумавъ Андрій.—Ни, не идіотка зъ ней, а попросту дыкарка. Я покладавъ бувъ, що мама моя вже ажъ надто цікавый прымирныкъ дыка-ривъ—ажъ выходыть, що Текля ще дыкша.

И видчувъ винъ невымовный жаль до бидолашной дивкы.— Пиду, хиба, побалакаю зъ нею? а вже жъ! а вже жъ!

Не встыгъ винъ багацько зъ нею розбалакатысь, якъ прыйшла зъ гостыны стара Лаговська. Вона була дуже вдоволена.

— Я була въ Клавдіи Петровны,—оголосыла вона сынови.

— И вона васъ заклыкала до спальни та наповала кавою. Знаю,—насишкувато сказавъ Андрій, тилькы жъ заразъ и збентежывся:

— Чы не набалакалы вы ій про мене чого-небудь зайвого, за-надто ласкавого?—непрывитно схопывся винъ.

— Я? Ну, я—дакъ ничого зайвого ій не казала,—одмовыла маты,—а отъ ты—дакъ справди наплескавъ чор-знае-чого. Я вже перепросювала, перепросювала...

— Хто жъ вамъ давъ право на те?!—закыпивъ Андрій.—Се вона мусила бъ мене перепросюваты, а не я іи. Вона мени наговорила Богъ знае чого... Вона сміе вважаты мене за неривню!

— А отже, щобъ ты знавъ, то й не вважае!—радисно осмихнулась Лаговська.—Вона хоче тебе навить у гости до себе запротхаты... А все те зробывъ не хто, якъ я!—хвалылась вона триумфуючы.

Андрій неймовирно здвыгнувъ плечыма.

— Мене въ гости? Гм!... Та й що жъ саме такого зробылы, кажете, вы?

— Я казала Клавдіи Петровни, що ты дуже жалкуешъ и каешся, що іи покрывдывъ. То вона...

— Хиба я жалкувавъ?

— Атъ! треба жъ була перепросыты... Ну, то вона й каже: „я й не сердюся на його“. А потимъ я сказала, що ты гарно граешъ на скрипку. То вона: „чы не захотивъ бы винъ узавтра прыйты до насъ на вечерь—граты до танцивъ?“ А я кажу: „винъ дуже радый буде...“

— Шо?! що кажете?!

Маты не зрозуміла синового тону. Вона навіть думала, що вінъ отакъ згукнувъ зъ несподиванихъ радощивъ, и казала дали:

— Бачышь, отъ що: въ неи ввзавтра буде багацько гостей, дакъ їй хочеться, щобъ булы танци. Тилькы жъ, на горенько, нема теперъ у гѣроди музыкъ: пойихалы на село до одного пана. Та йесть тутъ одна гувернантка—то вона ввзавтра гратыме на фортеп'янь, а ты гратымешъ у-купи зъ нею на скрипку. Воно й буде такъ, неначе оркестръ... Ты будешъ граты, а пидъ твою музыку танцюватыме все панство!... И се я зробыла, я!—зновъ радисно хвалылась Лаговська, сподиваючыся, що й сынъ звеселиться зъ такою честы.

Лаговченко ажъ похоловъ зъ такого брутального раболіпства мамыного.

— Ну, спасыби вамъ, мамуню, що мене запысалы до судишынои челяди!... Мало вамъ самымъ пидлызуватись, треба було ще й мене въ лакеи пошыты!—нервово буркнувъ вінъ и подывввся на матирь мовъ на щось дуже брыдке. Вінъ и справди почувавъ теперъ до неи такую вельку огыду, наче бъ то була якась склызка, мокра жаба, що до неи брыдко руки доторкнулися. Ніякихъ родацькихъ симпатій пидъ ту часыну не було въ його: передь нимъ, бачылось йому, стояла не його ридна маты, а якась чужа жинка, несимпатычна геть въ усьому, зъ усихъ бокивъ, зъ кожного свого жесту. Андрій хтивъ бузь вылаятись, тале жъ якъ стій запыкнувся. Черезъ ядуху йому въ грудяхъ духъ сперло, очи наллялися кров'ю. Парубокъ швыдко покынувъ маму, побигъ до своєї кимнаты, зачынывся й, сившы коло столу, гирко заплакавъ зъ образы.

— Мерзенна дыкарка!—зашепотивъ вінъ, згадуючы про матирь, —вона навіть не розуміе, яку кривду мени заподіяла... Господы, Господы! що за незвычайный сервилізмъ!... Що за монструозне лакейство!... И вона—моя маты!... А Лоначевська? адже вона соби справди подумала, що перекупчынь сынъ покирно цилуе їй ногу, умыльно просыть выбачення й радисно прылыне на їи баль статы за тапера!...

— Бо я такы прылыну! Я прыйду такы на твій баль!—несподиванно надумався вінъ и вдарывъ кулакомъ по столи.—Тилькы побачымъ, чы дуже зрадіешъ ты зъ мого прыходу!... Эге, побачымо!...

Андрій заходився люто миркувати, щò саме вінъ понаговорює ввাত্রа судіиси, абы заспокоиты свою душу гараздъ. Намысливши де-кількы красывыхъ, ефектнхъ сценъ та де-кількы патетичнхъ, вельчнхъ промовъ, вінъ побачывъ, що вінъ уже й теперь заспокоюється, зъ самои думкы,—та й одъ серця одягло. На душу прыйшла йому така полекша, буцимъ уси ти подумани на ввাত্রа промовы вінъ уже заразъ повисловлявъ, буцимъ уси ти надумани на ввাত্রа сцены вінъ уже заразъ поодбувавъ.

— Вже dixi et animam levavi!... Ни, не такъ: tecum locutus sum et animam levavi!—иронично сказавъ Андрій, та й тыхенько зареготався зъ себе, безъ усякои злосты.—Плюнуты справди на все дило й не ходыты ввাত্রа лаятысь? Такы й плюну. Чортъ зъ имы всима! Хай соби тамъ тая Лоначевська що хоче думае, хай соби воны обдыви, и мама и Лоначевська, заразъ выкажутся!...— про мене!... про мене!...

— Гмъ! отака моя непостійнисть—се жъ ознака гистерычної вдачи?... Начхаты! що мени до того! гистерычнисть — ну, такъ и гистерычнисть!... А може жъ треба себе прысылуваты та такы питы ввাত্রа вылаяты Лоначевську? Ни, не хочу: адже теперь мени вже не гирко, вже байдуже... Дакъ, може, се треба зробыты не зъ досады, а просто зъ принципу?... Атъ, не хочу й думаты багацько про всю справу!...

Вінъ закунявъ и вклався спочыть. Маты боялася збудыты його.

## IX.

— Бомъ-бомъ-бомъ!—трычи загувъ церковный дзвинъ, такъ пидъ десяту годину ввечери.

Андрій прокынувся.

Трьох-разовый гукъ залунавъ знову.

— Пожежа!—майнуло хлопцеви въ голови. Вінъ выйшовъ на подвир'я. Вельке полум'я сыяло на неби. Раз-у-разъ по-трычи дзвоннылы въ церкви на кгвалтъ.

— Пиду на пожаръ,—поклавъ Андрій и побигъ до городськои каланчи роспытатыся, де саме горыть.

Та якъ же вінъ здывувався, колы розибравъ, що пожарни вартивныкы спокійнисинько похожають по каланчевому подвир'ю, а пожарни бочки зъ кышкамы стоятъ незапрягани!

— Чомъ вы не йидете гасыты?!—крыкнувъ Андрій по-украинськы.

— Та то на хутори,—байдужно одказавъ одинъ з-помижъ пожарныхъ.

— Дакъ що жъ, що на хутори?

— А на хуторахъ гасыты—не наше дило!—похмуро одмовывъ пожарный...—Та чого ты вв'язався? Що ты тутечкы за распорядчыкъ?

— Мерзавцы!—гримнувъ по-російськы молодыкъ, не пам'ятаючи, звидкы въ його енергія й мова береться. Зновъ же, московською мовою винъ крыкнувъ навмысне, бо вже бачывъ, що на його „мужычу“ мову пожарни не вважатымуть и на пожежу не пойидуть. Винъ дали гризно гукавъ по-російськы:

— Та якъ вы сміете такечкы видповидаты, душогубы?! Васъ до Сыбиру запроторыты буде мало! Заразъ мени запрягайте кони та йидьте! Я губернаторови въ Кывъ на васъ скаржытымусь!—крыкнувъ винъ на-останци, стукаючи ковинькою.

Несподиванка, урядова мова, энергичный, наказующый тонъ та слово „губернаторъ“—вплынули такы на полицейськыхъ. Вони почалы чухатысь. Двое зъ ныхъ пишлы запрягаты кони.

Тилькы жъ надійшовъ тутъ полицейськый надзыратель. Лаговськый бувъ такъ само палко кынувся до його, домагаучысь, щобъ пожарня швыдче ййхала туды, де горыть. Надзыратель, замисть видповиди, побывъ щокы одному й другому вартовому, що булы поспишылыся слухаты Андріевыхъ наказивъ, и заборонывъ свой команди навить рухатыся.

— Мы не обов'язани гасыты чужи пожары,—холодно пояснывъ винъ Лаговському.

— Про се знатыме губернаторъ!—погрозывся той.

— Будьте ласкави, молодой чоловиче, не вчитъ мене, щбъ я маю робыты,—проказавъ йому надзыратель,—въ насъ йе дуже точный законъ про „городську черту“.

Андрій лютуючы попростувавъ звидты на свитло одъ полум'я й незабаромъ добигъ до хутора, що горивъ. Винъ спынывся въ тини.

— Що до эстетычного погляду, дакъ чудова картына!—иронично та ще й доволи голосно мырывъ винъ до себе, обдывлячысь навкругы.—Справди бо, эффектъ надзвычайный!... контрасты

мижъ сценамы тутъ чудови!... Якъ зъ сього боку, то он-де зъ неба ясно сѣе золотый мисяць, одынъ зъ немынучыхъ атрибутивъ уславленои „украинської ночи“. Отъ вамъ и „необъятный небесный сводъ“, що „раздался, раздвинулся еще необъятнѣе“. Дивиться: „Горить и дышетъ онъ. Земля вся въ серебряномъ свѣтѣ. И чудный воздухъ и прохладно-душенъ, и полонъ нѣги, и движеть океанъ благоуханій. Божественная ночь! Очаровательная ночь!“... А он-де зъ другого боку ще чудовійша картина!...

Винъ затрусывся. Голова йому болила такъ, мовъ хтось стыскавъ їи клищыма. „Чудовійша картина“ була ось яка:

Дымъ клубочыться. Полум'я стугонять. Тутъ-онъ горить хата, а тамъ близьенько горять стигъ а тамъ зновъ—горять клуни, куды недавнечко позвозылы збижжя. Скількись темныхъ постатей раз-у-разъ кыдаються въ хату, въ огонь, та выхоплюють де-яки манаткы. Двое чоловікивъ дерев'яными видрамы вытягають воду зъ копанкы, несуть до пожежи, дорогою розхплюпують одну половину, а другу выльвають у-въ огонь, куды попадеться. На що вони се роблять—не знаты, бо однаково зъ такого ратунку нема чого сподиватыся пуття. Якась дивка, мовъ несамовыта, качається недалечко звидсы по трави, корчыться зъ перелогивъ, хапається руками за ноги та за жывить и одчайно скавчыть, неначе собака, ошпарена окропомъ. Иноди зъ їи звиря чого вереску можна росчуты глухой крыкъ: „Спалылы!... пидпалылы!... Ой, ратуйте“!... Прыдывывшысь до дивкы, Лаговський помичае, що очи въ неи заплющени, а на губахъ пина... Коло клуни, де найбільшъ палае, стоитъ стара жинка. Мовчки, безъ слизъ, зъ невымовнымъ, нимымъ одчаемъ, вона втупыла очи въ огонь, де горять їи всеньке багацтво. Вона голосу не подае, тилькы мовчки пидводыть у-гору свои руки, стулывшы ихъ; потимъ, а ни слова не вымовляючы, дуже-дуже поволи простягае руки до клуни, вже ихъ розтулывшы, неначе слипечь хоче когось схопыты та обійняты; а дали, зновъ такы дуже поволи и мовчки, схыляе руки внызъ, наче не мучыться, а гимнастыку робыть. Тилькы зъ облыччя можна вгадаты, якъ сыльне вона страждае.

Народу тутъ дуже обмаль. Того глухого, невыразного, але дуже голосного людського гомону, який звычайно бува на пожежахъ, тутечкы немае. Ридко колы зарепетуе хтось изъ тыхъ людей, що сылкуються де-що вратуваты, та й можна розибраты кожне слово. Голосно й гучно стугонять саме-но полум'я, та трис-

котыть солома, та якись били птахы пронызувато ськыглять, крутячысь по-надъ пожежею, та посмаленый виль жалисно реве, а бильшь усього ота несамовыта дивка переризуе повитря своиы страшенно дыкымы выкрыкамы та цапынымъ верещаннямъ.

Андріеви меркнуло въ очу. Винъ боявся, що дали-дали впаде. Щобъ чымъ-небудь пособыты, винъ, ище разъ обвившы очыма пожарыще, прожогомъ кынувся до палаючої хаты, де найбильше поралось людей.

— Покривлю!... покривлю щобъ роскыдаты!—-гукалы тутъ.—  
Стеля ще цила... Якъ роскыдаты покривлю, то въ середины не займеться...

Андрій однимъ зъ першыхъ полизъ по драбыни на обгорилый дахъ, безбоязко ступнувъ на горище и, схопывши якусь ломаку, заходывся збываты снопы, ушыти на даху. За нымъ полизло ще двое людей и тожъ само роскыдали стриху. Андрій порався дуже энергично, але зовсимъ несвидомо й машынально; винъ навить забувъ, на вищо винъ стоить на даху й обывае солому. Руки самы собою працювалы и одностайне молотылы ломакою дахъ, очи заплещувалысь...

Бухъ! Шурхъ!... По-пидъ Андріемъ завалылася перетлилая стеля, и винъ гучно гепнувся въ середину хаты на доливку. Люде, що стоялы на двори, ойкнулы. Парубокъ упавъ ребромъ на ригъ стола, страшно забывся, а ще зверху налетила й навалылася на його якась розжарена дошка. Вона роздряпала йому плече и густо спекла всю лывыцю. На скилькысь секундъ Андрій поколивъ, задубивъ и не рухався.

Та черезъ сыльный биль винъ швидко прочнувся, вызволився з-попидъ дошки й выбигъ синешнымы дверыма на подвир'я. Тутъ йому далы ведро зъ водою, винъ одмывъ облыччя й руки одъ сажи й крови та й обдывывся. Показалось, що серьезныхъ ранъ нема ніякыхъ. Тилькы жъ, якъ стій, його напала така страшенна втома та ослаблення, що винъ не мигъ уже бильше пособылаты. Ледве-ледве винъ добривъ назадъ до-дому и заразъ заснувъ. Якъ бы що винъ мавъ часъ роздывытысь по кимнати, то бувъ бы побачывъ на столи кытыцю польовыхъ квитокъ. Се ихъ прынесла Текля зъ поля и поставыла въ глечыкови коло панычевой постели.

## Х.

Маты дуже турбувалася—щó таке продіється зъ іи сыномъ? Другого дня вранци вона була дуже прывитна проты його, чымсь намастыла йому попечену руку, де й погрызеный палець дуже розразывся, и заглядала въ вичи такъ, якъ песь хазяинови.

А сынъ думу думавъ. Винъ усе згадувавъ про вчорашню пожежу та про спаленыхъ. Бажалося чымсь допомогты имъ.

— Мамо,—забалакавъ винъ,—знаете, що я вамъ скажу? У васъ певне йесть яки-небудь зайви грошенята. Чы не позычылы бъ вы ихъ отымъ, що погорили вчора?

— Що правда, трохы грошей я прызбирала такы—карбованчивъ изъ сто буде. Тилькы жъ вони не въ мене: я вже ихъ распозычала на проценты...

— На проценты?!... гмъ... Кому жъ?

— Ганни... Отій, що була колысь у тебе за няньку... Та ты іи пам'ятаешъ: вона въ насъ п'ять годъ жыла... Ты жъ ище дуже любывъ іи.

— Пам'ятаю іи добре. И за велькы проценты?

— Два карбованци на мисяць.

Андрій ажъ вжахнувся.

— Якъ же вы не боитесь сього робыты?!—обурывшысь спытавъ винъ и заразомъ почувавъ, що якись дуже видоми йому клищи цупко здавылы його серце.—„Моя маты—лыхварка!—гирко подумавъ винъ:—та ще лупыть шкуру зъ тией самой нянькы, що колысь мене выпестыла!“—А Лаговська навить не зрозумила, чо-го саме сынъ жахається.

— Чого жъ бы я мала боятыся?—не домысляючысь одмовыла вона.—Ти гроши не пропадутъ! адже Ганна дала заставу.—Такъ утышала вона Андрія.

— Заставу?—и Андрій широко раскрывъ очи.

— А вже жъ, заставу... дукачи свои. Та отъ я заразы прынесу.

Вона швыдко побигла до шахвы и вытягла разоку намыста: цисарськихъ золотыхъ червинчивъ.

— Якъ на Риздво та на Велькдень, то я ихъ оддаю Ганни на скилькысь днивъ. Бо, каже, соромно буде передъ людьмы, якъ не



буде на шыи червинцивъ: треба, щобъ люде не знали, що червинци въ застави... Писля святокъ вона ихъ мени зновъ верта.

— Мамо, мамо!—докирливо й гирко сказавъ Андрій, — якъ вамъ не соромъ бувъ питы на таке дило! Двадцять чотыри проценты на рикъ! Що за кровопыйство!?

Стара Лаговська зновъ не зрозумила сына. Звисно, їй було прыкро, що винъ чогось на неи сердыться, тилькы жъ вона ніякъ у свити не могла докладно второпаты, чого саме винъ сердыться.

— Та яжъ ии не сылувала pozyчаты въ мене гроши. Вона сама прыйшла, и дуже прохала, и руку цилувала... Бо жыдови вона не два, а чотыри карбованци на мисяць була бъ платыла!

— И давно вона вамъ вынна?

— Тры годы... Передше вона pozyчыла була тилькы п'ятдесятъ карбованцивъ, а потимъ, якъ я ще прызбирала грошей, то pozyчыла й други п'ятдесятъ карбованцивъ. Проценты вона платыть точно, двичи на рикъ. Пам'ятаешъ, я колысь була послала тоби дванадцять карбованцивъ? дакъ то вона ихъ прынесла.

— Погано, мамо, погано!—скилькысь разивъ проказавъ Андрій; а його вже душыла астма. Бильше ничего не говорячы, винъ подався до своеи свитлычкы. А маты, вже якъ зосталась сама, то тилькы плечыма здыгала та ничего не розумила.

— Я зовсимъ слабый,—сказавъ соби Андрій, якъ побачывъ, що на самоти йому заразь потеклы сльозы.—Що за протывни сльозы! чы се нормальна ричъ—такъ часто плакаты?!... А втимъ що мени до того! Плачеться—дакъ и плакатыму!

И винъ давъ волю сльозамъ: винъ не то не спынявъ ихъ, ба навить самъ сылувався выкыкаты ихъ, навмысне рыдаючы. Винъ зовсимъ выразно почувавъ, що вкупи зъ слизьмы вылывається й горе.

— Бидна нянька!—рыдавъ винъ,—чы сподивалася ты, що мы колысь тебе грабуватимемъ?... наче жыдюгы!... А вы, Андрію Ивановичу, чы сподивалысь вы колы, що зъ васъ буде глытай? Дванадцять карбованця, що мама мени прыслала, то лыхва.... Эхъ вы, прыатель люду, що жывете самы зъ його поту й кривавыци! Эхъ вы, глытаенко!...

Андріеви стало смишно. Винъ зареготовавъ. Часомъ замисть реготу чулысь рыдання, та заразь вони зновъ обминувалыся на

реготь. Парубокъ бувъ спробувавъ ущухнуты, та не змигъ: ротъ и горло самы собою реготалыся.

— Очеvyдѣчки, се гистерыка, — змиркувавъ винъ, и ледве встыгъ винъ сее подуматы та переставъ сылуватися спыняты свій реготь, то мыттю самъ собою переставъ реготатыся.

Винъ пидійшовъ до дзеркала. Очи булы червони, мовъ у королика. Лице спухло и выглядало безъ усякои красы. Хлопець довго вдвлявся въ себе, особливо въ очи, чы не выдко въ ныхъ якоись ненормальности.

— Що я заразъ дуже невродливый—дакъ се такъ, тилькы жъ божевилля я въ своихъ очахъ не добачаю ніякисинького.

Се подумавшы, винъ зовсимъ заспокоився. Потимъ винъ нашукавъ свій портмонетъ и подывывся, що въ нимъ йе. Усихъ грошей лежало тамъ трыдцять одынъ карбованецъ и двадцять копійокъ.

— П'ять карбованцивъ и двадцять копійокъ я лышу для себе на дорогу до Кыива,—сказавъ соби винъ,—а двадцять шистъ карбованцивъ однесу погорилимъ..... Такъ отакъ-то! Хтивъ бувъ я спочыты въ Кыиви одынъ мисяць безъ роботы, безъ ученыкивъ, та бачу—не доведеться. (Винъ думавъ спокійно, геть безъ пафосу).—Ну, та се й не беда... байдуже!... А отси гроши оддамъ тымъ погорильцямъ.

Загорнувшы двадцять шистъ карбованцивъ у шматокъ паперу, а портмонетъ поклавшы въ кышеню, Андрій сивъ, спынявся—винъ захтивъ з'анализуваты себе.

— Якъ назваты мій вчынокъ?... Здається, я маю моральне право назваты його „гарнымъ“ и „добрымъ“. Мабуть, у мене добре сердце... А може се й не добристь, тилькы просто пароксизмъ гистерычности?... Добристь, чы гистерычність?... Га?....

Винъ беззвучно засміявся. Въ голови трохы крутылося, бо винъ мало спавъ сіей ночи. Рука болила.

## XI.

Выждавшы, щобъ звечорило, Лаговський пишовъ на вчорашній хутирь. Хуторяне зустрили його дуже сумно, але прыхильно. Вони одразу впизнали, що се—той самый панычъ, який вчора

впавъ и навить трохи попикся, ратуючы ихъ добро. Думка була въ Лаговського—оддаты гроши та й заразисинько швидче одійты, щобъ не чуты вдячныхъ сливъ. Але, оддавшы гроши, винъ побачывъ, що не втече такъ хутко: його не пустылы. Винъ довгенько просыдивъ коло хutorянъ, сердечно розмовляючы зъ ными та слухаючы ихни оповидання. Мижъ иншымъ винъ забалакавъ про те, якъ ото пожарня одмовылась учора йихаты на пожаръ та який поганецъ зъ полицейського надзырателя. Скоро винъ згадавъ про полицію, вси одразу стрепенулысь, почалы зитхаты, а стара маты, що вчора оддавалася нимому одчаеви, теперъ голосно зарыдала:

— Бодай тій полиції добра не було!—прокляла вона.—Ой, до-о-о-чко жъ моя!... Ой, голу-у-у-бонько жъ моя сызкрыла!... О-о-о-й!...

Тутъ Андрій почувъ одъ неи исторію, а саме:

Одынъ полицейський дуже пидсыпався до ихньої старшої дочки. А дочка тая недавнечко овдовила и була ще молодыця хочъ куды. На пидходы полицейського вона дывылася дуже згорда, ба навить высмивала його де-кількы разивъ пры всій кумпаніи. И ото вже два мисяци тому буде, прычепывся винъ до молодыци, нибы вона вкрала чужу сапу, та й потягъ до холодной.

— Кажуть ти, котри знають сю справу—винъ бувъ дуже п'яный того дня,—хлыпаючы оповидала бабка.—Якъ заперъ винъ ии до холодной, то й самъ зачынывся зъ нею та й зробывъ зъ нею нещасною все, що хотивъ... А дали, щобъ товариши не выказалы, то поклыкавъ ще й ихъ. Ихъ було ажъ п'ятеро... Вони вси по черзи, одынъ по однімъ, спалы зъ нею... Потимъ зачынылы ии въ холодной й покынулы на ничъ саму. А мы шукаемъ, а мы шукаемъ, де дочка. Вранци напыталы, де вона, прыбиглы до обахты, ждемо, щобъ ии выпустылы.... А дочка моя зъ такого безчестя...

— Ну, що?—замеръ Андрій. Йому волосся дубомъ стало.

— Повисылась!—не своимъ голосомъ, зъ усіи моци крыкнула стара, сплеснула рукамы та й заплакала въ увесь голосъ. А внука ии—ота, що вчора була качалася по землі,—якъ стій заревла такимъ скрыпучымъ голосомъ, неначе хтось сокырою або рубанкомъ застругавъ по зализи. Ротъ ий страшенно перекрывывся, набигла пина. Скоро Андрій pozyрнувъ на неи, йому тожъ само перекрывывся ротъ, на губы набигла пина, передъ очыма проне-слася чорна хмара. Винъ скрыкнувъ ще страшнійшъ одъ дивкы,

потимъ несвидомо кинувся до старои бабки, конвульсивно обійнявъ обома руками и плече и въ takimъ-о становыщи почавъ уже тыхесенько рыдаты.

— Що зъ вами, паныченьку?! що зъ вами?!—потышала його,— не плачте, дорогой паночку!...

— Вже я бородань, а реву,—подумкы засоромывся студентъ и хотивъ перестаты...—Ой, бидна жъ молодыця!—голосно згадавъ винъ зновъ та й заплакавъ. Потимъ спынывся, почавъ роспытуваты хуторянъ, щб и якъ.

— Колы я божевильный, то прынаймни маю потыху, шо я не самъ-но на свити божевильный: насъ багато такыхъ,—несподиванно погадавъ Андрій, саме розмовляючы дали зъ хуторянами про ихни страждання.—Отже й прости люде, неинтелигентни, люде блызьки до прыроды, а дывы—таки сами нервови, якъ и я.

Спустылася ничъ. Мисяць ще не бувъ сходывъ, якъ студентъ попрощався зъ бидакамы й выбрався до-дому. На одходи винъ почувъ одъ дида:

— Мы, може, ще й одробымо вамъ ваши гроши, або, якъ пидможемось гришмы, то колысь оддамо вамъ вашу позычку. А теперь, покы шо, нехай вамъ Богъ заплатыть, шо не дали намъ питы въ неволю до якогось жыда, шо тымы своїмы катаржнымы процентамы бувъ бы злупывъ шкуру.

Учувшы слово — „проценты“, Лаговський болизно скрывывся, бо згадавъ ранишню сцену зъ матир'ю. И цилу дорогу винъ усе гирко миркувавъ про се саме. Передъ самымъ мистомъ, коло лисной, винъ надыбавъ цилу юрму ничлижанъ-прочанъ, шо розложылись коло Громополя на спочывокъ. Мовъ блыскавка, Андрія несподиванно осыяла дывна гадка.

— Куды идете? — спытавъ винъ.

— У Кыивъ.

— Все пишкы?

— Ато-жъ.

— Взялы бъ мене зъ собою?

Де-яки зъ ничлижанъ заходылысь радытыся. Студентъ заспокойвъ ихъ тымъ, шо сказавъ, буцимъ винъ колысь лежавъ у недузи та й обрикся питы пишкы на прощу до Лавры, якъ шо оду-

жае. Прочане повірылы та й згодылыся прыняты його до товариства.

Тоди Андрій заразисинько попрямував до теи хаты, де знавъ, що тамъ сыдыть його колышня нянька. Черезъ злюче собаче гавкання пидвився якийсь хлопчакъ—мабуть Ганнынъ унукъ,—и выйшовъ на шляхъ. Андрій всунувъ йому въ руку свои останни п'ять карбованця.

— Оддай Ганни,—лаконично сказавъ винъ, обернувь и прудко пишовъ геть, до-дому. Йдучы винъ миркувавъ:

— Въ мене ще йе семыгрывенькъ... Лыбонъ же винъ мени выстарчыть, щобъ пишкы дійты до Кыива. А тымы п'ятьма карбованцямы Ганна могтыме заплатыты мами лыхву... Тилькы жъ цикавый бы я бувъ знаты отъ що—якъ тра характеризуваты мій вчынокъ? чы се добристь, чы гистерычність?

Вдома все було тыхо й темно. Парубокъ улизь у свою хату кризь викно, засвтитывъ лампу, сивъ до столу и напысавъ:

„Прощавайте, мамо, мы николы вже не побачымося. Жывить соби щаслыво. Чемодана мого й скрипку одишлиты у Кыивъ на адресъ мого товариша (Дали йшовъ адресъ). Вашъ Андрій.“

Напысавшы Андрій лыста, задумався и сыдивъ-сыдивъ...— Невже жъ такы у мене нема ничого спильного зъ ненькою?!— перевирывъ винъ себе.—Ни, такы нема. Я й не люблю ии. Мени на неи жалко тилькы, а любовы немає... Немае!... Прощавайте, значця, мамо, на-вики!

Потимъ Андрій узявъ свое пальто и пишовъ ночуваты до прочанъ, бо вдосвита треба було вже йты.

Ой, плакатыме жъ узавтра маты, якъ прочытають ий сынивъ лысть! Ще жъ плакатыме й Текля.

\* \*  
\*

-- А що жъ дали буде зъ Андріемъ?—спытае чытачъ.

— Йй-Богу, не знаю, дорогой чытачу мій! Бо, бачте, я не брехню спысавъ вамъ, а шыру правду. Зъ Андрія—людына гистерычна: кожнысинькой хвылыны зугарень винъ утнуты такую штуку, що ниhto й не вгадае чогось такого. Теперь у насъ 1894-й рикъ, а що буде, прымиромъ, 1895-го року, знае самъ Богъ. Я жъ

думаю, що така людина, якъ Андрій, однаковисинько може або колысь повисытыся, або увируваты въ Бога та й питы въ черци, або зробытыся ученымъ-аскетомъ, впирнуты въ науку и, далеко-далеко одъ свиту й одъ жыття, потонуты въ своихъ кныжкахъ, мовъ у могили. Все може буты!...

1894





### *Олекса Мартовичъ.*

Мартовичъ Олекса народився 12 лютого р. 1871 въ сели Торговици, Городенського повіту, въ Галыччини; вчився въ Коломиї й Дрогобычи въ гимназїи та въ черновецькимъ и львівськимъ университетяхъ; теперъ адвокатуе въ Городку, близько Львова. На поле українського письменства Мартовичъ выступивъ р. 1889, колы въ Чернівцяхъ надруковано його оповидання — „Не-читальныкъ“; р. 1891 въ часописи „Народъ“ появилось оповидання „Лумера“, р. 1892 въ

„Хлибороби“—сатыра „Иванъ Рыло“, р. 1898 въ „Л.-Н. Вистныку“—„Мужыцька смерть“ (російський перекладъ надруковано въ місячнику „Жизнь“ р. 1899); р. 1900 у Львови вийшла частына оповиданъ сього письменника окремо пидъ заголовкомъ „Не-читальныкъ.“ Р. 1897 Мартовичъ выдававъ часопись „Громадський Голосъ“ у Львови.



## Мужыцька смерть.

Иого называли Банатомъ, властыве жъ им'я його було Грыць. Банатомъ прозывали його тому, що винъ служивъ у війську на Угорщени въ Банати и не разъ росповидавъ про той свій побуть въ Банати.

Винъ бувъ жонатый у-друге зъ Калыною, теперъ Грыцьха, що мала въ одній нози „роматызь“ и безъ пальць не могла ходыты.

Мавъ на́вычку шо недили впытыся.

Якъ упывався, то забувавъ зовсимъ, шо жонатый: все мавъ себе за вдивця та й згадувавъ першу небижку. Се тому,—такъ говорылы сусиды,—шо зъ першою добре жывъ, а зъ другою оженывся тилькы для того, шо господареви ніякъ безъ жинкы.

Шо недили торкотивъ Грыць. Выходывъ передъ хату на запущене подвир'я, поросле бур'яномъ, стававъ соби коло „калани“, шо зъ неи куры воду пють, та й торкотивъ.

— Де плитъ видъ вульци?—пытався самъ себе.—У кожного йе плитъ, а въ мене нема? А я жъ гиршый газда\*) видъ васъ? Мо-ой, багачи!.. Нема плота, лышь поплотына! А давнійше бувъ плитъ. Ще за небижкы жинкы... Вона мени йисты варыла, якъ я його городывъ. Моя газдыня! Бувало—горожу плитъ, або передъ хатою шось роблю,—може ни?!—винъ говорывъ се слово зъ прытскомъ, наче бъ зъ кымъ перечывся,—а вона, бувало, небижка стане на порози та:—Грыцю,—каже,—ходы полуднуваты.—Я лышаю роботу,—може ни?!—ухожу до хаты. А ну! стоить стиль, застеленыи билою скатертю,—може ни?! Святочна скатерть! А ну! стоить склянка на столи—изъ горилкою. Дае мыску яешныци, дае мыску барабуль у ющци, дае молoшну кашу, дае запашну кулешу зъ сыромъ. Якъ сонце. Йижъ, пыи и веселься!

Та не лышь до плота чиплявся Грыць: винъ накладавъ соби такожъ зъ курмы та зъ воронамы. Навить нашому невынному псови, зъ лагиднымы и слъозавымы очыма, оброслому довгою козачою вовною, не дававъ Грыць спокойно перебигты.

Тажо жъ и зъ прохожымы людмы заходывъ Грыць у бесиду.

Попередъ його хату переходывъ шо недили молодой парубокъ Петро, идучы до чытальни. Винъ бувъ секретаремъ чытальни, тай Грыць його за те ненавидывъ.

— А куды идешъ, Петре?

— А куды жъ бы?—видповидавъ Петро.—Иду на танецъ. Давъ Богъ недилю, то въ свято хоче молодежи погратыся.

Грыць знавъ, шо Петро його дурыть.

— Ой такъ. Таже й я бувъ молодой. Може ни?! Але давнійше не такъ ишлы играшкы, якъ теперь. Тоди булы парубкы, а теперь шо? Саме дранты!

---

\*) Газда—господарь, хазяинъ; газдыня—господыня.



— А хйба жъ тоди булы инакши люде?—перебывъ сердыто Петро.

— Но-но-но-но,—заспокоювавъ Грыць,—не за тебе байка, а за другыхъ.

— А други жъ яки?!

— Но-но-но! Ты не знаешъ, що кожный цыганъ свои диты хвалыть? Може ни? Я лышь такъ соби. Ты, Петре, якъ якыйсь казавъ, беры на розумъ. То не те, що гирши парубкы, але гирши часы насталы. Може ни?!

Теперь зверталося змаганя на зли часы.

— Та якъ то гирши часы?—пытався Петро,—що за гирши?!

— Такъ, що гирши!—впевнявъ Грыць.—Давнйше парубкамъ було лышь до играшокъ, а теперь шо? бида!..

— А хйба жъ тоди парубкы булы панамы, чы якъ?

— Но-но-но,—доказувавъ Грыць.—Таже то не туды. Давнйшь, бувало, якъ челядь збереться коло коршмы, то провадыть играшкы цилый день. А днына давнйшь не те, що теперь. Верем'я на двори таке, що ажъ сердце радуеться. Може ни?! Та й днына довша.

— А теперь якъ?—запытався Петро.—Таже, адить \*), верем'я; а въ литку—то днына вдвое довша, якъ у зимку.

— Э, говоры! Верем'я верем'ю не ривне, то й днына дныни! А давнйшь, абы ты знавъ, то такы доба була довша. Може ни?! Бувало въ недилу якъ заведемъ танецъ коло коршмы, то потупцюешъ, небоже, до схочу, закымъ сонце зайде. Або якъ у Банати, бувало, выйдешъ на муштру, мой, якъ распустыть колоны по чыстимъ поли, то якыйсь разъ танистрою \*\*) пидкынешъ...

— Та то, вуйку Грыцю,—перебывъ Петро,—не днына тому вынна, але выдко, що на танци охоты не було та й танистра була за-тяжка, що вамъ такъ навтямылося до заходу сонця.

— Що ты мени перечышь! Вже я тоби кажу самисиньку правду, що давнйшь цила доба була довша—и ничъ и днына, а теперь настае чымъ разъ коротша!

Петро засмйався.

---

\*) Ади—дывы.

\*\*) Танистра—ранецъ.

— Та се, по вашому, ще на таке зйде, що буде годына дныны, а годына ночи. А дали вже й таке настане, що не буде ни дныны, ни ночи, лышь хйба—разъ темно, разъ ясно, разъ темно, разъ ясно: мыгтитыме попередь очы, що люде бытымуться головами одынъ до одного!...

— Эй же бо ты, небоже! То ты берешъ мене старого на глумъ?!

Петро пишовъ, а Грыць нарикавъ на молодижъ и на чытальню.

Грыць бувъ бы въ недилю самъ до хаты никола не зайшовъ. Клыкала його двадцятылитня донька (ще видъ першой жинкы) Васылына. Вона пидходила тыхо босымы ногами ажъ до Грыця, сипала його за рукавъ та й шептала:

— Дьдю \*)! ходитъ вечеряты!

Грыць обертався здывованый, хвылыну надумувався и йшовъ до хаты.

Видъ Васылыны несло на килька крокивъ кругомъ потомъ. Дивчата мыються що суботы лугомъ майже до пояса. Васылына очеvidно не робыла того, бо не мала часу: вона заступала въ хаты газдыню, та й робыла на лану, а мачуси не було въ голви, абы „дивка була змыта“.

— Такой я добрый-добрый, якъ молоко, — говорывъ Грыць, входячы до хаты, але його прыбытый выгядъ не показувавъ зовсимъ молошного настрою.

— Иги на тебе, пйяку!—видповидала йому Грыцыха зъ печи.— Ты зъ глузду зсунувся, що плетешъ,—не выдышь, що образы въ хаты?!

— Но-но-но, жинко, Богъ зъ тобою! Чоловикъ, якъ якыйсь казавъ, коче зажыты свита: на те Богъ давъ недилю. Цылый тыждень працюемо, якъ той казавъ, въ поти чола, а...

— Эй, робитныку мй!—ажъ заспывала Грыцыха.—Йды, йды, старцуне, ще колысь горилка въ тоби займеться. Та й то ни встыду, ни сорому не мае: вже, дидовидъ, одною ногою въ ями, а ще якъ залле соби пельку, то мало що хыбуе, абы по сти-нахъ не дерся!

---

\*) Дьдя—тато, батько.

Грыць замуркотивъ шось пидъ носомъ, а потимъ вхопився обома чорнымы, костыстымы рукамы за голову, сивъ за стилъ, та й:—Убыла мене,—каже,—якъ кагла!...—Видъ заправленои чортъ-зна чымъ горилкы болила його голова.

Васылына подала йому вечерю та й пишла лагодыты постиль.

## II.

Чы винъ бувъ піякъ?

Варвара, Павлова донька, дивка чорнява, висока й гнучка, напала була разъ середъ поля на Васылыну, бо Васылына десь ии по сели обсужувала.

— Ты обсудо якась!—крычала Варвара.—Росповидай липше по сели за себе та за свого дьядю-піяка, а не за мене, бо я тоби заразь кискы повысмыкаю.

Васылына дывылася звычайно въ землю, тымъ то вси казали, що вона „непевна“. Теперъ вона глыпнула на Варвару своимъ зызымъ окомъ.

— Брешешъ, Варваро! Я тебе не обсужувала, а до мого дьядя тоби зась!

— Брешы сама зъ псами, ты опуде вонючий! Ади, воня видъ тебе, якъ видъ тхора. А твій дьядя такы піякъ, — мали диты знають, що винъ піякъ.

Васылына видійшла. Ишла зовсимъ спокійно такъ, наче бь ничего й не сталося.

Варвара крычала ще ий на вздогинъ:

— Стережысь ты, зелепуго, стережысь мене, якъ вогню, бо якъ ще разъ учую за якусь обсуду, то роздеру тоби хавкы видъ уха до уха; середъ села роздеру!

А сусида Грыцева, стара Семеныха, спійняла була разъ Грыцевого сынка Мыколу въ своимъ саду на яблуньци. Зсадыла його видты та й выпарыла, не жалуючы долони.

Счынывся верескъ. Сусиды зазырала черезъ плоты. Выйшла й Грыцыха та й стала впевняты, що Мыкола взявъ лышь одноднисиньке яблуко зъ земли, а на яблуньку зовсимъ не лазывъ.

Семеныха ажъ руки заломыла з-пересердя:

— Гей, люде добри! Та черезъ се злодійкувате насиння ні-якъ буде стебельця на двори вдержаты: обнесуть, де що йе. Та й то малый злодій укравъ, а стара злодійка покрывае. Та ты, крыва

видьмо, вчышь дитей крадижки! Ты чоловіка звела ни на що! За першою небижкы Грыць бувъ порядный газда, а за тебе винъ и піякъ, и непотрибъ. А то, бигме, краще бъ йому було по-висытыся, ніжъ мавъ зав'язуваты соби свить изъ такою кривою видьмою.

Грыцьха замахнулась пальцею.

— А йды жъ ты, мерзо! Я тебе до суду завдамъ, що ты мене видьмою называешъ. Абы-сьте булы, люде, свидоми. (Пры симъ слови сусиды поховалысь по-за плоты). А я прысягну, що то ты видьма. Я знаю, що ты ходыла гола навкругъ хаты зъ макитрою на голови.

То була робоча днына: чоловікивъ не було дома, лышь жинкы.

Тому Семеныха балакала ще довгенькый часъ зъ Процьхою. Процьха годувала дытынн обвыслымы, зжовкымы грудымы та й прыповидала:

— Добре кажете, Семенышко, то вона звела Грыця ни на що. Який ставъ теперь! Соромъ межы люде показаться: та винъ и въ недилю въ чорній сорочци. Не дбае вона ни за чоловікомъ, ни за Васылыною. Дивци вже двадцятый рикъ, а люде не трапляються. А все черезъ неи.

— Погань, кажу вамъ! Таже я ще затымыла його першу небижку. Жылы, якъ той казавъ, у мырности и въ радости. Мавъ зъ нею двое дитей. Старша, Марія, та померла вже виддана за першою дытыною. А отся молодша, Васылына, та яка стала? Непевне воно таке: и въ очи чоловікови не подывытыся, все въ землю. А всьому вона вынна!

— Грыць забанувавъ за першою небижкою; писля ии смерты та ходывъ цилый тыждень, якъ строеный: ни работа його не бралася, ни йида. Потимъ, що роботы, оженився. Та якъ бы жинка людяна. А то лучылась така помыйныця, що не то роботы зъ неи, але й доброго слова нема. Крыва видьма та й решта!

— А вы жъ гадаете, що винъ чого роспывся? Таже за першою небижкы—де-де-де—господарь на все село. А теперь? Отъ гноба: и сама не здыхае, та й йому не дае жыты. Боже, просты мени! Отъ грихы!

Такожъ пан-отець Антоній мавъ Грыця за піяка. Незабаромъ писля того, якъ Грыць оженився вдруге, пан-отець за-кыкавъ його до себе.

О. Антоній бувъ старый чоловикъ старої школы, завзятый табачныкъ. Винъ належавъ до „твердыхъ Русынивъ“ \*), говорывъ зъ жинкою й дитьмы по-польськы, а на мужыкывъ натыскавъ, абы не говорылы *це, цесе*, але *sie*.

— Учыть насъ сiяты!—говорылы люде.

Грыць увiйшовъ до кимнаты, поцилувавъ пан-отця въ руку и ставъ оглядаты переляканымы очыма портреть Снигурьского, що высивъ надъ бюркомъ: ище не выдивъ такого „страшного святця“.

— Слухай-но ты, Грыцю!—пан-отець кожному тыкавъ,—пытаюся я тебе, чого ты розпiячывся? Чы тоби не встыдъ: таже ты якыйсь газда!

„Газда“ глыпнувъ жалиснымы очыма на Снигурьского.

— Просю Божой ласкы, та й вашой, та де жъ я? Лучылася пару разъ оказiя та—що правда—бувъ я трохы горилчаний, але абы ажъ розпытыся, то... бигме, я не те... не свидимъ \*\*) та й уже.

О. Антоній заживъ табаки та й ставъ Грыця, якъ то кажутъ, псячыты:

— Ты сякий-такый, маешъ мени присягнуты видъ горилкы, розумiешъ?!

— Таже я розумиты розумiю, але присягнуты... то вже ни.

— Якъ? що? чому? Ты не хочешъ присягаты видъ горилкы?!

— Бо то зъ хлиба,—сказавъ Грыць непевнымъ, але переконуючымъ тономъ.

И зъ присягы ничего не було.

— Чекай-чекай ты, лайдаку: прыйде коза до воза!

Та й прыйшла коза.

— Узывъ пипъ на мене пизьму \*\*\*)—говорывъ Грыць до жинкы по якимсь часи, вернувшысь видъ хресту.

— Якъ, за що?

— А чы жъ я знаю!

--- Но, а видкы знаешъ, що взявъ пизьму?

---

\*) „Твердымы“ въ Галыччыни звутся москвофилы.

\*\*) Не свидомый, не знаю.

\*\*\*) Пизьма—покутське слово, значыть: помста, завзяття; взяты пизьму—намирятыся до помсты, завзятыся на когось.

— Якъ видкы? Ади, охрестывъ дытыну Эрстыною!

— А ты жъ що?

— Та я казавъ: хрестить, кажу, Ярына, а винъ охрестывъ Эрстына.

По двоухъ рокахъ охрестывъ зновъ пан-отець хлопця Родіономъ.

— А якъ хлопецъ называется? Казавъ ты—що Мыкола?

— Таже я казаты казавъ, колы жъ бо мае на мене пизьму. Отъ и не нагадаты, якъ назавъ... Редьковою назавъ.

— Йой! а ты жъ що?! Та якъ—абы хлопецъ, звався Редькова?

— Иды, пытайся його! Я йому кажу—Мыкола, а винъ: хрещается, каже, рабъ Божый Редькова—та й решта!

Проте однако Эрнестыну вси звалы Ярыною, а Родіона—Мыколою.

Але Грыць не бувъ такой пиякъ, якъ други. Пиякъ звычайно той, хто пье въ корчми и хто пье завсигды: чы йе товарыство, чы ни; чы йе прычына пыты, чы ни. А Грыць не такъ. Винъ майже никола въ корчми не пывъ. Прыносявъ соби завсигды горилку до-дому. Лышь мавъ ту пияцьку прыкмету, що пывъ самъ, не дбаючи про товарыство.

Грыць „зажывавъ свита“ лышь у недилю. Буденного дня ходывъ у поле, якъ кожый. Та тилькы тоди майже никола не говорывъ.

Сусидъ Иванъ, що мавъ пысьменну жинку, розповидавъ не разъ, що Грыць, каже, выговорыться въ недилю на весь тыждень, та й цилый тыждень описля не потребуе говорыты.

Грыцыха черезъ „роматызъ“ не могла ходыты. Вона вично пряла.

Пряла въ село вовну й повисма, а за те доставала „межы диты“ то муки, то скорому.

Васылына була въ хати газдынею, але й на лану робыла. Двирський экономя, гербовый шляхтычь, що бувъ колысь высокымъ урядныкомъ, обикравъ касу й пишовъ на *utrzymanie rodaków*, уважавъ Васылыну майже за двирську наймычку. Колы треба було робитныка, то винъ прыходывъ до Грыця та й крычавъ зъ вулицы:

— Васылыно, а ты ще дома? Ты не знаешъ, що въ мене робота? Махай на лань!

Васылына заробляла стилькы, що ставало найматы плуга —у Грыця було два помиркы й городъ,—ну, та й Грыцеви на горилку.

### III.

Се діялось по жнывахъ у середу. Було якесть церковне свято; у поле ниhto не йшовъ. Въ громадській канцелярії сьдывъ пысарь Васыль пидъ образами за столомъ, вйть коло викна за столомъ, а Семень, касиръ и прысяжнй, дальшенько на ослони.

Громадська канцелярія була въ Семена. Винъ мешкавъ по однимъ боци, а другый видступывъ на канцелярію.

Вси дывылыся зи спивчуттямъ на пысаря, що ажъ упривавъ, чытаючы якесть пысьмо видъ старосты \*). Та й мавъ чого вприваты.

Повитовый староста, ревный оборонецъ краевой автономіи, напастувався, якъ лышь мигъ, на раду громадську.

Громада, бачыте, завзялася та й выбрала до рады самыхъ протывныкывъ дидыча. Староста прызначывъ други выборы. Громада выбрала тыхъ самыхъ. Староста прызначывъ трети выборы та й прыйхавъ самъ до села на выборы.

Старый вйть перелякався: самъ першыи голосувавъ на новыхъ радныхъ. Переголосувало ще килькохъ, а старости здавалося, що то панська листа, \*\*) та й зробывъ выборчыи маневръ, вынайденый польською шляхтою въ схидній Галычыни. Закинчывъ голосування, хочъ голосуючыхъ було ще килька кипъ.

— Решта не будуть голосуваты, бо то сами лайдакы, — поришывъ староста й пойхавъ.

Колы жъ рада громадська зачала урядуваты, ажъ тоди староста доглупався, якъ винъ самъ себе въ дурни пошывъ. То-то жъ було нарикання!

— Та то сами лайдакы, розбійныкы, злодіи! Не вирь жадному хлопови, якъ псови. Я имъ дамъ, я имъ покажу!

Найгирше вышовъ на тимъ пысарь Васыль. Нова рада громадська видрядыла старого пысаря, котрый бувъ правою рукою

---

\*) Староста въ Галычыни—якъ у насъ справныкъ.

\*\*) Панська листа—кандидаты зъ партіи дидыча.

старосты та й обкрадавъ громадську касу, и выбрала Василя. А Василь въ пысарствѣ ще початковий чоловикъ. Тамошній учитель прывчывъ Василя трохи „краевого языка“, то Василь уже и знавъ, що *caszy zwierzchność gminna* не значыть: най громада ловыть раки, а *polesa sie* не значыть: быты по лыци,—але за те до урядовой стилизаціи не мигъ ніякъ прывыкнуты.

— Слушайте, Василю,—говорывъ учитель,—васъ те збывае, що на кожнимъ пысьми стоить усе на самимъ початку: „Высоке ц. к. \*) министерство зарядыло рескрыптомъ зъ дня такого до числа такого, а высоке ц. к. намисныцтво \*\*) зъ дня такого до числа такого“... а васъ най те ничего не обходыть. Що вамъ тамъ министерство, намисныцтво?—вы чытайте самый кинецъ, тамъ йе те, що треба.

— А того жъ не треба?

— Не треба.

— А на що жъ пышуть?

— Гмъ, гмъ, на що пышуть?—учитель подумавъ хвылыну, на що пышуть.—А на що пышуть надъ і кропку?—тажъ ій безъ кропки не було бъ а, а тильки і.

— Правда!...

Та тильки Василь никола не знавъ, що лышыты, а що чытаты, а тутъ староста тысне.

Тожъ Василь привъ надъ пысьмамы, а прысяжний говорывъ до Семена:

— Ой такъ, такъ—чытаты, то не ципомъ махаты!

— А вы жъ якъ гадалы? Таже то працюеся головою!

До хаты ввійшовъ Грыць, темный та прыгноблений, зъ запалымы очыма. Выдко було, що слабый. За нимъ высокый, сывый жыдъ Борухъ. Його называли—Коропъ, бо бувъ дуже худый. Грыць почавъ говорыты, не прывитавшыся—знакъ, що справа дуже важна.

— Просю васъ, пане вйте, та й вы, пане пысаръ, та й вы, панове радни! Напередъ просю Божой ласкы, а потимъ вашой—дайте мени помичъ, зробить межы намы рядъ. Коропъ наважывся мене зъ свита зигнаты.

Коропъ замахавъ руками.

---

\*) Ц. к.—скорочени слова: цисарсько-короливський.

\*\*) Намисныкъ въ Галычынѣ—якъ у насъ генераль-губернаторъ.



— Я видъ тебе ничего не хочу, ты мени верны мои гроши!

— Видкы жъ я тоби, добрый чоловиче, гроши дамъ? Таже зъ колина не вылуплю. Зажды—я ще зъ села не втикаю. Розстараюсь, то дамъ.

— Чы жъ я тебе въ шыю бью? Не маешъ—не виддавай!

— А чого жъ хочешъ? Бійся Бога, май серце, Борухъ! Чого мене рижешъ безъ ножа?!

— Та чекайте! Говоригъ за рядомъ—якъ зайшло, що йе межы вамы? Видкы жъ я можу знаты?—говорывъ вйть своимъ звычайемъ поволи й выразно, наче бъ проказувавъ молитвы малій дытны.

— То такъ було...—зачавъ Коропъ, але Грыць перебувъ:

— Чекай, най я скажу!

Вйть давъ першенство Грыцеви.

— Ты, Коропе, зажды, най Грыць говорять, а писля ты маешъ свое говорыты.

Коропъ не перечывъ:—Най говорыть Грыць.

— То отакъ було,—зачавъ Грыць.— Я зъ Борухомъ ничего не мавъ, у жадни интересы не заходывъ; за грунтъ, за поле не було межы намы й слова бесиды. Може ни?! Кажы, Борухъ, ось-де пры людяхъ, най чують „панъ начала,“ панъ пысарь та й люде. Кажы—такъ, чы не такъ? була межы намы бесида за грунтъ?

— Грыцю, ты говоры дали. Я свое скажу на кинци, — залоптивъ борзенько Коропъ.

— А я ось-де побожусь сто разъ, не разъ, передъ цилюю громадою, въ церкви побожусь коло престола,—и я побожуся, й жинка моя, й диты мои, що я Борухови за грунтъ а ни словомъ не пыснувъ. Хочъ най винъ прысягае, а хочъ най я прысягаю. Ось де кладить хрестъ, свитить свичкы, най прысягаю. А ни, то прыведить рабына, най Борухъ побожыться. Най винъ побожыться, що була бесида, а я побожусь, що не правда. Най винъ побожыться на свою душу, що була бесида, а я побожусь на свое здоров'я що не правда. Най винъ побожыться на свои диты, а я побожусь на свою маржыну \*). Маю всього одно паця й коровку, а вже бы-мъ заразы на маржыну побожывся... Та й выдьте, пане вйте, и вы, пане пысарь, и вы, панове радни,—вы въ нашимъ сели уряд-

---

\*) Маржына—худоба, говарь: коровы, волы, вивци, кони, то-що.

ныкы, а вже щобъ я зъ сього мисця не поступывся, щобъ мени руки покорчыло, щобъ мени очи билкамы стали на-верха, якъ я зъ Борухомъ за грунтъ хоть пuste слово заговорывъ. Що правда, то не грихъ. Може ни?... А сьогodни рано прыходыть Борухъ та й ни въ дви, ни въ тры каже, що мени грунтъ злицитуе \*), говорыть, що я пидпысався йому на грунтъ: „Ты, каже, пидпысався мени на грунтъ“. Жинка колотыла на прыпичку кулешу, та якъ у Боруха се слово почула, то колотачъ й у рукахъ застыгъ. Ты мени, мой, жинку перелякавъ! Жинка до мене: ты сякий, ты такой, ты затерявъ грунтъ, ты лайдаку, ты пияку, ну — папложыть. Публика на все село!... Жинка въ плачь, диты въ плачь, а я ставъ ни живой, ни вмерлый... Се ошука, Борухъ, ты на ошуку взявся, бо я абы то, що за нигтемъ, то ни!...

Корпъ прыйшовъ до слова.

— Чекай, чекай, Грыцю, ты говорышь ни се, ни те... Отъ послушайте, пане вйте, що було межы нами...

— Ни,—достоювавъ Грыць,—за грунтъ я йому ничего не казавъ.

— Що тобі таке? Я за грунтъ тобі ничего не кажу.

— Отъ крутышь, а выдышь, що крутышь; не круты, Борухъ!

Коропъ ставъ нетерпелывый:

— Що хочешъ видъ мене? Я до тебе ничего не говорю, я соби до вйта. Слушайте, пане вйте! Винъ позычывъ у мене на Знесиння передъ десятима рокамы сто левивъ на проценты, бо казавъ, що мае довгъ сплатыты до банку. Я йому чекавъ-чекавъ за той довгъ, а винъ якъ не видававъ, такъ не видававъ. Я його запизвавъ до суду, а на термини винъ пидпысавъ мени злагоду, що мае мени вернуты до трьохъ рокивъ ратамы \*\*) двисти левивъ. Винъ раты не поповнывъ, а я заинтабулювався на грунтъ. Винъ не платыть дали, а я хочю пустыты грунтъ на лицитацію. А щобъ люде не казалы, що я злый чоловікъ, то я самъ не буду грунтъ лицитуваты. Я продамъ банкови, а банокъ його злицитуе. Я йому прыйшовъ казаты по добру такъ, якъ чоловікови—верны мои гроши. А якъ ни, то я грунтъ продамъ на ли-

---

\*) Лицитуваты — продаваты зъ аукціону.

\*\*) Рата—выплата часткамы.

цитаци. А щобъ люде не казали, що я злий чоловікъ, то я продамъ банкови, най банокъ твій грунтъ лицитуе. А винъ до мене...

— Що до тебе?—крыкнувъ Грыць.—Я до кожного! Хто бь мени зважывся мою дидызну, мою працю порушыты, то, ади, ось-де кажу пры людяхъ, сокырою гачу въ голову та й самъ иду до криминалу гныты, а ты йдешъ сыру землю грызты!

Теперь надійшла Грыцьха. Черезъ „роматызь“ не могла вразъ изъ чоловікомъ иты та й прыпизнылася. До канцелярії не входыла. Стала соби въ синяхъ, сперлася на одвирокъ, куделю встромыла за крайку и почала прясты, перехылывши голову ажъ до канцелярії, щобъ чуты розмову. До неи выйшла Семеныха—воны вже не гнивались—стала соби такожь у синяхъ и слухала розмовы нибы видъ нехотя. Бабське дило не до рады.

Тымъ часомъ Коропъ выинявъ пьсьмо и подавъ Васылеви-пысареву:

— Що то багато говорыты? Ось-де йе злагода, ты ии пидпысавъ у суди. Най панъ пысарь прочытають та най скажуть.

Панъ пысарь почухавъ голову. Винъ бувъ прыготованый, що, оглянувши те пьсьмо мусытyme заявыты: „Я до сього не беруся, треба пана учителя.“ Але ни. Се пьсьмо було знайоме Васылеви. Коропъ уже прыносывъ ту злагоду до Васыля и Васыль видчытувавъ ии разомъ зъ учителемъ. Учитель выяснювавъ Васылеви, шб тамъ стоить. Се не була злагода, се бувъ дозвиль на реальну езекуцію. Васыль теперь старався лышь дошукатыся въ пьсьми того, що йому учитель говорывъ, та не мигъ ніякъ. Винъ чудувався лышь, якъ тилькы учитель въ тимъ пьсьми дочытався.

— Та що, вуйку Грыцю, злагода! Пидпысалы-сьтесе, що заплачте. А не платыте, то судъ йому дозволывъ заинтабуловатыся на грунтъ.

Грыць стысь плечыма.—Я на ніякий грунтъ не пидпысувався.

— Чы пидпысували-сьтесе, чы ни, то право такъ каже, що Коропъ може соби на вашымъ грунти пошукуваты свого довгу.

Грыцьха перехылылася черезъ одвирокъ:

— Якъ то може буты, щобъ право було для Коропа, а щобъ для насъ жадниського права не було?

— Такъ, такъ,—доправывъ Грыць,—право йе кожному однаке.

— Що жъ воно таке за право,—говорила Грыцыха,—та й видколы воно такъ на свити, абы виддаваты грунтъ из-межы дитей у жыдивськи руки? Я дурна баба, але мени здається, що право не може нікому грунтъ видбираты та й жыдови даваты.

— Я такого права не прыймаю,—сказавъ ришучо Грыць.—Якъ мени нема права въ громади, то я йду де-инде: я знаю, куды двери втворяються.

Теперь зачавъ говорыты вйгъ поволи й выразно:

— Та почекайте-бо. Я вамъ жадного права не можу робыты, бо вже судъ изробывъ: судъ старшый надъ мене. А зъ сымъ така справа, вуйку Грыцю. Таже вы затямылы небижчыка Гаврыла. Який бувъ багатырь? Пары йому въ сели не було. А що соби выстроишь? Зализь у банокъ, рать не поповнышь, та не пишло все господарство на бубень? Пишло! А такожъ выкрыкувавъ, що: —а ну, каже, най хто, каже, прыйде, то, каже, зарижу! А прыйхала комисія та й хату й увесь грунтъ виддала панови. Ще й дотеперь сыдыть у ній Кручка. Позычывъ—виддай, а ни, то прыйде комисія та й уже!...

— Таже я не перечу, щобъ гроши виддаты,—почавъ лагідно Грыць,—але теперь не маю. Видкы возьму?

Коропъ прыступывъ икъ Грыцеви.

— Кажы мени правду, видкы ты можешъ потимъ маты? Маешъ що продаты на двисти левивъ, чы маешъ видкы ихъ розстаратысь? Таже то не двисти крейцаривъ, то—сума! Я тоби скажу правду—мене кортыть купыты въ тебе помирокъ пидъ горою. Ты мени видступы помирокъ, а я тоби пидпышу, що межы нами злагода, що я заспокоеный. Одначе той помирокъ стилькы не вартъ, ниhto бъ тоби за нього стилькы не давъ.

Грыцыха закрычала:

— Я не зволяю! Що то за якась ошуканство?! Ты, Коропе, не пидходы мени чоловика: въ мене диты йе. Мы годуемо зъ того помирочка дитей та й себе. А ты, Грыцю, най тебе Богъ боронить! Гей люде! Що сей загадавъ? Що сей загадавъ? Хоче мене зъ дитьмы зъ торбама на старистъ пустыты! Свитку ты мій гиренький!

— То не сылувана ричъ. Я соби свое пошукаю: роблю цесію на банокъ та най вась лицитуе.

Грыцыха впустила веретено та й ухопылася обома рукамы за одвинокъ:

— Якъ то може буты? Пане начальнику! Таже вы вѣтъ у громади, а вы мовчыте? Куды жъ се? Гей, люде добри! Та щобъ я черезъ лайдака зъ дитѣмы зъ хаты забиралася? Таже, адить, мы каликы!

— Вични каликы!—додавъ Грыць.

— Винъ що недили пѣачыть, а я зъ дитѣмы караюся та на старисть пиду по-пидъ чужи плоты?! Наробывъ довгивъ, а мене зъ дитѣмы въ старци пускае! Таже васъ громада вѣтомъ настановыла, абы-сте робылы право межы людѣмы. А вы за биднымы людѣмы, за каликамы, не хочете обстаты?

— А якъ же жъ я обстану?—видповивъ вѣтъ,—заплатю за вашого чоловика, чы якъ?

— Та хто вамъ каже платыты? А якъ? Абы не було прыпору лайдакови, що пускае диты въ жебры? На що ты диты наплодывъ?!

Вѣтъ розсердився:

-- Мовчы, бабо, не теремкоты мени тутъ! Тутъ гминська канцелярія, не коршма! Тутъ урядкуецься!

Грыцьха на таки тверди слова, а ще урядовою бесидою, прытыхла, але журбу свою выльвала дали передъ Семеныхою на пив-шепотомъ:

— А дывитесь, сусидо, наплодывъ ворогъ диты та хйба йды до-дому та шый торбы на нього и на себе. Таже диты не просылыся на свить!...

Та й Семеныха такъ гадала:

— Ой правда, кумо, правда: дытына не просытыся на свить, та не просытыся.

— Знаете, кумко Семенышко,—говорила Грыцьха,—прышовъ сьогонди рано Коропъ... Я сыдила на прыпичку та й колотыла кулешу, бо я немична калика, я стояты негодна, абы пры якій роботы. Мыколка десь выбигъ на вулицю, а дивчыще (такъ называла Васылыну) засувала горшкы въ пичъ. Ярына нызала намысто, а Грыць робывъ щось у хаты, чы зубокъ до грабель тесавъ, чы... Отъ выдыте, бигме, я вже забула, такъ мени бакы забылы. Зъ розуму схожу. А Коропъ, знаете, входыть до хаты: добрый день—добре здоровля! Мени гей щось передчувалось, щось мени гей пидъ сердце пидступыло: що сей, гадаю соби, зранку хоче? А винъ такы до Грыця:—Шо, каже, Грыцю, робыте?—А що жъ бы? —каже Грыць,—далы мои газдыни ввечери пацяты йисты та й забулы цеберъ узаты. Паця влизло въ цебрыкъ та й, ади, выса-

дыло дно до-чыста. Теперъ беры та грайся: уставляй дно, збывай обручи... Отъ, выдыте, нагадала-мъ: Грыць цебрыкъ збывавъ... А вы що скажете?—пытается Грыць Коропа.—А шо жъ бы? Ничого доброго,—каже Коропъ.—А мене зновъ гей-бы хто прыскомъ обсыпавъ.—Прышовъ я,—каже Коропъ,—абы вже бувъ разъ кинецъ изъ намы. Я чекаю тоби, каже, за гроши вже десятый рикъ, а тоби ни въ гадци видавання. Я прышовъ, каже, тоби сказаты, шо пускаю твій грунтъ на бубень. Ты, каже, зъ грунту вступайся, а мени мои гроши мусять буты.—А я, знаете, якъ се слово почула, то такъ, якъ бы мене хто довбнею по голови вгатывъ. Таки, кажу вамъ, кумко Семенышко, пустыла-мъ таки сльозы, якъ горохъ...

Грыцьха заплакала.

#### IV.

Якъ выйшли зъ канцелярѣи, то Грыцьха докоряла ще дорогою чоловикови. Грыць прыостававъ та й слухавъ мовчкы докоривъ, наче той вилъ, шо самъ наставляе шыю въ ярмо.

У Ивана на воротяхъ поставалы Ахтемій й старый Мыхайло. Вони приходылы шо свята и шо недили до Ивана. Мыхайло, самъ непысьменный, державъ у спилци зъ Иваномъ газету. Имъ вычитувала Ивановыха.

— Я бъ ий державъ самъ газету,—говорывъ Иванъ,—але шо жъ? То ще молоде—соромлыве дуже. Якъ бы ии други жинкы взяли на языки за газету, то вона бъ изъ сорому, видай, пидъ землю провалылася.

У сели не мае ни хто нѣякои тайны. А ще така справа, якъ Грыцева, шо його „Коропъ хоче зъ свита зигнаты“, то вона й малій дытны не була невидома. Тымъ то Грыцьха не росповидала всього на-ново.

— Иду, люде, иду торбы шыты!—прывидала.—Затерявъ, запроторывъ усю працю. Адить: ворогъ пускае диты по-пидъ плоты!

Грыць спробувавъ боронитыся:

— Та шо жъ я? Коропъ наважывся на мое жыття!

— Вороже лукавый! Шо брешешъ?—перечыла Грыцьха.—Та тебе заставлявъ Коропъ шо недили пѣчыты? Та тебе Коропъ бывъ у шыю, абы-сь зычывъ у нього гроши?

Справди Коропъ не заставлявъ Грыця ни до чого,—не було що видповідаты, тому Грыць потягся мовчки за жинкою до-до-му. Коропъ вийшовъ зъ канцеляріи и, не зважаючи зовсімъ на люде, говорывъ самъ до себе по-жыдивськы. Михайло насився на нього:

— Коропе! Ты зъ громады жыешъ та й людянь пакости робышь? Таже якъ бы люде на тебе не робылы, то ты бъ не мавъ зъ чого жыты. Ты обснуешъ чоловіка, якъ павукъ, та й высысаешъ изъ нього кровъ, якъ павукъ зъ мухы.

Коропъ ставъ.

— Я впоминаюся за своимъ. Я йому давъ готови гроши на долоню. То моя праця, я ихъ ниде не вкравъ.

— Не вкравъ, але й не заробывъ. Мы, робочи люде, „продукуемо“ гроши, а вы, лехкобыты, ужыткуете.

Михайло мавъ звичку послугуватыся кныжнымы словамы, що ихъ выслухавъ зъ газеты. Винъ такъ прывыкавъ до тыхъ сливъ, наче бъ ихъ уже змалку перейнявъ та й бувъ переконаний, що кожний розуміе ти слова.

Иванъ такожъ вмишався до бесиды. Винъ Коропови выкавъ; взагали никого не ображавъ, але вмивъ чемнымы словамы зайихаты въ сами печинкы.

— Таже вы, Борухъ, уважайте, що въ Грыця диты йе. Вы його не пустыте въ нивецъ, бо йому вже не багато належыться, але його диты... Якъ вы чужымъ дитямъ, такъ Богъ вашимъ. Та чы не шкода дитей? Що вони мають покутуваты за ваши грихы? Таже вашему Михулови вже, видай, двадцятый рикъ, бо вже ослипъ на праве око!...

Вси тры злисно пидсмихнулыся. Жыды звичайно каличать сынивъ, абы ихъ звильныты видъ вйськовой службы.

Коропъ не почувався до гриха:

— Най покутують диты за мои грихы: я ніякого гриха не маю. Впомянатыся за своимъ—то не грихъ.

Винъ видійшовъ, не зважаючи, що Михайло ажъ вогнемъ сыпавъ, такъ резонувавъ:

— Отакъ то люде сходятъ на биду! Та Грыць Богу духа выненъ: позычывъ сотку, вертай дви—такъ, якъ бы йому на обори проценты рослы. Кажуть—маешъ суды, боронься!... Якъ же бидному чоловікови бороньтыся? Разъ—не мае видкы (таже то коштуе), а друге—часъ гаяты. Прийшовъ на терминъ: погодимся, то й пого-

димся; двисти—най буде й двисти, лышь абы не було тяганыны. Але де тамъ?! Винъ теперь, ади, якои загнуть: банкомъ пужае, помирокъ бы бравъ. Достоту, якъ той дидько, що кажуть, якъ чоловикои прыкро та й не може соби рады дати, а дидько тыць шнурокъ у руки, ще й на шыю заложыть!

— А який ставъ маючий,—заговорывъ маломовный Ахтемій.— Та кажуть, що винъ у нашимъ сели такъ забагатывъ.

— На, маешъ!—перебывъ Михайло,—таже я тямлю, якъ винъ зайшовъ у наше село. Кажу вамъ, dranky не мавъ на соби. А якъ узявъ на гындель, то назбывавъ сумы суменни. Та й де винъ стилькы маества назбывавъ? Таже въ сели й не выдко стилькы маества.

— Якъ не назбываты, якъ лупыть зъ останнього,—сказавъ Иванъ.

— Та й нема тому ниякого прыпору,—говорывъ Михайло.— Чоловикъ, що працюе, то йому вже на роду напысано, абы зъ нього шкуру лупыты. Робыть вразъ изъ воломъ на ныви, а прыйдется збираты—нема що. Поле не вродыть та хапайся хочъ бритвы: дають у банку, беры въ банку. Тысне банокъ, то ты пытай мылосерднои души, абы заратувала. Та й влучышь саме на порядного лупя, бо добрый чоловикъ такъ само мліе зъ голоду, якъ ты. Зализешъ лыхвареви въ руки, то ты господаръ зъ його ласкы—докы йому до вподобы, абы-сь бувъ господаремъ.

Иванъ прытакнуть:

— У суди такожъ нема рады: його право. Йому дадутъ вырокъ, а ты, бидный чоловиче, хочъ зъ мосту та въ воду!

— Та й то ще не смій тамъ рыбу ловыты, бо заарендувалы,—сказавъ маломовный Ахтемій та й засміявся мужыцькымъ смихомъ, що тилькы голосъ ныбы сміється та й губы стягаються до смиху, але по облыччю зовсимъ не пизнаты, що то смихъ.

Щырый смихъ дуже ридкый та й тому винъ якось незвычайный. Щырымъ смихомъ сміється прымиромъ дивча до хлопця зъ любощивъ. Але люде кажуть, що воно не сміється, а тилькы шкирыться.

— Чого шкирышся, не выдышь, що ягнята въ озымыни?—крычатъ на таке дивча и вважають за бильший грихъ те, що воно шкирыться, якъ те, що не пыльнуе ягнятъ.

Вси тутъ постановылы пустыты Коропа въ газеты, хочъ Михайло бувъ переконанный, що всього того не спысавъ бы й на воловій шкуру.



Грызъ лежавъ слабый. Нихто не мавъ навить надїи, що винъ одужае. Прыйшовъ часъ—треба вмираты.

— Отъ Банатъ умирае,—говорывъ Михайло до Ахтемія.

— Та й я чувъ. Та вже нема йому виходу?

-- Де вы взялыся! Таже то старовына. Най лышь що найменше та й уже по нимъ. То ще дивно, що ще доси калатається.

Килька день пиясля того зайхавъ до села здакуцыйныкъ\*) за податкамы. По сели зойкъ и плачь—грабують за податкы. Се такъ само, якъ бы хто пустывъ чутку, що йде чума й холера й пожежа. Одного обибралы до сорочки, въ другого забралы муку зъ корыта, а Дмитро на щастя два миясы тому погоривъ. Прыйшовъ до нього здакуцыйныкъ, а въ нього хата нова: чотыри стины ще немащени. Колы жъ бо чортова овечка на городи забляла. Здакуцыйныкъ за голосомъ—ажъ пасеться на городи овечка, та й двое ярчатъ коло неи, ще й копычка синця стоить.—„Твои вивци?“—„Мои!“—„Твое синце?“—„Мое!“—„Забираймо!“—Та й забралы зъ прысяжnymъ.

Дмитро почухавъ голову:

— Кротъ твою, гаде! Чого я такой дурный?! Та не выгнаты мени було вивци въ поле!

Йому, розуміється, не лышылося ничего иншого, лышь жинку налаяты. Жинка такожь не мовчала, то Дмитро въ той спосибъ розважывъ свое сердце. Потимъ прыйшовъ до переконання, що йому властыво було не жинку, але здакуцыйныка налаяты. Выйшовъ зъ намиромъ питы впытыся, але потимъ обрадывся, що липше видвидаты слабого Грыця. Одно, що Грыць йому ридня, а друге, що все лекше, якъ выдытыся чоловика нещасливійшого видъ себе. Пишовъ до Грыця.

У хати сыдилы на лави вїтъ и Семень, а въ синяхъ велькый Мыкыта та й малый Мыкыта. Обыдва ровесныкы, ще дуже молоди газды. Обыдва втеклы видъ хаты въ новыхъ кожухахъ. Кожухы однаки. Та на велькимъ Мыкыти бувъ той кожухъ кожушыною, а на малимъ Мыкыти бувъ той кожухъ кожушыщемъ. Велькый Мыкыта державъ руки на жывоти, а малый Мыкыта державъ руки на крыжахъ.

Грыцыха сыдила на прыпичку. Хору ногу, обвынену въ кусныкъ старои опынкы, перев'язанои чорною крайкою, держала на стильци. Шкромадыла барабулю.

\*) Здакуцыйныкъ—збирщыкъ, що одбирае податкы.

Грыць лежавъ на постели—жовтый, якъ вискъ. Очи мавъ прыжмурени, нібы спавъ. Виддыхавъ тяжко.

Дмытро ставъ соби коло Мыкытивъ.

Війть боявся, абы йому котрый не поставивъ отсе питання:—  
Що вы за вїять, колы зволяете на таке лупїйство въ сели?— То-  
му балакавъ зъ Семеномъ за збижжя.

— А я вамъ кажу,—говорывъ вїять поволи й выразно,—що  
нове збижжя, то воно не до нашого поля. Правда, воно выдат-  
нїйше, але, напрыкладъ—зводиться борзо. Возьмить цаське жыто.  
Якый изъ нього хлибъ? Чорный, якъ свята земля. А зъ простого  
жыта, вважаєте, то хлибъ билый, якъ пшенышный, пытьлований.  
Я ще маю видъ небижчыка дьыдя просте жыто та й ще жъ його  
не змишавъ. Навмысне держу—на пам'ятку. Такый, кажу вамъ,  
хлибъ, якъ колы паска! Та й цаське жыто—йому, вважаєте, въ насъ  
за студено. А ну, якъ нема снигу, а добрый морозъ шарне, то за-  
разъ цаське жыто—дывиться, а воно згорило, изжовкло. Бо воно  
голе: на-верху. Ану возьмить просте жыто,—воно вже ридко де  
йе, въ нашимъ сели лышь у мене,—то воно отъ якъ у кожуси:  
зерно въ середыни, глыбоко. Не боиться ни студени, ни морозу.

Грыць расплющывъ очи, а Грыцьха до нього заговорила:

— Грыцю! Ади, люде прыйшли на тебе подывытыся. Прыйшли  
тебе видвидаты. Пизнаешъ людей?

Грыць видповидавъ тыхимъ голосомъ. Въ середыни бесиды  
часто зупынявся.

— А чому жъ бы я людей не пизнававъ? Та що я зъ глуз-  
дивъ зсунувся? Дякувать людямъ, най имъ Богъ заплатить, що  
видвидалы слабого. Якъ одужаю, то й я имъ у прыгоди стану.

— Ой, уже тоби зозуля не буде куваты!—сказала Грыцьха.

— Що жъ бо ты, жинко?... Таже я ще, Богу дякуваты, не  
вмираю. Я ще гадаю самъ помирокъ пидъ синожатымы выораты...  
Отъ пиду до Семена та мени плуга дадутъ. Дасте мени, куме  
Семене, плуга? Я вамъ видроблю въ сапаня.

— Чому? Дамъ. Абы здоровля!—видповивъ Семень.

— А выдышь, жинко? А ты бъ мени за живоття похоронъ  
справляла... Отъ подай мени липше воды, бо мене спрага пече.

Грыцьха зачала рушатыся, абы встаты й воды податы, але  
велькый Мыкыта не давъ їй рушытыся.

— Сыдить, Грыцьхо, сыдить. Заки вы зъ своею ногою рушы-  
теся, то Грыцєви вже й видхочеться воды.

Винъ узявъ кварту, набравъ воды та й понисъ Грыцеви. Грыць пидсунувся поволи выще на подушкы и пиднявся трохи. Губы йому такъ изжовкы, що не можна було видрижнаты ихъ видъ лыця. Здавалося, що нема въ нимъ и крапелькы крови. Узявъ кварту, але не мигъ удержаты; якъ бы бувъ Мыкыта зъ другого боку не державъ, була бь кварта полетела на землю. Мыкыта нахыливъ йому кварту до губивъ, якъ малій дытыни. Грыць прыклавъ уста до кварты, але й не пизнаты було, чы хочъ покушавъ воды. Напослидокъ лышывъ кварту Мыкыти въ рукахъ, а самъ подався обезсылений на подушкы. На давне мисце и не пробувавъ зсуватися. Виддыхавъ тяжко. Крапли поту выступылы йому на чоли.

— Дякуваты, Мыкыто,—шептавъ Грыць.—Добра вода... студена... То-то мене пидкрипыла...

Грыцьха глядила уважно на чоловика. Вона выдила, якъ винъ пожовкъ, якъ руки йому не служылы, якъ потимъ упавъ обезсылений на подушкы.

— Чоловиче, чоловиче! Чого дурышь самъ себе? Таже ты—трупъ. Ади, виддыхатыся не можешъ, такъ змучывся тымъ, що трохи пиднявся. Тебе вода пидкрипыла? Ты чуешъ води смакъ? Чоловиче, кого хочешъ обтуманыты?! Таже тебе гарячка мучыты!

Грыць звернувъ на жинку змученый поглядъ:

— Жинко добра... отямся... Богъ изъ тобою...

Але Грыцьха не зважала на те:

— Таже вмрешъ, чоловиче! Що крутышь Божымъ свитомъ? Ади, чуты видъ тебе трупомъ. А мене якъ лышаешъ?—говорила кризь плачъ.—На кого диты лышаешъ? Пидуть по-пидъ чужи плоты. Таже грунтъ задовжений. Пиде весь на бубенъ. А видкы жъ я ще тоби на похоронъ визьму? за що тебе поховаю? За свои сльозы? Таже по твой смерти ще треба буде видумерщыну оплатыты. Та абы премъ\*) що лышылося писля твоеи головы, то пиде все на штемплы та й на нотари. Бо я не годна заробыты: я—калика... ты не выдышь?... На чью голову мене лышаешъ? Чы я годна довгы сплатыты, чы я годна податкы заплатыты, чы я годна видумерщыну оплатыты, чы я годна диты выродуваты, чы я маю хочъ за що тебе поховаты? Певне, лекше

---

\*) Дійсно, справди.

бъ и мени питы въ сыру землю, але диты... На кого диты по-кыдаешъ?

Грыць зновъ повернувъ на ню змученый поглядъ:

— Жинко добра... чого хочешъ видъ мене? Таже я ще не вмираю... То ты мене въ грибъ загонышь, бо грызешъ мене.

— Я тебе въ грибъ загоноу? Ты мени таке вповидаешъ? Таже я бъ тоби свого здоровля вдиыла, якъ бы могла. А ты жъ не знаешъ, що насъ чекае писля твоеи головы? Ты не знаешъ, що диты небижчыка Гаврыла та валялыся цилый мисяць, якъ песьята, по-пидъ людськи плоты?

Тымъ часомъ у синяхъ зачалы розмову. Зразу шепотомъ, а потимъ чымъ разъ голоснійше.

— Бида, мой, мужыкови!—говорывъ велькый Мыкыта.—Такъ узялы його въ крепы, що й умерты ниякъ. Зслабъ чоловикъ та й лышь чекае, колы надійде смерть та духъ изъ нього выпре, ажъ тутъ—не смій умираты та й решта!

— А ну, абы такъ паны або жыды,—сказавъ малый Мыкыта,—то хочъ най уси вымирають що до ногы, то нихто имъ не заперечыть. Хочъ най ихъ холера вытысне до лапы, то кожному зась!

Та й Дмытро вмишався до розмовы:

— Або най конае й десять литъ, то вильно. А мужыкови ни, бо заразы коштуе. Або махай заразы, а ни, то вставай до роботы!

Малый Мыкыта ставъ допикаты Дмытрови:

— А вамъ бы, куме Мытре, жинка такожъ не дозволыла вмираты. Зъ васъ сьогодни тяглы душу за податкы, а жинка бъ сказала—зажды, мой, сплаты-но ты впередъ податкы, а потимъ умрешъ.

— А вы жъ гадаете,—видгрызся Дмытро,—що выховааетеся зъ кожухамы? Отъ лышь вырне здакуцыйныкъ та стягне зъ плечей!

Велькый Мыкыта не зважавъ на Дмытрову бесиду:

— Эй, та кумъ Мытро порадылы бъ соби! У ныхъ лышывся ще на горыщу, одынъ сирякъ та й одни чоботы. А кумъ Мытро якъ бы наважылыся вмерты, то заждали бъ пидъ зиму, якъ на двори така фуфела, що носа на двиръ не показуй. Тоди бъ вбулы чоботы, сирякъ на себе та й—зажды-но, жинко, я хочу тоби воды прынести. Та намистъ воды та зашыюются въ сино, а въ сини вмруть може липше, якъ другый на постели!

— Якъ бы то сино!—сказавъ Дмитро.— А то ворогъ обы-  
стывъ мене сьогодни геть изъ усього. Я прссюся:—Лышить хочъ  
сино, таже въ мене вивци: що я имъ у зими йисты дамъ? А  
вивци держу на податокъ.—А винъ мени вповидае:—Не журыся,  
каже, чоловиче, вивцями—мы й вивци заберемъ... Та й забравъ и  
вивци...

Въ Грыця зболилы в'язы, бо винъ дуже невыгідно лежавъ:  
плечи на подушци, а голова скрывлена пидъ стиною. Винъ нама-  
гався зсунутыся назадъ на давне мисце: вхопывся одною рукою  
за бичну дошку видъ лижка, а другою вперся на дно постели.  
Але не мигъ ніякъ.

Велькый Мыкыта пизнавъ, чого Грыць сылується. Увійшовъ  
до хаты та й заклькавъ малого Мыкыту:

— Ходить, Мыкыто, та поможемо Грыцеви поправытыся на  
постели. Вони эле ляглы та в'язы ихъ зболилы.

— Дякувать, Мыкыто,—просывся Грыць,—дякувать... Я самъ,  
не трудитыся... Що жъ то? невелька ричъ.—изсунутыся... Лы-  
шить, я самъ...

Грыцыха знову вдывылася уважно на слабого. Обыдва Мы-  
кыты взяли його за руки, якъ малу дытыну, та й поклалы ныжче.

— Ты самъ?—сказала Грыцыха.—Ой уже тоби самому ничего  
не роботы. Вже ты самъ и крокомъ не поступишыся.

Обыдва Мыкыты вернулися назадъ до синей та й кинчалы  
розмову.

— Кумъ Мытро,—говорывъ велькый Мыкыта,—вже бъ давно  
въ раю раювалы, а жинка черезъ чоботы та й черезъ сирякъ и  
на двиръ бы не выйшла.

— Ой у раю раюваты!—сказавъ Дмитро.—А може то занесуть  
отамъ на цвынтаръ та й аминь: гный у ями та й решта! Нибы  
то хтось запевне доконався, що люде саме по смерти раюють.  
Або може рай не для хлопа. Кручка жъ не казавъ, що мужыкъ  
не мае души? Мужыкъ, каже, пры смерти та выпускае такъ па-  
ру зъ себе, якъ худобына.

— Та й вы соби погадайте,—говорывъ малый Мыкыта,—де  
мужыка по смерти примостыты? Пана—инакша ричъ. Бо що жъ?  
Панъ або злый у Бога, або добрый. Добрый панъ наймае службы,  
роздае на бидныхъ, ховають його зъ десять попивъ, то-що. Бо  
мае видкы. Такого заразъ по смерти до раю. А злого въ пекло.  
А зъ мужыкомъ же що зробыте? Мужыкъ дурный. Винъ нибы

знае, якъ Бога хвалыты? Ходыть до церкви, бо други йдутъ, та й хрестытыся, гейбы видъ мухъ обганявся. На бидныхъ не роздае, бо й самъ бы взявъ, якъ бы найшовся такой дурный, щобъ мужыкови щось давъ. Попы не видмолюють, бо не мае за шо службы найматы. То такъ од лукъ параграфу належалося бѣ йому на саме дно до пекла. Але жъ бо зновъ давай його тамъ до пекла, колы винъ и тутъ мавъ. Та нибы до чого вмираты, якъ на таке саме? А такъ липше—най згыне, якъ худобына, та не буде зъ нымъ на суди морокы!

— Отъ маете, якъ бы такъ кумъ Мытро крадыкы видъ жинкы вмерлы. Та до раю имъ ніякъ, бо параграфъ не пустыть: таже безъ сповиди бѣ вмерлы. А до пекла нема раціи ихъ даты, бо шо жъ вони кому злого зробылы? Шо погорылы, то невеликый страхъ: таже й церква може погорыты.

Дмытро махнувъ рукою:

— А зрештою, хочъ бы мене далы до пекла, то гадаете, шо пизнавъ бы, чы то пекло, чы рай? Почувъ бы, може, шо трохы инакше, якъ на земли, але хто знае, чы не було бѣ липше. Та й шо жъ бо то за пекло? Нема кары та й нема пекла. Отже краше най тамъ у ями зогню, та по смерти не будутъ сендзіи заходыты въ голову, шо зо мною робыты.

Вси тры пидсмыхалыся мужыцькымъ смихомъ, шо тилькы голось нибы сміеться та лыце стягаеться до смиху, але по облыччу зовсимъ не пизнаты, шо то смихъ. Такой смихъ не перебувае й не зупыняе розмовы. Грыцыха шкромадыла барабулю. Вси въ хати слухалы тои розмовы зовсимъ байдужно. Тилькы Грыць часомъ зитхавъ...

## VI.

Кильканадцять днйвъ писля сього прыйшлы видвидаты слабого Семеныха зъ Процыхою та Ивановыха. Семеныха сыдила пидъ викномъ на лави, а Ивановыха зъ Процыхою стоялы коло дверей. Молоденька Ивановыха дуже несмильва. Страхъ йй прыкро було, шо дуже велька: Процыха сягала йй пидъ груди. Ивановыха почувала себе ніяково, бо килька разивъ глыпнула въ бикъ на Процыху, не выдила ничего, тилькы Процышыне волосся. Ще й те ии непокоило, шо не могла найты слова розрады для Грыцыхы. Семеныха й Процыха говорылы, а Ивановыха рум'янилася.

Грыцьха сыдила на прыпичку зь опертою на стильци хо-рою ногою та пряла.

— Сусиды мои, сусиды!—прыповидала.—Вже жь я довго зь вамы не буду сусидуваты. Вже жь бо я пиду зь дитьмы по-пидь чужи плоты. Заберуть чужи люде мою працю. Цилый вискъ свій я гарувала, ночи не досыпляла, робыла тяжко, якъ та худобына, та й не соби, не соби...

— Кумко Грыцьхо,—потишала Семеныха,—не завдавайте соби жалю. Таже Богъ ласкавъ та й люде не татары. Йе други, що ще не такъ бидують. Та то вже хрыстьянынъ прыходьтъ на свить, абы бидуваты.

— А вы жь гадаете,—говорила Процьха,—що въ насъ гаразды, що мы не на такій стежци? Ой кумко, кумко! Таже бидно дїеться, такъ бидно, що прыдеться зь голоду вмираты. Але хрыстьянынъ жые надїею: тручае биду, якъ може. Усе — най-но та най-но, Богъ ласкавъ, якось то буде, а то все чымъ разъ тиснїйше та тиснїйше. Хрыстьянынъ гаруе цилиське жыття. Отакъ цилый тыждень, якъ виль у плузи. А все—абы здоравли, то якось перебудеться.

— Тымъ бо то, Процьшко,—пидхопыла Грыцьха, — абы здоравли! А вы жь не выдыте, яки въ насъ гаразды? Я немична калика та й нема вже мабуць на свити такои души, абы мени раду дала. А Грыць—сьогдни-завтра...

— Эй, не говорить, кумко,—казала Семеныха,—не гнивить Бога. То все Божа воля. Мы вси пидь Богомъ ходымо.

— Якъ не говорыты, сусиды, якъ не говорыты? Таже адить, якый страшный ставъ. Трупъ. Теперь ище въ дныну по божому, але колы бь уздрилы та почулы въ ночи. На сылу видклькую видъ смерты. Такы, кажу вамъ, якъ зайдеться, то конае, кажу вамъ, дїйсно конае. Я лышь дывлюся за свичкою. Не сплю я, сусиды, ночамы не сплю, лышь наслухаю, чы вже не по всьому. Сеи ночи заснула-мъ на годынку та й то, знаете, на сылу: сонъ изломывъ. Та й снылося мени таке страшне-страшне: сердце вищуе, що вже не довго потягне... Десь я нобы йду до миста та й прыйшла-мъ до могылокъ а то саме коло червоного хреста; дывлюся—а я десь стою на высокїй гори, та й гадаю соби: якъ же я, гадаю, сю гору перейду, колы я калика? Гадаю соби: буду хапатыся рукамы корчивъ та й буду поволи спускатыся—може якось излизу. Я, знаете, хапаюся рукамы корчивъ та й спускаюся все

ныжче, а то десь видкысь узався потикъ такой, кажу вамъ, каламутный, ажъ чорный. А въ тимъ потоци рыбы такой, ажъ кышыть. А та рыба десь така гыдка та страшна, що ажъ мене лякъ узавъ. Кажу вамъ, ота рыба десь пидскакуе та й у води ходыть переверци, а все роззявляе пашеку таку, якъ у пса, та й кланцае зубамы на мене, якъ бы хотила мене прожерты. Я десь ажъ трясуся зо страху та й усе намагаюся ныжче спустытысь, але такъ потыхеньку, абы та рыба не вчула. Але я нибы й пылуясь та й усе на мисци, а якъ лышь дотулюся до корча, то такой шелестъ, гейбы хто тягнувъ галуззя дорогою. Най буде, гадаю соби, що хоче, але я мусю видсы тикаты. Беру я та й спускаюся дали та й лучыла-мъ, знаете, на каминь. Господы! якъ урижуся десь головою до каминя, ажъ зубы задзеленькотили. Я маць за зубы, а зубы вси повылиталы. А та рыба, знаете, десь вылазыть изъ того потока, така якъ гаддя. У мени сердце замлило. Я выпустыла зо страху корчъ изъ рукъ та й падаю десь у якусь пропасть... Знаете, збудылася та такъ зиприла, що була мокра, якъ скупана. Двери видхылени, холодъ тягне на мене, а голова та й зубы такъ въ мене болятъ, ажъ лупають. Сила я, знаете, на прыпичку та й розгадую, що бъ сей сонъ мигъ значыты. Вода каламутна, рыба, зубы выпадають—та се смерть, нехыбна смерть! Загадала я соби таку довгу-довгу думку, що ажъ забулася. Диты сплять, Грыць виддыхае такъ тяжко та стогне... Диты мои, гадаю соби, що зъ вами буде? Пидете по-пидъ чужи плоты, а якъ пидростете, то пидете на службу до пана, або до жыда. Краше, щобъ вы впередъ повымиралы, то такъ бы мени тяжко не було. Разъ бы виджалувала та й по всьому. А выдывлюваты очи цилый свй викъ, якъ диты валяються по-пидъ чужи плоты, якъ у двори, або въ жыдивъ немыти та нечесани молодой викъ зробляють, то—сусиды мои—тяжко, то дуже тяжко... Що ихъ чекае на панськй служби? Закры молоди, закры годни—робытымуть, а якъ испадуть трохы зъ сыль, то забирайся, шый торбы та лизь добрымъ людямъ въ очи, абы помылувалы букаткою хлиба. Загадала я соби таку довгу думку та такъ мени тяжко стало, якъ колы бъ хто мени нижъ у сердце встромявъ. Отакъ я загадалася та й наслухаю, що Грыць робыть. Слухаю, а винъ такъ тяжко сопе, якъ бы вже конавъ.

— Грыцю, ты спышь?—кажу.—Ни, не сплю,—каже.—Може, кажу, засвитыты свитло, може тоби що треба?—Ни, - каже,—ничого



не треба, мени лекше.—А я знаю, сусиды, що винъ мене дурить. Прыкро йому, прыкро дуже, що загнавъ насъ у таку биду.

— Выдышь, Грыцю,—красно выражаешь диты. Ярына пиде до двора дивуваты. Люде показуватымутъ на ню пальцями, якъ на остатню. А Мыколку тягатымутъ шандари за волоцюзтво, такъ якъ тягалы дитей Дзиня-цыгана.

— Йой-йой, жинко, що робышь зо мною?—проговоривъ Грыць, сылючысь обернутыся до стины. Але не мигъ. Похылывъ тилькы голову въ той бикъ, де стина.

— Та бо вы, кумо, лышитъ ихъ, не допикайте,—говорила Семеныха. Таже то ще не те... Ще не такъ люде слабують, а однакъ выходять. Та й Грыць ище одужають... Богъ ласкавъ...

Грыцьыха не дала переконаты себе.

— Що жъ бо вы, Семенышко, говорыте? Таже я бы була рада, абы одужавъ. Та що зъ того? А вы жъ не выдыте, який ставъ? Шкура та кисткы. Тамъ уже нема кому выходыты. Абы премъ и лекше стало, та кому тамъ жыты?

— Этъ, говорыте! Зарисъ чоловикъ, неголений та й такый, якъ старецъ. А ну, якъ бы обголывся, то би-сте й не пизнали!

Грыць повернувъ голову та й вдыввся слъозавымы очыма на Семеныху:

— Добре кажете, кумо. Дай вамъ Боже здоровля. Та я вже тры недили неголений.

— А якъ же, а якъ же! говорила Семеныха.—Тагы треба пидголытыся. А що жъ? То такъ уже ведеться. Но, а якъ же! Таже то й исповидатыся треба, та якъ неголеному?

Грыць повернувъ голову назадъ икъ стини та й прошептавъ.

— Та якъ? Чого мени сповидатыся?... Таже я ще не вмираю.

— То ничего, ничего! — видповила Семеныха. — Але хто знае, чые завтра? Исповидатыся треба. Чоловикъ не знае, на чимъ стоить. Сповидъ ничего не завадыть. А ну, не дай Боже чого... Кто те може знаты?

Грыцьыха зитхнула:

— Ой, треба-треба! Добре кажете, кумо. Я вже се видъ давна соби миркую. А ну жъ зайдеться въ ночи та й по нимъ? А потимъ люде говорытымутъ, що черезъ мене несповиданий умеръ. Отъ я такы пиду до ксьондза, най исповидае. А вы скочте, Иванышко, за своимъ, най прыйде пидголыты.

Семеныха встала зъ лавы:

— Та вы, кумо Грыццо, сьдять: вамъ мука ходыты. Я йду до-дому, визьму кожухъ та й сама пиду. Заки Иванъ пидгольть, то я вже й вернуся.

Проццо пишла такожъ зъ Семеныхоу.

Иваныха лышылася сама. Мала щось важне сказаты, але не могла зважытыся. Вона була мягка на сердце, а до того ще недавно виддалася та й не прывыкла ще межы людьмы такъ поважно говорыты, якъ молодыци. Дожидала, щобъ ии Грыццо взяла на розмову. Але Грыццо не зважала на ню,—вона говорыла до Грыццо:

— Выдышь, Грыццо, не маешъ уже що крутыты Божымъ свитомъ: чужа жинка казала тоби высповидатыся. Запроторывъ-есь циле господарство, загыривъ-есь усе маество, затерявъ-есь де що було, загонышь насъ у нужду та въ злыдни.

— Ты то, жинко,—прошептавъ Грыццо,—точышь мени печинки, якъ червакъ, день-у-день.

Грыццо заздрила Иваныху коло дверей:

— Пидить-но, Иванышко, зъ ласкы своєї за Иваномъ.

Иваныси сердце въ грудяхъ забылося:

— Я заразъ... Я прыйшла вамъ сказаты, що вже йе газета. Тамъ стоить за Коропа та й за Грыццо...

— Якъ?—здыувалася Грыццо.—Ага, правда, що вы чытаете газету!

Иваныха зарум'янилася, похылыла голову та й закрыла лице рукою.

— Та що тамъ стоить?—запытався Грыццо.

— Що Коропъ не по правди прыйшовъ до маества, та й ще хоче васъ не по правди лицитуваты.

Грыццо подывывся на жинку зъ докоромъ, а Грыццо запыталася:

— Та видкы вони довидалыся въ газети?

— Петро Павливъ напысавъ. Михайло тай Ахтеми́й тай Иванъ проказувалы, а винъ и спысавъ. Напысалы, що все пидъ присягою визнають.

— То-то добри люде!—сказавъ Грыццо.—Дай имъ, Боже, прожытокъ щасливый. Эй, якъ бы навидався колы до мене Петро, абы йому подякувавъ красно. То-то добрый хлопецъ!

— Я йому перекажу Варварою, вона до насъ прыходыть.

— Перекажить, Иванышко!—обизвалася Грыцьха.—Варвара у вась буває: вы, здаецься, обыдві на газети чытаеце.

Сымь словомъ Грыцьха добыла Иваныху. Иваныха обернулася борзенько, та й зитхнула тяжко, ажъ захлпала.—Побижу я за Иваномъ!

Але Иванъ саме въ тій хвыли надійшовъ зъ брытвою. Йому переказала Семеныха, абы пишовъ Грыця пидголыты. Иваныси лекше стало, наче бь чоловікъ прыйшовъ видбороныты іи видь вовкывъ.

— Хотите обголытыся, Грыцю?—запытавъ Иванъ.

Грыцьха видповила намисть чоловіка:—Та най пидголытыся, бо треба выповидатыся.

Грыць посумнивъ:

— Эть!...

— Не журитьсѧ, Грыцю!—потышывъ Иванъ.—Вы ще жинку набьете!... Отъ якъ вась пидголю, то жинка ще схоче потанцюваты зъ вамы!

— Богъ бы за вась говорывъ!...

## VII.

Незабаромъ писля того видвидавъ Петро слабого Грыця. Не було никого дома, бо Грыцьха понесла десь пряжу въ село; зъ нею пишла й Ярына. Васылына робыла на лани, а Мыколка, якъ звычайно, грався зъ дитьмы на вулыци.

Грыць дуже ошукався на Петри. Петро не знавъ йому ничего сказаты про лицитацію.

— Я напысавъ до газеты. Мыхайло тай Ахтемій тай Иванъ проказувалы, а я напысавъ. Варвара переказувала, абы я прыйшовъ, та й неня казалы.

Отъ и все, що дызнався Грыць видь Петра. А надто Петро наче боявся—Грыць бувъ такый страшный. Петро дывывся бильше на образъ, якъ на слабого. На тимъ образи бувъ змальований на скли св. Мыколай изъ зачудованымы очыма. Але Грыць мавъ прыхильнисть до Петра ще видтоди, якъ Иваныха расповила йому за допысь. Винъ вдывывся на Петра сльозавымы очыма тай прошептавъ:

— Нема... нема вже мени виходу... Ой нема... Я чоловікъ старый—уже виджывъ свсе... Чась у яму...

Оглянувся боязко по хати, наче бь зрадивь якусь вельку тайну та боявся, чы хто не пидслухуе його. Та въ хати никого не було и окримь Петра никто сыхъ сливъ не чувь. Грыць зитхнувъ, обернувся зь трудомъ горилыць, влипывъ очи въ стелю та й спроквола процидывъ кризь зубы:

— Ой якъ бы то... якъ бы то вмерты... такъ якъ люде...

Лежавъ нерухомо на постели зь очыма, звернеными на стелю. Выдко було, що винь думае щось багато, що всяки мріи снуються йому въ голови. Лице його прыбрало супокійный, хочь сумный выгядь, слъозави очи блыщали. Знаты було, що винь дывыться и ничего не выдыть, бо цилый занятый тымы мріямы. Петро сидивъ тыхо. не рушався, бо бувъ переконаный, що Грыць марыть про щастя...

Грыць хотивъ умерты, бо чувся вже зайвымъ на симь свити. Але хотивъ умираты такъ, якъ люде, не крадькы. Хотивъ розстатыся зь родыною такъ, якъ розстаються писля празныку батько зь родыною, видданою на друге село: тоби тутъ жыты, а мени тамъ,—оставайся здорова.

Грыць уявлявъ соби ту хвылю, колы слабый чоловикъ говорыть до своеи родыны:

— Заклычте мени сусидивъ, най попрощаюся.

Винь уявывъ соби ту хвылю, колы сусиды сходяться до слабого, та й слухать його уважно, наче того, що вже не належыть до сього свита. Грыць поставывъ себе на мисце того слабого и въ свой уяви проговорывъ до сусидивъ, що нобы стоялы коло його постели:

— Сусиды мои люби та мыли! Прощайте мени! Може я вамъ котрому на-перекирь слово сказавъ, може я вамъ котрому зле дило зробывъ. Може я васъ котрого скрывдывъ, або образывъ, або обмовывъ. Прощайте мени! Уже вы видь мене на симь свити ни добра, ни зла не зазнаете. Прощайте мени, Семене!

— Най Богъ простыть!—нобы Семень видповидае.

— И другый разъ.

— Най Богъ простыть.

— И третій разъ.

— Най Богъ простыть.

За кожнымъ разомъ нобы цилується зь Семеномъ по рукахъ.

— Та й вы, Иване, прощайте мени.

— Най Богъ простыть!—нибы Иванъ видповидае.

— И другый разъ... И третій разъ...

Зновъ нибы цилується зъ Иваномъ по рукахъ.

Та й такъ нибы роспрошався вже зъ усима сусидами. Сусиды нибы сидѣють на ослинѣ повагомъ и нибы дожидають, що винъ дали говорытыме. А винъ нибы каже соби податы воды, а дали й говорыть:

— Заки ще жыю, хочу зарядыты своимъ маествомъ, бо я його зъ собою у грибъ не заберу. А васъ, люби мои сусиды, панове газды, просю васъ, абы-сте булы свидоми, якъ я заряжую своимъ маествомъ, абы потимъ диты писля моеи головы не сварылыся, щобъ по судахъ не тягалься, щобъ не терялы марне працю на адукативъ. Той помирокъ пидъ горою видказую мойй найстаршій доньци Васылыни. Тамъ буде зъ пивтора морга. Той помирокъ на ставыщи видказую мойй другій доньци Ярыни. Тамъ буде лышь моргъ, але за те липше поле. Решту здаю на сына, на Мыколу: и хату, и городъ, и помирокъ пидъ синожатямы. Мають мене за те по-хрыстыянськы поховаты; на вси кошта понесуть диты ривну часть выдаткивъ. А ты, стара, тулыся пры дитяхъ. Доки Мыкола малолитній и доки дивкы не повиддаються, доты ты, стара, збираешъ политкы. А въ хати маешъ сыдиты, покы жывота твого. Сынъ мае тебе вдержуваты та й похоронъ тоби справыты, бо я йому найбильше видказавъ. По мойй смерти, якъ дивкамъ лучаться люде, виддавай ихъ та й виддилюй имъ пайкы.

Пры симъ слови Грыць нибы видчувае, що найстарша донька Васылына вже не дуже за нымъ жалуе. Тамъ, у серци глыбоко, въ самимъ куточку, ворушыться несвидомо въ неи бажаня, щобъ дьдыя довго вже не карався на симъ свити, щобъ пишовъ туды, куды справывся,—однакъ сього не мыне. Вона мае на прыкмети парубка. А парубокъ якъ учуе, що дьдыя видказавъ йй помирокъ пидъ горою, то заразы у пару недиль засватае. Вона виддилыться видъ нени, та й стане сама газдуваты.

Грыць нибы почувае, що Васылына такъ соби въ серци бажае, але се його не грызе,—адже живой живе гадае! Винъ радъ ище зъ того, що такъ йе, бо люде говорытымуть:

— Ади, Васылына Грыцева вже виддається! Та й не дьвно: небижчыкъ лышывъ маетокъ та й диты мають на чимъ газдуваты.

Стаки то булы Грыцеви мріи. Петро сядивъ тыхо, щобъ йому тыхъ мрій не розигнаты. Але Грыць не довго марывъ. Махнувъ рукою та й прошептавъ:

— Та що зъ того!...

Нагадавъ соби мабутъ, якъ теперь ѳе. Помиркивъ тыхъ уже давно всихъ нема. Лышылыся два, але й зъ ныхъ бильша половина спродана, у чужыхъ рукахъ. И ота крышка сьогодни-завтра не його. Довгы на ній таки, що й сто литъ жый, то стилькы не прыробышъ. Щобъ сякъ-такъ оправдаты себе передъ родыною, удававъ, що ще не вмирае. Але бувъ переконаный, що йому никто не вырыть та шо, хочъ бы й одужавъ, то ничего не порадывъ бы.

### VIII.

Грыць умеръ изъ початкомъ осени, саме въ найкращу пору, колы на двори нема ни литньої спеку, ни осинньої сльоты, колы сонце на погіднимъ неби грае, та не пече, а легесенькый захидній витерь обрывае жовкле лыстя зъ деревъ.

На другый день його ховалы. На похоронъ зійшлсся мало людей. Булы сусиды, а зъ дальшыхъ прыйшовъ Сафать, Михайло та Павло. Прыйшла й Варвара зъ Ивановою. Пан-отця ще не було, але бувъ дякъ. Се бувъ одынокый чоловикъ на циле село, що взявъ соби пан-отцеву науку до сердца та й намистъ: *це*, говорывъ—*сіе*, але, розуміється, лышъ у розмови зъ пан-отцемъ. Дякъ бувъ литній чоловикъ, удовецъ, худый та й дуже вже зигнутый. За те його прозывалы—стулений.

— Ходить, дяче, най васъ поцилую!—говорила йому Варвара.

Дякъ подывывся на ню та й мыленько всмихнувся:

— А ну-ну, спробуй!

— Колы жъ бо вы стулений...

— Говоры!—сказавъ дякъ.—Я бъ ище липше вдавъ, якъ молодой...

— Кашляты,—додала Варвара.

Малый Мыкола зъ роздертсю пазухою ажъ геть поныжче пупа бигавъ помижъ люде, де воны ридко стоялы, якъ у лиси помижъ дерева, та й тишывся, що такъ багато людей.

Геть на боци стяла Семеныха зъ Процыхою та й балакалы.

-- Вы булы пры Грыцеви, якъ умиравъ?—запытала Семеныха.

— Таже-жь була. Але якъ конавъ, то не выдила. Кажуть, лышь разъ хлыпнувъ. То такъ сталося на „мли ока“. Мытро сыдивъ коло постели. Якъ Грыць мавъ конаты, то Мытро пытався його за нумера.—Скажить, каже, вуйку Грыцю, яки нумера. Вы теперь вгадаете, та може выиграемо на льотереи.—Десь винъ оте вынисть изъ вйська, що чоловікъ, якъ конавъ, то вищунъ: може вгадаты нумера.

— Чудасія! Та сказавъ яки нумера?

— Эй, де! Чоловикъ якъ умирае, то мабуть ничого йому не въ голови!

— Та й не признався до самой смерти, що вмирае?—запытала-ся Семеныха.

— Ни.

— Та й до чого йому було таитися? Таже очи выдиль!...

— Та правда, кумо Семеныхо, що не було чого, але се такъ уже, гей изъ збижжямъ. Якъ ударыть слюта зо дви недилы на покосы, то чоловікъ знае, що збижжя мусило зростыся. Але якъ хто прыйде зъ поля та й скаже, що збижжя зрослося, то чоловікови такъ прыкро, якъ колы бь першый разъ за те довидався. Ото жь такъ и се.

— Але щб передъ сповиддю, або заразы по сповиди не прыповився?

— Грехы!

Сафать, першый багачъ у сели, курывъ завзято люльку. „Такъ курить смашно, якъ бы цыцьку ссавъ,“—говорылы за нього. Курывъ теперь смажакъ\*); його дистають въ той спосибъ, що зъ пытогого поля крадуть лыткы тютюну та й не сушать на сонци, бо теребылюльки \*\*) вздрилы бь, але въ ночи. Высушенный смажакъ задержуе зелену краску, за те винъ за-лехкый до курення. Треба його впередь у люльци запекты, абы бувъ мицнйшый.

Сафать заговорывъ до Семена.

— Я втратывъ сьогодни робочу дныну. Въ мене такой роботы, що де-де! Усе порозчынано...

Мыхайло пидслунавъ та й радъ бувъ, що мае нагоду багачевы въ печинкы зайхаты.

---

\*) Молодой, высушенный тютюнь.

\*\*) Глумлыве призывше акцызныкывъ.

— А тебе жь хто сюды кыкав? Сыды дома та гляды роботы. Може хочеш, абы тоби Грыцыха заплатыла за дныну?

Сафатъ засоромывся:

— Вы чого хочете зъ мене, Михайле?! Я не пью до васъ, то не кажить мени—дай Боже здоровля!

— То що, то що таке?—запыталы довокола.

— Адить, люде!—говорывъ Михайло.—Багачъ соби крывдуе, що втратывъ дныну черезъ похоронъ. Скынмося, газды, по крейцарю на багача, бо винъ утратный.

Надйшовъ пан-отець и сказавъ коротеньку проповидь. Шѳмавъ зрештою за пйака багато говорыты?

Колы рушывъ похоронъ, зирвалыся горобци зъ бур'яну и зъ поплотыны. Жыва, гамирлыва, сира верета здймалася зъ берега Грыцевого подвир'я и наче витромъ гнана, перелетила по-надъ дорогу та й сперлася за дорогсю на крислатй, старй грушци. Го-ришнимъ кинцемъ вхопылася за вершокъ грушкы, а долишній пидгнула, а потимъ счезла мижъ гиллямъ. Горобчыкы, якъ бы высыпани зъ тои вереты, скакалы по галузяхъ и цвиринькалы.

Заразъ за „деревыщемъ“ ишла Грыцыха, пидпираючыся пальцыма, та й ритмично голосыла:—Господарю мй! На кого ты насъ покыдаешъ? На кого ты диты лышаешъ дрибни? За що ты на насъ прогнывався?...

Спывъ дяка заглушывъ ии голосинця. Васылына йшла по-кнюплена, а Ярына плакала. Мыколка йихавъ из-заду за похоронемъ на соняшныку та й бывъ прутомъ импровизованого коня.

Сафатъ обизвався до Семеныхы, що прыпадкомъ ишла зъ нымъ поручъ:

— Адить, Семеныхо! Котре щыро жалуе, то не вміе красно голосыты, бо жаль не дае. Таже то сердце краеться. А котрому байдуже, то такъ прыповидае, якъ бы на кныжци читало.

Вси жинкы плакалы. Кожна мабутъ нагадувала соби якусь свою журу та й плакала.

Процыха заговорила до Михайла:

— Ото лышывъ дрибни диты. Що зъ ныхъ теперь буде?

— Пролетари!—видповивъ Михайло, думаючы, що й Процыха мусыть розумиты се слово.

Процыха здывувалася и нйяково йй стало. На сели люде не знаютъ пытатыся, яке значиння мае котре нове слово. Процыси



здавалося, що їй пам'ять ослабла, колы вона не розуміє Михайловыхъ сливъ.

Задзвонили въ дзвоны. На сели дзвонить паламарь одною рукою та й черезъ вправу выдобувае зъ дзвонивъ якыйсь акцентъ. Пидставыты пидъ голось дзвонивъ яке-небудь чотыро-складне слово, то дзвоны говорытымуть те слово. Черезъ те, що Процыха вдумувалася въ слово: „пролетари“, їй здавалося, що дзвоны такъ и говорять до неи: „пролетари, пролетари“...

Видъ церкви було выдко цвынтарь. Увесь бувъ зарослый деревьямы. Помижъ ными билилися хресты й хрестыкы. Цвынтарь заступавъ собою цилый виднокругъ видъ сходу сонця. Чысте, осинне, голубе небо спускалося надъ цвынтаремъ та й наче входило тамъ помижъ дерева й хресты. Нибы за тымъ цвынтаремъ и не було вже ничого дали на свити...





**Мыхайло  
Коцюбинський.**

Коцюбинський Мыхайло Мыхайлович народився р. 1864 в мисті Винниці на Поділлі. В літературі вперше виступив р. 1890, в часописи для дітей „Дзвінок“. Повісти й оповідання його друкувались переважно по галицьких часописах: „Правда“ (повість „На виру“), „Зоря“ (оповідання: „Циповязь“, „Пе коптьорь“, „П'ятызлотникъ“, „Хо“, „Помстився“ та ин.), „Жыття и Слово“ („Посоль видь чорного царя“), „Кіевская Старина“ („Дорогою цинсю“), в збирнику „Хвыля за хвылю“ (повість „Для загального добра“) та инших. Недавно у Львови вышло два збирника творивь сього автора: „Вь путахъ шайтана“ (1899) й „По людському“ (1900); третій, пидь заголовкомъ „Дорогою циною“, має незабаромъ побачыты свить. Дятячи оповідання Коцюбинського („Ялынка“, „Харытя“, „Маленький гришникъ“ та ин.) выдани окремо вь Галычыннн й на Украинн. Вь творахъ своихъ Коцюбинський торкається сучасного суспильного жыття не тилькы на Украинн, а й по-за межами її и дає рядъ мистецькихъ образивь, намальованыхъ рукою справжнього художника.

Литература: 1) Ив. Франко—Конкурсъ „Зори“ (Зоря, р. 1895, ч. 11); 2) Мусій Ш-ко—Оповістки и крытычни замиткы (Зоря, р. 1895, ч. 10); 3) Крушельницькый—Новыны нашої літературы (Л.-Н. Вистникъ, р. 1900, кн. III). 4) Ив. Франко—Зь останнихъ десятильть XIX вѣку (Л.-Н. Вистникъ, р. 1901, кн. IX).



## Въ путахъ шайтана.

Нарысь.



менё сыдила доли на распеченій земли свого подвир я. Сьогодни—Байрамъ, свято; маты пишла у хату переспаты спеку, а батько, старый хаджи Бекиръ-Меметь-оглу, якъ и вси правовирни, у-друге вже подавсь до мечету.

Наволо тыша. Лышь одъ села, зъ високого стародавнього минарету, долитають скрыпучи, якъ немазане колесо, згукы побожного поклыку муллы:

— Ла Алла... иль Алла-а... Магометъ расуль Алла-а...

Эмене поклала голову на долони, уперлась ликтямы въ коллина и дывылась.

Передъ нею, мало не з-пидъ нигъ, збигалы внызь по кам'яныхъ горбахъ плянтаци тютюну й винограду. Ривни линіи кущивъ выглядалы немовъ зелени рядкы вельчезной кныгы, розгорненой до чытання; плямы тютюну зеленилы на тли сирого каминня, якъ здорови лышай.

Ще ныжче, по писковатій линіи берега, середъ тиныстыхъ садкивъ, билилы роскишни вилы „гяуривъ“ зъ рядкамы чорныхъ стрункихъ кыпарсивъ.

А дали було море.

Блакытне, слипуче-блакытне, якъ крымське небо, воно млило у специ литнього дня, дыхало млоу и деликатнымы тонамы злываючысь зъ далекымъ небосклономъ, чарувало й вабыло у свою чысту, теплу й радисну блакыть...

Зъ правого боку горбатою тинню лигъ въ море Аю-дагъ и мовъ спраглый у спеку звиръ прыпавъ до воды.

Эмене байдужно дывыться на знайомый краевыдъ—й нудно. Вона дивчына—„кызъ“—и не для ней се невидоме, повне чаръ море: вона никола не переплыве його, якъ никола не переступить похмурои Яйлы, що он-тамъ, за батькивською хатою, за селомъ гризно здймае до горы кам'яни хребты, оддиляючы Аллахивъ край одъ стороны невірныхъ.

Ще въ будень, колы Эмене, не покладаючы рукъ, садыть тююнъ, пидгортае виноградъ, поливає городыну, або пораеться коло набилу—вона не почуває нуды; але въ свято, отъ якъ теперь, колы буркотлыва маты поснула, батько молыться, а робота чекае будня—дивчына не знае, що зъ собою чыныты.

Кругъ ней тыша и мертвота—якъ на земли, такъ и на кеби. Сонце стоить высоко, распечена земля пашыть кожною грудочкою, кожнымъ каминчыкомъ. Ривный, горячий, мовъ зъ вельтенської печи, духъ иде видъ земли, зъ неба, зъ моря, одъ сирыхъ кам'яныхъ громадь Яйлы. Блидый шыроколыстый тююнъ насычуе повитря наркотычною парою. Въ самому повитри розлыта нуда, про нуду тыхо дзюрчыть струмокъ по каминчыкахъ подвир'я, одъ нуды скаче на ланцюгу старый песь и, глухо побрязкуючы зализомъ, хрыплымъ голосомъ скаржыться небови: Алла-Алла!... Алла-Алла!...

Одынока жаба вылизла зъ калабатыны и зридка меланхолійно кумкае... На темныхъ лапатолыстыхъ фигахъ завзято, мовъ сотни трискачокъ, до одуру, до самозабуття трищать цикады. А проте тыхо, а проте нудно видъ тыхъ одноманитныхъ згукивъ.

Эмене докучыло врешти сыдиты на горячий земли. Зъ линывымы рухамы одалискы вона потяглася, распростувала гнучке молоде тило, звелася й апатычно обвела кругъ себе очыма. Що й робыты, чымъ заповныты святну нуду? Выпадково очы ии зупынылыся на жаби. Велька, розчепирена, вона прыпала жывотомъ до теплои земли, пидняла окату голову и выпускае зъ себе згукы, разъ жалибни, повни скаргы й мелодии, то зновъ сердыти, буркотлыви, немовъ въ середыни у ней, въ ии велькому биластому череви щось клекотыть.

Эмене тыхесенько, на вшыныкахъ почала закрадатыся до одынокои, якъ и вона, ропухы. Але жаба помытыла непроханого

гостя й шубовснула у воду, вытягшы задни ноги та пиднявшы зо дна стовпъ намулу.

Дивчына стала надъ ковбанею й дывылась, якъ поволи осидавъ намуль и вода очышалась. Але й се выдалось їй нуднымъ.

Эмене скинула зъ нигъ капци, затыснула помижъ колина червони шаравары й почала мыты ноги. Слипуче сонце осявало струнку постать татаркы, грало на рудыхъ, свижо пофарбованыхъ косахъ, жовтому халати й червоныхъ шараварахъ, а пидмальовани чорнымъ бровы и червони, тежъ пофарбовани нигти на рукахъ и ногахъ такъ и блыщали до сонця, мовъ наведени поли-турою.

Дивчына хлюпалась у теплій води, колы вразъ, глянувши на прыбережни осели, вона такъ и заклкала зигнута й зацикавлена. Те, що їи зацикавыло, було не що инше, якъ трое осидланыхъ коней пидъ кганкомъ вилы, а коло ныхъ татарынъ-провидныкъ выдымо чекавъ на когось. Та ось одъ билои стины будынку оддильысь дви жиночи постати, тонки, высоки, мовъ молоди кыпарысы, й пидійшы до коней. Тутъ Эмене не вытрымала, выскочыла зъ воды и безъ капцивъ, мокрымы ногамы перебигла подвир'я, злягла на тынъ и цикаво выставыла голову з-за дерева. Серце въ неи тьохнуло: вона пизнала Септара—красу кучуккойського парубоцтва, завзятого провидныка, образъ якого бидна дивчына довго носыть у серци, хочъ не см'є й очей звес-ты на свій идеаль, якъ се й прыстало порядній татарській „кызъ“. Але тыхо! Ось жинкы пидходять до коней. Септаръ пидставляє долоню, жинка кладе на неи ногу, злегка торкається до його пле-ча и мовъ м'ячъ выскакує на коня... Тц... тц... тц—крутыть голо-вою Эмене и чує, якъ горяча хвыля крови б'є їй до серця й головы.

— Алла-Алла!—думає Эмене,—ты справедливый, але чому не-вирнымъ жинкамъ краще живеться на свити, нижъ правовир-нымъ?...

Гришни думкы плутаються въ голови у дивчыны. А ныни Байрамъ, а ныни свято! Досадно дивчыни, що до неи прыступає шайтанъ и нашиптує неподобни думкы, и хвылює дивочу кровъ... Винъ прыковує очи їи до того мисця, де передъ хвылею бачыла вона мылого й таке неподибне до власного жыття, и вона не мо-же одирваты ихъ, хочъ уже ничего не бачыть тамъ, опричь спус-тилого мисця передъ кганкомъ вилы...

За килька хвылынъ тупотиння кинськыхъ нигъ по твердй дорози збудыло Эмене зъ задумы. Дивчына стрепенулась, сквапно прыскочыла до частоколу на другому кинци подвир'я и прыпала лыцемъ до шпары. Серце въ грудяхъ трипалось, якъ рыба въ руци, а очи пожадлыво захоплювали клаптыкъ дороги, що выднись у шпарку. Але ще пусто на дорози, нема никого. Та ось задуднила земля и показала кавалькада: по-переду жинка въ сирому, а за нею жинка въ сыньому; поручъ зъ останньою йихавъ Септаръ.

Эмене такъ и йила очыма провидныка. А винъ, круто упершысь рукою въ бикъ, выпынавъ золотомъ шыти груды и зухвалымъ, хыжымъ поглядомъ оглядавъ жинку въ сыньому... На його гладко-голеному, червоному й блискучому, якъ стыглый помидоръ, выду, що выглядавъ з-пидъ круглой зъ золотымъ верхомъ шапочки, малювалась зарозумилисть зъ одтинкомъ прызырства до жиноты, яка свидчыла, що винъ добре розибравъ смакъ провидныцького жыття, та що не одна московська „барыня его любиль... денга даваль“ и що винъ на ти „денга гуляль“. Эмене любовалася його мицнымъ, здоровымъ, якъ огирокъ, тиломъ, тисно затягненымъ въ тонке сукно, його нахабнымъ поглядомъ, який прыймала за ознаку смилывосты й лыцарського духу. Винъ здавався й яснымъ мисяцемъ, що одбывся въ мори ии сердца та протягъ блискучий шляхъ до щастя.

Вразъ пры фиртци калатнувъ розбытый дзвонкыкъ. Эмене здригнулась, мовъ зловлена на горячому вчынку и забувшы на капци, прожогомъ кынулась у сины. Дзвонкыкъ прохрыпивъ ще разъ. То бувъ знакъ, що надходить чужый мужчына. И справди, ледве Эмене встыгла схвататься, якъ у двиръ увйшовъ ии батько, старый хаджи-Бекиръ въ товариствии молодого ризныка Мустафы. Зъ сымъ богобийнымъ ризныкомъ, що наскризь пропахся овечымъ лоемъ, старый хаджи вично мавъ справы, въ якихъ будучнисть Эмене грала не останню ролю.

Саме въ той ментъ кавалькада выйхала на найвыщый пунктъ дороги, и ставна постать Септарова выразно вырысувалася на тли блакытного неба. Хаджи-Бекиръ глянувъ туды и його очи блыснулы з-пидъ чалмы. Винъ пиднявъ руку и погрозывшы нею въ спыну провидныкови, хрыплымъ голосомъ буркнувъ:

— Кепекъ!... (собака!)

И сплюнувши зъ огыдженнямъ у слидъ кавалькади, винъ повивъ гсстя на веранду, колываючысь на зигнутыхъ, якъ у рахитыка, татарськыхъ ногахъ та похытуючы головою, завятою въ билу чалму. Та чалма, вкупѣ зъ билою довгою бородою, надавала йому выгядъ старозаконного патрїарха.

Эмене пидгледѣла ту сцену й почувла въ серци образу.—Кепекъ! За що кепекъ?—думала вона,—за те, що винъ не цурається гяуривъ, зъ нымы йистъ, пье, говорыть? Адже й гяуры вѣрять въ Аллаха!..

Незвыкла до думокъ голова ѣи якось не добѣе працювала, за те серце ѣи чуло, що тутъ щось не такъ, що справедливистъ не на батьковзму боци, що Септаръ не мае за собою выны, не заробывъ прызырства за свои вчынкы. Вона, бидна невольныця, замкнена въ тисныхъ межахъ свого подвир'я, въ закратованїи, пыльно стереженїи видъ мужського ока жиночїи половыни—все жъ такы мала очѣи й дывылась туды, внызъ, на били осели середъ роскишныхъ гаивъ, и не могла не бачыты иншого, нижъ ихне татарське, жыття, не могла не ривныты того жыття зъ власнымъ. Вона, напрыкладъ, бачыла тамъ жинку—истоту вильну, товариша—не рабыню мужчыны; жинку, до якої належавъ, якъ и до мужчыны, весь свитъ... Вона бачыла, якъ та „невирина“ жинка гойдалася на човни, смїялася, жартувала зъ чужымы мужчынамы, якъ вона гарцювала на кони, або лазыла по горахъ та лисахъ, заходыла до мечету, мовъ до себе въ хату, тоди якъ вона, правовирна дочка Аллахова не смїе переступыты ѣи порога мечету, немовъ яке нечысте створїння...—Кепекъ! кепекъ!—ображено думае Эмене и чуе въ серци жаль до батька, и чогось зитхае, и зновъ шайтанъ нашиптуе ѣи грїшни думкы, каламутыть спокой!..

А зъ веранды, черезъ закратовани викна чутно скрипучый, монотонный голось батькивъ. Старый хаджи може сотый разъ оповидае свою подорожъ до Меккы. Маты прокынулась, брязчатъ филижанкы, пахне кавою.

— И прыйшли мы до Меккы, до Эль-Хораму,—тягне-скрыпты хаджи-Бекиръ,—и запалало мое серце великымъ вогнемъ радости...

И вразъ яскраво, мовъ передъ очыма, уявляеться Эмене картина, яку вона колысь бачыла зъ виноградныка и яка ѣи сыльно вразыла. Тамъ, надъ моремъ, пидъ злотыстымы видъ за-

ходячого сонця кыпарысамы, танцуюць „гяуры“. Мовъ рижно-барвни метелыкы, пурхають дивчата по зеленому мурижку, а хлопци пидбигають до ныхъ, обіймають отакъ въ поперекъ, стыскають руки, зазырають въ очи й крутятся разомъ, якъ зирвани витромъ квиткы... Спивы, смихы, весели поклыкы лунають по гаяхъ, а въ Эмене росте серце и горять очи. Мовъ зачарована дывыться вона внызь.—Хиба гуріи въ раю веселяться отакъ зъ праведнымы,—шепче вона и не може одирваты очей видъ дывовыжного выдовыська, не може насытыться нымъ... Чудовой образъ прынесла вона тоди пидъ батькову стришу, и тої образъ раз у-разъ оживае въ іи уяви и миньтсья, и грае барвамы...

— И сподобывъ мене мылосердний Аллахъ поклоньтсья Кааби й очыстыты грихы свои, диткнувшься Эсваду, — скрыпыть хаджи-Бекиръ и покректуе въ одповидь йому богобійный ризныкъ.

Та Эмене не слушае.

Очи іи, якъ и думка, блукають десь по далекому, безкрайному морю.

А воно, невынне и чысте, якъ дивчына, въ слипуче-блакытныхъ шатахъ, зъ нызкою перливъ-пины на шыи, радисно осмихається до берега и пестытсья, и тулытсья до нього, немовъ кохаюча истота. Далеко одъ берега грае въ мори табунъ веселыхъ дельфьинивъ: чорни потворы, мовъ выводокъ чортивъ, выплыгують зъ глыбыны, перекидыаються въ повітри, стримголовъ пирнають въ море и зновъ вырынають, щобъ на-ново распочаты весели грыща.

А ще дали, де лышь око сягае,—не знать, чы по води, чы по неби легкою тинню просовується пароплавъ зъ довжезнымъ позадь себе хвостомъ дыму—и расплывається въ блакытній далыни, и чезне, якъ прывыдъ, якъ мара... Море дыхае; свижий, солоный виддыхъ його шелестыть лыствою, пестыть облыччя, бадьорыть груди.

— Эмене! кель мунда!... (иды сюды),—ростынається зъ подвир'я пысклывый голось матери.

Значыть, гостя вже нема и можна выйты зъ хаты.

Эмене выйшла на поклыкъ матерынъ и мало не звалыла зъ нигъ двохъ европейокъ, що розмовлялы зъ іи матир'ю, оче-выдячкы не розуміючы одно одного. Дивчата щось пояснялы старій на мыкгахъ, показувалы на димъ, на село, але все надаремне: стара не розумила, хочъ махала головою та удавала, що дуже до-



бре тямь, чога вони хотять. Зъ бесиды проте ничого не выходило. Спочатку гости були збентежени, але побачившы, що их старання йдуть на марне, весело зареготались. Се осмилыло татарокъ. Эмене, яка доси скоса поглядала на чужынокъ, пидступлась бльжче и почала оглядаты ихъ зъ головы до нигъ. Очи въ неи розбигались; все ии цикавыло у тыхъ незнаныхъ ий истогахъ. Спочатку вона злегка смыкнула одну зъ дивчатъ за одежу, а дали зважыла на руци важку косу и зъ захватомъ поцмокуючы промовыла:

— Карбшъ... карбшъ урусъ...

Ти сміялысь и не боронылысь.

Цилкомъ осмилена, Эмене просто накынулася на гостей; вона гладыла имъ руки, лице й волосся, зазырала въ очи, плескала по плечахъ, тулыла до себе, розглядала й обмацувала кожду дрибнечку ихъ туалеты. Поцмокуючы та похытуючы головою, вона прыязно й прудко белькотала щось незрозумилою имъ мовою. Стара татарка тежъ не одставала одъ дочки й незабаромъ европейкы опынылысь немовъ у неволи у дыкыхъ; вони почалы вже боятыся—колы не за цилисть бокивъ, та за одежу. Не выпускаючы ихъ зъ рукъ, татаркы назносылы имъ усякыхъ ласощивъ: частувалы ихъ кыслымъ молокомъ зъ брудной посудыны, свижимъ инжыромъ та смаженымы на овечимъ лою коржыкамы...

— Кушай, урꙋсь... кушай!—прыпрошувалы вони и заглядалы имъ у ротъ.

Колы гости видйшлы, Эмене ще довго дывыяась у слидъ смилывымъ жинкамъ, що самы безъ провидныка-мужчыны прыйшлы з-надъ моря и теперь повертають назадъ, ни передъ кымъ не ховаючы своего гарного облыччя.

И зновъ Эмене сама, и зновъ ий нудно. Вона ныкае по пдвир'ю, безъ цили забигае въ хату, скризъ шукае розвагы, або якого дила. Та дила нема, а для розвагы у татарськой дивчыны одынъ лышъ ресурсъ—строи. На тому й скинчылося. Эмене рочесала й заплела дрибушкамы свои червони, якъ поломинь, фарбовани косы, накынула на себе новый халать зъ дывнымы арабескамы и пидперезалася косынкою такъ, що яскраво розмальований кинець ии закрывавъ ии фигуру, видповидно этикетови, ззаду ныжче стану. Потому вона начепыла на шыю свое багатство—рясне намысто зъ золотыхъ дукачивъ, а на голову накынула маленький фезъ, густо зашытый монетами. Легка чадра на

плечи й червони капци доповняли ии туалету. Лышалося ще на-  
рум'яныты лыця та звесты до купы фарбою дугы бривъ. Колы во-  
на була готова, то выглядала якъ индйськый божокъ и була ду-  
же задоволена зъ себе.

Та на подвир'и, куды вона повагомъ выйшла, никому бу-  
ло мылуваться красунею. Бидна дивчына зитхнула.

День уже гасъ. Блиде, втомлене море линыво хлюпало въ  
беригъ. Кам'яни шпыли Яйлы рожевилы на неби, сынйй морокъ  
ховався по роспадынахъ скель, а лисы по схылу гирь чорнилы,  
немовъ спалени.

Эмене глянула до-горы на село. Прытулене до горба, воно  
выглядало, якъ вельчезный сцильныйкъ, поставлений сторчъ. Ря-  
ды небиленыхъ хать зъ пласкымы землянымы покривлямы сто-  
ялы одынъ надъ другимъ такъ, що покривля одного дому слу-  
жыла подвир'ямъ для другого. Середъ лиса колонокъ, якымы бу-  
лы пидперти пиддашы, чорнилы двери й викна, немовъ входы до  
печерь, а разомъ все те нагадувало норы ричныхъ ластивокъ  
на крутому берези ричкы. По пласкыхъ пѳкривляхъ сыдила куп-  
камы жинота та мовъ рижнобарвни квиткы закрашала святнымы  
стройкамы сире тло голого села. Стара генуэзська башта, облупле-  
на й погрызена зубомъ часу, стоячы оддаликъ, гризно позырала  
зъ высокосты на татарське муравлысько, що ворушылось у ии  
стипъ.

Эмене нагледила врешти, кого ий треба.

— Фатьме-э-э!—вереснула вона тонкымъ проймаючымъ голосомъ.

— Эмене-э-э!—почулася одъ села така жъ пысклыва видповидь.

Эмене жваво вхопыла мидяный кухоль и подалася до „чиш-  
ме“—по воду.

Вона бигла вгору, поляпуючы капцямы по каменыстйй до-  
рози—струнка и зручна, якъ молода кизочка—и чула передсмакъ  
усихъ дрибныхъ сплитокъ дриб'язного жыття татарськой жинкы,  
зъ якымы чекала на неи биля чишме подруга. Однакъ на шо-  
се вона мусила зупынытысь: знайома ий кавалькада чваломъ про-  
скочыла повзъ неи—попереду жинкы, а за нымы красунъ Сеп-  
таръ, ривный, якъ килокъ, зъ выпнутымы золотымы грудымы, зъ  
нахабнымъ, певнымъ у соби поглядомъ.

Кавалькада давно вже промчалась, а Эмене усе стояла на  
мисци та дывылася у слидъ ий, немовъ чекала, чы не вернется  
ии щастя, шо зныкае з-передъ очей, та чы не визьме ии зъ со-

бою у шыршый, вильнійшый свить, нижъ закратована жиноча  
половина въ батьковій осели?... Кепекъ!—прыгадалось їй згирд-  
не батькове слово й повна ненавысты постать хаджи.

Серце въ неи упало, слъозы закрутылысь въ очахъ...

\*  
\* \*

Въ сели темно и тыхо. Крамныци й ятки замкнени, про-  
видныкы розсидлалы свои кони, всяки продавци „ялуртá“ (яець),  
вынограду, чадръ и иншого видклалы свои справы на будень; вза-  
гали весь той рухъ, що чыгае на повни кешени гяуриувъ, зупы-  
ныло свято. Муэзинъ в-останне проскрыпивъ зъ минарету „ла  
Алла“, и правовирни спочывають. Тилькы невсыпуще море бухае  
десь здалека, немовъ незрымый вельтъ выдыхае зъ себе денну  
спеку, та зори тремтять въ ничній прохолоди, ховаючысь одна  
по одной за чорни, якъ хмары, шпыли Яйлы.

У стипъ генуэзської башты блымае свитло. Тамъ, у за-  
копчений дымомъ росколыни, якъ въ дупли велькои деревыны,  
варытсья на розжареныхъ вугляхъ кава. Кругъ вогню, пидобгав-  
шы схиднимъ звычайемъ ногы, сыдятъ бородати хаджи у велькыхъ  
завояхъ и прости мусульманы у фезахъ. Хаджи-Еекиръ займае  
почесне мисце: винъ сыдыть поплить зъ мыршавымъ туркомъ у  
билому халати та зеленій чалми. То софта зъ самого Стамбулу,  
и його мудрыхъ та святыхъ ричей зибралысь послухаты право-  
вирни.

Уси мовчать, уси поважни.

Навить красунъ Септаръ, що прымостывся оддаликъ, склав-  
шы свои сыльни зъ духомъ кинського гною руки на батигъ, якось  
не такъ гордо выпынае золотомъ шыти груды, зъ меншымъ зух-  
вальствомъ позырае навколо.

Вогонь бликамы грае на червоныхъ фезахъ, осявае смагли  
облыччя. Мидяный имбрыкъ сычыть на вогни, далеке море рит-  
мично бухае...

Та ось кава запарувала у малыхъ филижанкахъ въ рукахъ  
гостей— и софта почавъ.

Винъ говорывъ тыхо, скрипучымъ монотоннымъ голосомъ,  
квитысто и довго. Винъ почавъ видъ Адама. Яскрывымы фарба-  
мы малювавъ винъ колышню славу й вельчъ татарського пле-  
мени, його бои зъ невірными, въ якихъ стягъ Магометивъ обій-  
шовъ мало не пивъ свита. Винъ звельчавъ пышність и мудристь

велькыхъ ханивъ, розчульвця на згадку побожности правовирныхъ и видкрывъ сердце Аллаха, у-щертъ повне радистю й задоволенямъ зъ вирныхъ слугъ пророка Магомета. Якъ мисяць середь зирокъ, якъ орель середь птахивъ—такымы булы мусульманы середь иныхъ народивъ. Винъ прыкыкавъ у свидкы одвични горы, що въ свой непорушности бачылы колышню славу велького народу; здавався на башту, пидъ котрою сыдивъ—вона пам'ятае ти часы, колы по стинахъ їи сплывала кровь гяуривъ, а на шпылы сыявъ пивмисяць...

Майстерно й поэтычно оповидавъ винъ усимъ видоми й усимъ дороги легенды люду, выкыкавъ изъ могылъ тини святыхъ и героивъ, що поклары головы за виру й на славу Аллаха й Магомета. Тексты й пророцтва зъ корана переплиталысь у бесиди, мовъ у штучній ситци, зъ казкамы люду и чаривнымъ запыналомъ покрывалы мынувшисть. Въ чорныхъ софтыныхъ очахъ горивъ огонь, а блиде лице ставало ще блидшымъ. Правовирни слухалы, скупывшы увагу та въ тактъ гайдаючысь на пидобганныхъ ногахъ.

А софта вивъ дали.

Винъ прыгадавъ уси крывды, яки заподіялы гяуры правовирнымъ. Вони зныщылы ихъ царство, зруйнувалы ихни осели, ихне добро; цвитушый, якъ квитка, край обернулы въ пустыню. Де ти людськи селыдбы, де той наридъ, що мовъ працьовыта комашня оселявъ колысь родючу землю? Його нема, його прогнавъ зъ власной земли ворогъ. „Погляньте,—гукавъ винъ, обводячы навколо рукою,—руина! все пожерлы невірни!... Вони заллялы беригъ моря, загарбалы кращи земли, одтиснылы решткы татаръ въ горы, на каминь. П'ядь за п'ядю, ступинь за ступнемъ переходять татарськи земли до рукъ невірнымъ и скоро не буде мисця для святого мечету, не буде де славыты Аллаха й Магомета... Та чы й буде кому? Стари звычай ламаються, пропала чеснисть, простота, счезае страхъ божый... нечестыви заразылы гриховнымъ болячкамы правовирныхъ... роспушта...—ракія... \*) крадижка навить... Алла-Алла! ты бачышъ!...

И блидый, мыршавый турокъ знявъ руки до мисяця, що саме вырнувъ зъ моря и облывъ усе сынимъ свитомъ.

---

\*) Горилка.

Въ урочыстїй тыши чулось лышь бухання моря та срибне, мелодїйне цвиринькання пивденного цвиркуна. Въ далекихъ гаяхъ тоненькымъ голоскомъ плакала сплюшка - сплю-ю... сплю-ю... Чорни горы стоялы, мовъ прывыды, й дывылыся на злотыстый видъ мисяця шляхъ на мори, шо весь тремтивъ и минывся золотою лускою.

Софта зитхнувъ. Въ зитханню тому почувся ревный жаль за могутнымъ краемъ, уболивання надъ занепадомъ одновирного народу.

— Але ще не все пропало. Ще мылосердный Господь заховавъ для правовирныхъ земли, де гяуръ не мае силы й не знушается надъ вирными. Надъ тою щасливою країною простягъ свою потужну руку справедливый и мудрый султанъ и, якъ маты дитей, захыщае пидданныхъ. Туды, середъ одновирныхъ и спивплеменныхъ, вызволятысь видъ грихивъ, рятуваты свою душу!... Годи чекаты на смертныи часъ у сьому нечестывому краю, бо колы зложышь тутъ свои кисткы, тяжко буде встаты на останній судъ середъ гришного, чужого людю. Правовирни! Старый и малый, багатый и бидный, слабый и дужый,—отрусить зъ нигъ своихъ порохъ нещасной земли; вступить у слиды богобїйныхъ предкивъ вашыхъ, забирайте свое добро, своихъ жинокъ и дитей и выселяйтеся звидсы пидъ можну правыцю правовирного монарха, блыжче до святыхъ мечетей, до посвяченои стопамы пророка земли... И хай западеться загарбана гяурамы земля, хай справедливый Господь пошле зъ неба вогонь, спалыть ии й розвїе попилъ по безкрайому морю! Ла Алла иль Алла—Магометъ расуль Алла!...

И софта знявъ руки й простягъ надъ землею, немовъ прыкыкавъ на неи гнивъ гризного Аллаха.

У хаджи-Бекира гѳрила душа. Винъ дывывсь на софту блыскучымы очыма, винъ бачывъ спадаючий зъ неба вогонь, а тамъ, за моремъ, въ далекой перспектыви, сялы передъ нымъ мусульманськи реликвиї.

Настала тыша. Жаръ пидъ баштою попеливъ и повный мисяць зъ высокосты поглядавъ на зибрання.

Правовирни однакъ сыдили зи спущенными очыма и немовъ лукава усмишка блукала по ихъ смаглыхъ лыцяхъ.

— Ба,—думалы вони соби,—гяуръ, гяуръ... А зъ того жъ мы живемо, якъ не зъ гяура?...

И прыгадальсь имъ вси несчисленни способы заробиткивъ та барышивъ, яки давали имъ гяуры. Прыгадальсь уси ти „ямурта,“ виноградъ, молоко, пидводы, провидныкы, комирне и т. и., всякого роду „бакшишъ,“ уси ти багати жныва, що збирае зъ гяуривъ, не сіючы й не орючы, татарынъ. Куды имъ выселятысь? по що?—пыталы вони себе и ихъ брала хить въ живи очи розсміятыся мудрому, та несвидомому станови ричей софти.

Однакъ вони мовчали.

Мовчанка врешти ставала прыкрою, усимъ було ніяково, та вызволивъ Септаръ. Винъ прыступывъ бльжче, сперся своїмы здоронными ручышамы на батигъ и промовывъ до софты:

— Ты, кажешъ, чоловиче мудрый—выселяйтеся звидсы... А скажы намъ, чога се видъ васъ, зъ Туреччыны, тиснытыся до насъ така сыла обдертого робучого народу та видіймае видъ насъ зарибкы?... Чога вони йдуть сюды, колы тамъ добре? А ты насъ кльчешъ туды... Гляды, чы стежкою правды слова твои ходять?... Ты кажешъ—гяуръ, невірний, а у насъ—багатый гяуръ бильшъ важыть, ніжъ двое праведныхъ... Гяуръ жые и намъ дае жыты. У насъ такъ: на Яйлу ходывъ—гроши заробывъ; по морю поплывъ—гроши заробывъ; гяура возывъ—зновъ гроши взывъ... Отъ и ныни я маю п'ятнадцять карбованцивъ,—и Септаръ брязнувъ въ кышени монетою,—а щдъ ты намъ дасы въ Туреччыни, де нема гяуривъ?...

И выпнувшы свои гаптовани золотомъ груды, винъ зъ нахабнистю выдывывся на збентеженого софту, чекаючы на видповидь. Правовирни ажъ цмокнули. Правда, суша правда! Винъ якъ выйнявъ имъ зъ усть ти слова, яки вони могли бъ сказаты въ видповидь софти

Тилькы хаджи-Бекирове сердце спакнуло гнивомъ праведнымъ и, мечучы блискавки зъ очей, винъ гримнувъ на Септара:  
— Мовчы ты, поганый наймыте гяуривъ!

Та Септаръ не змовчавъ.

— Эй, старый, я знаю—тебе заздроши хапають на мои зарибкы, якыхъ ты черезъ власну запеклисть не маешъ...

Ахъ, се була правда, глыбоко, старанно затаена правда,—и хаджи не вытрымавъ. Забуваючы на свою повагу й гиднисть хаджи, винъ схопывся зъ мисця и все свое обурення выплунувъ въ лыце Септарови:

— Кепекъ! асма кепекъ!... (псе! скаженный псе!)

Очи въ провидныка наллялысь кров'ю и вылизлы на верхъ, якъ у барана. Здавалось, дило скинчуться погано, але Септаръ перемигъ себе.

— Эй, старый! пыльной своей бороды, колы прысвятывъ ии,— погрозывъ винъ хаджи и, круто обернувшись, видійшовъ, насвыстуючы до танцю.

Софта отетеривъ. Чорни очи його стали круглымы й великымы, въ ныхъ малюався жахъ. Винъ чекавъ, що заразъ розступыться земля й поглыне зухвалого Септара, або гришныкъ знайде соби могылу пидъ руинамы башты, по каминю розібраной обуренымъ народомъ. Але все було по давньому: земля не розступалась, башта стояла на мисци и навить правовирни сьдили спокійно, немовъ ничего не сталося, немовъ вони цилкомъ подилялы Септарови погляды. Ба навить за хвылыну почалы роскодытьсь, вымовляючысь тымъ, що вже пизно, а завтра чекають на ныхъ справы...

Збентеженымъ, здывованымъ поглядомъ водывъ софта навколо себе—въ голови його немовъ щось свитало:

— Пута шайтана... пута шайтана!...—шепотивъ винъ зсынилымы устами, звернувши блиде облыччя до обуреного хаджи-Бекира.

Але той въ безсылній злости лышень плювавъ та сыпавъ проклены...

Останнимы покынулы башту хаджи-Бекиръ та софта.

Мовъ прывыды ти сунулысь вони по залытій мисяцемъ вулыци, волочучы за собою довги й головати тини. Сумни и розчаровани, выывалы стари одынъ одному свои жали, й немовъ спочуваючы имъ, зитхало оддаликъ море та тоненькымъ голоскомъ плакала въ гаяхъ сплюшка...

1899.



## ПОМСТЫВСЯ.

Образокъ.



Стыха, стыха Дунай воду несе "... а ще тихійше, ще спокійнійше надъ пышнымъ Дунаемъ. Пивденне повітря, убравшы въ себе, мовъ губка воду, уси проминня сонця, насыть тремтячымы грудыма надъ чудовымъ краевыдомъ, тысячами слипучыхъ искорокъ обсыпае шыроку ричку, що ледве помитно для ока гойдае свою жовту воду межы писковатымы берегама... А на румунському боци ген-генъ по-надъ тыхымъ Дунаемъ зеленою лавою простягся кучерявый гай вербовый и стоить на варті помижъ ричкою та шыпчастыми горама, що блакытнымы тиняма лягли на блакытному неби и прыковують до себе очи, и ваблять у свою далечинь имлысту...

Вечорило. Здрове палаюче сонце зупынылось надъ Галацомъ, надъ тыма шоглама незличеннымы, що-йно мріють вершечкама въ имлыстій блакыти, надъ тыма плавняма розлогыма, що зеленіють въ далечини высокымъ комышомъ...

По симъ боци Дунаю, де роскынулось м. Рени, надъ самою ричкою сыдило двое людей. Клунки зъ прив'язанымъ до ныхъ казанчыкомъ, що лежалы осторонь на писочку, запарошени чоботы й одижъ—свидчылы, що то подорожни. Одынъ зъ ихъ, одягнений въ шыроки сыни шаравары та молдуванський „капаранъ“, мавъ не бильшь якъ двадцять п'ять литъ. Видъ билои „качулы“, насуненои мало не на бровы, выразно видбывалось смугляве енергичне облыччя зъ орлынымъ носомъ, зъ трохи грубымы устама



пидь чорнымъ вусомъ, зъ карымы очыма, що, повни смутку й задумы, вызыралы з-пидь густыхъ бривъ.

Товарышъ його—людына литъ пидь сорокъ—на сампередъ бывъ у вичи буйнымъ рудымъ волоссямъ на голови, довгымы розкуйовданымы вусыщами та неголеною бородою, що мовъ щитка стырчала рудою щетыною. Блиде, мовъ налыте чымъ облычча його було зибране въ дрибненьки зморшки и слыве не оживлялось мутнымы сывымы очыма.

Подорожни шо-йно выкупалысь. Рудый розгортавъ ще мокри вусы зъ якыхъ стикала вода, та застыбувавъ свою безбарвну пиджачыну, що вкупи зъ такымы жъ пошматованымы штанамы, забучавылымы капцями на босу ногу та заялозенымъ кашкетомъ—складалы його мизерну одижъ.

— А-а! добре!—покректавъ рудый.—А глянь-но, Свырыде, якъ вода пидживае!—звернувь винъ до товариша.

— Десь у верховыни дощи выпалы, — видповивъ Свырыдъ.—Трудно намъ буде, Лука, черезъ Прутъ перехопытысь у Молдаву, бо й Прутъ, мабуть, стоить повный, якъ по весни...

— Не журысь, козаче! Най ти журяться, що гроши мають... Одно погано: вода розливае, а въ горли посуха, але мы заразы порадымо на се,—казавъ Лука, присовуючы до себе чымалу баньку зъ выномъ та прыязно всмихаючысь до неи.—Тры ока „джину“—помить соби!—Лука прыклавъ баньку до рота и зъ усмишкою раювання на змарнилому выду, пожадливо почавъ дудлыты зъ неи.—А-а! „бунъ джинъ“! Добре выно... На, пый!... Добре выно, кажу... а було колысь, брате мй, що я на таке выно й не глянувъ бы... Угорське, шампанъ благородный, портвейнъ, бордо—отъ мои трунky... Було колысь—його благородіе, поручккъ Лука Ивановычъ, дидычъ подильський, а теперь... босявка, дидычъ рынштоку миського, матульнякъ-заволока!...\*) Дай-но, брате, ще „джину“.. Оттакъ! Ты чому не пьешъ? Пый, закушуй: отъ тоби брындзя, перецъ... Йижъ, покиль йе шо йисты! Э, було колысь... А знаешъ, кого я стривъ отуть у Реняхъ?... Ни, зроду не вгадаешъ... та й якъ тоби вгадаты, колы ты и въ вичи ии не бачывъ. а мене отсе два мисяци лыбонъ, якъ зустривъ на матули?... Иду я соби по „джинъ“ отсей до шынку, колы бачу — стоить на порози

---

\*) Матула—по молдуванському здоровезный волскъ; матульнякъ—рыбалка на рыб. заводи.

молодыця... Якъ глянувъ я на неѣ, такъ и впизнавъ видразу. Вона! Коханка колышня!... Змарнила трохи, схудла, та лышывся той станъ гнучкый, ти очи глыбоки, що, здається, усе бачуть, що въ тебе заховано въ серци видъ себе навить... Вона зырнула на мене, та не впизнала мабутъ, бо й не ворухнулась зъ мисця... Мени ніяково було забалакаты до неѣ, бо бачъ... таке було межы намы: п'ять литъ отсе мынуло, брате мій, якъ я не зъ баньки кружлявъ, якъ теперь, и не зъ матульнякамы гулявъ, а въ благородній кумпаніѣ дворянській розливавъ вына коштовни, мовъ воду тую... Бо була, брате мій, и земля своя, и двіръ, и челяди повно... сказано—дидычъ... Було, та збигло, не знать куды подилося,—отакъ: фью-ю!... та й нема... Такъ що жъ я мавъ казаты?... Эге, про дивчыну. Саме за рикъ передъ тымъ, якъ жыды забралы за довгъ усе майно мое, стала въ „маменьки“ моеѣ, за покоивку дивчына одна. Отся сама, що зустривъ у Реняхъ.. Гарна була дивка, така гарна та свижа, що мене, було, ажъ коло серця запече, якъ гляну на неѣ... А горда та пышна, що й не прыступай!... Я колысь до неѣ—а вона якъ стусоне мене въ груди!... Мене—дворянына!... ще й видправытысь хотила, та маты не пустыла. Чекай же, думаю собѣ, завзялась ты, завизьмусь и я... Розсердывся спершу... такой лыхый та сердытый, що й не прыступай... Лыше грымаю на дивку. А дали, брате мій, потыхеньку, помаленьку—почавъ я укоськувать иѣ... То словомъ шырымъ обизвуся, то гостынця привезу... Отъ моя дивчына й залышыла брыкатыся.. Крутивъ я, вертивъ я, мовъ тую рыбу на гачку водывъ, помы не дѣп'явъ свого... И живъ я отакъ, брате мій, мовъ у раю, щось зъ пивъ року... Тутъ тоби бенкетъ безъ перестанку, день-у-день, кумпанія гарна, выно ажъ шуметь-иллеться, карты, роскоши всяки... а тутъ дивчына прыгортае, душу вывертае своими очыма глыбокымы та сынѣмы, мовъ море въ годыну... Дай-но, брате, „джину“!... Х-хе! „бунъ джинъ“!... Не довго я раювавъ отакъ. Помытыла „маменька“ моя покійныця, що погано зъ дивкою, порадылысь мы й видправылы иѣ... А тутъ незабаромъ попродалы усе добро мое за довгъ, „маменька“ померла, товаришы видцуралысь и лышывсь я одынъ, якъ палець, безъ грошей, безъ захысту... Э, що я брешу — безъ захысту!... Захысть бувъ: видъ шынку до шынку, видъ Сруля до Мошка—скрызъ своя хата, скрызъ свои люде!... Напьюся гарно, выплюсь ще краще: ривчакъ пидъ боки, каминь пидъ голову, небомъ загорнуся,—сплю,

вси мынайте його сіятельство — пана матульняка, дидыча миського рынштоку!... Прийизды, Свырыде, въ гости: прийму тебе у власній господи такъ, що й не здякуешся!... А ты чога сыдышь сумный та, мовъ сычъ той, надувся?... Пый та не журысь! Хай ти журяться, що по дви сорочки мають, а хто мае одну—кынь лыхомъ объ землю та пый, покы й останнои не позбудешся!...

— Чога я сумный, пытаешъ?—обизвався Свырыдъ.— Такъ мени чога журно ныни... Змовылысь мы зъ тобою на Молдаву податысь, пошукаты доли за кордономъ... Та ввыжається мени, що не втопымо мы лыха въ ричци, переплываючи, не загубымо його й у плавняхъ, переховуючысь... Скризь намъ, бурлакамъ, однаково... Чотыри роки блукаю я по Бесараби, гадаючи втикты видъ лыха, що залышывъ на Украини, а ніякъ не могу... Я видъ недоли—а вона за мною. Пиду тыхійше—бида мене нажене; пиду швидче—самъ биду дожену... Що зъ того, що я бурлакаю, гирко працюючи? Що я маю зъ того?... Свята голѣзна, та й годи!... У другихъ хочъ родына ѳе, втиха якась у жыттю, а сырота—мовъ те покотыполе, що витерь жене по степу, видирвавши видъ коринця... Зійшло колысь и для мене сонечко, та заздрисно стало другимъ—и заступылы...

— Чудна ты людына, Свырыде!—перехопывъ Лука,—шукаешъ щастя по всьому свиту шырокому, а воно тутъ, у сій баньци пыкатенькій на дни спочывае...

— Заыравъ я туды ажъ на дно саме, а не знайшовъ своен доли, не втопывъ тамъ и лыха свого... Колысь и я бувъ щаслыый, колысь и до мене доля всмихалася...—казавъ Свырыдъ наче до себе, пидпершы голову долонямы.—Якъ теперь бачу я долю свою: станъ гнучкый, дивочый, очыци сыни, ажъ чорни часомъ... За бровы свить бы виддавъ, колы бъ мій бувъ,—таки весели та хороши... Ластивкою падала коло мене дивчына... А я не кохавъ ии, ни... було ажъ за сердце мене ссе щось, якъ день не бачу... Хто його знае, чы въ шавліи купано ии змалечку, чы въ любыстку... Тилькы грошей, мабутъ, не кыдано въ купиль, бо такою убогою зросла, якъ и я... Покохалыся мы—побраты-бъ-ся, одружыты-бъ-ся—та ба! Не поставышь хаты зъ лободы, якъ кажуть, а иншой немає... У приймакы прыставъ бы, такъ родына велька, сыны пидростають, до старшой дочкы зятя прийняли... Порадылысь мы зъ дивчыною, побидкалысь и стали на тому, що вона пиде у наймы, складе за рикъ карбованця якого, а я тежъ

помандрую на Бесарабію на зарібкы... Щобъ хочъ хату було за що поставыты та на таке-сяке господарство спромогтыся... А тамъ, якъ Богъ дасть... Эй, не хотилось мени на ту Бесарабію, такъ не хотилось, якъ живцемъ у яму... наче серце вишувало... Та не послухавсь, пишовъ... Такъ по масныци, по пущенню, першого дня посту й вирушывъ. Ще николи не кыдавъ я ридного села, у-перше выбрався въ такой свить далекий—то жъ на серци було неспокойно, лячно чогось, журно... Що тамъ чекае въ чужій сторони?... Зъ чымъ и якъ повертатуму?... Пам'ятаю—поганый бувъ ранокъ: туманъ налігъ на землю, гемзыло, ноги грузлы въ пидмытому водою снигу, брудна вода стикала въ долину... Погано було, якъ въ мене на серци... Выйшовъ я на гору, ставъ пидъ фігурою и озырнувсь в-останне на село: туманъ лежавъ надъ селомъ ще густійшый въ долини, нижъ на гори... Колы се з-за фігуры щось такъ тыхо: „Свырыде!“—каже. Я ажъ жакнувся, затремтивъ весь... Озыраюсь—ажъ то вона, Марія моя, з-за фігуры сльозы втырае...

— Отсе добре!—перехопывъ Лука,—твоя Марія и моя Марія! Тыхъ Марій на свити—якъ за гришъ маку!... Ну, выпыймо жъ за обохъ Марій!... А-а! „бунъ джинь“!...

— Жалко мени стало ии... дурне серце мовъ у лещатахъ стысь хто, — казавъ дали Свырыдъ, не звернувшы увагы на тость за Марій.—Взявъ я вмовляты ии, взявъ ий казаты, якъ вирне кохаю ии... „Бачышъ,—обизвалась вона,—якъ той снигъ водою понявся? Гляды жъ, щобъ и кохання твое не стануло отакъ на чужій сторони, далеко видъ мене“... Наворожыла, та не мени, а соби наворожыла... Гей, та пишовъ я, брате мій, степамы, та пишовъ ланамы у той край, про який чувавъ лышъ видъ бувальцивъ... Идешъ-идешъ—надъ головою небо, пидъ ногамы поле... А чье воно, поле оте—хто його знае... Чужына. И несешъ у чужыну ту свою долю сыритську, до якои всимъ байдуже, та ще сылу молодую на пожитокъ жмыкрутамъ-дукамъ... Ставъ я въ Булгарына. На весну й на лито найнявся. Платня ничего—краща, нижъ по нашихъ сторонахъ, а робота така, якъ на доброго вола... Та дарма!... Абы мене люде не жалувалы, а я себе не пожалую... Спершу за роботою ничего не помичавъ я... Гей та собъ! собъ та гей!—звисно, якъ наймытъ: видъ свитання до смеркання въ работи... А дали, якъ звыкъ вже, оговтався, розглянувся навкру-

гы—и завелась у серци шашиль... Выйду на степь—ни, не наши степы,—и точыть шашиль... Гляну на людей—ни, не наши люде,—и зновъ тая шашиль у серци ворухитсья... Не такъ мени пташкы щебечуть не той мени писни витерьъ спивае... Почавъ я бануваты. А найгирше за Марією... Жалко мени стало за тымы ничкамы тыхымы, що бачылы жєныханья наше, що чулы нашу любу розмову... Жалко стало й за селомъ риднымъ, де я зрись, хочъ не зазнавъ змалечку щастя. Кто його зна, що зо мною поробылося: тягне мене, мовъ гакомъ тягне въ свою сторону; рветься сердце назадъ у село; брыдка та нависна стає мени сторона чужа... И бувъ бы не вытрымавъ, бувъ бы кынувъ усе та подавсь назадъ, колы бъ не Марія... За-для неи, за-для власного щастя лышывсь я, наважывсь перемогты себе... И вона, згадавъ я, поневириеться десь, бидна, у наймахъ, и їй не зъ медомъ... Збигла мени отакечкы весна, збигло й лито. Взявъ я въ хазяина, якъ одень гришъ, шистьдесятъ карбованцивъ и подавсь... не до-дому, а въ Мыколаивъ, де, якъ раялы люде, можна знайти роботу на осинь и на зиму. Пишовъ я туды, бо щѣ бъ почавъ я зъ тымы шистьма десяткамы?...

— Цилу осинь мишкы носывъ на пароходы, а на зиму за збиржака ставъ у хазяина. Николы було, здаеться, думаты про дивчыну, а проте вырвуться згадки на волю й полынуть на село ридне до дивчыны коханой... На двори заверуха, снигъ летыть въ очи, а я сыжу на санкахъ—и ввыжаеться мени вечиръ теплый зъ пахощамы веснянымы, зъ хрущамы, зъ вышныкомъ билимъ видъ цвиту рясного, а на перелази сперлась Марія и грєе до мене очыма... Було ажъ жажнуся, якъ гукне хто на вулицы: „звощыкъ!“ а витерьъ изъ снигомъ такъ и шмагне въ очи... Лыстивъ до неи не пысавъ я, бо не знавъ, де вона служыть. Видъ неи тежъ не мавъ звисткы, бо сама не вмєе, а другого прохаты напысаты—соромно дивци... Ну, та байдуже: на весну побачымсь. Склавъ я за зиму ще пивъ сотни, и такъ ото въ середохрєстя подавсь до-дому... Иду я тымы степами, тымы ланамы розлогымы, що й торишньою провесны, а не чужи воны мени, не лякуютъ, а мовъ осмихаються прыязно... Тала вода дзюрчыть по дорози та прыгадує, що казала Марія торикъ пидъ фигурую, а я тилькы осмихаюсь на тую згадку... Хороше мени... весело мени... жайворонокъ немовъ весильной спиває... И чого поспишавсь? Кобы знаття... ба! кобы знаття!... Та хто жъ його знавъ, що буде,

якъ въ писни спивають:— „кохалыся, та не побралыся, тилькы сердце жалю набралось“...

Свырьдъ замовкъ.

А сонце вже сидало. Высоко-высоко пидъ небомъ вечернимъ пролетилы вельчезнымъ табуномъ дыки гусы у плавни на ничъ и выповнылы повитря дывнымъ гукомъ, що мовъ видгоминъ далекого дошу, пронисся по-надъ тыхымъ Дунаемъ. Небо надъ Галацомъ жеврило, якъ распечене зализо; шырока ричка понялась на заходи вогняною барвою, дали зарожевила, засяла блакыттю, а тамъ заблыщала сызою барвою холодной крыци... Вербовый гай на тимъ боци повывсь у темряву, почорнивъ; блакытни горы стали синими та хорошымы... По тыхыхъ водахъ Дунаю мовъ лебидь проплынувъ парохидъ и выразно выткнувся на палаючому обрїю якъ зъ чавуна вылытымы чорными шогламы. Захвылювалась вода, мовъ жыто видъ витру, покотылась валамы до берега, наблызылась—и вдарыла зъ глухымъ стогономъ въ писокъ, розбываючысь на тысячи билыхъ крапельокъ... И зновъ усе стыхло; тилькы сполохана ричка, гайдаючысь въ своихъ берегахъ, мелодійнымъ хлюпаннямъ жалилась жовтому писочкови на докучлывыхъ гостей...

Зачаровани подорожни сьидилы й мовчалы. Ось збигла на беригъ дивчына, прыхапцемъ зачерпнула мидяными кухвами жовты воды и зновъ подалась на прыкрый беригъ. Ось ставный моканъ въ свой мальовнычій билій одежи прививъ до воды коня наповаты. Кинь порскае, голосно втягуе въ себе воду и напывшысь чвалае назадъ, линыво переступаючы зъ ноги на ногу. И зновъ усе тыхо. Кордонна сторожа розклала на тимъ боци багаття; червоний видблыскъ видъ нього осявае ныжни гылячки чорныхъ вербъ, додаючы ще бильше прынады чудовой картыни наддунайського вечора...

— Дывысь,—сполохавъ тышу хрыплымъ голосомъ Лука,— вода такы пиджыва... Мало не до нигъ моихъ дїйшла,—а де була, якъ мы купалысь!...

— Пиджыва... отакъ мои згадки пиджывають, якъ тая вода...— почавъ зновъ Свырьдъ, мовъ чекавъ, щобъ його торкнуто.— Якъ ныни пам'ятаю—вже посутенило, колы я вздривъ свое село, повернувшы зъ Бесарабіи. И не радисно, а турботно забылось у мене сердце, скоро побачывъ я дымъ зъ комынивъ у сели ридному... Що тамъ? Якъ тамъ? Де Марія моя?—турбуюсь въ одно. Иду

вулицею, зустрічають мене, впізнають, роспытують, де пробувавъ, чы щастыло, а мене такъ и кортыть роспытать про Марію, такъ и крутыться на языци ймення іи, та ніяково роспытувать... Подавсь я тою вулицею, де хата старыхъ. У хати свитытьсь, каганецъ блымае... Я пидъ викно, та такъ и прыпавъ до його. Стара пивмиткы зъ скрыни выймае, старый—чобить розглядае та копырсае шыломъ, а зять зъ жинкою про щось радяться бияя печи... Маріи нема. Може пишла до дивчатъ... А може... я такъ и прыкыпывъ до земли, жажнувшысь несподиванои думкы. Та ни, не такъ вона кохала мене, щобъ не дочекавшысь виддатыся...

— Свырыде, голубе мій... — перепынывъ п'янымъ голосомъ Лука,—подай мени баньку... Ты не пытымешъ, то я за тебе решту выпью... А-а! „таре бунъ джинъ“! Се йедына потиха... всихъ матульнякывъ... и простыхъ, и вельможныхъ... Ну, кажы, кажы... слухаю...

— Вхожу я до хаты,—провадывъ дали Свырыдъ,—прывитався, забалакавъ.—Щссь вы подалысь, титко!—кажу до старои.—Чы вси у васъ жыви-здорови?—пытаюся.—Уси, хвалыть Бога,—видказуе.—А де жъ Марія,—наважывся я,—що іи въ хати немае?... Тилькы що-йно вымовывъ я, стара якъ заголосыть, якъ ударыться головою объ скрыню, ажъ старый высочывъ з-за столу. Я такъ и затерпъ. У голови мовъ зализомъ розпеченымъ шпыгонуло: нема... умерла... утопылась... Хочу поспытаты—дѣ вона, що зъ нею, а языкъ якъ ставъ руба, такъ и не ворухнешъ нымъ. Дали жъ якъ не скочу до старои, якъ не скрыкну—Де Марія?... то такъ уси й замовкы та выдывылысь на мене перелякани... Де Марія?—крычу я,—де вы подилы іи? Кажить!—та грюкаю кулакомъ у стиль, ажъ старый узявъ мене за руку та:—Що тобі, хлопче?—пытае. А я й не въ той бикъ, тилькы слухаю, якъ стара, голосячы, прыказуе: „Занапастылы дытыну нашу, занапастылы... пишла въ наймы, якъ и людськи диты... та недолюдокъ той, панъ зъ Бобрыку... звывъ іи... й заподивъ кудысь, що й путь іи пропала...“ Я вже й не слухавъ дали... Мовъ боже-вильный высочывъ я зъ хаты, гыдкою мени стала людына кожна... На сердце мое, на голову, на всеньке тило вагою налягло лыхо, гнитыло мене; я чувъ, що мени тисно й на простори... Я пам'ятаю тилькы жадобу помсты, що поняла мое сердце болоче... пам'ятаю, якъ я прысягавсь: помщусь, люто помщусь... на обохъ помщусь!... Я забувъ на той часъ и про свои ноги натружени, и про те, що вже ничъ упала на землю—швыдкою ходою пи-

шовъ я у Бобрыкъ... Бижу... тило мое горыть, палае и не холодыть його витерь зымный, що дме просто въ очи... И доси не тямлю, якъ пробигъ я пятнадцать верстовъ и не чувъ втомы, не зважаючы на свои ноги натружени... Въ Бобрыку вже спалы, нигде не свитылось... Ставъ я край села та й наче опам'ятався. Якъ же я помщуся?... Теперь сплять у двори, не пустять мене до пана, звяжуть ще, мовъ злодія якого... Сивъ я на дорози й почувъ, що въ мене болять ноги... Сыжу, схывышы голову на груди... и вразъ зробылось мени до всего байдуже, наче не мене скрывджено, наче те, що сталось, не мое лихо, а чуже, далеке... Богъ зъ нымъ, зъ паномъ, зъ помстою, зъ усимъ на свити... и чогось жалко мени стало, тужно такъ, журно... Передъ очыма имла знялась, видгородыла мене видъ свиту цилого... Байдуже!... Помалу-малу зъ имлы той выткнулась выразно Марія,—така сама, якою бачывъ я ии пидъ фигурую,—глянула на мене глыбокымы очыма й упекла мене тымъ поглядомъ... у саме серце впекла... Скочывъ я зъ земли, порвавсь у бикъ, якъ до села, й затысь кулакы.—Помщусь—и васъ загублю, й самъ пропаду! Однако!—думавъ я, похожаючы по полю пидъ селомъ та чекаючы, щобъ розвыднылось... И вже холодна ничъ не прохолодыла мене, а додала тилькы звагы... Добре такы развыднылось, якъ я подавсь у двиръ. Тамъ вже повно було якыхсь судовыхъ. Казалы, що прыйихалы продаваты двиръ за довгъ. Я до слугъ—покажить мени пана Гаевського, дидыча вашого,—а самъ не тысну нижъ у жмени, ни—ажъ пальцы заклакы...—Нема,—кажуть,—пойихавъ десь...

— То ты бувъ у мене въ Бобрыку? — забелькотавъ Лука.— То моя Марія була твоею суженою?... А я й не знавъ... а я й не видавъ...

— Якъ?—скочывъ Свырыдъ,—то ты панъ Гаевський?...

— Бувъ колысь... бувъ колысь, брате мій, поручыкъ Лука Ивановычъ Гаевський, село мавъ, а теперь—його сятельство господынъ матульнякъ, дидычъ миського рынштоку!... Смирр—но-о!—заверещавъ винъ п'янымъ голосомъ и бовтнувъ ногою по води, простягаючысь на бикъ.

Якась сыла шарпонула Свырыдомъ. Згадки колышнього, що вже чотыри роки, якъ промынуло, але колышнього гиркого, болючого, прынесли зъ собою и видгоминъ той жадобы помсты за знивечену долю, що колысь владно запанувала надъ покрывдже-



нымъ... Якась сыла шорпонула Свырыдомъ. Але глянувши на п'яного ворога, що засынаючи тилькы толубомъ лежавъ на суходоли, а ногамы въ води, винъ зъ сгыдою видвернувся и слыве выбигъ на прыкрый беригъ.

— Хай вода свята помстыться за мою кривду!... Хай вона забере тебе!...—казавъ Свырыдъ до себе, важко видсапуючи.

Винъ хотивъ бигты, але зупынивсь. Слыве надъ самымъ вухомъ його розтявсь пронизуватый свистъ и, погрюкуючы та мыгтячы осяянымы викнамы, промчавсь потягъ, перепыняючи Свырыдови дорогу.

За сю хвылыну въ души Свырыдѡвѣй счынылась боротьба. Його сердце то гвалтомъ намагалось помсты, то страхалось за-пропастыты жыття людське, статысь прычыною смерти людыны. Боротьба та тяглась одну-йно хвылыну; якась почуття взяло ма-буть гору, перемогло, бо Свырыдъ вернувся до Дунаю, де по колина въ води лежавъ п'яный Лука, похрапуючи носомъ. Свырыдъ на превельку сылу вытягъ зъ воды Луку, хочъ той вовтузавсь зъ нымъ та белькотавъ щось кризь сонъ; звивъ його и слыве понисъ вулицею. Проходячы повзъ одну хату, Свырыдъ затремтивъ увесь та мало не впустывъ Луку на землю: на порози, осяяна свитломъ зъ хаты, стояла якась молодыця й йому здалося, що то Марія. Свырыдъ запровадывъ товариша до шынку. Лука наче опрытомнивъ трохы, побачывшы знайому обстанову. Винъ похытавсь трохы на нетвердыхъ ногахъ, стукнувъ кулакомъ въ стиль и гукнувъ на всю хату:

— Око „джину“ для його сїятельства пана матульняка!... „Диграбе!“—и вылаявсь поганою молдуванською лайкою.

Свырыдъ выскочывъ зъ шынку дуже зворушенный прыгодамы й подавсь назадъ до той хаты, де на порози бачывъ жинку. Жинка й доси стояла на тому жъ мисци. Свырыдъ наблызавсь до ней, зазырнувъ їй у облыччя та й пизнавъ Марію.

— Маріе!—сказавъ винъ тремтячимъ голосомъ и нервово скинувъ шапку зъ головы..

Жинка жажнулась, пидійшла до Свырыда й пыльно глянула на нього.

— Свырыдъ!...—прошепотила вона, подаючысь назадъ.

— Маріе!...—и вразъ сыльнымъ рухомъ роздеръ винъ свою шапку на-двое и кынувъ їи пидъ ноги Маріи.

— Отакъ зъ моимъ сердцемъ!—додавъ.

Хвылынку обое стоялы нерухомо,—вона зъ спущенымы доли очыма, винъ блидый и тремтячый.

— Маріе!—наблизывся Свырыдъ до неі й узявъ за руку.—Скажи мени, що зъ тобою було?...

Марія звела на нього очи и, мовъ горохъ покотывся, за капалы зъ ихъ слёзы. Вона заплакала, жалибно хлыпаючы, мовъ дытына.

Свырыдъ видвивъ іи на бикъ, пидъ барканъ.

Марія, облываючысь слізъмы, оповидала йому про свій соромъ несвитський, про те, якъ вона зъ дытыною малою, боячысь вернутысь до дому, тынялася по наймахъ, тяжко бидуючы, якъ урешти вмерла ій дытына, якъ якась пани завезла іи до Рени, де вона стала за наймычку въ Грека, що держыть шынокъ... А Свырыдъ слухавъ мовчазный, не обзываючысь и словомъ, не оповидаючы ни про свои муки, яки вона завдала йому, ни про думку помстытыся на ній за зраду.

— Просты мени, Свырыде!—скинчыла бланганямъ Марія.

— Най тоби Богъ простыть... Слухай, що скажу... Не маю я воливъ круторогыхъ, нема въ мене й червинцивъ у череси... Йе въ мене сами руки—отси жылави та роботящи, що не злякаються жадной праці... Годувавсь я зъ ныхъ доси, выгодую й родыну... Якъ я тоби не гыдкый, Маріе, не обрыдлый, то будь мени дружыною та помандруемо на Молдаву, щобъ нищо не прыгадувало намъ лыха нашего...

Марія хотила кынутысь йому на шыю, але не посмила и тилькы видповила ревнымъ голосомъ:

— Спасыби тоби!..

А другои дныны рано вранци, колы ше „дидычъ миського рынштоку“ солодко спавъ десь на вулыци, загорнувшысь небомъ, Свырыдъ та Марія вырушылы въ дорогу. Вони подалысь на Джурджулешты, ажъ пидъ Слободзею, де, якъ кажуть, лекше перехопытысь черезъ вузькый Прутъ, лекше обмынуты кордонну варту... Зъ плавнивъ знявся билый туманъ, сывымы хмарами покотывся по тыхому Дунаю, закрываючы блакытни горы, заступаючы свить сонця... Мрака ся вищувала однакъ чудову дныну... Такъ и въ серци подорожнихъ зорила надія на щасну долю, що розвіе колысь и сами згадки сумного мынулого...

1893.

## Х о.

К а з к а.

— \* —

I.

**Л**ись ще дримає въ передранишній тыши... Непорушно стоять дерева, загорнени въ сутинь, рясно вкрити краплыстою росою. Тыхо навкругы, мертво... Лышь де-не-де прокынется пташка, непевнымъ голосомъ обизветься зи своего затышку. Лись ще дримає... а зъ сынимъ небомъ вже щось діється: воно то зблидне, наче видъ жаху, то сплахне сяйвомъ, немовъ одъ радощивъ. Небо минуться, небо грає усякымы барвамы, блидымъ сяйвомъ торкає вершечкы чорного лису... Стрепенувся врешти лись и соби загравъ... зашепотили збуджени лысточкы, оповидаючы сны свои, заметушылась у травыци комашня, розитнулося въ гущыни голосне щебетання й полынуло високо,—туды, де небо минуться, де небо грає всякымы барвамы...

На галяву выскакує зъ гущыны сарна и зачарована чудсовымъ концертомъ, зупыняється, вытяга цикаву мордочку до кривавои смугы обрю, що червоніє на узлисси помижъ деревамы, и слуха.

Полохлывый заяць, прычаившысь пидъ кущемъ, прыгына вуха, вытрища очи й немовъ порына весь у море лисовыхъ згукивъ...

Ажь ось рынуло видъ сходу ясне проминне, мовъ руки—простяглось до лису, обняло його, засыпгло самоцвитами, золо-

тымы смугамы впало на сыню видь росы траву на галяви, де гостро на тли золотого свитла выризняється струнка постать сарны.

У сю вельчню хвылыну тыхо разгортаються кущи, и на галяву выходыть—Хо. Мовь тумань той, сыва борода його мягкымы хвылямы спада ажь до нигь, черкається росяной травы. З-пидь билыхь, кострубатыхь бривь, зь глыбокыхь западынь вызырають добри, а лукави очи.

Выйшовь Хо на галяву, сперся на сучковатый костурь, майнувь довгою бородою—и повиявь одь неи тыхий витрець, холодною цивкою вдарывь у дерева. И вразь затремтило молоде лыстя, зашамотило, струсыло зь себе дощь самоцвитивь. Жажнулася сарна й счезла въ гущыни, лышывшы зелени слиды на сыний видь росы травы. Страхь обгорнувь зайця, додавь ще бильшой прудкосты його ногамь... Сполохалысь пташкы й въ одну мыть ущухлы. Тыхо стало въ лиси—страхь, якь тыхо. Тилькы бородастый дидугань Хо, старече хихикаючы въ бороду, стоить на галяви...

— Хе-хе-хе! И чога жахаються, дурни?—шамкае винь беззубымь ротомь.—Дида Хо, що свить прозавь страхомь? А дидь цилкомь и не страшный. Ось погляньте!... Та ба—тымь то й лыхо, що вы не зважытесь звесты очи на дида, тымь то винь и в'яляється вамь страхомь... Хе-хе!... И завжды такь... и вси такь... Ни, не брешы, старый—не вси... На твой довгий, тысячолігній ныви жыттьвой не одна стривалась истота, що смильво зводыла очи до горы, видважно зазырала тоби въ вичи й тоди... О, тсди гарно було обомь намь... бо смильчакь, перевирывшысь, що жажався по дурному, набиравсь новои, ще бильшой видвагы, а ты, старый, чувь, що може незабаромь дасы спокій натрудженымь кисткамь... Жахаються, а не знають, що страхь тилькы й истніе на свити полохлывистю другыхь, що старый Хо порохомь розсыпавь-бы-ся, колы бь усе жывуще хочь разь зважылося глянуты йому въ вичи... Хе-хе! Дурни, дурни... Тилькы стари ноги труджу черезь дурнивь... Оть, якь втомывся!... э-э!...

И Хо справи зь велькою напругою ворущыть ногамы, кречке та, опираючысь одною рукою на костурь, а другою разгортаючы довгу сыву бороду, сидае на травы спочыты.

Хо сыдыть посередь галявы, а навкругы його пануе мертва, прыкра тыша. Все жыве, затаившы духа, не спивае, не крычыть,

не ворухытыся, не жые. Видъ ведмеда до мурашки—все спарализовано страхомъ. Рослыны бояться навить тягты сикъ зъ земли, пыты холодну росу, выправыты зибгани лысточкы, розгорнуты звынени на ничъ квиткы. Пустотлывый парусъ сонця зупыняеться въ зеленій гущыни и лышь здалеку прыдывляеться до сывои, мовъ туманъ той, борода дида Хо, и не видважуется наблыжытысь, не вважачы на непереможе бажання попустоваты зъ тою бородою...

Хо сыдыть на росяній трави, а стара пам'ять його пидсовуе йому образы колышнього, образы, де свижмы, яскравымы фарбамы малюються поді духа людського. Ось и ти высокѡсти, на яки здйнятыся може вильный духъ людскый, а ось и ти провалля, де на дни самому, скутый якъ невильныкъ, плазуе винъ у пороси й темряви... Ось, волочучы кайданы, покволомъ, викамы цылымы, проходятъ люде—забыти, залякани люде й не насмилюються звесты очи на Хо, глянуты страхови въ вичи... Хо знае, що тилькы одыныци зважуются на се, а зважышысь, знаходять сылу розбыты кайданы... Ой, колы бъ хочъ одыныць тыхъ було бильше, може не довелося бъ старому мордуватись отакъ, блукаючи по свитахъ, може бъ зложывъ винъ свои кисткы въ домовыну, бо вже ти кисткы давно просятыся на спочынокъ... Эхъ, колы бъ... а тымъ часомъ страхъ владно пануе на земли, змагаеться зъ прыязнею, зъ чеснымы порываньямы, зъ обов'язкомъ, ламле жыття, безсылымы чыныть не то поодынокыхъ людей, ба й цили народы.. Страхъ! Прыщеплений дытныи, выплеканий аномальнымы умовамы суспильнымы, винъ стае чипкою пошестю, робытыся потугою, що тамуе вичный поступъ усього живучого... Страхъ!... Хо—страхъ! А який зъ його страхъ, колы винъ выразно почувае себе порожномъ, немичною руиною, яку тилькы полохлывость людська жене зъ кинця въ кинець свита, наперекирь воли Хо робыть його злымъ геніемъ людскосты... Эхъ, доле, доле щербата! Товчысь, мовъ Марко по пекли... Отъ и теперъ: гарно навкругы, спочыты бъ, а пора на роботу... на роботу! Хе-хе! Ну, вставай, диду, пора!...

Хо ще разъ глянувъ на мовчазну прыроду, звився, обгорнувся, якъ туманомъ, сывою бородою й подався стежкой зъ лису на шляхъ.

А лись ще якусь хвылынку стоявъ нерухомый, мовъ мертвый. Дали—деревы затремтылы, стрепенулысь, разгорнули лыс-

точки... Проминь стрибнувъ на полянку просто до звненихъ квитокъ, пташки заспивалы, комашня заметушылася, лись загомонивъ, прырода зновъ виджыла...

## II.

Вечирь. Диты вже напылыся чаю й гуляють; старше, хлопчыкъ рокивъ шесты, сыдыть доли бия шафы й уважно будзе зъ цурпалочкивъ хату. Менчу, по другій весни дивчынку, забавляе нянька, показуючы, якъ сорока варыла дитямъ кашу. За столомъ, бльжче до лямпы, що кризь молошный кльошь розльвае мяжке свитло по хати, сыдыть зъ шытвомъ маты. Вона рада, що диты втыхомырылысь. Ой ти диты! Двое ихъ, а такой галась справляють, що ажъ голова паморочыться. Але теперь тыхо. Чутно тилькы, якъ муркае на канапи кить та нянька стыха прыспивуе: „со-ро-ка, во-ро-на диткамъ кашу ва-ры-ла, на порози студыла!“... Дытына зъ щаслывою усмишкою розгортае дрибненьки пальчыкы пухкою ручки, намагаючысь, щобъ нянька показала, котрому сорока дала кашы, а котрому голивку скрутыла. У-решты ся забавка докучае дытны; вона почына човгатысь на рукахъ у нянькы, намагаючысь до ката.

— Кыця!

Але „кыця“ добре пам’ятае болючи пестоши маленькои деспоткы й дипломатычно клипае очыма, не рушаючысь зъ мисця. Ажъ ось нетерпляча ручка досягла до ката, хапа його за вухо й тягне до себе. Кить скулыть очи, жалибно нявчыть... дали жъ, немовъ диткнутой электрычною искрою вырывается й тика пидъ комоду, лышывшы на руци мучытелькы червоный слидъ гострыхъ пазуривъ. Счыняється верескъ...

— Що тамъ таке, Марыно?—кыдае роботу маты.

— Та то проклятый кить дряпнувъ дытнуу...

— У тебе все щось станеться... Забавъ ии заразы! Чуешъ, якъ зайшлася...

Почынається гуцукання. „Ну тыхо, не плачь, гопъ—гопъ! гу-цю-цю!... А-а! погана кыця! мы жъ тоби дамо!... Ну, цыть же, цыть... гопъ-гопъ! гу-цю-цю!“.

Але надаремно. Дытына ажъ заходыться.

— Ну, цыть же, цыть! бо якъ не будешъ тыхо, то я тебе заразы виддамъ дидови Хо!—сердыться нянька й пидносить ды-

тыну до викна.—О, бачъ, стоить дидъ Хо зъ торбою на плечахъ... Скоро крычатимешъ, заразы кыну въ торбу... На тоби ии, диду Хо, на!..

Дытына здоровымы очыма вдывляється въ питъму, що чорніе по-за викномъ, и затыха... Въ очахъ, ще мокрыхъ видъ слизъ, малюється жажъ... Такъ, ти очи бачуть у таемнычій питъми постраха дитей—Хо, страшного, бородатого диди, зъ величезною торбою за плечыма, повною неслухняныхъ дитей. Якыйсь холодъ торкається деликатного дитського тила, щось бере з-за плечей, лячно такъ, плакаты хочеться, а не можна... Дытына на сылу видрывае очи видъ викна й ховае голову въ нянькы на грудяхъ.

И зновъ тыхо въ хати.

— Мамо!—збуджуе тышу хлопчыкъ, кыдаючы свою будивлю.— Мамо! А де теперь сонце?

— Сонце?... Сонце теперь спыть.

— А де жъ його хата?

— Оттамъ за горою, де воно сидае...

— Тамъ, де жыве лисныкъ Панасъ?

— Эге... Але тоби спаты часъ, дытыно!

Дытына однакъ наче не чуе матерынои увагы. Вона пидбига до матери й спирається ий на колина.

— Мамо! А чы сонце мае диты?

— Мае.

— А де жъ воны?

— Де? а на неби... оти зирочки, що въ ночи сяють, то то диты сонцеви...

— А чомъ же воны теперь не сплять?

— Бо воны за день выпалысь, а теперь граються.

Павза.

— Мамо! я хочу до Петрыка!..

Петрыкъ—се сынъ куховарчынъ, що бавыться часомъ зъ панычемъ.

— Не можна, Петрыкъ слабый...

— А я йому занесу яблуко...

— Не можна—сказала!

— Ма-а-мо! Я хо-о-чу до Пе-е-тры-ка-а!..

— Охъ, Господы! Одно скинчыло, друге починое... Цыть мини заразы!.. Не пидешъ!

— Ма-а-мо! до Пе-е-тры-ка-а!..

— Чы не замовкнешь ты мени?... Марыно, а заклучь-но дида Хо!..  
Марына пидходыть до викна й грюка въ шыбку.

— Диду!.. диду Хо!.. а йдять-но сюды... а визьмить-но соби не-  
слухняного паныча!... „Заразь!“—видповидае вона соби за Хо  
пидробленымъ басомъ и видходыть видъ викна.

Хлопецъ добре розуміе Марыныну штуку; винъ не вирыть,  
щобъ то Хо промовывъ те „заразь“ такимъ невдатнымъ басомъ,  
однакъ йому стае страшно. Винъ видходыть до канапки, якъ  
можно дали видъ викна, и почына бавытысь папирцемъ, бгаючы  
його въ човныкъ. А тымъ часомъ фантазія хлопцева вперто пра-  
цую надъ фигурою Хо. Яки въ його очи? Мабуть червони, якъ  
у трусыка... А нись певно такой довгый та гострый, якъ у кухо-  
варкы... а може ще довший... Борода била та довга—ажъ до п'ять...  
рукы... Хлопцеви вразъ уявляються залізни тройчака, що стоять  
у стодоли—таки руки въ Хо... конче таки... Йому стае ще страш-  
нійше, винъ боиться поворухнутысь, боиться зустритысь очыма  
зъ таемнычою питьмою, хочъ щось такъ и тягне його глянуты  
въ викно, такъ и тягне, такъ наче шепче щось: „А подывысь, а  
подывысь!“ Хлопецъ не може опертыся бажанню глянуты въ ви-  
кно, звэдыть очы... и весь холоне... Тамъ, на чорному тли шыбокъ  
щось биліе... то Хо... Божевильный жахъ обхплюе дытну, по-  
шыршуе зиныци, вытяга облыччя, ворушить волоссямъ на голо-  
ви, душыть за горло...

— Диты, спаты! Пора вже!... Марыно, клады дитей спаты!...—  
розтынається голось матери й будыть, якъ зи сну хлопця.

Марына ставыть хлопця на молытву.

— „Отче нашъ, що на неби...“—непрытомно проказуе винъ за  
нянькою, а самъ дывытысь въ бикъ, на викно. „Нехай буде воля  
твоя, якъ...“ Ой тамъ щось рукамы маха, ажъ по викни шкряба!—  
тремтыть хлопецъ.—„Хлибъ нашъ щоденный...“

— Нянько, тамъ щось дывытысь въ викно... я боюсь...

— Выгадуйте, выгадуйте, то такы визьме васъ Хо въ торбу...  
Ну, проказуйте зновъ: „Хлибъ нашъ щоденный дай намъ сьогодни...“

Але хлопецъ вже не слухае нянькы, винъ не може видир-  
ваты очей видъ викна. Те викно прытягуе його увагу, захоплюе  
вси думкы, запановуе цілою истотою. У викно те дывытысь  
чорна, таемныча темрява, повна фантастычныхъ истотъ, уся-  
кыхъ дывъ, повна страхиття... Й все се тыснытысь до викна,  
зазыра въ хату, ось-ось пролизе кризь дирку въ розбытій шыбци,



або зъ лоскотомъ видчыныть викно, кынеться до нього, наповняючы хату дыкымъ реготомъ...

Ажъ ось и лижка. Хлопця роздягнено, винъ кутається въ ковдру. Нянька поправля ще щось и гасыть свитло.

— Марыно, посыдь биля мене... я боюся...

— Ото выгадалы! Спить, мени никола сыдиты биля васъ...

Въ хати стае темно и тихо. Хлопець широко розплющеннымы очыма вдывляється въ темряву, напружуе слухы, боячысь пропустыты який зрадливый згукъ. Тыхо. Такъ тыхо, що навить калатання серця выдається глухимъ стукотомъ молота по чомусь мягкому. Уразъ... трисъ!... Що се? Увага хлопця збільшується до можливыхъ граныць... Уся кровь збигається йому до серця, сердце почына быты на квалтъ... О, зновъ щось зашелестило, зашкрябало... То—Хо. Ось у чорній, якъ чорныло, питми выразно биліе борода його... ось простягається довга, костьста рука... наблыжається до плечей, розгорта надъ ными свои сухи пальци... Обгорнений невымовнымъ жахомъ, утыкае хлопець голову пидъ подушку, скорчується пидъ ковдрою, инстынктово намагаючысь статысь маленькымъ-маленькымъ, яко мога меншымъ... щобъ „страхъ“ не мигъ помитыты його... Винъ затамовуе навить виддыхъ, боячысь податы знакъ жыття, боячысь зрадыты свою прысутнысть у хати...

А тымъ часомъ чуе винъ, що биля лижка стоить Хо й простяга надъ нымъ свои довги, мовъ зализни тройчака, руки й черкається сухымы острымы пальцамы його плечей...

Холодный питъ видъ головы до п'ять облыва дытыну, божевильный жахъ побильшуе зиныци, видбира голосъ, деревыныть тило... И довго такъ лежать бидне хлоп'ятко, нерухоме, тремтяче видъ жаху, мокре видъ поту, ажъ тривожный сонъ, прылынувшы, заспокоюе нарешти змордовану офиру полохлывости...

— Хе-хе-хе!—сміється Хо пидъ викномъ, де лежить хлопець.— Хе-хе-хе! И жаль, бере и видъ смиху не можна здержатысь! Смишно, колы прычыною страху бува лышь розпалена уява, а жаль... бо хто разъ спизнається зъ почуттямъ страху, не хутко може видкараскатыся видъ нього... Зросте дытына, змужніе, и багато сыль, вартыхъ кращои доли, змарнуе на боротьбу зи страхомъ, та ще добре, якъ переможе!... Шкода сыль, шкода часу... А хто выненъ? Гай-гай!—хыта головою Хо, загортаючысь довгою бородою та подаючысь у дальшу путь.

Наблыжається пивдень, червцевый пивдень, повный спеку й свиту. Свить хвлямы ллется зъ неба, сповняе повитря, несыто пожыра тини на земли, заганя ихъ пидъ дерева й куши, у гущину. На що вже бувають таемнычи холодкы, а й туды хочъ тоненькою цивкою протыснеться винъ и сміється, радый, що знайшовъ и тамъ свого ворога—темряву... Тилькы въ оту альтанку, що пидъ старезнымъ волоськымъ горихомъ въ садку, не пуска його дыкый виноградъ, зывшысь тисно й щильно въ одну зелену стину. Вже що не робыть свить—и зайчкомъ плыгае билиа альтанкы, пробывшысь кризь лыстя гориха, и золотою ситкою пада на землю, и мыгтыть, и перельвається, намагаючысь прысунутыся блыжче до темного закутка—та ба! Ніякъ не може. Ставъ на порози альтанкы, зазирае туды, а ввійты—дзуськы! Однакъ винъ помичае, що альтанка не порожня. Тамъ, на зеленій лавци, обкладеній дерныною, спершы голову на руки, сыдыть билиава панночка зъ смутнымъ облыччямъ. Бидна! Скризь теперъ весело, ясно, свить Божый скидається на рай,—а вона сумуе. Потишыты бъ їи, попестыты, та ніякъ увійты, бо та темрява розперлася въ альтанци, мовъ пани яка—и не пускае. На щастя панночка нервовымъ рухомъ зрывае лыстокъ виноградный, зробывшы тымъ маленьку шпарку въ зеленій стини. Зрадилый пустунъ скаче проминнямъ у шпарку й трапля просто на стиль, наткнувшысь на якийсь папирь. Що воно за дыво, папирь отой? Винъ почына прыдывлятыся до його й чытае зъ боку: „инспекторъ шкиль народныхъ“. Пустунъ трохы звомпывъ, перечытавшы тытуль такой важной особы, бо почувается до де-якыхъ провынъ школярськыхъ, але незабаромъ осмилюється й пробига змисть паперу. Въ палери стоить, що панна Ярына Дольська наставляється на вчытельку въ село С. Учытелька! Адже учытелька мае право картаты! И проминь кыдае на дывчыну выноватый, благаючы поглядъ. Однакъ облыччя дывчыны, блиде й деликатне, зъ выразомъ смутку та внутришнои боротьбы, не мае въ соби ничего гризного, що заспокоюе й осмилюе пустуна на стилькы, що винъ почына гратысь зъ грубою золотою косою дывчыны, цилуваты їи повни уста, бровы, зазыраты въ велькы сыви очи. А панни Ярыни не до пестощивъ. Вона видсувается видъ докучлывого проминя й схыляється надъ паперомъ, чытаючы

його може въ сотый разъ. Такъ, сей папирецъ дорого коштувавъ їй! Щобъ здобути його, вона мусила на сампередъ счыныти боротьбу зъ собою, зи своїмы звичкамы, поглядамы, традиціямы; мусила посварытысь зъ батькомъ, якого такъ кохае, довесты до слизъ та нарикання матирь. Але се була тилькы прелюдїя, и поky тяглася вона—дивчына почувала въ соби сылу боротыся й перемогты. Теперь же, зъ папирцемъ сымъ, мусыть початыся акція, такъ нетерпляче очікувана акція... и дывна ричъ! Панна Ярына въ сю ришучу й важну хвылыну почувает, що сылы їи меншають, слабнуть, що вона вже не здатна до боротьбы. Невже въ неи стало энергїи тилькы на прелюдїю?

Панна Ярына складае руки на столи й безсыло опускае на ныхъ свою русяву голивку.

Колысь вона була щасливою дытыною, коханою одыначкою багатого дидыча. Одыгнена въ оксамытъ и шовкъ, пересвидчена, що найдрибнїйши забаганкы їи будутъ заспокоени, оточена роємъ услужныхъ бонъ та служебокъ, вона весело стрибала по велькыхъ кимнатахъ палацу, по тиныстыхъ алеяхъ батькивського парку. Незабутня пора!

Одно тилькы дратувало Ярынку, робыло їй навить прыкрить—се заборона бавытыся зъ селянськымы дивчатамы та хлопцямы... Фи! „Хлопськы диты“!—якы въ ныхъ манеры, яка груба мова, яка моральнисть! Адже то „быдло“, а не люде!—чула вона навкругы. Однакъ мала Ярынка, пидъ впливомъ оточення, мало-помалу оговталася зъ такымы поглядамы, ба й сама стала въ таки видносныны до „быдла“, у якыхъ булы батько та маты. Вона небавомъ зрозумила, що мужыкивъ сотворено лышь на те, абы ораты батькови ныву, служыты за фирманивъ, кухаривъ, робитныкивъ. Навить бильше. Вона сердечнїйше видносылася до справжнього „быдла“, ніжъ до той „ныжчої расы“. Колы для забавы панночки прыводылы передъ кганокъ мале телятко, або визныкъ прыносывъ щенятъ, Ярынка обїймала ихъ, цилувала, пестыла, знаходыла „чудовымы“, тоди якъ на дивчыну, дочку наймычкы, не звертала вже найменшой увагы, наче то була не людына, а килокъ, забытый на свому мисци. Словомъ—Ярынка стала панночкою, якъ и їи прыятелькы, сусидкы зъ другыхъ селъ.

Мыналы року, збыльшуючы той муръ, що стоявъ межы дворомъ а селомъ. Зъ одного боку булы паны, зъ другого—„быдло“. Выросла Ярынка на панну Ярыну й мусила позбутысь думкы, що

все, що їй оточує, належить до батька, або може бути куплене батькомъ за гроши. Ярына знала вже, що батьки їй бидніють и хочъ не показують сього передъ людьмы, навить трыбъ жыття не зминують, але почувзється вже потреба негайной ликвидациі интересивъ для забезпеки хочъ неласого шматка хлиба.

Тымъ часомъ дозвилля (а сього добра въ панни Ярыны було чымало) вкупи зъ допытльвымъ розумомъ напрямлы дивчыну на кныжки. Пожыраючы безъ ладу сотни томивъ, Ярына вмила однакъ зібраты въ головци проминня мысли, розкыдани тамъ, видгукнутыся серцемъ на чесни й высоки порывання. Прыродня щыристь стала тутъ у прыгоди. Правда, кожна нова думка, що не згоджувалася зъ їй дотеперишнимъ свитоглядомъ, выклыкала цилу бурю въ молодій, незмицилій ще души, але муръ, що виддилявъ їй видъ села, валывся й видкывавъ не „быдло“, а справжнихъ людей, зъ людськымы интересамы, болямы й радощамы. Ярыну зацикавыло се невидоме їй „мужыцьке царство“. Вона почала прыдывлятыся до нього, на скилькы се було въ їй змоси,—и налякалась темноты й убожества, що панувалы тамъ. Боже! побичъ жыють люде, браты їй, и ныдіють въ темряви та злыдняхъ, колы вона збыткується працею рукъ ихъ?! Чы жъ писля сього можна назваты себе людыною? Чы жъ писля сього можна добачаты въ соби образъ Божый?... Ни, годи! Розбыты пута, що видъ вику сковують били, неробучи руки, скынuty полуду зъ очей и чесно та смильво звернуты скрывдженымъ те, що до нихъ належить. Доволи быты лялькою: колы людына—то людына, и довесты се треба диломъ, а не словомъ.

Дивчына запалылася до працы, до діяльности, поклала прысвятыты жыття свое для тыхъ, що доси працювалы на неи. Такъ справедливистъ каже. Вона буде вчытелькою, вона понесе свить у темряву, потиху—смуткови, помичъ—убожеству. А що вдома чекае на неи буря, такъ що жъ,—хиба вона не вынесла вже бури сама въ соби, колы нови думкы, нови почування стрилыся зъ їй первиснымъ свитоглядомъ?

Дома справди счынылася колотнеча. На Ярыныни планы стари спершу дывылыся, якъ на дывоглядни забаганкы пещенои дытыны, але побачывшы, що не жарты--звонпылы. Сльозы, бланганья, спазмы, проклоны—похытнули завзяття дивчыны. Але вона перемогла себе : поставыла такы на свому. Замовкыла батькы, затаившы смутокъ у серци, однакъ не тратылы надїи, що часъ,

або якый випадокъ звернуть имъ дытуну, прытулять ии зновъ до чулого, батькивського лона. И випадокъ, на якый рахували стари, лучывся, погиршучы й безъ того важку ситуацію. До Ярыны посватався багатый сусидь-дидычъ. Ярына спершу й слухаты не хотила про шлюбъ, дали жъ, скоряючысь передъ батьковою волею та бланнныма закоханого сусида, выпрохала соби тры дни, щобъ розважыты все та помиркуваты, покы дасть ришучу видповидь. И власне другого дня посля сього прыйшовъ видъ инспектора довго очикуваний папиръ; прыйшовъ, и замисть заспокоиты—збурывъ, сколотывъ ии спокой, зи дна души пиднявъ сумнивы, пидтявъ виру. И ось теперъ сыдыть Ярына надъ тымъ паперомъ, безсыло опустывшы на руки русяву голивку...

Вона не рада тому паперову. Такъ, не рада... Ще недавно, ще позавчора, якъ Бога зъ неба, выглядала його, а ныни—не рада... Ричъ певна, що вона не зречеться своихъ замиривъ... Вона ламле все—и йде туды, де ий слидъ буты... И не те, щобъ вона не рада була... а такъ, не налагодылася до нового жыття, не звыкла ще до думкы, що завтра покыне батькивську стриху... По-кы-не бать-кив-ську стри-ху... Бррь!... Ну, и чого тремтиты? Ой, ти нервы... Треба себе взяты въ руки, бо нервы непотрибни для тыхъ, що йдуть на боротьбу. Аджэ скилькы дивчатъ пишло вже по тій стежци, що стелыться передъ нею... Правда, бильшости дивчатъ тыхъ лекше було початы нове жыття, нижъ ий, бо бильшисть ихъ выйшла зъ родынъ убогихъ, зъ такыхъ, де кожне ще зъ молокомъ матери, всысае потребу пради для шматка хлиба. Тамъ уси працюють, уси заробляють... Тамъ нема традиций, яки бъ багномъ закалялы все, що вырывається зъ зачарованого кола эгоизму та кастовыхъ интересивъ.

— Зачароване коло... Охъ, те зачароване коло!...—шепотять блиди уста дивчыны.—Чы стане жъ у мене сылы, чы стане видвагы розирваты його, выиты въ свить шырокий на боротьбу зъ тымъ, що воно замыкае? Добре, я розирву його, я выйду звидты. Але чы перетрываю, проклята родыною, осмияна подругамы, одна середъ невидомого мени шырокого свиту?... Де ти сылы въ мене для боротьбы? Де той гартъ, що мигъ бы служыты порукою перемогы? Я—теплична рослынка... выбуяла въ штучному тепли, въ душній атмосфери теплицы... Перша буря зламае мене, вырве зъ кориннямъ... И замисть бажаной корысты, жывымъ докоромъ стануть передъ мене закривавлени сердца родыны й мое власне роз-

быте, знівечене жыття... Боже! що се зи мною? Звидкы легкодухисть така? Що варте жыття мое передъ необмежnymъ моремъ людського страждання?... Ни, годи... Питы туды, куды сердце клыче й обов'язокъ... Зъ сылою, яку я почуваю въ соби, зъ сылою любви—можна багато зробыты... Тилькы не лякатысь, тилькы не тратыты надіи и... все буде добре... Що тутъ довго думаты? Адже давно вже ришыла я початы нове жыття. И почну, и кинецъ на тому, и ничего мыслыты, и ни надъ чымъ миркуваты... Корабли спалено... И чого я тремчу вся? Чого?... Дурю себе видвагою, колы чую, що сылы мои слабнуть, що я легкодуха, ничемна истота?...

Ярына повнымъ розпуки рухомъ заламуе руки й видкыдае назадъ, на зелену стину винограду, свою бияву голивку зъ облыччямъ, покритымъ тинямы муки та внутришньої боротьбы.

А въ тремтячыхъ тиняхъ гориха стоить Хо й зазира въ темну альтанку, и хыта старую головою, и віе холодомъ зъ бороды.

— Гай-гай!—шепотять його старечи уста.—Стилькы сылы молодой маты, маты жыття циле передъ собою—и не зважытыся статы до боротьбы зъ дидомъ, зъ порошномъ, що не ныни—то завтра разсыплеться! Хе-хе!... Та глянь-бо, подывысь!... Подывысь, що на мени нема той мантіи традицій, у яку ты загорнула мене... Де тамъ! Не хоче... Не зважытыся й очей звесты на дида... Гай-гай!...

— Ну и доля!!--мымыть дали Хо тономъ раздратованья.--Кожне уявляе соби мене, якъ хоче. Для одного я—зъ торбою на дитей, зъ рязкою въ рукахъ; другой убирае мене въ шаты традицій, поговору, забобонивъ; третій тремтыть передо мною, якъ осыка на витри; четвертый... а все зле та немудре! Колы жъ скинчытыся мука моя, колы жъ спочну вже, колы вже поховае мене смилывисть людська?... Ну й доля, ну й люде! Ажъ мене злысть розбира!...—бубонуть старый соби въ бороду, що мягкымы сывымы хвылямы злывається зъ легенькымъ паромъ, выссанымъ сонцемъ зъ вохкой, теплои земли.

— Чекай же,—каже винъ дали,—хочъ помщусь на тоби, полыхыва истото, хочъ полякаю тебе... Ты хочешъ статы до боротьбы зъ потужнымъ ворогомъ—зъ убожествомъ та зъ темнотою? Добре!... А чы маешъ ты сылы до той боротьбы—ты, слабосыла жинко? А глянь-но, панно, у свое жыття мынуле, щд ты звидты вынесла? А ну, подывысь!...

Ахъ, те жыття... Безжурне, у достаткахъ, у роскошахъ— воно тилькы розпестыло ии, ослабыло волю... звидтиль вынесла вона саму незарадність, непрактичність... Ни, те жыття ничего бильшь не дало, не въ ньому шукаты джерела сылы...

— И зъ такымы засобамы ты гадаешъ боротыся,—шепотыть Хо.—А чы видаешъ ты, нерозумна дивчыно, що видъ тебе вид-каснется родына, скоро ты пидешъ на-перекирь ий, що вси, зъ кымъ ты жыла доси, закаляють тебе болотомъ, яко зрадныцю ихъ кастовыхъ традицій? И до кого ты звернешся, колы, зламана боротьбою, запрагнешъ потихы, спокою? Хто пидтрымае тебе розбыту, зневирену?

— Правда... правда... Нихто! Одна... Нема ридной души, щобъ щырымъ словомъ, спивчуттямъ загоила раны сердечни, заспокоила, пидтрымала... Видризана, якъ скыбка видъ хлиба, самотня, якъ хрестъ на роздорожжи... Пустка навкругы, холодъ...

— А чы видаешъ ты,—пиддае Хо,—щó то недостаткы, убожество—ты, що зросла въ роскошахъ, що не робыла на шматокъ хлиба? Не страшно тоби змарниты въ неривній боротьби, до часу скласты въ домовыну молоде жыття?...

Боже! Усе проты неи: и люде, и становыще жинкы, и убожество... Усе наче змовылося, щобъ кынuty ии въ огонь, обсмалыты ий крыла, колы вона рвется лышь до свитла. И Ярына бачыть вже свои били, выпещени руки—худымы, чорнымы видъ пращи, бачыть красу свою змарнилу, зив'ялу, чые въ грудяхъ хорє, розбыте сердце, а за плечыма смерть... Смерть... не нажывшысь, не зазнавшы щастя, не зробывшы дила... Бррр!...

— Эхъ, зальшыты бъ краще вси си мри,—спокушае Хо,—та взяты видъ жыття все, що воно може даты для особыстого щастя, скорыстатыся зъ молодощивъ, бо, якъ кажуть—„не вернется весна“... А що тамъ хтось стогне, хтось пропадае—заплющыты очи, затулыты вуха, якъ робыть бильшисть—и моя хата зъ краю...

— Боже, яка мука стояты оттакъ на роздорожжи й не знаты, кудюю йты!... Щó робыты, що чыныты?... Боже!...—Ярына зъ розпукою заламуе руки и впадае въ тяжку задуму.

Вразъ ии будять дэвинкы голосы. То дивчата-робитныци йдуть садкомъ на полудне.

— Чулы, дивчата, наша панна виддається! Тамъ такой гарный панычъ сватае, хочъ воды напыйся—чорнявый - чорнявый, а

очыма такъ и грае... Якъ я бачыла, прыйиздывъ, отсе вже буде день зо тры...

— Але виддаецься? Забожысь, Одарко!

— Прысяй Богу! А вона, чуєте, не хоче за нього...

— Слухайте, бояры, якъ князь бреше! А ты жъ звидкы знаешъ? Може той панычъ до тебе гравъ очыма, от-отъ невидко, якъ старостивъ прышле...

— Падку мій, смутку мій! А я бъ що зъ такимъ чоловикомъ подіяла, що робыты не годенъ?

— Отсе сказала! Адже Одарка швидко свого матыме—такого, що якъ гаворыть, то й носомъ грае, не тилькы очыма!

— А то-жъ! Э, не журиться, дивчата, кожна зъ васъ диждецься! Буде пробій-голова, а масты-головы не буде, ни!...

— Ха-ха-ха! Ну й выгадала, турокъ ты немырований!...

Середъ реготу та жартивъ промынула весела громадка дивчатъ альтанку, де сыдила Ярына, сполохана голосамы, зъ думкамы, що поплывлы вже въ другый бикъ.

Ии сватають. Такъ. Передъ нею видкрываецься особысте щастя, родынни втихы, достатокъ, жыття безжурне. Правда, вона не закохана, але ій подобаецься чорнявый сусидъ, вона ничего бъ не мала проты його замиривъ, якъ бы не почуття иныхъ обов'язкивъ, не инший шляхъ, що стелыцца передъ нею. Але вона стоить надъ тымъ шляхомъ и мучыцца сумнивамы й шукае выходу... Выхидъ йесть... Одно слово—и доля ии з'єднаецься на вики зъ долею другои истоты, що кохае Ярыну безъ пам'яты... Выйты замижъ? Хто се сказавъ? Ни, причъ усяки спокусы, усяки выкруты—вона йде за своею идеею!...

У ту жъ саму хвылыну въ дверяхъ альтанкы мыгнула тинь, и чорнявый хлопецъ, здймаючы брыля, пытае прыемнымъ баритономъ.

— Чы вильно сполохаты задуму вашу, панно?

Ярына жахаецься, блидне, щобъ заразы заллятыся кармазыномъ.

То винь прыходыть по останне слово.

Вона не встыгла опам'ятатысь, якъ винь трыма вже ии за руку й тыхо промовляе тремтячымъ голосомъ:

— Панно! Я не маю ще права выявыты вамъ, якъ я мучывся, чекаючы на слово, що выробыть сердце ваше въ одповидь на мои почуття й замиры. Я ще й доси въ непевности тремчу за долю



свою... и ще разъ важуся благаты васъ, панно Ярыно—не видіймайте видъ мене руки вашои, хай вона буде завдаткомъ нашего будучого щастя...

Ярына сыдыть блида, непорушна, зъ слидамы переляку та боротьбы на облыччю, але не видіймае руки видъ щасливого хлопця.

Хо не мае тутъ бильшь роботы. Похытуючы сывою головою та покректуючы, чвалае старый дали, шукаючы, де бь спочыты натомленою душею, натруженнымъ тиломъ.

#### IV.

Макаръ Ивановычъ Литко вставъ мабутъ зъ лижка ливою ногою, бо такъ йому сьогодни не по соби щось, усе його драгтуете, усе турбуе. У ночи, правда, змучывъ його поганый сонъ. Ото снылось йому, що въ його бувъ трусь, що при труси тому знайдено килька прымирныкивъ тоненького збирныка творивъ украинського поэта-самовродка Рябоклячки,—збирныка, пущеного nota bene цензурою, але выданого його коштомъ—и то въ великій таемныци, треба додаты. Непрохани гости гризно выпытували Макара Ивановыча, звидкы взявъ винъ таки страшни брошуры та яку цель мае трыматы ихъ, а Макаръ Ивановычъ, наляканий, зрошений цыганськымъ потомъ, брехавъ, що купывъ ихъ тилькы за-для ихъ дешевыны, маючы потребу въ папери для обгортання снідання свсимъ дитямъ-школярамъ, що винъ не знае, про що пышетъся въ кныжкахъ тыхъ, бо не вміе навить чытаты по вкраинському та що взагали ничего спильного зъ такъ званымы „Малороссами“ не мае й не хоче маты... Йому однакъ не понято виры, потягнуено його зъ дому, страхано в'язныцею, карамы, засланнямъ... Макаръ Ивановычъ выправлявся, прохавъ, мало не плакавъ, врешти почавъ пручатыся и... прокынувся. Прокынувся й сплюнувъ. А де жь! Прыснытъся жь таке, змордуе, нагодуете дрижакамы... Тьфу!... А все черезъ вечерокъ той вчорайшій у „молодыхъ“ Украинцивъ... Отъ якъ не хотилось йому йты туды, а треба було... Прохано старшыхъ; якось ніяково не питы. Ну жь и наслухався винъ тамъ! Се... се просто божевильни люде, ти „молоди“. Се... кандыдаты на шыбеныцю на кращый кинецъ! Давай имъ заразы все—и свидому вкраинську интеллигенцію, и народню освіту зъ добробытомъ, и ридню культуру, и героивъ

и патріотивъ, и грушки на верби, и зирку зъ неба!... Ни, винъ не мигъ дали слухаты, не мигъ пробуваты дали въ товариствіи шаленыхъ, що самохитъ идуть пидъ нижъ... Винъ просто втикъ зъ вечерныхъ, затульвшы вуха, озыраючысь, чы хто не помитывъ його навить близько хаты, де було зібрання.

Адже й винъ Українець, и винъ патріотъ... се доведено не разъ и не двичи. Хто, якъ не винъ, ще за часивъ студенства, висимъ мисяцивъ высидивъ у в'язниці?... Правда, не въ украинствіи шукаты всихъ причынъ того в'язення, але якось прьемно теперь, колы вже лыхо давно мынуло, заличыты тыхъ висимъ мисяцивъ на карбъ патріотычного страждання...

Дали—хто, якъ не винъ, пидтрымуе молоди таланты, такъ потрібни „Малороссіи“? Адже винъ не пожалувавъ 100 карбованцивъ на выдання творивъ самовродка Рябоклячки, а позаякъ творивъ тыхъ ниhto не купувавъ—на власни гроши набувъ сотню прымирныкивъ, щобъ послаты на село, до своихъ, и такымъ робомъ довесты, що, вирный демократычнымъ прынципамъ, не розрывае звязкивъ зъ народомъ, пам'ятае про його духови потреби... Адже вси знаютъ, що вже десять литъ збирається винъ напысаты наукову росправу на вкраинській мови, хочъ та мова страхъ яка бидна, яка нездатна до науковыхъ праць... Винъ згоджується, що не знае мовы... такъ якось не було часу вывчытысь... и черезъ те мусыть балакаты по московському, здобуваючысь инколы на макаронични фразы. Але тежъ видномо всимъ, що винъ все збирається простудіюваты трохи вкраинську мову... А на роковынахъ, на вечерныхъ—хто такъ патріотычно (безъ жартивъ!) пье горилку, такъ шыро заведе писни, вдарыть тропака?... А скилькы страху набратыся, скилькы натремтитыся, скилькы обережности треба, щобъ не зрадытыся передъ ворогами. И се ще не патріотызмъ? Мало на сьому ще? А воны патріотивъ шукають!...

Макаръ Ивановычъ здвыгъ плечыма й почавъ ходыты по покою взадъ та впередъ. Очеvidячки думкы си не заспокоили його. Щось ще турбовало його, залазыло до серця, зазырало пидъ шкуру комашнею. Макаръ Ивановычъ бувъ неспокойный. А ну жъ, бороны Боже, хто спостеригъ, якъ винъ увиходывъ або выходывъ зъ зібрання „молодыхъ“? А що тоди буде? Погана справа!... Лыхый понисъ його туды, до тыхъ божевильцивъ. Чы не краще то було питы „на винтъ“ до сусида? Атъ!... А тутъ ще сонъ такой, наче вишче щось. Погано... Э, що тамъ врешти сонъ—

дурныця. Воно якось не прыстало навить людыни зъ вышою освітою, зъ поважнымъ становыщемъ значного урядовця вирыты въ сны, якъ вирыты у ныхъ темна, неосвичена баба на сели... А проте на серци наче мыши шкрябають.

Макаръ Ивановычъ зупынивсь передъ дзеркаломъ, звидкы вызырнуло до його чепурне, але пом'яте вже облыччя зъ шпак-оватою бородою, зъ довгымъ украинськымъ носомъ, хытрымы сы-вымы очыма та выплеканымъ волоссямъ, що мовъ крымськымъ смушкомъ вкрывало йому голову. Кокетнымъ, навыклымъ ру-хомъ поправивъ винъ бороду й волосся, осмихаючысь до думкы, що не понизывсь ще курсъ його въ жинокъ. Але се не помогло. Сонъ та вчорайшій вечиръ не йшли йому зъ головы, дратували нервы. Винъ усе сподивавсь чогось лыхого.

У-разъ—дзвінокъ.

Макаръ Ивановычъ такъ и жажнувся, такъ и затремтивъ увесь. Неспокійнымъ поглядомъ окынувшы покій, немовъ бажа-ючы запевнытысь, чы тамъ нема чого небезпечного, винъ самъ побигъ видчыняты двери.

— О-охъ!—зъ пильгою зитхнувъ Макаръ Ивановычъ, вертаю-чысь до покою зъ пачкою кореспонденцій.—Лыстоноша!

Нервовымъ рухомъ видкынувъ винъ на бикъ „Свѣтъ“, „Кіевскую Старину“, „Зорю“ й узявся за лысты.

Видкрытка. Видъ кого бъ се? А-а, видъ брата-бурсака...

Прочытавшы заледви килька сливъ, Макаръ Ивановычъ по-червонивъ, пидплыгнувъ на мисци и въ найвыщому обуренню кы-нувъ видкрытку на стиль.

— Се... се... се чортъ зна що таке!...—скрыкнувъ винъ.—Се просто никчемність. Пысаты до мене по вкраинському на вид-крытци... компромитуваты мене!... Видкрытку кожне може пере-чытаты, кожне може побачыты... Я не дозволю такъ компромиту-ваты себе... Я жъ йому прочытаю „патеръ-ностеръ“.

Макаръ Ивановычъ бигавъ по хати въ сыльному роз'ят-ренню, наче зъ видкрытки тои знявся рій висъ та покусавъ його. Врешти, трохы заспокоившысь, винъ узявъ картку въ руки, щобъ дочытаты.

— Ну, що жъ тамъ особльвого. „Я здоровъ, коханий брате... якъ твое здоров'я?... на святкы може прыйиду...“ Отъ и все... Ну, взявъ бы й напысавъ бы по „російському“... А то...—Макаръ

Ивановичъ здвигъ плечыма й сердыто подеръ видкрытку на дриб-  
неньки шматочки.

Другый лысть, вже у коверти, выкыкавъ тилькы усмишку на уста Макара Ивановыча. Одна вельмы поважана особа, звертаючысь до його патріотызму, прохала поратуваты молодого украинського пысьменныка, якому теперь дуже скрутно; особа та зиставалась въ надїи, що Макаръ Ивановычъ дасть протезӗ іи мисце въ свой канцеляріи, бо ще недавно натякавъ, що потребуе помичныка. Макаръ Ивановычъ осмихнувся. Нема дурнивь! На сей гачокъ його не зловышь! Винъ буде прыйматы въ канцелярію „молодыхъ“? На вищо? Щобъ скомпромитуватыся, щобъ маты неспокій, а то—хто зна?—може й велькый клопитъ? Хиба винъ не знае тыхъ шыбай-голивъ, купаныхъ въ окропи!

— Ни, красненько дякую!—розводыть винъ рукамы зъ уклономъ, наче передъ нымъ сыдыть та особа, що пысала лысть.—Звертаетеса до патріотызму? Згода! Даю п'ять... ну, десять карбованцивъ до складкы на запомогу голодному, але встрымыты палець межы двери... уклинно дякую... Може хто другый з'охотытьса...

Осмихаючысь, Макаръ Ивановычъ заразы же напысавъ солодку видповидь, выставляючы прыкрысть, яку зробыла йому неможлывисть даты мисце певній особи черезъ бракъ ваканціи, й запевняючы заразомъ, що почуваеця до обов'язку зробыты все можлыве для украинського пысьменныка.

Задоволеный зъ свого дипломатычного маневру, Макаръ Ивановычъ заклеювавъ лысть, колы зъ другой хаты, якъ бомба, влеть въ його чотырылитній сынокъ.

— Папа! папа!—загаласувавъ винъ.—Мама сказала, чтобы ты послалъ по водку!...

— За водкой... за водкой, а не по водку!... Сколько ужъ разъ я замѣчалъ тебѣ, мужиченокъ ты этакой?!...

И роздратованный украинський патріотъ, забуваючы на хвыльнку на свій патріотызмъ, выбигъ до другого покою, гукаючы на жинку:

— Маша! прошу тебе звернуты увагу вчытелькы нашої на те, якъ балакають наши диты! Адже воны страшенно каличать „російську“ мову! Се Богъ зна що таке... се ни на що не схоже!...

Макаръ Ивановычъ хвылюетса, бигае по хати.

Усе наче змовылось сьогодни, щобъ дратуваты його: и лысты, и диты, и згадки вчорайшихъ вечерныць... Ай, ти вечерныци!..

не дурно кажуть, що якъ мае скластыся лыхо, то Богъ и розумъ видбере. Треба жъ було зробыты таку капітальну дурныцю—питы на ти вечерныци... Буты не може, щобъ не пронюхано, хтѣ тамъ бувъ, про що балакано... и тоди... прощай, Макаре Ивановычу!... Попрощайся зъ посадою, зъ родыною и въ двадцять чотыри годны... Ото вклепався, ото вскочывъ!...

Буйна фантазія тручае бидного Макара Ивановыча по пыхлости въ якусь чорну безодню, звидкы нема стежки на верхъ. Страхъ обгортае його такый, якого винъ не прыгадуе въ дытынстви навить... Напевне соромъ перемигъ бы той страхъ, колы бъ нашъ патріотъ мигъ зъ боку глянуты на свою громадську видвагу, чы то пакъ на бракъ на неи. Але де тамъ йому до сорому, колы шкура въ небезпечности! Шку-ра, розуміете вы? шкура!!!

Макаръ Ивановычъ такъ завзято бигае по хати и такъ крывытсы, ажъ дидъ Хо, що вже давненько кризь викно прыдвляється до сіеи сцены, не може вдержатсы видъ смиху. Старый знае, що небезпечнисть не скаламутыт лойяльного жыття добродія Литка, и весело хихикае.

— Хе-хе! Отъ ще перелякана людына! Хе-хе! Мени бъ нічого й стояты тутъ, такъ втишно дывытсы, колы доросла людына, громадянынъ, мовъ заецъ той, полохаецсы абы-чого. Почекаю ще часынку, забавлюся, бо ничого нема втишнійшого, якъ такый страхополохъ— „филь“.

О, зновъ дзвінокъ!...

Макаръ Ивановычъ ажъ кынувся, такъ той дзвінокъ прыкро вдарывъ його по напруженыхъ нервахъ. Яке тамъ лыхо дзвонить та й дзвонить? Марійко, Варко! Не чуєте, що тамъ хтось дзвонить? Швыдче видчыныты!...—Макаръ Ивановычъ, бажаючы динзатсы, хтѣ прыйшовъ, кризь видхылени двери зазырнувъ у передпокій... зазырнувъ и похоловъ. Ой, леле! Офицеръ... зъ бильмы шлифамы. Макарови Ивановычу ажъ въ очахъ потемнило, ажъ въ п'ятахъ похололо... Отъ и справдылося його передчуття. Отъ и нещастя!... Блiddy, переляканыи Макаръ Ивановычъ пидбигъ до столу, скынувъ на його очыма, ухопывъ бидну, невынну „Зорю“ и не вважаючы на протестуюче „Д. Ц.“, укынувъ ии пидъ стиль у кошыкъ. Запевнывшысь, що въ хати нема бильшь ничого „небезпечного“, винъ скупчывъ усю сылу воли, щобъ даты облыччу свому спокійный выразъ.

И саме бувъ часъ. У хату вступивъ гисть... військовий ликаръ, знайомый Макара Ивановыча.

Х-у-у! Якъ же винъ налякавъ його!

Макаръ Ивановычъ ледве перевивъ духъ. Тремтячий, блидый, винъ привитався до доктора, попрохавъ його систы.

— И чого винъ ходыть до мене, отой ворохобныкъ?—промайнула думка въ голови Макара Ивановыча.—Адже я вже разъ „не пизнавъ“ його на вулицы...

— Почну, колы дозволите, просто зъ дила, яке привело мене до васъ,—почавъ гисть, сидаючи на дзыкглыку проты господаря.—Учора вы такъ хутко покинули нашъ гуртъ, що...

— Голова мене розболилась такъ, що, повирыте, ледве до лижка доплентався,—скривывся Макаръ Ивановычъ.

— Ото-жъ и мы такъ домиркувались, що вы лыбонь занедужалы... Якъ вамъ видно,—вивъ дали докторъ,—позавтра въ мисти Луцькому мае видбутыся гучный похоронъ нашего славного пысьменныка, що сымы днямы померъ. Шануючы заслугы його на поли украинського пысьменства, а такожъ выходячы зъ того, що намъ потрибни теперъ межы инышымъ и манифестаціи, яки бъ свидчылы про истнування наше, передъ шыршою публычностю показувалы, що мы жывемо,—ухвалыла громада наша прыняты удиль въ тому похорони депутацію й винкомъ на могылу покійного. Винокъ вже замовлено, и гроши на нього помалу збирається, але...

— Чого се винъ хоче видъ мене? чы не грошей, часомъ?—миркувавъ соби Макаръ Ивановычъ и перехопывъ, выймаючи калытку:

— Прошу не забуваты, що й зъ мене належыться частка на винокъ...

— Спасыби,—обиззався докторъ, ховаючи жовтый папирецъ.—Властыво тутъ ричъ не въ грошахъ, а въ депутаціи,—казавъ винъ дали.—Мы ухвалылы vybrаты трьохъ—двохъ молодшыхъ и одного старшого. Громада наша, чоломъ даючи передъ вашымъ патріотызмомъ и заслугамы, прыпоручыла мени прохаты васъ пойхаты депутатомъ на похоронъ и завезты винокъ, що я й чыню теперъ зъ прыемностю...

Макаръ Ивановычъ зразу налякався.

Може се небезпечно?... Але таки почесни запросыны прыемно полоскоталы його пыху. Такъ! Не помылылася громада, на-

зважаючи його патріотомъ... Винъ такъ любить Україну й той добрый український людъ! Бідна, бідна Вкраина, чого бь винъ не зробивъ для неї!...

Макаръ Ивановычъ цилкомъ розкысь. Винъ дякувавъ за честь, запевнявъ въ свому патріотызми, разводывся надъ бракомъ інтелигенці вкраїнської и врешти обицявъ, умовывшысь що до своєї роли зъ громадянами, выйхаты завтра въ мисто Луцьке ранишнимъ потягомъ.

— А хто йиде зъ молодыхъ?—зупынивъ винъ виходячого доктора.

— Семень Пылыпчукъ зъ Андріємъ Гаврыленкомъ.

— Погана кумпанія!—подумавъ Макаръ Ивановычъ, кривлячыся.

Докторъ попрощався й выйшовъ, обицявши за дви годины прыслаты винокъ, а Макаръ Ивановычъ лышывся у хати.

Ба не самъ, бо й Хо втысся за докторомъ и прычаився въ куточку, звидкы выгіднійше стежыты за кожnymъ рухомъ тила й духу Макара Ивановыча.

Макаръ Ивановычъ пройшовся по хати, затыраючи руки. Винъ радый. Винъ завжды бувъ певнымъ, що заслугы його, яко патріота, не загынуть марне. Золото—скризь золото. Винъ навить не дывується, що з-помижъ чымалого гурту громадянъ выбрано його депутатомъ на похоронъ. На честь таку винъ мае право... Тилькы... на вищо ти двое молодшыхъ? Вони якись... непевни... Адже можна бь було запрохаты когось зи старшыхъ— правда, не такихъ славныхъ патріотивъ, якъ Макаръ Ивановычъ, бо не вси жь зазналы в'язници, выдавалы творы Рябоклячки, збиралыся пысаты наукову розвідку—але все жь людей певныхъ, поважныхъ, зъ становыщемъ... А то... Семень Пылыпчукъ... Андрій Гаврыленко... Чекайте! Який се—Андрій Гаврыленко? Чы не той, часомъ, що недавно бувъ пидъ доглядомъ?... Якъ же се винъ, Макаръ Ивановычъ, урядовець, людына офіціально лойяльна, прылюдне выступыть зъ нымъ у такій справі, що вже сама зъ себе трохы... якъ бы се сказаты?... ну, трохы небезпечна! Ни, се Богъ зна що таке! Се... се... просто неможыве! Теперъ такый часъ, таки умовы, що, якъ плюнуты — пидпасты пидъ категорію Вкраинофиливъ, сепаратыстивъ, политычно небезпечныхъ et caetera. А на що се? Та й, межы намы кажучы, до чого намъ теперъ ти манифестації, до чого такый бучный похоронъ, зъ винками, зъ промовамы, зъ комедіямы? Умерла людына—поховаты іи тыхень-

ко, зійтись потбму въ гурточокъ, згадаты небижчыка, пом'януты сльозою (п'яною, шепнувъ внутришній голосъ Макарови Ивановичу, але винъ не звернувъ на се увагы), посумуваты, що бидній України нашій щербата доля забирае кращыхъ сынивъ—и розійтись тыхенько по хатахъ, не тремтячы за власну шкуру...

Макаръ Ивановычъ задумався. Не потрибно, цилкомъ не потрибно поквапывся винъ зъ обицянкою йихаты на той похоронъ. Що то въ нього—дві голови на плечахъ, щобъ отакъ рызкуваты, або слава захыстыть його видъ „всевыдочого ока“? Краще бъ було видмовытись, краще бъ не йихаты. И якъ можна быты такымъ необережнымъ?! Цилый вить маты на мети обережність —и такъ вклепатыся? Атъ!

— Що мени чыныты, що робыты? Адже я згодывся, обицявъ!— бигае по хати збурений Макаръ Ивановычъ.—Теперь якосъ нйаково назадъ лизты... А йихаты не можу... и не пойиду, ни за що не пойиду... Але щд мени зробыты, якъ выкрутытись?... Боже!...

Макаръ Ивановычъ бигае по хати, якъ навижений, а Хо не може дали вытрыматы въ свому кутку. Його розбира такый смихъ, що ажъ колькы пидъ грудьмы спырають.

— Ха-ха-ха!—регочеться старый, узявшысь у боку.—Ха-ха-ха! Чы бачывъ хто кумеднйшу фигуру? Отсе „филь“, такъ „филь“, чыстои, мовлявъ, воды!... Ха-ха-ха!

Била борода Хо трусытись видъ реготу, ажъ холодный вить иде видъ неи, а нашъ патріотъ типається, мовъ у пропасныци, уявляючы буйною фантазією вси наслідкы своєї необачной обицянки. Тутъ и компромитація, и втрата мисця, и дбпыты, и таке страхиття, що й малымъ дитямъ не снытсья.

— Не пойиду!—ришае винъ врешти.—Не пойиду!

— Барынь!—ускакуе служебка.—Тамъ прынесено зъ крамныци такый винокъ зъ срибла, що ажъ сѣе на сонци...

— Дурна!—грымае на неи раздратованый Макаръ Ивановычъ и сѣдае за стиль.

— Що його зробыты?—миркуе винъ.—Напышу хѣба, що несподиванно заслабъ и черезъ те не можу йихаты... Доведеться день, зо два не выходыты на вулицю, посыднты въ хати, та що жъ робыты! Усе жъ краще, нйжъ компромитація...

И Макаръ Ивановычъ гладенькымы фразами (звычайно московськымы), выльвае на папери жаль, що несподиванна слабѣсть змушуе його зректысь велького обов'язку, ба й чѣсты въ роли



депутата виявляти свій невтишний смутокъ надъ свижою могьлою украинського пьсьменника, и черезъ те видсылае винокъ у надіи, що винъ дистанеться не въ гирши руки...

Одно можна додаты—Макаръ Ивановычъ не збрехавъ: винъ справди заслабъ... видъ страху.

## V.

Хо вступае въ здоровезну кам'яныцю, лизе, покректуючи, по ступанци високо, ажъ „пидъ небо“, и втыскаеться въ маленьку кимнату, въ найтемнійшый закутокъ. Въ кимнати—якъ въ улику: гучный гоминъ молодыхъ голосивъ брениеть усима тонамы радосты й смутку. То за столомъ, пры свитли лампы, зибралася въ гурточокъ молодежи, щобъ нимъ розійтысь рижными шляхамы, в-останне може подилытыся вражинными пережитого та надіями на будуччыну.

Бачыть Хо передъ собою людей повныхъ сылы, энергіи, виры, злученыхъ зъ собою теплымы, слыве братерськымы видносынамы. И не дыво: уси вони грилыся билиа одного вогныща, коженъ бравъ звидты свитло й тепло. Огныще те—любовъ до краины своеи, до своего народу; свитло—то идея, що дала змисть жыттю, то свидомистъ своихъ обов'язкивъ; тепло—вира въ перевагу добра надъ зломъ, правды надъ кривдою, свитла надъ темрявою...

— Братики мои!—здіймае ричъ одынъ,—розходымось мы рижными шляхамы, розлучаемось... Розлучаемось, на вики злучени одною идеею... идеею наційно-культурного видродження краины нашої... Передъ нами жыття, передъ нами работа... Розійдимось мы парусамы сонця, понесимо свитло у темни закуткы... Розплывимось глыбокымы ричкамы, зросимо ридну землю, и—„якъ дывочии винкы зазеленіють наши нывы...“ Не лякаймось велькосты працы, не жахаймось дороги важкои. Въ идеи нашій, въ нашій працы, въ нашій смилывости—сыла наша. Пью за смилывисть!

— За смилывисть!—лунають голоса, вторуючы брязкоту чарокъ.

— Хе-хе-хе! за смилывисть...—глузливо шепотыть Хо.—Розійдемось парусамы... розиллемось ричкамы... Хе-хе-хе! Ой, якъ устануть туманы, якъ закутають парусы ти, якъ потыснуть морозы та скують ричкы—побачымо, куды динеться смилывистъ ваша!... Хе-хе!... А про дида Хо й забулы? Не пам'ятаете, яку

чудодійну сылу мае борода його? Ге? А сього не хочете?... И Хо трясє бородоу, сповняючи хату холоднымъ витромъ.

Але молодижъ зъ усмишкою слуха старого. Лякай, диду!..

— Намъ скажуть, що думкы наши не нови,—обзывається другий,—и ранійшъ не одне чысте серце загривалося такымы жъ идеямы... Та тымъ то й ба, що тоди тилькы идея набирає вартосты, колы поростає тиломъ, переводыться въ жыття. Перевагу нашу я добачаю найголовнійше въ тому, що мы поставылы соби завданнямъ перевести наши идеи въ жыття, и певни, що зробымо все, що въ нашій сылы й змози... Будьмо передъ усимъ скризь Украинцямы—чы то въ свой хати, чы въ чужій, чы то въ свому краи, чы на чужыни. Хай мова наша не буде мовою, якоу звертається лышь до челяди... Хай вона бреныть и розгортається въ родыни нашій, у нашыхъ зносынахъ товарыськихъ, громадськихъ, у литератури—скризь, де намъ не зациплено... Не попускаймо соби навить у дрибнычкахъ. Несимо прапоръ sprawy нашой въ дужыхъ рукахъ, а будьмо консеквентнымы, не виддильяймо слова видъ дила... Не жахаймось, що дило те таке вельке, таке важке... Робимъ, що можемо: на яку бъ дорогу не ступылы мы—йдимъ смильво, пам'ятаючи, що вси дороги провадыть до Рыму... А покы що, намъ треба працы, працы и працы... Я, якъ вы знаете вже, маючи шматочокъ власного грунту, йду на село господаруваты... Прыдывляючысь блыжче до жыття села, я пересвидчывся, що навить одна интеллигентна людына може багато тамъ зробыты, скоро потрапыть забезпечыты соби поважання та впливъ. Абы охота, а знайдеться змога прыложыты руки й до освиты, и до полипшення экономичного та морального стану нашего люду...

— А сыла ворожа? А кроты, що стануть пидрывать будынокъ твій? А шынкаръ? А жмыкруты всяки?—ажъ пидскакує на мисци Хо, трясучы бородоу.—Чы жъ ты гадаешъ, що то жарты?

— Знаю,—веде дали будучый хлиборобъ, наче видповидає на запытанья Хо,—що доведеться мени рахуватыся зъ чымалымы труднацямы, стриты багато перешкодъ, але тежъ багато й виры въ мене у свою идею, багато сылы молодой, багато энергii вкладу я въ свою працю! Пью за працю на пожытокъ краини нашій, панове!

Выпыто за працю.

— Прймаючы сей тостъ,—обзывается третій,—додамъ килька сливъ. Прыгадите соби, панове, байку про селянына, що, вмираючы, на пучку прутыкивъ показавъ сынамъ, яку силу мае йедність. Ото жъ йедности, яка робыла бъ часъ зъ кволыхъ навить одыныць незламаню сылоу, потребуемо й мы... Важка праця, перешкоды, що немьнуче стануть намъ на дорози, усяки лыхи прыгоды—здолають зламаты хочъ яки сылы, хочъ яку енергію, и горе людьни, що въ такихъ обставынахъ почуветься самотною, видирванымъ лыткомъ... Ото жъ треба намъ цементу, щбъ бъ на ривни зъ идеею звязувавъ насъ до-купы, а такимъ цементомъ уважаю я щыри, чысто братерськи видносны межы намы, обопильну помичъ, пораду... Опричь двохъ тостивъ—за смилы-вистъ и за працю—пью ще й третій: за йедність!

— За йедність!—торкнулись вси чаркамы.

У маленькій кимнатци чымъ дали стае гучнійше. Въ атмосфери, повній палкыхъ речей, смилывыхъ порыванъ, надій, енергіи, повній безкрайои виры въ идею та власни сылы, загритій юнацькымъ запаломъ—гарно почувается молодижъ. Байдуже їй, що Хо зъ усеи сылы намагається налякаты їи: то бородоу мае, зъ витромъ холоднымъ дрижакы посылаючы, то видхыляе заслону, показуючы спокусы й небезпечности, що мріють на шляху жыттьовому... Байдуже!... Палка молодижъ у жыви очи сміється старому, кепкуе зъ його заходивъ, зве його порохномъ.

Хо мае прычыну радиты, бо хто жъ то, якъ не винъ нарикавъ на полохлывистъ, що трыма його на свити, не дае спокійно зложыты кистокъ у домовыну? Але Хо не сьогодняшний, винъ старый, якъ свить, його не звездешъ. Охъ, багато бачывъ винъ на вику свому! Бачывъ винъ и такихъ, що, повни молодецой видвагы, выклькалаы на герць потугы зла, а якъ прыйшло що до чого—перши жъ п'ятамы накывалы. Ставьтсья, якъ левъ, а гыне, якъ муха. Бачывъ Хо такихъ, охъ, бачывъ и теперь... не вирыть. Просто не вирыть, щобъ ся палка молодижъ, скоро зиткнеться зи справжнимъ жыттьямъ, вытривала боротьбу зъ його чудодійною сылоу, не пидхылылася їй. Адже й таки Макары Ивановьчи малы свои хвылыны звагы, а теперь щбъ зъ нымы сталося? Пожалься, Боже!...

— Слова, фразы!...—шепотыть Хо,—се абы-хто зможе! А отъ диломъ довесты видвагу—ї то не нерозсудлыву видвагу, а таку, щобъ давала змогу повсякчасной праці—се я розумію! Не могу,

правда, напередъ сказаты, що вы не здатни на се, але не повірю, погы жыття ваше не покаже вашои правды... А тоди... О, тоди страхови Хо лекше стане, бо бльжче буде до могылы...

Хо слухае, якъ молодой ликаръ розгортае планы своеи ликарської та просвитной діяльности на сели, де мае замиръ оселытысь. Винъ веде боротьбу зъ темнотою, зъ забобонамы, зъ ворогуваннямъ селянына до интеллигента, организуе дешеву медычну помичь... Чуе Хо, якъ сельський учитель обицяе хытромаудо керуваты помижъ пидводнымы каминнямы сучасныхъ порядкывъ, а такы доплысты, куды треба, такы досягты меты своеи... А ось почынаючы псыменныкъ нахваляеться шыро взятысь за працю, за поважни студіи, простаты свои идеи та працюваты не то въ свято, але й у будень... И Хо не може його ніякъ злякаты а ни цензурнымы умовамы, а ни фатумомъ украинського псыменныка пысаты gratis, або за „бигъ-дасть“...

Довго ще, мовъ уликъ той, гуде маленька кимната „пидъ небомъ“, довго ще чекае Хо, ажъ погы братерський поцилунокъ на прощання не закинчыть сього памятного вечора.

— Не полекшало мени зъ того, що глянулы мени сьогодни въ вичи, не полекшало...—шепотыть Хо, плентаючысь за останнимъ зъ гостей.

— И не полекша, ажъ пересвидчуся, що не порожни згуки луналы тамъ у кимнатци, що часъ и жыття не зламають видвагы вашои... Почекаю ще... почекаю...

\* \*  
\*

Мынае килька лить.

Змордованый вичною блуканыною, знуджений полохлывистю всього живучого та невдячною ролею страха, шкандыбае по курній дорози Хо, пидпираючысь довгымъ костуромъ.

— Скучно на свити, нудно на свити... скрызъ повно страхополохивь...—мымыть старый у роздратованню,—а ты волочысь по свитахъ, не бачучы кинця-краю свой мандривци... Охъ, важко-важно, спочыты бъ уже...—зитхае винъ до спокою.

— А що се манячыть у ливоручь?—зацикавывся Хо, з-пидъ руки вдывляючысь у далечинь, що червонила вся въ проминняхъ зходячого сонця.—Село? Не пиду туды: остобисилы мени осели

людськи... Э, ни, стривайте—зайду, бо тутъ живе той хлиборобъ-интеллигентъ, що то нахвалывся запровадыты на сели нови порядкы... Побачымо!...

Сонце вже сидало, колы Хо входывъ у село. На сампередъ, якъ пристало порядному подорожньому, подавсь винъ до коршмы. Але що за дыво? коршму хтось обгородывъ, прыбывъ нову табличку надъ дверыма та повыганывъ звидты, мабутъ, усихъ п'яныць, бо якось тамъ такъ дывно тихо, мовъ у церкви... Хо наiblyзввся, глянувъ на табличку й прочытавъ: „Школа“. Э-ге-ге! Ось воно що! Недавно була коршма, а теперь школа. Де жъ коршма? Хо обійшовъ село, але коршмы не було. Чудасія, та й годи! А що то робыть панъ дидычъ, цикаво глянуты?—подається Хо до чепурного двора, що дывыться на нього осяянымы викнамы. Старый прысувається до викна, зазира въ середыну й бачыть:—у хати, за столомъ, сыдятъ гости: учитель та селяне. Уси вони, вкупи зъ господаремъ, щось пышуть, рахують, миркують. У кутку двоє дитей граються, деклямуючы байку Глибова: „Вовкъ та ягня“.

— Що вони тамъ рахують?—шепотыть Хо, прыслухаючысь.— Эге! ось що—касу ощадну заложылы. Бачъ ихъ! А се зновъ що? Гомонять про якусь землю, що громада мае купыты въ судидного дидыча. Эге, винъ такы оре перелигъ свій, той хлиборобъ! Що жъ дали, що ще нового?... Хо однакъ мусыть видирваты увагу видъ товариства, бо въ хату вступае жинка господаря, звертаючысь до дитей чыстою, nelaманою мовою:

— А йдите, диточки, гратыся въ другу хату, бо вы тутъ заважаєте...

За якусь часынку господыня зновъ увиходыть, прохаючы всихъ на вечерю. Здывованый Хо бачыть, якъ уси посполу сидають за стиль, и каже до себе:—А дывы! тутъ наче нема пана й мужыка, а сами люде...

По вечери гости прымощуються, де кому выгиднійше, а господарь выймае кныжку.

Тутъ вже Хо не вытрымуе. Його обхоплюе непереможне бажання выкыкаты видважного господаря на останню боротьбу зъ собою. Хо збирае всю свою потугу: проймаючымъ холодомъ віе борода його; чудодійна сыла, мовъ хмары ти, насувае найстрашнійши картыны передъ очи лектора, а лекторъ наче не по-

мичае сього. Але врешти, почувшы прысутність страху, винь видрывається видь книжки, обертається до Хо й дывыться йому въ вичи довгымъ, зважлывымъ поглядомъ...

И вразъ Хо помичае, що видь погляду того діються зъ нымъ незвычайни речи: зъ борода вже не віе проймаючий холодь, вона тратыть свою чудодійну сылу, тило його меншае, лекшае, немовъ частына його парюу взялась або порохомъ розсыпалась. Хо чуе, що на души въ нього стае лекше, видраднійше, що бильшъ такыхъ смилывыхъ поглядивъ—и скинчыться його довичня мандривка и складе винь на спочынокъ свои стари, натружени кисткы...

Хо видступається видь викна, нызько схыляе сыву голову и чоломъ даючы передь новитнимъ лыцаремъ, шепотыть:

— Спасыби...

Зрадилый Хо бижыть дали. Його кортыть побачыты всихъ, що пам'ятного вечора, въ кимнатци „пидь небомъ“, об'явылы вйну страхови, пьучы за смилывисть. 'Іы то вси воны вытривалы, якъ хлиборобъ той? Чы то жъ уси, мовъ подарункомъ найдорожчымъ, потишаты його смилывымъ поглядомъ? Эй, колы бь то, колы бь то!...

Хо йде дали, не чуючы втомы, не вважаючы на глуху ничь. Ось и небо осмихнулось передь свитаннямъ, ось и сонечко земли вродльвий на добры-день дало, а Хо чымчыкуе, поспишаючы до села, де молодой ликарь, вирный свойй идеи, мавъ розгорнуты свою ликарську та просвитну практыку. Врешти—село. Хо пидійшовъ до села, и перша хата, яка кынулась йому у вичи була—шпыталь. Ся маленька, чепурненька хатынка середь саду—шпыталь, мисце страждання и заразомъ боротьбы зъ тымъ стражданнямъ. Хо ставъ на порози, зазырнувъ у середыну. Що тамъ? Чы нема ликаря? Ни, йсть: винь на свому мисци, биля хорыхъ. Тилькы винь не помичае Хо, що всима сыламы намагається звернуты на себе його увагу: ликареви просто николы. Тутъ нового хорого прывезено, тамъ операція, а то треба й лыкы самому налагодыты. Сыла роботы! Довго чыгае Хо на хвылыну, колы ликарь буде вильнійшымъ... Ажъ ось и дочекався. Ликарь иде до-дому, обидае, а по обиди замыкається въ свойй хатыни, щобъ ниhto не заважавъ йому пысаты популярный выкладъ зъ гигиены для селянь, звычайно—мовою вкраинською... Отсю то

хвылыну й уважае Хо за слушну для свого досвиду. Винь діймае трудивныка холодомъ, винь малюе передь нымъ картину недостаткивъ, убожества, бо щó дасть сильська практыка? Винь показуе йому вси засобы темной сылы, що воюе зъ свитломъ та чесною працею. Дарма! Не жахається ликаръ, а зводять на Хо очи й пронызуе його яснымъ, смилывымъ поглядомъ чеснои людны...

И зновъ чуе Хо, що сыла його слабшае, що самъ винь меншае, и зъ вдячнымъ серцемъ, повнымъ поважання, нызко вклоняється ликареви, шепочучы свое:

— Спасыби...

А якъ тамъ учитель?

И мчаться Хо до другого села и мусыть вклониться вчителеви, бо винь смилыво плыве помижъ каминнямъ до меты, ни на хвылыну не забуваючы своихъ обицянокъ, своихъ обов'язкивъ.

— Эге-ге! поталаныло мени!—радіе старый.—На добру стежку вступывъ я, пиду и дали по йй...

И ось передь нымъ маленька хата, а въ хати тій, зигнувшысь надъ столомъ, худый, блидый, змарнилый—працюе украинськый пысьменныкъ, и лышь велька душа дывыться зъ його велькыхъ очей. Ледве-ледве пизнае Хо въ йому того юнака, зъ повнымъ, рум'янымъ облыччямъ, що рвався до слова пам'ятного вечора. И не дывныця: жыття йшло, а було въ жыттю тому и кайданивъ, и голоду, и холоду, и всего, що мусыть зазнаты спивакъ невильного народу...

— Тры чысныци до смерты,—ришае Хо, дывлячысь на його.—Покынь, бо вмрешъ!—лякае винь господаря свитлычкы.—Бачышь, якый холодь иде зъ бороды моеи, а бувають край, де ще холоднійше...

— Покынуты?—обзывається тыхий голосъ з-надъ столу.—Ни, не покыну!—Вмрты я могу, але що зроблю, те буде зроблено. Холодомъ же не лякай мене, бо покы жевріе вогонь, що маю въ серци, мени буде тепло й добре...

И Хо стрывається очыма зъ худою, мизерною людною и не вытрымуе того погляду, повного виры, повного кохання до краины своеи...

И ще разъ склоняється Хо передъ сылою—выщою й сильнійшою видъ сылы страха.

Вильнійше зитхнувъ старый страхъ, и радисно й легко збылося на серци въ нього. Йому забажалося самотыны, бо полохлыви люде, що стривалысь по дорози—сталысь гыдкымы йому. Чымъ дужчъ покынувъ Хо людськи осели й подавсь геть-геть полямы ажъ до лису. Тутъ, на знайомій галяви сивъ винъ, загорнувся сывою, мовъ туманъ той, бородою, та й замыслывся.

Сыдыть Хо и не помичае, що все живе въ лиси пидъ вplyвомъ страху затаило духъ, перестало жыты; що навкругы його запанувала мертва, прыкра тыша. Пташкы ущухлы, звырына прычаилась, мали комашкы замерлы въ травыци. Рослыны боялысь навить тягты сикъ зъ земли, пыты холодну росу, выправыты зибгани лысточкы, розгорнуты звынени квиткы. Пустотлывый парусъ сонця зупынывся у зеленій гущыни, та лышь здалеку прыдывлявся до сывои, мовъ туманъ той, бороды Хо, боячысь наблызытысь до неи... Тыхо було, мертво... Але Хо не помичавъ того: винъ сыдивъ замыслывшысь, зъ радисною усмишкою на устахъ, зъ надією въ серци. Надія та сягала ажъ у ти часы, колы смилывистъ визьме верхъ надъ страхомъ и Хо зложыть на спочынокъ свои стари, наболили кисткы...

1894 р.







*Володымырѣ*

*Леонтовичѣ.*

Леонтовичъ Володымырѣ Мыколаевычѣ, сынѣ дидыча, на свитѣ народывся 24 лыпця р. 1866 въ хуг. Ориховщынѣ Лубенського повиту, въ Полтавщынѣ; вчывся на юридичному факультети въ Московському университетѣ. На поле пысьменства выступывѣ (пидѣ прыбранымъ именнямъ В. Левенко) спочатку 90-хъ рокивъ; пыше повисти та оповидання, въ якихъ найбильшу увагу звертае на видносны интеллигенци до народу та нови течѣи въ жытти народному. Зѣ творивъ сього пысьменныка до сиѣ надруковано: „Салдатський

розрухъ“ (Дило, 1890), „Паны и люде“, повисть (Львивѣ, 1891), „Per pedes apostolorum“, повисть зѣ жытти духовенства (Зоря, 1896), „Самовбывецъ“ (збирныкъ „Прывитѣ Франкови“, Львивѣ, 1898) та „Старе и нове“, повисть (Кѣвская Старина, 1900). Де-яки зѣ сыхъ оповиданѣ выйшли и окремо.

## Старый батюшка.

Зѣ повисти „Per pedes apostolorum“.

**С**тарый, рокивъ на 70, старосвитський пан-отецѣ Каленыкъ Пафнутьевычѣ Трубайло правывѣ невельчыкою, бидною та наче забутою у епархиѣ парафіею. Бидни, хочѣ и чысто прыбрани горнычыкы пан-отця,—двѣ простыхъ хаты зѣ мазаною доливкою,—похылылыся, якѣ и самѣ винѣ пидѣ вагою литѣ давнихъ, дуже давнихъ; воны бо бачылы ще, якѣ народывся маленький Кель; чулы, якѣ квылывъ винѣ малю дытною; терпылы, якѣ скубѣ ихню стриху, деручы горобцивъ, трощывѣ шыбки м'ячемѣ,—та й достоялыся, покы вдвохъ зѣ маленькымъ колысь Келемѣ поробылыся старезнымы дидуганамы. Та дарма, що батюшчына оселя хылытыся на бикѣ, уростае въ землю, що очеретяна стриха зеленѣе мохомѣ,—супроты неи у садку билѣе нова красуня-церква, зѣ гарнымы образами, зѣ цег-

ляною дзвинцею. Збогатила и скрасилася вона на увесь округъ за довге батюшковання пан-отця Каленыка. Давно вже править службу Божу у сій самій парафіи Каленыкъ Пафнутьевычъ. Вже й батюшкою рокивъ зъ сорокъ зъ того часу, якъ впала вона йому спадшыною писля небижчыка-батька, що ще за старнхъ правъ обирала його въ батюшки громада, а доты дячкомъ та дьякономъ, бо не довго и не багато вчывсь пан-отець Каленыкъ у бурси. За чотыри роки скинчывшы усю науку, яка була йому прызначена батькомъ видповидно звычайу того часу, повернувся винъ зновъ на село до давнього свого товариства, що колысь грався зъ нимъ у гылкы, блукавъ по степахъ та лисахъ, шукаючы козельцивъ и выробляючы пыщкы; и заразы почавъ спиваты, гуляты на досвиткахъ та улыци, часомъ коштуваты нышкомъ горилкы—звычайно чымъ бавыться парубоцтво. Не облышывъ пан-отець Каленыкъ ни товариства, ни його забавокъ и тоди, якъ батько, забравшы сына и гостынци, пойихавъ у консысторію, а видтиль прывизъ Каленыка Пафнутьевыча дячкомъ своєї церкви.

Молодой ще бувъ Каленыкъ Пафнутьевычъ—не було йому й двадцять рокивъ, то и кохання не займалося йому у серци. Гулявъ винъ на досвиткахъ, женихався зъ усима по-трохы дивчатамы, а може зъ якою и бильше, та не зъ кохання, а такъ—для закону. бо такый вже законъ на досвиткахъ,—и ни та дивчына, ни ще меньше молодой Трубайло не гадалы ничего про те, щобъ дружытыся. А мынуло йому двадцять рокивъ, поклыкавъ його батько, докладно наказавъ, що годи вже байдыкы быты, що часъ робытыся дьякономъ, що треба женытыся, заводыты господа, родыну, та додавъ, що нагледивъ и молоду. Каленыкъ бувъ не видъ того. „Що жъ,—гадавъ винъ,—уси люде женятыся, треба й мени; абы бъ тилькы путященька молода, а то вже законъ треба сповняты“,—и такъ безъ велького задуму, безъ турботъ, безъ муку кохання йихавъ винъ на розглядыны, ходывъ ще й на досвиткы, а небавомъ и перевинчався, тилькы мовъ тришечкы зробывсь поважнійшыи та все смыкавъ свого куценького вуса, наче гордючы зъ товариства, що, мовлявъ,—„вы ще хлопци, а я скоро людыною буду, чоловикомъ, о!“

Оженивши сына, зновъ повизъ його батько у губернію и видтиль повернувся Каленыкъ вже дьякономъ. Та ще разъ по батьковій смерти довелося йому йиздыты у губернію, щобъ зробытыся батюшкою та выпрохаты батькову парафію; а зъ того часу довго

живъ пан-отець Каленыкъ спокойно, не рушаючи никуды, не бачучы старшынства, никымъ не турбованый на свой парафіи. Довелося спиваты „Исаія ликуй“ та „Идѣже нѣсть ни печали, ни въздыханія“ надъ бильшистю зъ свого товариства, навить надъ батькамы зъ дитей ихъ, а пан-отець живъ такъ само у мыру та злагоди зъ своимы парафіянамы. Прости булы звычайи пан-отця, не багато було йому треба, то й не обтяжавъ винъ парафіянъ; не дуже попередывъ ихъ наукою, то й не нудывся й не гребавъ ихъ бесидю. За те жъ щиро любылы та поважали люде свого пан-отця, зъ охотою по спромози дарувалы на церкву — певни, що й одного шага не пиде марно, або повзъ церкву до батюшчыного гаманця та що працьовытый и дбайлывыи пан-отець поверне ихъ на церковни потреби якъ найкраще.

Вже зъ двадцять рокивъ живе пан-отець Трубайло самотне, удивцемъ. Сыны розійшлыся батюшкуваты по далекихъ парафіяхъ, дочки замижъ, жинка вмерла,—навить се давне лыхо мынулося, збувшысь свого гострого болю и тилькы мягкый, лагідный смутокъ помалу ворущыть старече сердце. А се рокивъ зо два зъ новымъ лыхомъ впала и нова втиха на старисть: вмерла його найменьша дочка, вмеръ и зять та й кынулы на доглядъ дидови унука Васька, жвавого, гарнаго хлопчыка литъ десяти. Каленыкъ Пафнутьевычъ пестывся, кохався у малому внукови; за нымъ жыття здалося старому ще десять разъ краще й тыхо плынуло, якъ сонце на захидъ тыхого погожого осиннього вечора. А не вважаючи на тыхий рядъ його, и воно не мынулося безъ турботной смугы, яку й доси згадуе Каленыкъ Пафнутьевычъ зъ непремнистою. Вже рокивъ двадцять батюшкувавъ винъ, якъ колысь батько, якъ зъ давнихъ давень велося, се-бъ то—твердо додержувавъ посты, службу правывъ довго та докладно, у консысторію що належало пересылавъ що-року, а хочъ часомъ забувавъ за деяки епархіяльны наказы, та никто до того не прыскипувався.

Ажъ ось наставлено нового Преосвященного, що дуже не любывъ старосвитськихъ батюшокъ. Сей зачавъ заводыты новый рядъ, правыты видъ батюшокъ такого, що до ныхъ и не належало. Звычайно, щобъ пиддобрытыся до Преосвященного, и протойереи намоглыся зъ тымъ самымъ на своихъ батюшокъ, а вже надто на Трубайла протойерей його благочынныя. Поклыкавъ винъ Каленыка Пафнутьевыча до себе, угрущавъ його и за недоглядъ за парафіянамы, и за несвидомисть у Божому слови, и за бай-

дужнисть до епархіяльныхъ наказивъ,—багацько за всячину, ажъ здуматы страшно за вищо, якъ бы тому правда; хытавъ до того головою та все, мовъ бы грозячысь, радывъ скаменутыся. Який тыхий не бувъ пан-отець Трубайло, а чуты таке видъ молодого протойерея його розсердыло. Не бачывъ винъ ни розуму, а ни правды у наказахъ протойереевыхъ, саму лише напастъ, а розсердившысь, наказавъ уже такого, що й не треба бѣ, та нагадавшы про свою чесну та довгу службу, повершывъ:

— Якои жъ ще примкы вамъ треба видъ мене? Батюшкую, якъ батюшкую—якъ законъ велыть; такъ и буду... Я думавъ, вы мене за дипломъ клычете, а за сымъ то й грихъ було бѣ мою старистъ турбуваты!—та зъ тымъ и подався до-дому.

Але даремно сподивавсь пан-отець Трубайло, що тымъ и видмгся. За два тыжни прыйшовъ зъ губерніи наказъ, щобъ невидминно засновавъ винъ парафіяльну школу и братство, щобъ прыглянувъ та донистъ, чы не прокыдається у парафіи яка секта або непошана урядови... Разивъ десять перечытавъ його Каленыкъ Пафнутьевычъ, тры дни поспиль бравсь по килькось разивъ за перо видповисты, и не знавъ винъ, якъ вдовольныты губернію, и не гараздъ розумивъ, чого имъ треба, та нарешти й поклавъ його до слушного часу у шафу—хай тамъ лежыть: може мынетъся перемовчкою.

Мынулось ще зъ мисяць, ажъ ось заходыть до пан-отця чоловікъ, мнетъся щось билия дверей, немовъ щось хоче казаты й не зважыться.

— Що тоби?

— Та чы вы чулы, пан-отче?...—та й дывыться по-за двери, чы нема кого.

— Що таке? Кажы просто... чого тамъ крыешся?

— Казавъ бы,—видказуе,—такъ не ти се речи повелыся, щобъ спроста й вымовыть...—Зыркнувъ ще разъ по-за двери, прычынывъ ихъ, надійшовъ и до другыхъ, глянувъ и тамъ та прыступывшысь до батюшкы, й каже пошепки:

— Чы не шпигуны, пан-отче, на васъ выявылыся? Прыиздывъ тутъ якийсь пидпанокъ, такъ щось несвицьке... мовлявъ, майстривъ найматы, такъ майстривъ не нанявъ, а за васъ найбільше роспытувавсь.

— За вищо?—ажъ пополотнивъ Каленыкъ Пафнутьевычъ.

— Чы не загулюете, мовлявъ, чы не пьете часомъ, якъ службу правыте, зъ кымъ видаетеся...

— А ты жъ що?—знепокоеный видъ сылы змигся спытаты пан-отець.

— Богъ зъ вами, пан-отче! Чы жъ я дурень, щобъ свого пан-отця на абы кого выминавъ?! Я йому докладно роспысавъ: батюшка не видаются ажъ ни зъ кымъ, а горилкы такъ и нѣякъ не прыймають.

Знепокоила Каленыка Пафнутьевыча ся звистка. Якъ вже не быты напасты, де шпигуны вполуталыся? Значно такы боявся винъ ихъ, якъ и вси старосвитскыи люде, ажъ не дужче злякавсь и тоди, колы килька днивъ перегодомъ видибравъ гризный наказъ, що выправлявъ його у губернію, навить зрадивъ йому—мовлявъ, тамъ хочъ выдко буде.

Преосвященный напавсь на пан-отця Каленыка якъ зъ мокрымъ рядомъ, а найдужче за царскыхъ родычивъ, що винъ промынавъ ихъ у молитви.

Даремно завиравъ Каленыкъ Пафнутьевычъ, що у серци по-двійно шырійше згадуе ихъ, благаючы въ Бога имъ доли, а не каже те въ голосъ, боячысь, що не вдержыть такъ довго чаши та росхлюпае дары,—Преосвященный не вгамувався:

— То ничего й батюшкуваты, колы чаши не вдержыте!

— Якъ то?—ажъ не зрозумивъ сразу Трубайло.

— А такъ, що проситься „за штатъ“.

Пан-отець Каленыкъ довго не мигъ зрозумиты сіеи видповиди, чы не жартъ вона, чы й справди Преосвященный выпыхае його зъ службы, та тилькы й мигъ видказаты:

— Не хочу.

— Мало чого!...

— Такъ же мени й йисты ничего буде.

— А намъ що по тимъ? Вы не здатни.

Ажъ ось колы выразно з'явилася Трубайлови напасть.

— Такъ, такъ!... Ну, то знайте жъ: йисты я найився бъ и зъ пенсії, и люде, сподиваюся, не забулы бъ, та колы вже такой чести добувсь я за мою шыру працю, що хочете на старистъ мене на смитныкъ выпхнуты, то женить самы. Ваша воля—женить, а зъ доброи воли я не пиду! Зъ якои речи?... Ввесь викъ я слугувавъ Богови нелукаво, то бъ то не вартый вже батюшкою и вмерты? Не пиду зъ службы волею, отъ щобъ вы знали!— и Каленыкъ

Пафнутьевыч хотивъ уже йты зъ хаты, та мабуть за старистю не стало сылы стерпиты кривды и, не вважаючы на Преосвященного, винъ схылывсь на ослонецъ та заплакавъ.

Мабуть и сього такы утявъ соромъ.

— А!—сердыто прогарчавъ винъ,—та хай вамъ, батюшкuite вже... вамъ не довго,—и не можучы втышыты незадоволення, подався зъ хаты.

Такъ минула, якъ важкый сонъ, перебигла, якъ страшна хмара, и ся напасть, що завысла була надъ жыттямъ Каленыка Пафнутьевыча, и зъ того часу, мовъ за його забулыся, ниhto вже не турбувавъ старого Трубайла и зновъ тыхо та лагідно справляе винъ свою працю, зъ даруючою ухмилкою згадуочы навить напастныкивъ своихъ.

Чыста, заново вымазана горныця пан-отця Каленыка блыщыть, ажъ видбывае срибломъ видъ соняшного проминня; дарма, що позаставлювани квиткамы маленьки виконця, та багацько ихъ: зъ трьохъ бокивъ хаты и мижъ узорчастого лысту квитокъ веселе литне сонечко шыро обсыпае золотымы блыщамы своимы и стину, и билу, якъ снигъ, скатирку на столи, и товсту кныгу на ній, и самого пан-отця, що у вылынялму, та чысто выпраному пидрыснюку сыдыть надъ нею—усихъ надиялючы яснымы колирамы...

Помалу чытае пан-отець Каленыкъ, блызько пидносячы кныгу до велькыхъ окуляривъ у товстыхъ срибныхъ обкладкахъ. Частенько доводыться йому облышаты чытання, щобъ даты очамъ спочывокъ; до того спыняеться винъ надъ кожною вычитаною думкою, сылкуючысь краще и зрозумиты. Але скоро чытання його було перерване; винъ почувъ гуркитъ колисъ, дали гоминъ билиа свого ганку и, вызыркнувшы у викно, змиркувавъ, що до його найихалы гости, бачучы тилькы якыйсь натовпъ люду. Повагомъ згорнувъ Каленыкъ Пафнутьевыч кныгу, заклавшы на сторони, де спынывся, клаптыкъ паперу; знявъ свои окуляры, поклавъ ихъ на прызначену мисцыну та й подыбавъ на зустричъ гостямъ, що, покы господаръ тупцявся, вже прямувалы до хаты.

— Здорови, здорови!—прывитно осмихавсь винъ, обома рукамы здоровкаючысь та вразъ пыльнуочы крадькома блыжче прыдывытысь до облыччивъ, щобъ вывирыты себе, чы справди гости йому незнайоми, чы може винъ не пизнае ихъ, не добачаючы,—але дарма на уси заходы: пан-отець Трубайло лыше тоди довидався,

що бачыцца зъ пан-отцемъ Макаромъ Калыткою вперше, колы той почавъ знайомацца\*).

Се не збавыло проте прывітносты пан-отцеви; йому такъ зридка траплялося стрываты кого, причъ своихъ парафіянъ, що хочъ и не нудывся винъ самотыною, бо день у день однакови, якъ браты, мыналы йому тыхо та лагідно по давно заведеному ряду, та прыспана потреба йеднання зъ людьмы, не турбуючы раз-у-разъ, выявлялася прывітністю до людей та чы не дытачымы радошамы, колы доводылося зъ кымъ здыбатыся.

— Чудненькый и прыстаркуватый уже,—зъ першого погляду на Трубайла миркувавъ тымъ часомъ Калытка.—Зъ сымъ на весе-лощи не розжывешся... Мабуть и не пье ничего?..

Але якъ не распалылыся за мандривку бажання пан-отца Макара, все жъ відомый сылою розумъ його переважавъ знадлы-ви почуття.—Такъ бо й краще,—заспокоювавъ себе рахманнымы докладамы Калытка,—годи бо справди!.. И такъ у середины жабы крычуть, а завтра й мижъ начальство; а зъ похмилля яку тамъ другу-третю чарку й безъ його самотужкы упораю..

Пани-матка зъ дочкамы тымъ часомъ не гаючыся обволо-дали дальшою хатою чепурытыся зъ дороги, поповычы потупця-лыся трохы й подалыся зъ хаты пошукаты щось бильше цика-вого, а пан-отци хвылынъ вже зъ десять высыджують мовчкы. Трубайло дуже тымъ знепокоеныи миркуе, зъ чого бъ краще по-чаты розмову. Йому здаецца, що розмова про вищось зъ Св. Пысанья найбильше бъ лычыла незнайомымъ пан-отцямъ за-для першого стривання, и спотання довбаецца винъ одною рукою у товстий библии, що лежить бия його, миркуючы, яке бъ обраты найкраще та найповажнйше до такой оказии речення. Такъ же, відомо кожному, кныгы Св. Пысанья товсти; йе багацько у ихъ цикавыхъ та поважныхъ реченнивъ, то й някъ не здолавъ Ка-леныкъ Пафнутьевычъ ни обраты найкраще, ни початы розмовы.

А сыдиты мовчкы робылося вже няково. Се помитывъ и пан-отець Макаръ, дарма що йому досыть було й безъ балачкы думокъ доконче цикавыхъ до розвагы, и якъ не схильный винъ бувъ до глыбшого самозадуму, але жъ за-для звычайносты про-мовывъ:

---

\*) Въ повисти мова мовыцца про пан-отца Калытку, що зъ усією ро-дною йиде въ губернію й дорогою зайиздыть до другихъ пан-отцивъ.

— Сьогодні я видь пан-отця Сергія, видь Тендитного... йиду я, бачыте, у губернію, треба въ консысторію, ну, то думка—вразь годытсья и своихъ перевидаты, щобъ ще й не гудылы—мовлявъ, йихавъ повзъ та не схотивъ завернуты... отъ и до васъ!...

— Спасыби, спасыби!

— Такъ бувъ и въ Тендитного, та щось мени чудно... скажить, вы тутъ бльжче, щбъ воно за людына?

— Старый вже я, мало зъ кымъ бачуся, незнамый зъ нымъ— а здаеться, людына ничого, хороша людына,— видказавъ Каленыкъ Пафнутьевычъ зъ ухылкою.

— Самъ винъ то може й ничого, ну, товариство въ його такъ рижне—добри уси, а ликарь тамъ йе, такъ той—чыста зви-рюка!...

Обыдва замовкы.

Але на сей разъ Каленыкъ Пафнутьевычъ такы згадавъ незабаромъ щось цикавого зъ кныгы Премудросты Исуса Сына Сырахового.

— Бачыте, чытавъ я отсе зъ Св. Пысання,—почавъ винъ за хвылыну,—кныгу Премудросты Исуса Сына Сырахового... истынно, що премудристь.

Калытка мовчавъ.

— Отъ тутъ пышетсья: „Начало премудрости—боятсья Бога... и съ вѣрнымы она образуеться вмѣстѣ во чревѣ“...—и казаты нѣяково, а намъ, гришнымъ, не те робыты, а й зрозумиты важко.

Пан-отець Макаръ тилькы пошкрябавъ соби потылицю.

— Премудрость, звычайно!—позихнувъ винъ, хрестячы рота.

— Важко, важко розумиты Святе Пысьмо,—не заспокоювавсь Трубайло.—Ще давнійшь, то ничого: яку проповідь роскажешъ, усе гараздъ; а заразъ, ажъ сумъ бере: гляды, не обережешъ. Ще казатымутъ—еретыцтвуеть!

— Та хай йому!—ажъ махнувъ рукою Калытка.—Скажить кра-ще: вы сами живеете?

Пан-отець Каленыкъ вразь мовъ оджывивъ,—очи йому ве-село засвитылысь и радисный осмихъ загравъ на губахъ.

— Э, ни, не самъ—унукъ йе въ мене десяти литъ, Васько. Тамъ що дытына хороша, що розумне, що утишне!—почавъ винъ выхвалятсья унукомъ, якъ завжды, колы доводылося за його балакаты, бо й справди старый любывъ якъ сонце, якъ свить своего старого жыття, якъ не любывъ мабутъ никоы й своихъ дитей,



сю маленьку хорошу дытну, що такъ закрасыла вона йому жыття. И довгенько мабуть довелося бѣ Калытци слухаты про усяки прыгоды зъ Васькового жыття, що ихъ до ночи згоденъ бувъ бѣ згадуваты Трубайло, якъ бы на щастя пан-отця Макара не спынывъ оповиданнйвъ Каленыка Пафнутьевыча якыйсь ввесь задрипанный селянынъ, утаскавшы въ хату якусь мокру та кальну торбу, що ворушылася, мовъ щось живе.

— Се я вамъ, пан-отче, рачкывъ прынисъ,—казавъ винъ Трубайлови, поблагословывшысь.—Ловывъ тутъ близько коло вашого городу; поживляйте жъ, будь ласка, на добре здоров'я.

— А, спасыби, спасыби! Рачкы то чудова ричъ,—радо розгортувавъ старый торбу, зазыраючы у неи.—Страшенно люблю сыхъ рачкывъ... Сидай же, Охриме, погостюешъ... ось-но я заразы поклычу куховарку, хай ихъ зварыть... въ гурти йившы й рачкы посмачнйшають.

Але дарма, що Каленыкъ Пафнутьевычъ зовсимъ не помитывъ, якъ насупывся пан-отець Макаръ, зачувшы ту прыпроху; Охримъ вразъ помитывъ, що сторонній пан-отець не дуже радють його компанію и видтакъ выбачаючыся захапався.

— Спасыби, пан-отче, выбачайте на сей разъ... йй-Богу, не могу... покынувъ човна, снасть и трохы рачкывъ, що вловывъ. Небезпечно... Бувайте здорови!

Охримъ вже й пишовъ, а пан-отець Макаръ все не мигъ ще заспокоитыся. „Старый, якъ дытына: такого затипаку мижъ моихъ „барышень“ у одынъ гуртъ клыче! Дурень, йй-Богу!“—сердыто мыслывъ винъ, покы Каленыкъ Пафнутьевычъ, ничого не помичаючы, все тупцявся, розглядаючы, била рачкывъ та тыхенько всмихався.

— Хе, хе, хе! Се вамъ, пан-отче, якъ бы розказаты, за вищо мени сей Охримъ усячыну раз-по-разъ зношуе, такъ чысто комедія...

— Ну?—незадоволено спытавъ Калытка, ще маючы надію, що Трубайло хочъ теперъ зрозуміе свою необачнисть. Але Трубайло зовсимъ байдуже провадывъ дали:

— Комедія, чыста комедія, далеби!... Одурывъ винъ колысь, сей Охримъ капосный, та ще якъ! Брата женывъ, прыходыть за винецъ. Я не багато й заправывъ, тры тамъ карбованци. Божыться-молыться—не мае, и тыхъ скрутно знайты.—Ну, дай два!—Нема й двохъ.—Ну одного!—Нема и того...

Ажъ очи розплющывъ Калытка, слушаючы таке нечуване оповидання.

— Ну-ну! ну й бузувиръ же капосный!—дарма на свое незадоволення, не мигъ винъ покрыты свій поглядъ.

— И знавъ я, що винъ хочъ и не заможрый, такъ не въ такыхъ же й злыдняхъ; ни, такы ублагавъ, думка—може й справди скрута. Кажу йому въ жартъ:

— А що жъ въ тебе, чоловіче, йе?

— Що бъ въ насъ було!—бидкається.

— Ачъ гадюка!—зновъ не втерпивъ Калытка.

— Адже жъ, кажу, гречана полова йе? Лантухъ принесешъ—повинчаю.

— Но?... и повинчали?

— Та й повинчавъ, а винъ вражий сынъ другого дня й узявъ мене на глумъ:—Одурывъ, хвалыться мижъ людей, дурного попа: що бъ схотивъ, те бъ и злупывъ, а винъ за торбу половы повинчавъ!... Почувъ я. Трывай, колы такъ!—мыслю... Попавъ його у церкви та й заходывсь парыты... Парывъ-парывъ, дывлюсь—у кышени добаетсяя, вытягае троячку:—Визьмить!—кланяється.—Не хочу!—Благавъ-благавъ, ажъ заплакавъ, а я такы грошей не взявъ. Эге жъ, зъ того часу винъ раз-у-разъ до мене зъ гостынямы и такый же чоловікъ гарный ставъ. Казавъ:—годи вже тоби, Охрима, буде зъ тебе на покуту, не втрачайсь зайво; ты вже мени зъ процентамы выносывъ—такъ же просыться!

— Ну и бузувиры, ну и лодари, ну и капосныкы!—повный правдывого обурення сварывся пан-отець Макаръ. — Мерхамулы неосвичени!...

Ажъ вжахнувся Каленыкъ Пафнутьевычъ, зачувшы такую сылу гострыхъ сливъ.

— Що бо вы, хай Богъ мылуе!... Люде якъ люде: ни зъ чого, то й скупіють...

— Эге жъ, ни зъ чого! а намъ зъ чого? Робылы бъ, то було бъ зъ чого...

— Такъ воно, такъ—такъ же биднота, то й Богъ зъ нмы!

— Ни, вамъ ще такъ-сякъ; а въ кого Богъ благословывъ—диты, ихъ до ума доведы!—не вгававъ Калытка.

— Хе, хе, хе!—несподиванно зареготався, ажъ затрусывся весь Каленыкъ Пафнутьевычъ, а выдъ йому збигся зморшкамы, якъ печене яблоку.—Хе, хе, хе! Ни, такы воны гаспыдови диты тямлять,

колы пан-отцеви треба грошей, а колы й такъ вызволыться. Отсе у пистъ, на Велькдень та у передпылыпивськи запусты - саме попивськи жныва; кажуть—въ попивъ гроши йе, и торгуються жъ, хочъ зубамы выдырай кожную копійку; а середъ лита, самы здорови знаете, хиба якый шагъ щербатый у кышени мотається,—ото воны, покы жинка жыва була, було й нагадують—часъ пани-матци ильнуваты, а заразь то й самы вже у двирь зношують.

— Пху! недолюдки!

— Чого бо вы? Йий такы Богу, знаютъ и сами признавались.

Видчынылыся широко двери и въ хату спрожогу веселе, зачервониле зъ веселощивъ та биганыны, ускочыло маленьке хлоп'я у гарній кольорыстий сорочци, що десь уже вправылося вымазаты ии до останнього. Се й бувъ унукъ Васько. Але жъ, колы зобачывъ у хати стороннихъ людей, вмытъ спынувся, похмурывся й остовпивъ, чы не збираючыся тикаты за двери.

— Ну, ну, йды жъ, Ваську, будь гречный, не лякайся, — обиззався до його прывитно пан-отець Каленыкъ.

Васько мабуть и самъ надумавсь, що тикать не лычыть, але жъ балакаты багато зъ чужымы не выявлявъ жадной охоты. Винъ, зъ обережнiстю обмынаючы гостей, добывся до пан-отця Каленыка и ховаючыся по-за його рясоу, поглядавъ звидтиль на ихъ насупывшыся.

— Онъ дывысь, хлопче,—обиззавсь до його, щобъ пидбадьорыты, старый Трубайло,—якихъ намъ рачкивъ прынесли. Ось!—и вытягшы зъ торбы здоровенного рака, Каленыкъ Пафнутьевычъ пидсунувъ його зовсимъ близько до унукового носа. — Жывый: з'ийсть, колы боятымешся!

Маленький Васько, незадоволеный на таке турбовання, замахнувся злегка рукою, видбываючыся видъ страховыща, але згадавшы, що такъ не лычыть поводитыся зъ дидомъ, ще дужче засоромывся и вже на-чысто убгався у збиркы дидового пидрясныка. На хлопцеве щастя унесено обидъ и усихъ думкы повернулыся бильше до стравы. За обидомъ, лышывшыся до чарковой компани, пан-отець Макаръ обмежувавсь тилькы трьома чаркамы, але попойивъ у смакъ, ажъ почувъ охоту до сну.

Якъ на лыхо, Каленыкъ Пафнутьевычъ щось прыгадавъ цікавого, чымъ доконче бажавъ подилытыся. Правда, винъ ще щось соромывся та вагався, поглядаючы на Калытку прывитно-лукавнуватымъ поглядомъ, немовъ вывиряючы, чы можна йому доручыты

таку важлыву ричь. Та мабуць выглядь Калытчынь бувь досыть  
виры годный и Каленыкъ Пафнутьевычъ, хочь спочатку й несмыли-  
во, а почавъ такы скоро свое оповидання.

— Ни, такы похвалюсь вамъ! Йе въ мене тутъ гай предкивсь-  
кий десятинь на сорокъ... — и Каленыкъ Пафнутьевычъ, подыбав-  
шы до шафы, выинявъ звидты зъ надзвычайно шануючою обереж-  
нистю якисъ паперы.— Хазяйную я нымъ вже скильки рокивъ по  
стародавньому, звычайно зберегаючы, щобъ и дитямъ не абы-що  
упалося, та й байдуже; ажъ ось видбираю папиръ ажъ видъ са-  
мого министра „государственныхъ имуществъ“— гляньте и пид-  
пись власноручный,—ткнувъ опожывляючысь Каленыкъ Пафнутье-  
вычъ одынь зъ паперивъ передъ сами очи Калытци.— Цикавый  
бы я довидатся, хто йому за мене давъ звистку? Спасыби йому,  
спасенна душа, пошанувала и мои труды! Чытайте жъ но лы-  
шень, що тутъ пропысано: „Честь имѣю просить не отказать по-  
дѣлиться и сообщить въ Министерство... Ваши взгляды... И резуль-  
таты Вашего опыта... по вопросу о сохраненіи лѣсовъ“. О! Ну, вы-  
дымо и якъ бы я тамъ видмовывъ, або, пакъ, „отказаль“; и зве-  
литы могли, а то такъ же обачненько, ще и „честь имѣють,“—ра-  
до, якъ дытына, сміявся Трубайло.—Ну, такъ не пошкодувавъ же я  
праци, поморочывсь, а напысавъ чымаленько, а, здається, й до-  
кладно; не промынувъ ничогисинько: и якъ треба лисы чухраты, и  
на який рикъ хворосты рубаты, и щобъ товару не пасты,---въ ме-  
не се боронь Боже!— и що окопуваты та тарасомъ прыкладаты  
треба. Пышу—тарасъ великый захысть видъ товару робыть, тиль-  
кы у дроковыцу не помагае, колы худоба, хвоста задершы, ганяе,  
куды влучыть, то часомъ и тарасъ пересягне; пысавъ и за те,  
що отъ, якъ вы знаете, на вія, на граблыща, на вылкы, дуже  
не можна оберегтыся, щобъ люде не вкралы и що се саме лисо-  
ви шкоды... Ни, такы докладно напысавъ. Такъ же и вдякы, спа-  
сыби, диждавъ, чытайте-но зновъ: „Министръ государственныхъ  
имуществъ честь имѣть“—зновъ такы „честь имѣть“—выразить  
Вамъ признательность за принятый Вами на себя трудъ и полез-  
ныя указанія“,—и пидпись зновъ такы його самый.

Гараздъ, що пан-отець Каленыкъ не добачавъ трохы, бо пев-  
но прыкро було бъ йому бачыты, якъ почавъ позихаты, а дали й  
зовсимъ закунявъ, слушаючы його, Калытка. Може ображенна не  
дало бъ Трубайлови звернуты належну увагу на те, що зазнани  
мынулой ночи пан-отцемъ Макаромъ великы турбаціи выправляють

Його прыхыльнисть до сну та неуважнисть до пысаннивъ пан-отця Трубайла. Але жъ слаби очи на сей разъ вратувалы його видъ гришного гниву и винъ довидавсь про бажання Калыткы спаты лыше видъ його власне, колы той, почекавшы хвылыну, обизвався:

— Будь ласка, якъ бы отсе по обиди трохы заснуты, бо я у ночи не гараздъ выпавсь.

— То що жъ, зараздъ постельмо... спить на здоров'я!— захапався Каленыкъ Пафнутьевычъ.

— Я вже у васъ и ночуватыму. Воно у васъ и тисненько, такъ що жъ зробымо! Хай бабы тамъ, а мы зъ вами та зъ хлопцями тутъ прымостымося. Не люблю я проты ночи у городъ йихаты.

— Отъ и спасыби!—зрадивъ Трубайло, навить и въ думци не журячысь тымъ, що достанеться мозолыты старечи кисткы на твердй канапци, и зараздъ потюпавъ радытыся зъ наймычкою, якъ бы краще владнаты гостямъ ночивлю.

Унесено перыну; наймычка довго штовахала ии зъ усихъ бокивъ, здймаючы хмару пир'я, застельыла ии чыстенькою рядною, а въ головахъ поклала купу подушокъ. На се не було бидноты въ пан-отця Каленыка, и винъ дывлячысь, якъ стелять постелю, журлыво хвалывся пан-отцеви Макарови:

— Се ще стара моя, небижчыця, наготувала, спасыби ий и вична пам'ять... впорядыла мене на весь довгый викъ.

Постельвшы постелю, наймычка поставыла у головахъ великый кухоль квасу и пан-отець Макаръ не забарывся захропты на всю хату, а Каленыкъ Пафнутьевычъ подыбавъ помалу до церкви, дорогою ще самъ позачынявшы виконыци, щобъ свить та мухы не непокоили гостя.

Вже зъ пивъ року чы не що-дня и по будняхъ простуе пан-отець Каленыкъ на цвынтарь—чого саме, й доси не зовсимъ видно парафіянамъ, але те вже кожному выдко, що батюшка ходыть найбільше по-надъ огорожею та все прыстукуе та прыдывляеться до кожної крратыны, до кожного стовпчыка. Огорожа нова ще, йе багацько гиршыхъ по епархii, хиба де-не-де порозгнывалыся жолобыци пидъ крратынамы; такъ же у церковній скрыни прыдбалося щось кошту и вразъ зъ тымъ, якъ винъ бильшае, лежучы марно, частйше и частйше вкыдаеться Каленыкови Пафнутьевычу у думку чудова кам'яна огорожа бия собору въ мисти.

„Отто огорожа—такъ-такъ! дуже гарна, а въ насъ що? Понастромлювано паличокъ“,—гадае старый и думка поставты нову опановуе нымъ въ таки хвылыны цилковыто; але колы зважывшысь ишовъ винъ потимъ на цвынтарь роздвлятыся, якъ що робыты, зновъ почынавъ вагатыся, завыряючысь ще разъ, що стара огорожа досыть ще справна.

Але кошть все збирався, бильшавъ и де дали дужче мультъ старого Трубайла. Пивъ року ходячы самъ на цвынтарь, самъ розгадуячы и свои бажання, и свою непевнисть, пан-отець почавъ почуваты невидминну потребу перевырытыся зъ кымъ своими думкамы. Такъ и сей разъ, довгенько попоходывшы по цвынтарю й натурбувавшысь непевными думкамы, що колывались то у той бикъ, то у иншой, винъ побачывъ чоловика зъ парафіянъ, що вважавъ його за розумного, якъ той йшовъ улыцею, и не вдержавшы дали свого бажання, заклыкавъ того до розмовы.

— Дывлюсь я отсе на нашу огорожу, Даныло!—соромлячысь почавъ винъ несмильво.—Здається...ничого ще?

— Дякуючы Господеви! Якои жъ ще?

— А тымъ часомъ щось мовъ не такъ...—ще несмильвийше запытавъ пан-отець.

— Та хвалиться вже, пан-отче, — засміявъ чоловикъ, — кортыть мабуць вамъ нову ставыты?

— Охъ, якъ кортыть, голубе!

— Такъ, такъ! И мы вже давно помичаемо—ходять батюшка по цвынтарю, дурно не ходытымуть... та ще рано, пан-отче!

— Ну, ты слухай, Даныло, чому рано? Для Бога ничего не рано, а якъ бы то хороше, якъ огорожа мурована, якъ у мисти, бия собору—краса! А то, що справна—такъ палычки жъ!

— Мурована?.....

— А ты думаешъ я чого?—знервовано хапаючысь зъ радиснымъ осмихомъ на красу своеи думкы, провадывъ Трубайло.—Бачу жъ и я, що ся справна, перестоить. Такъ чы той же выглядъ, чы така бъ була пышнисьць церкви?

— А гроши?—перестеригъ чоловикъ, що й самого вже вразыла та лестыла думка про муровану огорожу, такъ боявся ще новыхъ ђплаткывъ.

— Гроши, голубе, йе!

— Йе?

— Йе!

— И выставить?

— Та й выставить!

— Такъ чого жъ? Такъ и Боже помози!—здравивъ и чоловікъ и довго ще радисно розмовляли та радылись пан-отець зъ Даныломъ, яку прегарну огорожу вчыстять вони побиля своєї церкви та яка буде краса й диво на усю околицю.

Вже посутенило, колы Трубайло подыбавъ до-дому, збудывъ пан-отця Макара, повечерялы чымсь, похрестывшы трохы лоба, Калытка зновъ залигъ высыплятыся, а пан-отець Каленыкъ, погасывши свитло, щобъ не турбуваты гостей, ставъ на молитву. Мынавъ часъ; вже двичи, прокыдаючыся до квасу, Калытка зъ дывуваннямъ прysłухався кризь сонъ до побожного шепотиння молитовъ, що вражало йому вуха, лынучы зъ темного кутка хаты—то пан-отець Каленыкъ, то спускаючыся навколишки, то охаючы, зновъ здіймаючыся на ноги, горяче благовъ Господа, вычитувавъ попереду молитвы, дали просячы власнымъ словомъ, яке траплялось, яке выхоплювалось зъ його повной зачаровання, прагнуочи до Бога души.

Рано вранци рушывъ повизъ пан-отця Макара зъ Трубайлового двoryща. Вырядывшы гостей, пан-отець Каленыкъ сивъ видпочты на рундуци проты сонця, покы наймычка прыбере хату пилля ночивли. Маленькый Васько, що ганявъ бувъ по двoryщу, прыбигъ ластытыся до дида та прытулывся въ його биля колинъ. Не дуже спавъ старый на твердому лижку и, почуваючы себе втомленимъ, похнюпывся та выгривався проты сонця, залплющывшы очи; але жъ йому такъ любо було чуты побиля себе маленького онука, чуты його пестоши, и дидъ тыхо гладывъ хлоп'яти билу выстрыжену голиву шерсткою долонею. Але Васыкъ мавъ якусь клопитну думку, що невидминно бажавъ чуты на неї дядову видповидь.

— Диду, диду!—ворушывъ винъ старого, повертаючыся шпарко до його та нетерпляче торкаючыся йому бороды.—Отси капосни Калытки—вони сміялыся зъ насъ...

— Но?—не росплющуючы очей, байдуже видповивъ старый.

— Калытчыха каже, що мы живемо по-свynячому...

— Але якъ ты, сыну, знаешъ, що вона такъ каже?

— Та же я чувъ, якъ вони по-мижъ себе реготалыся, не ба-чучы мене.

— Та тоби не годылося бѣ слухаты... Але то вона неправду каже: мы живемо вбого, а не по-свынячому, по-свынячому—то було бѣ неохайно, нечепурно, а въ сьому насъ не можна выноватыты...

Дытына на який часъ замыслылася, але знаты було, що въ маленькій головци змагаються якись-то непорозуминня.

— Такъ же вона казала, що ихъ погано трактували, не давали ніякыхъ ласощивъ, що не гречно такъ витаты гостей...

И довго досталося старому Трубайлови ще нового клопоту— доводыты онукови, чья брехня, чья правда,—чы його, чы Калытчышына?







### *Грыцьно Коваленко.*

Коваленко Грыгорій Олексіевычъ, сынъ козака, побачывъ свить 24 сичня р. 1868 въ присилку Лыпнякахъ, у Переясловщыни. Освиту здобувъ у фельдшерській школи въ Полтави; 1886—90 р. служывъ фельдшеромъ на сели, а пияся п'ять рокивъ пры университетськихъ клиникахъ у Москви; теперъ мае службу въ миській управи въ Черныгови. Вперше надрукувавъ р. 1891 этнографычни працы въ „Этнографическомъ Обзорніи“ та поэзи въ „Зори“.

Творы Коваленка,—оповидання, поэзи, розвідкы литературно-исторычни, популярни книжки для народа,—друкувалыся въ „Зори“, „Дзвинку“, „Кіевской Старинѣ“, „Л.-Н. Вистныку“ та окремымы выданнямы на Украйни. Опричъ того, Коваленко выдае портреты украйньськихъ письменныкывъ та исторычныхъ діячывъ.



## Народни писни.

Оповидання.



Одного святочного зимового дня зъ села прыйихавъ до мистечка кинно-полицейський урядныкъ Йовхымъ Галушка, що звавъ себе—Галушковъ зъ того часу, якъ служывъ у салдатахъ и бувъ тамъ вахмистромъ.

Його клыкавъ на щось до себе становый прыставъ. Се ричъ звычайна: або десь выныкло „происшествіе“,—може що вкрадено,

то треба Галушку послати по гарячому слиду, бо винъ же на цилу округу найсправнійшый урядныкъ; або може зновъ накнутъ на його яке здырство — гроши збираты на добродійни цили, — и се дило не страшне Галушци: не первынз.

Та сього разу чогось Галушка дуже смутный вийшовъ одъ станового; въ задуми сивъ винъ на свои санчата и поволи пойхавъ до волосты. Тамъ бувъ його давній прыятель, пысарь Лавринъ Чухрайло. Не сказаты, щобъ булы воны вельки та щыри прыятели,—въ наши часы мижъ поважнымы „діячама“ занадто щыра прыязнь тилькы шкодыть; але одынъ другому не разъ ставалы у помочи: якъ то кажуть—рука руку мые.

На той часъ у „волосному правленію“ не було пысаря: рады святочного дня винъ дозволювъ соби спочыты дома. Галушка зъ досадою подумавъ, що йому сьогодни скрызъ не щастыть, тыхенько соби вылаився по давньому салдацькому звычайу й пойхавъ до пысаревой хаты. Хата була гарна, нова, комора рублена, собаки лыхи, ворота высоки,—усе якъ слидъ буты у порядного господаря.

Пысарь Лавринъ Чухрайло самъ вийшовъ обороныты гостя видъ собакъ: то була ознака особлывого поважання й ласкы до гостя.

Галушка поклавъ свой кобыли синця, накрывъ ии ряденцемъ, а самъ пишовъ за пысаремъ до хаты. У хати було гарно, якъ у виночку: чысти лавкы застелени кылымамы, два стильци, одынъ зъ березового дерева, другый плетены зъ лозы, и ще одно чорне крисло, позычене зъ волосты; малюнкы по стинахъ — портреты царивъ, вйна зъ туркамы и т. и. Окремо прыбытый бувъ на стини „вичный календаръ“, тежъ позыченый зъ волосты; винъ вично ничого не показувавъ (а мавъ бы багато де-чого показуваты), стоявъ тилькы для окрасы; выгадавъ його якыйсь старый генераль и думавъ спасты Росію винъ усякыхъ лыхъ тымъ своимъ чудеснымъ творомъ.

Гостя прывитала у хати чепурна господиня, Чухрайлова жинка. Вона заразъ вийшла у кимнату, за нею пишовъ туды й пысарь, очевыдно на пораду—чымъ витаты гостя. Вернувшысь Чухрайло спытавъ,

— Що жъ доброго чуваты, Йовхыме Корнійовичу?

— Доброго мало,—озвався той,—а бильше лыхого. Хиба вы не знаете нашои службы: де все добре, насъ тамъ не треба. А тиль-

ны де що трапыцца лыже,—чы барана або гуску вкрадено, чы голову розбыто, ребра поломано, чы хто померъ наглою смерцю,—заразъ туды скачы, пышы протокола... Отсе я тилькы вернувся изъ Вовчкова, тамъ якась хороба на волахъ прокынулася; а заразъ треба було йхаты до становаго прыстава. Бидна кобыльчына зовсимъ охляла.

— Хйба й скотячы хоробы належать до вашой спецыальности?—спытавъ пысарь.—Та й що жъ воно за хороба,—може то инфлюенця?

— Вамъ усе жарты, Лаврине Потаповычу!—озвався Галушка.

— Та й вы жъ чогось сьогоднн занадто серюзни, Йовхыме Корнйовычу; може вчора тее... загулялыся трохы, та й не доспалы...

— Де въ биса! Ось становой загадавъ таку роботу, що якъ я родывся. хрестывся, то не чувавъ...

— Роботою насъ не здывуете!—гукнувъ Чухрайло.—Уже немае въ свити стилькы роботы, якъ у волости, а проте не плачемо. Одной статыстыкы до ста бисивъ: скилькы чого вродыло, скилькы дощивъ було, скилькы хорыхъ, померлыхъ, слипыхъ, кривыхъ, божевильныхъ и т. д., и т. д.

— То хйба жъ вы завсигды й правду про все те пышете?—спытавъ урядныкъ.

Пысарь зареготовався.

— Се выгадалы! Се якъ бы правду пысаты, то треба побильшыты мою канцелярйю розывъ у п'ятъ. Десь панамъ нема чого роботы, то воны статыстыкы зъ насъ вымагають. Але на биса имъ, скажыть вы, знаты, що въ нашому сели позавчора бувъ дощъ и витеръ из-за Терешковой клуни, и що у насъ найбожевильнйша баба Оныщыха, бо що тыжня позываецца у волостному суди... Або зновъ про тепло та холодъ. Вы думаете, хочъ одынъ пысарь справды шо-дня запысуе, яка була погода, скилькы було тепла чы холоду? Йе йому часъ! Мынувъ мисяць, треба „видомость“ одсылаты, я заразъ и пышу за цылый мисяць, выставляю яку-небудъ погоду на кожнй день. Попереднй пысарь, щобъ не вбрехатыся, було спершу подывытыся у Брюсови „предсказаня погоды“, а тоди вже й пыше.

— Я жъ бо знаю,—каже Галушка,—що пысари, напр., у пашпортахъ, правды не показують. Колысь я узывъ пашпортъ у одного наймыта; тамъ напысано, що винъ чорнявый, а нисъ у його,

губы и підбориддя „обыкновенные“; а справди бувъ винъ руся-  
вый и въ бидолахы нѣса зовсимъ не було ніякого...

— Се буває!—засміявся Чухрайло.—Пашпорты у насъ чышуть  
хлопци-помичныкы по заведеному звычайу, „по форми“, бо безъ  
формы пысарчуку ничего не вміють. Та хочъ бы й якъ, по чимъ  
мы знаемо, щб пысаты, колы мы чоловика, буває, зроду въ  
вичи не бачылы? Жыве воно десь у чужій сторони змалку, а  
прыпысане до нашої волосты и повинно у насъ пашпорты браты.  
Ну, и даемо, и пышемо у пашпорти усе, чого законъ вымагае...

— А то ще мени довелося разъ пашпорта бачыты,—сказавъ  
Галушка,—а въ іому напысано: „особыя примѣты“: выненъ Ку-  
лябци грошей тры рубли...

Обыдва засміялыся, а тоди Чухрайло промовывъ:

— Отъ вы глузуете, и вси зъ насъ глузуютъ. А чы подумаетъ  
кто, видъ чого се выходыть, черезъ що мы не можемо, якъ вы  
кажете, „правды пысаты?“

— Черезъ що жъ саме?—спытавъ Галушка.

— Та якъ же мы можемо що вдіяти зъ тією масою пысанья,  
зъ моремъ паперивъ? Вы тилькы подумайте: скількы йе у Пе-  
тербурзи и въ губерніи, и въ повити усякого начальства, и вси  
воны працують, выдають наказы, цыркуляры, формы; а якъ дійшло  
дило до села, то хто имъ тутъ що зробыть?—опричь волосты,  
бильшь ни до кого звернутыся. До того ще въ мене—посемей-  
ни и прызывни спыскы, страховка, каса волосна, судъ, то-що.  
А грошей на канцелярію нема. Черезъ те я мушу держаты абы-  
якыхъ хлопцивъ, плачу одному 10, двомъ по 5 рубливъ на ми-  
сяць, одному 1 р., а ще два хлопци дурно роблять, учаться.  
Теперь вы бачыте, черезъ що мы выдаемо таки пашпорты, че-  
резъ що робымо таку статыстыку. А тутъ ище беда: инколы  
може й хотивъ бы не збрехаты, але вымагають. Одного разу я  
заповнявъ таблицю урожаю, прыслану зъ центрального статыс-  
тычного комитету, и напысавъ тамъ, що *полбы* у насъ не сіють.  
Такъ що жъ вы думаете,—таблицю ту мени вернено и сказано:  
поставъ скількы хочъ, абы було; а то ще начальство може буде  
нарикаты, що мы не вміемо людьмы орудуваты, не навчылы лю-  
дей сіяты *полбу*...

— Ну, а колы бъ у програми поставлено було—чай, апельсыны,  
бананы и т. и.?—спытавъ Галушка, сміючыся.

— Чай и бананы не произрастають у Російській імперіі,— тепер тильки почалы разводты чай десь за Кавказомъ. Але колы бѣ и си ричи стоялы у програми, то мы мусилы бѣ показаты, напрыкладъ, хочъ такъ: чаю вродыло у нашій волости по 50 пудивъ на десятины, чы шо.

Тымъ часомъ, поky вони розмовлялы, Чухрайлова жинка спрягла на сковороди сальця, ковбасу, накраяла хлиба, дистала горилкы й вышнивкы, и все те поставыла на столи, а тоди заходылася грнты самсвара. Чухрайло наливъ чарку, самъ выпывъ, гостевы давъ, тоди выпылы по другій, по третій и почалы зайидаты.

— Ганяють и нашого брата,—озвався Галушка,—якъ хорты зайця. И хоча того, мовлявъ, пысанн्या у насъ и не багато, такъ же намъ воно труднійше й дистається. Вамъ шо? Вы люде зило пысьменны, вы зъ того хлибъ йисте; а нашъ братъ до того не звыкъ. И нищо мени такъ не дошкуляе, якъ ота капосна граматыка. Ии выдумавъ запевне якыйсь ворогъ людський... Ну, скажить вы, на вищо вона здалася? Я вже помитывъ, шо котрый, бувае, урядныкъ знае граматыку, той до службы не меткый и ледачый, отъ хочъ бы й Кузьма Дяченко—той, шо въ Лопуховатому... Якъ доводыться мени подаваты рапорты становому, то винъ каже: „Ты, Галушковъ, дуже добрый урядныкъ, дисциплину знаешь и меткый зъ биса!“—Радый, кажу, стараться, ваше высокоблагородіе!—„Ты мигъ бы досягты чогось кращого, я тебе чоловикомъ зробывъ бы“. — По гробъ-жызни, кажу, вашій мылости дякуватому.—„Но ты глумышся зъ граматыкы и пышешъ на-перекирь усякымъ правыламъ...“ Що жъ я маю на те сказаты,—соромъ, та й годи! Але те все байдуже: прожывъ пивъ вику безъ граматыкы, а начальство завсигды мене хвалыло; за заслугы маю ажъ двы медалы: одну далы ще въ вйську, за усмыреніе азятывъ, а другу тутъ. И лыха не сподывався, ажъ ось воно й прычепылося. Поклыкавъ мене становый прыставъ, я й прыйихавъ отсе сьогодни. Винъ каже: „Ты у мене, Галушковъ, молодець!“—Радый, кажу, стараться, ваше высокоблагородіе!—„Йе тоби робота,“—каже... Робота мени не страшна, хочъ бы й здырство яке. Хиба то не я продававъ юбелейны альбомы просвитно-добродійного товариства „борзой охоты“, зъ портретами знаменытыхъ псывъ и коней? Нагадавъ я про се становому, похвалывъ винъ мене ще разъ, а

тоди й каже: „Теперь инша робота: прыказано збираты народни писни. Збирай швыдче, а то беда буде“. А де жь ихъ збираты,— на дорози ништо не розгубывъ. Гей-гей! Мабуть, хоче начальство нашего брата вывираты, чы добре мы свою службу справляемо, чы вже выкоренылы уси писни у своимъ окрузи. Подумавъ я такъ, та й кажу:—Краще прыкажить, ваше В—дје зибраты хочъ и 25 р. на якый-небудь пам’ятныкъ.—„Ты дурень, Галушковъ,— каже винъ,—якъ не зберешъ писень за тыждень, то сыдитынешъ пидъ арештомъ. Маршъ!“—У мене въ души похололо. Що жь я робытому? Колы бь я не бувъ салдатомъ, то запевне плакавъ бы. Отсе зайихавъ до васъ, Лаврине Потаповычу, порадьте мени, поможить, батечку ридный! Вы чоловікъ пысьменный, вамъ доводилося зь усякою напасты выплутуватысь!...

— Се справди чудасія!—озвався Чухрайло.—То заборонялы людямъ спиваты, а теперъ подавай писень... Може то хотять зибраты уси народни писни до-купы та разомъ ихъ попалыты, щобъ не було...

Галушка сумно усмихнувся.

Чухрайлыха вже впоралася зь самоваромъ и сила до гурту, на кинци ослона.

— А ну лышень, жинко, почасть ще ты насъ!—промовывъ Чухрайло.

Пылы и йилы, та все думалы й балакалы про ту нечувану напасть. Чухрайлыха надумала:

— Вы, Йовхыме Корнійовычу, пидить на вечорныци,—тамъ почуете и запышете багато писень, та ще жь якихъ хорошихъ!

— Дурна!—сказавъ Чухрайло.—Паны тыхъ писень не люблять.

— Се неможливо,—промовывъ засмученый Галушка.—Разъ черезъ те неможливо, що неблагопрстойно; вдруге черезъ те, що якъ прыйду я на вечорныци, то ништо писень не заспивае, а бувае, якъ темно, ще й стусанивъ та запотылышныкывъ надають урядныкови,—вы жь знаете, якъ нашего брата люблять! У-трете черезъ те, що парубкы спивають тыхъ писень, що мы ихъ повинни выкореняты: що жь намъ начальство заспивае? Хочъ сядь та й плачь! Хочъ зь души выколупы писень, хочъ самъ складай ихъ...

— А що вы думаете?—засмівся Чухрайло,—се добре дило—складаты писни.

— И доведеться,—сказавъ сумно Галушка,—вы жъ бачыте, што доведеться. Складавъ сякъ-такъ рапорты, донесенія, акты о происшествіяхъ, хочъ и безъ граматыкы, а теперъ выходить—треба складаты писни...

— То й складайте. Се выгіднійше, ніжъ урядныкомъ буты Прыдбаете ще й славы, и грошей!

Галушка роздумувався. А Чухрайло казавъ дали:

— Отъ, напрыкладъ, Шевченко—якои славы заживъ соби складаннямъ писень!...

— Але винъ бувъ политычный,—додавъ Галушка,—и за те бувъ десь на засланны, чы може и въ каторзи...

— А може винъ, бідный, зъ нужды складавъ писни, якъ отсе й вамъ довелося, а комусь ти писни не вподобалыся—його й заслалы...

— Га!—стрепенувся Галушка.—Колы бъ ще й соби у политычне не вскочыты, щобъ часомъ и мене не заслалы... Ни, цуръ йому,—не хочу ни славы, а ни грошей, колы бъ хоча на урядныцтви вдержатыся. Тилькы де мени взяты писень, де?

— Невже вы хочъ у полку не спивалы якыхъ писень?—озвалася Чухрайлыха. Чухрайло й соби додавъ:

— Се вона правду каже—прыгадайте яку добру салдацьку писню, отъ и все.

Галушка подумавъ и сказавъ:

— Тямлю сю:

Какъ стояли на гряныци,  
Ўли булки, паляныци.  
А въ Расѣюшку прыйшлы—  
Сухарыка не знайшлы...

— Видно, такы вы хочете на засланны буты,—озвався Чухрайло.

Галушка злякався.

— А якъ же, - хіба можна таке про Росію казаты?

— А й справди... Заступы й спасы, Царыце Небесна...—прошептавъ бідный Галушка. Ажъ пить лывся зъ його одъ такого клопоту, а трохы й одъ вышникы.

Закыпивъ самоваръ. Чухрайло загадавъ жинци прыготовыты смачнійшого чого,—зъ лыповымъ цвитомъ, зъ ромашкою, щобъ запашный бувъ. Ище Чухрайло любывъ пыты чай зъ выш-

нивкою, прырадывъ се й гостеви. Сей напытокъ мавъ добрый  
вплывъ на обохъ: почалы жвавйше й веселйше балакаты.

А дали пысарь озвався:

— Выходыть, шо нйякыхъ пысень пысаты й подаваты до на-  
чальства не можна, щобъ часомъ не вскочыты у биду. Хйба вга-  
даешъ, шо тамъ начальство думаетъ?

— А якъ же я ничего не напышу, то мене пидъ арештъ по-  
садятъ!—каже Галушка.

— Такъ-такъ,—потвердывъ Чухрайло, — не можна ничего не  
напысаты; щось напышить, абы хоча формально наказъ бувъ  
сповнений. А становому хйба не однаково, шо вы напышете?  
Винъ перешле вашого рапорта дали зъ своею прыпыскою.

— Що жъ я напышу, шо?

— Берить перо и пышить, шо казатыму.

Чухрайло проказувавъ, а Галушка пысавъ (самъ пысарь на-  
пысавъ бы далеко складнйше):

„По тшатыльномъ дознаніи въ Райони оной Волосты ныка-  
кихъ Народныхъ Песень ныоказалось окримъ народного Гимна, и  
Которй Гимнъ поють во прыличыствующихъ случаяхъ, Который  
случаи напымеръ: во-дни Тезомеництва, и билъ вывешенй Хлагъ  
на високому деревѣ возли волосного правленія“...

Допысавшы, Галушка скрыкнувъ:

— Се жъ чудесно, батечку ридный! Ты мене вызвольвъ зъ  
велькой биды. Я бъ такъ никола не прыдумавъ. Дозволь тебе  
поцилуваты!

Якъ уже Галушка выльвъ частку своихъ радощивъ, то  
Чухрайло промовывъ:

— Таке донесеніе, якъ не глянь, буде добре: паны бачыты-  
мутъ, шо въ нашому райони полиція пыльнуе и выкореняе  
шкодлывы писни, а натомистъ прыщиплюе благонадежни, и шо  
въ насъ добре справляються торжественни дни... Ось побачыте,  
колы не прыйде вамъ подяка за се видъ начальства. Тоди—вашъ  
могорычъ!

— П'ять могорычивъ!—скрыкнувъ радый Галушка.

— Тилькы бъ може далы выправыты донесеніе, бо воно, знаете,  
не зовсимъ граматычно напысано.



— А хай їй бисъ, тїй граматъци! Симъ литъ макъ не родывъ, а голоду не було. Пивъ вику прожывъ я безъ граматъкы, а биды не знавъ. Намъ треба дила пыльнуваты, а не граматъкы.

Выпылы ще чаю зъ вышнивкою. Галушка звеливъ пры-  
нести за свои гроши зъ шынку горилкы й вына. Зновъ пылы,  
радилы й цилувалыся. Галушка вже почавъ цилуватыся зъ Чух-  
райлыхою, и вона помитыла, що Галушка цилується смашно. Їй  
подобався сей високий, по военному вбранный урядныкъ. Часту-  
ючы выномъ чоловика, вона побачыла, що винъ уже зовсимъ  
знемигся, очи йому злыпалыся; винъ тыхо та жалибно спивавъ:

Ой горе тїй чайци,  
Горе тїй небози,  
Що вывела дитокъ  
Пры бытїй дорози.

Чухрайло любовъ сю жалибну писню и мигъ разплакатысь,  
особльво, якъ бувъ п'яный.

— Ну й жинка въ тебе, Лаврине Патаповичу!—гукнувъ Га-  
лушка.

Вона справи була гарна,—розжеврилася, очи блыщалы. Вона  
реготалася, крутылася и спивала:

Продай, мамо, дви коровы,  
Купы мени чорни бровы—  
На улыци стояты,  
На козакивъ моргаты.  
Ой смихъ та й публіка—  
Была жинка чоловика,  
А матинка бороныла,  
Ажъ кочергу изломыла...

Урядныкъ крутывся биля неи, танцювавъ и бувъ уже самъ  
не свїй. Помитывши тее, вона годи дуриты, сила на лави й за-  
спивала поважнои:

Ой полеты, галко, де мїй ридный батько;  
Нехай мене одвидае, колы мене жалко.  
Галочки немае, батечка не буде,  
Ой десь мене, нещасную, на вику забулы...

Вона спивала жалисно, чуло, и Галушка, схыльвышы голову,  
дывывся палкымы очыма на неи.

— Страхъ не люблю, якъ баба голосыть!—гукнувъ Чухрайло, прочулавшысь трохы.—Давай, брате, мы вдвохъ утнемо!

И воны почалы: „Хвалы, душе моя, Господа... Пою Богу моему, дондеже есмь... Не надійтеся на князи, на сыны чело­веческіи, въ ныхъ же нисть спасенія“...

— Охъ, годи, бо духу не стае,—озався Галушка,—та щось мы въ одно не потрапымо, и сумна се писня...

Чухрайло кывнувъ головою на знакъ згоды й почавъ:

У Кыиви на рыночку

Пьютъ чумаки горилочку...

Отакъ воны спивалы та частувалыся, ажъ помы й ничъ зайшла. Чухрайло скоро звалывся й захрипъ. Урядныкъ почавъ збиратыся до-дому.

— Ночуйте вже въ насъ,—промовыла до його Чухрайлыха,— а то ще десь вовкы з'йдять, бо ничъ темна.—Вона засміялась, а Галушка спытавъ:

— Хиба вамъ жаль буде, якъ мене вовкы з'йдять?

— А то-бъ ни?—промовыла вона, сміючысь.

Галушка хвылыну стоявъ та дывывся на неи...

Винъ зистався ночуваты.

Другого дня, поснидавшы и трошечкы похмельывшысь, пысаръ пишовъ рано до волосты, а урядныкъ переписавъ своего рапорта й понисъ до станового.

За годыну винъ вернувся, ще сумнійшый, нижъ учора.

— Ну, що?—спытала Чухрайлыха.

— Вылаявъ и побожывся, що прожене зъ урядныцтва, якъ не дистану за тыждень писень!...

Господыня, якъ могла, втишала и розважала гостя. Йому трохы видлягло видъ серця. Винъ уже не сподивався соби доброи порады видъ пысаря, тому пойихавъ просто до-дому, мынувшы волость.

Днивъ тры Галушка йиздывъ то въ сей кинецъ своеи округы, то въ другый—скризь траплялыся „проишествія.“ А винъ усе думавъ про писни—и йидучы, и встаючы, й лягаючы. Ажъ змарнивъ, бидный. Въ кого просыты порады?

Ажъ ось винъ надумавъ. Винъ згадавъ про урядныка Кузьму Дяченка у Лопуховатому—того самого, що вмивъ пысаты грама-

тычно, а до службы бувъ ледачый, у війську не бувавъ, муштры не зазнавъ, „пунтыкивъ“ и артыкуливъ не учывъ. За те въ сій справи—збиранни писень—якъ разъ мусивъ выгадаты щось путне.

У першый вильный день Галушка пойхавъ до Дяченка.

— Вы певно тежъ маєте наказъ збираты писни?—весело спытавъ Дяченко.

— Маю,—сумно видповивъ Галушка.—Видно, прыйшовъ уже мени капуть. У війську бувъ, самого полковныка не боявся, на усмыреніе азіятивъ ходывъ, медаль за те маю; а тутъ ось—на тоби..

Дяченко зареготався.

— Тутъ немає ничего смишного!—промовывъ Галушка.

— Не журысь, брате! Якось то буде!—гукнувъ Дяченко.

— Гай-гай... я вже спробувавъ—подававъ рапорта, що въ насъ ніякихъ писень, окримъ гимну, немає; але становый вылаивъ мене и забожывся, що прожене зъ уряду, якъ не дистану писень.

Дяченко зновъ засміявся й каже:

— Идить на мисто, купить тамъ самого благородного писельныка, дозволеного цензурою. Звидты мы выберемо по пари писень—и добре буде. Тоди вже запевне не вскочымо у биду. А такъ—кто його знае: напышешъ писню, а тебе въ холодну!

Галушка повеселійшавъ, заразь пишовъ на торгъ, знайшовъ москаля, що торгуе иконамы та кныжкамы, и почавъ шукаты соби писельныка. Выбравъ самого кращого—зъ рожевымъ малюнкомъ и зъ напысомъ: „Конфетка моя леденистая! Тысяча (а можетъ быть и менѣе) самыхъ модныхъ романсовъ, шансонетокъ и куплетовъ.“ Галушка подывывся ще й зъ другого боку и знайшовъ напысь: „Дозволено цензурою. Москва, 188\* г., Января 24.“

— Сього мени й треба!—подумавъ соби Галушка.

— Будьте блангадежны, гаспадинъ урядникъ,—озався купецъ,—запрещеннаво товару не держимъ.

Винъ думавъ, що урядникъ робыть „обыскъ“ його кныжокъ.

— Та ни, мени отсього писельныка треба,—сказавъ Галушка.

Купецъ и грошей не взявъ за кныжку, и ще й радый бувъ, що такъ легко збувся полициі.

Якъ прынісь Галушка писельныка, Дяченко переглянувь  
його и сказавъ:

— Вы хочъ отсю запышить:

Деревенски мужики  
Они просто дураки—  
Лѣнтыя.

Веревьюшки веревью...  
Подлецы.

Пальцы рѣжутъ, зубы рвутъ,  
Въ службу царскую не йдутъ—  
Боятся.

Веревьюшки... и т. д.  
Лежить Хрѣновъ на боку,  
Куритъ трубку табаку—  
Махорку.

Веревьюшки... и т. д.

Галушка бувъ радый, перепысавъ сю та ще одну писню,  
подякувавъ Дяченкови й зибрався до-дому.

— А вы мени у свѣй часъ у прыгоди станете,—казавъ Дячен-  
ко.—Якъ накынуть на мене яке здырство,—вы жъ знаете, що  
въ сій справи я неповоротный...

— Добре, добре!—озвався Галушка.—Якъ тильки що трапыться,  
то вы заразъ до мене. А нехай я лусну, колы видкажуся вась  
выручыты.

Другого дня Галушка почавъ пысаты такого рапорта:

„Его високоблагородію Господину приставу 3-го стана.  
Коннополицейского урядника Евхима Галушкова Рапортъ. Симъ  
доношу Вашему Высокоблагородію, что по тшатыльномъ розиска-  
нію и строгому Дознанію въ районѣ \*\*\*ской волости оказались  
Народны Песни и Которіе Песни нижепоимынованы дозволены  
Московскою цензурою 188\* гда, Первая починаица Деревенски  
мужики которіи безпременно глупыи дураки Лыняца, веровки  
вють, зубы рвутъ, Абы не йтить у Службу царскую, А которі  
Служивій верою правдою служить, и той вольготно лежить на  
боку и курить Табакъ хвабрыкы Гаспадина хренова...“ и т. д.

Дали Галушка напысавъ такимъ способомъ ще одну писню, та й повизъ до станового. Той перечытавъ, не вылаявъ, а тилькы промовывъ:

— Ты, Галушковъ, завсигда у сварци зъ граматкою!

Оддягло Галушци одъ серця. Колы тилькы граматка, то чортъ ии беры!

Прыставъ перепысавъ „писни“ рядкамы, щобъ вышло не наче вирши, де-що выправывъ, щобъ краще було, й видиславъ до вышого начальства, въ губернію. Тамъ ихъ ще разъ добре выправлено й долучено до писень, зибраныхъ зъ цілою губернію.

А за пивъ року выйшла зъ друкарни „Справочная книга \*\*\*ской губерніи,“ и въ тій кнызи, мижъ иншымъ, було надруковано бильше сотни „мисцевыхъ народныхъ писень,“ зъ передмовою й поясненнями одного вельмы освиченого и чыновного пана.

Поклыкавъ становой Галушку й каже:

— Зновъ тоби робота!

Галушка злякався, а про те промовывъ:

— Радъ стараться, ваше высокоблагородіе!

— Мусышь продаты отси кныжки.—И давъ Галушци десяткивъ зо два прымирныкивъ кныжки зъ писнями.

Галушка повеселійшавъ.

— Зъ велькою охотою,—сказавъ винъ,—се мени не страшне!

Забравъ винъ кныжки, повизъ до-дому; по дорози продавъ одну кныжку баби, що незаконно била на майдани била ричкы. Тоди згадавъ про Дяченка, що мабутъ и йому на-кынулы продаваты, пойхавъ до його й сказавъ:

— Братику! Я николы не забуду, якъ ты мене зъ биды вызвольвъ. Давай мени уси твои прымирныкы—я продамъ, а тоби гроши виддамъ.

— Бачу, що вдячність та вирність ще не зныклы на свити,—промовывъ Дяченко.

Тоди вони розгорнули одынъ прымирныкъ кныжки, знайшли виддиль свого повиту, знайшли й *свои* писни,—ихъ трудно було впизнаты, бо вони byly перероблены. До одной зъ ихъ, про *деревенськихъ мужыкивъ*, було додано таке пояснення (подаемо въ переклади):

„Ся писня свидчыть, що добри наслідкы військовои реформи 1874 р. вже зробылы свій впливъ на народъ, котрый уже бачить нерозумнисть колышньої неохоты до салдацькои службы. За-разомъ мы бачымо, якъ покращавъ и самый народній языкъ, на-блыжывся до литературного. У сьому факти мусять знайти соби смертний прыговоръ де-яки дурни хохломаны чы украинофилы, що й доси марять про Запорожжя, шыроки штаны, гопакъ и го-рилку...“

1899.





**Андрій**

**Чайкивський.**

Чайкивський Андрій на свить народывся р. 1857 въ мисти Самбори, въ Галычыни; освіту здобувъ на филозофичному факультети въ львивському универсытети; зъ р. 1882 адвокатуе въ Босни, Самбори та Бережанахъ. Въ литератури вперше Чайкивський выступывъ р. 1892, колы въ „Дили“ надруковани булы його „Спомыны з-передъ десяти литъ“ (выйшлы окремо у Львови р. 1894); пыше переважно повисти та оповидання; доси зъ його творивъ надруковано: „Вуйко“ (Зоря, 1895), „Образъ гонору“ (Львивъ, 1895), „Бразылійський гараздъ“ (Львивъ, 1896), „Курателя“ (Дило, 1897), „Рекрутъ“ (ibid.), „Олюнька,“ повистъ (Львивъ, 1895), „Въ чужимъ гнизди“, повистъ (Львивъ, 1896), „Сере-нада въ навечеріе Св. Войцеха (Дило, 1896), „Моя перша любовь“ (ibid) та инши. За кращи творы Чайкивського крытыка мае його повисти зъ жыття такъ званои „ходачковой шляхты“—„Олюнька“ та „Въ чужимъ гнизди“.

Литература: Маковей — Андрій Чайкивський (Л.-Н. Вистныкъ, р. 1898, кн II.).

---

— ❧ —

## С ы р и т к а.

Зъ повисты „Олюнька.“

---

**Б**уло се въ мисяци серпни року 185... пидъ часъ холеры Иванъ Ябчакъ порався на своимъ обійстю коло воза, котрымъ малы йихаты сыны въ поле по хлибъ. Винъ килька разъ зазыравъ до свого сусида Юзевого Лукаша черезъ плитъ, крутивъ головою та муркотивъ щось самъ до себе. Зазырнувъ ще разъ, та не вертаючысь вже до своєї робо-

ты, гукнувъ до сусида, Ясьового Петра, що мешкавъ на другому боци видъ загороды Юзевого Лукаша:

— Пане сусидо! Пане Петре! Бже щось зо два дни не бачуя, щобъ хто видчынявъ хату пана Лукаша... Чы не сталося тамъ яко-го нещастя! Въ хати лышь собака раз-у-разъ вые.— Жадень „хлопъ“ не поважыться заговорыты до шляхтыча по имени, опустывшы слово „панъ“, бо инакше почуе ганьбу.

Петро Ясивъ покынувъ соқыру, що нею рубавъ дрова, обернувся до Ябчака, поглянувъ черезъ плитъ на обійстя Лукаша, обтеръ рукавомъ пить зъ чола, помиркувавъ трохы та й каже:

— А й я ихъ вже зо тры дни не бачывъ... Може повмиралы?

— Та треба бъ щось зробыты—га?

— Та що робыты?... яке мени дило заглядаты до чужой хаты... Треба бъ заклыкаты пана префекта \*).

— А отъ и панъ префектъ иде,—каже Ябчакъ.

И дійсно въ тій хвыли надійшовъ улыцею префектъ Закутя, панъ Даньо Мыхасивъ.

— Пане префекце!—каже Петро Ясивъ.— Уже тры дни, якъ хата Лукашева не видчыняється, а въ середины собака такъ вые, ажъ страшно.

— Гмъ... вые собака, кажете, пане Петре, та й хата тры дни не видчынена... гмъ... Ну, то треба бъ щось робыты, треба бъ пана асесора... Пане Яне, а ходить-но сюды!—заклыкавъ до сусидной хаты.

Иванъ Петривъ, почувшы голось свого начальныка, покынувъ свою ранишню роботу и, перелизшы черезъ плитъ, ставъ такы заразъ коло префекта.

— День добрый!—каже.—А що тамъ, пане префекце?

— Гмъ... отъ бачыте, панъ Пьотръ каже, що тры дни ништо не выходывъ зъ Лукашевой хаты та й що тамъ собака дуже вые. Мусымо тамъ подывытыся... може яке нещастя!

Панъ префектъ говорывъ се зъ дуже поважною миною, хочъ йому було трохы лячно, бо холера мела въ Закути людей якъ митлю, тожъ и тутъ можна було сподиватысь новой жертвы.

Вси тры перелизлы черезъ перелазъ и стали пидъ викномъ.

— Гмъ... Ябчакъ!... А ну ходить сюды... буде насъ бильше.

---

\*) Начальныкъ громады.



Ябчакъ сказавъ ще килька сливъ сынови, що брався йихаты въ поле, перелизъ черезъ плитъ и наблызввся до трьохъ шляхтычивъ.

— А що будемо робыты?

— Гмъ... треба бъ подывытыся викномъ...

До одного викна зблызввся префектъ, до другого Иванъ Петривъ, позаслонювалыся долонямы видъ дневного свита и такъ дывылыся зъ хвылыну въ середыну.

— А що тамъ?—пытае Петро Ясивъ.

— Гмъ... одно лежыть на постели, друге не земли... Може вони сплять?

Собака, почувшы людей пидъ хатою, стала ще дужче выты, скавулиты та дертыся по дверяхъ.

Теперь прыступывъ Ябчакъ до викна, поглянувъ на середыну та сказавъ:

— Сплять вони та вже й не прокынуться бильше... вони нежыви...

Въ сій хвыли почулы вони зъ середыны хаты тыхенькый плачь дытыны.

Не було сумниву, що Лукаши повмиралы. Ясьо Петривъ ставъ сипаты двери, але вони byly замкнени. Винъ налигъ зъ усіей сылы, Ябчакъ помагавъ, и видразу высадылы двери зъ бигунивъ. Наполоханный песь выскочывъ въ тій хвыли на двирь. Винъ бувъ сухой-сухой, шерсть стояла на нимъ якъ щитка, хвистъ сховавъ пидъ себе, языкъ вывалывъ та почавъ ганяты по подвир'ю наче скаженный.

— Свентый Яне зъ Дукли! — закрычавъ префектъ, видступаючысь до перелазу,—гмъ... тажъ сей песь сказывся!

— Не бійтеся, не сказывся!—каже Петро Ясивъ,—винъ лыше дуже голодный,—и выйнявъ кусень хлиба зъ кышени та кынувъ псови.

Песь кынувся жадно на хлибъ и за малу хвылю з'йивъ увесь, наче бъ проковтнувъ муху. Заспокоившы першый голодь, песь прысивъ проты свого добродія, махавъ хвостомъ, облызувався наче бы дававъ пизнаты, що з'йивъ бы ще.

Теперь видчинылы хатни двери; звидсы ударывъ такый нездоровый духъ, що вси чотыри выбиглы чымъ скорше на двирь, щобъ видитхнуты свижымъ повитрямъ. Ябчакъ пробувавъ видчныты викно, але не мигъ, та выбывъ кулакомъ шыбку, щобъ напу-

стыты свижого повитря. За хвылыну ввійшы зновъ до хаты та ажъ здригнулыся видъ того, що побачылы.

Лукашъ, увесь посынилий, зъ розхристаною сорочкою, лежавъ середъ хаты. Його волосся помишане зъ соломсю, очи запалы, наче бъ уже выплылы, ротъ розявлений, выщырени зубы та стыснени кулаки показувалы, що Лукашъ перевивъ страшну боротбу зи смертю, закъ вона його подолыла.

На постели, обернена лыцемъ до стины, лежала мертва Лукашыха. Вона такожъ перебула не мали муки, якъ показувалы се скорчени коло жывота руки й выпружени ноги. Одно око Лукашыхы було расплющене—воно немовъ дывылося на маленьку пивтора-ричну Олюньку, що пыщала коло грудей матери, бо не мала вже сылы а ни голосно заплакаты, а ни всадыты до маленького своего ротыка мертвои матерынои груди.

Мала Олюнька скимлыла, якъ голодне цуцуня.

Усихъ прысутнихъ перенявъ лякъ. Воны перехрестылыся и стали безъ мысли шептаты молитвы, не можучы отямытыся зъ того жаху, якый на ныхъ насився.

Першый Ябчакъ прыступывъ до постели обережно, щобъ не замастыты соби нигъ, и вытягнувъ дытыну зъ того броду, въ якому вона лежала. Дытына давала слаби ознакы жыття. Ябчакъ взявъ по дорози зъ жердки надъ постиллю якусь суху шмату, горнятко зъ полыци и выйшовъ до синей, не оглядаючыся на своихъ товаришивъ, котри стоялы, якъ прыковани, и не могли отямытыся.

Выйшовшы до синей, Ябчакъ здйнявъ зъ дытыны мокру брудну сорочыну, набравъ воды зъ дижкы, обмывъ дытыну, якъ мигъ, завывнувъ у шмату и вынисъ на двиръ.

Жинка Петра Ясьового стояла вже на своимъ обйстю, цикава, чого ии чоловикъ зъ префектомъ пишовъ до Лукашевои хаты.

— А що тамъ дйється?—спытала Петрыха Ябчака.

— Лукаши обое небыжчыкы... Дайте, пани, трохы теплого молока для дытыны... Голодне, ледве пыщыть.

— Матко боска кальварйська!—крыкнула Петрыха, сплеснувшы въ долони, й побигла мерщй до хаты.

За малу хвылю вона выйшла, несучы въ кожній руци горнятко, а йдучы до перелазу, перельвала зъ одного въ друге молоко, щобъ його охолодыты. Ябчакъ взявъ горня зъ рукъ Пет-

рыхы и прыложывъ до ротыка дытыни. Дытына стала жадно ковтаты молоко, а Петрыха напынала:

— Та не давайце жъ видразу багато, бо дытыни зашкодыць... А што жъ тамъ и якъ?—допытывалася дали.

Але Ябчакъ не видповидавъ ничего. Винъ видай и не чувъ сливъ Петрыхы, такъ бувъ заняты свойою роботою.

За той часъ пывыходылы вси зъ хаты Лукашивъ. Префектъ пиславъ якогось хлопця, што надбигъ туды, по „холерныкывъ“, се-бъ то гробарывъ, што ховалы людей пидъ часъ холеры. Хлопчына пишовъ до корчмы, а кого лыше подыбавъ по дорози, росповидавъ про наглу смерть Лукашивъ. Незабаромъ циле майже село дизналося про се нащастя. Вси хрестылыся та охкалы, однакъ у багатьохъ цикавистъ брала гору надъ страхомъ; то жъ цила улыця коло Лукашевой хаты наповнылася людмы. Де-котри навить булы таки видважни, што перелизлы черезъ перелазъ и стали заглядаты до хаты.

Префектъ, боячысь, щобъ хто не заразывся, порозганявъ натовпъ повагою своего уряду и своеи палыци, поставывъ сторожа коло дверей, а самъ прыступывъ до громадки старшыхъ шляхтычывъ, што стоялы на улыци.

— День добрый, пане префекце!—прывиталы його шляхтычи, здымаючы шапки.

— Гмъ... Панове браття, треба бъ порадытыся, што робыты зъ дытыною.. Тажъ годи кынуты ии на улыци...

Старшына зглянулась межы собою й почухалась.

— Тажъ се ще дытына,—видизывався одынъ,—безъ груди не обйдеться...

Наче бъ се була перешкода до того, щобъ хто змылуывався надъ дытыною.

— Гмъ... правда й те, але такы годи... гмъ... Ну, што жъ?—сказавъ префектъ и поглянувъ на громаду.

Вси мовчалы, никто не ворухнувся.

— Колы вы, панове, не хочете, то я ии возьму,—каже Ябчакъ, держачы на рукахъ дытыну, вже нагодовану. Дытына, наче видчуваючы своего добродя, усмихнулася до Ябчака и ловыла його вуса своимы голымы рученятамы.—У мене,—мовывъ дальше Ябчакъ,—недавно взявъ Богъ таку дытыну, то жъ и сорочынка найдеться, та й хлиба, слава Богу, не купую... Отъ якось выгодується!

На ти слова шляхта заворушылася.

— Ще чога! щобъ шляхетська кровъ валялася по хлопськихъ прыпичкахъ!.. Мы не попустымо того, хочъ бы малы дытыну чергою годуваты!..

— Гмъ... пuste балакання!—промовывъ префектъ.—Дытына не теля, щобъ ии чергою по тыжневи годуваты... Або кажитъ, хто бере дытыну, або ни, то заразы виддамъ ии Ябчакови. Годи такъ дытыну змарнуваты. Але якъ визьме Ябчакъ дытыну, то визьме и двадцять моргивъ грунту, що Лукаши полышылы.

Ажъ теперь нагадала соби шляхта, що покійный Лукашъ лышывъ двадцять моргивъ доброго грунту й хату; нагадала соби, що бувъ багатыремъ, що у нього звычайно бувъ наймытъ, котрый теперь десь подився, мовъ у воду скочывъ.

— Та й моя жинка мае малу дытынку пры грудяхъ, могла бъ и сю годуваты,—видиззався несмило Янъ Фльоркивъ.

— А моя хиба не потрапыла бъ сеи штуку?—заговорывъ уже смилійше Степанъ Мыколивъ.

— Выбачайте, панове! покійна Лукашыха була моею ридною сестрою, — сказавъ Андрий Лукашивъ, выступаючи напередъ.— Я дытны ридный вуйко и заберу ии до себе.

Не було що казаты на таке тверде слово. Префектъ казавъ виддаты дытыну дядькови.

Той прыступывъ до Ябчака, котрый готивъ бувъ узаты дытыну й безъ грунту.

— Гэ, най и такъ буде! — сказавъ и подавъ Олюньку Андриєви.

Въ тій хвили дытына расплакалася, та не знать чы завдыла ий выпыта пожыва, чы може несвидома дытяча душа прочула недолю, яка ии жеде...

Над'йихалы холерныкы, вытаскалы тило Лукашивъ зъ хаты, вложиылы въ скрыню, що була на вози, и замкнулы вико. На прыказъ префекта повыносылы зъ хаты солому й нечысте шмаття, зложылы на задъ воза, позамиталы й повидчынялы викна.

Пидъ часъ сеи роботы холерныкивъ уси прысутни „клячэлы“ та молылыся шепотомъ. Упоравшысь зовсимъ, якъ слидь, холерныкы посидалы на визъ, одынъ взявъ вижкы въ руки, гукнувъ на кони, луснувъ батогомъ и визъ выточывся на улыцю. Ще не затыхло тарахотиння воза, а вси розийшылыся зъ обійстя Лукашевого. Лышь одынъ вартовый остався, поky префектъ не положить на дверяхъ громадської печаткы. Ябчакъ сумный перелизъ

черезъ плитъ и взявся до своєї роботи. Андрій Лукашивъ понисъ дытynu, котра голосно крычала, а цила юрба людей посунула за нымъ.

Ось такъ розсталася Олюнька зъ своїмы батькамы, котрыхъ до сеи поры не пизнала гараздъ та вже й не мала пизнаты на симъ свити.

\* \*  
\*

Ганна, жинка Андрія Лукашевого, була занята важною роботою. Вона вынесла на подвир'я варену бараболю, дробыла їи пальцямы й кыдала гусямъ, а ти поквапно збиралы своїмы жовтымы дзьобамы. Саме теперъ Андрій, прыдержуючы одною рукою дытynu, другою видчынивъ фиртку и ввійшовъ на подвир'я. Олюнька, що пидъ часъ дороги була заспокоилася й задримала, теперъ прокынулася и заплакала голосно.

Андріиха почула плачъ дытyny, обернулася, побачыла чоловіка зъ дытынкою на рукахъ и скрыкнула:

— Матко бдска!.. А ты де взявъ оту пыщавку?... на улыци знайшовъ, чы на гною?... На що мени якась дрантя зносышь?... чы жъ я свого не маю досытъ?

У Андріивъ було трое дитей.

— Цытъ, жинко!... нещастя... обоє Лукаши померлы видъ холеры, лышылася сырота... Треба було взяты... се жъ моя сестринка.

— Та що мени до того? що мени до твоихъ сестринокъ? Выкынь їи де до дидька!

— Що бо ты, Ганю, говоришь? Що жъ воно вынне, що лышылося, та й де я його подину?

— Мени до того байдуже! я коло чужыхъ дитей заходытись не буду... або воно зъ хаты, або я!

На той голосъ надійшовъ старый сывый дидусъ, що робывъ щось въ стодоли. Бувъ се батько Андрія й небижкы Лукашыкы.

— Та чого вона такъ розкрычалася?—пытае.

— Нещастя, татуню! обоє Лукаши повмиралы видъ холеры... що-ино вывезлы ихъ холерныкы. Мабуть тры дни лежалы мертвы въ хаты, а нихто не знавъ,—говорывъ Андрій кризь сльозы.

Старый Луць ставъ, якъ громомъ прыбытый. Винъ не мигъ промовыты й слова, руки у нього тряслысь, губы тремтили, мовъ у пропасныци.

— Боже мій, Боже! за що мене такъ тяжко караешъ на стари лита? Мои дитонькы бидни! донечко моя люба! не замкнешъ ты мени повикъ, а мени не довелось навить побачыты тебе та поблагословыты въ далеку дорогу!—и заплакавъ дидусь гиркымы сльозама.—Га, воля Божа! хто жъ знае, чые завтра....

Винъ наблызввся до маленькой Олюнькы й цилувавъ лыченько, очи та малесеньке чоло.

— А я тоби ще разъ кажу, що чужой дытны й на очи не хочу!—клепала свое Андріха.

— Мовчы, жинко безъ серця!—грымнувъ старый.—Вважа-а-ай!—и погрозывъ рукою.—Якъ бы въ тоби була хочъ крапельнка людяности, тоби бъ языкъ ставъ дубомъ, закъ ты таке слово вымовыла бъ. Просы Бога, щобъ тоби простывъ ти дурни слова... Що Лукашамъ ныни, те намъ завтра може статыся, а де твои диты подинуться? що зъ нымъ буде? Якъ бы тоби въ могыли лежалося, колы бъ хто твоимы дитьмы такъ покыдався?

Андріха замовкла. Хочъ вона чоловика мала ни за що й робыла зъ нымъ, що сама хотила, але старого Луця боялася, якъ огню, и хочъ мала такый гострый языкъ, що ніяка шляхтянка въ цилимъ Закути не могла іи переговорыты, якось не смила до старого Лукаша огрызатыся. Чы се за-для його старого вику, чы за-для повагы, яку старый Луць мавъ у сели,—не знаты; досыть, що торкотання Ганны одынъ Луць умивъ вгамуваты килькома словама. И теперь вона замовкла, але такы не могла вгамуваты злосты, то жъ идучы до хаты, штовхнула пса, що лежавъ пидъ порогомъ, и триснула двермы такъ, що ажъ хата затряслася й викна задзвенилы.

Луць усе ще стоявъ надъ унукою и втыравъ сльозы.

— Годи, тату!—каже сынъ,— треба щось зъ дытыною зобыты,—и пишовъ до хаты, а старый стоявъ усе, якъ прыкованый.

Андрій знавъ, що треба розлючену жинку прыдобрыты, бо жъ годи, щобъ мигъ все старый буты зъ дытыною и жинку наглядаты.

— Слухай, Ганю, яка бо ты нерозважна!—промовывъ Андрій до жинкы, переступывшы поригъ.—Префектъ хотивъ виддаты дытыну, а разомъ зъ нею хату, двадцять моргивъ грунту и все добро Лукашивъ Ябчакови... Не шкода жъ, щобъ те все пишло въ чужи руки?

Ганна була дуже ласа на такі дурнычки, тожъ и теперъ видъ сухъ сливъ чоловика подобрила заразь. Однакъ, абы не перейты такъ заразь зо зла въ добре, звернула цилый струмень своихъ медоточывыхъ сливъ на Ябчака.

— О, мудю якийсь! Йому заманулося шляхетського ґрунту та шляхетську дытыну на выховання браты!.. А мы жъ видъ чого? або мы чужи?... Ходы жъ до мене, бидна сыритко, моя Олюнечко! послиднимъ шматкомъ хлиба буду дилытыся зъ тобою, не дамъ тоби пропасты...

И взяла дытыну зъ рукъ чоловика, поклала на запичку, а сама взяла нецькы \*), налыла теплои воды, що грилася въ велькимъ горщыку, и положила дытыну въ теплу воду, держачы одну руку пидъ головкою, щобъ дытына не залылася, а другою обмывала ии марненьке, дрибне тило.

Андрій, хочъ знавъ добре, яка душа у його жинкы, не казавъ ничего, щобъ ии не дратуваты. Постоявъ мовчки й выйшовъ на двирь.

— А що?—спытавъ старый,—не замучыть дытыну?

— Не бійтеся, тату, вже все добре... Теперъ купае ии.

Але а ни слова не сказавъ, чымъ винъ пиддобрывъ ии. Старый махнувъ рукою.

— Эй, чорта свяченою водою видженешъ, але добрымъ не зрбышь...

— Я, тату, теперъ иду туды... Префектъ мае заразь хату печататы. Тамъ худибка осталася, треба порядокъ зрбыты,—и пишовъ идъ хати Лукашивъ.

Ганна тымъ часомъ выкупала дытыну, завынула въ сухи шматы, а воду вылляла на двирь, нецькы поставыла пидъ хату. Дытына, зогрившыся пидъ подушкою, котрою ии Ганна прыкрыла, заснула тыхенько.

Колы Андрій прыйшовъ пидъ хату Лукаша, заставъ тамъ уже цилу комисію, зложеноу зъ префекта й цилого уряду громадського. Вси ввійшы до хаты и стали оглядаты те, що осталось по Лукашахъ.

Префектъ не дозволювъ забираты того, що ще осталось на постели й коло неи.

---

\*) Ночвы.

— Гмь... буде зъ васъ того, що въ скрини и въ комори, а се все треба спалыты... Такъ намъ наказалы зъ бецирку. \*)

Скрыня була замкнена, а ключъ высивъ на цвяху пидъ образами. Андрій просивъ килькохъ сусидъ, щобъ йому помоглы вынести скрину. Та префектъ спынивъ.

— Гмь... „за позволеннямъ“. Мусымо оглянуты, що йе въ скрини, бо то сыротынське добро и треба його буде колысь виддаты. Вы, пане Степане, спысуйте кожый кавалчыкъ... Якъ зайде „обсыгнація“, буде все готове.

Заки пысаръ зъ другымы спысавъ, що було въ скрини, префектъ пишовъ до коморы.

Показалось, що Лукаши булы такы добрымы господарямы. Въ комори, кримъ зимовои одежи, було всяке добро: мука, пшоно, квасоля, горохъ, бибъ; було масло й сыръ, сметана й солонины— усе, усе, що потрибне. Префектъ казавъ усе спысаты й по-выносыты.

Потимъ пишлы до стайни и stodолы, що пидъ однимъ дахомъ прылягалы однимъ бокомъ до города зъ садкомъ.

Вси знали, що у Лукашивъ була пара коней, пара воливъ, дви корови й четверо яливныку. А де жъ те все подилося? Стайня заперта, але худобы а ни слиду.

Вси сплеснули руками. На жъ тоби! отъ якийсь безбож-ныкъ забравъ усе до-чыста... хочъ бы одно телятко лышылося!...

Андрій лютувавъ найбильше. Винъ що-йно думавъ про те, якъ стане господаремъ на циле Закутя, а тутъ якась чортова матиръ наслала злодiивъ...

— Треба даты знаты до шандаривъ!—озвався хтось зъ гурту.

— Що тутъ шандари теперъ порадять? Злодiй газдувавъ тутъ, здається, десь передъ трьома днямы; а знае, що нехай лышь перехопыться за каналъ, пропаде все, якъ силь на води... Що теперъ шандаръ знайде?

За каналомъ почынався густый вербовый лись и займавъ дви квадратови мыли простору ажъ до Выбулова. Тамъ выво-дылысь вовкы та ховалыся злодiи-конокрады; въ такiй гушавыни годи було ихъ вловыты.

Стало на тимъ, щобъ жандарма повидомыты ажъ тоди, колы винъ прыйде до села.

---

\*\*) Бециркъ зъ немецького—округъ.



Хлибъ, що Лукашъ ще вспивъ позвозыты, стоявъ у садку въ стижкахъ. Комисія переличыла копы, оциныла, скильки варты, поспысувала возы, плугы и бороны, запысала жорна, ступу, и сичкарню.

Андрій побигъ городамы до своеи хаты, запригъ свои кони и вернувся. Ганна думала, що Андрій привезе усе добро киньмы и возомъ небижчыка Лукаша. Ий заразы воно щось не подобалося, бо Андрій не сказавъ ий ничего, запригъ кони и пойихавъ. Колы зайихавъ передъ хату Лукаша, префектъ показавъ йому все добро, зложене на подвир'и, и сказавъ поважно:

— Гмъ... Отсе все виддаю вамъ, пане Енджеу, „въ посяданнѣ“, якъ опикунови малолитньои. Маєте дытыну годуваты, а майна ии доглядаты, якъ свого власного, бо за все видповидаете. А теперь пидпышитъ!

Андрій вклонывся префектови, зробывъ перомъ на папери знакъ хреста и зачавъ за пидмогою сусидивъ накладаты на визъ добутокъ Лукашивъ. Петро Ясивъ зайихавъ зъ своимъ возомъ и помигъ Андріеви забраты, що на його визъ не влазыло. Теперь Андрій кланявся на вси боки, дякувавъ сусидамъ за ласкаву помичъ и запросывъ всихъ до коршмы.

Колы возы зайихалы на обійстя, а худобы не прыгнали, Ганна не втерпила и спытала:

- А де жъ кони?
- Злодїи покралы.
- А коровы?
- Такъ само.
- А волы?
- Все до-чыста!

— Матко найсвѣнтша! Та винъ Бога не боявся крывдыты сыритку!—закрычала Андрїиха и побигла до хаты, щобъ лыбонъ звыстыты про сю страшну крывду властытельку, котра ще спала на постели свого вуйка...





### *Богданъ Лепкый.*

Лепкый Богданъ на свить народывся р. 1872 въ сели Кругульци, въ Галыччини; вчывся въ Бережанскый гимназіи, а потимъ на филологичному факультети у Видни; видъ р. 1895 учителюе въ Бережанахъ. Почавъ пысаты Лепкый спочатку 90-хъ рокивъ; його поэзиі (самостійни й переклады) та оповидання мистылыся въ галыцкыхъ часопысяхъ: „Дило“, „Буковина“, „Зоря“, „Л.-Н. Вистныкъ“; де-яки выдано окремо: „Зъ села“, збирка оповиданъ (Чернивци, 1898), „Щаслыва година“, „Зъ жыття“, „Стрички“ (поэзиі), то-що.

## Для брата.

**Д**ва разы на тыждень, у вивторокъ и суботу, ходывъ громадскый писланецъ зъ Шумлянъ на почту. А писланцемъ бувъ самъ панъ прысяжный—Каетанъ Морочко. Морочко то бувъ велькый чоловикъ. Вже саме им'я Каетанъ свидчыло, що винъ не зъ простыхъ хлопивъ. Його дидъ служывъ у двори за гуменного, а праидъ бувъ органыстомъ у костьоли. Нашъ Каетанъ пам'ятуочы се, хочъ зійшовъ на простого хлопа, держався дуже „зъ вашеця“. Прыстававъ и своився лыше зъ вйтомъ, пысаремъ и пидлиснычымъ, а хочъ бувъ непысьменный, славывся мудрымъ чоловикомъ. Вйтъ безъ нього не робывъ и кроку, а въ сели—якъ сказавъ Морочко, такъ и було.

За гонорамы винъ не вбывався, але де яки булы, незамитно позагортавъ до себе. Бувъ прысяжnymъ, церковнымъ провизоромъ, посмертнымъ оглядачемъ, польовымъ и побережныкомъ видъ громадского лиса, а недавно перебравъ на себе такожь урядъ писланця на почту—не такъ за-для тыхъ мизерныхъ два-

надцяты срибныхъ ричной платни, якъ бильше за-для того, що зъ панамы въ мисти знався и почту дистававъ скоро и яка йно була.

Тымъ новымъ урядомъ Морочко незвычайно пышався.

— Бо то йе,—каже,—не разъ таки „кавалкы“, що тилькы пань староста, пысарь и мы зъ вйтомъ можемо знаты, а бильше ни-хто. Отъ що!

Та й треба жъ було бачыты його, якъ зъ тымы „кавалкамы“ вертався въ село. Зъ якою повагою державъ на плечахъ почтарську торбу, якъ не хотивъ ни зъ кымъ говорыты, якъ попросту не дававъ прыступыты до себе.

Отъ и теперь субота, вечиръ, сонце пишло спаты; люде й соби збираються; въ сели чынытыся тыша, а дорогою зъ миста вертаецься Морочко.

Въ одній руци крыва палыця, друга спочывае на торби й немовъ стереже ии, въ зубахъ коротка люлька. Иде Морочко звильна, якъ прыстало мудрому чоловикови, и нимъ поставыты ногу, дывытыся, де бъ ии поставыты. Иде по-пры ворота шевця й навить не подывытыся, йде по-пры попывство и окомъ не зведе, иде по-пры коршму и такожъ ничого. „Шельмы жыды, могли бъ що поробыты,“—миркуе Морочко и хочъ якъ млоить въ середыни, не поступае. Просто-простисинько йде до „канцелярии громадської“, де заразомъ спляты и обидаютъ вйтъ, вйтыха и вся ихъ родына.

Недалеко „канцелярии“ йе школа и Морочко мусыты переходыты по-пры шкильну браму. На брами стоить „вона“—учытелька и пытае, чы нема лыста видъ сына.

— Може и йе,—видповидае Морочко, щобъ зацикавыты бабу.

— Ахъ, мои жъ вы,—просыты учытелька,—мои жъ вы, пане Каетане, та поступить до насъ, бо я дуже цикава, що винъ тамъ пыше, чы не хорый, бороны Боже!

Але Морочко не хоче. Каже, що мае „дзенники“, то не може вступаты. Учытелька вертаецься до хаты безъ ничого, а цикавистъ не дае йй спокою. И якъ же не буты цикавою мами на лысть сына, що вчытыся у школахъ и лыше на Велыкдень та на вакаци прыйиздыты до-дому? Не втерпила жинка и посла-ла чоловика.

— Иды,—каже,—чоловиче, до того вйта та заберы лысть видъ сына! А то разъ батько! Ридна дытына пыше, може добре хора, або чого потребуе, а йому а ни ду-ду!

— Та я ничего не знавъ ни про яки лысты!—бороньтсья учитель, убирае стареньку „оберочыну“ и йде до вѣта, скулений у двое видъ кашлю и видъ сыдиння „надъ тымы дитыськамы“ въ школи.

Але дистаты лыста не такъ легко.

Вѣта не було дома, а вѣтыха не хотила выдаты торбы зъ скрыни. Чекавъ бидный учитель, помы прыйшовъ вѣтъ. Прышовъ вѣтъ, та не було пысаря. Послалы по пысаря.

Добра година мынула, закъмъ надтягнувъ пысарь и роздильвъ почту. Взявъ батько лысть видъ сына, похвалывъ, що ривно пыше та й иде. По дорози миркуе:—Що ривно, то ривно, якъ шнуркомъ тягне. А литеры, якъ цыркулемъ мирыть, уси пидъ миру. А чья въ тымъ заслуга? Кто давъ пидставу?—ажъ усмихнувся старый педагогъ, гордый своею працею. Але заразы же подумавъ соби:—Не знаты, що винъ тамъ пыше? Може справди хорый?... Э, чого бь хорый! Здоровъ, якъ рыба! Будуть зъ нього люде! Мовлявъ мій батько: „я тебе, сыноньку, з-пидъ стрихы та пидъ гонту, а ты зновъ своего сына з-пидъ гонты та пидъ бляху.“ Такъ воно й буде!—Певный свитлои будущыны сына прыйшовъ до хаты.

— А давай-но, доню, свитла! Лысть видъ Влодзя, будемо чытаты!

Доня взялася свитыты лямпку. Якъ звычайно, хотила обтяты книтъ, але маты не дала.—Ото сестра—але! Не цикава, щб ридный братъ пыше. Якъ зачнешь обтынаты та обтынаты, то цилый книтъ зитнешь. Свиты, а ты, старый, чытай!

Видъ невеличкои лямпку стало у хати на стилькы ясно, що выдно було били стины зъ образами святыхъ и двома полынялымы фотографымы въ солончаныхъ рямцахъ; стиль, колысь мальованый, а теперь лышь зъ останками краски на ногахъ, плетену канапку, таки сами два чы тры криселка и билу ялынову шафу били дверей. Въ хати було вельке убожество, але було чысто, охайно и беда не кыдалася въ очи. Одынокою прыкрасою бидной хаты була донька господаривъ, п'ятнадцаты або шиснадцаты-литня, дуже гарна, зъ легкою тинею суму въ глыбокихъ сывыхъ очахъ. Квиткы, що растутъ у глухимъ лиси, мають подибный выглядъ.

Видъ старыхъ, зжуреныхъ родычивъ на молоду доньку падалы якисъ дывни, таемни тини. Таки тини падають видъ ста-

рыхъ деревъ у лиси на квиткы, що, тилькы шо розцвившы, бажають сонця и свитла, повитря и неба. Але родычи кризь ту тинь смутку глядили на доньку зъ любов'ю и зъ тымъ тыхымъ вдоволеннямъ, шо не разъ немовъ на глумъ обере соби мисце въ такій вельмы убогій хати.

— Чого та лямпя якась темна?—озвався батько, пидійшовъ, пидтягнувъ трохы кгнить и вынявъ лысть. Донька подала крисло, шо мало найсылнйши ноги, подала окуляры, шо все лежалы на кнжкахъ на шафи, и старый почавъ чытаты.

Сынъ пысавъ:

„Мои найдорожчи родычи и ты, дорога сестрычко!

Знаю, шо лыстомъ своимъ зроблю Вамъ вельку прыкрить, але прошу Васъ, прочытайте до кинця и скажите, чы я тутъ шо выненъ.

Якъ знаете, вчывъ я двоухъ сынивъ въ одного вышого урядника и мавъ за те харчъ и мешкання.

Зразу було мени у тыхъ панивъ дуже нйково, але потимъ я прывыкъ и тишывся, шо вже самъ соби даю раду и Васъ, мои дороги родычи, не потребуу обдыраты зъ останнього крейцара. Та отъ склалося нещастя. Мени видибралы лекцію и, розуміється, видибралы станцію за те, шо я самъ чытавъ и дававъ своимъ ученыкамъ чытаты заборонени кнжкы.

Та не журиться, мои найдорожчи! Въ тыхъ кнжкахъ не було ничого поганого. То булы наши украинськи кнжкы и въ нихъ пысалося про нашъ наридь и про його злыдни. Правда, шо въ тимъ нема ничого злого?... Але мене за те выгналы зъ хаты и добре, шо не выгналы зъ школы. Теперь я живу у одной вдовы по вознимъ изъ суду, за те вчу и сына, шо хочъ пыльный, та зъ наукою якось соби не годенъ даты раду, и доплачую п'ятку.

Моя теперишня господыня дуже бидна. Не разъ цилу ничъ пере, або гладыть билызну, щобъ на рано дистаты грошей и купыты стравы. Мене дуже грызе, шо доси не давъ ий тои п'яткы. А вона и такъ дуже потребуе! Я соби думавъ, шо може десь якусь лекцію дистану и зможу платыты, а тутъ, якъ зъ каминя, трудно.

Тому прошу Васъ, мои найдорожчи родычи, порадьтеса и поможить мени. Я знаю, шо Вы самы не маеете зъ чого жыты, знаю, шо тато тяжко працюють у школы, а мама и въ хати, и въ школы, а Марійка помагае то татови, то мами, та ще й шытта

прыймае, але прошу Васъ, скажыце же, що мени початы? Може кольсь, якъ Богъ позволыць, я дибьюсь свого власнаго хлиба, а тоди Вамъ поможу. А теперь помогыць Вы мени и не гнивайтеса на мене, бо якъ самы выдыте, я ничого не выненъ. Я васъ дуже люблю и никола не хотывъ бы робыты вамъ ніякои прыкрсты.

Вашъ Володко.

Р. С. У насъ видъ килькохъ днивъ похолодило. Я вже ходжу въ двоухъ сорочкахъ, але холодъ такой цупкый, що чоловика наскрызъ проймае. Мои товариши вси понадягали плащи. Може я колы дистану яку лекцію, то й соби куплю плащъ”.

Старый скинчывъ. Замитку про плащъ дочытавъ ледве чутнымъ голосомъ и вынявъ табакерку. Ударывъ двичи въ вичко, пиднявъ щыпку до носа и въ очахъ закрутылыся слезы. Але то видъ табаку...

Въ тій хвыли и маты, що за весь часъ чытання слухала и шыла, похылыла свою голову надъ роботою. Донька на перемину дывылася то на батька, то на маму, а выразъ суму, що звычайно малювався въ іи очахъ, перейшовъ теперь на циле лице, а зъ лыця розльвса по всій постати. Зъ родычывъ на доньку падалы ще чорнійшы, ще холоднійшы, якъ звычайно, тини.

Въ кимнати настала мертва тыша. Лышь те одно слово: „помогыць” носылося въ повитри.

Та якъ тутъ помогты?

Якъ може помогты бидному сынови ще биднійшый батько, старый сильськый учитель, що вично бувъ „тымчасовымъ” изъ дванадцатьохъ рынськыхъ мисячної платни годувавъ себе, жинку и доньку, та ще посылавъ мисячно два-тры гульдены старшій, замижній дочци, котру ти нужденни гульдены хоронылы видъ чоловиковыхъ побоивъ.

Що могла помогты маты, та нещаслыва жинка, що видъ досвита до ночи товкла собою та навить не могла здійсныты свого найгорячійшого бажання—купыты дочци трохы плаття на выпадокъ, якъ бы ій хто трапывся. Що вкинци могла помогты та бидна дывчына, що жыла въ тій тисній, душній атмосфери и процвитала серцемъ та вродою хйба на те, щобъ раз-у-разъ браты зъ села шытты, выдаваты и зновъ браты, шыты й выдаваты и такъ дали зъ року на рикъ... Що?... Зъ тымъ важкымъ пытаннямъ воны полягали спаты и воно томыло ихъ цилисенку ничъ. И ци-

лу ничь бачылы того бидного Володка, що його недобри люде прогналы зи станціи и загналы до якоись бидной вдовы, котра сама не мае що йисты.

— Якъ йому холодно,—думала соби Марійка.—Що то дви сорочки? И трьохъ за-мало. Що плащъ, то плащъ. А винъ и такъ, колы вид'ихавъ до школы, кашлявъ и бувъ жовтый, якъ вискъ.

Цилу ничь Марійци снылыся блидо-жовти люде, одни въ килькохъ плащахъ, а инши—въ сорочкахъ. Той сонъ бувъ дуже неясный и такый болючый, що вона збудылася ще закымъ засирило.

Встала и, не надиваючы черевыкивъ, пишла до скрыни. Тыхенько пидняла вико и щось тамъ довго шукала и перевертала. Потимъ выняла де-що и зав'язала въ клунокъ. Клунокъ поставыла на крисли, а сама пишла до кухни прыладыть снидання. Скрыпъ дверей збудывъ маму. Протерла очи и перше, що побачыла, бувъ клунокъ. Лысть сына, недоспана ничь и отсей клунокъ—зложылыся на якась страшне пытанняя, тымъ страшнійше, що въ хати було темно и лыше зъ викна на доливку пробывалося блидо-сыне свитло. Передъ нымъ незамитно втикалы сутинкы ночи й розлазылыся по куткахъ. Въ миру того, якъ въ хати робылося яснійше, и въ голови матери свитало. А клунокъ якъ стоявъ, такъ стоявъ. Двери видъ кухни легенько видчынылыся и увійшла Марійка. Була блида, очи мала, якъ звычайно, сумни лыше коло усть появилыся незнани тамъ доси слиды певной постановы й небувалои ришучосты. Побачыла маму и хотила вертатысь. Але маты заклыкала и по йменню и вона лышылася.

— Доню!—сказла маты, показуючы на клунокъ.—Що се таке значыть, дытыно?

Замисть видповиди, донька кынулася матери на груды й обыдвы заплакалы въ голосъ.

Прорвалась сердечна тама \*) и хвыли жалю полылысь.

— Чы я сподивалася, доню, та чы сподивалася? Ой жаль, та й жаль, та й соромъ, та й розпука! Та жъ ты внучка священика! Твій дидъ, а мій покійный батько, бувъ советныкомъ зъ видзнакамы и мавъ усяки тытулы й гоноры, а ты, а ты, його внучка—идешъ... идешъ... идешъ на... службу!

---

\*) Перепона

Донька що сылы втыхомырювала маму. Казала, що праця то не соромъ, що якъ Богъ поможе, то колысь буде инакше. А теперь братови конче треба помогты.

Потимъ поцилувала маму въ руку, а чуючы нови сльозы, выйшла чымъ скорше зъ кимнаты.

Теперь маты звернулася до батька.

— А чуешъ, старый! Та вставай же разъ! Доки будешъ спаты? Ото разъ батько! Його ридна донька йде на службу, а винъ спыть, та й спыть, та й спыть, та й...

Останни слова повторяла доты, доки не расплакалася наново.

— Та я скорше збудывся видъ тебе!—видповивъ батько и почавъ одягаться.

Потимъ Марійка принесла снідання и вони його выпылы; та чы выпылы все, не знаты, бо молоко було въ бильхъ, фаянсовыхъ горнятахъ.

По сніданню Марійка выбигла въ садочокъ и за хвylie вернула зъ килькома квиткамы въ руци. Потимъ хустыною зав'язала голову, взяла клунокъ у руки и поглянула на батькивъ. Вони закрутылися по хати, немовъ не знали, що зробыты зъ собою. За хвylie вси трое мовчки выйшли зъ хаты. Йшли городамы, щобъ не стричаты людей.

На двори тилькы що займалося на день. Було холодно, сикъ дрибнесенькый дощыкъ. Дощыкъ бувъ холодный и видъ холоду мабутъ останни лыткы на деревахъ и останни квиткы пры дорози ажъ поскручувалысь бидолашни.

Видъ хреста вела шырока дорога до миста. Родычи лышылысь, а донька пишла дали.

— Чы я сподивалася, чы я сподивалася?—шептала маты.

— Провадь ии Боже!—промовывъ батько.

— Бувайте здорови!

— Йды здорова! Та най тебе Матинка свята Почаивська и Матинка свята чудотворна Зарваныцька мае въ свой опици!

Пишла.

На скрути дороги ще разъ оглянулася.

За нею лышылося село и хата, де родылася и зросла. За нею лышывся цилый свить, що знала доси. Все те було повеыте останкамы ночи, мрякою и стужею. А передъ нею, надъ лисомъ, на краевыди выризувалася пасмуга ясного свитла. Свитало...



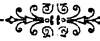


## Любовь Яновська.

Яновська Любов Олександровна, зъ роду Щербачивъ, побачыла свить р. 1861 въ сели Мыколаивци, повиту Борзенського, въ Черныгивщини; освіту здобула въ дивочому институту въ Полтави. Почала пысаты р. 1887, але перше оповидання ии „Злодійка Оксана“ надруковано въ „Зори“ ажъ р. 1895.

Р. р. 1899 - 1901 въ „Кіевской Старинѣ“ надруковано оповидання „Смерть Макарыхы“, „Идеальный батько“, „Доля“ та повисть „Городянка“. Опричъ оповидань, п. Яновська пыше й драматычни творы, зъ якихъ бильшь видоми: „На зелений клянъ“, комедія (Кіевская Старина, 1899) „На синожати“ (Кывь, 1901), „Повернувся изъ Сыбиру“ (Кывь, 1901), „На Меланкы“ (Л.-Н. Вистныкъ, 1902) та „Дзвинъ до церкви склыкае, а самъ въ ній не буває“ („Лисова квитка“).

Литература: В. Л—ко—Новыны нашої литературы (Л.-Н. Вистныкъ, 1901 р. кн. XI).



## Смерть Макарыхы.



I.

Засыпала насъ зима сей рикъ снігомъ одъ шырого серця; округы, скільки окомъ докынешъ, ровный, бильый степъ—ни ярочка, ни бугорочка: все зривнялося пидъ билою намиткою зими. Тилькы „чорни могылы,“ си велетни степови, си йедыни свидкы давньої бувальщины, славной козаччыны, тилькы-тьлькы що мріють. На хутори тежъ ни повиткы

ни загорды з-пидь снигу не видно. Поутушковани бур'яномъ та грываныцею хаты сумно чорніють з-пидь бильхъ стрихъ. Все зачынено, заховано, наче навить сама надія прокынутысь по весни для нового жыття мицно заснула, або и зныкла зъ сердець хutoryянь. Литня та осиння доба неустанной працы мынула... Хлебъ помолоченый, солома въ ожередахъ, и за кинцемъ важкыхъ работъ прыйшовъ кинецъ и золотымъ мрїямъ: и сей рикъ, якъ безличъ мынулыхъ рокивъ, выпажана нывка не дала ни на одне зернятко бильше того, скилькы потрибно сем'и хлибороба, щобъ не вмерты зъ голоду; ни на одну соломыну бильше того, скилькы потрибно, щобъ не замерзнуты въ хати... „Сыдять, диткы, на печи, не рыпайте хаты, не выпустить того духу, що задержався, хвалыты Бога, за довгу зиму въ хати“,—умовляють матери дитей, затуляючы зъ чадомъ верхъ въ груби. „Треба повитку краше утушковуваты, щобъ тельчка не мерзла та меньше йила“,—клопочуться батькы и ще щильнійше прыправляють двери у загородахъ.

А ось насунула темна хмара зъ холодного краю, посыпавъ снигъ, а дали де узаяся у Бога витерь, пиднялася завирюха... Ще щильнійше затушковувалысь хutoryяне, наче въ шкаралупци зачынлыся, и сумно, темно, якъ у домовыни, стало на сьому лядному та веселому литньою добою хutoryи. Проспивалы перши пивни, выйшовъ сторожъ, ударывъ разъ, у-друге въ клепало, пройшовъ до царыны, повернувъ назадъ, ще разъ подавъ клепаломъ про себе звистку та й замовкъ, задримавшы у затышку пидъ чыеюсь повиткою... Хutoryяне зарани сю ничъ полягалы, бо майже ни у кого не було свитла; тилькы у одній хатыни, що била млынивъ, доси не гасылы каганця. Тамъ, скотывшысь зъ подушокъ, лежыть на голому полу хвора Макарыха. Добру годину гукае вона на чоловика, щобъ оправывъ подушкы, пидославъ пидъ бскы ряденце, помигъ перевернутысь на другый бикъ—Макаръ не обзывгається, бо спыть, якъ заризаный. Нарешти видъ натугы полылася кровь зъ горла хворои, потекла по сорочци, по подушкахъ, и Тетяна замовкла... але не замовкла та туга, що вже два мисяци хворобы гадюкою вылася пидъ сердцемъ...

— Чы вже жъ мечи смерть прыйшла такъ несподивано та не-гадано?— сумуе недужа.— Господы, свята п'ятныце! заступы, ограды мене! Я жъ людына ще молода: и сорокъ рокивъ не прожила на свити. Сподобы мене, Царыце Небесна, хочъ дитокъ до ума до-весты!...

А двое дитокъ, хлопчыкъ п'яты рокивъ та дивчынка семы сплять першымъ мицнымъ сномъ, не думаютъ, не гадаютъ, що останю ничку проводить зъ ридною матир'ю.

Думка за думкою проносятся въ голови Тетяны, и кожна думка гиркйша за польнь, чорнйша за чорну хмару. Все жыття, якъ одынъ день, прыгадується мывоволи, и тяжке зитханья вырывается зъ наболылыхъ грудей.

— Чы варто було стилькы рокивъ побываться, не досыпматы, не дойдаты, щобъ такого кинця диждаты? Цилый викъ чужымъ людямъ годыла, по сусидахъ тынялася, а диждала свого кутка, свого шматка хлиба—неспособна стала никуды, прыйшовъ часъ помираты.

Зъ десяти рокивъ довелося Тетяни службыты, на двадцятому пишла въ чуже село замижъ. Чоловикъ трапывся плохой, роботящый, за те свекруха та п'ять зовыць живцемъ йили. Терпила вона рикъ, перетерпила другый, а на третй подякувала за хлибъ-силы новй родыни та й пишла знову до чужыхъ людей. Незабаромъ прыйшовъ чоловикъ до неи, и стали воны вдвохъ службыты та на хату гроши складаты. За п'ять рокивъ заробылы зоны двести карбованцивъ, купылы у обчества за два видра горилкы маленький грунтыкъ на выгони, зоп'ялы хатыну та й перейшлы на новеньке господарство жыты. Але скрутно було на перше хазяйство стягаться: коженъ пудъ хлиба, коженъ оберемокъ соломы гирко доводывся, и ще висимъ рокивъ неустанной працы по чужыхъ людяхъ мынуло, поky Тетяна та Макаръ спромоглыся хочъ поганенькымы хазяинамы статы. Тымъ часомъ Макаривъ батько померъ и досталась теперъ йому десятина батькившыны. Тетяна наче на свить народылася: ще пыльнйше стала вона на свой нывци працюваты, ще дужче за своимъ хазяйствомъ побываться. Черезъ якый-небудъ рикъ повелься поросята, утятя, рижного заводу куры; зацвила на городи пышна рожа, жовта гвоздыка; засяялы иконы пидъ скломъ, и тилькы одного бракувало въ веселй господи невсыпушой господаркы: русявыхъ головокъ невгамовныхъ щебетунчыкивъ. За шистъ першыхъ рокивъ замижжя Господъ пославъ й двохъ дочокъ, але чы можна було за чужою роботою гараздъ дитей доглядаты у наймахъ? Диты померлы малесенькымы, и Тетяна недовго побывалася тоди за нымы; за те теперъ, диждавшы свого кутка, своеи нывы, не разъ плакала, прыгадуючы малесеньки облыччя своихъ дитокъ и благала свята п'ятныцю поблагословить

и хочъ йедынымъ чадомъ. Зглянулася св. п'ятныця на слизни бланганна матери, и ось двое чорнявыхъ, червоновыдыхъ дитокъ растуць, якъ зъ воды йдуть. Невже жъ ихъ теперь покидыць?

— О, Господы Мылосердны! Царыце Небесна! — застогнала Тетяна.

На сей разъ прокынувся и Макаръ. Пры свитли каганця винъ здавався ще зовсимъ молодымъ. Того, що найдужче осадыло здоров'я Тетяны, винъ никола не зазнававъ: чы у наймахъ, чы у себе дома, винъ, якъ чоловикъ, знавъ тилькы денну працу, спозаранку лягавъ спать и добре спочывшы, встававъ свижий, бадьорный у-ранци. Не те доводилося Тетяни: цилисинькый день маленька, дрибна, але нагайна робота, а ничка прыйде—хочъ пряжа, а хочъ яке дрантя, що треба полагадыты, не дадутъ заснуть та вволю спочыть. И такъ день у день, рикъ у рикъ, поky здоров'я не загнуло вкрай.

— Царыце Небесна! Святи угодныкы! Охъ, тяжко дыхаты!— застогнала знову Тетяна.

— Чого, стара, стогнешь?—обизвався Макаръ, позихаючы.

— Спышь, неначе вбытый!... никому й подушокъ мени оправыты,—мовыла зъ докоромъ Тетяна.

— Ну, якъ тоби? Гирше, чы лекше? Чы ба, скильки крови на текло... И звидкиль вона береться? Отъ стилькы крови... Ачь!

— Вперше бачышь, чы що?—одказала зъ серцемъ Тетяна.— Посунь сюды подушкы... ни, не такъ... сюды... лекше бо!

— Отсе горе мени зъ тобою: ще ниякъ не вгожу!... Колы бъ хочъ знаття, чы жытымешъ, чы помрешъ, а то... хто його зна... Тилькы клопитъ зъ тобою!— мовывъ Макаръ, одходячы одъ лижка жинкы.

Тетяна хотила щось видповисты, та не стало сылы. За той короткый часъ, поky чоловикъ оправывъ подушкы, зныклы й останни сылы. Вона сыдила теперь на високо помощеныхъ подушкахъ и тилькы сумнымъ поглядомъ дывылася на Макара. А Макаръ походывъ троxy по хати, напывся воды, вызырнувъ у ви-конце й пишовъ довидатысь до тельци. Забирюха троxy пере-йшла; де-у-якыхъ хатахъ вже засвityлы. Макаръ заложывъ тельци соломы, одкынувъ троxy снигъ одъ дверей и неохоче вернувся въ хату. Спать йому не хотилося, а робыты у-досвита тежъ не було чого; винъ сивъ, не скидаючы кожуха, на лави й замыслывся.

Зъ тѣю думкою, що незабаромъ доведеться жинку ховаты, винъ давно звыкся. Шо буде зъ нымъ пияся смерты жинкы, якъ справлятыметься винъ одынокый зъ двома дитьмы, зъ хазяйствомъ, якъ тягтыме теперъ винъ самъ те ярмо, що було иноди не въ сылу тягты у-двохъ—про те винъ тежъ не думавъ. То ще мае колысь буты и якосъ то буде! Прыйде той часъ—и саме жыття покаже, люде порадыть и самъ винъ побачыть, якъ йому жыты, що робыты: чы одынокому вику доживаты, чы другои дружыны шукаты. Турбувала його тилькы одна думка: де грошей здобуты теперъ на похоронъ жинкы? За п'ятнадцять рокивъ неустанной працы вони встыгли тилькы збудуваты оселю про жыття, про смерть же не малы часу дбаты. Одже не спытала несподивана гостя, чы уготовылы господари чымъ ии витаты, чы прыпаслы грошей на горилку, з'йижу, на нову оселю-домовыну,—стука въ двери, переступае поригъ невысосердна, ось-ось наблызнытья до самого лижка хворой жинкы, и шо винъ тоди робытыме, де здобуде грошей, щобъ поховать та пом'януть жинку?

— Охъ, колы бъ Тетяна ще хочъ сей тыждень протягла!—тяжко зитхнувъ Макаръ.—Въ городи на тимъ тыжни ярмарокъ; продавъ бы кожушанку за шистъ карбованцивъ, доклавъ бы ти тры карбованци, шо жинка на оплаткы наскладала, та й поховавъ бы ии безъ клопоту...

Правда, въ загороди ще тельчка йе—хиба ии продаты? Тельчка тильна, а къ Велькодню телятко прыведе, буде коровою. Легко сказать: „корова у двори“, та не легко диждаты такого шастя... Въ той день, якъ вперше обизветься телятко на загороди, вси хutoryяне знатымуть, шо Макаръ вже вызволився зъ станывыща голоты, шо по весни винъ бильше не бигатыме, не кланятыметься, щобъ хто заскородывъ його нывку, а спряжеться зъ сусидомъ и выйде на поле зъ своимъ тягломъ, своею бороною... Ну, а якъ помре жинка, то може й доведеться тельчку продаты. Хиба у жинкы порады попытаты?—и винъ заговорывъ про се до Тетяны.

— Тельчку продавать?—скыпила Тетяна.—Онъ яки замиры вже маешъ? Якъ глядили, якъ ростылы телятко, та теперъ продаваты!? Чы не наболито ще серце, двлячысь на дитей, якъ вони въ сусидськи глечыкы заглядають. Та тебе швыдче правцемъ поставыть, нижъ ты спроможешся другу тельцу купыты...

— Та я жъ тилькы порады у тебе пытаю! Чымъ я тебе похо-

ваю, якъ помрешъ до масныци? За кожушанку ничего безъ ярмарку не вторгую,—обизвався Макаръ.

— Уже й кожушанку продаваты? Я жалкувала до церкви и надиваты, черезъ те й застудылася, що на торгъ пишла у юпчыми, рокивъ зо два гроши по шагу на неи збирала, а ты мерщій на торгъ... Потрывай трохи, не поспишайся! Замість того, щобъ попыльнуваты та якихъ ликовъ у аптеци за-для хворои жинкы здобути, ты мерщій—хазяйствечко збуваты, тельчку продаваты. Не надійся, не помру сплоха, ще пожыву на твою голову,—дарма, що не хочешъ поклопотатысь!...

— Охъ, ще мени про тебе клопотатысь? Всякому обрыдне два мисяци зъ хворою возытысь. Самъ топы, самъ вары, самъ за всячыною... та то-бъ то ще й дохторивъ та бабивъ зъ усього свиту склыкаты! Колы бъ уже тебе Господь прыймавъ, або що, а то тилькы зануда...

— Зануда? За твоими злыднямы здоров'я загубыла. Не була бъ за тобою—не лежала бъ теперь, якъ колода. Тоби жинка була любя, покы робыла, а якъ занедужала, то й на смитныкъ здатенъ выкынуты. Гляды! спиткае й тебе лыхая годына, згадаешъ тоди Тетяну, не разъ пошкодуешъ, та не поможеться,—докоряла стыха Тетяна.

— Чы я тебе займаю? Лежы, колы лежышь. Застудылася, занедужала, неспособна стала робыты,—проте я тебе не докоряю... Мени, може, тяжче доводыться, нижъ тоби лежаты,—вид-повивъ Макаръ, простягаючысь знову на лави спаты.

— Мени легко лежаты? Хазяйствечко чысто пропало—хиба легко мени бачыты? Ото жъ на жердци высять непопрани мишечкы—попріють чысто видъ земли, а я жъ на нихъ на-спилъ конопли брала... У льоху доси огиркы поцвилы, капуста загнылася, а я жъ и огирочки, и капусту на одробитокъ брала. Охъ, Господы! Колы бъ мене хочъ на одынъ день одпустыло—я бъ хочъ у льоху попрыбирала!... Конопли мышы доси пойилы... Мабуть вже у-досвита засвтылы,—прядуть жиночки, тилькы я лежу.

— Напрялась на своему вику—буде зъ тебе!—обизвався Макаръ, перевертаючысь на другый бикъ.

— Чому жъ то—буде зъ мене?... Може такы я ще одужаю, може Господь сподобыть мене ще яку сорочку спрясты!...

— Хиба на тому свити!—буркнувъ Макаръ и укывся зъ головою, щобъ не чуты бильше жинчыныхъ докоривъ.

Але Тетяна сього не бачыла: все те, що накупыло на серци за довгу хворобу, все те, що передумала, пережыла вона нышкомъ за два мисяци, заворушылося теперь, закыпило, стало прохатысь геть зъ наболылыхъ грудей.

— Ты гараздъ враждуваты та судыты мене, а якъ помру, та визьмешъ другу жинку, то побачышъ, яка зъ неи буде тоби дружина, дитямъ маты, у хазяйстви робитныця. Не шкодувала я ни здоров'я, ни спокою, щобъ свого кутка диджаты, а вона не схоче готового добра и зберигаты... И хату, и тельчку, и кожушанку прыдбала, а вона переведе все, розпустыть, роскыда, попусе, бо вона жъ не знатыме й не бачытыме, якъ воно мени все те дйшлося...—казала Тетяна, важко переводячы духъ и що-хвылыны стыскуючы долонямы розболылый бикъ.

Макаръ не обзывався, бо зразу заснувъ. Одначе Тетяна не стыхла: де-килька разивъ кашель перепынявъ ии ричъ на пив-слови, але заспокоившысь трохи, вона вела свою ричъ дали. И чымъ бильше казала вона, тымъ дужче розгоралыся очи, тымъ бильше червонилы выскы: ся остання сповидъ, здавалося, не тилькы не втомляла ии, а навпакы—додавала животворну сылу вмираючому тилу. Одъ докоривъ, одъ згадокъ про мынуле жыття, переповнене самымы недостаткамы та неустанною працею, вона перейшла до сучасного становыща, смильво зазырнула у вичи майбутности. О, вона ще не помре! Ий не можна ще вмираты: мали диты, нова хата, своя коривка—ни, годи й думаты про смерть! Вона мусыть зберегты одъ поталы те, що прыдбала циною свого здоров'я, працею трыдцяты рокивъ, и вона зостанеться жыты. Ий вже й за сю ничъ значно полекшало. Колы бъ не такой пить та не такой кашель, то вона бъ уже и клопоталася помаленьку. И та малесенька надія на жыття, що якось непрымитно прокралася въ серце недужои, росла зъ хвылыны на хвылыну; ще годына—и Тетяна вже певна була, що одужае, що незабаромъ покыне тверде лижко, и знову закыпыть у дужыхъ рукахъ работа.

Нарешти, трохи заспокоена такымы думкамы, вона заснула.

## II.

Спала вона не довго: тилькы що розвыднылося, хтось пидйшовъ до ии лижка, прыдавывъ за нисъ и ставъ лапаты за руки та за ноги. Вона росплющыла очи. Передъ нею стояла

баба Горпына, а трохы оддали ще де-килька жинокъ. Важкый духъ одъ чобить та кожушанокъ, холодный витерь, що врывався въ одчынени двери, прычынылы й кашель, и вкрай стомлена имъ Тетяна, ледве переводячы духъ, одвернулася одъ непроханныхъ гостей до стинкы. Горпына перехылылася всымъ своимъ худымъ, высокымъ станомъ и зазырнула черезъ голову у вичи хворій.

— Потягло очи, вже й земля надъ губамы пала,—мовыла вона журливо жинкамъ, що стоялы стыха та сподивалься, що то баба Горпына скаже.—Руки холоднисиньки та й сама тилькы-тилькы що тепла,—додала вона, скидаючы ватянку.

— Вы бъ й сорочку переминылы та подушкы пообтыралы,—пораяла молода московка у чоботяхъ на высокыхъ закаблукахъ, въ голубій ватянці.

— На вищо иі тревожыты? Помре, то однаково прыйдеться переминыты,—мовыла Горпына, одначе одирвала одъ старои сорочки ганчирку, умочыла въ воду й стала обтыраты окривавлени губы, выдъ та подушкы.

Тетяна застогнала.

— За вухомъ обитрить,—пидступыла слипенька на одно око баба.

— Волосся сплуталосся—боюся, щобъ не вскубнуты,—видповила Горпына.

— Та вона вже не чуеть; ось дайте я обитру.

— Де тамъ—не чуеть? Адже стогне!—мовыла Горпына, вырываючы зъ рукъ слипенькои бабуси ганчирку, котру та було вже потягла до себе.

— Ось не займайте... помре, то обмыемо тоди до-дила,—заспокоила Степаныда слипеньку бабу.

— Може вона вже й померла?—запытала пошепки Мотря.

— Ще не вмерла, а швидко помре: разъ пиде теплый духъ, а вдруге—холодный. Ось прыступить, кумо Хрысте, та подывиться,—мовыла тежъ пошепки Горпына.

Кума Хрыстя прыложила долоню до рота хворои.

— А й справди: разъ теплый духъ, разъ холодный. Помре незабаромъ сердешна Тетяна; колы бъ хочъ встыгла порядокъ якый дать.

— Треба безпреминно, щобъ распорядылася — чоловикови, диткамъ, хазяйствечку якый порядокъ дала,—пидхопыла баба Мотря.



— А якъ же, треба про все распытаться. Тетяно, а Тетяно! може бѣ ты якій порядокъ дала?—наблизылася знову до недужои Горпына.

— Та не займайте иі!... бачыте—лупнула очыма та й знову заплющыла. Ій, сердешній, дыхатъ важко, а воны про порядокъ клопочуться,—вкынула свое слово московка.

— У тебе порады про худобу пытаты, чы вѣ кого, якъ помре?—накынулася на московку слипенька баба.

— Яка тамъ худоба? Скильки тѣи худобы?—завважыла московка.

— Та вже хочъ и невелычка худоба, та загорьована. Цілый вѣкъ жинка працувала—не дойдала, не допывала, та то-бѣ то теперъ свою худобоньку на людську волю виддаваты!—мовыла Мотря.

— Що то й казаты! Мы не распытаемся, вона намъ не скаже, а потимъ на тимъ свити на насъ враждуватыме, що мы иі добру та не знали, якъ ладъ даты,—додала Степаныда.

— Тетяно, а Тетяно!—допытувала тымъ часомъ Горпына хвору,—чому ты намъ не кажешъ, чому порады не даешъ? Порадъ чоловикови: чы йому коривку держаты, чы може продаты, чы йому самому хазяйнуваты, чы другои матери дитямъ шукаты?

— Я ще не помру,—обизвалася черезъ сылу Тетяна.

— Э, куды тоби вже, сестрыце, жыты, якъ печинкы чысто потлилы!—зитхнула Горпына.

Тетяна одвернула.

— Не хочеться помираты? Що жъ робыты! Якъ прыйде прызначеный часъ, то видъ смерты ніхто не одкупытсья: ни багатого, ни бидного, ни щаслывого, ни безталанного, якъ часъ його прыйде, смертъ не мыне, - мовыла Горпына.

— Може бѣ ще яки лыкы й пособылы?—запытала московка.

— Яки тамъ лыкы, якъ и на выду вже почорнила!—наче ажъ розсердылася слипенька баба.

— Мала Макарови и такъ втрата? Ось помре жинка, то й поховать ни за вищо буде—не те, що на лыкы втрачатсья,—мовыла Степаныда.

— Господня воля—ото вси лыкы!—додала Мотря.

— Росказы, серденько, до-дила, якъ Макарови жыты, що йому робыты безъ тебе? Чы продать коривку, чы може кожушанку, чы вѣ касси позычыть?—допытувала Горпына.

Тетяна повела рукою на пичъ—тамъ спалы диты.

— Вона вельть дитей збудыты,—мовыла московка.

— Ни, то вона такъ, зъ досады повела...

— Тш!...—стала усовицаты московка,—жинка помирае, а вони заходылысь спорытысь.

— Кажы, Тетяно, до-дила, щобъ мы вси знали та твою волю уволылы, щобъ ты потимъ на чоловика не враждувала, щобъ твоя душа не печалылася: продавать коривку, чы ни?—допытувала Горпына.

— Ничого не продавать...—видповила черезъ сылу Тетяна, и дви здорови, якъ горохъ, сльозыны покотылыся по выду, упалы на сорочку.

— Не вельть ничого продаваты,—пидхопылы жинкы.

— А якъ звельшь чоловикови жыты? Чы шукаты хазяйкы, якъ помрешъ, чы зъ дитьмы самому хазяйнуваты?—пидступыла спленька баба.

Тетяна знову повела рукою. Бабуся не побачыла и знову запытала:

— Аджэ бачышь—рукою повела; тилькы-тилькы що не скаже: „мени однаково: якъ хочэ, такъ хай и жыве, абы дитокъ до ума довивъ“,—видповила за Тетяну Хрыстя.

— Господь ии Мылосерднй зна, на вищо вона рукою повела, що въ неи на думци? Колы бъ сказала, то було бъ найкращэ,—завважыла Мотря.

— Охо-хо-хо, Царыце Небесна, Святый Мыколо, угодныкъ Божый! Чы жыва наша зозулечка, а чы прысвятылася бидна голивонька?—запытала увиходячы та бабуся, що вже дванадцять рокивъ поспиль на богомилля ходыть.—Прощай же, прощай, сестрычко! Просты мене, просты насъ усихъ, моя горлычко! Не занось гнива на насъ на той свить, помолыся за наши гришни души передъ престоломъ Господнимъ!—мовыла вона дали, прыступаючы до лижка Тетяны та уклоняючысь навмырущй ажъ до самои земли.—Диточки жъ мои, чаеняточка! Вы жъ не думаете й не гадаете, яка васъ, сыритокъ, доля чекае. Пидходьте пидъ матерынське благословеніе—хай васъ ненька риднесенька на все добре благословыть!—заклопоталася бабуся.

Дивчына заголосыла на всю хату и стала злазыты зъ печи, а хлопецъ, зъ пырогомъ въ одній руци и шматкомъ кныша у другій, ще мицнйше прытулывся до печи. Бабуся злисла на пиль,

стягла хлопця зъ печи й поставыла передъ матир'ю поручъ зъ сестрою.

— Пидступыся й ты, Макаре, до жинкы, ты може найбильше выненъ передъ своею дружыною—хай вона тебе поблагословыть,—звернулася бабуся до Макара, котрый саме увійшовъ.

Макаръ пидійшовъ слухняно до лавы.

— Просты мене, Тетяно!—мовывъ тыхо Макаръ и вперше за всю хворобу жинкы заплакавъ. Тилькы теперъ, въ си останни хвылыны жыття ий, сердце його боляче забылося, тилькы теперъ цилкомъ зрозумивъ винъ, яке горе спиткало його. Не тилькы слухняный, терплячий робитныкъ, супруга у ярми, покидае його,—йедина близька йому на всьому просторому свити людына йде видъ його, и никто ничымъ вже не замистыть йому того сердца, що былося, болило, радило на протязи трохы не двадцаты рокивъ спильно зъ його власнымъ сердцемъ.

— Просты мене, Тетяно!... мовывъ винъ у-друге, прыпадаючы до жиякы.

Облыччя Тетяны перекосылося—вона широко открыла очи.

— Двери... дыхаты...—простогнала вона.

— Видчынить дужче двери... Верхъ одтулить!—заклопоталысь жинкы.

— Господы! якъ ий, сердешній, важко дыхаты!—тяжко зитхнула Хрыстя.

— Ще бъ не важко було, якъ печинкы чысто потлилы!...

— Благословы жъ, Тетяно, дитокъ та чоловика!—прыступыла знову богомильна бабуся.—Глянь, Тетяно—дружына й диточки твои передъ тобою!

Тетяна глянула на дитей...

— Поблагословы жъ ихъ, галочко!—мовыла ще разъ бабуся, пидіймаючы ослабилу руку хворон.

Тетяна зъ велькою сылою простягла дали руку й осиныла невеличкымъ хрестомъ голивкы дитей та чоловика. Жинкы стали утыратъ нышкомъ сльозы.

— Охъ, якъ же вона важко дыха! Ачъ! наче рыбына безъ воды,—промовыла Хрыстя, зазыраючы черезъ московчыне плече на Тетяну.

— То вона вже кинчається...

— Охъ, пропусти мене—я боюся!—кынулася московка до дверей.

— А порядку такы не дала!—нагадала Мотря.

— Хиба доси порядку не дала?—здывувалася Горпына, тилькы теперъ повернувшыся до хаты, бо впевнвшысь, що Тетяна не доживе й до вечора, вона покынула жинокъ биля хворои, а сама побигла на хутир чавунивъ на окрипъ добуваты и весь останній часъ не була въ хати.

— А ни пары зъ усть, весь часъ мовчала,—мовыла Мотря.

Горпына поставыла чавуны на лави й зазырнула у вичи Тетяни.

— Вже одходыть! Якъ такы можна отаке допустыты? Стыльки народу було, та то й не допыталыся ничего? Колы бь хочъ на часыну опам'яталася!—заклопоталася Горпына и прыдавыла Тетяну злегенька за нисъ, щобъ та прокынулася ще хочъ на хвылыну для жыття та дала бажану пораду...

Замість видповиди, Тетяна въ останній разъ зитхнула—и вылетила душа легенькою парою зъ наболилыхъ грудей.

— Померла! Хочъ пытай, хочъ не пытай—вже не скаже ничего,—мовыла Горпына, закрываючы виі помершои.

— Царство небесне, вичный покій! — перекрестылася богомильна бабуся и стала передъ иконамы быть поклони.

Жиночки тежъ повернулысь до иконъ и стали молытысь за упокій новопреставленои рабы Божои Тетяны.

— Чы нема у тебе п'ятакивъ?—звернулася Горпына до Макара.

Макаръ вытягъ зъ скрыни хустку, розв'язавъ вузлыкъ, въ котрому було зав'язано два карбованци бумажкамы та трохи мидякивъ, и подавъ два п'ятакы Горпыни.

— Чы йе окрипъ?—запытавъ хтось зъ жинокъ.

— Треба обмыты, покы тепла, а то потимъ ни ногамъ, ни рукамъ рады не дасы,—завважыла Мотря.

— Окропомъ не клопочыться: два чавуны до себе въ пичь ще у-досвита засунула, а се ось си чавуны наллю та посуну. Роздгайтесь, жиночки! Вытягай, Макаре, сорочку та запаскы про смерть, та лагодься йихать у городъ по горилку та по хусткы; а ты, Мотре, попрохай Гарасыма, щобъ сповистывъ батюшку,—почала давать порядокъ баба Горпына.

Гарасымъ згодывся не тилькы сповистыть батюшку, але умовытысь про похоронъ, поторгуватысь за евангелію, хоругвы, за прычть, за коней, а ся справа була далеко не легенька, бо цилкомъ залежала одъ настрою пан-отця Ардаліона; настроій же зале-

жавъ одъ рижныхъ выпадкивъ, а найбільше видъ „характера“  
тыхъ бисивъ, що доводилось батющи выгонты зъ „одержи-  
мыхъ“ парафіанъ. Иноди траплялося таке слухняне, покирлыве,  
навіть дурненьке бисенятко, що досыть було батющи добре  
нап'ястися та трычи крыкнуты „проклиная“, „заклинаю“, щобъ  
воно пидобгало хвистъ та втекло безъ висты; иноди жъ траплявся  
такый упертый та лукавый, що пан-отець ажъ упріе заклынаючы,  
и тилькы черезъ добру годуны такихъ прокльонивъ, що ажъ во-  
лосся пидводиться на голови, нечыста сыла покыдае свою жертву,  
але тутъ то й чекае пан-отця горе. Збентежений зъ свого пер-  
шого прыстановыща бисъ перескакуе, не довго думавшы, въ про-  
сторый утрунокъ пан-отця и починая тамъ хазяйнуваты, якъ  
у себе въ пекли. Даремно старається пан-отець затопты биса  
оковытою—нечыста сыла вырынае наверхъ, якъ пир'ина и вы-  
является то неподобающымы словесамы, то якымы-небудъ пры-  
крымы „діяніямы.“ Довго дывувалыся, довго сердылыся парафіяне,  
аге якъ прочулы одъ самого батюшки, яка йому прыгода тра-  
пляється, якъ розиברалы, що то нечыста сыла сквернословить  
устама ихъ пастыря, що то лукавый бисъ управляє серцемъ  
його, то заспокоилыся и стали терпляче сподиватьсь того часу,  
колы нечыстїй сылы обрыдне самїй коверзуваты. Правда, якась  
недобра душа донесла нарешти, куды слидъ, и батюшку змыстылы  
рокивъ черезъ два, але въ той часъ, колы Гарасымъ увиходывъ  
у батюшчыни горныци, пан-отець саме борикався зъ бисомъ Со-  
лопи, котру привозылы за три дни до смерты Макарыхы, и Га-  
расымъ видразу спостеригъ по обыччю матушки, по заплака-  
нымъ очамъ наймычкы, а найбільше по духу одъ „монополькы“,  
що безталанному пан-отцю Ардаліону неперелькы.

Добру годуны довелося Гарасымови посидиты въ кухни, покы  
пан-отець пообидавъ та выйшовъ.

— Чого треба? Чого прыйшовъ?—запытавъ отецъ Ардаліонъ  
Гарасыма.

Глянувъ Гарасымъ на батюшчынь нисъ скоса та й зитхнувъ  
сердешный.

— Чого прыйшовъ?—гукнувъ вдруге батюшка.

— Макарыха Богови душу виддала, такъ найпокорнійше вашои  
мылосты прошу прыйхатъ.

— Яка се Макарыха? Якъ фамилія? Яка Трохымыха?—перехо-  
пывъ ричъ Гарасыма батюшка.

— Макарыха,—поправывъ Гарасымъ.

— Фамилія? Фамилію пытаю! — крыкнувъ не своимъ гласомъ пан-отець.

— Хвамылія... прызвище? Та... якъ іі... тая... просты Господы, забувся!...

— Якъ забувся? Якъ забувся?—ще дужче закрычавъ батюшка.—Ты въ шынкѣ, по горилку прыйшовъ? Геть зъ моеи хаты, п'янюго! Выпивъ кварту, та тоди до батюшки зъ порожними рукамы!...

— Хочъ и заприсягты, батюшечко, и рисочки въ роти не було... И въ заводи немає горилки дома... Хиба бъ я...

— Геть! Вонъ!—перепынывъ отецъ Ардаліонъ Гарасыма и хотивъ ще ногою тупнуть, та якосъ схытнувся.

— Ардаліоша! Ардаліоша! Не сердься бо!—мовыла несмильво матушка.—Се мабуть, чоловіче, чы не Грабенкова померла?—звернулася вона до Гарасыма.

— Эге жъ, эге!—зрадивъ Гарасымъ,—Грабенкова, вона!...

— То то и йе—Грабенкова!—мовывъ строго батюшка.—А де дытына? де кумы?—крыкнувъ ни зъ того, ни зъ сього отецъ Ардаліонъ.

Гарасымъ настановывъ вуха.

— Де дытына?—крыкнувъ ще дужче батюшка.

— Тебе, Ардаліоша, ховаты, а не хрестыты запрохуе чоловікъ. Грабенкова, сердце, померла,—заступылася за Гарасыма матушка.

— Ага! Грабенкова померла?—нарешти розибравъ батюшка.

— Эге жъ, эге... Грабенкова, сьогодни померла... Просымо васъ найпокорнійше поховаты іі.

— Не хочу я іі ховаты! Не хочу, та й край! Такъ и перекажы: казавъ батюшка, пан-отець Ардаліонъ, що не хоче ховаты Грабенковой... Де вона говила? Въ манастыри? Хай же іі й ховають монахы. Почимъ я знаю, якъ вона говила? Може вона, замистъ церкви, въ шынку сыдила!... Не хочу я такихъ свыней ховаты. Свій храмъ тилькы що не завалыться, прычтъ духовный тилькы що зъ голоду не погыбае, а вы свои мидякы монахамъ видаете! Схилькы вы даеце батюшци за требы? Шагы! А якъ я тилькы прызначывъ за сповидъ вашои богомерзкой души по десять копійокъ, такъ вы вси въ манастырь побиглы говиты? Не хочу жъ, колы такъ, васъ ховаты...

— Вашои мылосты, батюшечко, прохаю, не гнивайтесь на ново-преставлену,—може въ ней справди не було гривенька на сповидь. Зробить Божеську ласку—поховайте ии безъ серця.

— А скільки дадутъ за похоронъ?—запытавъ трохы мылосты-війше отецъ Ардаліонъ.

— Звистно, люде бидни—якъ спроможуться, такъ и подякують вамъ,—мовывъ обережно Гарасымъ.

— Менше видь двоохъ карбованцивъ не визьму, а за евангелію, хоругвы, прычть особо. Та щобъ добрыхъ коней прыслалы, чуешъ?

— Чую, чую, батюшечко!... Тилькы не въ гнивь вамъ буде, що скажу: поховайте ии за полтыннычка, зробить Божеську мылость, люде бидни...

— Ты на торгъ прыйшовъ?—крыкнувъ батюшка, ажъ шыбки въ викнахъ забряжчалы.—Два карбованци, ни копійкы меньше!

— Хай вже и два карбованци, тилькы щобъ за евангелію, хоругвы и прычту вже не платыты...—уклонывся нызенько Гарасымъ.

— Такъ ты ще торгуватъсь? Геть пишовъ! Не хочу я ніякъ васъ ховаты. Якъ собаки пропадайте! До монахивъ идить. Маршъ!—розсердывся ще дужче батюшка.

— Колы жъ звельте коней прысылаты?—запытавъ похмуро Гарасымъ.

— За коней пытаешъ, а про гроши мовчышь? Знай, що набиръ я не ховатыму!... Мени нема дила, що Грабенка, чы якъ його тамъ, злыдни пойилы—мени гроши щобъ булы зразу, а якъ не дадутъ впередъ, то я назадъ пойиду—такъ и скажы тамъ. Чуешъ?

Гарасымъ все добре чувъ. Кримъ того, винъ бачывъ, що упертый бисъ Солопи тилькы що почавъ коверзуваты, и колы Гарасымъ протягне свою розмову зъ пан-отцемъ дали, то нечыста сыла добавыть до двоохъ карбованцивъ ще мирку пшеницы, кварту горилкы, або крашанокъ, и бильше не змагався.

— Чую, чую!—покирлыво видповивъ Гарасымъ и, уклонывшысь нызенько батюшци й матушци, подався геть зъ кимнаты.

### III.

Иванъ Крыворотько запригъ свою шкапыну й пид'йихавъ до Макаровои хаты. Макарови зоставалося тилькы систы та йихаты

въ городъ за покупками, одже довго ще не сидавъ винъ, довго блукавъ то по надвир'ю, то по хати, довго роздвлявся по всихъ куткахъ, наче чого шукаючы. „Зъ чымъ йхаты въ городъ? Що продаты?“—пытавъ винъ себе, у-десяте зазыраючы въ порожню хыжу. Але скільки не прыгадувавъ, скільки не дыввся—и на очи, и на думку спадала раз-у-разъ колы не кожушанка, то тельця.—Кожушанка-тельчка! Тельчка-кожушанка!—проносилося у голови, а на серци становилося все тяжче. Шкода кожушанки продаваты—жинка до церкви не надивала, дочки прыберигала... а ще шкоднійше тельчку видаваты...

— Чы ты у лиси заблудывся, чы голову загубывъ?—крыкнувъ йому Иванъ.

- Зразу, зразу иду,—мовывъ Макаръ и, нарешти ухопывшы зъ одчаемъ кожушанку, сивъ у сани.

Люде почалы вже зъ торгу роз'йиздытысь, проте кругъ Макара зъ новою кожушанкою на рукахъ зибралося чымало жинокъ та чоловикивъ. Коженъ бравъ кожушанку, розглядавъ ии зъ усихъ бокивъ, коженъ бажавъ купыты, але дававъ „по своихъ достаткахъ“ такъ мало за неи, що Макаръ вырывавъ зъ серцемъ кожушанку и йшовъ дали. Дали обступалы його знову люде, знову роздвлялыся, роспытувалы, божылыся й нарешти давалы ще меньшу цину.

Вкрай розсердившысь на купцивъ-голоту, а найбильше на саму Тетяну, що померла, не дождавшы ярмарку, Макаръ пишовъ до саней. Тамъ стара, ажъ сыва кобыла працювала беззубымы яснами надъ оберемкомъ соломы. Макаръ штовхнувъ зъ персердя ии въ боки, крыкнувъ не знать на вицо: „стій, проклята!“, вырвавъ зъ рота солому, ударывъ мотузьянымъ батогомъ и повернувъ голобли до-дому. Винъ певень бувъ, шо на хутори никто його не вызволить, бо у такихъ людей, якъ и винъ, тилькы хйба в-осены, до оплатокъ, поводитъся копійчына, а дукари дбають тилькы про себе,—але не зважывся й видаваты за пивъ-цины ту кожушанку, шо далася такъ гирко.

— Якость-то буде... Люде щось прырозуміють... Не зостанеться жъ Тетяна непохованою, —розважавъ винъ себе, поky кобыла помаленьку тупала до-дому.—Може й батюшка поховае безъ грошей—тоди я за прыпасени гроши труну справлю, а останне—якъ Богъ дасть...



Але дома дожидала його недобра звистка про пан-отця Ардаліона:—меньше видь двоохъ карбованцивъ за самый похоронъ батюшка не схотивъ узяты. Сивъ Макаръ край столу, схыливъ свою голову на згорнути руки, ніякъ соби рады не дасть. Що робить, де дистаты грошей, колы навить и въ касси немає? Звернутысь до Афанасія Петровыча Карпенка? Не позычыть и той за спасыби: доведеться хочъ землю пидъ застанову виддаваты, хочъ на таки одробиткы згожуватись, що й лито святе за його роботою пропаде. Куды звернутысь? Де дистаты грошей?—в-десяте пытавъ себе Макаръ, дывлячысь, якъ жиночки пылнують биля бездыханного тила жинкы. И справди, жиночки одна одну попережалы, одна передъ одною хапалыся выказаты у рижныхъ дрибныцяхъ свою повагу сьому тилу. Доки се тило було живе, кожна зъ сусидокъ хочъ и рада була зробить яку полегкість, та не мала часу, а иноди не знала, якъ пособыты, за часъ хворобы тилькы знахарка хиба, трохи ликаръ, а може трошечкы й фершалъ, а найпаче самъ Господь Мылосердный мигъ пособыты недужій. Зъ тіеи жъ хвыльны, якъ Господь прынявъ душу, якъ Тетяна на вики заплющыла очи, зныкла рижныця мижъ знахаркамы, ликарямы та простымы людьмы, и выступы певни, всимъ видоми, для всихъ однакови обов'язкы „жывыхъ“ до „мертвои“. Тетяна, якъ жыва людына, мала своихъ ворогивъ, своихъ друзякивъ; Тетяна, якъ мрець,—однакова до всихъ: душа ии скинула ти кайданы, що прымушувалы ии иноди нышкомъ зитхаты, иноди у голосъ тужыты, а иноди навить злочыныты такимъ самымъ закайданенымъ людямъ на земли, якъ и вона. Тетяна скинчыла вже свою подорожъ; терній не коло-тыме бильше ии нигъ, и вона не зазихатымъ бильше на чуже добре, якъ на пидстилку пидъ скривавлени ноги; ниhto не заважатыме ий бильше на дорози, ниhto не штовхатыме ии, и вона въ свою чергу не пхатыме сусида въ канаву...

Одначе се тило, си тяжки кайданы—не хымера, не выгадка: Господь звеливъ йому родытыся, росты, жыты, хоруваты, за-рады сього тила доводылося на протязи жыття не разъ кривдыты навить душею, и теперъ душа, хочъ и выйшла зъ тила, але ще не покынула його: тры дни литатыме вона поблызу биля його, дывытыметься на його й пыльно стежытыме, яку пошану виддадутъ йому в-останне люде.

Жиночки не шкодували праці, але богомильна бабуса клопоталася найдужче, якъ бы краще знаядыты новопреставлену на той свить. Сама вона й сорочку зав'язала, сама запаскы оправыла, сама и очипокъ надила, и Макаръ, сыдючы тутъ, середъ заклопотаныхъ жинокъ, на хвылыну навить забувъ про свое горе, про те, що то пораються люде биля його мертвой дружныны.

— Чому ты въ городъ не йдешъ?—ажъ сплеснула рукамы баба Горпына, вносячы видра зъ водою.

— Ни зъ чымъ йихаты,—видповивъ Макаръ, пидводячы свою зажурену голову.

— Адже у тебе йе два карбованци?

— Що тыхъ два карбованци? Батюшци та прычту заплачу, а покупокъ ни за вищо справыты...

— Та вже жъ безъ труны не обійдешся,—обизвалася наче зъ сердцемъ слипенька бабуса.

— Та не обійдуся,—сумно мовывъ Макаръ.

— Вже часъ робыты труну, а у тебе ще й дошокъ нема,—нагадала знову слипенька.

— И самъ знаю, що часъ вже труну робыты, такъ немае грошей... Хиба купыть дошокъ, а батюшци десь може розстараюся?

— Хиба самыхъ дошокъ треба? Ще въ тебе ни платкивъ, ни свичокъ, ни меду, ни горилкы,—нагадала ще разъ слипенька бабуса...

— Пиды ты зразу до Карпенка та попрохай позычыть п'ять або шисть карбованцивъ. Визьмы й кожушанку зъ собою,—продавать не продавай, бо покійныця не велила, а пидъ застанову можешъ виддать,—пораяла Горпына.

— Не позычыть Карпенко: я до його звертався колысь, такъ не давъ,—мовывъ Макаръ.

— Не позычыть, то не пидемо красты. На нема й суда нема. Якъ не розстараешся ниде грошей, то покійныця выбачыть. Що робыты, якъ нема чымъ пом'януты?—помолымося за ии душу та й розйдемоя!—обизвалася Мотря зъ печи, де вона збирала у мишокъ суху пашню.

— Иды жъ швыдче до Карпенка,—пораяла вдруге Горпына, очевыдячкы не згожуючысь, якъ и вси останни жинкы, зъ Мотрыною порадою—помолытыся за душу Тетяны та й розйтыся...—

— Карпенко саме прыйихавъ зъ города,—напевне уторгувавъ за пшеницю,—вкынула свое слово Хрыстя.

— Уклонься йому, попрохай його гарненько, то винъ такы може уважыть хочъ на сырыть,—додала Горпына.

Макаръ мало надявся на Карпенка, але слухняно пидвився и вийшовъ зъ хаты.

А тымъ часомъ жиночки скинчылы убрання новопреставленои, пиднялы и й перенесли на лаву. Въ ту саму хвылыну золотый проминець зимового сонця пробывся кризь виконце надъ лавою, загравъ на парчевому очипку Тетяны, перескочывъ дали й зупынывся на гурти жинокъ, що стоялы наче скам'янили биля покійныци. Ни слова, ни зитханья не вырвалося зъ устъ жинокъ, але—дывне дило— вси певни въ сю хвылыну стали, що можна иноди людемъ розумитися безъ сливъ, що бувають годыны, колы души жывыхъ людей йеднаються безъ допомочи тила, и що теперъ саме якась невидома сыла прыкувала ихъ всихъ биля Тетяны, проняла, стыскала серця, видбылася въ неясній, але йедынй для всихъ думци: „вси мы однакови люде, всихъ насъ чекае однаковыи кинецъ—домовына“... И зныклы пидъ впливомъ сиеи думкы вси недобри спогады, вси недобри бажання; навить по завжды хмурому облыччу слипенькои бабуси промайнуло щось краще, нижъ навить ухмылка непорочнои дытыны.

— Сестрычкы жъ мои! я ще доси дытыны не годувала!—опам'яталася перша Мотря.

— А я обидать не варыла!—згадала Хрыстя.

— Ходимъ уси до-дому: управылыся биля покійныци, а баба Горпына хай тутъ пораються до вечора; надъ вечерь знову прыидемо вси,—мовыла богомильна бабуся.

— Треба ще й бабы Горпыны запытать: може имъ сумно самымъ зоставатысь?—заклопоталася слипенька.

— Идить, идить—я не боюся, а сумуваты николы, бо дила ще багацько,—заспокоила Горпына жинокъ, котри зъ охотою побиглы зразу до-дому, де ихъ давно нетерпляче сподивалыся то голодни диты, то коровы, то свыни...

Горпыни справди николы було сумуваты: на неи цилкомъ поклався Макаръ, ий доручывъ и печыво, й варыво, й дитей, и тельчку; кримъ того Горпына доброхитно взяла на себе й новый обов'язокъ—здобуты грошей для Макара, якъ що винъ не розстарається у Карпенка. На витерь пущене слово Мотрею: „помолы-

мося та й розійдемося“ не йшло у неї зь голови. По давно заведеному звичаю ни одынь хуторянынъ не йшовъ на той свить безъ допомогы бабы Горпыны. Иноди їй доводилося де-чымъ по-событы хворому ще якый часъ пожиты на симъ свити, иноди— часомъ ранійше вмерты, але писля смерты Горпына становылася биля печи й вымагала видъ родычивъ завжды найкращого доклада до стравы, щобъ люде потимъ не судылы за помынкы. У Макара не було ще ничого уготовленого, и ся думка не давала Горпыни спокою. Чымъ вона частуватыме, що вона подаватыме на стиль людямъ, якъ Макаръ не купыть ни меду, ни сала, ни олій?... Невже справди доведеться, якъ казала Мотря, „помолытыся та й розійтыся“?— „Доведеться мабуть самій бигать по хутори та позычаты грошей!“—клопоталася вона сама соби, нетерпляче вызыраючы у виконце Макара.

Нарешти прыйшовъ и Макаръ.

— А що? розстарався?—накынулася на його Горпына.

— Не давъ,—хмуρο видповивъ Макаръ.

— Не давъ!? Що жъ винъ каже?

— У позыку, каже, не дамъ. Кожушанкы у застанову тежъ не визьму, а якъ треба грошей, то продай кожушанку, або тельчку, то и я забезпечений буду, и ты не думатымешъ про гроши...

— Скільки жъ винъ дае?

— За кожушанку тры карбованци, а за тельцю десять карбованцивъ.

— Десять карбованцивъ за тельцю?—скрыкнула Горпына.—Та хай винъ не дижде, проклятый, помираты: отаку тельчку та за десять карбованцивъ хоче взяты!... Пожды жъ трохы, я побижу по хутори—може й настягаю яку десятку,—мовыла вона дали й побигла въ ту жъ хвылыну зъ хаты.

Макаръ сивъ на ослинци. Недавня розмова зъ Карпенкомъ ще выразніше впевныла його, що кому скрутнo жыты, тому ще скрутніше помираты, але порада Мотри тежъ не сходыла зъ думкы. „Помолымося за новопреставлену та й розійдемося: хай покійныця выбачае“. И справди, неуже та сама Тетяна, що стилькы разивъ не дойдала, не допывала, що прыйняла стилькы горя, не разъ шкодуючы потратыть якого мидяка, що за вси часы своеи хворобы не задовольныла свого бажання выпыть чарку горилкы,—не выбачыть йому теперь, писля смерты, колы винъ поховае ии безъ горилкы, безъ платкивъ, колы винъ не

справить обиды? Макаръ глянувъ на жинку. Обмыта, причесана Тетяна лежала въ билій сорочци, въ новыхъ запаскахъ.

Мицно склеплени очи, сциплени губы не зминылы звычайного выразу покирности въ ии облыччю; далеко бильше вражиння зробылы на Макара складени на грудяхъ руки. Тилькы хиба на вельке свято, сыдючи биля виконця та балакаючи зъ сусидками, складала вона такъ свои стомлени руки. Чы не свято прыйшло и сьогодни для неи? Що жъ було у такимъ рази за жыття, яки то булы будни?...

Ось—прыгадуецься йому—стоить вона поручъ зъ нымъ передъ олтаремъ. Люде звелы ихъ, поставылы на рушныку, не пытаючысь, чы до любовы,—ни одного слова про вирне кохання, ни одной клятвы... Проте вона дывыцца смилыво у вичи молодому, облыччя палае здорв'ямъ, дуже тило стоить—не поколыхнеться, ни одна потаенна, зрадлыва думка не промайне въ голови—вона певна, що зробыть усе, що вымагатыме видъ неи жыття, вона знае, що зуміе пособыть тій дружыни, зъ котроу Господь йеднае ии въ сей часъ, и благае у Мылосердного тилькы здорв'я.

Ось трохы наче зморена, зблиднила, але не меньше певна въ соби, Тетяна наймаецься въ экономію за куховарку.—Чы подужаешъ двичи на день дижу выкынуты?—пытае ии въ контори пошепки Макаръ.—Треба тому дужаты, хто хоче свою хату маты,—весело видповидае вона, и п'ять рокивъ поспиль выкыдае по чотыри пуды хлиба що-дня.

А ось вона, ще бильше змарнилая, стоить передъ манисенькою трункою своеи першой дочки. Облыччя ии смутне, зъ очей ллються гарячи сльозы матери, сердце бслыть, щемыть за сымъ маленькымъ тиломъ дочки, але заревла пидъ викномъ хазяйська корова, и Тетяна спишно втерае сльозы й бижыть зъ дйныцею на двирь: нема часу сльозамъ волю даваты тому, хто хоче свою хату маты!

Нарешти вона въ давно бажаній хати, въ своїй осели. Новенька била хата ажъ сые на сонци; чысти, якъ сльоза, виконця наче усмихаюцца, молоденьки вышенькы заглядають своимы свижымы зеленымы витамы у саму хату... Чого тилькы у самой господаркы побильшало зморшкывъ на выду, позатыгало кари очи? чого нахыльвся высокый, гнучкый станъ? Похыльвся станъ та й не выправлявся, але Макаръ того доси не прымичавъ. Тилькы те-перъ, колы смерть распрыла все тило у весь зристь його, тиль-

кы теперь, угледившы незвычайно спокойне облыччя своеи дружыны, зрозумивъ Макарь, якъ тяжко далася Горпыни и хатка, и садокъ, и половенька тельця, якимъ тягаремъ лежалы на жинци щоденни турботы...

И то-бъ то сьому замороеному роботою, попсованому недоглядомъ та хворобою тилу не виддаты ще останньо и пошаны? вкнуты його у яму, якъ непотрибну ганчирку, закыдаты землею й за-рады п'яты-шесты карбованцивъ позбавыты доброго спогаду людського? допустыты, щобъ душа жинкы по земли блукала, помынокъ-панахыдъ бажала, щобъ вона на тимъ свити, якъ и на симъ горювала?... Крый Маты Божа!—Нагорювалася, натомылася, дружыно моя, на симъ свити—пороскошуй же та заспокойся писля смерти!—мымоволи вырвалося зъ усть Макара.—Не велила ты мени продаватьничого—отже продамъ, Тетянку, и кожушанку, й тельчку, абы видбуты помынкы по тоби,—додавъ винъ, пидводячысь зъ ослинца й цилуючы холодный, якъ крыга, лобъ жинкы й ии згорнути руки.

— Тры карбованци ледве настягала: на собачому хутори сами злыдни. То було жыты скрутно, а теперь и померты по хрыстьянському звычайу не можна. Чы ты чувъ, що батюшка ще четвертака набавывъ? Отсе тилькы що повернулысь одъ його Присчыни кумы, такъ винъ черезъ ныхъ переказувавъ, щобъ ты ще поверхъ карбованця четвертака давъ,—перебыла Горпына Макарову розмову зъ жинкою.

— Спасыби за гроши—якось обйдусь!—видповивъ Макарь, одходячы одъ лавы.

— Беры—не заваяються!—пораяла Горпына.

— Мени однаково сиеи троячки мало...

— Сама знаю, що мало. Такъ куды жъ ты?

— До Карпенка,—видповивъ уже въ синяхъ Макарь.

Горпына сховала карбованецъ за платокъ, зав'язала дрибни гроши у вузлыкъ, сховала ихъ за поясъ и стала знову поратись биля печи. Теперь вона певна була, що Макарь щось прырозумивъ, що помынкы по Тетяни будутъ до-дила, и стала наготовляты то пляшкы, то барыльце, то горщатка Макарови въ городъ. И справди, незабаромъ прыйшовъ зъ Макаромъ Карпенко оглядаты тельцю, чы немає якои вады.

Горпына выбигла на двиръ.

— Ось бачъ, сыну, рижокъ збытый!—мовывъ докирлыво Карпенко, запымитывшы щось на рижку.

— То що?—засміялся чоловікы, що на той часъ нагодылись.— Хиба ты зъ рогу дойтиymesъ?

— Ничого, люде добри, сміятыся! Хочъ и не зъ рогу дойтиому, а все жъ тельчка не по форми.

— Скильки жъ винъ тоби дае за тельчку?—запытавъ Макара сусида.

— Одынадцять карбованцивъ!—зитхнувъ Макаръ.

— Одынадцять карбованцивъ за таку тельцю!

— Бога бійся, Опанасе!—не втерпила Горпына.

— Одынадцять карбованцивъ дае та ще й тельцею ганблюе!— додавъ якийсь чоловікъ.

— Я не ганблюю, я кажу тилькы, що тельчка не по форми...

— Горе мое тяжке, що въ мене грошей нема, а то бъ я сіеи тельци тоби не попустывъ,—обиззався хтось зъ гурту.

— Отакъ бы й я: зразу давъ бы за неи двадцять карбованцивъ,— мовывъ другый чоловікъ.

— Охотныкивъ багацько, а купцивъ мало. Гуртомъ не спроможетеся тельци купыть, а въ мой кышени хазяинуете,—звернувся Опанасъ до людей.—А ты, Макаре, колы хочешъ буты сватомъ, то скынь четвертака,—мовывъ винъ до Макара...

— Се за ригъ, чы що?—запытавъ Макаръ.

— За рижокъ, за рижокъ... хочъ скынь четвертачка, хочъ одробы який день...

— Хай ты не диждешъ помираты!—крыкнула на все село Горпына.—Чоловикови отаке горе, отакый случай трапывся, а винъ и Бога не боитыся!...

— На все воля Господня: Макарови прыпавъ случай продаты тельчку, мени—купыты, и ничымъ я Господа Мылосердного не гниблю. Я прыйшовъ, Макаре, по твой просьби твое добро купуваты, а колы мене люде на твоему дворыщи зобиждають, то я й пиду соби зъ Богомъ, одйду отъ гриха безъ клопоту,—мовывъ Карпенко, простягаючысь до ворить.

— За вищо жъ вы на мене розсердылыся, диду? Я жъ вамъ ничого не казавъ. Чы звельте одробыть за рижокъ, то й одроблю. Выймайте гроши, берить тельцю—хай вамъ Богъ помагае!—завернувъ Макаръ Карпенка.

— Хай буде по твоему!—згодився Карпенко.—Тилькы шукай крацшого налыгача, бо сей зовсимъ плохенькый!

Макаръ побигъ за налыгачемъ. Карпенко вытягъ з-за пазухы платочокъ и ставъ одличуваты гроши. Чоловики окружылы його зъ усихъ бокивъ и мовчки дывылыся, якъ винъ выбиравъ най-більшь потерти бумажки. Нарешти Макаръ одвзявъ тельчку и передавъ налыгача Карпенкови. Афанасій Петровычъ пидставывъ прыкрыту полою свытки руку, взявъ налыгача, перехрестывся й вывивъ тельчку зъ двору.

Довго стоявъ, довго глядивъ Макаръ ій у слидъ, и очи затуманылысь слъозамы: остання надія диждаты коривкы—тягла, статы хазяиномъ зныкла геть зъ серця, якъ побачывъ винъ по-рожни ясельця...

#### IV.

На третій день поховалы Тетяну. Хочь и безридна була покійныця, проте знайшлыся таки добри люде, що потужылы надъ могылою. Богомильна бабуся такъ хороше примовляла до „сусидочки“, що навить де-яки чоловики нышкомъ слъозы втералы.

Макаръ кынувъ першу горстку земли. „Важка земля тоби, дружно моя, на груди ляже, а ще важча туга мени на сердце паде. Сумно тоби, одынокій, у домовыни буде лежаты, а ще сумнійше мени зъ диткамы буде безъ тебе жыты. Доведеться намъ и чорну сорочку носыты й на тще-серце спаты лягаты... Та ни пошаны, ни порады, ни ласкавого словечка твоимъ сыриткамъ більшь не прочуты“,—мовывъ смутный безъ краю Макаръ, зазыраючы у глыбоку яму, на дни котрой билила труна жинкы. Жинкы заголосылы.

— Не слидъ,—ставъ увищаты отецъ Ардаліонъ, — надъ могылою плакаты: смерть одъ Бога, и нічого надъ мерцямы голосыты.

Жинкы затыхлы и стали закъдаты горсткамы мерзлой земли труну. Незабаромъ закъдали яму, насыпалы невелику могылку, вкопалы маленький дощаный хрестыкъ и пишлы на обидъ до Макара.

Зразу писля обида пан-отець Ардаліонъ и прычть пойихалы, за нымы слидкомъ розійшлася більша частына людей, и тилькы гуртокъ жинокъ zostалыся на ничъ стерегты Тетяныну душу.



Вси хуторяне, цилкомъ задовольнени помынальнымъ обидомъ, подякували Макарови та Горпыни й розійшлыся по домахъ до своего хазяйства. Выйшовъ бувъ и Макаръ до своей загороды, видчынувъ двери, подывывся-подывывся, зачынувъ двери, зав'язавъ мотузкомъ, пидійшовъ до круглыхъ ясель, де завжды у день стояла тельчка, та й зитхнувъ сердешный. За кымъ бильше заболело сердце його у сю хвылыну? Чы опустила хата, чы опустили двoryще нагнало такой сумъ, — винъ бы й самъ не мигъ сказаты, але добре розумивъ, що теперъ винъ бильше не хазяинъ своей хаты, не батько для своихъ дитей, що прыйшовъ кинецъ не тилькы його невеличкымъ надиямъ, але навить його самостийному жыттю. Винъ не управыться самъ зъ дитьмы малымы, винъ не вмие ни топыты, ни варыты—доведеться шукаты десь другой жинкы; а хто жъ згодыться пакуваты свои лита молоди за литнимъ та ще й биднымъ удовцемъ зъ двома дитьмы? Оселыться якась стара жинка въ його хаты, поверне все жыття на свій зразокъ, докорятыме дитей кожною выпраною сорочкою, шматкомъ спеченого хлеба, и винъ не вильный буде ничого зминыты, бо справди—чымъ заплатыть винъ сій чужій людыни, що згодыться робыты для чужыхъ дитей, на чужому хазяйствы?

Колы бъ хочъ коривка була—вона бъ не смила прынаймни вважаты його за „голоту“, вона бъ не смила докоряты його „злыднямы“, „черствымъ хлебомъ“, вона вважала бъ його за хазяина. И для чого винъ продавъ половеньку? Хай бы люде розійшлыся безъ горилкы, хай бы сусиды продражнылы його „непомынайлыкомъ“,—винъ бы теперъ пидкладавъ свой тельчци сина, винъ бы почувавъ себе хазяиномъ хочъ у двори!

И знову досада на помершу жинку заворушылася въ серци Макара. Чому було Тетяни не протягыты еще одного тыжня, диджаты ярмарку? Винъ бы продавъ тельцю за двадцять карбованцивъ, видбувъ бы похороны за шисть, а за чотырнадцять купывъ бы соби меньшу тельчку. Охъ! вмила Тетяна працюваты, та не зумила помираты Осыротыть—осыротыла, та ще й хазяйство розорыла!

— Ты бъ ишовъ до насъ, въ хату! — перебыла Горпына невели думкы Макара.

— Въ хаты душно — я буду на двори, — видповивъ Макаръ и взявшы въ синяхъ грабли, пишовъ огрибаты солому.

Горпына вернулась знову въ хату. На покути, на просланому рушныку стоявъ уже розведеный водою въ мысли медъ; на столи—пырогы, холодецъ зъ тарани, пляшка горилкы, пляшка вареной, пшенишна паляныця й невеличка чарка, але ниhto не доторкався до сіеи стравы, бо першою мусила покуштуваты йи душа Тетяны.

Диты, блиди одъ слизъ, стомлени, сонни сидили на печи та береглыся, щобъ не заснуть ненарокомъ та не проспаты того часу, колы ненька, обернувшысь мухою, прылеть прощатыся. Хлопчыкъ торкавъ раз-у-разъ сестру за рукавъ та допытуався— „чы то не душа ненькы чорніе“ то на сволоку, то на стинци?

— Ни ни—у день душа не литае; ось якъ стемніе, якъ засвятятъ свитло, тоди вона й прылеть. Лягай теперъ спаты, Сыдорко, я тебе збужу, якъ побачу муху,—умовляла Одарка, прыголублючы до себе сонного брата.

— Я не хочу спаты, я самъ хочу побачыты муху; я сидытому, ажъ поky засвятятъ свитло та ненька прылеть,—змагався Сыдорко, лупаючы соннымы оченятамы.

Нарешти зимне сонечко закотылося, и Горпына засвityла каганецъ. Сыдорко схопывся.

— Онъ-о-о! душа!—радисно крыкнувъ винъ, показуючы пальчыкомъ на чорну головку гвоздыка.

— Тшш...—сипнула Одарка брата зъ такою сылю, що винъ знову присивъ, — кажу тоби—ще не часъ неньци прылитаты. Якъ загуде, то я тебе збужу. Лягай, укрийся та спы! — мовыла вона дали, и Сыдорко бильше не змагався.

— А що? заснувъ?—запытала Мотря Одарку.

— Заснувъ,—видповила дивчына и ще дужче прыкрыла брата рядомъ.

— Бидна голиванько!—зитхнула Горпына, — покынула дитокъ, хазяйствечко, чоловика, а якъ за усумъ побывалася!

— Людына—що муха: подыхне якый витерь—и немае одъ людны й пам'яты,—обизвалася Хрыстя.

— Отакій молодыци та вмерты! Йи мабутъ ще й сорокъ рокивъ не було?—мовыла Степаныда.

— Нашей сестри не довго смерты шукаты: застудылася, або пидвередылася—ото тоби й край Найпаче нашымъ хуторянамъ гирко доводытсы; ликаръ каже: „далеко до вашого хутора йиздыты“, а фершалови николы: ниякъ зайцивъ по полю не перестриляе,—додала Мотря.

— Бога рады! велька корысть зъ тыхъ фершаливъ! Адже дававъ винъ и мени, й вамъ, и ось куми Явдоси якыхъ червонныхъ порошокивъ—занудыло одъ ихъ та й годи!—обизвалася Степаныда.

— Охъ! голуб'ята мои! Не пособылы бъ Тетяни ни ликари, ни фершалы, бо вона черезъ саме сердце померла. Шо сердыта була покійныця, такъ кинця й краю немає! Иноди було якъ почне Макара лаяты, такъ ажъ запиньтись, ажъ зомліе! Та ось, кумо Хрысте, вы чулы, якъ вона торикъ на все село гримала?—звернулася слипенька бабуся до Хрысти.

— Щось не зазнаю,—видповила кума Хрыстя.

— То у васъ пам'ять така! Не те, що я ии сужу,—хай ии Господь Мылосерднй на тому свити розсудить,—а такы сердыта вона дуже була... Мене позаторикъ трохи не была, йий же Богу, за те, що диты слывъ натрусылы у ии садочку,—не спынялася слипенька.

— Охъ, сестрычки, сестрычки!—стала увищаты богомильна бабуся. Не годытись мертвыхъ судыты: ии душа била насъ литае, все чуе, все бачыт та печалытсья. Велькый грихъ новопреставлену лаят! Сподобывъ мене Господь на свити пожыты, де-що одъ людей прочуты; роскажу й вамъ, колы хочете, що я чула одъ одной кыянкы.

— Якъ жыла десь, каже кыянка, удовыця. Въ гори, досади та печали провела вона весь викъ свій, гриха черезъ людей набралася, сердце роструила, здоров'я черезъ недостатки розгубыла, та й стала вона у Бога смерты прохаты. „Господы!—прохала вона—пошлы по мою гришну душу, щобъ надо мною, бидною удовою, моя недоля не знущалася“. Пославъ Господь по душу янгола. Радисна та весела вылетила душа зъ тила,—хотила зразу подали видъ земли, на поклонъ до Бога летиты. „Не прыйшовъ ше часъ твій — не пушу тебе на поклонъ!“—каже ий янголь Господень и заслонывъ передъ душею двери. Зосталася душа въ хати, литае кругомъ свого тила та розглядае його. А тымъ часомъ зибралыся жиночки надъ тиломъ сыдиты. Сыдятъ, якъ отсе, поздоровъ Боже насъ, мы сыдымо, та не добромъ новопреставлену помынають, а все лыхымъ словомъ. Одна каже: „вона мій четвертакъ на той свить занесла“, а друга — „вона мени борошна не виддала,“ а третя: „вона мене такъ и такъ лаяла“. А душа удовыци блызенько литае, до самыхъ жиночокъ прыпадае й хоче

казаты имъ: „выбачайте, сестрыци! выбачайте, сусидочки! не було у мене ни четвертака, ни борошенця, не було у мене й зла на серци, якъ я васъ лаяла,—то все горе та недостатки призводили мене и чуже добро заживаты, и лыхе слово казаты“,—та не може. Вылася душа сердешна, вылася, та й стала знову янгола прохаты: „одпусты мене, янголе Господень, на небо: я жъ и смерти затымъ у Бога прохала, щобъ мени одъ людей одійты подали“. — „Не прыйшовъ ще часъ твій!“—мовывъ їй вдруге янголь и не пустывъ зъ хаты. Стала душа знову литаты та жиночу розмову слухаты, а жиночки-сусидочки одно судять, одно судять...

Ще дужче застогнала душа, ажъ объ сволокъ зъ досады бьеться, а дали пролетила за пазуху, сила била самого серця свого мертвого тила та й замовкла. И такой жаль узывъ Господня посланника, що винъ схылывся надъ тиломъ удовыци та й самъ заплакавъ. Кинулися жиночки до тила—ажъ воно все сльозамы обмочене. Та й не высохлы ти сльозы, помы й поховалы: такъ янгольськымы сльозамы окроплени удовыцю и въ труну поклалы.

— Не судить, и не судыми будете!— додала до сього оповидання Хрыстя.

— Хиба я їи судыла? — обизвалася зъ серцемъ слипенька бабуса.

— А вже жъ, судыла!—мовыла Мотря.

— Дывысь ты—ще заведуться спорытись! Хай краще намъ бабуса ще що-небудь роскажуть. Я ось зроду у Кывиві не була, а тамъ же, кажуть, хороше!... Чы вы й сей рикъ булы у печеряхъ? —звернулася до богомильной бабуси Степаныда.

— Якъ бы то не була въ печеряхъ! Була и въ дальнихъ, и въ блыжнихъ, до кожного святого пидходила, до каждой труны прыкладалася. И чого не наслухалася, чого не набачылася за свою подорожъ—за ти часы, що побувала у Кывиві!—И любо було слухаты, якъ почала вона чыстымъ, якъ срибло, ривнымъ, якъ та течія у одлогыхъ берегахъ, голосомъ оповидаты про Кывивъ, лавру, кинецъ свита, праведныкывъ, мученыкывъ. Передъ слухачамы якъ на долони з'являлися й золоти верхы храмовъ Божыхъ, и стражданя Хрыста, й жыття праведныкывъ, и пекельни муки гришныкывъ. Мыръ-мыру людей збиралось у Кывивъ зъ рижныхъ краивъ, зъ рижныхъ земель, и ни одна звистка, ни одна новына або згадка про стародавню бувальщину, що прынесла ся жы-

ва течія богомольців, не зникла зъ пам'яты бабуси. Хвильна бигла за хвильною, година за годиною, а бабуся ще не переказала всього. Старшіи жінки почали вже куняты, молодши посунулись ближче до бабуси, але бабуся нічого не примичала и вела свою ричь все дали.

— Ку-ку-рику!—крыкнувъ старый пивень въ синяхъ.

— Ку-ку-рику! — обизвалося тонисинько десь якесь пизнехирятко.

— Матинко! вже други ливни спивають!—схопылася Мотря.

— Може вже й душа прылิตала, а мы прогледили,— заклопоталася Степаныда.

— Э, ни,— обизвалася Горпына, — я весь часъ дывылася на стину—не було нічого.

— То вы, мабуть, не догледили,- -мовыла зъ докоромъ слипенька баба.

— Якъ то можна—не догледила?—ажъ образылася Горпына,— хіба мени вперше душу стерегты? Аджэ якъ умерла Катря, то я перша прымитыла ляльку на стинци, а за Иваномъ тежъ устерегла муху, дарма що людей було, якъ у церкви.

— Та може вона й зовсимъ не прылетьтъ?—обизвалася Хрыстя.

— Якъ то можна? Чого бъ вона, хай Богъ мылуе, не прылетила?—здывувалася Горпына.

— Не схоче лялькою з'явтыся, то перекинетъся мухою; а вже неодминно прылетьтъ сьогодни,—мовыла богомильна бабуся.

— Не схоче мухою—жінкою з'явтыся,—додала Мотря.

— Э, ни! того, крый Маты Божа, Царыце Небесна, не буває,—завважыла богомильна бабуся.

— Якъ то не буває? А Ткаченкова? Цилисинькый рикъ, якъ не бильше, до дитей прыходыла.—Выйдуть,—росказувала мени сусидка Ткаченковой, божылася, що правда,—диты вранци прычисани, вымыти, нагодовани: „хто васъ чесаць, хто вамъ голивкы позмывавъ, хто вамъ пырогивъ давъ?“—пытають люде дитей.—„Маты прыходылы, чавунъ окропу нагрилы, голивкы намъ змылы, пырогивъ напеклы, локшыны наварылы“,—кажуть диты.

— Хай Богъ мылуе! Ажъ слухать сумно! То вже и нечыста сыла зъ того свиту таскала, а хрыстьянська душа тилькы у ляльку або муху обертаеця, та й то прылитае на одну хвильночку,—перепыныла Мотрю Горпына.

— Охъ, Господы! Якъ такы отіеи нещасной Тетянки шкода!—несподивано зитхнула слипенька бабуся.

— Чого іи шкодувати? Чы вона на своему вику щастя зазнала, чы вона хочъ одынь деньокъ спочывала?—запытала Мотря.

— Тымъ то и шкода іи, що вона померла, щастя та спокою не зазнавши. Не шкода, якъ помре така людына, що зъ долею браталася—не дурно іи на свить маты породыла, не дурно іи земля носыла. А якъ отсе мы, такъ якъ и Тетяна... для чого мы родылыся, для чого живемо, та ще въ мукахъ и помираемо?—запытала Степаныда Мотрю...

— Для царства небесного!—зъ певною вирую видповила за Мотрю богомильна бабуся. — Бидній людыни меньше спокусы, меньше прынады—меньше й гриха.

Степаныда мовчки похытала головою,—вона добре пам'ятала, якъ братъ іи кравъ колысь дерево у лиси, щобъ протопыты два дни нетоплену хату; знала тежъ, що колы бъ на той часъ трапывся карбованецъ у кышени, то винъ бы не наважывся красты,—але не насмила перечыты бабуси.

— Ничого Тетяны шкодувати: згорнула били рученькы, заплющыла кари оченькы—заснула, заспокоилася на вику... Макара та диточокъ-сыриточокъ дуже шкода,—обизвалася вперше за всю довгу ничку баба Кузьмыха.

— Звисно, Макара дужче шкода: въ одынь день збувся и хазяйкы, и хазяйствечка,—згодылася Мотря.

— Про хазяйку малый клопитъ: Столярыха—перша така, що хочъ и сьогодни замижъ. „Такъ вже,—каже,—обрыдло тымъ серпомъ жаты, що колы бъ де трапывся хочъ поганенькый косарь, то пишла бъ замижъ“. На хазяйку швидче розжыветься, нижъ на коривку. Такъ же шкода тіеи половенькой!—Наче на жаль выкохавъ іи Макаръ!—мовыла Горпына.

— Не визьме Макаръ Столярыхы,—обизвалася слипенька бабуся.

— Чому?—запыталы жиночкы.

— Погана дуже та ще й косорота,—видповила слипенька.

— Ого! якъ прыйде весна, та якъ гляне Макаръ на обмазану хату сусида, та якъ побачыть, що по всихъ гордахъ люде косять та сють, тилькы його хата-пустка чорніе, тилькы на його городи бур'янь зелене, то не то Столярыху—вась радо посва-тае!—засміялася Степаныда.

— Ты вже якъ ляпнешъ, то й пальци знать! Наче вже за мене й поганійшыхъ нема! Подывыся въ воду на свою вроду!—образылася бабуся.

— Та я пошуткувала, вони...

— Ось цытѣте, жиночки!—спыныла Степаныду богомильна бабуся,—слухайте: десь муха гуде...

Вси замовкы видразу та стали прислухатись.

— Не чутъ ничего. То васъ, мабуть, кортыть кануну швидче скоштувати,—обизвалася спросонку Кузьмыха.

— Ще бъ и ты почула! Трычи объ стилъ носомъ клонула, ажъ луна по хати пишла, та ще бъ муху устерегла!—мовыла Горпына, пыльно прыдывляючысь до кутньої стинкы.

— Он-но-о муха! На канунъ сила!—показала Хрыстя.

— Погукай, Степаныдо, Макара з-надвору: винъ тамъ гомонить зъ чоловикамы,—мовыла Горпына.

Степаныда грюкнула синешнымы дверыма, и Одарка схопылася.

— Вставай, Сыдорко! Душа ненькы прылетила; вже на кануни сыдыты!—стала вона будить брата.

Сыдорко пидвився, почухався и знову юркнувъ пидъ рядно.

— Сыдорко, а Сыдорко! Ненька прылетила! Сыдорко, вставай!—на-пивъ зъ плачемъ сипала Одарка брата.

— Ось не займай, дочко, дытыны,—хай йому святи янголы сняться! Иды сама сюды та подывыся на душу своеи матинкы риднесенькои, — звернулася до Одаркы богомильна бабуся. — И рада бъ ненька до васъ, диточокъ своихъ, прыпасты, и рада бъ чаечка своихъ чаенятокъ обняты, та не ии воля, не ии сыла. Обернулася вона мухою, прылетила на хвылыночку, та й полетыть вона знову одъ своихъ сыриточокъ. Ставай, дочко, та молись Богови, щобъ святи янголы ий до престолу дорогу показувалы, а святи арханголы за ии гришну душу передъ угодныкамы Божымы заступылыся.

Жиночки перехрестылыся, а Одарка стала поручъ зъ бабусею быть поклоны.

Увійшовъ Макаръ, за нымъ у слидъ два чоловикы. Вси взяли по ложки кануну. Муха перелетела на пироги, и вси взяли по пирогу: на яку страву сидала муха, тией стравы й почыналы зразу. Вся страва була добре прыправлена, до того й часъ бувъ пизній, и жиночки вечерялы смашно; Макарови жъ не йшло зъ

головы, що винъ пройдае тельчку, и винъ ледве навить прыгубывъ чарку.

— Не журься, Макаре! Не сумуй! Не тилькы свиту, що у ви-конци: ось, дасть Бигъ, одбудемо сороковыны, то й засватаемо тебе. Тоби зъ дитьмы безъ хазяйки не можна, а у насъ ѳе недалечко пидхожа жинка: чы попраты, чы помыты, чы на поли роботы—за дви Тетяны вправыться,—мовыла Горпына.

— Тетяна, царство небесне, останними часами зовсимъ неспособна до роботы була,—додала Мотря.

— Два мисяци ни до холодной воды... Визьметься було хату выместы, та й то не подужае,—згодывся Макарь.

— То жъ то и ѳе! А Столярыху катъ не визьме!—завважыла Горпына.

— Про Столярыху ничего й казатъ—добрый робитныкъ!—пидхопылы чоловики.

Макарови прыгадалася низенька, гладка жинка, рокивъ сорока восьмы зъ маленькымы, навкосы проризанымы очыма, тонкымы, мицно сципленымы губамы, велькымъ горбатымъ носомъ,—серце ѳого боляче защемило, и винъ мымоволи тяжко зитхнувъ.

— Не до любви, чы що?—запытала ѳого Мотря.—Мынувъ, сердце, часъ перебираты,—беры, яку прыдеться!

— Не пиде вона за мене,—видповивъ хмуру Макарь.

— Пиде!—заспокоиы въ одынъ голось жиночкы...

А муха наче прогула останни слова: затрипала крыльцями, пиднялася пидъ саму стелю, загула-заплакала на всю хату, прыпала до голивкы сонного Сыдорка та й зныкла на вику невидомо куды...

1897.







### Иванъ Семанюкъ.

Семанюкъ Иванъ (псевдонимы—Марко Черемшына, Василь Заренко), сынъ селянина, побачывъ свить р. 1874 въ сели Кобакахъ надъ Черемошемъ, на Буковини; початкову освіту здобувавъ у сельськый школы въ ридному сели, потимъ до 13 року пастушывъ. Коли Семанюкови минуло 13 рокивъ його виддалы до гимназіи въ Коломыи; зъ р. 1896 вчытья у Виденському

универсытети. Пысаты почавъ Семанюкъ ще въ гимназіи; перше оповидання його „Керманьчъ“ надруковано р. 1896 въ „Буковини“; инши творы свои Семанюкъ мистывъ у „Дзвинку“, „Зори“, „Громадському Голоси“, „Л.-Н. Вистныку“ та иншыхъ галицькыхъ и буковинськыхъ выданняхъ. Р. 1901 товариство „Молода Украина“ въ Чернивцяхъ выдало збирныкъ оповиданъ Семанюка пидъ заголовкомъ „Карбы“.



### Святыи Мыколаи у гарты \*).



—\*—  
Пс-с-сть! уже йде!

- Куды?
- До насъ!
- Дье? \*\*)

\*) У гарты—въ росправи, пидъ арештомъ.

\*\*\*) Дье—скорочене—дьедю, дьыдю=батько.

— Пс-с-сть! Он-де вже на Прыймаковимъ перелази. Васы'! скоць ще на пидь \*).

— Чого?

— Накрый термиттямъ одежыну, прывалы каминемъ дошку!

— Вже прывалывъ.

— То скынь кожушыну, бо возьме...

— Ни, я втечу.

— Неня сховала опынку?

— Сховала?

— А яма якъ?

— Попеломъ прытрусывъ—не заздрить...

— Дье!

— Що?

— Дайте ще свій капелюхъ мени.

— На, тикай!

За ворынямъ \*\*) показала ся фигурка вся въ чорному вбранни, а на голови шапка зъ чорно-жовтою мотузкою на долишнихъ краяхъ и зъ кругленькымъ кгудзыкомъ на-переди. Кгудзыкъ выходить по-надъ ривне дно шапкы. Пидь ливою пахвою подовгаста кныга, въ правій руци букъ. За фигуркою йдуть два чоловики. Одынъ несе добру в'язку мужыцького плаття та одежи, другый голиручъ.

— Дома Курыло Сивчукъ?

Тыша...

— Курыло Сивчукъ дома?—голоснійше крыкнула фигурка.

— Чому бы не дома, проше ласкы божей та й панської,— озвався зъ низенькои, майже безвиконной хаты хрыпльвий, прыдушный голосъ. Слидомъ за тымъ скрипнули чорни, закурени двери й выпустилы на двиръ чоловика середнього росту. Його худе, поморщене лыце, кучма нерозчесаного волосся, сухоребри груди, що ихъ не обіймае собою темна, латана сорочка, вытерти, червонясти холошни й худокости, боси ноги говорылы самы за нього, що винъ йе. Винъ не потребувавъ представлятыся На його станъ зложылыся вики нужды й вып'ятнувалы на ньому грубымы буквамы—мужыкъ.

---

\*) На пидь—на горыще.

\*\*) Ворыня—огорожа.

— Я дома, проше ласки божи та й...—повторявъ Курыло Сивчукъ, схиляючыся внызь.

— Чому не видываешся, якъ тебе клычуть?—сердыто спытала фигурка.

— Та якъ же ни? Я дома проше ласкы...

— Будемо тебе забираты за податокъ.

— Що жъ дѣяты, проше яснога пана та й здыкуторы.

— Худобу маешъ?

— Маржынкы дасть Бигъ, проше пана! Вже давно не кушалы-смы скоромы.

— Що жъ маешъ рухомого?

— Хоромы!?) Эй де! Хоромивъ нема, проше пана, штыри голи стини та й по всьому. Бидно ся дѣе, пышный та годный та чесный панчыку!

— Брешешъ!... Присяжный, ходимъ до середыны!

— Або жъ я спыраю ласкавого пана?

Панъ экзекуторъ штовхнувъ пальцею въ двери, що до половыны вже булы видчынени. Двери заскрыпили й видхылыльсь ажъ до самой стини. Экзекуторъ зигнувся и переступывъ поригъ, за нымъ увйшовъ присяжный, а по-заду Сивчукъ. Другый присяжный лышывся изъ своею в'язкою на двори й прылагоджувавъ посторонкы на новый пакунокъ.

— Де жъ твои ричи?—пытавъ невдоволенный экзекуторъ.

— Бидно ся дѣе, ясный та добрый панчыку, штыри стини та й... Самы здорови выдыте, Богъ бы вамъ давъ панування!

— Я ничего не выджу.

— Га! ничого жъ бо й выдиты панськимъ счамъ: беда та й клопить!

— То твоя жона?

— То, проше ласкы пана, жинка.

Курылыха Сивчучка, що доси стояла неповоружно въ чорной сорочци безъ опынны, поступыла одынъ ступинь блыжче идъ чоловикови й заглянула на-скисъ экзекуторови въ очи.

— Ничого нема, файный та добрый панчыку, безъ опыночки ходжу.

— Таки нема ничего, хочъ гынь,—додавъ Сивчукъ.

— Де жъ вы спыте?

---

\*)Хоромы—сины

— Шануючы чесну голову панську та й святи образы та й нась хрещеныхъ, мы спымо на земли, а диты на лавыцы.

— На чимъ спыте?

— Такы на земли.

— А подушкы де?

— Га! Подушокъ дасть Бигъ, на кулацы спымо.

— Брешешъ.

— Те, що очи выдать, то йе; я не заважаю шукаты.

Экзекуторъ пройшовъ скорымъ ходомъ по хати и стукнувъ пальцею въ одынь, другый и третій кутокъ. Винъ бачывъ, що йому нема що звидсы взяты: пидъ передню стиною довша дошка на трьохъ стовпцяхъ—то лавыця; пидъ прымежнюю стиною коротша дошка на двохъ стовпцяхъ—то „стиль“; на середыни хаты яма на ватру\*), прысыпана попеломъ—то пичъ. Бачывъ се добре, але зъ прывычки „шукавъ“. По хвылынцы зупынувъ винъ свій поглядъ на стини, що пидъ нею стоявъ „стиль“. Тамъ высивъ образъ. Тло його чорне, закурене, тилькы темно-жовтовати пасмужкы нагадувалы лице, голову и ясність надъ головою якогось святого. Одни лышень рямы, що выдко выйшлы з-пидъ майстерського гуцульського долота, додавалы йому повагы и прыманювалы око. Сивчукъ уздривъ, що „панъ“ вдывлюється въ образъ, и почухався въ голову.

— То я ки сь кáвалъ балва на,—пробуркотивъ самъ до себе экзекуторъ.

— Ни, проше пана, то не Палагна, то святой Мыколай.

— Але рямы ладни.

— То ще мій прадидъ ихъ ризьбывъ.

— Звидкы ты маешъ той образъ?

— То такы, проше пана, зъ дида-прадида.

— Присяжный! Здіймы той образъ!

— Та якъ же се, панчыку? Спадайте на раны божи, лышитъ святого,—просывъ Курыло.

— Спадайте на раны божи, пышный та файный пане здекутору, комисарыку нашъ любый!—голосыла Курьльыха.

Присяжный не ждавъ, знявъ хутко образъ и вынисъ на дзиръ. Тилькы порохъ закурывся и павутыннямъ обведений простокутныкъ лышывся на тому мисци, де стоявъ образъ.

---

\*) Ватра—огныше.

— Та якъ же безъ образа въ хати, проше ясного пана?—падъ-  
кався Курыло.

— Не осоружте намъ хату, комисарю чесный, — заводи́ла  
Курылыха.

— Шкѣда гадання! Ще й хата пиде на лицитацію, якъ не за-  
платышь податку; я права не скасую,—грымнувъ панъ экзекуторъ  
и выйшовъ на двирь.

— Присяжни! До Грыця Саина!

Пишлы...

На двори вже добре вечорило, колы Курылыха Сивчука зъ  
маленькою донькою Аннычкою роскопувала середъ хаты яму й  
выдобувала зъ неи „начиння“: два глыняни горшки, п'ять де-  
рев'яныхъ ложекъ, стилькы жъ червонястыхъ мысочокъ и куле-  
шыныкъ. Юрко видвалывъ каминь зъ прыгнылой дошки на даху  
и вытягавъ изъ поду одежыну та подававъ Васылькови й Пет-  
рыкови, що бигцемъ заносылы ии въ хату.

— Вже все, Васыльку?—пытавъ батько сынка, котрому пода-  
вавъ постолы зъ онучамы.

— Все, дьедыку! вашъ сардакъ та й сорочка, ненынъ киптаръ,  
опынка та й сорочка, наши кожушыны та й сорочечкы, обидви  
веритци,\*) вузлыкъ муки, бербенычка зъ огиркамы, Аннычына  
хустка та й ваши, ади, постолы.

— Йды жъ прынесы воды на кулешу, а я врубаю дровъ зъ  
Петрыкомъ.

— Добре, дьедыку!

Тоди, якъ багачъ Прыймакъ выдойивъ своихъ шистъ овецъ  
и нисъ въ дѣйныци скоромъ до хаты, сыдили його сусиды Сив-  
чуку за столомъ та й дойидалы гарячу кулешу и мысочку огир-  
кивъ, а середъ хаты дотливало въ ями вугля.

— Нене, я пиду спаты, прокажить „оченашъ“,—просыла малд  
Аннычка, що найившысь дримала пры столи.

— Вклякны, сынку, та й склады ручкы.

Аннычка клякнула, зложыла ручкы й пиднесла свси оченята  
до-горы въ те саме мисце, де стоявъ доси образъ. Тамъ була го-  
ла стена. Вона повела оченятамы по всихъ стинахъ, а обреза

---

\*) Верета—рядно.

не знайшла. Допытлывымъ поглядомъ дывылась вона нени въ очи,  
а потимъ проговорила жалисно:

— Ненько! Де святой Мыколай?

Васылько й Петрыкъ глянулы на стину й соби заголосылы:

— Дьедыку, ненько! де святой Мыколай?

Важко вчынылося Юркови; винъ споглядавъ на жинку, а  
жинка споглядала мовчкы на нього. Зитхнулы тяжко и видповилы  
дитямъ обое разомъ:

— Святой Мыколай у гарті!

— Взявъ здекуторъ?

— А якъ же, небожата—Святой Мыколай у гарті!...



## Жиба даруймо воду!



Тому, що добра була покійнычка, справивъ Тодосій Кузьмакъ обидъ за неныну душу въ четверъ, умысне въ скоромный день. Прийшли сами газды. Не хапалыся до-дому, харчувалыся, то молылыся, то згадували небижку добрымы словамы, то зновъ харчувалыся и говорылы „оче-наши“ такъ ажъ за полуденокъ. Саме теперь выйшли на толоку, поставалы та балакають, але вже не про небижку; голосно балакають, видай и сердыто. Може й посадають соби тутъ на смерековыхъ колодахъ, а може й ни. Въ недилю сходяться вони тутъ звычайно и сыдятъ та й такъ балакають. Сьогодни булы на обиди, то такъ якъ бы недиля, весь день пиде. Ни, такы й не збираються сидаты, вымахують рукамы и що-разъ голоснійше переговорюються. Чогось таки сердыти...

— А то, бигме, ока яніе: теряй робитныка зъ хаты, купуй таблыци та ры с а кы, плзты штрофъ, та й ще воды не пый,—ремствувавъ Илашъ Бокатій.

— А я вамъ що казавъ, якъ ще лышень зачалы булы класты отту гамарню, остатня бъ имъ зъ нею година!—прыповидавъ сердыто Штефанъ Прыськивъ.—Га-а? Я не казавъ: не даймо грунтъ, най соби на вулыци кладуть школу? Ну, а теперь яка клопоція? Обигнатыся! Лишень штрофъ, та й штрофъ, та й штрофъ!

— Ще якый штрофы!—доповивъ хтось зъ гурту, що прытакувавъ бесиди розлюченыхъ бадикивъ \*).

---

\*) Бадика—голова въ сем'и, господарь.

— Тагы останню сорочку зъ тебе здеруть, якъ не заплатышь!—  
крычавъ Илашь.

— Сѣдухы зъ тебе выженуть!—перебывъ Штефанъ Прысь-  
кивъ.—Отъ май генъ-тамъ мій Андрийко, а то дытына, знаете,  
куме Ила', ледве видъ земли виросло...

— То такы прыземокъ,—перехопывъ гуртъ.

— Ну, то выдыте, ото якось я вытисую соби скворыни, а та  
прымха звычайно, якъ дытына: де не посады, тамъ выросте,—вхо-  
пыла мени з-пидъ руки нижъ та й ну майструваты. Я черезъ  
часъ обзыраюся: нема ножа та й дытыны нема. Агій, гадаю соби,  
яке мале, а яке спрытне. Йду по-за обирныкъ, а воно сыдыть  
скулене коло довбни, нижъ на земли, а саме вамъ таке на твари,  
якъ чесане полотно.—Мой, хло', що тоби таке?—кажу, а воно  
ничого. Я глыпъ—авъ нього сорочечка кровависька.—А се видкы  
кровь?—кажу, а воно ничого, лышь блиде та й блиде. Хапъ я  
його за руку, а на руци вамъ плесо: кровь та й кровь та й  
сама кровь. Рахую пальци, а пальцивъ на руци п'ять безъ  
одного.

— Порубалося!—пидкынувъ Илашь.

— Най ся пречъ каже, порубалося!—повторывъ гуртъ и по-  
кывавъ головами.

— Такы пры самій долони, якъ бы видмирывъ, бо то, вважае-  
те, нижъ гострый, а въ дытыны кистъ яка? Шахнувъ разъ, та й  
палець видлетивъ!

— А якъ же—то жъ якъ храбусть\*), крый, Боже, лышень  
видъ прыгоды.

— А я соби миркую: быты биду, чы не быты? И одно жаль, и  
друге не добре, бо то, вважаєте, такъ якъ свое тило. Беру я та  
й нибы сварю, а самъ соби думаю: „слава Господеви, не буде зъ  
тебе ни шкильныкъ, ни жовниръ!“

— Добра прыгода лучылася, хочъ бы й мому Фылыпкови така!—  
сказавъ Илашь

— Йй, най Богъ крые, бадику Илаше, васъ видъ усякою пры-  
годы та й усихъ насъ хрещеныхъ!—протестувавъ руками прызем-  
куватый Юрко Бросюкъ.—А якъ бы такъ бувъ видтявъ соби ру-  
ку, та й годуй калику циле жыття?

---

\*) Храбусть—молоде лыстя капусты.



Одни зъ гурту прытакували Юркови, а други невгавно слухалы Штефана, що оповидавъ дальше:

— Спынывъ губкою дытны кровъ, видшукавъ у термитю палець та й несу його до профецьрки, най дывтыся.—„Я прышовъ, кажу, замендуваты вамъ, пани профецьрко, що мій Андрійко вже до школы не ходытyme.“—А вона каже:—Яки вы, чоловіче, дывни, та то вамъ липше, якъ ваша дытна буде знаты лумара. Теперъ скризъ треба пысьма, а у війську щбб буде робыты вашъ Андрійко?—„Ни, кажу, мій Андрійко не пиде до війська.“—Або вы знаете, чы не пиде?—„Знаю,“ кажу.—Тутъ усмихнувся Штефанъ Прыськивъ такымъ усмихомъ, що малюе на лыци вдолення зъ самого себе.

— Бодай васъ, бадику, неволя втяла, яки вы смишни!--прожартувавъ де-хто.

— Такы знаю!--кажу, та й вытjагаю Андрійкивъ палець.—А дывиты!--А вона вамъ глыпнула та й сторопила. Поблидла та й ани дыхне.

— Эй, бадю, зумылася!--задывувався Илашъ.

— А теперъ,—кажу,—знаю, чы не знаю?

Штефанове лыце роз'яснылося дужче видъ усмиху, а права рука пиднеслася вгору, наче бъ такджъ дожыдала видповиди на завдане пытання. На лыцяхъ згуртованыхъ бадикивъ промайнувъ тежъ легкий смихъ.

— Идить геть, чоловіче,—каже вона мени кризь сылу. Такъ недобре їй стало. Кынувъ я їй палець, пишовъ до хаты та й ничого день, ничого й другый, и тыждень ничого. Ажъ позавчора сыжу соби въ хати та кручу налыгача, а то рыпъ—входыть здекуцыйныкъ.—Платы, каже, за хлопця штрофъ, або забираемо!

— Эй падочку, а то, бре, погана душа подала на штрофъ!--сердыто видгукнувся Илашъ вразъ изъ гуртомъ.

— Тыфу на таке, кажу, таже мій Андрійко видрубавъ соби палець.—То ниць, каже, най соби про мене ногою пыше; платить! Я вже розлутывся та й кажу:—То якъ то, школа вже старша видъ війська?—Старша чы не старша, платить,—каже. Беру я та й платю, абы не грабувавъ.

— То не йе одлукъ права; нашъ найяснійшыи тато не давъ таке право,—зъ цилою певнистю доказувавъ обуреный Илашъ.

На його чоло набиглы зморшкы; то не таки зморшкы, що хвильово выступають на погідному ривному чоли пана, колы винъ сердтыся на свого слугу за невадату услугу, а таки соби прости своєридни зморшкы мужыцького чола.

— Мой, безпалького й до війська не возьме, не то до школы,—крыкнувъ Семень Дранчукъ.

— Лышь глыпне, махне рукою, та й—пашовъ, каже, кулешу йисты!—додавъ Грыць Клымивъ.

— То не по правди, куме Штефа!

— То драча, куме Ила!

— Драча! драча!—видгукнулысь бадикы.

Де-хто затыснувъ кулакъ и мовъ бы намирявсь ударыты спильныкивъ тои „драчи“, де-хто сплеснувъ въ долони и заломлювавъ руки. А Илашъ лютувавъ дали:

— Або то по правди, що въ мой керныци воды нема, видколы у школи выкопалы керныцю? Сьогодни йде моя Палагна воды набраты, а то сухо якъ на прыдилку. Миркуйте соби, люде!...

— Та то й у мене такъжъ вода десь пропала!—крыкнувъ Илашъ.

— И въ мене, и въ мене нема воды, и въ мене!—повторялы бадикы.

— А хто жъ закравъ намъ воду, якъ не школа? Доки тамъ не було керныци, то вода скризь була. А то собачи бештыфранты \*) примостылы якусь зализну каблуку, що лышь посипай, та й уже дэюрыть вода изъ усихъ жылъ.

— Школа закрала намъ воду!—гукнувъ Илашъ.

— Школа закрала намъ воду...

— Мой, люде добри, а мы сьому терпимемо? Богъ давъ воду для всихъ, не лышь для школы. Засыпмо керныцю коло школы, за се права не буде!

— Такы такъ, що не буде!—загувъ гуртъ.—Ходимъ, засыпмо та й уже. Най пье кровъ з-пидъ нихтивъ. А то, бадю, навить воду намъ укралы, мой бре, воду намъ укралы!...

На-сампередъ выкопався зъ гурту одынь бадика, пройшовъ люто килька ступнивъ, спынився, оглянущя, чы не йдутъ за

---

\*) Хытруны, майстри.

нымъ инши, и гейбы на зазывъ выкыкувавъ голосно: „Мой, бре, воду намъ укралы!“ За нымъ намирывсь другый, третій, четвертый и повторялы те жъ саме, оглядаючысь на иншыхъ. Нарешти рушылы вси зъ толоки й попрямувалы до школы.

Закымъ ще сонце пишло на видпочынокъ, зупынылось на одному гирському шпыли, такъ якъ зупыняється на порози маты, колы пры видходи въ далеку сторону прощається зъ своимы диточкамы. Його золоте проминня—то свитляни ныточкы, що прыдаються на нызанкы для мрїи палкои надїи. На ныхъ нанызують свои мрїи стари й молоди, багати и вбоги, паны й мужыкы. Кожному бажається иншой речи, тымъ и мрїи у всихъ не однакови. И соняшне проминня грае усякымы краскамы, що непомитно злываються въ одно чудове сяво. А мужыкови мрїи чорни; що жъ йому всюды дїеться кривда, тому й не выдко ихъ мижъ иншымы. Багацьки та панськи закрывають ихъ собою. Люде жъ знаютъ звычайно тилькы ясни, золоти мрїи.

Золотымы краскамы надїи любувалась молода учителька, що недавно спровадылась до сього села, въ котрому „шкильна керныця закрала людямы воду“. Вона зъ повнымъ энтузіязмомъ почувала гирку долю народа. Працюваты, невгавно працюваты для його добра и вчыныты його щаслывійшымъ—то була ии мета, ии идея. А мрїи? Мрїи стелылись золотымъ проминнямъ надъ тымъ самымъ риднымъ народомъ, але народомъ, що двыгнувся завдякы ии працы изъ тмы тьменной. Вони такъ и сяють передъ нею и ще дужче загривають своимъ тепломъ ии идею. И не прыгасають вони, а могли прыгаснуты. Темнота, яку розигнаты вона бажала, могла прыгасыты ихъ. Але вона знала свїй народъ и не попадала въ роспуку, колы зустринулась зъ його темнотою. Ии вважאות люде на сели своимъ ворогомъ, але те промыне. „Все те черезъ темноту“—думала соби. Не разъ доводылось ии видчуты наслідкы тои темноты: отъ недавно прыносывъ Илашъ видятый палець свого сына, якъ документъ на увильнення видъ школы—и вона зомлила була тоди. А Семень Дранчукъ жадавъ видъ неи волосся зъ головы, щобъ пидкурыты сына, що мовъ бы то перелякався ии въ школы,—але то марныця. Счезне темнота, а тоди опыныться вона въ ясній краини радощивъ. Тилькы працы, працы!

И вона працювала...

Сьогодні вона веселіша, ніж звичайно. Дити щебечуть на її питання, як молоденькі пташенята в лузі. Радіють дити і вона собі радіє. А сонце прощається з високого шпеля; заразь зайде і завтра вернеться, бо так мусить.

Наука скинчилась, дити помолылись, але не квапляться додому, як кожного дня. Нибы шапокъ шукають, нибы пани учительци ще щось сказаты хотять на видхиднимъ.

— Прошу пани,—промовывъ несмило Фылыпко Бокатій,—намъ тутъ такъ добре, що и йты не хочеться!

— Дуже красненько, дороги диточки!

— Пани дуже добри,—проговорылы вси разомъ.

— Прошу пани,—говорывъ дальше несмильвымъ голосомъ Фылыпко,—прошу пани, чы я буду попомъ?

— Будешъ, сынку, лышь слухай мене такъ дали,—видповила зъ усмихомъ учителька.

Фылыпко почервонивъ, кынувся цилуваты руки учительци и вийшовъ, а за нимъ те жъ саме робылы и йго товарыши.

Учителька стала у викни и споглядала радисно за дитворою. Передъ нею выступылы її мріи, що стельылись на соняшнимъ проминни, але ихъ перервалы на хвылыну невыразни, хочъ голосни крыкы громады, що саме надходила.

— Засыпмо, такы засыпмо... права не буде... нашъ найяснійшый тато...—крычалы люде одынъ напередъ другого.

Учителька не чула сливъ, чула тилькы голоса; ій здавалось, що се батькы йдуть звидкысь-то пидохочени. Такъ не разъ бувало.

Дитвора побигла на зустрічъ крыклымъ бадикамъ. Звисно, диты—цикави. Але крыкы прытыхлы, бадикы зменшылы ходу.

— Дьедыку,—лебедивъ Фылыпко, прыгортаючысь до Илаша Бокатія,—мени казала пани, що я буду попомъ!

— Дьедю, дьедыку, вамъ прыйшовъ фирлидунокъ; стоить такъ, що Штефанъ Прыськывъ мае терминъ на п'ятницю, видъ завтра за дви недилы,—роповидавъ безпалькый Андрийко.

— Дье, дьедю, завтра прыйдуть до насъ пани; казалы, що прынесуть лыкы нашій Настуньци,—щебетавъ маленький Петрыкъ Бросюкывъ.

— Дье, дье, дье, дье, дье...—загомилы диты, що зрадилы, зустрившы своихъ батькывъ, и дилылысь зъ нымы своїмы радошамы.—Наша пани така добра!..

А батькы? Вони стали, якъ не ти. Позырала то на дитей, то на себе, то спльовувала, то чухалась по-за вуха. Самы не зналы, що робыты; вони засоромылись.

Учителька, побачывши ихъ такымы супокійнымы, жалувала, що передъ хвыльною въ думци судыла ихъ, буцимъ то вони пидохочени. Жалкувала и веселійшала.

— Се, куме Штефа', то... то... хиба... даруймо?—видизавсь по хвыли замаруджений Илашъ.

— Та я такъ же такъ миркую, куме Ила'!

— А якъ же, а якъ!... бигме, даруймо! — говорывъ Юрко Бросюкъ.

— Такы такъ, що хиба даруймо воду!—озвались други.

И безъ прощання стали скорійше росходытись зъ дитьмы, кожний у свій бикъ—та й кланялись нызенько учительци, що стояла у викни и дальше снувала свои мріи.





### *Василь Стефаныкъ.*

Стефаныкъ Василь, сынъ селянына, на свить народывся въ мисяци квітни р. 1871 въ сели Русови, повіту Снятынського, въ Галыччини; до гимназіи ходывъ у Дрогобычи, а вышу освіту здобувъ на медычному факультети Краківського университету. Перши оповидання Стефаныка надруковано р. 1897 у „Праци“, що выдававъ Будзыновський у Чернівцяхъ; р. 1899 заходомъ проф. Смаль-Стоцького выдано

въ Чернівцяхъ першый збирныкъ творивъ Стефаныка пидъ заголовкомъ „Сыня книжечка“, що мистыть 15 дробныхъ оповидань; р. 1900 у Львови выдано збирныкъ „Каминный хрестъ“, р. 1901 новый збирныкъ „Дорога“. Опричъ того Стефаныкъ друкуе свои оповидання въ „Л.-Н. Вистныку“ та иншыхъ выданняхъ украинськихъ въ Галыччини й на Буковини. Творы сього молодого пысьменныка звернули на себе загальну увагу уминямъ, якъ каже проф. Смаль-Стоцький (передне слово до „Сынои книжечкы“), „килькома рысамы-словамы вызначты дуже рельефно контуры образа, освітыты особы, показаты ихъ душу, надаты цилости настрій“. Де-яки зъ ихъ перекладени на мовы немецьку, польську, російську то-шо.

Литература: Леся Украинка — Малорусские писатели въ Буковинѣ (Жизнь, р. 1900, кн. IX).



## Мамынь сынокъ.



суботу рано выбигла Михайлыха за поригъ хаты й заговорила до себе дзвинкымъ голосомъ:

— Ба, не знаты, де хлопецъ подився? Десь воно ландае\*), десь воно нышпорыть по двори, якъ курка. А ну, чы ты бь його вдержала у хати? Счесала

бы хлопця, та й нема.

За хвылю пишла вона до стодолы подывытыся, чы коло Михайла нема хлопця.

— Ото, въ тебе такожъ розумъ?! Не наженешъ хлопця до хаты, але коло себе трымаешъ на студени. Ходы, Андрійку, до хаты, то дамъ яблуко таке червоне, що ажъ!

— Не йды, дурный, бо мама бреше; мама хоче чесаты та й дурить тебе,—сказавъ и зареготався Михайло.

— Сей чоловикъ, бигме, выстаривъ розумъ! Таже дытына отутъ замерзне коло тебе. Не слухай, Андрійку, дьыди, бо дьыдя дурный, але ходы до хаты, а я тебе счешу, та й дамъ булку та й яблуко. Ая!

— Колы вы не дасте...

— Ходы, ходы,—бигме, дамъ!

Та й взяла за руку й повела до хаты.

— Я тебе файно вымыю, вычешу, а завтра пидешъ зо мною до церкви. Мама таку фӑну сорочечку и поясокъ дастъ.

\*) Ландаты—вештатыся.

Вси будуть дывытыся та й казатымутъ — „ади, якый Андрійко красний!“

— А яблуко дасте, ма’?

— Дамъ, дамъ—багато!

— А булку?

— Та й булку...

— А до церкви озмете?

— Озму, озму...

— То чешить.

И мама взяла мыты голову Андрійкови. Цяткы воды спада-лы по-за комиръ, и Андрійко ледве вытрымувавъ, абы не плакаты.

— Тыхенько, тыхенько: мама такъ файно вымые, вымые! Лыч-ко буде, якъ папирчыкъ, а волосся таке, якъ льонъ. Надъ уси хлопци будешъ найкращый!

— Колы бо кусае...

— Мама геть вычеше, ничего не буде кусаты. Такъ легенько буде, що эй, де!

— А якъ вычешете, та й дасте булку та й яблоко та пусты-те на двиръ?

— А що жъ, уберу тебе та й пидешъ геть далеко, геть, геть...

— Добре, я пиду до вуйныного \*) Ивана.

Мама Андрійка вымыла, взяла на колина й чесала.

— Ма’, а коло дьыди йе кить, та й такихъ мышей ловыть та й душыть.

— Бо мыши зерно трублять та шкоду роблять...

— На що шкоду?

— Абы не було що молотыты та й молоты.

— А що жъ вони йидять?

— Таже зерно...

— Якъ?

— Э, зъ тобою не договорывъ бы ся... Треба, абы тебе дьы-дя у-вечери пидстрыгъ, бо, ади, яке патлате волосся.

— По-парубоцькы, ма’?

— А якъ же, та-же ты у мене парубоцькы. Та й выдышь, що вже, а ты не хочешъ никола даваты чесатыся. А ну лышь подывы-ся въ дзеркало, якъ файно?

---

\*) Вуйко—дядько, вуйна—дядына.



Андрійко выглядавъ якъ скупаний; волосся спадало маленькымы бильмымы нывкамы на чоло й шыю; очи булы сыни, а губы червони. Мама дала йому яблуко й булку, винъ сховавъ у пазуху.

— Я хочу до вуйны.

— Упередь з'ийжъ яблуко та потимъ пидешь, бо хлопци виднимумть.

— Я не покажу. Хочу до вуйны.

— То йды, про мене.

Вбрала його въ чобитки, въ свою кожушынку, въ тативъ капелюхъ та й пустыла на двирь.

— А дывыся—абы-сь упавъ, та й буду быты...

Сила въ хати шыты.

— Не бійся, такой мудрый, якъ старый. Не мавъ бы ся въ кого вдаты! Выкапаний Михайло. А заразъ упомынається заплааты за чесання...

И мама всмихнулася и шыла дали.

— Абы здоровъ рисъ та чемный. Мае тры роки та й геть очена шу берется. Такой старогрецький\*), а такой пустій, що хату до-горы ногамы перевертае. Такъ не разъ допече, що мусышь быты. Якъ бы не бывъ, та й ничего бъ зъ нього не було!

Пидняла голову, глянула у викно.

— Се вже въ полудне, а Михайло ще не входить полуднуваты. А хлопця нема: десь певно чыпыть на снигу та й кашлятыме...

\* \*  
\*

У-вечери сыдивъ Михайло на лави тай державъ на колинахъ Андрія. Вогонь палахкотивъ у печи и освитлювавъ хату червонымъ свитломъ. Михайлыха сыдила передь пиччю та варыла вечерю.

— Ты зійшовъ, старыкгане, на дытячий розумъ; та лышы дытynu въ супокою, не пидкыдай нымъ, якъ гарбузомъ... Иды, Андрійку, до мамы!

— Колы я не хочу.

— А ты чый—дыдивъ, чы мамынь?—пытавъ Михайло.

---

\*) Розумный.

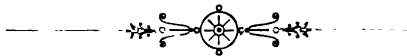
- Дыдивь...
- А кого бытымешъ?
- Маму.
- А ты пидвіяный!... Та я тобі яблука та булки даю, а ты мене бытымешъ?
- Дыдя тобі купыть багато яблукъ, бо ты дыдивь...
- Ой, чы не сей дыдя тобі купыть? Ты бѣ никола не выдивь ничего.
- А ну лышь покажи, якъ ты йихатымешъ у вѣйську на кони? Хлопецъ сивъ на порывачъ \*) и брыкавъ по хати.
- Дѣста, дѣста, Андрійку! На тобі соломку та пинку зъ молока збирай.—Андрій опынывся коло печи й збиравъ пинку.
- Мо, Андри', а ты що купышь мами?
- Червони чоботы.
- А дыдыдови?
- Дыдыдови ничего не хочу.
- Файный сынокъ мамынъ!
- Мыхайло взявъ його зновъ на колина.
- Ты якъ называешся?
- Андрій Космынка.
- А хто ты йе?
- Луськый \*\*), радыкаль.
- Добре а куды ты пойдешъ?
- До Канады.
- На чимъ пойдешъ?
- На такій шыфи \*\*\*) , якъ хата велькій, такымъ моремъ шырокымъ, шырокымъ, геть, геть...
- А дыдю озмешъ зъ собою?
- Озму дыдю, та й маму, та й Ивана вуйныного та й геть пойдемо...
- Йды, йды, не зицируй \*\*\*\*) хлопця та не беры на акзаменъ, бо ще засне безъ вечери.
- Але помиркуй, якый хлопецъ мудрый,—геть все знае!

\*) Порывачемъ загрибають попелъ въ печи.

\*\* ) Руськый — украинскый.

\*\*\* ) Шыфа (немцеьке Schiff)—корабель.

\*\*\*\* ) Зицируваты (немцеьке exezzieren)—муштруваты.



## Катруся.



къ Катруся приходила до пам'яты, то мама сидала коло неи й жалибно говорила:—Катрусє, докы ты, небого, маешъ слабуваты? Гроши мынулись, другыхъ заробыты не заробышь, хочъ бы-сь и пидвелася. А я повидносювала гроши по ворожкахъ. Та й зъ того нема нѣякои корысты. Правда, ворожка вгадала за все, якъ дома діеться, яка тоби биль, але кориння ничого не помагає. Видай тоби такы нема выходу...

Катруся лежала нерухомо. Водыла сухенькою рукою по твари. Сыни нигти булы, якъ ии сыни очи й здавалося, що по лыци вандрує багато сынихъ очей, дывныхъ, блыскучыхъ. Всиматымы очыма Катруся глядила на маму и потакувала на ии жалибну мову.

— Ой нема, бидный свите, нема! А дыдя геть зжурывся. Заходьть у голову, чымъ тебе поховаты, якъ умрешъ? Колы на тебе подывыться, та й чорніє зъ журы. Мы, Катрусю, геть зъ усього выйшлы. Муку на дни лышь трошки, зерна й одного нема коло хаты та й зломаного крейцаря нема. Якъ бы-сь умерла, та й бы-мъ стали якъ середъ воды. Колы бъ тебе Богъ хотъ до осени додержавъ... Эй, дивко, дивко, то-то-сь себе та й насъ зневолыла!...

Мама взяла Катрусю чесаты.

— Ты такъ страшно горышь та такъ кашляешъ, що най Богъ сохраныть! А ни дранку натягнуты на тебе, а ни роччесаты, а ни вымыты... Боже, Боже, якъ мы гиренько мучымось! Просю Бога, абы-мъ половины тои муку на себе перебрала, та й не можу допросытыся.

Сльозы мамыни капалы на Катрусыне волосся и пропадалы, якъ вода у писку.

— Що то зъ тебе зробылося? Така-сь була годна, така робитныця, шо на все село! Ажъ намъ душа радувалася: гадалы-мъ, шо намъ лекше стане из-за тебе, а то, ади, яке лекше! Колы бъ хоть шо йисткы доброго, а то мы в'янемо на барабули, а ты такы гынешъ. А трудно ходыты вже по хатахъ за молокомъ,— вже-мъ стилькы находылася, шо теперь нема якъ лыця вказуваты.

Мама заплитала косу.

— Не знаты, на шо я квитокъ тоби накуповала? Увалыла-мъ два левы \*) якъ у болото. Вже видай я тебе у ти квиткы на смерть уберу...

Заплакалы.

— А ну лышъ дайте—я подывлюся на ныхъ.

Мама дала Катруси квиткы сыни, били, зелени, червони.

Катруся передывлялася ихъ, лыце ии слабо усмихалося, а сыни, били, зелени, червони блескы блукалы по облыччи.

— Дай сюды, борзенько,—ади, дьыдя йде та скаже, шо тоби ще у голови дивоцтво..

\*  
\*\*

Катрусю поклалы на визъ, абы везты до ликаря. Мама плачучы пидкладала йй подушку пидъ головы.

— Бодай я вже не дочекавъ васъ дохторуваты! Кобы-сьте поздыхалы, то бы-мъ разъ поховавъ та й збувся!

Батько державъ вижкы видъ однокинкы и ажъ чупрыну соби смыкавъ одъ злосты.

— А ты, розпадныце, пам'ятай, шо якъ я гроши задурно по докторахъ розсію, то й тоби аминь зроблю! Я тебе безъ доктора поховаю, я тоби буду дохторъ. А видкы жъ я наберу на васъ на дохтори, на аптыкы та на дидька рогатого?! Та мій мозыль не годець сьому вытрыматы, ой, не годець! Наймывъ-емъ фиру, та липше вже видвезты на могылу та вывернуты та й збутыся. Боже, Боже, шо се на мене найшло сеи дныны!... Ну, ганцыго, кипай тымы безклубымы бокамы!

---

\*) Левъ—золотый рынський, гульденъ (монета).

Потягъ коняну батогомъ та й выйхавъ за ворота.

На улыци Катруся цикаво розглядалася. Видъ осены багато новынъ настало. Вуйко Семень загородывъ плитъ, старый Мыколай пошывъ на-ново стодолу. Катруся забула и за сварку татову, такъ роздывлялася на вси боки. На поли люде оралы, сіялы. Жайворонки надъ нмы спивалы. Чорна рилля розсыпалася пидъ сонцемъ.

Катруся почервонила и все соби гадала:

— Маю въ Бози надію, що пидведуся, що ще весны не стра-  
тлю. Заразъ такы найду соби роботу... Боже, Боже, найды мени  
ликъ!

Певна була, що весны не стратыть. Тато сыдивъ на переди  
и довго мовчавъ. Врешти почавъ говорыты.

— Ади, днынка якъ золото, а ты ходы по докторяхъ!

Винъ звернувся до Катруси:

— Скажы ты мени, дивко, щѡ я маю зъ тобою роботы? Ле-  
жышь та лежышь, та й нижыття ни смерты. Я грошей набираю  
та набираю, та й все задурно! Абы-мъ знавъ, де тоби ликъ, то  
бы-мъ шукавъ, а такъ щѡ я знаю? Колы бъ уже або сюды, або  
туды! И тоби липше, и намъ липше...

Катруся плакала.

— То, небого, нема що плакаты, лышь такы що правда! Ты  
соби вмрешъ и гадкы не маешъ, нибы то не однако въ земли  
гныты? Яке сьогодни легке жыття, то липше вмрты та не биду-  
ваты цилый викъ по чужимъ поли! Вже-мъ грошей набравъ та  
ще наберу на похоронъ, та й на старистъ жыды зъ хаты выже-  
нуть. Эхъ, якъ бы знавъ, що не буде тоби лику, та й бы за-  
разъ завертався до-дому. Добро що то лышыло бы ся на похоронъ.

Катруся захѡдылася видъ плачу и кашляла на все поле.  
Тато вытягнувъ зъ пазухы яблуко та якось несмильво подавъ  
доньци. Николы винъ ще не дававъ їй ниякыхъ ласощивъ.

— Не плачъ, небого, я тоби не ворогъ! Я лышь кажу, абы  
задурно гроши не виднесты—абы себе не скаличыты та й абы то-  
би не помогло. Та-же ты сама, дытынко, выдышь, що нема вид-  
кы. Я бъ тоби мызынного пальця врубавъ та й бы-мъ не жалубавъ.  
Я за тебе маю у людей честь, якъ за хлопця, бо-сь робитныця  
на все село. Сынку, я на тебе дувъ, якъ на пинку, та й выжу, що  
вмрешъ. То выдко очыма, що тоби нема выходу. Ой, небого,  
небого, то-то бидуватымемо безъ тебе... Ой, будемъ та будемъ!...

Старый замовкъ.

— Ой, умру, умру... вже выжу, що мени нема виходу,—шепотила Катруся.

В'їзджали въ мисто.

\*  
\* \*

Вертали до-дому. Сусидъ Миколай такъжъ зъ нымы.

— Винъ мени таке напiявъ, що де, де, де-е-е! Мужыкови до дохторивъ не здало ходыты. Абы, каже, багато молока пыла та м'яса якогось легкого абы пойдала, абы трунокъ соби вылагодыла, абы хлиба билого—де що на свити йе, то згадавъ. Може воно у панстви помогло бъ, але у нашимъ стани то не поможе. Дбста того, що якъ винъ зачавъ почытуваты, то я такы не ослушувавъ до кинця. Нибы було бъ що зъ того, що я бъ выслушавъ? Най умирае такъ, якъ йе. Най выпье оти медыцны, що-мъ узявъ зъ аптыци та най або выхорується, або якъ сама хоче...

— А вы жъ гадаете,—почавъ сусидъ,—що дохтори дають мужыкови такыи ликъ, якъ панови або жыдови? Бодай такъ здорови!... Мужыкови що вткне—вткне, та й спасайся. Нибы йому хочеться мужыкови доброго лику пошукаты? Зъ паномъ що день, то добры-день, а зъ мужыкомъ що?

— Якъ бы то, уважайте, кому порадыты, а то наше яке? Поцилувавъ у руку та й чекай, ажъ скажуть гроши даты...  
д -- Найлипше було вызнаты у старои Ивановы. Вона, бачу, пишла до дохтора, та й якъ винъ зачавъ ии шукаты, то вона йому навправци,—„ой, каже, пани дохторъ. дайте мени послиднiй ликъ. Я, каже, бидна баба, не маю из-за кого дохторуватыся, то дайте мени послиднiй ликъ“. Дохторъ, бачу, выдывывся на бабу та й каже: „а ты видкы знаешъ?“ „Ой, каже баба, видкы знаю, то знаю, але дайте мени таку рыцыпку на послиднiй ликъ“... Якъ зачала, якъ зачала, та й давъ—и до сьогодни ходыть...

-- Колы жъ бо не стало розуму запытатыся. Вы гадаете, що то зъ паномъ такъ говорыты, якъ вамъ здається? Кажы разъ, два, та й забирайся, шуруй!

— Пишла баба зъ тою рыцыпкою до аптыци. Дала аптыкареви, а сама, не бiйсъ—мудра, дывытыся, якъ винъ буде той ликъ вылагожуваты. То вповидала, що якъ соби капнувъ того лику на долоню, та й наскризь руку перейшовъ. Але то лышь десь сотому

удається такого лику дистаты. А мужыкамъ лышь такой ликъ здатный, що або сюды, або туды!

— Эй, бидный свите, що я не роспытавъ бабы, якъ воно треба того лику просыты! А такъ и гроши загубывъ, и ничего не поможе... Тото-мъ гыдно \*) зробывъ!

— Та видай нема вашій дивци выходу. Адить, якъ вона горыть? Нема зъ неи такъ ничего, якъ зъ отого лыстка, що видчимхнувся видъ дерева...

— Ой, нема, нема и гроши пишлы. Колы бъ бувъ хотъ Иваныхы запытавъ...

— Та то, выдыте, видъ чого ликъ. Аптыкаръ мае свою аптыку та вмирае...



---

\*) Гыдно—погано.

## СМЕРТЬ.



къ глуха осинь настала, якъ зъ лиса все лыстя опало, якъ чорни вороны поле вкрылы, то тоди до старого Леся прыйшла смерть. Умираты бъ кожному, смерть не страшна, але довга лежа—ото мука И Лесь мучывся. Середъ своеи муки винъ то западався въ якийсь другый свить, то вырынавъ зъ нього. А той другый свить бувъ болюче дывный. И ничымъ Лесь не мигъ спертися тому свитови, лышень однимы очыма. И тому винъ нумы, блысчучымы, змученымы, такъ ловывся маленького каганця. В'язався очыма, держався його и все мавъ страхъ, що повикы замкнуться, а винъ стримголовъ у невыдиный свить звалыться.

Передъ нымъ на земли сыны й донькы покотомъ послулы, не могли стилькы ночей не спаты. Винъ держався каганця всею миццю й не давався смерти. Повикы велькымъ тягаремъ зайшлы по-надъ очи.

Винъ бачыть на подвир'и багато малыхъ дивчатъ, кожна въ руци жмутокъ квитокъ трымае. Вси глядятъ идъ могыли, смерты выглядють. Потимъ вси очи повертають на нього. Хмара очей сынихъ, и сывыхъ, и чорныхъ. Та хмара плыве до його чола, гладыть його и простужуе...

Продеръ очи, взявъ жылу на шыи мижъ пальци, бо голову зъ пличъ скидала, и погадавъ:

— Ади, се ангелы передъ смертю показуються.—А якъ винъ гадавъ, а каганецъ утикъ з-передъ очей.

Поле ривне, далеке, пидъ сонцемъ спечене. Воно воды просьть, дрижыть, и усяке зилля до себе клоныть, абы зъ нього



воды напытыся. Винъ оре на ныви й руки чепигъ не може вдержаты, бо палыть його спрага у горли. И воливъ палыть, бо ротамы вокку землю рыють. Руки видь чепигъ видпадаютъ, а винъ падае на ныву, а вона його на вуголь спалюе...

Каганецъ выпровадывъ його зъ того свита.

— И не разъ та й не два я на поли безъ воды погыбавъ, у Бога все запысано!

И зновъ запався.

По-конецъ стола сыдыть його небижка мама та й писню спивае. Потыхо та сумно голосъ по хати стелыться и до нього доходить. То та спиванка, що мама йому маленькому спивала. И винъ плаче, и болыть у серци, и долонямы слъозы ловыть. А мама спивае просто въ його душу и вси муки тамъ зъ тымъ спивомъ рыдають. Мама иде до дверей, за нею и спивъ иде, и муки зъ души.

Та й зновъ каганецъ показався.

— Мама зъ того свита мае прыйты та й надъ своею дытыною мае заплакаты. Таке Богъ право имъ выдавъ.

Ноги трискалысь видь студени, винъ хотивъ на ныхъ кожушанку накынuty та й середъ того очи йому згаслы.

Горлати дзвоны надъ нымъ дзвонять, крысамы головы доторкають. Голова йому розскакуеться, зубы зъ рота вылитають. Дзвониви серця видрываются видь ныхъ и падають йому на голову и ранять.

Росплющывъ очи страшни й безпрытомни.

— Я поминывъ купыты дзвинъ, абы по сьому вогонь выстыгъ, але рокы булы цупко тисни, та й я все не спромигся. Просты мени, Господы мылосердний!

И зновъ скотывся у безодню.

Зъ горы, зъ высоченной высокосты снопы ячминни на нього падають. Падають и закыдають його. Остына лизе въ ротъ, у горло. Палыть червонымы голкамы и все коло серця сходыться и пече пекельнымъ вогнемъ, и риже въ самисиньке сердце...

Розвивъ очи вже мертви й безсвитни.

— Мартынови не давалы заробленого ячменю и той ячминъ мени смерть робыть.

- Хотивъ крыкнуты на диты, абы Мартынови хлибъ виддалы, але крыкъ кризь горло не мигъ продертыся, лышь горячою смолою по тили росходывся. Вывалывъ чорный языкъ, захпавъ

пальци въ ротъ, абы голосъ зъ горла вывесты. Але зубы кланцнулы й зацпылыся и пальци затыслы. Повикы впалы зъ громомъ.

Викна въ хати видчыняються. До хаты всотується била плахта, всотується безъ кинця й миру. Ясно видъ неи, якъ видъ сонця. Плахта його вповывае якъ маленьку дытну, впередъ ноги, потимъ руки, плечи. Туго. Йому легенько-легенько. Потимъ зализае въ голову и скобоче въ мозокъ, всотується въ кожний суставъ и м'якенько выстелюе. А на-кинець горло обсотуе все тугйше, все мицнйше. Витромъ довокола шыи облитае и обсотуе-обсотуе...



## Кленови лыткы.

I.



Постиль застелена полотномъ, коло стола на задній и передній лави засилы кумы, на краю печи рядкомъ диты. Воны попускалы рукавы, якъ стадо перепелыць, що спочывають, але все готови летиты. Кумы за те сыдили якъ вкопани, лышь рукамы досягали хлибъ або чарку горилкы, але й руки найрадше не рухалы-бъ-ся, лыше спочывалы бѣ зигнени въ кулакъ на колинахъ. Нерадо воны бралы хлибъ и чарку. Каганецъ блымавъ на прыпичку и потворывъ зъ кумивъ велькы, чорнясти тини й кынувъ ихъ на стелю. Тамъ воны поломылыся на сволокахъ и такожъ не рушалыся.

Коло стола схылений стоявъ Иванъ, господарь хаты й тато маленькои дытыны, що ии охрестылы.

— Будьте ласкави, мои кумы, та зажыйте ще по одной. Хоть се не горилка, але болото, та зъ мужыкомъ то такъ ся мае: що де у свити йе найгирше, то винъ мае те спожыты; що де у свити йе найтяжче, то винъ мае те выконаты...

— На то-смы рожени, — видповидалы побожно кумы. Якъ чарка обійшла колію, то Иванъ ии поставывъ лигма коло пляшкы, бо боявся, абы не впала така маленька на землю.

— А закусить... Та й двытисья, якый мене клопитъ найшовъ у сами жныва, у самъ вогонь. А я, бигме, не знаю, що зъ сього мае буты?! Чы маю лышыты жныва та й обходыты жинку и варыты дитямъ йисты, чы я маю лышыты ихъ тутъ на ласку божу та й тягнуты голоденъ косою? Бо вже мое таке мае буты, бо у

такий часъ никто до хаты не прыйде за велики гроши. На тоби, Иване, дытну та й радуйся, бо ще ихъ мало маешъ!

— Не марикуйте, куме, та не гнивить Бога, бо то його воля, не ваша. А диты—пина на води: щось на ныхъ трисне—та й понесете вси на могылу.

— У мене не трисне, але тамъ, де йе одно, тамъ трисне. Жебракъ абы такы не тулывся до жинкы, абы не дывывся въ той бикъ, де жинка, то бъ найлипше зробывъ! Тоди й Богъ не дасть...

— Куме, вы се пугаете, такъ никола не буде, бо люде мають плодытыся.

— Колы бъ то люде, а то жебракы плодятъся. А я тому кажу, що ты, жебраку, не плодысь, не розводься, якъ мышъ—ты будь контетный, якъ маешъ на хребти дранку, якъ маешъ шматокъ хлиба, абы-сь не голодень, та й якъ тебе никто по лыци не лупыть. Якъ си тры дили маешъ, то мае тоби буты добре, а видъ жинкы геть уступыся.

— Куме, Иване, дайте спокій, бо жинци у такій прыгоди не треба сього слухаты, бо така бесида не дае здоров'я. Колысь иншымъ, липшымъ часомъ.

— Я васъ дуже перепрошаю за мою таку бесиду, але вы гадаете, що я за нею дбаю, або за себе я дбаю?! Бигме, не дбаю, най ихъ и заразъ выхватае та й мене зъ ными! Овва, що жъ бы то мы—втратылы рай на земли й маетки лышылы?...

Кумы вже не обзывалыся, не перечылы, бо бачылы, що Ивана не переможуть, и хотылы, абы скорше выговорывся, бо борше ихъ пустыть спаты. Иванъ вставъ видъ стола, спынывся насередъ хаты, спустывъ рукавы такъ, якъ диты на печи, й почавъ до ныхъ балакаты.

— Та чому не летыте зъ моеи головы? Я вамъ розчыню и викна, й двери, гай!...

Диты засунулыся на пичъ такъ, що ихъ не було вже выдко.

— Ади, сарана, лышь хлиба та й хлиба та й хлиба! А видкы жъ я тоби того хлиба наберу?! Та тоби на дванадцятый снипъ якыйсь разъ торгнуты, тоби якыйсь разъ схылытыся, то зъ поперека вогонь у пазуху сыплеться! То тебе кожне стебельце у сердце дюкгне!

Се було до дитей, а теперъ винъ звернувся до кумивъ.

— А у-вечиръ лышь покажешся до хаты—такий, якъ вихоть, якъ мыйка усотаны, а воны тоби въ одынъ голось и жинка, и

диты: нема хлеба! Та й ты не йдешъ, бидный чоловіче, спаты, але ты тягнешъ ципъ та й молотышъ на-потемкы, абы завтра малы зъ чымъ иты въ жорна. Та такъ тебе ципъ и звалыть на снипъ, та й такъ деревіешъ до ранку у сонѹ, ажъ тебе роса прыпаде. Та й лышень очи пролупышъ, то заразъ тебе ота роса йистъ, бо мало тебе беда йистъ, ще вона въ ночи тебе найде. Промыешъ очи та й тягнешъ на ланъ такый чорный, що сонце передъ тобою меркне.

— Иване, не журиться дитьмы, бо то не лышень вы, але Богъ имъ тато старшый видъ васъ.

— Я зъ Богомъ за баркы не водюся, але на що винъ того пускае на свить, якъ голе въ терня? Пустыть на землю, талану въ руки не дасть, манны зъ неба не спустыть, а потимъ увесь свить крычыть: мужыкы злодіи, розбійныкы, душоубци! Зипреться одынъ зъ другимъ у церкви такый гладкый, що муха по нимъ не полize, та курыть та картае. Вы, каже, дитей не навчаеете страху божого, вы ихъ самы посылаете красы... Эй, де я годенъ такъ ганьбыты! А якъ бы коло мѳи дытны и мамка, и нянька, и добродзейка \*) ходыла, якъ бы мени люде всього назносылы, то и я бъ, йегомость, знавъ, якъ диты вчыты! Але мои диты росутуть по бур'янахъ разомъ зъ курмы, а якъ що до чого прыйде, отакъ якъ теперъ, то никто не знае, щѳ вони цилый день йидяты, чы крадуть, чы жебрають, чы пасуть,—а я видкы знаю? Я кося ваши ланы та й забуваю не лышъ за диты, але за себе не пам'ятаю! Вы бъ хотилы, абы я и ваши ланы зробывъ, и диты абы-мъ учывъ. А вы для чого?... Такъ, люде, вы самы знаете, яке наше жыття...

— Знаемо, куме, знаемо! Якъ не знаты, колы самы у нимъ бродымо?

— Я на диты дывлюся, але я не гадаю, абы воно було чемне, абы умило до ладу зробыты. Я лышъ заглядаю, чы воно вже добре по земли ходыть, абы його упхаты на службу,—отсього я чекаю. Я не чекаю, абы воно убралсся въ сылу, або путеріи набрало, абы воно коло мене нажылося. Нехай лышъ багачъ або панъ роззявыть пашеку, то я його туды кыдаю, абы лышень збутыся! А потимъ воно бигае коло худобы, ноги—одна рана, роса йистъ, стерня коле, а воно скаче та й плаче. Ты бъ йому завер-

---

\*) Матушка, попада.

нувъ худобу, поцилувавъ бы його въ ноги, бо його сплодывъ та й сумлиння тебе пье, але мынаешъ, ще й ховаешся видъ нього, абы не чувъ!...

Иванъ ажъ почервонивъ, ажъ задыхався.

— Та й росте воно въ яслахъ, пидъ столомъ, або пидъ лавою, йистъ кулаки, умывається сльозамы. А пидросте, та й щось воно украде, бо воно никола добра не знало та краденымъ хоче натиштыся. Дывыся—йде до тебе шандарь. Скуе тебе, набьетъся, якъ товарыны, бо ты тато злодіевы та й мусышь зъ нымъ буты у змови. Та й йесы злодій на вики! Але се не решта, кинецъ ще на переди. Най бы сынъ, ваша дытына, а людський злодій, най бы зогнывъ у кремынали\*), бо злодія не шкода! Най бы! А то вони озмутъ здоров'я та й дають до шпыталу личыты, а потимъ пускають пысьмо до вйта, абы тато платывъ кошта. Зъ хаты выганяють, пидъ плитъ выкыдають зъ бебехамы! Идешъ до вйта, въ руки цилуешъ:—вйточку, выберить мене изъ сеи кары.—„Ты, каже вйтъ, бидный чоловикъ, то може тоби выпустымъ, але яку я выгоду буду маты за твою выгоду?“ Стыснешъ плечыма, складешся, якъ цизорыкъ, та й кажешъ:—мисяць вамъ буду задурно служыты... Такъ, чы не такъ, люде, правду кажу, чы брешу, якъ песь?

— Все такъ, цилый гатунокъ такой, одного-сте слова не замылылы!

Иванъ увесь тремтивъ, чувъ на соби цилу вагу страшныхъ своихъ сливъ.

— Абы-сте не казала, люде, що крячу надъ головами своихъ дитей, якъ воронъ надъ стервомъ, не кажить, люде, не кажить! Я не крячу, я правду говорю, мій жаль кряче, сердце кряче!

Очи його запалылыся и въ нихъ появилася страшна любовъ до дитей,—винъ шукавъ ихъ очыма по хати.

— Бо выгядае такъ, що я свои диты геть позбыткувавъ гирше, якъ темный ворогъ. А я, выдыте, не позбыткувавъ, я лышень прогорнувъ з-передъ очей сьогодни и завтра, и рикъ, и другой, и подывыся на мои диты, що вони тамъ діють? А що-мъ уздривъ, то сказавъ-емъ. Я пишовъ до ныхъ у гости та й кровь моя застыгла на ихъ господарстви...

По хвыли додавъ:

---

\*) Тюрма.

— Якъ бы до тои Канады не було моривъ, то я бѣ ихъ у михъ забравъ та й бы-мъ пишки зъ нымы туды йшовъ, абы ихъ занести далеко видъ сього поругання. Я бѣ ти моря берегамы обходывъ...

Кумы забулы булы за видпочынокъ, а теперъ соби нагадалы, борзо повставалы й пишлы.

## II.

Рано.

Диты обидалы на земли, обльвалы пазухы й шелестилы ложкамы. Коло ныхъ лежала мама марна, жовта и клала колина пидъ груды. По чорнимъ, нечесанимъ волоссю сплывала мука и биль, а губы зацпылыся, абы не крычаты. Диты зъ ложкамы въ роти оберталыся до мамы, дывылыся и зновъ оберталыся до мыскы.

— Семенку, ты вже найився?

— Вже,—видповивъ шестылитній хлопець.

— То озмы винычокъ, покропы землю та й пидметы хату. Мама не годна хылытыся, бо дуже болыть у середыни. Не куры дуже.

— Уступитыся, бо черезъ васъ я не можу замитаты.

Мама звелася й поволиклася на постиль.

— Семенку, а теперъ файно вмыйся, и Катруся, и Марія найвмыються и побижы въ збанокъ воды начерпнуты, але не впадъ у керныцю, не хылыся дуже...

— Семенку, пиды та нарвы огиркивъ у решето, абы мама въ горшку наквасыла, бо я выжу, що буду слаба та не будете маты що зъ хлибомъ йисты. Та й нарвы хрону и вышневого лыстя. Та не сотай огирчыннѣ\*), але рвы по-пры саме былд.

— Семенку, здоймы зъ гридокъ сорочки, абы-мъ полатала, бо ходыте чорни, якъ вороны.

Семенко все бигавъ, усе робывъ, що мама казала, и раз-по-разъ потручувавъ молодши сестры й казавъ, що дивкы не знаютъ ничого, лышь йисты.

— Вони ще маілы, Семенку! Якъ выростуть та й будутъ тоби сорочки праты.

---

\*) Огудына на огиркахъ; было—стеблына.

— Я наймуся та й тамъ мени будуть сорочки праты, я ихъ не потребую.

— Не тишся, дытынко, служби, бо не разъ будешъ свои дни оплакуваты.

— Ади, дьдыя зрослы у служби та й ничего имъ не бракуе.

— И ты зростешъ у служби, ажъ шкура буде трискатысь видъ того росту. Але ты, Семене, не балакай, але збирайся дьдеви несты обидь. Винъ десь такой голодный, що йому очи за тобою продывылыся.

— Я мусю дьдеву палыцю браты, абы видъ псивъ одгоны-тыся.

— А якъ загубышь та й буде дьдыя насъ обохъ быты. Та не йды простоволосый, але озмы хоть дьдыдивъ капелюхъ.

— Той капелюхъ лышь на очи падае, шо не выдко дорогы.

— Вымый збанокъ та й сыпъ борщу.

— Вы мене не вчитъ тилькы, бо я знаю.

— Семенку, а дывыся, абы тебе псы не покусалы.

### III.

Семенко дрыботивъ ногамы по грубий верстви пороху и лышавъ за собою маленьки слиды, якъ били квиты.

— Фить, закъ я зайду, то се сонце мене такы добре спарыть. Але я соби заберу волосся такъ, якъ жовнирѣ, та й буде мени липше йты.

Поклавъ обидь на дорогу и збиравъ волосся на-верхъ головы, абы прыложыты його капелюхомъ и выглядаты, якъ обстриженный жовнирѣ. Очи сміялыся, пидскочывъ и покотывся дальше. Та волосся з-пидъ шырокого капелюха зсунулося на потылицю.

— Се пустый капелюхъ, най-но якъ я наймуся, та я тоди соби капелюшокъ...

Лышѣ облызався. Пройшовшы шмать дорогы, винъ зновъ поставывъ обидь на землю.

— Я змалюю соби вельке колесо изъ шпыцямы.

Сивъ посередъ дорогы въ порохъ и обводывъ довкала себе палыцею, потимъ рысувавъ промини въ колеси. Дали зирвався, перескочывъ по-за обидь и побигъ дуже зрадуваный.

До кожныхъ ворить закрадався, зазыравъ, чы нема на подвир'ю пса и ажъ тоди борзенько перебигавъ. Зъ одного обійстя



выбигъ песь и пустывся за нымъ. Семенко спиворывъ \*), зверещавъ и сивъ зъ обидомъ. Палыця такожь упала на дорогу. Довгенько скулений сыдивъ, чекавъ пса, абы кусавъ. Потимъ зважывся подывытысь и побачывъ надъ собою чорного пса, що спскійно стоявъ коло нього.

— На, на, цыганъ, на кулеши, але не кусай, бо болыть дуже та й штрофъ твій газда буде платыты. Та винъ тоби ноги поломыть за той штрофъ.

Щипавъ зъ платка кулеши \*\*) кыдавъ псови по кусныку и сміявся, що винъ на воздуси хапае. Песь мавъ роззявлену морду, винъ и соби рота роззяывъ.

— А ты чый, шыбеныку, що псы по дорогахъ годуешъ?... А въ поле що понесешъ?

И якась жинка гупнула його въ шыю.

— А якъ, вы ще быйте!... якъ песь хотивъ мене роздерты!

— А ты чый, такой чемный?

— Я Ивана Петрового, але мама малы дытыну та й слаби, а я мусю несты обидь, а мене псы кусають, а вы ще бьете...

— Ой, якъ я тебе была... Куды жъ ты несешъ йисты?

— Дьыдеви несу на ланъ коло ставу.

— Иды зо мною, бидо, бо я такожь несу туды обидь.

Пишлы разомъ.

— А хто обидь варывъ?

— Мама варыла, бо я ще не вмю, а Марія й Катерына ще меньши видь мене.

— То не слаба мама?

— Чому не слаби, такъ качаються по земли, такъ стогнуть, що ажъ! Але я за ныхъ роблю...

— Ото ты робитныкъ!

— Вы не знаете та й говорыте пусе. А ну запытайтесь мамы, якый я розумный! Я очена шъ знаю цилый...

Жинка засміялася, а Семенко здвыгнувъ плечыма й замовкъ. За нымъ бигъ песь, а винъ нибы то кыдавъ йому кулеши й загулювавъ иты за собою.

---

\*) Заплакаты, заверешаты.

\*\*) Кулеша—лемишка зъ кукурузяной муки.

#### IV.

Тры дни описля.

Посередь хаты сядивъ Семенко и сестры, и ночвы зъ маленькою дытыною стоялы. Коло ныхъ мыска зъ зеленымы, на-крышенымы огиркамы й хлибъ. На постели лежала ихъ мама, об-ложена зеленымы, вербовымы галузкамы. Надъ нею сыпивъ рй мухъ.

— Понайдайтеся та й тыхо сядить, бо я понесу дытыну до Ва-сылыхы, абы поплекала. Дыдя казалы, абы несты рано, въ по-лудне и надъ вечиръ, а у-вечиръ воны самы вже прыйдутъ.

— Семенку, не переломы дытыну!

— Я гадавъ, що вы спалы. Дыдя казалы даваты вамъ холод-ной воды й булку йисты. Марія така чемна, то вона ту булку ухва-тыла и вкусыла вже разъ. Але я набывъ та й виднявъ. Йисты-мете?

— Не хочу.

— Дыдя зсукалы ще свичку та й казалы, що якъ бы-сте уми-ралы, абы вамъ даты въ руки й засвитыты. Колы я не знаю, ко-лы даваты...

Мама подывылася велькымы, блыскучымы очыма на сына. Безодня смутку, увесь жаль и безсылный страхъ зйшлыся ра-зомъ въ очахъ и разомъ сплодылы дви били слъозы. Воны вы-котылыся на повикы й замерзлы.

— Дыдя рано въ хоромахъ такожъ плакалы, такъ головою до одвирка лупылы!... Заплакани взяли косу та й пишлы.

Взявъ дытыну и выйшовъ...

— Семенку, абы-сь не дававъ Катрусю и Марійку и Васылыка быты мачуси. Чуешъ? Бо мачуха буде васъ быты, видъ йиды вид-гомыты и билыхъ сорочокъ не даваты.

— Я не дамъ та й дыдеви буду казаты.

-- Не поможе ничего, сынку мй наймылйшый, дытынко моя найзлотйша!... Якъ выростешъ, абы-сте межы собою дуже любы-лись, дуже, дуже!... Абы-сь помагавъ имъ, абы-сь не дававъ крвдыты.

— Якъ я буду служыты та й буду дужый, то я ихъ не дамъ, я буду до ныхъ що-недили прыходыты.

— Семенку, абы-сь просывь дьдыя, що мама наказувала, абы вась любывъ...

— Йижте булку.

— Спивай дытны, най не плаче.

Семенко хытавъ дытну, але спиваты не вмивъ. А мама обтерла долонею сухи губы й заспивала. У слабимъ, урыванимъ голоси выывалася ии душа и по-тыхеньку спадала межы диты й цилувала ихъ у головы. Слова тыхи, невыразни говорылы, що кленови листочки розвіялыся по пустимъ поли й ништо ихъ позбираты не годенъ, и николы вони не зазеленіють. Писня намагалася выйти зъ хаты й полетиты въ пугте поле за листочкамы...



## Грыцько Грыгоренко.


(Псевдонимъ).

Творы Грыцька Грыгоренка выйшы р. 1898 у Дорпата (Юрьеви) пидъ заголовкомъ „Наши люде на сели“ окремымъ выданнямъ, шо мистыть вистимъ оповиданъ; опричь того два оповидання сього автора надруковано въ „Л.-Н. Вистныку“ (р. 1899 та 1901) и одно въ „Кіевской Старинѣ“ (р. 1900). Грыгоренко йде шляхомъ строгаго, навить крайнього реализму, не зупыняючысь передъ найтемнійшымы сторонамы народнаго жыття.



## Б а т ь к о .



 хъ, якъ же зоряно, Боже ты мій, якъ зоряно!—сказавъ дидъ Мыронъ, дывлячысь вгору на яснее небо, де, наче свичкы въ церкви, позапалювались густо зирочки. Та такъ же, якъ и въ церкви, колы не спивають, було тыхо на степу теплои литньої ночи; сонечко забрало зъ собою свое золото, свою спеку и разомъ весь гоминъ щоденный; земля, якъ нагодована дытына въ колысци, солодко задримала; тыхо, тилькы де-колы чуть ныщечкомъ „пытъ-полоть“ перепела, та не часто иржанья коней, шо паслись на толоци. Зійшовъ мисяць и почавъ все перевертаты въ срибло: по хлибахъ побиглы блыскучи хвыли, на трави роса заграла, здалека выдно було село и садкы, наче зъ темнійшого срибла, а черезъ степъ простягся зовсимъ билый, наче середъ ли-та снігомъ прытрушений шляхъ, небо все зайшлося свитомъ и

зирочки трохи попрыгасали, а жыто и всяка квитка край дороги сьильнйше запахлы.

Дидь Мыронь пишовъ до коней—у нього своихъ пара та у двохъ сынивъ по одному,—перев'язавъ имъ пута, поодганявъ своихъ и чужыхъ геть одъ хлиба й вернувся до чоловікивъ, що попрыводылы коней на ничъ, та помы сонъ, сьидили гуртомъ и по троху балакалы.

Балачка зайшла про весилля у Божка, що отсе женывъ свого сына на святу недилю.

— И що то за мода повелась теперь,—сказавъ дидь Мыронь,—такъ рано хлопцивъ женыты? Не перебувъ винъ ще й призова, якъ його вже й окрутылы; не вмие въ рукахъ косу держаты, а вже винъ жонатый—„чоловикъ“ называется: вдома надъ жинкою куражаться, въ зборни горло дере: „я хазяинь!“—передражнивъ дидь Мыронь,—а винъ не хазяинь, а чортъ батька зна що! Николы винъ вже добре й косыты не буде, бо хто його навчыть, якъ винъ хлопцемъ не навчывся, а вже хазяиномъ зробывся? Такъ и дивкы: хлиба вчыныты не вмие, жнывъ не одбувала—вже замижъ выдають! И ото такъ вони все, наче въ ляльки граються! Маленьке воно все таке, погане! Ни, за панськыхъ правивъ краще було: у насъ не дозволявъ панъ женытысь ажъ до двадцяты п'яты; ну, добре: и розуму, и сылы набереться, дивку соби гарну вышукае, тоди йде пидъ винець... Отъ и народъ бувъ, теперь такого нема: здоровый—одынъ у одынъ!

Тутъ товариши Мырона просылы ще розказыты, що було за панськыхъ правивъ, бо вони булы вси молодши й самы не пам'яталы.

Багато де-чого розказувавъ дидь Мыронь и доброго, й поганого...

Довго балакалы про панивъ, пилля перейшлы до видьомъ и такого другого.

Мыронь впевнявъ, що винъ и видьму и „його“ самого—не проты ночи згадуваты—бачывъ. Дали балакалы про погани очи: якъ инший чоловикъ и не хоче, щобъ у нього булы погани очи, а тилькы гляне на скотыну, або чоловика, заразы на тыхъ и найде! Йесть таки люде, що ихъ усякый звырь боиться, бо очи таки, йесть и таки люде, що слово знають проты мышей, проты комаривъ, проты всего. Дидь Мыронь почавъ розказуваты про

пасичныка свого пана, що сыва борода була до пояса и що пывъ кожнѣй день по тры стаканы горилкы, а все бувъ тверезый, и що знавъ „слово“, що бжолы його не кусалы—голымы рукамы огрибавъ—и у яку винъ ихъ сторону пошле за медомъ, туды й летять, и...

Тутъ прымитывъ дидъ Мыронъ, що вси чоловикоы по-троху поснулы; винъ лигъ и самъ коло ныхъ, накрывшысь кожухомъ, та заснуты не мигъ, бо всяки думкы почалы йому въ голову лизты. У нього була така голова, наче тамъ якый ткачъ жывъ: все кыда та й кыда думкою, якъ човныкомъ, то туды, то сюды, все мережки плете; иншый и за мисяць того не передумае, що дидъ Мыронъ за день, або за ничъ. Мабуть, що винъ думавъ бильше всихъ на сели, та й спаты винъ не любывъ, черезъ те й ходывъ самъ на степъ зъ киньмы, а то мигъ бы й сына котрого-небудь послать, якъ бы схотивъ. Не спавъ же винъ молодымъ за роботою та за гулянкуо, не спавъ и старымъ: все його кортыть то робыты, то балакаты, то думаты—такый вже бувъ соби неспокойный; часомъ якъ ляже, то вже двичи пивни проспивають, а встане—тилькы що на свить благословыться. Якъ винъ мигъ такъ мало спаты, хто його знае! Иншый радый въ недилку и до обида, и писля обида поспаты—сылы набраты, Мыронъ же—Бо' храны, а проте ще й доси выдавався за першого косаря на сели й косывъ краще своихъ трьохъ сынивъ. Зъ выду бувъ винъ ще доволи молодой: высокый, ровный, якъ осокоръ, зъ чорнымы довгымы кучерямы, сывого волоса й не выдно було, и пекучымы, темнымы, якъ вугилля, очыма. Часомъ кажуть: думка сушыть чоловика, ажъ ось же й ни—Мырона не зсушыла. Иншымъ людымъ не думаеться, бо за клопотомъ та за жыттямъ нема часу,—такъ и жывуть соби день за день; други не вмѣють та думокъ нема, а третимъ здаеться, що хочъ думай, хочъ не думай, все своеи ледачои доли не переминышь... А Мыронъ любывъ думаты. Ось и теперь завернувся ще краще въ кожухъ, глянувъ ще разъ на зори й подумавъ:

— А яки воны не ровни: он-де здорови-прездорови, а тамъ—все сама дрибнота. Все такечкы на свити: ось-ось-о жыто—яке нызеньке передъ кущемъ, або деревомъ, а трава ще ныжча, усяке ии ногою топче, на дерево жъ тилькы пташка сида спиваты... Отъ такъ и мижъ людымы...

— А ось у насъ люде не люблять ни для чога—ни для души, ни для чести хлопотаться,—думае дали Мыронъ.—Отъ якъ приходыться старосту, або старшыну, або десятныкивъ, зборщыкивъ выбираты, то заразы же вси почнуть ховаться, та сусидь своихъ напередъ выпыхають, часомъ просто по злоби упечуть...

Самъ дидь Мыронъ, хочъ и клявъ „общество“, бувъ двичи на своему вику выбранный старостою, а разъ старшыною; теперъ же винъ бувъ зборщыкомъ и добрымъ зборщыкомъ: завчасу збиравъ гроши й умивъ довести дило до ладу, хочъ бувъ неграмотный, та одмичавъ чы хрестыкамы, чы палычкамы по хатахъ—кто скильки вынуватый грошей, и ни разу винъ не помылывся, и николю чужой копійкы не замотавъ, и знавъ, якъ треба зъ народомъ поводитысь, бо була у його якась сыла,—ось така сыла, якъ у витра, що вербы гне,—ну, просто гне-гне на свое, та й выйде по його: люде потечуть за нымъ, якъ горилка въ дирку. Вси йому вирылы, а винъ умивъ такъ росказаты дило, що всяке розбере, що його правда, того вси його слухалы, и винъ дуже тымъ гордывся. Правда, бывало й такъ, що приставалы до горланивъ, що солодко спивалы,—тоди дидь Мыронъ робывся страхъ лыхый и крычавъ, що винъ все дило кыне къ чортовій матери, и нехай воны вси повыздыхають и пропадутъ, и що всякый дурень той, кто для общества старається, бо се все одно, що каминня йисты, и нехай винъ, Мыронъ, самъ буде трычи проклять, якъ винъ для ихъ ще хочъ пальцемъ кывне, хочъ бы йому за те сто кипъ грошей обицялы. Такъ казавъ дидь Мыронъ, а черезъ день, черезъ тыждень, багато черезъ мисяць його просылы, и винъ зновъ бигавъ до багатыривъ гроши позычаты на общество за своею порукою, збиравъ раду, щобъ прысогласыты перепустыты третю часть обчеської земли толокою, або у пана взяты пастушку на одробиткы, копавъ новый колодязь на сели, а по роботы гулявъ въ шынку изъ своиы „ворогамы“. Дидь Мыронъ не бувъ п'яныця, та любывъ въ добрый кумпаніи выпыты, якъ булы лышни гроши; а то булы таки гроши: думавъ дидь Мыронъ заплатыты за чоботы п'ять, а заплатывъ чотыри й п'ятдесять копійокъ, ось п'ятдесять копійокъ—то лышни гроши: ихъ можна пропыты; воны бь, мо', згодылысь на що друге въ хазяйстви, якъ часто йому неvistка, жинка його меньшого сына, казала, а винъ думавъ, що воны вже „лышни“, а що винъ думавъ, тее й робывъ. Хочъ дидь Мыронъ бувъ и

небагатый чоловікъ, та не любывъ винъ грошей: винъ все казавъ, що не одъ грошей щастя, бо ось же у його на очахъ умерла дытына въ багатого пана, що й личывъ ии, и тремтивъ надъ нею, и готовый бувъ вси гроши, все добро свое ликарямъ оддаты, абы жыва зосталась, дакъ ни—вмерла! На Мыронову думку, краще було бѣ, якъ бы у мужыка земля була та коняка та скотына, а гроши—цуръ имъ! Розуміється, дидъ Мыронъ тямывъ, що й безъ грошей не можна, бо на що жъ гасу, солы, оли, разну разныцю купыты, а головне, чымъ, „казенне“ платыты?

Якъ почавъ дидъ Мыронъ думаты про гроши, то прыгадалось йому, скильки лыха одъ ихъ иде, скильки то люде одно одного за ихъ зайидають, якъ багатыри кровь ссутъ зъ бидныхъ великымъ процентомъ, якъ зборщыкы чужи гроши закручуютъ и неправду роблять за-для грошей.

— Отси гроши—то солодкый дурманъ для людны, —ришывъ дидъ Мыронъ,—хто ихъ любыть, той—наче живый мертвякъ: винъ тилькы цилый викъ свій соби труну купуе, бо якъ справди умре, то його гроши зостануться, а винъ не живъ, не гулявъ на ихъ...

— Охъ, Оксано, Оксано!—ни зъ того, ни зъ сього въ голосъ сказавъ Мыронъ и самъ на себе здывувався.

Оксана—се була їедина замужня дочка Мырона; кримъ неи було у нього ще тры сыны, та вси жонати; двоухъ винъ оддавъ въ прыймы такы въ своему жъ сели, а третій, меньшый, живъ изъ нымъ. Мыронъ розмиркувавъ такъ, що на трьохъ у його земли не стане, а тилькы на одного, то треба ихъ такъ прытакуваты, щобъ вони й землю малы, и зъ його воли не выходылы. Такъ и зробывъ—поодававъ туды, де й тествъ не було, черезъ те у його була й своя супряга, и своя помичъ; черезъ те й робота скорійше й краще робылась, бо рукъ було багато и коней четверыкъ, и вси хапалысь разомъ: хлопци прывыклы слухаться батька змалечку—меньшый то була просто тинъ Мыронова,—а й поженылысь, то не выйшлы зъ його рукъ, та й розумилы самы, що такъ воно выгоднійше. Недавно виддавъ дидъ Мыронъ и дочку свою замижъ, чы, бакъ вона сама пишла. Охъ, хотивъ же винъ ии оддаты за багатого мищанына, хотивъ та ще й якъ! Хотивъ, хочъ и знавъ, що гроши—бида, бо все жъ такы, якъ чоловікъ мае четверо коней, тесову стриху й ворота. поцяцьковани виконяци й тютюнову плантацію, ще до того й



мищанынъ, а не простой мужыкъ, то кожному схочеться дочку свою за такимъ чоловікомъ бачыты, кожному схочеться, щобъ дочка на пуховій постели спала, що-день галушкы зъ сыромъ йила, щобъ наймычку держала, та ба! Не схотила Оксана й не схотила—пишла за убогого.

— И що вона тамъ найшла такого гарного?—думавъ дали Мыронъ,—на мене, такъ и зовсимъ винъ поганый, бо рудый, не въ нашъ ридъ удався, и маленький, и якийсь швыдкый, якъ самопрядка—э, чортъ зна що! Винъ йи не ривня... Оксана!... Оксана була така дивка, що ниhto до неи не прыйдеться... Шо жъ воно таке? Въ одну душу захотила за його йты и ни за кого бильше: хиба що полюбыла вже його такъ?... Змовылись десь на вечорныцяхъ... набалакавъ, мабутъ, багато, волоцюга! Дивци тилькы й треба, що „голубонько, серденько та рыбонько“, та прыгорны мицно и разомъ тыхенько, та поцилуй,—воно жъ, якъ вышенька, и зацвите, й зрадіе, й повирыть всьому: „о, той мене буде жалуваты, пиду за його!“—Якъ бы жъ то такъ! Отъ якъ бы у насъ такъ, якъ у панивъ, що дивка може й зовсимъ не йты замижъ: жыве соби пры батькови и горечка мало!... Ни, де жъ такы! То вже дивоче дило замижъ иты, такъ и слидъ... Та якъ бы такъ за жинкамы упадалы, якъ нашъ молодой панъ, що недавно оженився: и руки жинци цилуе, и въ вичи дывыться; а разъ, йи-Богу, бачывъ самъ, якъ винъ на вколишкахъ передъ нею стоявъ, наче передъ образомъ.—кумедія!... У насъ жинку часомъ, хочъ и жалуешъ, та все жъ такы воли не даешъ, бо жинка, якъ не якъ, дурнійша одъ чоловіка, дурнійша й слабійша. Правда, буває часомъ и таке, що чоловікъ жинкы слухається и въ зборни говорыть тее, що вона йому вдома казала, та ридко, а хочъ и слухається, то все жъ такы винъ свое визьме: налае й попобье ии, якъ часомъ сердытый. Не можна пры нашому жыттю не бытысь и не лаятысь: всякый лыхымъ робытыся, бо того нема, тее треба, то коняка здохла, то жыто не вродыло!...

... Бильше жъ того, що дурни тии жинкы, дурни й языкати, хай имъ всячына!... А не хотивъ бы я буты жинкою—сама нещасна доля: все лыхо такы на ии шыи окошытыся та ще диты!.. Якъ бы жъ Андрій—такъ звалы Оксаныного чоловіка—хочъ робитныкъ добрый, а то... правда, винъ грамотный, та що зъ того? У насъ тая школа—хто ии знае, для чога вона? Бо одно те, що куды жъ воно годытыся писля науки? Въ пастухы не хоче йты—

носа копырять, а въ пысарчуки жъ усихъ не визьмутъ! Отъ навчыться чытаты сякъ-такъ, щобъ заразь забудься, тилькы слава одна, що наука! А друге те, що учителька тамъ така, що якъ пиде гуляты зъ панычамы, то хлопци одно одному тилькы чубы повыдерають, або гудзи понабывають, а бильше ничего. Перше учитель бывъ за науку, а теперь самы соби безъ учителя бьются,—отъ тоби й школа! Якъ бы жъ винъ добре грамотный, а то—ни Богови свичка, ни чортови кочерга!... А темни у насъ люде, темни: прыйде яка бамага, покы доберуть дила—скилькы часу загають! А отъ колы пысарчукъ почне кыдаты на щотахъ, то вси стоять, дывляться на його, якъ дурни... не трудно нашого брата й одурыты...

Такъ продумавъ дидъ Мыронъ довго ажъ покы задримавъ, а якъ прокынувся, то вже сонечко почало мотаты свои червони та золоти ниткы й по степу, й на деревьяхъ. Дидъ Мыронъ подумавъ, що вже не рано, забравъ коней и пишовъ до-дому.

\* \*  
\*

Колы дидъ Мыронъ вернувся до-дому, невестка його Марына вже поралась коло печи; сьогодни бувъ маленький празнычокъ, и вона надумалась пекты млынцы зъ сыромъ. Въ хати було чепурненько: ловки образы й шытый рушныкъ на ихъ, стиль застеленый чыстою скатертю, а на столи мыска зъ свижемъ м'якымъ сыромъ. Коло стола маленька дивчынка, литъ шесты, чыстенько вмыта й росчесана, волоссячко у неи здавалося зовсимъ темнымъ, бо було такъ помащено добре, що ажъ прылыпло на чоли, зъ тоненькымъ рожевымъ лычкомъ, якъ крашаночка. Дивчынка усмихалась, дывлячысь на мыску, та не насмилювалась прысунуться бльжче до неи, бо боялась матери, що була соби строга; тилькы ось маты далеко зализла въ пичъ, пораючысь коло борщу, а мала, прыкметывшы тее, швыденько простяглась, умочыла мало не всю ручку въ сыръ и, скоса поглядаючы на пичъ и на матиръ, що все стояла до неи спыною, почала обсмоктуваты свои били одъ сыру пучечкы. Тутъ вскочывъ въ хату хлопецъ, похожий такъ на дивчынку, що можна було заразь же вгадаты, що то—ин братъ; винъ пидскочывъ на одной ноzi до стола, зазырнувъ у мыску й ковтаючы слова, сказавъ:  
—Що то—крейда, силь, борошно, сыръ?

— Геть!—крыкнула маты, обертаючысь одъ печи,—чого пры-йшовъ? Хто тебе клыкавъ?

— Дидь вже скоро вернуться зъ киньмы,—одвитывъ хлопець, все дывлячысь на сырь, якъ кить.

— Ну, то що, що вернуться?! Ще снідаты рано... Йды теля доглядай... геть!

Хлопець скрывывся, а дали, глянувши на сестру, заре-готовався:

— Эге-ге, якъ ты уробылася у сырь, яки у тебе вусы били, ха, ха, ха!

Тетянка почала выкручуваты очыма, щобъ побачыты, яки то у ней вусы, не побачыла й сказала тыхенько:

— Брешешь!

А Грыцько почавъ ще бильше крычаты про Тетянку, що вона найилася сыру, щобъ маты почула и насварыла ии, щобъ не йила й вона, колы йому не можна; тилькы маты не такъ зробыла, якъ винъ хотивъ, а сказала одъ печи:

— Геть обыдва зъ хаты! чого тутъ мени мишаєте? Геть, поky я вась...

Диты счезлы въ одну мыть.

Грыцько не бувъ довольный матир'ю: йому хотилося, щобъ вона дала Тетянци хочъ штурханця, бо чого жъ вона йила сырь, колы винъ не йивъ. Правда, винъ успишывся вхопыты цыбулыну, що лежала на лави, и теперь грызъ ии, а Тетянка тилькы дывы-лась йому въ ротъ; та сього було мало для його и винъ, ска-завшы: „а... ты, ты, ты...“ пхнувъ сестру такъ, що тая упала середъ двора й почала плакаты въ голосъ.

Якъ разъ, якъ на пеньку, з'явився дидь—оддавъ коней че-редныку и йшовъ { у хату—и, побачывшы, що хлопець обижае Тетянку, стрепенувъ його за вухо. Грыцькови було дуже боляче, тилькы винъ здержався и сказавъ, хочъ слъозы й стоялы въ очахъ, гордо:

— Чого жъ вона реве? Колы я бувъ малымъ, я николы не ривъ!... Сказано—баба!

Дидь взявъ на руки Тетянку и понисъ въ хату, жаліючы:

— О, моя любенька, моя голубенька, де у тебе вава?

А Грыцько зъ червонымъ, якъ калына, вухомъ и цыбулею въ руци побигъ на вулицю до хлопцивъ и тамъ розказавъ, що за лысыця його сестрыця, якъ вона до дида пидлестылася.

Дидь Мыронъ увійшовъ у хату, сивъ на лави зъ дивчынкою на колинахъ, и тутъ тилькы вона прызналася, що їй дуже хочеться сыру покоштувати.

Дидь прысунувъ мыску, взявъ ложку и почавъ їи годувати.

Марына вызырнула з-за печи и сказала буцимъ сердытымъ голосомъ:

— Ну, вже вы, тату, скризь їи балуете. Нехай бы пождала, поky вси будемо снитаты. Ось я заразъ и млынцивъ напечу.

— Э, що тамъ! дытына йисты хоче,—обизвався дидь.—А де Иванъ?

— Пишовъ сино роскыдаты: вы жъ загадували.

Дидь Мыронъ спустывъ Тетянку, вставъ, умывся надъ помыйницею и, сказавшы: „пиду й я,“ пишовъ зъ хаты.

Тетянка, найившыся сыру и забилывшы соби все лычко, черезъ що стала нагадувати вышневы вареныкъ изъ сметаною, повинна була прынятыся за роботу, бо Мыколка, другый їи братъ, запыщавъ въ колысци й маты звелила їй поколыхаты його.

Колы дидь Мыронъ зъ своимъ сыномъ Иваномъ прышли снитаты, млынцы булы вже готови. Прыбигъ и Грыцько—саме якъ разъ на млынцы поспивъ—и не клыкалы. Посидалы й почалы мовчкы йисты. Мыронъ звычайно дуже мало балакавъ зъ Иваномъ та й не було про що балакаты. Тилькы чуть було, якъ Грыцько на всю хату плямкавъ ротомъ: дуже йому сподобалыся млынцы.

Не вспилы вони й поснитаты, якъ у хату вскочыла гарненька молодычка, сказала: „здрастуйте“ и зареготалась, потягла носомъ, сказала: „охъ, якъ ловко пахне: мабидь, горохвяныкы пеклы?“ и зареготалась.

Марына кынула на молодычку такымы очыма, якъ кить на собаку, й подумала: „отсе, Боже мій, и поснитаты не дасть,“ встала й пишла до печи щось тамъ прыбираты. Колы Марына сердылась, вона такъ шыро робыла, що одно—роботу подавай, тилькы робыла зъ грюкомъ, зъ стукомъ, наче вона заставляла все за себе говорыты, та, здається, що зъ серця вона бъ усю роботу, яка ѳе на свити, переробыла; черезъ те, бувало, їи свекоръ, якъ хотивъ, щобъ хлибъ бувъ скорійше знятый, роздра-туе їи ранійше чымъ-небудь и тоди вже тилькы держыся: Марына такъ почне в'язаты, що два косари не впишатыся за нею косыты—все в'яже, все мовчыть, тилькы сопе та соломою ше-

лестыть. Ось и теперъ вона мовчки стала прыбираты, мыты, та здорово грыкаты, та живо-живо робыты.

— Сидай, дочко, сидай, поснидай зъ намы,—сказавъ Мыронъ.

Иванъ тежъ промовывъ тыхымъ голосомъ,—у нього бувъ тыхенький голосъ:

— Сидай, Оксано!—и посунувся дали.

Оксана була дуже похожа на брата: така жъ, якъ винъ, чорнява, висока, тильки не довгообраза, а повновыда й весела; винъ же бувъ смутный и дывывся бильше все доли, тоди якъ въ Оксаны очи були открыти на весь свить, якъ пташки вильни.

Дидъ Мыронъ, побачывшы, що невестка пишла, сказавъ строго:

— Марыно, а давай намъ ще млынцывъ, якъ йе, и сама сидай... чого втикла?

Марына одвитыла кризь зубы:

— Мени николы!—та все жъ такы подала на стиль свижыхъ млынцывъ.

Оксана подывылась прямо на ии сердыте лице, на насуплени руди брови, зциплени, наче зшыти губы й сиреньки очки, що не дывылись на неи, и весело зареготалась. Марына такъ шпурнула мыскою, що мало не розбыла, а дидъ Мыронъ гримнувъ:

— Що се, чы здурила?—й до дочкы:

— А ты чого? Раденька, що дурненька!

— То я, тату, зъ Тетянки,—выгадала Оксана, бо ий не хотилось сердыты сьогодни батька, хочъ гнивъ зовыци скризь тишывъ ии, й вона рада була скризь ии дрочыты,—вона такы змалечку любыла дрочытсья—одъ котенятъ та щенятъ ажъ до бративъ.

Вси глянулы на Тетянку: вона вже кончыла йисты й теперъ, высунувшы кинчыкъ червоного языка, що бувъ похожий на поюзмку, ляпала себе по щочи ложкою й прыслухалась до того ляпанья, наче до музыкы, схылившы голову на бикъ.

Вси засмйялись, а Тетянка строго сказала:

— Се бондарь.

Вси ще бильше зареготались, и сама Марына усмихнулась, та заразъ же повернулась спыною й стала годуваты дытыну, що лежала въ колысци.

Дидъ Мыронъ одйшовъ одъ сердца й слытався у Оксаны, що робытсья у неи дома?

Оксана з'їила на-швыдку пару млынцивъ и сказала:

— Та ось, тату, мій Андрій (Марына подумала: „мій“ каже— дурна!“) хотивъ самъ до васъ прыйты та його въ зборню потягли: прыйшовъ дядько Семень и вони разомъ пишли.

— Що жъ тамъ таке?

— А хто його знае... якись гроши, якесь дило... винъ хотивъ самъ, а я не знаю, їй-Богу... винъ сказавъ тилькы: „пиды до батька, попросы дуже-дуже, щобъ прыйшлы“.

Мыронъ почавъ угадувати:

— Ага, такъ то, мабуть, за процентъ... чы?..

— Не знаю, їй-Богу, не знаю.

— Ну, то що жъ, добре! я, може, прыйду, я...—Мыронъ скосяглянувъ на сына й невестку, хочъ йому й не прыходылось бы такъ дывытись, и швыденько повторывъ:— Добре, добре, я прыйду, нехай! Що тамъ таке?..

— А я пиду... прощайте... мени треба,— заклопоталась Оксана, схопылась и счезла, якъ зирочка зъ неба скотылась.

Дидъ Мыронъ покрутывся-покрутывся по хати, кынувъ сынови:

— Треба жыто перевіяты та у млынъ одвезты (се бувъ такый празнычокъ, що выламы й лопатою можна робыты, абы не косою), —й счезъ вслидъ за дочкою, якъ дымъ изъ бовдура.

Писля того, якъ батько выйшовъ, Марына метнулась прыбираты зъ столу й почався такый стукъ та грукъ, що у Ивана въ ухахъ зашумило.

— Чого ты лютуешъ?—спытався винъ.

— Ото жъ пишли,—вона мотнула головою на двери, — пишли зятя „любезного“ вызволяты, довгъ на свою шыю браты... Цыть!—се вона крыкнула на дитей, бо Грыцько, сказавшы Тетянци: „а ну, давай я „бондаря“ зроблю“—такъ ляпнувъ ложкою по щочи Тетянку, що тая заверещала.

Писля матерыного „цыть“ диты прысилы, якъ квиткы писля дошу.

Иванъ тыхо спытавъ:

— О?

— А вже жъ ніякъ,— одризала Марына, вона була сердыта й на чоловіка, дали прыбавыла:—ну, и стерво сучого сына, чого лизты, колы замужня? Замужня дочка для батька—одризаный шматокъ хлиба, а вона чепляється, якъ смола до чобота! Ёе чоловікь—чого

ще? Не бійсь, сама не обпирає, не зодягає, не годує!... И „вони“ туды жъ, якъ бжолы на медъ... Дочка риднійше одъ сына, тьху!

— Вчора дидь,—сказавъ Грыцько,—хустку титци Оксани пода-  
рувавъ... червону-пречервону...

— Ни, брешешъ—жовту, и я бачыла,—перебыла Тетянка.

Грыцько штовхнувъ ии, а маты зновъ сказала:

— Цытьте вы!—и додала,—що жъ се таке? Доки ще се буде? Хиба мы ій наймыты, чы що? Я такъ не хочу! Вона жъ зъ мене сміється, стерво! Хиба я не знаю, чого то вона за сніданнямъ, якъ курка, роскудахкалась? Все гостынцы ій, на ярмарокъ изъ нею, имъ перше ореться, у ихъ ранійше сіється, хочъ кони жъ на-  
ши—що се справди? Де се выдано?

— Та нехай!—сказавъ тьхо Иванъ.

Марына загримала посудомъ и передражнила:

— Нехай!... Тоби все нехай, будешъ наймытомъ у зятя службы-  
ты ажъ до...

— А що жъ мени робыты?

— Що? Скажы, що такъ не хочешъ, нехай насъ оддиляють—  
отъ що!

— Эге, такъ то й скажешъ, хиба батька не знаешъ?

— Дуже ты вже... плохый!—сказала строго Марына, а про себе  
подумала,—се, правда, для мене выгднійше, що тьхый, тиль-  
кы...—и змовкла.

— На те вони—батько. Ничого не зробышь... Питы жыто пе-  
ревіяты.—Иванъ вставъ и пишовъ, а въ дверяхъ сказавъ ще:—  
а довгъ зятъовый на шыю я вже браты не буду, се вже нехай якъ  
хотяте соби, де вгдно грошей здобувають... се вже ни!

Выйшовъ зъ хаты и колы вівъ жыто, спытавъ себе, чы  
мигъ бы винъ справди оддилытыся и жыты самъ безъ батька, и  
ришывъ, що ни, бо батько порядокъ дає и все знає, колы для  
чого врем'я, и майстеръ на вси руки, а винъ що? винъ тилькы  
вміє, якъ слидъ робыты, що йому батько загадає, а самъ не вміє  
розмиркуваты.

— Ни, безъ батька не можна, хочъ, може, батько не по прав-  
ди робыты, якъ каже Марына, що зятя такъ жалує, а на сына не  
дывтыся... ну, то що жъ? То чоловикъ сестрынъ, тилькы пога-  
но, що Марына сердытыся: краще бъ якъ-небудь мыромъ обійтыся!

Марына жъ думала, що безъ свекра можна прожыты и дуже  
можна, абы чоловикъ смилійшый, а то такый, що скоро йому на

шыю сядуть! И напевне батько йому и той довгъ нав'яжуть, и буде винъ плататы, чы своимъ горбомъ одробляты. Ни, такъ не можна! Самій по иншому повернуты—тежъ не можна, бо свекоръ мае право ии зъ хаты выгнаты, а чоловикъ буде до батька тягты, а кримъ того й те правда, що зъ батькомъ жыветься лекше и краще... Ну, треба тилькы його одъ дочки одбыты... Якъ? Марына някъ не могла сього узла розвязаты. Пидвесты Оксану? Батько ни за що въ свити не повирьты. Зятя пидвесты? Батько й такъ знае, що Андрій—ледащо, а для-рады дочки прыставляється, що буцимъ не знае... Нема способу! Треба ждаты, покы батько ввре, а винъ ще такой здоровый та й самъ по соби чоловикъ ничего, внукивъ якъ балуе—Господы! Тилькы якъ же смила Оксана зъ Марыны сміятысь? И скрызъ вона таку пыку кривьты, якъ зустринеться зъ нею, наче надсмихається, наче вона розумнійша. Марына не може сього простыты, не може забуты. А сей Иванъ, наче собака, що прывыкъ прыв'язаный на мотузци жыты: хочъ и одвяжешъ, все буде на одному мисци сьидиты! Отъ же, здається, розумный чоловикъ свекоръ, розумный и строгый, а прылпъ до своеи дочки, якъ дугены!

\*  
\* \*

Колы Мыронъ прыйшовъ у зборню, тамъ вже назбиралось багато народу. Все гомонилы, крычали й наступалы на якогось розчухраного чоловика зъ сирымы великымы очыма, безусого, зъ червонымы повнымы губамы, зъ довгымъ русымъ волоссямъ, що крутився передъ нымы, якъ ящирка. Се й бувъ зять Мыронивъ—Андрій. Винъ кинувся до нього, якъ налякана казкою дытына.

— Тату, тату, рятуйте,—шепнувъ винъ йому на вухо,—якъ треба буде вамъ... то я... тилькы теперь... вить свій буду дякуваты...

— Геть!—одпыхнувъ його Мыронъ, а самъ продрався черезъ громаду, якъ черезъ репьяхы, й крыкнувъ:—Що тутъ у васъ таке?

Все почалы балакаты разомъ, показуваты пальцемъ на Андрія.

Мыронъ розсердывся:

— Та кажы хто-небидь одынъ, а то застрекоталы вси, якъ сорокы!

Тоди вси стыхлы, а одынъ рудый здоровенный чоловикъ зъ такою шырокою спыною, що хочъ санкамы пройихаты, почавъ



крычаты, гризно блымаючы очыма на Андрія, що той у нього латку гэрода купувавъ, давъ йому завдатокъ изъ позыченыхъ грошей; теперъ отсей дядько правыть процентъ за свои гроши одъ Андрія, той же правыть свій завдатокъ одъ нього назадъ,—значыть, не мае сылы выплатыты, а тымъ часомъ винъ упустывъ доброго купця на городъ, що бильше дававъ, и Андрій повиненъ йому шкоду сплатыты, а винъ не хоче, одказується, що грошей нема, а а самъ все базикае: „а якъ же, довгъ—се перше дило, я знаю... о, я знаю, договоръ дорожче грошей“ и всяку всячыну плете.

Другый дядько—той, що Андрій йому бувъ вынудатый пятдесять рубливъ,—гладкый чоловикъ зъ сытымъ, веселымъ лыцемъ, похожымъ на гарбузъ, докорявъ його, що винъ не платыть проценту, затыгся,—нехай йому оддае заразы або вси гроши, або процентъ, а то винъ не хоче ничего слухаты.

Выступывъ ще чоловикъ, сирый, якъ земля, зъ зеленуватымы очыма, розмахнувъ дуже рукамы й лаявся, и доказувавъ, що Андрій — бодай його—заставывъ йому свою землю и гроши получывъ, а пилья зновъ—с-ъ сынъ, щобъ йому!—отсыому передавъ и зъ нього гроши тежъ взявъ; нехай оддае гроши назадъ!

Выйшовъ напередъ ще чоловикъ, малый, крывый та поганый и пропыщавъ:

— Оддавай мои гроши, що я за землю давъ.

И ще багато людей выбывало Андріеви очи за дрибни позычкы. Андрій метавсь и туды, и сюды, мало не плакавъ, а ничего не мигъ вдіаты: вси на його тюкалы й прыступалы. Винъ любывъ гандлюваты й киньмы, й землю, и йому въ голови здавалося, що все буде йты, якъ по маслу: тамъ винъ позычыть, тамъ оддасть, тамъ купыть и—такъ ловко выйде!... А ось теперъ вклепався такъ, що, хто його знае, якъ и выдряпається! Винъ не ждавъ, що воны вси разомъ до нього прысипаються й будутъ судомъ лякаты,—ранійше йому все якось сходило. Мыронъ дывывся, дывывся на Андрія, що перше крутився, а теперъ спустывъ руки й глупо промовывъ:

— Ну де жъ я вамъ визьму тыхъ грошей? Я бъ и самъ радый колы бъ булы!

Прыкро Мырону стало, що його зять такый—закручуваты чужи гроши умивъ, а оддаваты не вміе, що винъ—якъ зъ клоччя батигъ; тилькы винъ тежъ знавъ, що треба сього „храпака“ вызволыты, безпреминно треба, бо... треба. Винъ почавъ лагодыты

дило: здоровому чоловікови зъ широкою спыною, у кого Андрій землю прыторгувавъ, винъ сказавъ, що нехай завдатокъ зостається у нього, бо Андрій, скоро збереться на гроши, купыть землю и шкоду сплатыть; чоловікови зъ гарбузачымъ лыцемъ обцявъ винъ самъ процентъ заплатыты, а черезъ годъ и гроши, якъ Богъ дасть, вернуты такъ, якъ и тому чоловікови, що давъ Андрію за його землю шисть рубливъ, другому жъ дозволявъ користувать-ся Андріевою землею, бо вона була йому ранійше заставлена.

Такъ помырывъ усихъ Мыронъ. Все были довольни. Бильше всихъ, розуміється, бувъ радый Андрій: винъ ажъ почервонивъ и не знавъ, якъ дякуваты тестеви—хотивъ його въ руку поцилуваты, тилькы Мыронъ, сказавшы: „ну, гляды мени, собачый сыну!“ повернувся й пишовъ соби, не давшы йому руки...

Видкиль же думавъ Мыронъ взяты тіи гроши для Андрія? Николы у нього не було разомъ въ рукахъ стилькы грошей, продаваты жъ худобу й коней—винъ ни за що бъ не продавъ. Дуже просто: винъ ривъ иты самъ у наймы, винъ—хазяинъ, винъ, що мигъ за сынамы зложывшы руки сыдиты, винъ самъ себе въ наймы хотивъ упекты! Называвъ Мыронъ дурнемъ того чоловіка, що служывъ у наймахъ и все свои гроши отдававъ чужій жинци, що чоловікъ покинувъ, и дитей іи содержывавъ, хочъ знавъ, що вони його на старистъ литъ не погодуютъ,—называвъ дурнемъ, а що самъ задумавъ робыты?

\*  
\* \*

Колы Мыронъ сказавъ про свое „ришеніе“ дома, Марына зашумила: горшкы, мыскы й ложки разомъ заговорылы въ іи рукахъ; вона не смилла выговорыты своеи досады, тилькы стала умовляты:

— Та вы жъ стари, куды жъ вамъ найматысь, чого вамъ у пекло лизты?

— Не твое дило,—одвитывъ Мыронъ, хочъ самъ подумавъ:—що правда—то правда, ну, та ничего не зробышъ—тра служыты!

— Се вы все для того Андрія запрягатысь думаете—я знаю, а ій-Богу винъ не стоить того...

— С-нъ сынъ!—сказавъ Мыронъ.

— Отъ бачыте, а вы... плюньте на його, нехай йому бисъ! Будете на його свои сылы покладаты!

Мыронъ тильки рукою махнувъ.

— А якъ же мы, тату, безъ васъ?—вставывъ свое Иванъ.

— Буду навидуватись,—коротко одривавъ Мыронъ.

Марына побачыла, що ии слова батька зачепылы, и ще стала доказуваты, що не вартъ за зятьови довгы свою спыну гнуты, що не варто йому грошей даваты, бо зновъ пропустыть, и що самъ Андрій не стоить батькового мызынця, а буде його потомъ зароблени гроши на витерь пускаты.

— Та буде,—застогнавъ Мыронъ, наче йому хтось болячку прыщывъ,—самъ знаю, самъ все знаю!...

А проте нанявся й выслужывъ годъ, и гроши Андрію оддавъ (чы, пакъ, не Андрію, а тымъ людцямъ, що бувъ Андрій вынுவатый), и городу йому латку прыкупывъ, одно слово—пидчынивъ зятя. Оксана повеселійшала.

Та не тильки жъ того, що Мыронъ нанявся на годъ, щобъ вызволыты зятя,—винъ помагавъ йому всимъ, що тильки самъ мавъ: — винъ своимы киньмы оравъ, волочывъ и возывъ имъ хлибъ; винъ дававъ зерна на посивъ и борошна, якъ свого не хватало; дававъ дрибни гроши Оксани на силь, крейду, гасъ, мыло; дававъ овощу, лису, соломы, очерету, у ярмарку купувавъ платкы, на карсетъ, на спидныцю, лагодывъ стриху, строивъ клуню, ворота, пливъ тынокъ... та мало чого не робывъ! Оксана такъ и прывыкла: чого нема—заразъ до батька, винъ непременно дастъ; якъ бы Марына не грюкала, для неи не було одказу: все, що було Мыронове, те було й Оксаныне,—се Оксана знала одъ самого малечку и брала такъ, наче инакше й не може буты, брала безъ спасыби. Здається, щѠ мижъ батькомъ та дочкою може буты? Тее, що мижъ пташкою та каминнямъ, тее, що мижъ витромъ та травою: одно литае, чы вие вильно, друге до земли прытулене—не йде никуды. Правда, Мыронъ бувъ для Оксаны „трохы“ й маты, бо винъ ии самъ писля смерты своеи жинкы соскою выгодувавъ. Ну, то що? А все жъ такы дочка у чоловика на те, щобъ, якъ врем'я прыйде, выхопытись зъ рукъ батька и, якъ пара зъ бани въ двери, утикты одъ його; значыть, не слидъ до неи й прывыкаты: николы вона старого батька не буде годуваты, на чужу сем'ю буде робыты й годыты, про свою й забуде. Своя у неи—нова сем'я, свое горе, своя радисть, та й не прыстало чоловику за дочкою жалкуваты, бо вона для його такы чужа, якъ зирка на неби. Отъ друге дило сынъ,—то тежъ чоловикъ:

такожъ робыть, такожъ думае, такожъ на все дывытсья, якъ винь самъ. Одынъ Мыронъ такъ трымався за свою дочку, якъ грыбъ на берези, и крипко сумувавъ, якъ замижъ отдавъ, и хочъ винь не вмивь зъ нею й балакаты, а любывъ слухаты ии балачкы и все прыказувавъ: „а ну, ну, кажы!“ Для його безъ ии реготу та писень наче сонечко не грило: такъ и кортило його питы, подывытсья, почуты, що вона робыть, якъ ий? Такъ кортыть хлибороба питы подывытсья, чы вже цвите жыто, чы налився колось...

Може, тымъ винь такъ тремтивъ надъ нею, що була вона дуже схожа зъ матир'ю, а покійну жинку свою Мыронъ пам'ятавъ такъ, що вже вдруге не женився, бо, казавъ винь,—першый шматокъ хлиба солодшый. Кажуть, що вона бъ то ждала на його писля того, якъ були воны заручени, ажъ тры годы, покы поженылысь, а теперь се въ дывовыжу, бо сватаеться хлопецъ зъ хаты въ хату и дивка йде, якъ гуляты надокучыть, за першого, що посвата.

Може любывъ Мыронъ Оксану за те, що ий треба було помагаты, бо сыны самы соби пораду найдуть, а вона, якъ былынка, безсыльна—треба ии пиддержаты; може тымъ, що однялы Оксану одъ нього, тымъ винь ии й любывъ, чы, краще сказавшы, вона сама себе одъ нього одняла, бо самохить за Андрія пишла. Не такого зятя бажавъ Мыронъ, не хотивъ Оксану отдаваты за такого парубка и сердывся, и лаявся, и быты ии збирався, та ничего не помоглось: Оксана въ одну голову хотила йты за його. Мыронъ не схотивъ неволыты и справывъ самъ весилля, и тельцю, и овечкы, и порося Оксани подарувавъ на нове хазайство. Було бъ йому такъ зробыты, якъ той чоловікъ, що прыв'язавъ дочку косамы до воза того молодого, що самъ для неи выбравъ,—такъ и до винця пойихалы,—та Мыронъ не прывыкъ быты Оксану, хиба якъ мала була, та й то бильше натупае, нагрымае та й годи. И не мигъ винь довго на неи сердытсья, бо вона, побачывшы, що батько лыхи, заразы або жартомъ, або штукою й одверне його серце, якъ гайку обценькамы, и винь мусыть засміятсья и пересердытсья.

— Хай же на батька выны не прыганяе,—казавъ Мыронъ,—сама выбрала—хай и живе, якъ знае: бачылы очи, що купувалы йижте, хочъ повылазьте! Про мене!...

Такъ винъ казавъ, а самъ ніякъ не мигъ помырытысь зъ тымъ, що у Оксаны такой чоловікъ, що передь нею наче гасъ смердючий передь молокомъ, наче болото передь крынычкою. Винъ не любывъ бачыты його сирыхъ вытрищенихъ очей, його червоныхъ, м'якихъ губъ и черезъ те не бувавъ у Оксаны въ хати, а хотивъ, щобъ вона сама прыходыла до його, хочъ Андрій дуже до його пидлещувався.

— Хочъ бы винъ бувъ кращый, хочъ бы винъ бувъ розумнійшый!—думавъ Мыронъ и не разъ казавъ Оксани зъ жарту и зъ сердца:—Не вирь йому—винъ брехунъ!—тільки Оксана заразъ доказувала, що ни.

Мыронъ спокутувавъ за свои слова и думавъ:—Чы я жъ хотивъ бы ихъ розвесты? Ни, ни! Нехаї вже жыуть зъ мыромъ.

Разъ Оксана прыбигла перелякана и розказала, що Андрій тяжко заслабъ и треба ворожку зъ чужого села, що, кажуть, добре помагае, поклыкаты. Мыронъ не вдержався й сказавъ:

— А плюнь ты на його, хай тамъ соби!..

— Э, ни, тату мій ридненькый... Такъ стогне, такъ стогне, що Господы! Ще вмре! Йидьте, тату, швыдче...—вона кланялась йому до земли й тягла зъ хаты—коней запрягаты.

Мырону стало жалко дочкы, якъ побачывъ винъ ии сльозы; тилькы подумазъ винъ, що його, старого, николы вона такъ не пожаліе—и не хтилося йому йихаты. Вона прыкметыла тее й почала голосыты:

— Ой, Боже мій, Боже мій, що його робыты?—писля схопыла себе за голову й побигла.

— Куды ты?—крыкнувъ батько.

— Попрошу у Степана (старшый братъ ии) коня, якъ що дасть...

— Дурна, аже жъ я ось самъ йиду!—грымнувъ Мыронъ.

Такъ и пойихавъ, и привизъ ворожку, и вырятававъ зятя одъ смерты.

Досадно було Мыронови, що Оксана вже не була така весела, якъ попервахъ,—вона, якъ обирвана квитка, зов'яла: одно те, що недостатки ихъ прыбывалы ии до земли, а друге те, що свекруха лыха, якъ шулякъ на курча, насидала на неи. Выйшла вона замижъ на весни, а литомъ нужду пизнала: хлиба того-ришнього у ныхъ не стало, худобы не було, пичъ валылася, хата хылылась. Вдома всымъ вередувала: якъ хлибъ вчорашній, а

не м'який, то заразь губу копылыть та кыда шматокъ на стиль, а тутъ вже не такъ! Ну, то ще дарма—батько помочи дававъ: винъ скрызъ поспивавъ, наче у його десять рукъ выросло. Бида въ тимъ, що Оксани прыйшлося тяжко роботы: все самій та самій. Вона жъ була нижна: на жнывахъ никола не бувала, зросла въ роскоши, бо служыла въ тютюни, дома жъ все Марына поралась; гроши, що заробляла, соби забирала и ловке убрання справляла—теперь все тее носылося и гвалося на роботы, а нового не справлялы: ни за що було,—а теперь ось який скрутъ прыйшовъ, тымъ бильшъ, що надъ нею що-день знучалася свекруха. То була ще не стара жинка (у неи було трое малыхъ кримъ Андрія), скупа та лыха: цилый день вона грызла Оксану, бо хотила ий „носа утерты“, щобъ не була горда, що батько багатый, що сама молода та гарна; заведеться, було, за ка-зна-що и почне, и почне ии лущыты та лаяты. Лаялась вона страшнымы словамы, ще й передъ образами кляла и Оксану, и батька ии, й матиръ ии, и свого ридного сына, що Оксана буцимъ то прычарувала. Що бъ Оксана не зробыла, то все не такъ: зварыть вона борщу, то—чого несолоный? то—чого сырый, мутный? то—чого збигъ? и почынається лайка:

— Матери твой бисъ, ты ничего не вмѣшь, ты й така, й сяка, и геть зъ моеи хаты!... Бый ии, Андрію... А, ты, суча дочка, його прыворожыла... Кажы, чымъ ты його прыворожыла, суко? Щобъ ты сказылась, щобъ тоби добра не було, щобъ ты скрутылась! Щобъ ты...

Не можна й переслухаты: якъ жорна въ млыни, молола вона безъ кинця, безъ кинця кляла, докоряла и лаялась, покы не выговорыться. Правда, вона не зовсимъ дарма нападася на Оксану, бо та такы мало що въ хазяйствы умила, та тилькы чого жъ вона такъ и кыпила, такъ и плыгала въ вичи, такъ страшно лаялась замистъ того, щобъ показаты, або розказаты,—лаялась за кожну дурныцю: отъ хочъ за те, що поставыла горщыкъ не на полыци, а на лави? на що дитей своихъ навчыла Оксану „суцкою“ зваты, на що Андрію быты ии прыказувала? Попервахъ Оксана на те не вважала: сміялась, робыла по своему, чы сама одвичала гостро и лаялась; писля почала плакаты й сумуваты, и холонуты, якъ тая людына, що зимою середъ билого безлюдного степу замерзае. Оксани було тяжко прызнаватись, що иншый разъ свекруха ии правду казала, що вона, Оксана, справди ни-

чого не вміє робити—і руки опускались у неї, а свекруха, прикметивши тее, заразь присикається:

— А ну, якъ ты сее зробишь? а ну, ну, якъ ты сама паскы пектымешъ, нехай я побачу! Ось же ничего не скажу, ни словечка,—робы сама, якъ знаешъ!

— Та чого бо вы глузуете зъ мене!—крыкне Оксана, якъ божевильна, а дали въ сльозы.

Такъ бильше всего було обидно Оксани, що вона була у свекрухы „неспособною“: вси іи, якъ вона въ тютюни служыла, звалы ловкою й швидкою, а тутъ—на тоби—неспособна! Сама Оксана бачыла, що наче бъ то вона й справди „неспособна“, бо в'язаты жыта за чоловикомъ не поспивае, дижу то ридко, то туго замисыть, то горщыкъ зачепыть брачкою й розибье,—тоди й бижыть вона до батька и ныщечкомъ выпрошуе якого-небудь горщычка, а батько крадькома одъ Марыны вынесе й дасть ій зав'язаный въ хустку горщыкъ. Перше Марына не могла зрозумиты, де подивалыся іи горшкы, що ни въ чому борщу зварыть, та скоро догадалась, розсердылась и сказала батькови:

— Въ чому жъ варыты я буду?...

— Ось, пожды, я тоби нови куплю, не бійся!—одвитывъ Мыронъ.

Марына почула, що теперь все можна, и пробурчала:

— Эге, купыте! Знаю я васъ: и зновъ отдасте!

Самъ Мыронъ добре знавъ, що погано розносыты свое добро и жалко йому було Марыны; винъ бачывъ, якъ ій боляче зъ своимъ розставатысь, та що жъ зробишь: адже жъ и Оксана не може въ нужди жыты! Мыронъ теперь наче у себе самого кравъ—ну, се дарма! та винъ кравъ и у сына, и у невесткы, и у ихъ дитокъ, и було йому ніяково и наче промерзле дерево зимою, скрыпивъ винъ, схылывшысь на бикъ, а все такы инакше робыты не мигъ, якъ не може соняшныкъ до сонця не тягтысь.

Не хотила Оксана, щобъ людє знали, якъ вона самохитъ соби свитъ зав'язала, и довго ховалась одъ людей и не жалилась никому на свою свекруху, бо була тежъ горда, якъ и батько іи. Вона перше не хотила розказуваты й йому про недолю свою, та винъ самъ догадався; хочъ бувавъ винъ у дочкы ридко и свекруха пры йому не обисмилювалась лаяться, та замичавъ винъ часто перелякани очи й поблидле облыччя своеи дочкы и

спытався якось, чого вона смутна ходыть? Тоди Оксана не вдержалась и зъ плачемъ все розказала. Зъ того часу ставъ винъ іи ще бильше жалиты та думаты, якъ іи вызволыты, а вона почала прыходыты до його нышкомъ, щобъ заплакаты та пожалить-ся, бо не хотила, щобъ Марына бачыла іи сльозы.

Марына не совитувала, якъ и батько, Оксани йты за Андрія, бо убогый; теперь же вона ніякъ не могла помырытысь зъ тымъ, що все добро одъ ихъ переходыло до Оксаны, й почала все смилійше бурчаты на свекра. Разъ, колы замість повного мишка борошна стало половины, вона сказала батькови:

— Такъ можна и все хазяйство свое перевесты! Все носыть та носыть,—скоро й самымъ йисты ничего буде...

Мыронъ не крыкнувъ и не гримнувъ, а мовчки выйшовъ зъ хаты. Винъ теперь ставъ далеко тыхшый и все ховався зъ своею дочкою: вона бильше того, що прыходыла до нього ввечери, тыхенько балакала зъ нымъ на двори.

Мыронъ, було, спытае:

— Ну, що?

— Та що,—одвитыть Оксана,— зновъ грызла за те, що борщъ якось вывернула... лае й мене, и васъ такъ, що Боже мій!

— Эге,—скаже Мыронъ,— треба бъ сее якъ небидь... нехай ось я подумаю...—Писля винъ нав'язувавъ ій чого небудь у хустку и вона йшла до-дому.

Мыронъ теперь все себе вынуватывъ, що дозволявъ Оксани йты за Андрія: треба було хочъ за косы прыв'язаты, а не пускаты!

\* \*  
\*

Одна тилькы радистъ случылася Оксани: найшовся у неи хлопчыкъ. Назвалы його, якъ и дида, Мырономъ. Старый Мыронъ думавъ, що внукъ зовсимъ на нього схожый, хочъ ще на червоненькому, якъ бурячокъ, лычку ничего не можна було розибраты; Андрій думавъ, що сынъ зовсимъ на нього скидається, а Оксана знала, що Мырончыкъ, чы Мырось, чы Мырокъ, чы ще якось, ни въ кого не вдався, хиба на свою матирь похожый.

Ну, та й родыны жъ справывъ дидь Мыронъ—на славу: ажъ видро горилкы поставывъ,—мабутъ, грошей десь позычывъ! Весь ридъ зибрався гуляты на родыны.



Бувъ тутъ старшій братъ Оксаны Степанъ,—понурий, здоровый, чорнявый чоловикъ зъ насупленымы бровамы, похожий на батька; винъ мало говорывъ та багато пывъ и все зупынявъ свою не въ миру балакльву жинку Домаху. Се була тежъ здорова, гарна молодыця, така чорна, наче цыганка; вона звычайно ходыла въ червоному и зав'язувалась червонымъ платкомъ, такъ що нагадувала гарячу головешку зъ печи. Казалы, що буцимъ то вона—„злодій“, на неи зверталы, колы що пропаде: сорочка, ниткы зъ тынка, забути на поли грабли, выла и друге; въ хатахъ, де вона бувала, стереглысь: ховалы заразы силь, мыло, крейду; правда, тилькы разъ случилось ии пийматы ще дивкою, колы вона зъ двора панського украла свынячу шынку, а то вона була дуже хытра й не попадалась въ руки; за шынку посадылы ии въ холодну, ну, и що жъ? одсыдила та и вже! Ни трохы не було ий стыдно: вона, якъ и перше, ходыла по селу наче краля, такъ само убиралась, такъ само весело дывылась въ вичи людямъ; вона любила погуляты, потанцоваты, балакала багато, проворно сыпала словами, наче горохомъ, такъ що не кончала часомъ слова, а вже набирала друге, тамъ трете—того то чоловикъ все ии прыдержувавъ, якъ молоду коняку за уздечку. Чы знавъ винъ, чы не знавъ, що жинка його злодій? Незвисно. Мабуть, що знавъ, бо вси знали; тилькы хочъ и знавъ, то покрывавъ ии (була вона за имъ, якъ за каминною стиною) и хочъ самъ и чужою ниткы не зайнявъ, скрызъ за неи заступався та на вулицю свого смиття не выносывъ; такъ мовчавъ винъ и про те, що жинка його не чепурна, дитей погано доглядае и не робитныця. Степанъ и батькови ничого николы не сказавъ про свое жыття погане, а на його пытанья, чы тому правда, що люде брешуть, винъ говорывъ:

— Брехня та й годи! Хиба не знаете людей: одъ гадюкъ лютійши.

Такъ що й Мыронъ думавъ, що Степанъ живе ничого соби—добре.

Теперь Домаха, пидпывшы, розійшлася, пустылася въ танци, заспывала, закрычала:—Такий, такой журавель до бабыныхъ конопель!—та все выгукувала:—Ухъ, охъ, охо-хо! Ги-ги-ги!...

— Та годи тоби, годи!—спынявъ ии чоловикъ, поглядаючы скося на другыхъ,—Степанъ, скилькы бъ не пывъ николы не бувъ п'яный и все розбиравъ.

Домаха не слухалась його, танцювала и зновъ завела спиваты вже другу писню:

— Ой, хто пье, хто не пье, а мы будемъ пыты...

За столомъ сидила Домашына маты—суха, маленька баба въ чорному платку по сами очи, зъ червонымы запалымы, наче ложкою выскребленымы шокамы й маленькымы очыма; сидила вона тихенько, зложывшы руки на грудяхъ, а очи ии такъ и в'йидалыся въ кожного: добре прыдывлялася вона до всього, щобъ писля осудыты, що и те було не такъ, и сее не такъ, що той такъ сказавъ, а сей такъ то,—вона була хытра и велька язычныця. Чы не вона жъ и пидглежувала, де що погано лежить, щобъ дочка ии могла пожывытсья? У неи тилькы й була одна сая дочка, а чоловикъ и други вси диты ще малымы померлы; того воны жылы зъ своею Домахою душа въ душу та разомъ Степана про-мижъ себе судылы и часомъ не слухалы його. Часто, було, Корнииха, маты Домашына, каже: „мм . . . хйба такъ воно робытсья?“ а писля вымагае, щобъ Степанъ выкладавъ ий, скильки, чого и куды грошей пишло? Домаха, розумиеться, за матир'ю тягла; колы жъ Степанъ що-небудь до Домахы говорыть, стара й соби влизе: що та що таке?—все ий треба знаты. Степанъ мовчыть, мовчыть, а дали якъ крыкне:

— Матери вашій чортъ, сказиться вы! Ось кыну й пиду соби,—робить, що знаете!

Воны обыдви й попрытыхають и сядять килька днивъ нышкомъ, не чипають його.

Такъ то Корнииха теперъ сидила нышкомъ и дывылася гостро на другу зовыцю Оксаны, Марію, жинку ии середнього брата, Егора, що тежъ, якъ и Домаха, була весела: и одъ горилкы, и одъ того, що чоловикы на неи дывылысь. Вона любила, щобъ на неи люде дывылысь, любила чоловикивъ, а ще бильше парубкивъ, и за се ий постоянно доставалось одъ Егора: винъ часто й по багато ии бывъ, мало не забывъ. Вона кыдала його й тикала багато разивъ, та винъ не мигъ безъ неи обійтысь: кожний разъ перепросыть ии й верне до себе, наче йому вона й справди потрибна. Дитей у ихъ не було—тройко померло, а бильше не було. А вона зновъ почне гуляты, ходыть на музыкы, на гойдалку, якъ дивка; инший разъ визьме, скыне очипокъ передъ парубкамы, ии здорове волосся такъ и розсыплеться по всій спыни, якъ золоте павутыння, всю ии вкрые,—бо була вона маленька,—а вона сміеться

залягається, и никто не може вдержатись, щобъ не засміятысь разомъ зъ нею,—самъ Егоръ бы засміявся, якъ бы побачывъ. Егоръ, якъ и батько, якъ и вси Чайки, бувъ здоровый, високий и чорнявий, и Марья, може, тымъ його прычарувала, що була якъ разъ не така: маленька й биленька, якъ грудочка сыру. Егоръ и стыдывся своєї жинки, колы вона що-небудь выгадувала: пыла за чье-небудь здоров'я, чы що, червонивъ ажъ по всьому выду, скрызъ стыдывся, а не хотивъ ни за що розійтысь зъ нею, якъ други роблять, хочъ Мыронъ йому якось казавъ:

— Плюнь ты на неї, ну їи къ бису! Иде, то нехай иде!

У Марїи не було ни батька, ни матери, а сестры-дивкы поспродали свои латкы городу Егору, а самы повіялысь въ городъ служыты. Се ще було наказаніе, якъ що часомъ котора-небудь з'явтыся провидаты сестру: вони верзлы їй всякы дурныцы про городъ и зовсимъ їи зъ пантельку збывалы; вона почала вже по троху закыдаты „по городському“ й надиваты кохту, якъ люде зъ неї не сміялысь, якъ чоловікъ не лупцювавъ. Винъ їи справди лупцювавъ, якъ соняшныкъ выбывають, покы зъ нього все насиння не выскочыть, а вона не мала проты його серця, бо якъ бы такъ, то давно выкынула бъ його зъ своєї хаты; вона жъ тилькы сама одъ нього тикала й кыдала йому и хату, и все. Дуже хотилось їй въ городъ, та Егоръ ришывъ, що покы винъ живый, сього не буде, а що Чайкы удумалы, того не зминять вѣкъ, и кожный день у ихъ коїлося—Марья хоче йты, крычыть:

— Хто мене сміе вдержаты? Я вильна людына така, якъ и ты,— а винъ їи въ ухо—разъ, по потылицы—два.

Вона:

— Никого не боюся, окрімъ Бога!... Геть, одчепыся, я така жъ людына, якъ и ты!—а винъ їи ще — трахъ-трахъ, и вона тика, якъ блыскавка, черезъ городъ, черезъ болото, геть-геть, ажъ покы його не чутъ стане, де-небудь сховається, а на другый день винъ иде їи шукаты, перепрошуваты, покы не верне зновъ; тоди зновъ черезъ килька днивъ лупцюе, бо досадно йому, що винъ просывъ їи. Совитувавъ йому батько взяты соби якого-небудь хлопця за дытыну, бо не можна жъ чоловікови безъ помочи на старисть литъ зостатысь; та винъ не слухався, хочъ скрызъ батька слухавъ. Совитувалы й Марьи люде выгнаты Егора зъ хаты, та вона не згожувалася, бо казала вона:

— Винъ все жъ такы чоловікъ добрый: другый бы, мо, мене и вбывъ!

Бувало часомъ, якъ помыряться, то й поживуть тихенько зъ тыждень; тоди ажъ дывытысь на ихъ весело: скризь у-двохъ ходять, скризь одно до одного усмихаються, Егоръ же все прыдвляється до Марьи, наче винъ зроду ии не бачывъ. Ось и теперъ Марья танцювала, а Егоръ, взявшысь крпико за голову обома рукамы, наче щобъ не розбылась, або не одирвалась, дывывся на жинку и бильше ни на кого, вылупывшы свои вельки затуманени одъ горилкы очи.

Хто жъ ще на родынахъ бувъ?

Розуміється, була Марына зъ чоловікомъ. Вона не була весела, бо й доси не прыдумала, якъ батька одъ Оксаны од'учыты, и сердылась на чоловіка, що потишавъ ии тымъ, що все инакше пиде, якъ батько вмруть, а покы що треба терпнты. Теперъ ще бильше досадно ий стало, бо батько на родынахъ у Оксаны такый радый ходывъ, наче гроши знайшовъ, усмихався до всихъ, наче йому ловкый сонъ снывся, писля зробывся такый щырый, що подарувавъ Оксани и ягня, и теля, и одмитывъ сее,— наче бь то намалювавъ—на стини вуголлямъ, и все прыговорювавъ Оксани, трымаючы ии за рукавъ:

— Якъ наррравыться, то заберешъ соби, а якъ не наррравыться... то я й соби зоставлю.

Вона:

— Та спасыби вамъ, таточку!—а винъ зновъ:

— Тилькы якъ нарррав... ыться... то заберы, а якъ не наррр...—и такъ тягъ тее—ррр, наче визъ торохкотывъ, а дали крыкнувъ:

— Ну-те, хлопци, до чопа!

Бильша половына гостей потягла за нымъ...

Марына сердыта прыйшла до-дому: вона тилькы що довидалася, скилькы батько въ наймахъ получають; то винъ все не прызнавався имъ, а теперъ, п'яный, комусь проговорывся.

— Ну, та й хытрый же батько! — засміявся Иванъ, тежъ трохы п'яненкоый.

— Погано, що ты не такый!—сказала Марына.

— Якый?

— Дурный! — одризала Марына.—И хто бъ ихъ грошей схотывъ? Ховаються!—зъ сердцемъ сказала вона,—все для своеи

Оксаны, ото цяця, стерво! А якъ ты прысоглашавъ третю коняку купыты—пошту возыты, дакъ ни!—Вона обернулася; Иванъ вже спавъ, поклавшы свою гарну голову на стиль.

— Тю, на тебе!—промовыла Марына и стала стелытыся.

Батько вернувся до дому пизно. На другый день винъ ходывъ, якъ хмара: винъ любывъ гуляты й пыты, не жалувавъ грошей, а вранци самъ сердывся на себе, що гроши перевивъ и що не мигъ робыты, якъ слидъ,—въ голови йому шумило; та все жъ такы, колы зновъ пидходывъ случай, винъ пывъ и гулявъ, розвертався, якъ ричка на весни, що вси гребли позносыла. Сынъ його, Иванъ, бувъ слабый на горилку: одъ килькохъ чарокъ вже у його голова крутылася, не мигъ винъ зъ батькомъ поривнятыся.

\*  
\* \*

Дуже тишылася Оксана дытыною своею. Охрестылы його, якъ сказано, Мырономъ. Кумою була Марья Егорова: Андрій знавъ, що вона багата й бездитна, а Оксана ии просто любила бильше другихъ своихъ зовыць; кумомъ бувъ той самый чоловикъ, що Андрій гроши позычавъ, и що теперъ зъ нимъ помырився. Мырончыкъ здався своей матери кращымъ одъ усихъ дитей, що вона на своимъ вику бачыла, а головне те, що:

— Воно жъ таке манюсюсиньке, ой, такой же манюпунчычокъ, а все въ його такъ, якъ у людыны, ажъ пазурци на малыхъ пучечкахъ йе!...

Правда, Оксана не дуже знала, що йому робыты, часто зовсимъ було змучытыся, покы добере дила, чого йому треба, часто обгодовувала його такъ, що воно ажъ блюе, бо ий здавалось, що „плаче, значыть—йисты“; часто безъ толку вона голосыла надъ имъ, якъ воно було слабе, замисть того, щобъ щось прыдуматы,—вона сама жъ його й простужувала, якъ прыбыжыть прямо зъ ричкы холодна до нього,—та все жъ такы воно бильше ий втихы прыносыло, нижъ горя. Ну, а вже якъ вона радила, якъ воно вперше „ба, ба, дя, для“... почало казаты. Все, було, зъ имъ говорыть, наче зъ старымъ. Воно вытрищыть на неи оченята, граеться ии намыстомъ, а вона йому:

— Треба намъ конячку купыты, эге, мое золотко, мое серденько, „коропунчычокъ“, эге?... Пойидемъ у ярмарокъ, соколычокъ, гороб-

чычокъ, чобиточокъ мій... (вона його звала якымъ попаде найменнямъ, що їй гарнымъ здавалось)... Ось городу латочку прыкупымо... тютюнцю посіємо... теперь, знаешъ, треба намъ и конячку, бо не можна жъ въ хазяйстві безъ конячки, эге такъ, мій му-му-мусинькій?—и почне цилуваты свого „мумумусинького“.

Ажъ свекруха, було, осмихнеться, слухаючы тую розмову, та скаже:

— Дурна ты, хиба воно що розбирае?

— А вже жъ розбирае!—одкаже сердыто Оксана й не обернеться: все балака зъ хлопцемъ.

Мырончыкъ почына й соби ляпаты:—для, для, ло, ла, ма-мо...

— Що, мій маленькій? Що мій соловейчычокъ? Хочешъ до дида? Дидъ намъ грошей давъ, дидъ насъ вызволивъ... дидъ намъ гостынца дасть...

Закутае дытынку юпкою й бижыть до батька хвастаты, якъ воно вже багато говорыть.

— Ось, слухайте, тату, слухайте (дытына плете свое:—Балооо!... Дай! Лаб...),—се винъ говорыть, що йихаты хоче: „лабъ“—се у нього „цобъ!“ Який розумный... Ой, Боже мій, якъ ручечкы напередъ простягло!

Оксана зновъ почына цилуваты сына такъ, що дытына ажъ заплаче зъ досацы, тоди вона заразъ злякається:

— Вава, де вава? О, мама ваву зробыла, бидненькій мій голубчычокъ!—та зновъ цилуе тую ваву, що немае.

Дидъ сміється и Оксана сама почына сміятысь. Зновъ прывыкла Оксана сміятысь. Правда, й ранійше, було, мижъ свекрушынымы докорама та плачемъ, вона иншый разъ сміється, спивае, якъ дивка, ажъ луна по хати йде, та тилькы ридко: тоди, якъ забудеться про свои недостаткы; а теперь їй наче все однаково, абы дытына нагодована, та не слаба, та не крычала, хочъ и теперь, якъ ранійше, грызла ии свекруха кожый день, кожый часъ, кожну хвылыну, докоряла, очи выбывала, проклянала, лаяла, и такъ ривно и довго слово за словомъ падало, наче дощъ в-осены. Оксани часомъ здавалось, що вона на ии голову залізни обручи набывае, або гвиздки вбывае. „Тукъ, тукъ, тукъ“, наче ципомъ бье безъ перестанку цилый вיקъ свій. Оксана вже не розбирала, яки то слова булы, тилькы въ серци и въ голови у неи стукотило. Хочъ бы на мыть вона замовкла! Та ни, у неи вже

вдача така була, бо якъ Андрій, бувало, оступыться за жинку и скаже: „Та годи, мамо, чога вы вже ии такъ йисте?“—то вона заразы на його перекинется:—А ты такый-сякый сыну, ты проты матери йдешъ? Чому ты ии не бьешъ, чому? Щобъ тоби очи повылазылы, щобъ...—и пишла, и пишла, якъ вѣялка стукотыть; вона й на своихъ дивчатъ, було, нападається, якъ пир'я ихъ дере. Часомъ выганяла вона Оксану зъ хаты въ ночи, якъ що Андрія не було вдома, и тая простоювала або пидъ хатою, або въ повитци, покы свекруха не засне. Спробувала якось свекруха й на малого Мырона нападатъся, тилькы Оксана схопыла ножа и крыкнула:

— Якъ вы мени заразы не замовчyte, то я кыну!...

Свекруха, якъ воды въ ротъ набрала.

Ну, та теперь Оксани свекрушынъ гнивъ не такъ то: вона визме та поверхъ свекрушыного голосу каже казкы своему Мырончыку про вовка, про лысычку, про Ивашку и други зъ своеи головы:—ото, якъ соловейко зъ зозулею поспорылы, чый голосъ солодшый, а ихъ обохъ кишка пѣймала, покы вони спивалы, и прыдушыла такъ, що вони й не почулы... И таку разну разницю плете Оксана: и Мырончыка, и себе потишае, щобъ не чуты лайкы, щобъ було веселѣше.

\* \*  
\*

Ридко Оксана наvertsалась до батька въ хату, колы тамъ Марына була, ажъ ось разъ прыбигла. Вони сидылы за обидомъ. Вона, не сказавшы „здрастуйте“, поклонылась одному батькови до земли й задыхаючысь промовыла:

— И мылуйте, и жалуйте!

— Що тамъ таке?—спытався той,—може, дытына слаба, що ты такъ прыбигла?

— Ни, таточку, то Андрій...—Оксана збылася,—винъ хотивъ, винъ просывъ, щобъ вы... винъ просывъ за гроши... щобъ вы... заступылись.

Мыронъ зробывся страшнымъ, скочывъ з-за столу, наче за горяче зализо вхопывся, и крыкнувъ:

— Нехай його батько сказыться! Я йому не товаришъ!

Винъ хотивъ иты, та Оксана прычепылась до нього.

— Ой рятуйте жъ насъ, таточку!

Винъ вырвався и зновъ крикнувъ:

— Щобъ я за сто рубливъ мошенникомъ черезъ його, с-о сына, зробывся! Николы мошенникомъ не бувъ... скільки чужыхъ грошей въ рукахъ перевернулося, а тутъ... Та будьте вы вси прокляти!—й пишовъ зъ хаты.

Оксана упала на лаву й гирко заплакала.

Диты прытыхлы: Грыцько дывывся на Оксану, не переводячы очей, а Тетянка, якъ капелька воды, що текла зъ стрихы й не вспила капнуты, колы вже замерзла, сыдила, наче застыгла, зъ открытымъ роткомъ: воны николы не бачылы, щобъ титка Оксана такъ плакала, щобъ дидъ такъ на ней гукавъ.

Иванъ почавъ розважаты сестру:

— Батько тилькы такъ, воны все зроблять, ось не плачь, ось годи!

Вона не слухала, все повторяла:

— Охъ, недоля моя та й недоля моя!—все плакала, наче сей разъ вона хотила все свое горе разомъ выплакаты, наче хтось поодмыкавъ уси замкы, що вона замыкала свое горе одъ чужыхъ очей, наче їй теперъ було вильно плакаты.

Марына здывувалась: николы вона їи такою не бачыла, якъ не бачыла чорной троянды. Дивкою Оксана була скризъ весела та смишлыва и така, що якъ було захоче, то всякого розсмишыть, якъ почне всихъ передражняваты, або складаты писни. Марына ще й теперъ зъ їи писень пам'ятала тую, що:

Винъ голубомъ сызокрылымъ по-надъ нею вьеться,—

Вона дывыться на його, дывыться й сміється;

Винъ барвинкомъ коло неи по земли плететься,—

Вона дывыться на його, дывыться й сміється;

Быльною передъ нею степскую гнеться,—

Вона дывыться на його, дывыться й сміється.

Такъ и Оксана сама: сміялася-сміялася зъ Андрія, колы каблучкы та стричкы носывъ, шо й „кудлатый, и нечесаный, и ротъ червоный, якъ у грака“, а дали пишла за нього й перестала сміятысь. Мабуть не дуже їй солодко жыты, шо такъ плаче! Марына чула одъ людей, яка Оксанына свекруха лыха, та думала, шо то неправда, и шо якъ же Оксану не посварыты, колы вона ничего не вміе по хазяйству; ще дивкою, було, якъ прыйде до-дому зъ тю-



тюну, то ни за холодну воду не береться: або гуляты йде, або соби шые та пряде—скрыню готуе, такъ и не навчылась; хочъ скильки Марына сердылася й докоряла їй, що не хоче ничего їй помогты, а тїй байдужкы, все: ха-ха-ха та — хи-хи-хи, — ажъ Марыну розсмишыть. Не дарма ии батько „веселкою“ подражывъ, що все сміється та весела.

— Отъ тоби й „веселка“! — подумала Марына и, подумавшы такъ, стала умовляты Оксану—а ранїше здавалось їй, що не забуде вїкъ, якъ Оксана зъ неї посміялась.— Не плачь, сестрычко, ну-бо, не плачь! Ось, знаешъ, що я тоби скажу: перемелеться—борошно буде,—а ты не журысь, бо одъ журбы молоко въ грудяхъ пропадае—такъ-то. А чы у Мырончыка вже багато зубивъ, сестрычко? Та й кругленькый винъ у тебе, якъ грудочка...

Оксана стала прислухаться, перестала плакаты, пїсля почала одвичаты й на останку зовсимъ повеселїшала, засміялась и побігла до-дому до дытыны.

— А мы батька упросымо,—сказавъ напоследокъ Иванъ,—воны все зроблять, не бїйся, абы ты не журылась!

Марына мало його дурнемъ не обизвала, а якъ Оксана пішла, вона строго сказала:

— Ничого тоби до батька лїзты—воны й самы знають, що роблять: якъ не хочеться имъ мошенныкомъ буты, то ничого напынаты. Мабуть вже той храпакъ дуже имъ упикся, що одриклыся одъ нього!

— Ну, нехай якъ знають, мени що? Ось тилькы Оксаны жалко.

— Воны самы знають, що роблять,—сказала Марына ще разъ, и вси прынялысь за обидъ, бо Марына добавыла:—будемъ йисты, я для ихъ заставлю въ пичъ.

Тетянка почала метыкуваты:

— А чого жъ титка плакалы? Хиба у ихъ вава? Дидъ же ихъ не былы?

— Воны сказалы:—„проклята душа,“—не чула хиба?—спытався Грыцько.

— Эге, эге, эге,—сказала дивчынка,—ну, то що, а де жъ вава?

— Цытьте вы!—заразъ зупынула ихъ маты.

Марына все думала про Оксану, якъ то вона сьогодни одкрылася. Марына, колы почувла, якъ Оксана плаче, то догадалась, що плаче вона не тилькы черезъ батькови слова, а выплакуе все свое горе, наче одлывае одразу вси свои слезы. Значыть, правду

люде казали, що Оксани погано за лыхою свекрухою жыты, а йшла жъ вона своєю охотою за Андрія та й батько, якъ хмель коло вербы, коло неї обывався й не давъ бы їй въ обиду нікому. Такъ то—не все Оксани празничокъ: оддячилось за Мырону неправду, що добро Марыныныхъ дитей на неї переводывъ. И зрадила Марына, и разомъ жалко їй стало Оксаны, бо вона була певна, що батько одъ неї одступывся: винъ же їй проклявъ и одцурався, а назадъ винъ ридко вертається. Ну, вже, мабуть, и осточортивъ йому той Андрій, що винъ такъ на дочку обрушывся, якъ мокрымъ рядомъ накрывъ. Ни, не вернется винъ теперъ до ихъ, якъ не прыросте одрубане гилля... А яка весела була Оксана! Самій Марыни показалася ихъ хата темнійша й сумнійша, колы оддалы Оксану замижъ, наче одного виконця на вулицю не стало въ хати; диты тежъ дуже любылы титку Оксану и скучалы за нею, бо вона ихъ балувала, пестыла й гостынци купувала.

\* \*  
\*

Тымъ часомъ Мыронъ, забувшы про обиды, ишовъ та йшовъ берегомъ по-за городамы; винъ все думавъ: невже винъ мошенникомъ зробытсья? Се дило, що Оксана йому нагадала, винъ добре знавъ. Винъ знавъ, що Андрій недавно взявъ на обчество землю въ аренду у пана; знавъ, що Андрій одурывъ усихъ: справывъ зъ мужыкывъ двисти рубливъ, отдавъ панови тилькы сто, получывъ одъ його дви роспыскы одного дня на двисти (по сто кожна), а сто соби въ кышеню поклавъ,—значытъ, обдурывъ и пана, и людей. Теперъ Мыронъ догадувався, що Андрій хоче, щобъ винъ передъ людмы, що выбрали Андрія „полномошнымъ“, доказувавъ, буцимъ Андрій тыхъ грошей не бравъ соби, а отдавъ вси панови, хочъ той и каже, що буцимъ то у його по кыгахъ не хватае.—Ни за що въ свити! Здохны ты!

Мыронъ, хочъ и ранійше знавъ и чувъ, якъ на його зятя выну прыганялы, та не хотивъ мишатысь, не думавъ, щобъ и Андрій до його Оксану такы прыславъ; винъ зоставывъ його выкручуватысь, якъ знае. Мыронъ добре знавъ, скильки грошей Андрій зибравъ; добре знавъ, що той панъ, у кого землю бралы, ихъ грошей не схоче, и добре знавъ, що Андрій бувъ такой чоловікы, що не може бачыты чужыхъ грошей, щобъ не замотаты; винъ знавъ, що Андрій зъ того дня, якъ узывся гроши збираты,

забагативъ: купивъ коня, прыторгувавъ корову, засіявъ городъ тютюномъ, литнихъ дивчатъ понаймавъ, щобъ „плантацію“ його обробляты,—на яки жъ то все гроши? Все сее знавъ Мыронъ; знавъ, та мовчавъ, а въ души бувъ сердытый на зятя, що на чужи гроши роскошуе, та, думавъ винъ, выкрутыться самъ: ну, продасть тютюнъ и выплатыться, ажъ ось воно якъ вышло! Андрій, значыть, не признається, якъ и перше, що винъ ти сто рубливъ замотавъ, ще й Оксану на батька напустывъ, щобъ той за його тягъ,—знае, вражий сынъ, що винъ їй не одмовыть!...

— Ни, завтра зъ мишкомъ я тобі поможу! Ось пиду и все роскажу громади, що знаю,—сказавъ собі Мыронъ.—Та громада справди така дурна, що доси не розбере й сама, чы вона сто, чы двисти внесла Андрію, ніякъ роскладу не зробыть, а пысарчукъ, мабуть, Андріеву руку тягне, та ще два-тры горланы, що пьютъ на його гроши. Ну, постій же, я тебе выведу на свитъ! Тилькы... чого се я, справди, такъ-о на Оксану нагукавъ? Чымъ вона вынувата, що той чортяка ии до мене пославъ? Вона й не розуміе ничого, що діеться!... Плаче, мабуть... Отъ у жыда, я бачывъ, платокъ ловке-е-зный йе... Эге... Дакъ що? Хиба питы въ зборню... обявыты... сьогонди жъ и празнычокъ,—мабуть, доси позбиралысь уси... Эге, ге! Дакъ се, мабудь, теперенькы на його й напалыся тамъ, що винъ до мене прыславъ... боиться... за мене ховається... Ну, стій же, чортивъ сыну, я тобі покажу!... А якъ винъ зъ серця Оксану почне быты, та... Охо-хо!... Ну, що жъ теперь робыты?... Питы, чы не питы?

Мыронъ надумався и швиденько пишовъ до зборни. Тамъ винъ сказавъ, якъ його пыталы, де дивалыся сто рубливъ, чы не знае винъ,—що знать не знае и видать не видае; що Андрій, мабуть, не бравъ, а панъ мабуть помылывся, бо выдавъ же самъ роспыску на двисти, а проте винъ не знае й не знае...

Громада збылася, вси разомъ закрычали.

Андрій повеселійшавъ и повивъ мало не всю громаду выпыты по чарци.

Мыронъ писля строго наказувавъ Андрію продаты латку городу зъ тютюномъ и вернуты громадськи гроши, тилькы Андрій забувся якось, та и вси люде, якъ зибралы ще сто рубливъ, заплаатылы вдруге, то й забулысь скоро про сю „сторію“. Одынъ Мыронъ не забувся, та думавъ винъ:

— Добре, що вражий сынъ для Оксаны хочъ корову купывъ: буде молоко для дытны, а то вона все бидкалась, одъ Марыны жъ не одирвешъ!

Мыронъ бувъ сердытый самъ на себе: цилый тыждень ходывъ, якъ въ воду опущеный; винъ и въ шынку, якъ зять його и громаду частувавъ, сыдивъ сумный та пывъ мовчки; килька разъ винъ заплитаючысь пытався:

— Скажить, аже жъ я чесный чоловикъ? О, для честы... я... Аже жъ я... я... якый?

— А вже жъ, а якъ же, мы вси тутъ чесни люде!—пидхоплювавъ Андрій и наливавъ ще по чарци, и увывався коло батька, и затягавъ писню: „Кумпанія невелычка, за то чесна!“

Дали йшлы все писни: „Выпьемъ, куме, добра горилка“, „Пропывъ волы, пропывъ возы, пропывъ ярма, ще й занозы“...

Повеселійшавъ пидъ кинець и Мыронъ, а на другой день ходывъ такой сердытый, ажъ чорный. Тилькы тоди одійшовъ, якъ знайшовъ соби новый клопоть,—тоди забувся. Давно думавъ винъ, якъ бы Оксану свекруху устодолты, та ніякъ не находывъ способу. Краще всього їй було вмерты,—доки вона Оксану буде пекты? Дакъ ни, не хоче вмираты! Нагрыматы на неи Мыронъ не мигъ,—думавъ, що ще гирше выйде. Сказать Андрію—ничого не поможетъся: вона й Андрія, якъ Оксана казала, лае на чимъ свить стоить. Бильше всього хотивъ бы винъ Оксану назадъ до-дому забраты, тилькы щѳ жъ люде скажуть? Правда, що винъ никого не боявся и никому не кланявся, та Оксана жъ побоятъся та й прямо не схоче кыдаты чоловика: вона такы йому вирыть, сьому „чорногузу“, чортовому брехуну!... Ну, дакъ якъ же? А виддаты тую свекруху замижъ—та и все!

Надумавшысь такъ, ставъ Мыронъ напытуваты молодого. Якось чувъ винъ про одного чоловика, старого парубка, що чогось не пощастыло оженытысь ранійше, а теперь за його ни одна дивка, чы молода вдова не хоче йты. Звалы сього чоловика Даныло Сирий, и живъ винъ у другому сели. Мыронъ не знавъ його й не бачывъ николы. Ось и пишовъ винъ до його; роспытався, де його хата. Якъ тилькы увійшовъ Мыронъ у двиръ, то заразъ побачывъ, що тамъ, „не-хазяинъ“ живе: весь двиръ бувъ прытрушений незагребленою, гнылою, торишньою соломою; ожереды булы погано зложени й обскублени зо всихъ бокивъ; по середыни двора стояла велыка калюжа и пидходила до самого поро-

га; прызьба завалылась, стриха вся поросла травую; дви молоденьки вербы, посажени пидь викнамы, вже давно посохлы, одни дрючки стырчалы; тынка одь вулыци не було, и свыни ходылы по городу, де вся земля була порыта ихъ носамы. Въ хати, куды вступывъ Мыронъ, було ще гирше: стины ажъ чорни одь сажи, гыдота, грязь, смиття коло самого порогу; коло печи попелу купа, на шворци мокри подерти штаны, на лави немьти мабутъ никола мыскы й горшкы, поцвили шматкы хлиба; мижъ нмы бигалы жуку, а обидраный рудый китъ сыдивъ, дывывся на ихъ и потроху розганявъ лапою. Коло ката сыдивъ и самъ Даныло Сирый и латавъ сорочку, що знявъ зъ себе. Се бувъ такы справди „сирый“ чоловикъ, наче зъ брудного лою зроблений, зъ бильмъ волоссямъ, що росло якось плямамы на його голови; били щокы його поодвысалы; ни вусивъ, ни борода не було; очи тежъ биловати, изъ сынмы кругамы коло ихъ.

— Здрастуйте,—сказавъ Мыронъ.

— З-з-здрас-т-т-туйте,—одвитывъ той,—а що ск-к-каж-ж-жет-т-те?

Що жъ було казаты Мырону? Не почынатъ же свататы,—и стыдно йому стало, и не умивъ винъ; подумавъ Мыронъ и сказавъ:

— Казалы люде, що вы солому продаете,—мени бъ зъ копу куливъ продалы: треба клуню полагадыты.

— А в-вы в-в-видкиль же?—спытався Даныло.

Мыронъ сказавъ:—Я Мыронъ Чайка—може, чулы?

— Эге, якъ же ч-ч-чувъ... в-вы жъ б-б-булы ст-т-таршыною.

— Эге жъ... Дакъ продаете солому?

— Н-н-ни, са-а-амому т-т-треба... т-т-та и н-нема с-сей годъ к-к-куливъ д-д-добрыхъ.

Винъ вставъ зъ мисця й Мыронъ побачывъ, що винъ чогось не твердо стоить на ногахъ, наче клубокъ,—то у сей, то у той бикъ хылыться, наче сыре ридке тисто росходьтыся и туды, и сюды.

— С-с-сидайте,—сказавъ Даныло.

Мыронъ не найшовъ, де систы, й оглядаючысь кругомъ, спытавъ:

— Отсе вы такъ и живете самы соби?

— Эге... н-ничого... п-п-прывыкъ вжѣ.

— Чому жъ не оженитесь?

— Хи, хи, хи,—зареготався той,—м-м-мене и т-т-такъ жинкы л-л-любляты!

Мырону надокучыло такъ балакаты, а перевесты ричъ на Оксаныну свекруху винъ не вмивъ, того тилькы сказавъ коротко:

— Ну, прощайте,—и выйшовъ зъ хаты, поky Даныло вспивъ выговорыты свое—„с-с-счас-с-слыв-в-во!“

Мыронъ теперъ ухватывся за свого товариша Мытра Пынчука—товариша по гульни тилькы, не по роботы,—самого ловкого свата на все село, що балакавъ такъ багато й хльостко, що справди ни одынъ парубокъ, ни одна дивка не могли проты його устояты, якъ винъ забере въ голову, або по прозьби, ихъ поженыты. Винъ такъ умивъ умовляты, та ламаты, та „убиждаты“ и такъ дывывся своими вырячковатымы чорнымы очыма на того, до кого балакавъ, що сей непременно згодытыся зъ нымъ, хочъ не заразъ, то черезъ день, черезъ два, черезъ тыждень писля того, якъ Пынчукъ за його взявся. Отъ сього Пынчука Мыронъ и напустывъ на Даныла й на Оксаныну свекруху. Трудно було Пынчуку все дило об'ясныты, щобъ Оксаны туды не вплутаты. Колы Пынчукъ допытувався, на що треба сюю жинку окрутыты, Мыронъ повиненъ бувъ брехаты:

— Такъ... для штуки!—або:—вона ще молода: нехай поживе!... Ще можуть диты буты, а чымъ бильше дитей, тымъ бильше роботныкывъ.

Писля брехни Мырону було такъ погано, наче винъ полыню найився. Багато й горилкы стратывъ винъ на Пынчука; ну, та за те не прошло й мисяця, якъ Пынчукъ ихъ спарувавъ, бо доказавъ Оксаныній свекруси, що „вона ще молода, якъ верба, и що вси жывутъ въ пари: и голубъ зъ голубкою, и пивень зъ куркою, и треба, значыть, ий замижъ иты“, а Данылу Сирому винъ наговорывъ про великы гроши, що буцимъ мае ся жинка,—„такы гроши, що за ихъ треба бѣ ии на рукахъ носыты!“

Даныло перейшовъ у хату до Оксаныной свекрухы, поживъ поky що килькось, од'ився на ии харчахъ,—„стара“ сама теперъ, замисть Оксаны, варыла,—выманывъ у старои трохы грошей и одного ранку счезъ, наче кризь землю провалывся, не дождаючи весилля, ни родынъ своеи дытыны.

Ось и розстроилося весилля Оксаныной свекрухы. Теперь вона меньше лаяла Оксану, бо вси іи прокльоны сыпалыся на Даныла й на нещасну дытыну, що мала вродытысь. Подалы на судъ на Даныла Сирого, що такы з'явлыся на сели зновъ, щобъ повинчався, або гроши дававъ на дытыну.

Мыронъ, заступаючыся за свекруху, здавалось йому, заступався за правду, бо погано, не по правди було, на його думку, дитей на свить породыты й одкыдатысь одъ ихъ, не годуваты ихъ, якъ вони будуть пилля батька годуваты. Мыронъ такъ заступався за свекруху Оксаныну, такъ клопотався, щобъ іи Даныло прыйнявъ до себе, такъ на суди мотався й доказувавъ, наче бъ то була його ридна дочка. Винъ зненавидивъ Даныла, вважавъ його мошеннымъ, якыхъ на свити нема; проте, якъ Даныло не послухавъ суда и не взявъ ни дытынку до себе, а ни жинкы, Мыронъ спытавъ ще одынъ спосибъ: винъ пишовъ до його попросыты його добромъ и тутъ першый разъ винъ уклонывся гарненько и просывъ Даныла оженытысь.

Даныло жъ сказавъ:

— Хи, хи, хи, якъ б-бы я н-на в-всихъ ож-ж-женывся, що д-до м-мене ч-ч-чипляються, то ск-к-кил-л-лькы жъ у м-м-мене ж-ж-жинокъ б-б-було бъ?!... А в-в-вамъ н-на що, щоб-б-бъ?...

— Тъху!—тыльки плюнувъ Мыронъ и пишовъ до-дому: погано йому зробылося, що винъ передъ такимъ кат-зна чымъ кланывся, наче винъ себе самъ ламавъ, або всього себе на трискы поколовъ!

Скоро вмерла Данылова дытынка, и винъ ставъ вильный, якъ гракъ, а Оксанына свекруха такъ и зосталась у Андрія. Оксани було, розуміеться, дуже досадно, що свекруху не вдалось выжыть, та й Андрій бувъ бы спокійнійшый, якъ бы матери не було, хочъ винъ и ридко бувавъ дома, та все жъ такы остыгли йому сіи прокльоны та лайка. Одна Марына радила: вона догадалась, чья се була думка—Оксаныну свекруху замижъ оддаты. Рада вона була, що пры Оксани такы зосталось іи лыхо, бо стала завьдуваты, що дидъ лучче Мырончыка почавъ жалиты, нижъ іи ридныхъ дитей, и що Оксана дуже ловко стала жыты: у неи й коняка вже йе, й корова, и „плантація“ тютюну! Мыронъ думавъ, що ще не все пропало: можна ще когось знайты, щобъ Оксаныну свекруху такы оддаты замижъ. Марына жъ знала, що

не найдеться той дурень, щобъ стару за себе взявъ, що не  
можно зализа деревомъ налататы.

Мыронъ про себе повторявъ:

— Ни, моя дочка такы буде щаслыва, помы я живый; буде  
щаслыва, хочъ тамъ що!

— Эге, шукай витра въ поли!—думала Марына.



Конецъ третьего тома.



## Оглавъ.

	Стор.
Гринченко Борысь . . . . .	5
Безъ хлиба . . . . .	6
Хата . . . . .	20
Сестрыця Галя . . . . .	39
Непокирный . . . . .	48
Вайда . . . . .	61
Коваливъ Степанъ . . . . .	70
Безконешный швиндель . . . . .	71
Ройтивъ шыбъ . . . . .	84
Марковычъ Дмитро . . . . .	92
У наймы . . . . .	93
На Вовчому хутори . . . . .	106
Шматокъ . . . . .	115
Кобрынська Наталя . . . . .	122
Выборець . . . . .	123
Зинкивьскый Трохымъ . . . . .	151
Кудю йты? . . . . .	152
Грушевскый Михайло . . . . .	164
Бех-аль-Джугуръ . . . . .	165
Потапенко Вячеславъ . . . . .	178
На нови гнизда . . . . .	—
Чабанъ . . . . .	188
Днипрова Чайка . . . . .	200
Дивчына-Чайка . . . . .	—
Буровисныкъ . . . . .	204
Мара . . . . .	208
Маковой Осыпъ . . . . .	219
Клопоты Савчыхы . . . . .	220

	Стор.
Бордулякъ Тымофій . . . . .	263
Дай, Боже, здоровля корови! . . . . .	264
Самитна нывка. . . . .	270
Бузькы . . . . .	274
Для хорого Федя . . . . .	277
Жебрачка . . . . .	283
Крымськый Агафангелъ . . . . .	288
Не порозуміються . . . . .	289
Мартовичъ Олекса . . . . .	325
Мужыцька смерть . . . . .	—
Коцюбинськый Михайло . . . . .	360
Въ путахъ шайтана . . . . .	361
Помстывся . . . . .	374
Хо . . . . .	385
Леонтовичъ Володымырь . . . . .	415
Старый батюшка . . . . .	—
Коваленко Грыцько . . . . .	431
Народни писни . . . . .	—
Чайкивськый Андрій . . . . .	445
Сыритка . . . . .	456
Лепкый Богданъ . . . . .	456
Для брата . . . . .	—
Яновська Любовь . . . . .	463
Смерть Макарыхы . . . . .	—
Семанюкъ Иванъ . . . . .	495
Святый Мыколай у гарти. . . . .	—
Хиба даруймо воду . . . . .	501
Стефанюкъ Васыль . . . . .	508
Мамынъ сынокъ . . . . .	509
Катруся . . . . .	513
Смерть . . . . .	518
Кленови лыстки . . . . .	521
Грыгоренко Грыцько . . . . .	530
Ватько . . . . .	—



## Вѣдатнѣйши помылкы друкарскыи.

Сторона.	Рядокъ.	Надруковано.	Повынно быты.
28	3 знизу	вжъ	вже
108	13 зверху	повгодыны	пывгодыны
148	9 знизу	ы	и
159	5 зверху	Душа	Души
180	4 „	на тяге насебе.	натягне на себе.
190	7 знизу	помышныкы	помишныкы
209	8 „	тяжке	тяжко
225	14 зверху	тово на	то вона
316	16-17 „	росхлюпують	росхлюпують
336	14 „	Корпъ	Коропъ
351	19 „	би-сте	бы-сте
367	20 „	та	то
380	18 „	гайдаючысь	гойдаючысь
432	9 знизу	винъ	видъ
438	4 зверху	писень	писень
458	13 „	тымъ	тимъ
502	7 знизу	щкильныкъ	шкильныкъ
512	22 зверху	Луськый, радыкаль	Луськый радыкаль.
516	12 „	ослухавъ	дослухавъ
516	15 знизу	д—	—















~~Widener Reserve~~

